

ОБРЕЧЕННЫЕ ПОГИБНУТЬ

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ-ЕВРЕЕВ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ



Personalkarte I: Personelle Angaben

Kriegsgefangenen-Stammlager: Lasosno Grodno 324 Lager:

Name: Gress
Vorname: Michael Alex. Ustur
Geburtsort und -ort: 1902 25/XII Moskau
Religion: Orthodoxe Kirche
Vorname des Vaters: Ilja
Familienname der Mutter: Fjodorja Gress

Staatsangehörigkeit: Hauptmann
Dienstgrad:
Truppenteil: 1305 Inf. Regt.
Zivilberuf: Militär
Matrikel Nr. (Stammrolle des Heeres)
Gefangennahme (Ort u. Datum): 5. Juli 1942
Ob gesund, krank, verwundet einget.

Nähere Personalbeschreibung

Größe	Haarfarbe
167	schwarz

Fingerabdruck des rechten Zeigefingers

Name und Anschrift der zu benachrichtigenden Person des Kriegsgefangenen

Rz. Moskva, Stalinskaja-Strasse Nr. 18 W.I.
An Nina Nikolajewna Gress
22. Juli 1942
Gen. S. S. Wlasow

Des Kriegsgefangenen

Lichtbild

324/4423
Gress
Michael ISY

Table of Contents

[Annotation](#)

[Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: воспоминания и документы](#)

[Павел Полян. Советские военнопленные-евреи — первые жертвы Холокоста в СССР](#)

[Советские евреи в немецком плену](#)

[Советские военнопленные-евреи и точка отсчета Холокоста](#)

[Советские военнопленные-евреи и нормативная база их убийства](#)

[Палачи](#)

[Селекция и ликвидация на оккупированной территории СССР](#)

[Селекция и ликвидация на территории Германии](#)

[Спасшиеся и спасители](#)

[Советские военнопленные-евреи в финском и румынском плену](#)

[Вместо P.S.: советские военнопленные-евреи после Победы — репатриация, фильтрация и некомпенсация](#)

[Арон Шнеер, Павел Полян. Голоса жертв \(Об этой книге\)](#)

[1. Императив полной правды](#)

[2. Источники к теме](#)

[Принятые сокращения](#)

[Часть первая. В немецком плену](#)

[Воспоминания и дневники](#)

[Письма, документы, интервью, заметки](#)

[Свидетельства очевидцев](#)

[Часть вторая. В финском плену](#)

[Соломон Матвеевич Шур. «Взамен имен, взамен фамилий...»\[58\]](#)

[Марк Михайлович Волынец. «...И осталось, как всегда, недосказанное что-то...» \(Воспоминания «Ванки-пойка»\).\[59\]](#)

[Арон Глезин. «Наливай пожиже, жид пришел!»\[67\]](#)

[Иосиф Гуревич. «Жили мы „колхозом“».\[68\]](#)

[Соломон Каплун «В лагере я встретил друга»\[69\]](#)

[Циля Леечкис. Записки военфельдшера.\[70\]](#)

[Лазарь Залманович Раскин. В финском плену.\[72\]](#)

[Самуил Владимирович Тиркельтауб. В лагерях и в батраках.\[75\]](#)

[Михаил Соломонович Тумаркин. Раввин в Лоуколампи.\[77\]](#)

[Михаил Менашевич Шлейфер. «Жида, выходи строиться!...»\[78\]](#)

[Шимон Янтовский. Сионист в плену.\[79\]](#)

[Приложения](#)

[Приложение 1 Подлинные имена и псевдонимы СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ-ЕВРЕЕВ](#)

[Приложение 2 Данные о советских военнопленных офицерах — евреях ИЗ ТРОФЕЙНОЙ ОФИЦЕРСКОЙ КАРТОТЕКИ в ЦАМО, г. Подольск](#)

Приложение 3 Перечень эго-документов, не вошедших в настоящее издание

Литература

Примечания к «Павел Полян. Советские военнопленные-евреи — первые жертвы Холокоста в СССР.»

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40

[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)
[78](#)
[79](#)
[80](#)
[81](#)
[82](#)
[83](#)
[84](#)
[85](#)

86

87

88

89

90

91

Примечания к «Арон Шнеер, Павел Полян. Голоса жертв (Об этой книге).»

1

2

3

4

5

6

7

Примечания к Первой и Второй частям

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)

[75](#)
[76](#)
[77](#)
[78](#)
[79](#)
[80](#)

Annotation

Плен — всегда трагедия, но во время Второй мировой была одна категория пленных, подлежавшая безоговорочному уничтожению по национальному признаку: пленные евреи поголовно обрекались на смерть. И только немногие из них чудом смогли уцелеть, скрыв свое еврейство и взяв себе вымышленные или чужие имена и фамилии, но жили под вечным страхом «разоблачения».

В этой книге советские военнопленные-евреи, уцелевшие в войне с фашизмом, рассказывают о своей трагической судьбе — о своих товарищах и спасителях, о своих предателях и убийцах. Рассказывают без оглядки — так, как это было на самом деле.

Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: воспоминания и документы

Павел Полян. Советские военнопленные-евреи — первые жертвы Холокоста в СССР

«Ну и как же это вы, абрамы, живы остались?..»

Гитлер сумел выстроить несколько простых и оказавшихся немецкому народу вполне доступных и хорошо им усвоенных иерархий. Кроме расовой табели о рангах, где евреи занимали самую низкую ступень, помимо идеологической шкалы степеней угрозы для Рейха и соответствующей встречной ненависти, где выше всех стояли «жидо-большевицкая интеллигенция» и «политические комиссары» как носители коммунистической идеологии, своя иерархия была и у военнопленных: изо всех армий многочисленных противников Рейха ниже всех «котировались» — советские военнопленные^[1].

Так что же тогда говорить о советских военнопленных еврейского происхождения, да еще и политруках! Что может быть ниже, хуже и ненавистнее?!..

Именно о них и пойдет разговор.

Советские евреи в немецком плену

Согласно сведениям, опубликованным Ф.Д. Свердловым (Свердлов 2002: 214, без учета еще нескольких сот человек, призванных на военную службу, начиная с сентября 1944 г., в армии Румынии и Болгарии; источник сведений, к сожалению, не указан)^[2], в Красной Армии в 1941–1945 гг. находилось 450–470 тыс. евреев, что составляло примерно 1,7 % общей численности вооруженных сил СССР и 16 % всего еврейского населения СССР. Интересно, что 27 % евреев ушло на фронт добровольно, 80 % евреев-красноармейцев служило в боевых частях (Шапиро, Авербух III: 448,466–477).

Исходя из той же доли, число погибших евреев должно было бы составить порядка 205 тыс. чел.^[3] Данные ЦАМО лишь незначительно отличаются от этой цифры — 198 тыс. погибших в бою, умерших от ран и болезней или пропавших без вести (Шнеер II: 29, со ссылкой на: Штейнберг 1995: 220–221^[4]). Звания Героя Советского Союза был удостоен 131 еврей, из них 45 посмертно (Марьяновский, Соболев 1997:14–15)^[5].

По мнению немецкого военного историка Р. Оверманса, немецкая политика по отношению к иностранным военнопленным во время Второй мировой войны во всем была преимуществом по отношению к политике периода Первой мировой, кроме одного — еврейского вопроса.

Согласно «Энциклопедии Холокоста», в немецкий плен в годы войны попало в общей сложности 200 тыс. военнослужащих-евреев (Enzyklopädie des Holocaust II: 814). При этом приходится пересмотреть устоявшуюся точку зрения, согласно которой дискриминацию и репрессии испытывали на себе только военнослужащие армий двух «восточных» стран — Польши и СССР, тогда как отношение к военнослужащим-евреям из армий их «западных» союзников — американской, английской, французской, канадской, австралийской и других, а также из югославской армии — ничем не отличалось от отношения к военнопленным-нееврейцам. Пересмотру тут подлежит не тезис о различном отношении к евреям из восточных и западных армий, а единственно утверждение о равном отношении ко всему контингенту западных военнопленных. На самом деле и в их среде имела место отчетливая дискриминация евреев, правда, не доходившая, как правило, до настоящих репрессий и геноцидальных акций.

Женевские соглашения предусматривали обособление и раздельное содержание военнопленных по критерию их гражданства, но никоим образом по этнической принадлежности. Свидетельства самих бывших военнопленных западных армий говорят о настойчивых попытках командования лагерей, во-первых, идентифицировать евреев из их числа и, во-вторых, сегрегировать их и изолировать.

Практиковалась своего рода «геттоизация» лагерей — содержание евреев-военнопленных в обособленных бараках в пределах лагеря или назначение им особенно грязных работ. В некоторых лагерях их все-таки заставляли носить желтую звезду, но, после протестов, это требование снималось.

Что касается отношения к евреям из польской и советской армий, то оно было радикально иным: начать с того, что всех военнопленных Польши и СССР Германия самочинно вывела из-под защиты международного права. Советских — по причине отсутствия подписи СССР под Женевской конвенцией 1929 г., а польских — по причине «несуществования польского государства», как это было заявлено 20 ноября 1939 г. в письме германского МИДа шведскому посольству в Берлине об утрате Швецией мандата страны-покровительницы польских военнопленных (Датнер 1963:19). Еврейские же военнопленные обоих государств обрекались смерти, только смерть евреев из польской армии готовилась последовательно и поэтапно, с частичной все-таки оглядкой на Женевскую конвенцию, тогда как евреев-красноармейцев убивали по возможности на месте — и безо всякой оглядки на что бы то ни было, кроме обстоятельств конспирации и ненужной огласки.

Суммарное число польских военнопленных-евреев, попавших в немецкий плен в сентябре 1939 г., составляло, согласно Ш. Краковскому, 60–65 тыс. чел. (Krakowski 1992: 217). В общем и целом обхождение с польскими военнопленными-евреями регулировалось приказом командующего ОКБ В. Кейтеля от 16 февраля 1939 г.

При регистрации их отделяли от других военнопленных и размещали обособленно (иногда — в изолированных зонах, иногда просто в отдельных палатках). Их содержали на «особом» — пониженном — пайке, условия их трудового использования и охраны приближались к условиям концлагеря: к весне 1940 г., по оценке Ш. Краковского, в лагерях умерло или было убито около 25 тыс. чел. из их числа (Ibid, 217–218).

В отличие от ситуации с французскими военнопленными-евреями, в отношении польских военнопленных-евреев немецкие власти как раз практиковали политику перевода их в статус гражданских лиц. Но при этом они передавались в руки не войсковой, т. е. эсэсовской, охраны, что само по себе было серьезной угрозой (Датнер 1963: 20). Выведение из статуса военнопленного в данном случае было уже не привилегией, а скорее формальной прелюдией к переводу в уже созданные к этому

времени еврейские гетто — с последующим разделением ими судьбы гражданских его обитателей^[6].

В конечном счете, из 60–65 тыс. польских военнопленных-евреев до конца войны дожило едва ли несколько сотен человек. Кроме того, выжило большинство из около 1000 польских военнопленных евреев-офицеров. На их жизнь не покушались, и их смертность ничем не отличалась от смертности остальных офицеров (Krakowski 1992:219)^[7].

Советские военнопленные-евреи и точка отсчета Холокоста

С первых же часов войны Третий Рейх не оставлял евреев без своего смертоносного «внимания». Первые убийства советских военнопленных-политкомиссаров и среди них — евреев датируются буквально начиная с 22 июня 1941 г.!

Вот несколько свидетельств такого рода.

В отчете о деятельности отдела «1с» 123-й пехотной дивизии от 22 июня 1941 г. читаем: «Среди взятых в плен русских находился политкомиссар Зарин из 178-го строительного батальона. Согласно приказу, в 20.35 он был, как положено, расстрелян» (БАМА, RH 26-123/143; сообщено Ф. Ремером). Или, в вечернем донесении отдела «1с» 6-й армии в группу армий «Юг» от 23 июня 1941 г.: «22 и 23 июня войсками захвачено и подвергнуто соответствующему обращению 2 политкомиссара» (ВА-МА, RH 20-6/489. В1. 279; сообщено Ф. Ремером). В вечернем боевом донесении Главнокомандования 4-й армии от 27 июня 1941 г. сообщалось о ликвидации, начиная с 22 июня, шести политкомиссаров (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 185. Л. 39–40). Офицер связи отдела «1с» 4-й танковой группы лейтенант Боте (Bothe) докладывал 10 июля 1941 г. в Группу армий «Север» об уничтожении за период с 22 июня (sic!) по 8 июля 101 политкомиссара (см.: Jakobsen 1965: 192–193, dok. 15; см. также: Förster 1983:434–440).

Как видим, убийцами тут являлись никак не профессиональные антисемиты-погромщики из АГ, а исключительно немецкие военнослужащие регулярной немецкой армии. Но в отдельных, географически благоприятных, случаях не отставали и «профессионалы». Так, 22 июня отдел «1с» АК 7 (по всей видимости — АК 7б) доложил в 4-ю армию о ликвидации одного политкомиссара (ВА-МА, RH 20-4/681; сообщено Ф. Ремером).

Кстати, первое массовое убийство гражданских евреев произошло не намного позже — 24 июня, когда около 100 человек было расстреляно зондеркоммандо «Тильзит» в приграничном с Восточной Пруссией литовском местечке Кретинга (или, по-немецки, Гарсден). Расстрел произошел по инициативе начальника АГ «А» Шталеккера,

прибывшего в Тильзит еще 22 июня. При этом сама расстрельная команда состояла в основном из кадров полицейского округа Тильзит, расположенного прямо по соседству — по другую сторону бывшей советско-немецкой границы^[8]. Вместе с евреями тогда расстреляли еще и несколько коммунистов и даже жену бывшего советского коменданта города (Angrick 2003:131).

В конце июня погромы и убийства евреев прокатились по большим городам (Каунасу, Львову, Белостоку и др.), где прямыми убийцами поначалу были не столько сами немцы, сколько местные — главным образом литовские и украинские — националисты-погромщики (разумеется, при полном понимании, благорасположении и прямом подстрекательстве немецкой стороны).

Все это заставляет еще раз вернуться к проблеме хронологического начала Холокоста. Ведь до сих пор принято считать, что геноцид евреев как политическая задача впервые был озвучен только в конце января 1942 г., на конференции в Ваннзее. К. Герлах датирует это же самое декабрем 1941 г. (первоначальным временем, когда должна была состояться встреча в Ваннзее), а К. Браунинг — сентябрем 1941 г., увязывая это решение с началом массовых расстрелов гражданского еврейского населения на оккупированной территории СССР. Так что же — и начало Холокоста в таком случае следовало бы датировать сентябрем, декабрем 1941 г. или даже февралем 1942 г.?

Но как же тогда с уже убитыми к этому времени десятками и сотнями тысяч советских евреев — военнопленных и гражданских? Разве это — еще не Холокост? Неужели все это акты самодеятельности или оплошности подчиненных?

Конечно же, это — Холокост или, точнее, его самая первая стадия (Альтман 2002:193). И невозможно себе представить, что, будучи одной из постоянных в разговорах Гитлера с его ближним кругом, эта тема, а равно и подготовка и «старт» систематического народовбивства не оставили после себя документальных или мемуарных следов. По версии А. Штрайма, прямой приказ об уничтожении евреев был принят всего лишь за несколько дней до нападения на СССР, причем приказ этот, во избежание огласки, был отдан Гитлером устно и спущен вниз — тоже устным способом — через Гимmlера и Гейдриха (Longerich 1992: 85). Так, согласно П. Лонгериху, Гейдрих буквально за несколько дней до 22 июня издал устный приказ об убийстве всех коммунистических функционеров и всех евреев на партийных и государственных должностях.

Согласно П. Лонгериху, анализ «Сообщений о событиях в СССР» (ВАН. R 58. № 214-221^[9]) позволяет выделить следующие две стадии: доклады первых шести недель войны были посвящены исключительно еврейским погромам, инспирированным немцами, но проходившим без прямого немецкого участия^[10], а также массовым расстрелам мирного населения, большую часть жертв которых при этом составляли евреи-

мужчины, при этом вовсе не занимавшие каких-либо государственных или партийных постов (тут следует сделать маленькую оговорку о том, что хронологически первые убийства евреев на территории СССР происходили, как правило, без прямого участия айнзатцгрупп (АГ) и айнзатц-коммандо (АК) еще и потому, что они прибыли на места своей деятельности только в конце июня^[11]). Вторая фаза, по Лонгериху, отличается от первой лишь тем, что с августа 1941 г. расстреливать начали не только евреев, но и евреек и еврейских детей (Longerrich 1992:85-89).

Тем самым никакой прямой связи между «функцией» жертв в советском государстве и их уничтожением не было: на практике срабатывала одна только «привязка» — национальная принадлежность жертв! И это дает П. Лонгериху (а вслед за ним и нам) серьезные основания полагать, что все разговоры о евреях-функционерах, включая и «Приказ о комиссарах» от 6 июня (см. ниже), не более чем ширма для куда более радикального устного приказа, с самого начала предусматривавшего ликвидацию евреев в целом (и поначалу, возможно, ограниченную евреями мужского пола).

Не забудем и то — впрочем, достаточно малоизвестное — обстоятельство, что даже среди советских моряков торгового флота — выходцев из балтийских стран, интернированных тотчас же после (а иногда и до!) объявления войны 22 июня, поводилась своего рода «селекция»: матросов-евреев обособляли и снимали с судов, тогда как неевреев оставляли на месте (Полян 2002:127).

Коль скоро это справедливо для мирного еврейского населения, то тем более это очевидно и для евреев — военнослужащих Красной Армии. *Все они однозначно подлежали ликвидации*, и для этого не нужно было дожидаться ни прибытия айнзатцкоммандо, ни боевых приказов Гейдриха, которые в действительности не более чем упорядочивали этот процесс. *Первыми* из числа советских евреев соприкоснувшись с вермахтом и СС (при сдаче в плен или вскоре после этого), именно *советские военнопленные-евреи* стали первыми по времени жертвами Холокоста в СССР.

И это совершенно принципиальное и до сих пор широко и охотно игнорируемое обстоятельство необходимо особо отметить и еще раз подчеркнуть: Холокост как система физического уничтожения немцами евреев хронологически ведет свое начало именно с систематического убийства евреев-военнопленных!

Советские военнопленные-евреи и нормативная база их убийства

В самом начале весны 1941 г. подготовка Германии ко вторжению в СССР перешла в активную фазу.

Отдел охраны тыла ОКБ под руководством генерала Варлимонта подготовил и передал в штаб ОКБ проект «Директивы об особых областях, согласно указанию № 21 („Барбаросса“)». 3 марта начальник штаба ОКБ Йодль вернул его обратно с пометой о том, что в окончательном тексте фюрер просил бы учесть следующие указания: оперативная полоса сухопутных войск должна быть как можно менее глубокой, за нею следуют области не военного, а гражданского управления (рейхскомиссариаты и пр.), через которые и будут осуществляться политика на востоке^[12]. Эти области насыщаются силами СС, полевой жандармерии и полиции, — войскам же предстоит сосредоточиться главным образом на военных задачах (Jacobsen 1967:143–144).

Указания эти Йодль получил, скорее всего, на встрече с Гитлером и Кейтелем, состоявшейся накануне. Тогда Гитлер, может быть, впервые коснулся вопроса, а что же делать с политическими противниками Рейха в СССР? Его собственная позиция уже вполне сформировалась: это будет борьба мировоззрений, борьба не на жизнь, а на смерть, поэтому — политических врагов следует уничтожать под корень, безо всякой оглядки на международное право. Из этого вытекала важность роли «чистильщика», которую фюрер отводил Гиммлеру и СС. В то же время тема экзекуций с самого начала не упускалась из виду и на сугубо военных подготовительных совещаниях.

Действия АК координировал непосредственно Гиммлер, в каждый отдел «1с» (контрразведка) армейского уровня он направляет связного офицера СС (рангом не выше начальника «1с»), но при этом экзекуции настолько, насколько это было возможно, осуществлялись не на глазах у войск. От имени своей группы армий Шах фон Виттенау потребовал ускоренного структурирования групп армий и доукомплектования частей полиции безопасности (в том числе для обеспечения безопасности войск на марше), а также максимально четкого распределения обязанностей и полномочий между ними и СС (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 209. Л. 121; см. также: Verbrechen der Wehrmacht 2002:57, факсимиле со ссылкой на: РГВА. Ф. 1303. Оп. 1. Д. 41. Л. 41).

Неделей позже, 13 марта, переговоры продолжились на куда более высоком уровне. ОКБ (Кейтель), ОКХ (Э. Вагнер), СС (Гиммлер) и РСХА (Гейдрих) обсуждали практически то же самое — распределение компетенций и обязанностей на оккупированной советской территории. Учитывая как указания Гитлера^[13], так и пожелания Шаха фон Виттенау, новый проект, с одной стороны, предоставлял СС и АГ полную самостоятельность в вопросах карательной политики против местного населения, но с другой стороны — действовать они должны были по возможности скрытно и вне войсковых соединений ОКХ^[14].

Это «вне войсковых соединений», по замечанию Р. Огоррека, подчеркивало попытку армии (и прежде всего ОКХ) как можно более дистанцироваться от карательных органов. Деятельность последних регламентировалась строго фиксированными рамками и ограничивалась исключительно глубокой тыловой зоной сухопутных войск^[15].

Карательная же функция непосредственно в армейском тылу закреплялась за соединениями полиции безопасности (зипо) и СД, которым в этой связи присваивалось специальное обозначение «особые команды» (Sonderkommando, или ЗК). В их функции в первую очередь входили устройство гетто и «гражданских лагерей», охота за особо важными функционерами, архивами и картотеками враждебных Рейху организаций, действовавших в ближайшем тылу. Задача же физической расправы над евреями, в отличие от круга задач АГ и АК, хотя и не была им противопоказана, но фактически не была первостепенной, и часто палачами подготовленных ЗК жертв были не они, а как раз подоспевшие следом АГ и АК (Gerlach 1999:540).

25 марта Вагнер и Гейдрих встретились вновь. Результатом их переговоров стал новый проект указа об урегулировании деятельности полиции безопасности и службы безопасности в соединениях сухопутных сил от 26 марта.

Подготовленный ОКХ и РСХА проект указа был подписан командующим ОКХ фон Браухичем 28 апреля без каких бы то ни было изменений в тексте (International Military Tribunal, Nürnberg. Doc. NOKW 2080; рус. пер.: Наумов II: 122–123, № 417). Фактически указ означал и то, что АГ и АК могут приступать к своим «спец-операциям» только с известным запаздыванием по фазе, поскольку тыл сухопутных войск может возникнуть лишь тогда, когда сами войска продвинутся на значительное расстояние вперед.

И действительно, известны случаи, когда на обращения руководителей АГ о заблаговременном их перебазировании в районы будущей деятельности военные отвечали отказом, ссылаясь на регламентирующее соглашение от 28 апреля 1941 г., а также на то, что тыловая зона сухопутных войск, где им надлежало бы действовать, еще не сформировалась^[16].

Это — исключительно важное обстоятельство, и оно нуждается в определенном осмыслении. Оно означает, что между карательной деятельностью АГ и наступательными операциями вермахта принципиально обязательно существовал некий временной лаг запаздывания, величина которого зависела, во-первых, от скорости продвижения вермахта вперед, как, впрочем, и от того, наступает ли он вообще. Из этого же априори следует, что деятельность АГ и АК на оккупированной территории СССР могла начаться не ранее, чем тыловая зона сухопутных войск впервые сформируется, а это — даже в условиях триумфального продвижения вперед — все же требовало

определенного времени. Тем самым АГ и АК никак не могли входить — и не входили — в число палачей евреев из мирного населения, убитых в первые же дни войны^[17].

И действительно, хорошо документированная история первоначального выдвижения АГ и АК говорит о том, что все они прибыли в места изначальной дислокации самое раннее 28–29 июня (правда, к выполнению своих обязанностей они приступили сразу же).

Однако «цена» недопущения АГ и АК в оперативную зону и ближний тыл оказалась высокой: немалую толику задач по первоначальному выявлению и уничтожению врагов Рейха в этих районах, не говоря уже о селекции военнопленных, вермахту пришлось брать на себя (подробнее см.: Ogorreck 1996: 27–42). Именно активного соучастия в ликвидации «большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции» жестко потребовал от вермахта Гитлер в своей программной пламенной речи, произнесенной перед высшими офицерами 30 марта 1941 г.

В тот же вечер Гальдер записал в боевом дневнике: «Точно так же как политических функционеров, так и войсковых комиссаров после их пленения надлежит отделять от других военнопленных и передавать айнзатцгруппам СД... Там, где такая передача по военным обстоятельствам невозможна, функционеры и комиссары должны расстреливаться войсками» (Grainer 1951: 371).

Тогда, собственно, и была озвучена идея будущего приказа о комиссарах (Ogorreck 1996: 39–40; Schramm 1965: 337, запись от 30 марта 1941 г.). Уже завтра, 31 марта, ОКХ получило задание разработать проект директивы об обращении с захваченными в плен политработниками. Над проектом работали начальник Отдела войск противника на Востоке ОКХ генерал-лейтенант Э. Мюллер и его советник по правовым вопросам д-р Латтман (Förster 1983: 436). Генерал Гальдер, начальник штаба ОКХ, просуммировал их результаты одной фразой: «В восточной кампании войскам придется принять участие в борьбе мировоззрений» (цит. по: Ibid 436, запись от 6 мая 1941 г.) — и, кажется, тут имелись в виду не философские диспуты!^[18]

Результаты работы ОКХ, надо полагать, поступили и в ОКБ, где велась и своя работа над соответствующими проектами. 12 мая генерал Варлимонт докладывал в Берлине начальнику штаба вермахта генерал-полковнику Йодлю соображения об обращении с политическими и военными руководителями, взятыми на востоке в плен. Проект Варлимонта не только не рассматривал их как пленных, но и предусматривал их физическое устранение, причем право принятия конкретного решения о расстреле предоставлялось всем офицерам вермахта, правомочным накладывать дисциплинарные взыскания, а основанием, достаточным для принятия такого решения, являлось бы любое подтверждение самого факта принадлежности к политорганам Красной Армии (в том числе и самое простое — по форме одежды).

Другое дело, что операции такого рода должны были вестись не в ущерб самим боевым действиям, — вопросы жизни и смерти конкретных политкомиссаров можно было немного и отложить. Но, самое позднее, они должны были уничтожаться в дулагах: их транспортировка в глубокий тыл и тем более в Рейх не предусматривалась. Задача выявления политработников в тылу (за исключением политработников из числа военнопленных) также доверялась «специалистам» из АК.

Из наброска Варлимонта явствует, что в это же время существовал еще и альтернативный проект — памятка № 3 рейхсляйтера А. Розенберга: она предусматривала ликвидацию только высших и крупных чиновников при оставлении в живых средних и мелких — в интересах хозяйственного управления оккупированными территориями.

Поэтому Варлимонт предлагал вынести на решение фюрера следующие принципы: а) политкомиссары в войсках безоговорочно подлежат уничтожению; б) с политическими и хозяйственными руководителями надлежит обращаться в зависимости от их враждебности по отношению к оккупационным властям: враждебных, в соответствии с приказом «Барбаросса», рассматривать как партизан и уничтожать, а внешне лояльных — временно оставлять и передавать в руки ЗК, компетентных разобраться в каждом конкретном случае. Начальник штаба ОКБ Йодль отреагировал на записку Варлимонта так: «Следует считаться с возможностью репрессий против германских летчиков. Лучше всего поэтому представить все это мероприятие как расплату»^[19].

В то же время нельзя не отметить той осторожности и постепенности, с какими вермахт, в отличие от НСДАП, СС или РСХА, допускал в свои нормативные акты прямые указания на их смертоносный антисемитизм. Военные ограничивались, по возможности, эвфемизмами типа «особые операции по заданию фюрера», «специальное обхождение» и т. д. Что бы ни обсуждалось в марте и апреле между вермахтом, СС и РСХА, как бы зажигательно ни говорил Гитлер 30 марта, — первые антисемитские пароли в письменной форме в делопроизводстве вермахта датируются только началом мая.

Так, в приказе командующего 4-й танковой группы Гепнера от 2 мая 1941 г. о предстоящих боевых действиях на Востоке говорится как о борьбе германцев со славянами и об «отпоре еврейскому большевизму» (ВА-МА. LVI АК, 17956/7а; рус. пер.: Наумов II: 151, № 432)^[20]. В датированном 6 мая наброске приказа об обхождении с враждебно настроенными местными жителями на оккупированных территориях упоминается беспощадное подавление любых носителей «еврейско-большевистского мировоззрения» среди гражданского населения (см.: Jakobsen 1965:175–176)^[21].

Последний набросок являлся одним из подготовительных документов к Указу Гитлера «О применении военной юрисдикции и об особых мероприятиях войск» от 13 мая 1941 г.^[22] Он освобождал военнослужащих вермахта от всякой судебной ответственности в оперативной зоне войск и практически являл собой самую настоящую индульгенцию на любое убийство или насилие против советских граждан.

Интересно, что в окончательном тексте самого Указа «большевистское влияние» осталось, а вот упоминание «еврейскости» исчезло (Jakobsen 1965:181–184, № 8; рус. пер. с датой 13 мая 1941 г.: Первые дни войны 1989: 52–54, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 564. Л. 23–26). А ведь это Указ, до середины июля прослуживший юридическим «прикрытием» для множества акций против евреев как из числа военнопленных, так и из местного населения!

Евреи же как таковые, безотносительно к большевистской идеологии, впервые упоминаются и вовсе только 4 июня 1941 г. — в «Инструкции о поведении войск в России»:

...

«1.1. Большевизм — смертельный враг национал-социалистического немецкого народа. Это разрушительное мировоззрение и его носители заслуживают того, чтобы Германия дала им бой;

2. Эта борьба потребует безоглядных и энергичных действий против большевистских поджигателей, партизан, саботажников, евреев и уничтожения без остатка любого активного и пассивного сопротивления с их стороны...» (Jakobsen 1965:187–188).

А двумя днями позже — 6 июня — была выпущена знаменитая «Инструкция по обхождению с политическими комиссарами», более известная как «Приказ о комиссарах»: «В борьбе с большевизмом на поведение врага в соответствии с принципами человечности или международного права *рассчитывать не приходится*. В особенности от *политических комиссаров всех мастей* как носителей духа сопротивления следует ожидать исполненного ненависти, жестокого и бесчеловечного отношения по отношению к нашим военнопленным. [Поэтому] войска должны сознавать: в этой борьбе по отношению к этим элементам нет места пощаде и оглядке на международное право. <...> Поэтому, схваченных в бою или при сопротивлении, их следует, как правило, уничтожать на месте, применяя для этого оружие» (цит. по: Jakobsen 1965:188–191)^[23].

За несколько дней до нападения «Приказ о комиссарах» зачитывался в войсках, причем его интерпретация была доверена

средним командирам. Их понимание задачи нередко было куда как более широким, нежели сам приказ.

Так, рядовой Руди Махке, попав в плен, в частности, показал: «Наш капитан Финкельберг делал в нашей роте доклад о Красной Армии за два дня до начала похода. Кратко были обсуждены знаки различия, затем он сказал, что в плен никого брать не нужно — это лишние едоки и вообще это раса, истребление которой является прогрессом. Комиссары, которых можно узнать по советской звезде на рукаве, настоящие черти в образе человеческом и их нужно истреблять, без колебаний расстреливать. Невыполнение этого приказа будет стоить жизни нам самим» (ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 148. Д. 44. Л. 15а, 15б; собственноручные показания и перевод, без даты).

Тут, кстати, существенна именно сама по себе широкая свобода «интерпретации» приказа офицерами вермахта. Так что не следует переоценивать то обстоятельство, что евреи как таковые в «Приказе о комиссарах» даже не названы. Отмеченная только что свобода «интерпретации» с лихвой выправляла этот «недостаток».

К тому же есть основания полагать, что под комиссарами не в последнюю очередь в виду подразумевались именно евреи или, по крайней мере, в том числе евреи. Сплав «комиссарского» с «еврейским» непосредственно в головах разработчиков «Приказа о комиссарах» характеризует одна прелюбопытнейшая фраза, всплывшая при обсуждении проекта ОКХ в Отделе у Э. Мюллера еще 26 мая: «Многие не-еврейские комиссары несомненно всего лишь попутчики и не являются приверженцами коммунистической идеи» (Förster 1983: 436, со ссылкой на: ВА-МА. RH 19. III. № 722). Ю. Ферстер резонно усматривает в этом свидетельство типичности такого рода отождествления большевизма и еврейства.

Определенно восходя к стереотипам антисоветской пропаганды еще середины 1930-х гг.^[24], когда ведомство Геббельса охотно оперировало словами «жиды», «комиссары» и «большевики», как синонимами, такое отождествление было само собой разумеющимся и чуть ли не общим местом. Замороженные на двухлетие германо-советской дружбы, эти стереотипы были вновь подхвачены немецкой пропагандой накануне нападения на СССР. В первом же пункте датированных 10 июня 1941 г. и подписанных командующим ОКХ Йодлем «Указаний по пропагандистской деятельности в случае „Плана Барбаросса“» говорится: «Врагами Германии являются не народы Советского Союза, а исключительно жидо-большевистское советское правительство со своими функционерами и Коммунистической партией, вынашивающими планы мировой революции» (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 209. Л. 10). Поэтому на эзоповом языке национал-социалистической идеологии за словом «комиссар» просвечивало слово «еврей» точно так же, как из словосочетания «особое обращение» проступало «убийство».

К. Браунинг довольно тонко заметил, что если при нападении на Польшу расправа с польскими евреями еще могла подождать до того момента, когда закончится истребление польской национальной интеллигенции, то в случае нападения на СССР ни евреям, ни большевикам уже не приходилось «ждать» друг друга: «И за теми, и за другими айнзатцкоммандо охотились с одинаковым энтузиазмом, ибо и те, и другие являлись для них биологической и политической манифестацией все одного и того же — а именно „жидобольшевистского заговора“» (Browning, 1989:780)^[25].

8 июня свой приказ, соответствующий «Приказу о комиссарах» (но с грифом: «Приказ ОКБ»), выпустил и главнокомандующий ОКХ фельдмаршал фон Браухич, спустив его тем самым до армейских групп, армий и танковых групп (далее предусматривалась только устное оповещение) (Jacobsen 1967). Он сделал в нем два существенных пояснения, призванных удержать возможный произвол войск хоть в каких-то рамках: первое предусматривало со стороны военнопленного действия или отношение, однозначно направленное против вермахта, а второе предписывало осуществлять экзекуции, по возможности, вне зоны боя и только по приказу офицера. 10 и 11 июня Мюллер собрал офицеров отдела «1с» и войсковых судей уровня групп армий и армий у себя в отделе, вручил им копии приказа фон Браухича и проинструктировал (далее им предстояло самим инструктировать нижестоящих) (Förster 1983:438).

Тем не менее, даже с учетом пояснений ОКХ, из текста «Приказа» многое оставалось так и не ясным. Например: в какой степени сфера его действительности распространялась и на гражданских партийных руководителей, которых рекомендовалось расстреливать лишь в том случае, если они участвовали в боевых действиях, актах саботажа и т. д.? Другой неясный вопрос: до какого войскового уровня дотягивалось, в немецкой интерпретации, понятие «комиссар»? Ведь на уровне рот, батарей и эскадронов существовали не комиссары, а политруки, и на них действие «Приказа о комиссарах» было распространено только в августе 1941 г. (Ibid., 439, со ссылкой на: ВА-МА. RH 26-22. № 66, 67). Важнейшим признаком установления комиссарства считалось наличие на рукавах гимнастерок красных звездочек с золотистыми серпом и молотом, но точно такие же звездочки носили и военные корреспонденты, начальники клубов и домов офицеров, армейские артисты и музыканты. Как тут быть? (Лужеренко 1989:173).

Склонность трактовать этот приказ расширительно проявилась и в распространении его в некоторых случаях на всех евреев вообще^[26]. Так, известно, что офицер отдела «1с» 22-й пехотной дивизии инструктировал 20 июня адъютантов командиров нижестоящих соединений — и чему? — «Обхождению с политическими комиссарами,

евреями и прочими пленными» (Förster 1983: 439, со ссылкой на: ВА-МА.РН 26-454/ № 6).

Другой пример. Начальник Отдела по делам военнопленных Данцигского военного округа генерал-лейтенант в отставке К. фон Остеррайх показывал после войны, что 24 июня 1941 г. он получил из ОКБ «Приказ о комиссарах», подписанный начальником Управления ОКБ по делам военнопленных генералом Рейнекке (Reinescke), в котором, как ему помнилось, немецким войскам и администрации лагерей для военнопленных приказывалось поголовно расстреливать русских военнопленных, принадлежащих к политическому составу Красной Армии, коммунистов и евреев. То, как запомнился ему этот приказ, куда важнее того, что в нем действительно было или чего не было (показания от 28 декабря 1945 г.: ВИЖ. 1991. № 3. С. 39–40, со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 103. Л. 137–144; публ. С.В. Биленко, А.В. Костенецкого).

Точно такая же «ошибка» зафиксирована и в следственном деле Вернера Фридриха, бывшего члена штаба 17-й армии. Его обвинили в дальнейшей передаче нижестоящим частям 17-й армии Приказа о комиссарах от 6 июня 1941 г., обозначенного тут же как Приказ о селекции и казни советских военнопленных еврейского происхождения, политкомиссаров и так называемых «невыносимых элементов» в лагерях (IfZ, München. Gn 02.42. Vorermittlungsverfahren 319 AR — Z 46/76 — АОК 17). На это же указывал в своих показаниях 1948 г. и штурмбаннфюрер СС Курт Линдов, в 1942–1944 гг. возглавлявший реферат IVA «1с» в Имперском Главном управлении безопасности (RSHA), занимавшийся вопросами военнопленных. Именно его реферат готовил приказы и расстрельные списки на военнопленных, уходившие потом в шталаги и концлагеря за подписью начальника Отдела IV Генриха Мюллера (Jacobsen 1967:223–225).

В добавлениях к «Приказу о комиссарах», выпущенных всего двумя днями позже, т. е. 8 июня, уточнялось, что расстреливать на месте следует не всех комиссаров, а только тех из них, кто вел себя по отношению к вермахту явно или нарочито враждебно. Это поправка была спасительной, но не для евреев, а лишь для части нееврейских политкомиссаров.

Интересно, что в «Указаниях по использованию русских военнопленных», изданных Кейтелем 8 июля, в конце сообщается: «... Особенности обращения с военнопленными в зависимости от их национальности настоящими <указаниями> не затрагиваются» (Полян 2002: 59). Это можно интерпретировать двояко: или эти «особенности» еще предстоит сформулировать в самом ближайшем будущем, или они считаются уже сформулированными, например, в той же «Инструкции о поведении войск в России» или в «Приказе о комиссарах».

Полностью нельзя исключать и существование какого-то иного, неназванного, приказа. Ведь то обстоятельство, что тот или иной

документ не обнаружен, еще не означает того, что его и не было. Так что не стоит исключать и отдачу приказа устным образом, как это часто практиковалось в Рейхе в особо деликатных случаях (см. ниже).

Из четырех первоначальных начальников АГ живым и дееспособным до Нюрнбергского трибунала дотянул один лишь Отто Олендорф (АГ «D»). Выступая 3 января 1946 г. на Главном Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля, он показал, что за 3–4 дня до отправки на восток в Претш приехал его начальник, руководитель I отдела РСХА бригаденфюрер СС Бруно Штрекенбах и, собрав начальников АГ и АК, объявил им устный приказ Гитлера общего характера об убийстве всех евреев, какие только попадутся в СССР на пути (а также некоторых других частей советского населения). Олендорф, и не он один, указывал также и на встречу 17 июня в Берлине, на которой Гейдрих дал общую установку относительно их действий в предстоящей войне (см.: Ogorreck 1996:47–52).

Определенный временной лаг-отставание был неизбежен и в деятельности зондеркоммандо, действовавших в ближайшем тылу отдельных сухопутных соединений. В первую очередь им предстояло участвовать в налаживании военной администрации, устраивать гетто и «гражданские лагеря», охотиться за функционерами, архивами и т. п. Задача же физической расправы над евреями фактически не была для них первостепенной, и часто палачами подготовленных зондеркоммандо жертв были не они, а АГ и АК (Gerlach 1999:540).

В самые первые дни войны не только евреи, но и любые другие советские военнопленные, в том числе и перебежчики, формально-юридически стали жертвами не столько «Приказа о комиссарах», сколько «Инструкции о поведении войск в России». Только в области группы армий «Центр» на территории Белоруссии известны случаи расстрела рядовыми и унтер-офицерами вермахта многих сотен военнопленных, не оказывавших им при этом ни малейшего сопротивления.

Но выморочное право на бесконтрольное и бессмысленное убийство было чревато потерей боевой дисциплины, и наиболее дальновидные старшие офицеры иногда приказывали их прекратить. Так поступил, например, 25 июня 1941 г. командир XLVII танкового корпуса генерал И. Лемельзен. Но при этом он оговорил, что его приказ не распространялся на две категории неприятеля — на партизан и на комиссаров (Ibid., 774–775). Поскольку никаких партизан 22–25 июня еще и в помине не было, то в качестве единственных «легитимных» жертв — причем с первого же дня и первого боя — фигурировали одни «комиссары». Последние же, напомним, пропагандистски ассоциировались и отождествлялись именно с евреями. Недаром в листовках Министерства пропаганды усиленно муссировался тезис, что в Красной Армии три политкомиссара из четырех — евреи (см., например: Шнеер II: 158, со ссылкой на Архив Яд Вашем, М.41/1011)!^[27]

Так что идея официального распространения смертоносности «Приказа о комиссарах» на всех советских военнопленных еврейской национальности, как говорится, витала в воздухе. И уже в «Боевом приказе» руководителя РСХА Р. Гейдриха № 8 от 17 июля 1941 г. (см. ниже) невинности или двусмысленности не оставалось места, здесь все это было прописано с подобающей четкостью.

Иными словами, — начиная по меньшей мере с 17 июля, — все пленные евреи-красноармейцы — неважно, комиссары они или нет — однозначно подлежали *ликвидации на месте*. И, если, согласно приказу о комиссарах, АГ и АК также участвовали в процессе расправы над комиссарами, но только в тылу сухопутных войск (а стало быть, все-таки не сразу, а спустя определенное время после начала войны), то вермахт как таковой форсировал этот Рубикон, уже будучи запрограммированным на искоренение комиссаров-евреев и с индульгенцией за это убийство в кармане — в виде приказа «Барбаросса».

Из описанной административно-временной раскладки вытекают два принципиальных вывода.

Первыми по времени палачами военнослужащих-евреев в геноцидальной германо-советской войне стали военнослужащие вермахта.

Их первыми де-факто еврейскими жертвами в этой войне стали советские военнопленные-евреи, а их первыми жертвами де-юре — евреи-политработники.

До недавнего времени считалось, что ликвидация зазора между этим «де-юре» и «де-факто» состоялась только с отдачей Гейдрихом своего «Боевого приказа № 8» от 17 июля 1941 г. Этот приказ распространил смертельную опасность вообще на всех вызывающих подозрение лиц — как военнопленных, так и гражданских. При этом особенно важно, что именно в этом приказе евреи (любые евреи!) впервые названы по имени «как целевая группа», предназначенная для ликвидации.

Может показаться, что приказ Гейдриха целил прежде всего в гражданских лиц, но это не так: как бы во избежание этого впечатления одновременно с ним было издано три приложения (рус. пер.: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 357. Л. 1-12).

Первое из них — это «Инструкция по фильтрации гражданских лиц и подозрительных военнопленных, захваченных в войне на Востоке, в лагерях для военнопленных на оккупированной территории, в зоне военных действий, в Генерал-Губернаторстве и в лагерях на территории Рейха». Всех собранных в «русских лагерях» надлежало рассортировать на пять групп и, соответственно, лагерных зон: 1) гражданские лица; 2) военнопленные (включая и тех, что переоделись в гражданскую одежду; по-европейски выглядящих пленных надлежало отделять от выглядящих по-азиатски); 3) политически

неприемлемые лица из первых двух групп; 4) лица из первых двух, представляющиеся заслуживающими внимания и пригодные для использования при возрождении занятых территорий; 5) лица немецкой национальности из состава первых двух групп.

Кто же относился к «политически неприемлемым» из третьей группы? На кого охотились спецы из СД и завербованные ими стукачи из четвертой группы?

Ответ на эти вопросы содержит «Инструкция для команд, направляемых начальником зипо и СД в шталаги», она же приложение 2 к «Боевому приказу № 8»: «Прежде всего выявлению подлежат: все сколь либо значительные деятели партии и государства, в особенности профессиональные революционеры; деятели Коминтерна; сотрудники центральных, краевых и областных организаций коммунистической партии; все народные комиссары и их заместители; все бывшие политкомиссары Красной армии; руководители госучреждений верхнего и среднего звена; руководящие работники народного хозяйства; советско-русские интеллигенты; *все евреи* (курсив наш. — П.П.); все подстрекательски или фанатично настроенные коммунисты» (Jacobsen 1967:203; рус. пер.: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 357. Л. 8-11).

Итак, предпоследней категорией среди них значатся — «все евреи»! Но не менее выразительной является и следующая цитата из инструкции: «В конечном счете при принятии решений необходимо учитывать национальную принадлежность».

Эта инструкция была согласована РСХА и ОКБ буквально накануне, 16 июля 1941 г. Интересно, что среди материалов, подготовленных американской стороной к Нюрнбергскому процессу, но не опубликованных в его материалах, имеется и проект этой инструкции, датированный еще 28 июня 1941 г. (IfZ. Dok. PS-078. Bl. 1-3). Существенными отличиями окончательной редакции от проекта являются разве что отсутствие в проекте указания на параллельную позитивную задачу по выявлению среди военнопленных еще и тех, кого можно было бы привлечь к решению административно-хозяйственных задач на оккупированных территориях СССР, а также части требований по характеру письменной отчетности^[28].

Третьим приложением был список из 14 офлагов и шталагов на территории I военного округа (Восточная Пруссия) и Генерал-Губернаторства. Относительно дулагов в оперативной зоне отмечалась подвижность их местоположения и рекомендовалось справляться о них в службе генерал-квартирмейстера (ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 357. Л. 12).

Действенность самого «Боевого приказ № 8» первоначально была ограничена территорией оперативной зоны ОКХ, I Военного округа и Генерал-Губернаторства. «Боевой приказ № 9» от 21 июля 1941 г. распространил его положения на всю территорию самого Рейха (Jacobsen 1965: 205-207). Применительно к военнопленным и с учетом

расплывчатости или недостижимости остальных категорий, приказы № 8 и № 9 являлись, по существу, окончательными смертными приговорами всему политсоставу Красной Армии^[29] и всем военным служащим-евреям, независимо от должности и военной специальности^[30].

Впоследствии слово «евреи» практически исчезло из лексикона нормативных актов о советских военнопленных^[31].

В соответствии с приказами, политруков и евреев уничтожали непосредственно на поле боя, причем независимо от военного звания: никакой регистрации при этом, естественно, не было. Но нередко смерть откладывалась и ожидала их несколько позже — после соблюдения ряда процедур, как то систематическая проверка (Überprüfung) и даже дополнительное установление факта еврейства. В таких случаях отобранных евреев, как правило, изолировали в специально отгороженных отсеках лагерей, бараках или палатках.

Сведениями о какой бы то ни было именной регистрации военнопленных-евреев, дожидавшихся своей участи в дулагах, мы не располагаем, но в шталагах такая регистрация производилась (не говоря уже о случаях «разоблаченных» евреев). Судьба «отобранных» тем самым была уже предreshена — смерти они были обречены. Расстрелять их могли — в зависимости от обстоятельств — и через день-два, и через несколько месяцев. В случае такой отсрочки военнопленных-евреев, как правило, помечали: на гимнастерку или на шинель нашивались желтые шестиконечные звезды. Нередко их маркировали и по-другому, например, «звездами Давида», нарисованными масляной краской на гимнастерках, или белыми четырехугольными лоскутами^[32]. Сама казнь происходила в таком случае несколько позже — в сборных или даже в стационарных лагерях (а если на территории Германии — то в концлагерях).

Теме обращения с военнопленными-евреями было посвящено даже специальное заседание в июле^[33] у начальника Управления ОКВ по делам военнопленных генералом Г. Рейнеке с участием начальника IV Управления РСХА (гестапо) обергруппенфюрера Мюллера, начальника управления лагерей для военнопленных ОКВ полковника Ганса-Иоахима Брейера (Breuer) и представителя абвера полковника Эриха Лахузена (Lahusen). От имени своего ведомства и своего шефа, адмирала Вильгельма Франца Канариса, Лахузен выразил несогласие с деморализующей практикой расстрела военнопленных на глазах у немецких войск; к тому же это было чревато лишними потерями немецких солдат, ибо отбивало у красноармейцев охоту сдаваться в плен; да и вербовка агентов в среде военнопленных была этим сильно затруднена. Рейнеке и Мюллер резко возражали Лахузену, но прилюдные казни распорядились прекратить^[34]. Но, разумеется, не сами казни!

Несколько других попыток высокопоставленных военных отменить приказ о комиссарах в 1941 г. также не возымели эффекта (см., например: Antrag des OKH an das OKW v. 23.09.1941 auf Überprüfung der Notwendigkeit des Komissarbefehls, mit Ablehnung; факсимиле: Streim 1982: 226–228, Dok. II.2). Фактически он был все же отменен, но только в мае или июне 1942 г. и только частично: разоблаченная принадлежность к политкадрам Красной Армии как таковая более не каралась смертью, а вот разоблаченное еврейство, как и прежде, — каралось^[35].

Тем самым была еще раз подчеркнута доминанта неприемлемости расового врага даже над таким фундаментальным признаком, как неприемлемость врага политического.

Палачи

В боевой обстановке и непосредственно в момент пленения решения о расстреле на месте могли приниматься на самом низком уровне — для этого было достаточно офицерского приказа, причем без какого бы то ни было утруждения военно-судебных структур вермахта^[36].

Сама же установка в общих чертах была прописана в специальной «Инструкции для особых областей» от 13 марта 1941 г., являвшейся органической частью «Плана Барбаросса», а также в специальном соглашении между ОКХ, СС и РСХА^[37] от 28 апреля 1941 г., регулировавшем взаимоотношения и взаимодействие сухопутных войск и войск СС (см.: Streit 1991: 32; Streim 1981: 72–73).

В соответствии с этими директивами в мае 1941 г. в трех тишайших саксонских городках на Эльбе (Претш, Дюбен и Бад-Шмидеберг) были созданы, быть может, одни из самых страшных войсковых соединений в мировой военной истории — *айнзатцгруппы*, или оперативные соединения, предназначенные для обеспечения активной карательной политики Третьего Рейха в войне с СССР (своего рода «эскадроны смерти»). Каждая АГ состояла из зондеркоммандо и айнзатцкоммандо: первые действовали в ближайшем тылу отдельных армий, а вторые — в более глубоком тылу сухопутных войск (Klein 1996: 19). В задачи ЗК входило участие в налаживании военной администрации, устройство гетто и «гражданских лагерей», охота за функционерами, архивами и т. п. Как таковая задача физической расправы над попавшими в их руки евреями фактически не была для них первостепенной, и часто палачами подготовленных ими жертв были не сами ЗК, а подоспевшие АК. Но иногда, как в случае расстрела евреев Кретинги 24 июня, именно они брались за эту «задачу», притом с подобающим энтузиазмом.

Задача эта была четко увязана со стратегическим построением сил вермахта. Так, группам армий «Север», «Центр» и «Юг» соответствовали оперативные группы «А», «С» (начиная с 11 июля переименованная в «В») и «В» (тогда же переименованная в «С»), а оперативному району 11-й армии, охватывавшему юг Украины и Северный Кавказ, была придана оперативная группа «D». Численный состав отдельных АГ составлял от 500 до 800 чел., причем штаты этих формировались из сотрудников РСХА (крипо и зипо) и СД, а также из нескольких приданных каждой из них резервных батальонов полиции и батальонов СС.

14 июня 1941 г. генерал-квартирмейстер Вагнер определил Данциг, Позен и Катовице в качестве исходных рубежей АГ, куда они должны были прибыть не позднее 25 июня. К этому времени начальники тыловых зон сухопутных войск должны были бы сообщить им время и место их передислокации на территорию СССР (Ogorreck 1996: 46, со ссылками на: ВА-МА, RH 2/2082, В1.130-139). В действительности все произошло несколько иначе: в войска большинство АК прибыли самое раннее в последние дни июня, и хотя и приступили сразу же к исполнению своих палаческих «прямых обязанностей», но расстреливать систематически и массово начали только в июле-августе (Hilberg 1999: 307).

Именно им, этим «эскадронам смерти», предстояло героически бороться в тылу вермахта с тысячами и миллионами еврейских женщин, стариков и детей. Впрочем, не им одним: усилия этих нескольких тысяч убийц-профессионалов не были бы столь эффективны, когда бы не опора на местных палачей-«любителей» из антисемитов — донощиков и лагерных полицаев.

На своих штандартах айнзатцкоммандо вполне могли бы начертать и следующий шедевр геббельсовской пропаганды: «Бей жида-политрука, морда просит кирпича!»

Но на практике все-таки требовалась интерпретация этого двусмысленного, причем конкретизации подлежали оба элемента его изысканной рифмы. Во-первых, кто такой «жид-политрук»? Иными словами, какие категории лиц среди военнопленных следовало бы в процессе чисток выявлять? А во-вторых — «кирпич»: что же именно с «жидами» делать?

Впрочем, геноцидальное начало политики вермахта по отношению к советским военнопленным не ограничивалось отношением к евреям-военнопленным, а шло значительно дальше — на первом этапе боевых действий имея негласной целью косвенное уничтожение как можно большего числа советских военнопленных как контингента (инструментом такого уничтожения было нарочито пассивное отношение к причинам и факторам их колоссальной смертности осенью и зимой 1941 г. — голоду, холоду, эпидемиям, условиям транспортировки и содержания).

Исключение делалось для представителей расово близких или дружественных народов. Так, в самом начале войны имело место даже массовое *увольнение военнопленных из плена и перевод их в гражданский статус* (Полян 2003:97–98).

Так, 25 июля 1941 г. был издан приказ генерал-квартирмейстера вермахта Вагнера об освобождении из плена представителей ряда «дружественных» национальностей, как то: немцев Поволжья, прибалтов, украинцев, а также белорусов (Гриф секретности 1993: 334, со ссылкой на: BA, RH-23/5-155, RH-53-23/65, R-41/168, H-3/729)^[38]. Согласно распоряжению ОКВ от 14 октября 1941 г., военнопленные подвергались проверке и сортировке в случае их принадлежности к фольксдойче, украинцам, белорусам, грузинам или финнам (Polizeiverordnung über die Kenntlichmachung der im Reich befindlichen Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen vom 19.6.1944; см.: Gatterbauer 1975:174, со ссылкой на: Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes in Wien, Akt № 8394). В официальной статистике ОКХ освобожденных из плена фигурировали литовцы, латыши, эстонцы, украинцы, румыны, финны, фольксдойче, белорусы, «кавказцы» и «туркестанцы» (см.: BA-MA, RH 3/V.180).

В середине ноября 1941 г. имела хождение немецкая листовка, на одной стороне которой были изображены военнопленные, радующиеся своему освобождению из плена, и следующий текст: «Вот это правда! Военнопленные уже освобождаются и идут по домам. Чего ж долго думать? Перебегайте к нам! Вы тоже скоро будете дома!», а на другой — образец выдававшегося дулагом «Удостоверения об освобождении» (Entlassungsausweis). В «Удостоверении», которое полагалось постоянно носить при себе и предъявлять по первому требованию любого военнослужащего вермахта, были сформулированы условия, на которых военнопленный отпускался из плена: никаких враждебных действий против немецкого народа (читай: вермахта), его союзников и дружественных народов; до дома добираться — кратчайшим путем и в течение 8 дней зарегистрироваться в ближайшей немецкой комендатуре; смену местожительства осуществлять только с разрешения немецких властей; в случае, если освобождение из плена состоялось как раз по местожительству военнопленного, то при регистрации надлежит сдать всю имеющуюся красноармейскую экипировку (Kirschner 1987: 160). Часть из них, похоже, позднее были завербованы на работы в Рейх как гражданские лица: тех же, кто «не оправдал доверия» и бежал с места работ или уходил к партизанам, жестоко наказывали^[39].

Действие приказа от 25 июля было приостановлено 13 ноября 1941 г.^[40] — по крайней мере, применительно к украинцам и белорусам (Pfahlmann 1968: 58). Тем не менее освобождение из плена — и по несколько тысяч человек в месяц — продолжалось и в 1942 г., и его действием суммарно было затронуто 318,8 тыс. чел. (см.: Гриф

секретности 1993:334, со ссылкой на: ВА, RH-23/5-155, RH-53-23/65, R-41/168, H-3/729)^[41].

Нередко привилегия быть освобожденным из плена оплачивалась ценой предательства и выдачи немцам евреев и комиссаров^[42]. Кстати, среди сумевших примазаться к привилегированным национальностям и получить таким образом освобождение были, разумеется, и... евреи. Так, Абрам Резниченко (он же Аркадий Резенко) из Хорольского лагеря, узнав, что из села Лохвицы в лагерь приехал староста забирать «своих», — рискнул и выдал себя за «лохвицкого»: «Мне повезло: староста „узнал“ меня, своего „земляка“...» (Резниченко 1993: 393).

В контексте полиэтничности СССР и как бы на полях затронутой проблемы советских военнопленных-евреев следует сделать одну важную оговорку. Нередко за евреев по ошибке признавали, — а стало быть, и расстреливали — представителей и других народов, — особенно часто татар (в том числе крымских татар^[43]), армян^[44] и грузин. О расстреле лейтенанта Хонелидзе, черноволосого и длинноносого грузина, принятого за еврея, писал Илье Эренбургу Семен Гриншпун (Гриншпун 1993:128-130). И даже сына Сталина Якова Джугашвили, приняв поначалу за еврея, при пленении едва не расстреляли. Иногда расстреливали и русских, не обязательно даже чернявых, а просто — с «заметной внешностью»^[45].

В группу риска входили и военнопленные красноармейцы из немцев Поволжья: их нередко подвергали особенно тщательным личной проверке и медосмотру, поскольку их фамилии были слишком похожи на еврейские, и немцы опасались, что перед ними не фольксдойче, а выдающие себя за них евреи (см.: Шульга 1998: 325, со ссылками на: Центр документации новейшей истории Саратовской области. Ф. 6210 [Фильтрационный фонд]. Оп. 1. Д. 18167. Л. 4-5).

Зато те из фольксдойче, кто прошел эту проверку, имели неплохие шансы на то, чтобы не просто покинуть дулаг или шталаг, а еще и преобразиться, а точнее сказать, обернуться — из жертвы в палача. Их, в частности, заставляли подписывать следующее: «Я, (фамилия, имя и отчество) являюсь немцем, обязываюсь выявлять среди русских военнопленных коммунистов, командиров и комиссаров Красной Армии, а также лиц, занимающихся антифашистской агитацией и имеющих намерение бежать» (Там же, 331, Центр документации новейшей истории Саратовской области. Ф. 6210. Оп. 1. Д. 10302. Л. 4, 9). Многие гражданские фольксдойче, равно как украинцы, прибалты и русские, лично участвовали в идентификации и расстрелах гражданского еврейского населения^[46].

Селекция и ликвидация на оккупированной территории СССР

Число советских евреев в немецком плену, по оценке Ш. Краковского, составляло около 85 тыс. чел. (Krakowski 1992:229; см. также: Encyclopedia of Holocaust 1990:1181). Практически ту же цифру — 80–85 тыс. — вслед за ним называет И. Арад (Arad 1993:125). При этом исследователи отталкивались от 1,8-процентной доли евреев в населении СССР, что если и искажает данный расчет, то в сторону завышения.

Самым высокопоставленным среди них, возможно, являлся генерал-майор интендантской службы Григорий Моисеевич Зусманович, раненный и взятый немцами в плен 24 мая 1942 г. под Харьковом^[47].

Всего же, по имеющимся оценкам, гитлеровцы уничтожили от 55 тыс. (И. Арад) до 80 тыс. (А. Шнеер) советских евреев-военнопленных (Альтман 2002: 31)^[48]. Вторая оценка, соответствующая 94-процентной смертности евреев в немецком плену, представляется нам более реалистичной. Во-первых, в пользу оценки А. Шнеера четко свидетельствует количество евреев-военнопленных среди репатриированных в СССР (около 5 тыс. чел.). Во-вторых, оценка А. Арада приводит нас к общей смертности «всего лишь» в 65 %, что сравнительно ненамного выше общей смертности среди советских военнопленных в целом, составившей, по оценке К. Штрайта, около 57 %. В последнее время И. Арад пересмотрел свою оценку и поднял ее до 70 тыс. чел.^[49]

Если же придерживаться оценки А. Шнеера и если вспомнить, что во время войны погибло порядка 200 тыс. евреев-красноармейцев, то доля погибших в плену среди них составила 40 %.

В литературе встречаются и некоторые частичные оценки смертности среди военнопленных-евреев. Так, по состоянию на 21 декабря 1941 г., согласно отчету шефа гестапо Мюллера, было выявлено около 22 тыс. неблагонадежных советских военнопленных, из них 16 тыс. уничтожено: «квота» евреев среди уничтоженных была, предположительно, не ниже 90 %, так что порядка 14–15 тыс. еврейских военнопленных было ликвидировано только за это время и, судя по полномочиям Мюллера, только в зоне ответственности ОКВ (Hilberg 1999:357). К середине 1942 г. число неблагонадежных советских военнопленных, выявленных на той же территории и переданных СС, достигло, по оценке Р. Отто, не менее 40 тыс. чел. (Otto 2002:133). Квота евреев среди них не могла не понизиться (среди выявленных было немало саботажников, беглецов и т. д.), да и среди отправленных в концлагеря погибали, разумеется, не все, — тем не менее суммарная оценка числа евреев среди них по меньшей мере в 25 тыс. чел. представлялась бы вполне реалистичной. В таком случае на

зону ответственности ОКХ приходится около 55 тыс. убитых советских евреев-военнопленных.

Их селекции и расстрелы начались, как мы уже отмечали, буквально на следующий день после нападения на СССР. Свидетельства при этом оставили как немецкие палачи, так и нееврейские очевидцы, а также сами чудом уцелевшие жертвы. Но самый охват свидетельствами реального пространства геноцида евреев-военнопленных выборочен и случаен. К тому же следует помнить, что в каждом отдельном случае количественные параметры могут рассматриваться скорее как преувеличенные, чем как адекватные, поскольку базируются, как правило, не на подсчетах, а на эмоциональных и, следовательно, преувеличивающих впечатлениях или прикидках. Если же просуммировать фигурирующие в них цифры жертв, то мы получим цифру чуть ли не в 50–55 тыс. чел., что равняется максимально возможной оценке и поэтому малореалистично.

Тем не менее приведем все собранные нами свидетельства.

Сразу несколько лагерей для военнопленных находилось в районе Слуцка. Все выявленные в них евреи — оценочно 1,5–2 тыс. человек — были расстреляны в них уже в июне-июле 1941 г. (Свердлов 1996: 20, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 28-й армии. Оп. 8423. Д. 84. Л. 141). Только в районе Бреста (в лагере на левом берегу Буга) в июле было расстреляно около 2 тыс. чел. (Там же, 12, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 65-й армии. Оп. 10510. Д. 113. Л. 22). Девять евреев-военнопленных были расстреляны в середине августа в лагере в Бердичеве^[50].

Летом 1941 г. в 1600-метровом противотанковом рву недалеко от д. Тонкеля было расстреляно не менее 5 тыс. советских военнопленных-евреев из шталага 316 в Сухожебрах, что в 10 км от г. Седлец. Расстрелы производились, согласно свидетельским показаниям, тотчас же после селекции (выявления) отдельных евреев из общей массы военнопленных. Их привозили сюда на грузовиках (по 50–60 чел. на каждом), выгружали в 150–200 метрах от места казни, подвели ко рву, раздевали (правда, не всегда) и расстреливали. Расстрелы в этом же месте продолжались и осенью: только за три дня с 12 по 14 ноября 1941 г., по слухам, было расстреляно около 30 тыс. чел. (Там же, 12–16, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 65-й армии. Оп. 10510. Д. 113. Л. 13,16,20,26,34–35)^[51].

В августе 1941 г. в 5 км от железнодорожной станции Августов в окрестностях г. Сувалки был оборудован лагерь уничтожения евреев: здесь было расстреляно около 8 тыс. человек — как местных евреев, так и свезенных сюда из других мест. Среди них, по свидетельствам местных жителей, было немало и евреев-военнопленных (Свердлов 1996:8–9,33, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й армии. Оп. 9783. Д. 183. Л. 36; Ф. 31-й армии. Оп. 8599. Д. 218. Л. 60–61).

Что-то подобное, вероятно, наблюдалось и среди самих шталагов. Некоторые из них, по-видимому, занимались уничтожением не только

«своих» военнопленных-евреев, но и обслуживали в этом отношении другие лагеря. На эту мысль наводит датированное 19 октября 1941 г. свидетельство немецкого солдата о ежедневных расстрелах от 300 до 400 таких военнопленных в шталаге 319 Хелм и отделении этого шталага во Влодаве (Ploski 1946: 266)^[52]. По сообщению Э.Н. Сосина, евреев-военнопленных со всего Западного фронта сгоняли в лагерь Форт VI в Ковно (Каунасе)^[53] (личное сообщение, 2004).

В августе 1941 г. под Херсоном был разбит огороженный колючей проволокой лагерь для советских военнопленных. В первые же дни его существования в нем было выявлено и поблизости расстреляно до 500 евреев (в дальнейшем, по мере довыявления, евреев расстреливали небольшими партиями или даже поодиночке) (Свердлов 1996: 60, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 28-й армии. Оп. 8523. Д. 84. Л. 44-45).

Об аналогичной роли дулага Хорол (речь идет об осени 1941 г.) пишет Абрам Резниченко: «Часто в Хорольский лагерь приводили партии евреев. Их приводили под усиленным конвоем, на руках и на спинах у них были нашиты опознавательные знаки — шестиконечные звезды. Евреев гнали по всему лагерю, посылали на самые унижительные работы, а к концу дня, на глазах у всех, — уничтожали» (Резниченко 1993: 393).

Весьма внушительно и число евреев-военнопленных, расстрелянных в балке возле Кривого Рога с помощью украинской вспомогательной полиции, — около 800 человек^[54], по состоянию на 15 октября 1941 г., когда город был объявлен «юденфрай» (Verbrechen der Wehrmacht, со ссылкой на: Lagerbericht der Orts-kommandatur I/253(V) in Kriwoj Rog v.15.10.1941: ZStdIV, Dokumentation, UdSSR III, Bl. 779-789). По дороге на казнь они были сфотографированы, и эти снимки сохранились (Verbrechen der Wehrmacht. Со ссылкой на: Landesarchiv Schleswig-Holstein, Kiel. Abt. 352. № 2477).

Около 160 евреев-военнопленных было расстреляно в ноябре 1941 г. в одном из отделений шталага 305 в Кировограде, расположенном в г. Адабаш, что приблизительно в 50 км от Кировограда. Еще 350 военнопленных было расстреляно там же в другой раз. Исполнителями преступления были военнослужащие 2-й роты 783-го батальона полиции правопорядка (Landeschutz), причем легкораненых пристреливал самолично лагерный врач д-р Кудерна (Kuderna)^[55]. О том, что происходило в конце августа 1941 г. в самом лагере в Кировограде, свидетельствует красноармеец М.Ф. Нефедов (Свердлов 1996: 58, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й армии. Оп. 9783. Д. 19. Л. 73).

В шталаге Борисов, что под Киевом, 14 октября 1941 г. расстреляли 752 евреев-военнопленных, в том числе нескольких комиссаров и 78 раненых евреев, переданных для расстрела лагерным врачом (Krakowski 1992: 227, со ссылкой на оперативный отчет № 132 АК 4а от 12 ноября 1941 г.)^[56].

Сотни тысяч советских военнопленных были согнаны в лагеря на территории Польши, — соответственно, и экзекуции евреев-военнопленных нередко происходили на польской территории. Так, М. Бартничак пишет, в частности, о пытках и массовых расстрелах в шталагах 324 и 333 в Коморове и Оструве-Мазовецком (Bartniczak 1978: 66–67, 85). О советских военнопленных-евреях в лагерях на территории Польши немало пишет и Ш. Датнер (Датнер 1964).

То же самое происходило, кстати, не только в Польше, на Украине и в Белоруссии, но и на территории РСФСР, причем подробные и достоверные сведения о злодеяниях фашистов, благодаря зимнему контрнаступлению под Москвой 1941/42 г., стали достоянием военного командования уже в этот период. В политдонесениях армий содержатся сведения о расстрелах осенью 1941 г. военнопленных-евреев в лагерях для военнопленных — близ г. Щекино Тульской области (около 25 чел.) (Свердлов 1996:79, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й армии. Оп. 9783. Д. 19. Л. 38)^[57] и в лагере близ Оленино Калининской области (около 40 чел.) (Свердлов 1996: 77, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 39-й армии. Оп. 9087. Д. 138. Л. 3). О селекциях в шталагах Рославля и Вязьмы пишут В. Голубков (Голубков 1958) и С. Анваер (Анваер 2005).

Та же практика, что и в 1941 г., продолжалась в 1942–1943 гг. Оккупировав часть Северного Кавказа, немцы и там организовали сеть лагерей для советских военнопленных. Так, сборный лагерь в станице Курской Ставропольского края располагался во дворе исполкома райсовета и был обнесен колючей проволокой, у ворот — усиленная охрана. День и ночь и в любую погоду пленных держали под открытым небом и практически не кормя. Местным же жителям запрещали даже поить пленных: любая попытка сердобольности штрафовалась побоями. Далее — цитата: «20 августа 1942 г. немецкие изверги отобрали в лагере 6 человек военнопленных, вывели их на середину двора лагеря, раздели и разули, после чего начали над ними издеваться. Сначала некоторых из них брали за уши и тянули со всей силой, заставляя их следовать за ними, затем всех их били палкой по голове и по другим частям тела, после чего замученных этих 6 человек военнопленных вывели за станицу и расстреляли» (акт ЧГК о злодеяниях оккупантов в Курском районе Ставропольского края от 19 июля 1943 г.: ГАСК. Ф. Р-1368. Оп. 1. Д. 89. Л. 2–2 об.). Совершенно очевидно, что в данном случае описана процедура «селекции» из солдатской массы и «экзекуции» военнопленных евреев и комиссаров.

В середине января 1943 г. (т. е. за несколько дней до освобождения) в лагере 205 близ с. Алексеевка была произведена «селекция», и 60 пленных-евреев были тотчас убиты, причем их не расстреляли, а подвергли пыткам (вспарывали животы, отрубали конечности, проламывали черепа) и закололи штыками. За время существования этого лагеря с сентября 1942 по январь 1943 г. в этом лагере, через который прошло до 10 тыс. чел., было убито не менее 400

евреев (Свердлов 1996:80–81, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 68-й армии. Оп. 3064. Д. 105. Л. 42).

Подавляющее большинство евреев, уничтоженных в левобережной части Киевской области, — 3300 из 4000 — составили военнопленные (Альтман 2002:301). В 1943 г., при освобождении с. Злотовка в Киевской области были обнаружены обезображенные трупы военнопленных евреев с отрезанными языками, проломанными черепами, следами ожогов и других пыток (Свердлов 1996:48,58).

Наглядное представление о том, как в лагерях происходила первичная селекция, дают собранные в настоящей книге воспоминания бывших советских военнопленных — как русских, так и евреев.

Разумеется, сохранились свидетельства и самих еврейских военнопленных. Приведем один пример из не включенных в книгу воспоминаний медсестры-еврейки Софьи Иосифовны Анваер. Вот что происходило в сборном лагере для военнопленных в Вязьме, куда она попала осенью 1941 г.: «...Был конец ноября. Стояло хмурое утро. Внезапно во дворе раздалась нарастающая стрельба, усилилась хрипая брань, крики. На этаже появились солдаты и эсэсовцы. Угрожая автоматами, они стали выгонять полуживых пленных во двор. Тех, кто не мог подняться, пристреливали. На лестнице образовалась страшная давка. Передние не успевали выходить, а на задних напирали немцы с криком и стрельбой. Между верхними и нижними этажами было широкое окно. Через него мне и удалось увидеть, что происходило во дворе. Шел еврейский погром. Эсэсовцы отбирали евреев и отгоняли их вправо. Более месяца, проведенного в этом лагере, сделали мне смерть милее жизни. Не раз уже я сама лезла под пули, но когда я увидела, как они убивают евреев, как над ними издеваются эсэсовцы с помощью собак (описывать это я не в состоянии), и представила, что же они могут сделать с женщиной, то постаралась задержаться на лестнице, пусть пристрелят здесь. Задержаться не удалось, поток людей вынес меня на крыльцо. Тут же ко мне подлетел высокий эсэсовский офицер:

- Жидовка?
- Нет, грузинка.
- Фамилия?
- Анджапаридзе.
- Где родилась?
- В Тбилиси.

Последовало еще несколько вопросов... Ударом руки офицер толкнул меня не направо, куда я боялась даже взглянуть, не влево, куда отгоняли всех, а прямо вперед. Поднявшись на ноги, я обнаружила еще двух женщин-военнопленных. „Селекция“ продолжалась, нас — женщин постепенно стало шестеро. Стояли, тесно прижавшись друг к другу. Что говорить, было страшно. Страшно смотреть на то, что творилось кругом. Страшно думать о том, что могут сделать с нами.

Когда „селекция“ окончилась, военнопленных загнали обратно в здание, эсэсовцы и солдаты ушли, во дворе остались только трупы и мы шестеро посередине пустого пространства в полной неизвестности...» (Анваер 2005:20–21).

Так же, как и С. Анваер, под Вязьмой попал в плен и батальонный комиссар М. Шейнман (12 октября 1941 г.). Судьба провела его через лагеря в Вязьме (до 12 февраля 1942 г.), Молодечно (до июня 1942 г.), Кальварии в Литве (до декабря 1943 г.), Ченстохове (до августа 1944 г.) и Везуве (близ Эппенана-Эмсе в Германии). Он сообщает, что под Вязьмой немцы бросали живых военнопленных-евреев в колодцы (Шейнман 1993:465).

Прежде чем лишить евреев-военнопленных жизни, садисты и палачи из вермахта, СС или лагерных полицейских, с их воспаленным воображением и звериными инстинктами, подвергали несчастных разнообразным мучениям, на изобретение которых — в ситуации полной безнаказанности — они были великие мастера. Одним из любимых издевательств было принуждение евреев бегать, возить друг друга на плечах, петь или танцевать — все до физического изнеможения. Их впрягали в повозки, заставляли убирать нечистоты голыми руками.

В дулаге 160 в Хороле, где комендантом был подполковник д-р Леппле (Lepple), а врачом д-р Трюхте (Truechte), пленных сортировали на русских, украинцев, евреев и монголов (азиатов); евреев помечали шестиугольными звездами, заставляли руками собирать нечистоты в бочки, били до изуродования; зондеркоммандо прибыли в лагерь только в начале марта 1942 г. — перед отправкой на экзекуцию пленных евреев раздевали до кальсон^[58]. Известны и жуткие случаи натравливания на евреев собак^[59], в том числе и во время селекции перед строем военнопленных со спущенными штанами (Бондарец 1960)

^[60].

Кстати, поначалу большое значение придавалось нарочитой публичности поиска и идентификации евреев, а также издевательств над ними перед казнью, как, впрочем, и самой казни. При этом преследовалась многосторонняя цель устрашения и морального разложения вчерашних красноармейцев, склонения их к аморальному сотрудничеству — предательству и выдаче (нередко и оговору) своих товарищей. Немцы словно бы говорили остальным: вот так мы поступаем с евреями и комиссарами — нашими заклятыми врагами, но только с ними: зато остальным нас нечего бояться!^[61]

Не менее деморализующее воздействие оказывали эти сцены и на самих немецких военнослужащих, и с начала осени экзекуции перестали быть, по крайней мере, публичными.

...Впрочем, кроме смерти в лагере, известны и другие траектории судьбы советского военнопленного-еврея на оккупированной земле. В конце каждой из них маячило, в сущности, то же самое — смерть.

Иногда евреев-военнопленных, прежде чем расстрелять, помещали не в лагеря, а в тюрьмы гестапо, о чем, в частности, свидетельствует «граффити» в камере Харьковской тюрьмы: «Здесь сидели 2 еврея, Фуксман Саша и Зимин Михаил с 26.7.43. Расстрел произошел 13.08.43. Дрались мужественно. По-гвардейски. Верные сыны народа и погибли как следует гвардейцам» (Альтман 2002: 302, с ссылкой на: Центральный государственный архив общественных организаций Украины. Ф. 2. Оп. 23. Д. 525. Л. 25).

Кстати, жизнь военнопленного-еврея могла несколько продлить его дефицитная профессия, в особенности профессия врача. Так, бывший завполикликой из г. Шахты Копылович работал в госпитале лагеря в Молодечно, а доктор Фельдман из Могилевского областного управления здравоохранения — в лагере в Минске. В Молодечно и Кальварии работали также врачи Беленький, Гордон и Круг из Москвы, Клейнер из Калуги и др. Но в декабре 1941 г. евреям-врачам запретили работать в лагерях для советских военнопленных: так, в лагере в Вязьме в конце 1941 г. селекция производилась и в госпитале, причем не только среди больных, но и среди медицинского персонала. Забрали, в частности, доктора С. Лабковского, у которого были ампутированы обе ноги. То же происходило и в лагере Богунья под Житомиром. Селекцией — как в лазаретах, так и в общих лагерях — занимались «комиссии» в составе коменданта лагеря, фельдфебеля и врача^[62].

Обработка данных об умерших советских офицерах-военнопленных из трофейной картотеки в ЦАМО показала, что более трети из них — военные врачи, ветеринары или фельдшеры, немногим меньше техников-интендантов и инженеров, строевых же офицеров — около 20 %. Разброс по возрасту (на 1941 г.) — от 21 года до 50 лет. Около 2/3 — уроженцы Украины, остальные родом из России и Прибалтики. Почти 80 % попали в плен на Украине и в 1941 г., из них в одном только сентябре — 60 %!^[63] 10 чел. попали в плен в 1942 г., а самым «поздним» по времени пленения оказался капитан Б.Г. Зарин, захваченный 25 сентября 1944 г. и выведенный из состояния плена 11 ноября того же года (для отправки в концлагерь, надо полагать).

Около 2/3 из них простились с жизнью в дулагах или шталагах на оккупированной территории, остальные — в шталагах и концлагерях в Германии. Несколько лагерей встречаются особенно часто — это шталаги 346 (Кременчуг) и 334 (Белая Церковь), концлагерь Заксенхаузен и шталаг IIIВ Фюрстенберг. Лишь в 10 % случаев военнопленные умерли своей смертью, например, от бомбежки или в больнице. Во всех остальных случаях они были переданы дальше для ликвидации — либо СД (если дело происходило в оперативной зоне на оккупированной территории СССР), либо гестапо и СС (в зоне ответственности ОКВ) или же застрелены при попытке к бегству. Некоторое удивление вызывает единовременность передачи

значительной части военнопленных-евреев в руки СД: в 22 случаях это произошло 2 марта 1942 г. (причем в 5–6 лагерях!), в 8 случаях — 9 сентября, а еще в нескольких случаях — 18 июня и 31 октября того же года. Карточки 10 военнопленных однозначно запечатлели следы селекции или доноса: названная ими самими и принятая немцами к сведению национальность — украинец, русский, белорус или азербайджанец — исправлена на них красным карандашом на «еврей». На удивление много карточек (более половины), где в графе «Национальность» «еврей» стоит с самого начала. Однако самой продолжительной (более 3 лет) жизнью в плену отмечен лейтенант и автомеханик Иосиф Базаненко, назвавшийся русским: взятый в плен 22 сентября 1941 г. под Оршицей и угнанный в шталаг XIII D в Нюрнберге, он был убит при авианалете 19 октября 1944 г.

Селекция и ликвидация на территории Германии

Еще в июле 1941 г. большие массы советских военнопленных стали прибывать непосредственно в Рейх, возможность чего в приказе № 8 допускалась не более чем теоретически. Это отставание от жизни было быстро исправлено в «Боевом приказе № 9» от 21 июля 1941 г.

Немаловажные уточнения содержал и указ Гейдриха от 12 сентября 1941 г., выправлявший, по всей видимости, массовые «перегибы» при исполнении приказа № 8. Сделанные в нем уточнения понятия «русско-советская интеллигенция» вывели из-под смертельной угрозы по крайней мере интеллигенцию техническую и прекратили расстрелы татар и представителей других «азиатских» (читай: мусульманских) народов, осуществлявшиеся исключительно по той причине, что и у них, как и у евреев, практиковалось обрезание (Streim 1981:71–72).

Если летом 1942 г., в отличие от лета 1941 г., советские военнопленные как рабочая сила уже представляли для Германии определенный экономический интерес и отношение к их «сохранности» в целом улучшилось, то отношение к военнопленным-евреям изменений не претерпело: все они по-прежнему подлежали уничтожению, независимо от места пленения или нахождения — на фронте или в Германии.

Непосредственно в Германии, а точнее, в зоне ответственности ОКБ как *селекцию*, так и *ликвидацию* военнопленных должна была осуществлять не лагерная администрация, а направляемые в каждый лагерь или иное место скопления неблагонадежного элемента «особые комиссии» РСХА и СД («Sonderkommissionen»). Составленные ими отчеты с указанием количества отобранных ими неблагонадежных лиц (очень часто даже без персонализирующего списка) подлежали еще формальному согласованию с руководством РСХА.

Только после этого можно было приступить непосредственно к ликвидации (или, по-немецки, *эксекции*), но ни в коем случае не в самом лагере и не в непосредственной близости от него. В случае же невозможности обеспечить скрытность (а это было совсем не просто в самой Германии, например) обреченных смертников надлежало направлять в ближайшие концлагеря.

27 октября 1941 г., в развитие приказа № 8, Гейдрих выпустил «Боевой приказ № 14», наделявший офицеров «оперативных команд» в лагерях для военнопленных полномочиями по принятию решений и об их экзекуциях, что существенно упрощало всю процедуру (Dok. NO-3422; см.: Streim 1981:72)^[64].

В начале октября 1941 г. Министерство по делам восточных территорий направило во все крупные дулаги и шталаги около 40 «Комиссий по проверке военнопленных», не только соучаствовавших в поиске среди них евреев и других потенциальных врагов, но и наделенных правом отпускать из плена украинцев и представителей некоторых других национальностей. Опасаясь наивности немецких солдат и офицеров, искренне полагавших, что необрезанных евреев не бывает, министерство разоблачило и эту «жидобольшевистскую» уловку: 10 октября оно разослало информацию о том, что начиная с 1920-1921 гг. рождения среди советских евреев запросто могут оказаться и необрезанные^[65].

Генерал-лейтенант Шеммель (Schemmel), бывший в 1941-1942 гг. командиром военнопленных в XIII военном округе, показал на допросе, что из примерно 40 тыс. советских военнопленных, дислоцировавшихся в его округе, селекции и экзекуции подверглось не менее 2 тыс., или порядка 5 % (см.: Jacobsen 1967:226). Оберштурмфюрер СС Пауль Олер (Ohler), инспектор гестапо в Нюрнберге и начальник айнзатцкоммандо в офлаге Хаммельбург, показал, что из его лагеря в Дахау было отправлено на казнь не менее 500 советских военнопленных-офицеров (Ibid., 228).

Тем не менее многие евреи-военнопленные де-факто просачивались в зону ответственности ОКВ или в саму Германию и были все же «выведены на чистую воду» — теми самыми особыми комиссиями — в лагерях уже непосредственно в Рейхе. Следы этих разоблачений содержит в себе и трофейная картотека ЦАМО. В ней можно встретить евреев, выявленных в шталагах III В, IV Н, X D, XIIID и XVII А. Присовокупим сюда еще и два восточнопрусских — № 336 (Инстербург) и 373 (Просткен) — и один польский — № 359 (Сандомир).

Что касается непосредственно смерти, то один из военнопленных-евреев погиб при бомбежке и похоронен на кладбище в Витцендорфе, а двое — лейтенанты Лев Курлов и Михаил Тарлов — застрелены 27 апреля 1942 г. при попытке к бегству из концлагеря «для неисправимых» — Маутхаузена^[66]. Сразу 6 чел. были переданы в Заксенхаузен: 1 чел. — 17 октября 1942 г., 2 чел. — 12 января 1943 г., 1

чел. — 22 марта 1943 г. и 2 чел. — 3 февраля 1944 г. Остальные были переданы еще на востоке в руки СД, причем значительное количество — 9 чел. — в один и тот же день (2 марта 1942 г., в основном из шталагов 346 и 334).

Свидетельства военнопленных о том, как происходила селекция евреев на территории Германии, практически не дошли до нас. Тем ценнее эпизод из воспоминаний Б.Н. Соколова о селекции в 326-м шталаге в рурском городке Хемер (Соколов 2000:144-148; см. в настоящем издании). Примечательно, что эта жуткая сцена происходила не в 1941 и даже не в 1942 или 1943 г., а в 1944-м. «Боевой приказ» Гейдриха нисколько не утратил своей значимости и свежести.

Спасшиеся и спасители

Тем не менее части евреев удалось скрыть свою подлинную национальность и свое подлинное имя, если им и дальше везло, то и уцелеть, даже на территории врага. Ведь только по официальным данным Управления по делам репатриации при Совете Министров СССР, среди репатриированных после войны граждан СССР насчитывалось 11 428 евреев, из них 6666 гражданских лиц и 4762 военнопленных (в том числе даже среди контингента «власовцы» — более сотни человек!) (Полян 1996: 298 и 312). Учитывая и тех, кто и при репатриации на всякий случай не выдал своего еврейства, общее число евреев среди репатриированных могло составить приблизительно 15 тыс. чел., причем пропорция могла измениться только в пользу оstarбайтеров, поскольку военнопленных фильтровали неизмеримо тщательнее, чем гражданских лиц.

Жизнь с измененной идентичностью, постоянный страх разоблачения или предательства — все это накладывало неизгладимую печать на обстоятельства их выживания или спасения. Но при этом особенно тяжело уцелеть было именно военнопленным, среди которых велась целенаправленная и смертоносная селекция, тогда как у гражданских лиц ее не было.

И.М. Бружеставицкий написал об этом так: «Я страдал, как и все мои товарищи, попавшие в плен. Но к этому добавлялся страх разоблачения, что я еврей и политработник. Таких расстреливали немедленно...» (см. в настоящем издании).

Как это ни поразительно, но отдельные евреи, стремясь уцелеть, шли даже на... военную службу в Рейхе! Так, в списке спецконтингента, направляемого в спецлагерь НКВД СССР в Фюрстенвальде, встречаем имя Михаила Израилевича Фрейдина, 1916 г. р., уроженца г. Глухова и

жителя г. Конотопа, служившего, как утверждается, в вермахте рядовым!^[67]

Главным способом выявления евреев было их *предательство «своими»*. Немцев провести было бы гораздо проще, если бы не доброхоты из числа «своих». Как образно выразился по этому поводу бывший военнопленный Семен Орштейн: «Свой не продаст, — чужой не купит...» (из видеоинтервью, данного Фонду С. Спилберга 18 ноября 1997 г.).

За «разоблаченного» жида или политработника в дулагах и шталагах награждали — хлебом, папиросами, а то и одеждой расстрелянного. Предателями, несомненно, двигали и менее материальные мотивы, в частности, закоренелый бытовой антисемитизм или своеобразное самовыдвижение в лагерной иерархии. Случаи же самосуда над такими предателями со стороны остальных военнопленных, о которых пишет И. Альтман (2002: 302), представляются крайне рискованными и поэтому маловероятными — и уж во всяком случае редкими.

Другими способами селекции были медосмотр и проверка в строю или в бараке. Проверяли при этом не только на обрезание, но и на особенности речи (картавость).

Для того чтобы попробовать спастись, евреям приходилось применять те или иные познания этнолингвистического или медицинского свойства, как, например, бытование обрезания не только у евреев, но и у мусульман, существование заболеваний, требующих обрезания по чисто медицинским соображениям^[68], и т. п.

Как показывает анализ, подавляющее большинство самым радикальным образом меняло и имя, и отчество, и фамилию, а многие и всю легенду, включая место рождения и т. д. (есть случаи поэтапной или просто двукратной замены элементов имени). Видимо, из боязни проговориться некоторые старались сохранить при этом свое настоящее имя, если только оно само по себе не составляло угрозу. Гораздо реже встречаются случаи, когда замене подверглось одно только имя, одно только отчество или одна только фамилия (см. Приложение 1).

Так, Давид Исаакович Додин (род. 9 мая 1922 г. в д. Верещаки Горкинского р-на Могилевской обл.), рядовой, попавший в плен 27 июля 1941 г., прорывался из окружения на Минск. Не меняя имени, он успешно выдавал себя за белоруса, изменив только отчество (на «Иванович»). Его внешность и его владение белорусским языком не вызвали ни малейшего подозрения (из видеоинтервью Фонду С. Спилберга от 4 мая 1998 г.)^[69]. Перемены отчества — с Ильича на Иванович — хватило и Б.И. Беликову.

Определенную роль играл и фактор фонетического созвучия старого и нового имени. Вот как объяснил это Лев Яковлевич Простерман: «Все документы я уничтожил, характерных внешних

признаков у меня не было, и я записался как русский, Просторов Алексей. „Просторов“ потому, что это было созвучно с „Простерманом“... Алексеем я стал потому, что хотел сохранить фотографии любимой, которые были подписаны мне, как „Лесе“. Так меня звали в детстве...» (из письма автору от 13 июня 2003 г.).

Некоторые сознательно брали себе идентичность знакомых им лично лиц: например, Софья Анваер стала Софьей Анджапаридзе потому, что в ее классе был такой одноклассник, и т. п. (Анваер 2005:19–21).

Но в любом случае важно было как можно лучше ориентироваться в обстоятельствах своей новой идентичности.

Среди этносов, за представителей которых они себя выдавали, чаще всего фигурировали славяне — украинцы и русские (реже белорусы) (см. Приложение I)^[70]. На втором месте — турки-мусульмане: татары, узбеки^[71] и азербайджанцы, а на третьем — армяне, грузины и даже аджарцы. Иногда выдавали себя за французов, за немцев-фольксдойче, совсем редко — за караимов, но последнее почти не помогало (Шнеер II: 172–181).

Командир взвода лейтенант Сергей О., по свидетельству М.Б. Черненко, попал в плен в 1942 г. после неудачного наступления на Южном фронте. Пожилой солдат-татарин указал ему на общность важного мусульманского и иудейского обрядов и посоветовал сказаться татаринном из соседнего с собой села. Что Сергей О. и сделал (заодно подучив татарские слова) (Черненко 1997:22).

Военный фельдшер М.И. Меламед попал в плен в сентябре 1941 г. под Киевом и — при помощи коллеги (бывшего начальника Санитарной службы 37-й армии Т.Н. Чурбакова) — сумел выдать себя за аджарца Коджарова^[72].

Израиль Моисеевич Бружеставицкий взял себе имя Леонид Петрович Бружа (Brusha), восходящее к его студенческому прозвищу.

А вот Семен Алексеевич Орштейн, по его же образному выражению, *«переложился в Семенюка»*, — взял себе имя и фамилию своего ближайшего друга, бывшего председателя райпо и первого номера расчета станкового пулемета (сам Орштейн был его вторым номером). Настоящий же Семенюк Василий Кузьмич был тяжело ранен за два дня до того, как Орштейн попал в плен.

Большинство советских евреев-военнопленных спасли, впрочем, не столько их удачные псевдонимы и легенды, сколько добрые и совестливые люди — те, кого назовут потом Праведниками Мира. Среди них украинцы и русские, белорусы и поляки, татары и немцы, красноармейцы и гражданские, знакомые и незнакомые, городские и сельские жители. Особенно часты были летом и осенью 1941 г. такие случаи: пожилые и молодые крестьяне и крестьянки прятали у себя евреев-окруженцев или беглых пленных, выдавая их потом за односельчан, а иногда даже «выдирали» их из лагерей, вдруг «узнав» в

них своих «мужей», «сыновей» или «братьев». А иногда спасенные и спасительницы, хорошо узнав друг друга, после войны соединялись вновь и создавали семью^[73].

Жизнь военнопленного еврея часто зависела от вердикта врача, поэтому неудивительно, что среди их спасителей — так много *медиков*. Так, М. Шейнман обязан жизнью врачам Редькину и Собстелю в Вяземском лагере, Куропатенкову и Шеклакову — в Кальварии, Цветеву и Куринину — в Ченстохове (Шейнман 1993: 468). Врачам обязаны своей жизнью А.С. Вигдоров, Д.Л. Каутов, А.С. Кубланов и др. Рискаю жизнью, они делали фиктивные операции, укрывали евреев и комиссаров среди туберкулезных, тифозных и поносников, подменяли документы и многое другое. Интересна история Григория Г. Губермана (он же Н. Колокольцев), и самого по профессии врача (сообщена его сестрой, Ж.И. Гольденфельд, Иерусалим)^[74]. На время расследования был заключен в тюрьму, где немецкий врач выдал ему спасительную справку о фимозе.

Иногда выручало элементарное землячество: так, москвича Эммануила Николаевича Сосина (он же Михаил Николаевич Зарин) спасло то, что в лагере Ковно, куда он попал, один главный полицай оказался его земляком, москвичом с Мещанской улицы, — он-то и сорвал с него желтую звезду (сзади) и «отправил» в Германию (личное сообщение, 2004).

Немало военнопленных евреев спаслось, сумев убежать к партизанам. Младший лейтенант Борис Ильич Беликов, 39-летний еврей из Ялты, попал в плен под Харьковом, но не со своей частью, а с госпиталем, где лежал. Отчество он изменил на «Иванович», но спасение его было в том, что ни в сборном лагере в Чугуеве, ни в офицерском лагере во Владимире-Волынском, ни в арбайтскомmando под Кельце он ни разу не встретил знакомых. Два самых страшных его воспоминания: первое — в лагерь поступили новички (не дай бог кто из них знакомый!), второе — медосмотр и помывка в бане (он всегда старался проскочить в гуще людей и как можно скорей намылиться). Однажды ему послышалось, что кто-то обратился к нему не «Боря», а «Борух», и он бежал. Попал к партизанам из Армии Крайовой, а потом к своим (записано с его слов в 1997 г. в Бад-Киссингене, Германия).

Михаил Меламед, военврач 192-й пехотной дивизии, попал в плен в сентябре 1941 г. под Кировоградом. В лагере возле Винницы он объявил себя татаринoм. После перевода в лагерь в Житомире, а именно в июле 1942 г., бежал, был снова пойман, отправлен в лагерь в Гомель, откуда снова бежал и примкнул к 27-й партизанской бригаде им. Кирова (Krakowski 1992: 228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives, 03/4018). К партизанам — из бригады генерала Бегмы — в конечном счете попал и младший лейтенант Александр Абугов, взятый в плен в августе 1941 г. До этого он перебивал во множестве лагерей для военнопленных — Умань, Винница (здесь, по его свидетельству, были

расстреляны сотни евреев), Шепетовка, Брест-Литовск, Кобрин и Ковель (откуда он и бежал) (Krakowski 1992: 228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives, Testimony Abugov).

На волосок от гибели — как в России, так и в Голландии — прошел плен и студент истфака и ополченец (впоследствии профессор истории Ростовского университета) Герман Бауман (Бауман 1991)^[75]. Судьба пленника, проведя Я.С. Кагаловского по 16 лагерям, привела его к концу войны во Францию, а И.Е. Азаркевича — в Норвегию!

Впрочем, была и еще одна необычная траектория судьбы советского военнопленного-еврея — попадание в гетто: своего рода «польский вариант». Александр Иосифович Шпильман из Харькова попал в плен и, будучи обрезанным, был разоблачен как еврей в Каунасском (Ковненском) шталаге. Однако его не убили, а перевели в Минск, причем не в знаменитый Минский шталаг, а в Минское гетто — то самое, куда депортировали и немецких евреев. Оттуда ему удалось бежать, а потом, в порядке продолжения чуда, прибиться к партизанам и даже уцелеть (запись в архиве автора^[76]).

Не менее поразителен случай окруженца Александра Владимировича Шламовича, до войны работавшего бухгалтером-ревизором Смоленского торгового управления и сталкиваясь в то время, по делам службы, с адвокатом Б.Г. Меньшагиным. Меньшагина немцы назначили на должность бургомистра (начальника) Смоленска. Пробравшись в Смоленск и придя к Меньшагину на прием, Шламович попросил дать ему документ, указав в нем в графе «национальность» — русский. Далее, по Меньшагину, произошло следующее: «Я сходил в паспортный отдел, порылся в архиве учетных карточек довоенного адресного бюро, вытащил из него несколько, в том числе и карточку Шламовича; потом я эту карточку незаметно положил в карман, а остальные отдал зав. адресным бюро Грибоедовой. После этого я выдал Шламовичу документ, как русскому, а старую карточку уничтожил. Шламовича я больше никогда не видел, но слышал, что он работал у немцев на железной дороге. Во время следствия по моему делу осенью 1945 г. упоминавшийся уже майор Б.А. Беляев спрашивал меня, помнил ли я Шламовича и знал ли я, что он еврей. На мой утвердительный ответ, он спросил, почему же я дал ему удостоверение, что он русский, какие задания я ему давал. Я объяснил, что причина понятна — избежать немецких преследований, заданий же никаких не давал и самого Шламовича больше не видел. Беляев пожимал плечами, удивляясь, что я рисковал собой при обнаружении подделки и, без всяких выгод для себя, дал Шламовичу этот документ. Он так, видимо, и не мог понять того, что добро людям можно делать, не преследуя при этом каких-либо личных выгод, что оно само по себе приносит награду делающему в виде большого нравственного удовлетворения» (Меньшагин, рукопись).

Другой — и нередкой — траекторией был побег, причем побег, естественно, были эффективнее и чаще на востоке, нежели в самом Рейхе. В случае успеха он мог завершиться не только у партизан, о чем мы уже говорили, но и, скажем, в... той же Германии, однако уже в совершенно ином — гражданском — статусе. Именно такова еврейская судьба Виктора (Самуила) Ефимовича Кацперовского.

Немало военнопленных — а чаще всего даже не военнопленных, а окруженцев — еще на родине расставались с формой и выдавали себя за гражданских, в каковом качестве и попадали в Германию — остарбайтерами^[77]. Их спасало и то, что на остарбайтеров в Рейхе боевой приказ № 9 Гейдриха, разумеется, не распространялся и, как гражданских, их не подвергали селекции.

Надо сказать, что в отдельных случаях еврейская национальность военнопленного не составляла никакой тайны для его товарищей по несчастью. Но его, тем не менее, никто не выдавал, и он «благополучно» дожидался вместе с ними освобождения. Так, Александр Малофеев пишет в своих «Воспоминаниях» о шталаге IX А (Цигенхайн): «Среди нас был и еврей Леонид Портнов из Одессы, которого все тщательно охраняли от посягательств на его жизнь стороны немцев» (Малофеев 1982:42).

Интересно, что даже пребывание в плену, на территории врага, да еще под вымышленным именем, не удерживало некоторых активистов из числа евреев-военнопленных от того, чтобы принимать участие или даже возглавить сопротивление врагу. Целый ряд таких примеров — отчасти имевших место в концлагерях — приведены в «Книге памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом»: Александр Печерский (в концлагере Собибор), Борис Гройсман (Владимир Моисеев), Михаил Зингер, М.П. Шихерт (Иосиф Харитонович Альбердовский), Иосиф Хонович Альперович, Исраэль Весельницкий, Александр Моисеевич Файнбра (Хамадан, или Михайлов) и др. (Марьяновский, Соболев 1997:30–31). Подполковник Якоб Талес, взятый в плен в конце июня 1941 г., бежал из лагеря под Уманью и стал одним из руководителей сопротивления в Бершадском гетто и партизанского отряда (Krakowski 1992:228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives, O33C/959).

Участвовали они в Сопротивлении и непосредственно в шталагах. Ярчайшие два — случаи Иосифа Фельдмана (Георгий Фесенко) и Макса Григорьевича Минца (Михаил Минаков). Первый — батальонный комиссар, до войны — начальник отдела в Днепропетровском управлении НКВД. Попал в плен под Уманью, но смог бежать. По заданию компартии записался на работы в Германию с целью организации сопротивления в Германии. И действительно, в марте 1943 г., в транзитном лагере в Мюнхене и вместе с летчиком К. Озолиным, Фельдман-Фесенко создал первую ячейку Братского союза военнопленных (Андреев 1999). Второй — москвич, кадровый офицер, капитан-артиллерист. В плен попал в Брянском котле, а в Германию — в

мае 1942 г. Член подпольного «Комитета» в шталаге XIV Бад-Эрбке — о нем много говорится в воспоминаниях Д. Иванцова (Иванцов 1980: 53, 57, 60)^[78]. Его памяти посвящена целая книга, вышедшая в 1999 г. в Израиле (В плену 1999)^[79].

Как и в концентрационных лагерях, в сопротивлении нередко и эффективно участвовали врачи. Так, уже упоминавшийся Г. Губерман-Колокольцев (он же Н. Колокольцев), работавший в Германии врачом-рентгенологом в шталаге для туберкулезных, участвовал в его лагерном подполье. Для того чтобы спасти жизнь тем или иным пленным, которым грозила смерть, их сначала записывали туберкулезными больными, а потом списывали, как умерших, присваивая им имена людей, действительно умерших от туберкулеза^[80]. Имени шталага Губерман вспомнить не мог, но скорее всего это — Цайтхайн. Если это так, то в эту же группу, по-видимому, входил и Д.И. Додин, работавший там в лазаретной команде старшим фельдшером (из видеоинтервью Фонду С. Спилберга от 4 мая 1998 г.)^[81].

Советские военнопленные-евреи в финском и румынском плену

Среди союзников Третьего Рейха по коалиции стран, объявивших войну СССР, совершенно особое место занимают Румыния и Финляндия. Только эти два государства имели на территории СССР «свои» оккупационные зоны, и только они вывозили на свою территорию и эксплуатировали принудительный труд советских военнопленных и гражданских лиц.

Финляндия, оккупировав Восточную Карелию, действовала на оккупированной территории как в военном, так и в военно-гражданском отношениях самостоятельно и независимо от своих немецких союзников. В то же время союзнические отношения Румынии с Германией во время Второй мировой войны носили совершенно другой характер и определялись тесной скоординированностью, а точнее, соподчиненностью. Румыния выступала как типичный младший союзник, или сателлит, согласовывавший с Берлином практически каждый свой шаг как в румынской оккупационной зоне (Транснистрия), так и в самой Румынии. В полной мере это относилось и к содержанию и трудовому использованию советских военнопленных, а также к принудительному труду мирных советских граждан на территории Румынии.

Во всех оперативных вопросах военного партнерства с Румынией немецкое доминирование было совершенно очевидным. За исключением битвы за Одессу, продолжавшейся до середины октября, когда румынские войска вели самостоятельную наступательную

операцию, они были полностью интегрированы в немецкие вооруженные силы (например, в Крыму или на Сталинградском направлении).

Планом «Барбаросса» предусматривалось следующее распределение зон ответственности за взятых в плен красноармейцев: за территорию Рейха и Генерал-Губернаторство отвечала ОКВ, а за оперативную зону в СССР и Румынию — ОКХ, представленная в Румынии Германской миссией сухопутных войск (Deutsche Heeresmission Rumänien). Заметьте, не союзная румынская армия, а связующий ее с вермахтом немецкий орган (Jakobsen 1965:198).

Так оно было и на самом деле. Вопросы о судьбе красноармейцев, взятых в плен на востоке общими усилиями вермахта и румынской армии или усилиями одной только румынской армией, решались не в Бухаресте, а в Берлине.

Территории, оккупированные немецкими и румынскими войсками, составили впоследствии три губернаторства, из которых два (аннексированные в 1940 г. СССР) были присоединены к Румынии — Бессарабия и Северная Буковина, а третье — Транснистрия со столицей в Одессе^[82] — было передано под румынский протекторат по Тираспольскому договору от 30 августа 1941 г. (это было своеобразной компенсацией Румынии за большую часть Трансильвании, которую ей пришлось уступить в 1940 г. Венгрии).

В вопросах гражданского управления подконтрольными оккупированными территориями, особенно в вопросах религии, образования и культуры, румынская политика была более самостоятельной, чем в военной сфере (так, единственный открытый университет на всей оккупированной Украине находился в Одессе).

Заслуживает упоминания и «самостоятельность» Румынии, как это ни удивительно, в вопросах геноцида евреев. Быть может, еще более жестокая и беспощадная по отношению к евреям на первом этапе войны (примерно до Московского контрнаступления Красной Армии), позднее политика Румынии стала несравнимо мягче. Начиная с начала 1942 г. уничтожение евреев в румынской оккупационной зоне фактически прекратилось. Можно уверенно сказать, что шансы евреев на выживание в зоне румынского гражданского управления были гораздо выше, чем в оперативной зоне вермахта или в Рейхскомиссариате Украина: здесь уцелело и дождалось освобождения заметное большинство всех евреев на территории послевоенного СССР, избежавших ликвидации (Альтман 2002).

Согласно энциклопедическому словарю «Румынская армия во Второй мировой войне (1941–1945)», выпущенному в Бухаресте в 1999 г. (Dutu, Dobre, Loghin 1999:329–341^[83]), за период между 22 июня 1941 г. и 22 августа 1944 г., т. е. за время боевых действий между советской и румынской армиями, румыны взяли в плен 91060 советских военнослужащих^[84].

Военнопленные поступали из зоны действия румынской армии, в частности, 21 тыс. прибыла из Транснистрии и 19 тыс. из Крыма. Около 2 тыс. военнопленных было на судне, потопленном советской подлодкой в районе Бургаса, и лишь 170 из них спаслись.

Из 91060 советских военнопленных 13 682 чел. было отпущено из плена (румыны — а скорее всего, румыны и молдаване — из Северной Буковины и Бессарабии; немцы-фольксдойче передавались немецкой стороне и, скорее всего, не регистрировались), 82 057 доставлено в Румынию, 3331 бежал и 5223 (или 5,7 %) умерло в лагерях. Это несоизмеримо малая величина по сравнению со смертностью советских военнопленных в финском и, особенно, в немецком плену.

Для советских военнопленных было создано 12 лагерей, из них два лагеря находились вне Румынии — в Тирасполе и Одессе. В самой Румынии находилось, по утверждению румынских историков, 10 лагерей, однако перечень лагерей, хотя бы раз упоминаемых в их тексте, несколько превосходит это число. Это: Слободзия, Владень, Брашов, Абаджеш, Корбень, Карагунешт, Дева + Индепенденца, Ковулуй + Майя, Васлуй, Дорнешти, Радоуть, Будешти, Фельдиора, Бград и Ригнет^[85].

Отвечала за военнопленных Gas Kommando der Streitkräfte für Innere Verteidigung под командованием генерала Харитана Драгомиреску. Охранялись лагеря румынской жандармерией численным составом, по состоянию на 1 августа 1942 г., в 4210 чел. (216 офицеров, 197 унтер-офицеров и 3797 солдат).

Условия жизни в лагерях, в соответствии с международным правом, существенно разнились для офицеров и солдат: первые жили в каменных домах, вторые — в деревянных бараках, а осенью 1941 г. — частично и на земле, под открытым небом (печи для бараков получили только в 1942 г.). В медицинском отношении лагеря для советских военнопленных обслуживало более 150 врачей — 6 румынских, 66 еврейских и 85 советских.

Из 5223 умерших — всего лишь 55 офицеров и 6 младших офицеров. Остальные — солдаты, причем больше всего умерло в Будешти (938 чел.), Вулкане (841), Васлуе (799) и Фельдоаре (738). Среди причин смертности — тиф (1100 чел.), несчастные случаи на работе (40 чел.), то же при побеге — 18 чел. Всего 12 чел. было расстреляно, и 1 покончил с собой.

О том, какой ад на самом деле стоит за «лидерством» по смертности лагеря в Будешти, рассказал один из его узников — Дм. Левинский. Плененный в июле 1941 г. под Березовкой немцами, он был доставлен в сборный пункт под Кишиневом, оттуда, в августе, в Яссы, а в октябре — в пересыльный лагерь в Будешти (сначала в карантин, а потом в основной лагерь), причем во всех трех случаях лагеря охранялись немцами^[86].

«Сущность понятия „пересыльный“ лагерь мы быстро поняли: здесь нас никто не избивал и, тем более, специально не убивал, но невероятные условия, которые ожидали нас, вызвали зимой 1941-1942 г. большую смертность среди военнопленных, что позволило приравнять этот лагерь к „лагерям уничтожения врагов третьего рейха“. С такими местами многим из нас тоже предстояло познакомиться. А в этом лагере все было предельно просто: тебя не убьют — ты умрешь сам. Если выживешь — твое счастье, а если нет — таков твой рок. Изменить эти условия мы не могли.

Первое время, около месяца, нас держали в „карантине“: в огромном высоком бараке без окон и дверей. Похоже, что это помещение использовалось ранее для хранения сена или соломы. Снаружи барак опоясывала колючая проволока. Нами никто не „управлял“, мы были никому не нужны и могли всласть валяться на земле и балагурить. Но вскоре жизнь в бараке сделалась пыткой.

Наступил ноябрь, а с ним пришли холода. Эта зима обещала быть морозной даже на самом юге Румынии. Барак насквозь продувался — ворот не было. Внутри барака сперва образовались ледяные сосульки, а затем и настоящие айсберги. Холод стал вторым врагом после голода. Согреться можно было только прыганьем, но на это не хватало сил — мы постепенно превращались в дистрофиков. Рацион ухудшался и уменьшался с каждым днем. У многих появились желудочно-кишечные заболевания. Другим грозил конец от воспаления легких. Развились фурункулез, сыпь, различные флегмоны, кровавый понос, чахотка — все не перечислить. С наступлением морозов начались обморожения конечностей. Как ни странно, но косившую всех смерть большинство встретило спокойно, как должное: не надо было попадать сюда!

В середине ноября, когда нас становилось все меньше и меньше, и жить из-за наступивших морозов стало совсем невозможно, нас перевели в основной лагерь, посчитав, что карантин свое дело сделал...

Баракы в основном лагере были деревянными, одноэтажными, небольшими. В них обычно размещалось не более 200 человек, но с каждым днем живых становилось все меньше. На дощатом полу лежали стружки и опилки, на которых мы спали. На день полагалось эти стружки сгребать в угол, чтобы не ходить ногами „по кровати“.

Узнали еще одного врага — тифозную вошь. Это было ужасно: за короткое время противные твари расплодились в таком количестве, что куча стружек в углу барака шевелилась. Создавалось впечатление, что в куче больше вшей, чем стружек. За ночь мы по многу раз вставали, выходили из барака на улицу, сдергивали с себя одежду и с остервенением вытряхивали кровососущих тварей на снег, но их было столько, что сразу избавиться от них мы, естественно, не могли. Поэтому приступали ко второму этапу очищения: мы долго и настойчиво давили теперь тех, что попрятались в швах белья и одежды. Так продолжалось каждую ночь, но такую роскошь могли себе

позволить не все, а только те, у кого еще оставались силы, и не наступило полное безразличие ко всему с одним лишь ожиданием смерти-избавительницы. У тех, кто надеялся обеспечить себе спокойную ночь, на „вошебойку“ полностью уходило дневное время.

Температура воздуха в бараках — уличная. Мы погибали от холода, а насекомые были настолько живучи, что казалось — они совсем не боятся мороза.

Это мы согревали их своим телом, отдавая последнее тепло.

К нам вплотную подобрался сыпной тиф. Уже метались люди в горячке, а мы не понимали, что это за болезнь. Думали — простуда или воспаление легких, или что-нибудь еще. По молодости лет мы не сталкивались с сыпным тифом...

Спали мы на полу, на стружках, вповалку рядами, тесно прижавшись друг к другу для тепла. Утром проснешься, а сосед уже „стучит“ — за ночь умер и к утру окостенел. Каждую ночь смерть забирала чьи-нибудь жизни. Утром мы выносили тела умерших и складывали их в водосточной канаве, идущей вдоль барака. Там трупы копились в течение недели, высота таких „могил“ достигала окон барака.

Трупы обычно раздевали — одежда нужна живым... Раз в неделю накопившиеся вдоль бараков тела мы должны были относить метров за 100 в сторону и укладывать рядами друг на друга в специально вырытые траншеи. Каждый ряд посыпался хлорной известью, а затем клали следующий ряд, и так продолжалось всю зиму...

А, в общем, мы настолько привыкли к лежащим вокруг бараков обнаженным телам соотечественников, что перетаскивание трупов казалось рядовой работой, и конец всем ясен. К чему эмоции?» (Левинский 2005:158-159).

Уже одна эта цитата заставляет серьезно усомниться в полной достоверности декларированной и сравнительно благополучной 6-процентной смертности среди советских военнопленных в Румынии. «Подозрения» перерастают в уверенность после знакомства с некоторыми документами Красной Армии, освобождавшей Румынию.

Так, в «Акте о злодеяниях немецко-румынских фашистских захватчиков в лагере советских военнопленных (лагерь Фельдиора, уезда Брашовского, Румыния)» говорится о 1800 замученных и погибших военнопленных (ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2772. Д. 30. Л. 281-286), что в 2,5 раза превышает официальную румынскую цифру (738 чел. — см. выше). Согласно этому документу, датированному 7-13 сентября 1944 г., комендантом лагеря был румын Иона Ницеску, а начальником карательной секции — немец, лейтенант Порграц. Охрану лагеря несла рота румынских жандармов в 120 чел., вооруженная винтовками и дубинками (на вышках по периметру лагеря, обнесенного колючей проволокой, стояли пулеметы). Умершие, замученные и убитые

военнопленные сбрасывались в яму у шоссеиной дороги Владени-Фадераш вблизи строительства тоннеля.

«За малейшее нарушение, — читаем в этом „Акте“, — военнопленных наказывали „карцером“ на 2-3 суток (карцер состоял из ящика наподобие шкафа площадью на одного человека с окошками), человек от изнурения был как животное, каждый проходящий жандарм бил его палкой.

Бежавшие из лагеря задерживались, подвергались избиению, в одном случае одноразово по 40 дубинок по голому телу, в другом случае — по 15 дубинок в каждой секции (бараке. — *П.П.*), после чего заключались в сырой подвал на 20 суток, а впоследствии предавались суду и осуждались на каторжные работы или к расстрелу. Так, были избиты и преданы суду военнопленные Шейко, Губарев и другие...»

Советские военнопленные в Румынии активно привлекались к принудительному труду. В том же румынском источнике говорится о примерно 21 тыс. горных рабочих из их числа (ср. ниже со сведениями о гражданских рабочих). По состоянию на начало января 1943 г., работали 34145 советских военнопленных, на начало сентября 1943 г. — 15098, а по состоянию на август 1944 г., когда в Румынию, по всей видимости, стали вывозить шталаги из Украины, — 41791 чел., причем 28092 из них работали в сельском хозяйстве, 6237 в промышленности, 2995 в лесоводстве, 1928 в строительстве и 290 на железных дорогах.

Об условиях их трудового использования повествует вышеупомянутый «Акт»: «Советские военнопленные, раздетые, голодные, истощенные и больные работали по 12-14 часов в сутки. Отстающие в работе подвергались избиению дубинками (палками). Советские люди работали на холоде без обуви и одежды, приспособляли себе обувь из соломы, для утепления тела под рубаху набирали солому. Жандарм, заметивший это, соломенную обувь отбирал, солому из рубахи вытряхивал, а военнопленного избивал дубинками... За невыход на работу больные военнопленные заключались в подвал на 10-20 суток без права выхода на воздух и выдачей 150 грамм хлеба и воды на сутки».

Особенным издевательствам подвергались евреи: они содержались отдельно, и над ними, как сказано в документе, «не было предела издевательствам». Одного военнопленного — по фамилии Голва (или Голка) — администрация лагеря признала за еврея и утопила в уборной.

Таким образом, геноцидальные приказы Кейтеля и Гейдриха, направленные на выявление в массе военнопленных и немедленное уничтожение выявленных при этом евреев, действовали и в зоне ответственности румынской армии, причем чуть ли не до самого конца ведения ею боевых действий.

И тем не менее, в отличие от Германии, Румыния отказывала советским военнопленным не во всех правах, вытекающих из

международного статуса военнопленных. Лагеря для советских военнопленных пусть редко, но посещались представителями МКК^[87]. Так, 1 июля 1942 г. лагеря № 4 Васлуй и № 5 Индепенденца посетил нунций монсеньор А. Касуло, посол Ватикана в Бухаресте и, по совместительству, представитель МКК, а 14 мая 1943 г. делегация МКК из Женевы (Ed. Chaupissant, D. Rauss) посетила лагеря Бухарест, Майю, Калафат и Тимишоара. Не запрещалась им и почтовая переписка — правда, весьма ограниченная: представителям МКК было передано более 2000 открыток (правда, из них всего 200 открыток пришлось на период до 1 июля 1942 г.). Начиная с 1943 г. стали выходить и специальные газеты для военнопленных: одна на русском и одна на армянском языке.

По состоянию на 23 августа 1944 г., в румынских лагерях оставалось 59856 советских военнопленных, из них 57062 солдата. Их национальный состав, согласно тому же источнику, выглядел следующим образом:

Таблица 1 Национальный состав советских военнопленных в Румынии.

Национальнос ти	Чел.	%
Украинцы	2553 3	45,7
Русские	1783 3	31,9
Калмыки	2497	4,5
Узбеки	2039	3,6
Туркмены	1917	3,4
Грузины	1600	2,9
Казахи	1588	2,8
Армяне	1501	2,7
Татары	601	1,1
Евреи	293	0,5
Болгары	186	0,3
Осетины	150	0,2
Айсоры	117	0,2
Прочие	1	0,0
ИТОГО	55 856	100, 0

„æ ŁOE: Dutu, Ebbre, loghin 1999.

Обращает на себя наличие в таблице военнопленных лиц еврейской национальности. Трудно сказать, основываются приводимые данные на материалах регистрации военнопленных или на их заявлениях после освобождения (скорее второе, чем первое).

Однако бросается в глаза, что вышеприведенная цифра количества советских военнопленных в Румынии накануне ее капитуляции (55 856 чел.) почти вдвое превышает число советских военнопленных, репатриированных из Румынии в СССР, — 28 799 чел. (по состоянию на 1 марта 1946 г.) (Полян 2002:489, со ссылкой на: ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 3. Д. 53. Л. 175).

В чем тут дело? Объяснение за счет невозвращенцев тут явно не работает, поскольку речь идет о территории, контролировавшейся СССР. По этой же причине отпадает и объяснение саморепатриацией, хотя некоторые военнопленные из числа жителей близлежащих молдавских районов и украинских областей, возможно, и предприняли такие попытки, благо специальной репатриационной службы и лагерной инфраструктуры на этот момент времени еще не существовало (она возникла только в октябре 1944 г.). Скорее всего, часть пленных красноармейцев заново призвали в Красную Армию, а часть воспользовалась тем, что в их лагерях румыны содержали также и гражданских лиц и объявили себя на советской регистрации не военнопленными, а гражданскими лицами.

Кроме того, как выясняется, и сама румынская администрация практиковала официальный перевод советских военнопленных из статуса военнопленных в гражданский, чего, после ноября 1941 г., почти не делали немцы. Так, 1 марта 1944 г. из плена было отпущено 9495 чел., в том числе 6070 румын из Сев. Буковины и Бессарабии и 1979 румын из Транснистрии, 205 немцев, 693 чел. с территории восточнее Буга, 577 несовершеннолетних (моложе 18 лет) и 963 инвалида (Dutu, Dobre, Lokhin 1999).

Как в военном, так и в военно-гражданском отношениях *Финляндия*, в отличие от Румынии, действовала на оккупированной ею территории совершенно самостоятельно и практически независимо от своих немецких союзников.

В 1940 г. Карелия, как изначально финская государственная территория была оккупирована советскими войсками в результате так называемой «зимней войны», а в начале Великой Отечественной войны была вновь завоевана финскими войсками и в дальнейшем ходе войны длительное время оставалась оккупированной Финляндией. Значительная часть Ингерманландии в июне 1941 г. была оккупирована и немецкими войсками.

На территории Восточной Карелии, оккупированной финнами и немцами, было создано в общей сложности 27 различных лагерей для советских граждан, из них 17 для военнопленных, 3 — для военнопленных и для мирного населения и еще 7 — для мирного населения. Крупнейшие из них находились в Петрозаводске, Ильинском, Олонце, Сала (шталаг № 309) и др. местах. В них

содержались главным образом русские по национальности (как трудоспособные, так и старики и дети), но также и «политически ненадежные» финны. Часть из них была дислоцирована финнами внутри своей оккупационной зоны. Общее число узников этих лагерей — порядка 25 тыс. чел. Подавляющее большинство этих лагерей находились в зоне, контролируемой финнами: их сооружение и установление в них соответствующего варварского режима осуществлялось по инициативе исключительно финского командования, без каких бы то ни было указаний, распоряжений или нажима с немецкой стороны^[88].

На территории Финляндии во время войны содержались как советские военнопленные, так и гражданские лица.

В 1941–1944 гг., согласно официальным финским данным, финны взяли в плен 64 188 советских солдат и офицеров. Из них погибло в плену 19 016 чел. (или 29,6 %), бежало из плена — 712 чел. (1,1 %), репатриировано — 42 412 чел. (66,1 %), а 2048 чел. (3,2 %) смогли избежать репатриации и остаться (Дугас, Черон 1994: 59, со ссылкой на: Roschmann 1982). По советским данным, число репатриированных военнопленных практически совпадает: 42 778 чел. (Полян 2003:489).

Для сравнения заметим, что за время боевых действий финская сторона потеряла 60 тыс. убитыми и всего 3,4 тыс. пленными, из них 1,4 тыс. (или 41,1 % — чудовищная цифра!) умерли в советском плену (Малми 1996: 134; см. также: Галицкий 1997). Интересно, что и во время 105-дневной «зимней войны» 1939/40 г. в советский плен попало практически столько же — 3,4 тыс. — финских военнослужащих, что и в 1941–1944 гг., — против около 5,6 тыс. советских военнопленных, попавших в плен финский (Носырева, Назарова 1995:101).

Еще несколько цифр для сравнения: число убитых и умерших во время санитарной эвакуации в 1939–1940 гг. — 65 384 чел., а число пропавших без вести (читай: пленных) — 19 610 чел.; из них репатриировалось — 5468 чел. при 99 оставшихся в Финляндии добровольно (Гриф секретности 1993:99-100).

Примечательна политика финской стороны по отношению к советским военнопленным-евреям. Сами специальных репрессий по этническому признаку они не проводили, тем не менее практиковали передачу военнопленных евреев и комиссаров в руки СД, что фактически означало следование принципиальным установкам «Приказа о комиссарах»! Как показали исследования Сары Бейцер и Элины Сана, эта судьба (с документально не прослеженным, но достаточно предсказуемым концом) выпала как минимум 70 таким военнопленным^[89]. Первая документированная передача состоялась 6 октября 1941 г. (кстати, из лагеря Сала в оккупированной финнами Восточной Карелии)^[90], а последняя — в сентябре-октябре 1942 г. Такого рода передачи советских военнопленных, во-первых, ставят евреев-военнопленных, попавших в финский плен, юридически в точно такое

же положение, как и у бывших военнопленных-евреев, переживших немецкий плен.

Воспоминания Раскина и Волынца, бесспорно, являются центральными в разделе эго-документов, посвященных советским военнопленным-евреям в финском плену. Они не только самые пространные, но и самые подробные во всем этом разделе. Остальные воспоминания, репродуцируемые (с сокращениями) из сборника, составленного Ш. Янтовским в 1995 г., также содержат немало интересных деталей.

Вот два вывода, которые можно достаточно уверенно вывести из блока этих воспоминаний. Финский плен был хотя и тяжел, но явно уступал немецкому по степени своей бесчеловечности — как общей, так и антиеврейской. В то же время антисемитская линия финских властей очевидна: тут и издевательские комментарии относительно немецкой политики геноцида евреев, и антисемитизм части лагерного персонала, а главное — тенденция к концентрации еврейских военнопленных в ограниченном количестве лагерей (в частности, в Наариярви, Лоуколампи и Монтола). Последняя делала возможной, в случае «необходимости», быструю передачу еврейских военнопленных в немецкие руки — вариант, воспринимавшийся как самими военнопленными-евреями, так и их охранниками, абсолютно всерьез. Эта же концентрация, конечно, открывала путь и к еврейской взаимопомощи (как со стороны еврейской общины Хельсинки, так и внутри лагерей) и тем самым облегчала евреям жизнь.

И тем не менее антисемитизм, с которым сталкивались советские военнопленные-евреи в финском плену, не шел ни в какое сравнение с геноцидальной атмосферой Третьего Рейха, и никакой личный бытовой антисемитизм того или иного лагерного начальника или переводчика не мог изменить этого обстоятельства — решающего для выживания еврейских военнопленных в плену.

Вместо P.S.: советские военнопленные-евреи после Победы — репатриация, фильтрация и некомпенсация

Нешуточную опасность для советского еврея-военнопленного, вырвавшегося из окружения, бежавшего из плена или репатриированного после войны, представляли «свои». Проверкой всех советских военнопленных занималась военная контрразведка Смерш («Смерть шпионам»).

Помимо общего недоверия к любому и каждому, военнопленным-евреям предстояло столкнуться еще и с язвительным удивлением по

поводу того, а как это он, «абрам», не погиб, а жив остался? Множество таких ситуаций описывается на страницах настоящего сборника.

Упомянувшийся выше лейтенант Сергей О., выдававший себя у немцев за татарина, у своих, после освобождения, получил «за измену Родине» 15 лет Джезказганских лагерей (Черненко 1997: 22). Говорилось и о Борисе Ильиче Беликове. Напомним, что к своим он попал после того, как повоевал у партизан из Армии Крайовой. В 1946 г. он был арестован и остаток жизни Сталина провел в Норильске (записано с его слов в 1997 г. в Бад-Киссинге-не, Германия).

Кузьма Соломонович Ресин, 1908 г. р., три года провел в немецком плену, бежал и сумел перейти линию фронта. На допросах «у своих» бежавшие с ним солдаты показали, что он беседовал в лагере с немецким офицером по-немецки: за это он был осужден, заключен в лагерь и умер 24 августа 1945 г. в Инте. Реабилитирован посмертно в 1988 г. (Марьяновский, Соболев 1997: 33).

А вот еще одна еврейская судьба — судьба Владимира Сиротина, родом из Гомеля, 16-летним добровольцем ушедшего на фронт, взятого в плен под Севастополем в 1942 г., а после репатриации на родину зачисленного в спецконтингент. В нижеследующем рапорте на имя начальника Управления по репатриации советских граждан генерал-полковника Ф. Голикова он писал: «...Сейчас нахожусь на госпроверке уже 6 месяцев. Сажу в лагере, кончил допрос и сажу не знаю, за что у немца убивали мучали и издевались как собакой и остался жив и теперь. Сажу в лагере многое время. За что сажу я с моей национальностью один человек в лагере и думаю, сколько можно сидеть и за что. Если считают виноватым, то пускай судят, а если не виноват, то почему так долго держат? Я очень убит и морально расстроен» (Полян 2002:90).

Признаться, до самого недавнего времени встретить живьем хоть одного бывшего советского военнопленного еврейской национальности не приходилось. Вероятность такой встречи, по изложенным выше соображениям, и впрямь была не слишком высокой.

Тем не менее чудеса случаются, и такая встреча (а за ней и другие) все же состоялась — в декабре 2002 г., после того как меня разыскал А.С. Вигдоров из Москвы. В январе 2003 г. состоялась встреча с еще одним таким военнопленным — Ф. Гисиним из Риги, ныне проживающим в г. Виттене в Германии. Оказалось, что еще несколько десятков человек до сих пор живы, проживают на просторах от Феодосии и Санкт-Петербурга до Ганновера, Хайфы и Нью-Йорка.

Все они, будучи в Германии и скрываясь под чужими именами, подвергались насильственной эксплуатации, но никто не получил ни цента компенсации. И Немецкий, и Австрийский компенсационные фонды в компенсации им и другим советским военнопленным дружно и твердо отказали. И, не повторяя «ошибок» прошлого, без какого бы то

ни было различия национальностей — дискриминации в этом благородном деле нет!^[91]

Арон Шнеер, Павел Полян. Голоса жертв (Об этой книге)

1. Императив полной правды

Плен — неотъемлемая часть любой войны. Плен — это трагедия человека, лишенного свободы, подвергаемого унижению. Однако трагедия советских военнопленных во Второй мировой войне не имеет аналогов в военной истории. По отношению к ним нацистская Германия проводила геноцид.

Это книга незатухающей боли и Памяти. Настоящими авторами этой книги являются те, кто победил смерть в нацистском плену, а затем пережил унижения и дискриминацию в советских лагерях, кто вынужден был молчать долгие десятилетия, так как государство, солдатами которого они были, не нуждалось в их шокирующе неудобной для советской системы правде.

И вот — бывшие пленные рассказывают о себе, о своих товарищах и своих спасителях, о предателях и об убийцах. Рассказывают о том, как это было на самом деле. Их голоса и их судьбы, явленные в воспоминаниях, письмах и интервью, собранных в этой книге, приблизят нас к пониманию и их личной трагедии, и трагедии всей войны, того горя и тех испытаний, через которые им пришлось пройти.

Среди миллионов советских красноармейцев, попавших в плен, были и десятки тысяч евреев. Их судьба была еще более жестокой и горькой, чем судьба их товарищей по плену.

Печать еврейства на их лицах была их смертным приговором. Спасение виделось им только в побеге, но в действительности лишь немногие евреи, совершившие побег из лагеря, могли надеяться на спасение. Источники красноречиво свидетельствуют о самом активном сотрудничестве местного населения с новой властью. В документах сообщается, что «...крестьяне доносят старостам и немецкой комендатуре о появлении незнакомого человека на дороге или в селе» (Архив Яд Вашем. М-37/569. Л. 25). Однако если подобное поведение крестьян касалось вообще всех чужаков, появлявшихся в том или ином месте, то на евреев велась настоящая охота, повсеместная и ожесточенная.

Исай Яковлевич Подольский, скрывавшийся под именем Анатолия Тросницкого, — это имя осталось с ним на всю его жизнь, — в письме из США рассказывает о том, что при выходе из окружения он две недели прожил в одной крестьянской семье. Он задает себе вопрос: «А если бы знали, что я еврей, помогли бы?» И сам отвечает: «Я думаю, что нет. И вот почему. Ночью, когда я лежал на печи, в хату зашел еще один окруженец, явный еврей по внешности. Парень был контужен, хватался руками за голову и нечленораздельно мычал. Я слышал, как хозяин сказал жене: „Той на пичи наш хлопец, а цей жид. Накорми его и пусть идет с богом“. И парня выпроводили на верную гибель. Моя нетипичная внешность помогла мне» (Архив Яд Вашем. Отдел Праведников мира. Д. 8917).

Местные полицаи и жители сел и городов вылавливали, предавали и передавали немцам, а нередко и сами убивали евреев-окруженцев или бежавших из плена евреев-солдат. Но, конечно, были и местные жители, которые, рискуя собственной жизнью, евреям помогали.

Отношение к евреям стало пробным камнем на человечность и порядочность. Причем эти категории по-разному понимались даже в одной семье.

Яков Полищук рассказывает, как всю зиму 1941 г. в селе Зазымнем укрывала его простая украинская женщина баба Акулина: «Я помогал ей по хозяйству. Сын ее Прокоп в селе был полицаем. Он частенько навещался к матери: „Жидочка ховаешь, прийде и на него час“. И однажды она сказала мне: „Тоби треба уходиты, вин знае, кто ты“» (Шнеер II: 243–244).

Замечательный русский поэт Семен Липкин, во время войны военный корреспондент, не был в плену, но в окружении был. На войне он — с первых ее дней: Кронштадт, Ленинград, Дон^[1]. На Дону и попал в окружение. Группку из 8-10 человек выводил Липкин: выбирались, проходя по казачьим станицам. Плен миновал поэта, но смертный еврейский страх — нет:

«Было страшно, мне особенно. Я сделал себе удостоверение с армянской фамилией Шахдинарьянц. Это был мой школьный учитель химии, с такой фамилией. Вошли в станицу, зашли в хату... Хозяин хаты говорит мне: „Сдається мэни, шо вы з жидив“. — „Нет, я армянин“. — „Вот прийде жинка, вона скажэ“. Пришла хозяйка. И пока она смотрела на меня, двумя руками приподнимая свои груди, у меня внутри все дрожало. И она сказала: „Вирменин!“...» (семейный архив С.И. Липкина; см.: Нерлер 2003: 32).

Однако находились и те, кто, рискуя собственной жизнью, помогал бежавшим евреям-военнопленным.

В спасении Семена Сотникова, попавшего в плен в 1941 г. и бежавшего из Симферопольского лагеря, приняли участие несколько семей: Малышко, Рублевых, Руденко и их дети. Его скрывали в погребе, а затем в течение двух лет в деревне Кактагай неподалеку от

Симферополя (Карточка спасенного. 2 января 2002 г. Предоставлена в отдел Праведников мира Благотворительным еврейским центром «Хесед Шимон»).

За оказание помощи военнопленным немецкие власти расправлялись с населением. Так, в местной газете г. Проскурова «Украинский голос» 25 октября 1942 г. было опубликовано сообщение: «21 октября 1942 г. перед немецким судом в Проскурове за поддержку бежавшего военнопленного были осуждены украинки: 1. Надя Галас, рождения 1907 г. — к смерти; 2. Вера Соловей, рождения 1909 г. — к смерти; 3. Мотя Заяц, рождения 1912 г. — к 5 годам тяжелой тюрьмы. Все три жительницы села Печески, Проскуровского района. Вышеупомянутые лица дали убежавшему военнопленному приют на ночь, накормили его и снабдили документами и одеждой, не сообщив об этом никому. Приговор приведен в исполнение 22 октября 1942 г. Знайте, что поддержка неизвестных лиц тяжело преследуется» (Архив Яд Вашем. М-37/1200. Л. 20-21).

Почему же, несмотря на угрозы смерти, находились люди, помогавшие бежавшим военнопленным?

Причины и мотивы помощи военнопленным вообще и евреям-военнопленным в частности на оккупированной территории были различными.

У многих, оказывавших помощь военнопленным, сыновья, мужья, родственники служили в Красной Армии. Ведь и они могли оказаться в подобном положении — бежать из плена, скрываться, и спасители верили, что и их близким кто-то так же поможет.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и идеологические мотивы: патриотизм, ненависть к оккупантам, участие в движении сопротивления. Однако чаще не идеология, а человеческое сострадание, неподвластные никакому научному анализу доброта и порядочность руководили спасателями.

Помощь оказывалась как совершенно чужими людьми, так и близкими, знакомыми, если скрывавшиеся приходили в родные места. Нередко приют беглецам оказывали женщины, оставшиеся без мужей, ушедших на фронт. Таких приймаков в селах так и называли «зятья», «зятьки». Неоднократно спасала евреев-военнопленных и всепобеждающая сила любви, не знающая национальных предрассудков. Любви таких, как Тамара Баранцева, Неонила Чистюхина и других, чьих имен и фамилий мы, к сожалению, никогда не узнаем.

Тех, кто спасал, было много, — но в сотни раз больше было тех, кто если и не убивал сам, то предавал, обрекая на смерть.

Лишь незначительному числу евреев-военнопленных после побега удалось либо найти убежище, либо добраться до партизанских отрядов, либо, перейдя линию фронта, после трудных проверок вернуться в армию.

После окончания войны судьбы многих бывших советских военнопленных сложились трагически. Освобожденных из плена — даже тех, кто сохранил в плену честь и достоинство, кто не изменил присяге, — вместо торжественной встречи, наград и компенсации за физический и моральный ущерб, как это было во многих западных странах, ожидали лагеря, недоверие и клеймо предателя на многие годы.

И о том, как сложилась их жизнь после освобождения, читатель узнает из их рассказов в этой книге.

Даже когда бывшие военнопленные в 1956 г. после XX съезда КПСС получили возможность публиковать свои воспоминания, они не могли сказать всей правды. Цензура строго следила за тем, чтобы авторы воспоминаний следовали законам советской идеологии и писали лишь о героическом поведении и сопротивлении советских военнопленных в плену.

Для воспоминаний, да и для всей художественной литературы советского периода, рассказывающей о плене, характерно, как говорил Варлам Шаламов, «обязательно изобразить „устоявших“». По его же словам, «это тоже вид растрепанности духовного» (цит. по: Шрейдер 1993:216). «Все, что идет с недомолвками, в обход, в обман — приносило, приносит и принесет только вред», — писал Варлам Шаламов в письме Александру Солженицыну в ноябре 1962 г. (Там же, 205).

В работе над книгой мы руководствовались этими словами.

2. Источники к теме

Научная и мемуарная литература, специально посвященная отношению Рейха к взятым вермахтом в плен военным-евреям — гражданам различных стран из антигитлеровской коалиции не слишком обширна.

Применительно к советским военнопленным-евреям основополагающей, бесспорно, является статья Шмуэля Краковского «Судьба еврейских военнопленных советской и польской армий», опиравшаяся, помимо литературных, также и на архивные источники, главным образом, американские, польские и немецкие (материалы процессов над нацистскими преступниками) (Krakowski 1992).

Большинство крупнейших американских исследователей Холокоста или продефилировали мимо этой темы, или, как Рауль Хильберг, уделили ей непропорционально малое внимание, ограничиваясь несколькими случайно подобранными фактами и необычайно общими рассуждениями (см., например: Hil-berg 1999: 352-357; это какая-нибудь четверть процента от объема его капитального труда!).

Весьма скромную роль играла эта проблематика и в исследованиях немецких историков. В основном они соприкасались с ней, рассматривая предысторию и историю таких важнейших предвоенных приказов Гитлера, как приказ «Барбаросса» от 13 мая и «Приказ о комиссарах» от 16 июня 1941 г.

Точно так же на периферии исследовательского интереса оказалась эта тема и в СССР. Даже в «Черной книге», составленной В. Гроссманом и И. Эренбургом еще в годы войны, но впервые вышедшей на русском языке только в 1980 г. (Черная книга 1980: 437–442), трагедия евреев-военнопленных представлена фактически всего лишь двумя очерками — свидетельствами М. Шейнмана и В. Резниченко (Резниченко 1993; Шейнман 1993). Несколько беглых или косвенных свидетельств как бы наудачу появлялись в 1950–1970-х гг. (Голубков 1958; Голубков 1963; Бондарец 1960; Воронин 1970; Барвинок, Евселенский, Пустовойт 1979 и др.). Часть этих материалов была собрана воедино и републикована в сборнике «Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944)», выпущенном в Иерусалиме в 1991 г. (Уничтожение евреев 1991).

В то же время весьма любопытно и, разумеется, не случайно, что в книге И.А. Дугаса и Ф.Я. Черона «Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным», написанной представителями «второй эмиграции» и выпущенной в Париже в 1994 г., проблематика военнопленных-евреев начисто проигнорирована (Дугас, Черон 1994:118–121).

Ценнейший материал, буквально по крупицам собранный в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске (ЦАМО), содержит сборник «Документы обвиняют. Холокост: свидетельства Красной Армии», выпущенный Ф.Д. Свердловым в серии «Российская библиотека Холокоста» (Свердлов 1996). Скупые строки политдонесений из войск, выдержки из показаний местных жителей и допросов немецких военнопленных, акты смешанных военно-гражданских комиссий отложились, в частности, в документации политотделов Красной Армии. Они содержат множество свидетельств о еврейском геноциде на территории СССР, в том числе и самые ранние, созданные еще до формирования в 1943 г. Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК).

Отдельные мемуарные свидетельства (в частности, выдержки из воспоминаний С.И. Анваер и др.) были опубликованы в первом издании монографии П.М. Поляна «Жертвы двух диктатур» (1996). Однако сама проблематика, связанная с советскими военнопленными-евреями, была затронута в ней лишь мимоходом. Во втором издании монографии

(2002) этому посвящена уже отдельная глава, озаглавленная «Карательная политика Рейха на Востоке: военно-полевой Холокост» (Полян 1996; Полян 2002:83–91). К сожалению, непропорционально малой и вторичной оказалась главка «Евреи-военнопленные» и в фундаментальной монографии И. Альтмана «Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941–1945» (Альтман 2002).

Зато в 2000-х гг. воспоминания и другие эго-документы уцелевших военнопленных-евреев или их нееврейских товарищей стали появляться гораздо чаще. Ограничимся здесь всего двумя указаниями: на книгу Бориса Соколова «В плену» (Соколов 2000) — своего рода «энциклопедию плена» и на книгу самой Софьи Анваер «Кровоточит моя память...» (Анваер 2005). Обе они восхищают одновременно аналитическим и литературным талантом авторов.

Целый ряд важнейших свидетельств был опубликован и во 2-м томе двухтомной монографии Арона Шнеера «Плен», выпущенной в Иерусалиме в 2003 г. (Шнеер I-II; во 2-е — сокращенное — издание этого труда в 2006 г. соответствующие разделы не вошли). Они восходят как к коллекциям Яд Вашема, так и к разысканиям и собранию самого автора.

Укажем также на неопубликованные воспоминания «Бороться и жить» Юрия Андреевича Силенчука (1906–1974), детальные сведения о которых и даже глубокий их филологический анализ (невероятно, но факт!) уже публиковались (Понсов 1992; Михеев 2005а; Михеев 2005б; нам об этом источнике сообщил голландский коллега К. Беркоф). В начале войны инженер-капитан Силенчук служил в Белокоровичах в 5-м укрепрайоне, в августе был взят в плен, бежал, добрался до Киева и Днепропетровска, где, скрыв свою идентичность, устроился переводчиком к серьезному немецкому чину. Работал с ним и в Сталино, а при приближении Красной Армии подался в партизаны, а потом (в марте 1944 г.) перешел к своим, зачислившим его после проверки в штурмовой (читай: штрафной) батальон.

В настоящем издании мы опираемся на целый ряд дополнительных, ранее не учитывавшихся источников. Прежде всего это — интервью, письма и другие сообщения самих бывших советских военнопленных, как евреев, так и неевреев, с которыми нам удалось установить личный контакт. Большую помощь в установлении этих контактов оказала г-жа С. Вылканова из франкфуртского отделения Claims Conference, по нашей просьбе обратившаяся к бывшим военнопленным-евреям с предложением связаться с нами. Более 20 бывших советских военнопленных-евреев зарегистрированы при Московской ассоциации узников фашистских концлагерей. Кроме того, нами учтена и небольшая выборка из базы данных переживших Холокост (USHMM, Data Base Survivors) в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне.

Другой ценный источник — трофейная немецкая картотека на умерших советских военнопленных, в частности, на офицеров и на

рядовых, хранящаяся в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске (ЦАМО) (подробнее см.: Ильенков, Мухин, Полян, 2000). Слухи о ее существовании в СССР ходили среди историков плена уже сравнительно давно. Однако долгое время они базировались исключительно на косвенной или «глухой» информации^[2].

Один из пишущих эти строки (П. Полян) имел самое непосредственное отношение к «проверке» этих слухов и открытию этих картотек для историков (в том числе и немецких), а также к введению их данных в научный оборот. Первая успешная попытка подтверждения самого факта существования и уточнения режима использования картотек была предпринята им в середине 1990-х гг. в рамках архивно-поисковой темы по заданию Нижнесаксонского Центра политического образования. В 1997 г., благодаря этим усилиям, а также при официальной поддержке полковника В.В. Мухина, возглавлявшего в то время Историко-архивный и Военно-мемориальный Центр Генерального штаба Вооруженных сил РФ, удалось добиться доступа к указанным картотекам и сопутствующим материалам, в том числе и для немецких коллег Р. Келлера и Р. Отто.

Публичное введение картотек в научный оборот состоялось в 1997 г. на конференции «Трагедия военного плена в Германии и СССР, 1941–1956» в Дрездене, где с докладами об этом выступили В.В. Мухин и П.М. Полян. Со временем увидели свет и две параллельные публикации, содержавшие научное описание и оценки объема обеих трофейных картотек (Keller, Otto 1998; Ильенков, Мухин, Полян 2000).

В середине 1990-х гг. П.М. Полян сформулировал и высказал саму идею объединения усилий немецких и российских историков, с одной стороны, и финансовых ресурсов заинтересованных организаций различных немецких земель — с другой, для осуществления совместного проекта по научному освоению картотеки. И такой пилотный совместный проект, поддержанный Немецко-российской исторической комиссией, действительно был запущен в 1999 г.: он называется «Советские военнопленные в немецких руках (офицеры): 1941–1945» и посвящен офицерской картотеке ЦАМО^[3].

Ранее полагали, что среди 550–600 тыс. персоналий карточек на военнопленных-евреев быть не могло и, стало быть, не было (Марьяновский, Соболев 1997:29). Но, по мере сканирования и обработки карточек в рамках названного проекта, обнаружилось, что в картотеке встречаются и евреи — прежде всего те, кто с самого начала заявил свою подлинную национальность или же те, кого немцы разоблачили. Серьезным подспорьем в нашей работе оказались выборки о евреях-военнопленных из офицерской картотеки ЦАМО, предоставленные нам в течение 2003 г. Р. Келлером и К.-Д. Мюллером (сначала частичная, на 35 чел., а потом и полная — примерно на 360 чел.)^[4].

Что касается финского плена, то немало ценного содержат немногочисленные воспоминания советских военнопленных — как еврейских, так и других (Дьяков 1991; Янтовский 1995; Головин 2003)^[5].

Замысел этой книги претерпевал определенную эволюцию.

Первоначально составители намеревались собрать в ней, систематизировать и обобщить все известные им на данное время эго-документы военнопленных-евреев — их воспоминания и дневники, интервью с ними или очерки о них во всей полноте.

Однако, когда такая книга была собрана, оказалось, что материала, вопреки ожиданиям, накопилось на несколько томов. Рукопись пришлось сократить в 2 раза. Столь радикальное сокращение объема было процедурой небезболезненной. Попытка отобрать самые «лучшие» материалы и дать своего рода «хрестоматию» по теме не удалась в силу совершенного отсутствия критериев качества отдельного материала.

Практически единственным практикабельным критерием стал принцип первопубликации. На этом основании из корпуса исключены тексты из «Черной книги» (1980), из сборника «Советские евреи пишут Илье Эренбургу. 1943–1966» (1993), из книги «В плену у Гитлера и Сталина. Книга памяти Макса Григорьевича Минца» (1999), многочисленные материалы из 2-го тома монографии А. Шнеера «Плен» (2003) и пространные фрагменты из книги воспоминаний С. Анваер «Кровоточит мое сердце» (2005). Полный перечень выпущенных текстов приводится в Приложении 3.

Принцип эдиционной новизны соблюдается, впрочем, не строго: для изданий тиражом всего в несколько сот или десятков экземпляров сделано исключение (Кацперовский 2003; Литовский 1995).

Таким образом, настоящее издание являет собой собрание неизвестных или малоизвестных эго-документов, посвященных советским военнопленным-евреям. Каждый документ рисует внутреннюю перспективу их трагических судеб и создан или непосредственно ими самими, или же с их участием и помощью. Подавляющее их большинство публикуется впервые, некоторые написаны по просьбе составителей или же записаны самими составителями специально для настоящего издания. Большинство заголовков также принадлежит составителям.

Композиционно книга делится на две части: одна посвящена немецкому плену, другая — финскому (материалы о румынском плене не были выявлены). Первая часть состоит из трех разделов, вторая же, вобрав в себя и стихи, внутреннего деления не имеет. В каждом разделе различные материалы выстроены строго по алфавиту персонажей. Источники текста каждого из материалов приводятся в первом же подстраничном примечании к их заглавиям.

Первый и самый объемный раздел первой части составили воспоминания и дневники^[6]. Если воспоминания И. Бружеставицкого и

В. Кацперовского являются тематическими извлечениями из их более крупных мемуарных комплексов, охватывающих практически всю их сознательную жизнь, то тексты И. Тартаковского и Н. Фишмана сосредоточены именно на проблематике пребывания их авторов в плену. Каждый материал этого раздела снабжен небольшим поясняющим предисловием.

Второй раздел составили около двадцати небольших материалов — писем, документов, интервью и заметок. Письма самих военнопленных-евреев — как военной поры, так и написанные сравнительно недавно — сочетаются в них с письмами их родственников, пересказывающими их рассказы или рассказы других очевидцев об их судьбе, а также с документами, характеризующими, как правило, уже послевоенные эпизоды их реинтеграции в жизнь на родине. Некоторые обстоятельства жизни персонажей этих материалов, опущенные в них самих, восполняются в минихарактеристиках, часто — в виде указания на время нахождения в плену.

В третьем разделе представлены свидетельства советских военнопленных-неевреев о страшной судьбе их товарищей — евреев-красноармейцев. В этих описаниях сквозит и возмущение происходящим, и сочувствие к еврейским жертвам, порою смешанное с ужасом от того, когда мемуаристы вдруг представляют и себя на месте подвергаемых издевательствам и зверскому убийству. Принцип первопубликации на данный раздел, ввиду его уникальности, не распространяется.

Во второй части собраны различные воспоминания о пребывании советских военнопленных-евреев в финском плену^[7]. Крупные воспоминания (в частности, М. Волынца и Л. Раскина) сочетаются в нем со сравнительно небольшими материалами. Но в раздел включены — и даже открывают его! — два стихотворения одного из таких людей — архитектора Соломона Шура, личности совершенно незаурядной. Этого человека и его спасительные «колхозы» в Лоуколампи с благодарностью и почтением поминали в большинстве текстов о финском плене. Не соприкоснулись с ним всего трое — С.В. Тиркельтауб, попавший в плен в декабре 1941 г. на о. Ханко, М.М. Волынец — разведчик, попавший в плен незадолго до заключения перемирия с Финляндией и Ц. Леечкис — женщина-военнопленная.

В приложения, кроме перечня материалов, не вошедших в книгу, вошли таблица подлинных имен и псевдонимов, использовавшихся советскими военнопленными-евреями в их попытках спастись, списки военнопленных-евреев, находившихся в плену у финнов и переданных финнами немцам, а также данные о советских военнопленных офицерах — евреях, почерпнутые из трофейной офицерской картотеки в Центральном архиве Министерства обороны России в г. Подольске.

Тексты печатаются с сохранением орфографии подлинника. Купюры или конъектуры показываются скобками. Пунктуационные ошибки и опечатки исправляются без оговорок.

Составители сердечно благодарят всех своих «авторов» — бывших военнопленных, чьи произведения или материалы вошли в книгу, — И.Е. Азаркевича, П.П. Астахова, М.И. Бенционова, Н.А. Бондарева, И.М. Бружеставицкого, А.С. Вигдорова, М.М. Волынца, Д.И. Додина, В.Е. Кацперовского, С.Я. Кригера, И.С. Кубланова, С.А. Орштейна, Л.Я. Простермана, Л.З. Раскина, Ю.Б. Раунштайна, Э.Н. Сосина, С.В. Тиркельтауба и Н.А. Фишмана. Увы, некоторые из них не дожили до выхода этой книги...

Отдельная признательность — Н.Л. Поболу, чья разносторонняя и щедрая помощь была ощутима на всех этапах работы, а также И.А. Альтману, К. Беркофу, С. Вылкановой, Ж.А. Гольденфельд, Н.Т. Жуковой, С.А. Ильенкову, Р. Келлеру, В.И. Кононову, К.-Д. Мюллеру, Р. Овермансу, Д. Полю, И. Рабин, Г. Рейзмону, Ф. Ремеру, Л. Терушкину, Н.Н. Фишер и М. Цымберову за содействие в отдельных вопросах. Особая благодарность С.С. Бурыкиной, без которой настоящее издание не смогло бы выйти в свет.

Принятые сокращения

АГ — айнзатцгруппа (Einsatzgruppe)
АК — айнзатцкоммандо (Einsatzkommando)
ВИЖ — «Военно-исторический журнал», Москва
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва
ГАСК — Государственный архив Ставропольского края, Ставрополь
ГФ ПОБ — Германский фонд «Память. Ответственность. Будущее»
ЗК — зондеркоммандо (Sonderkommando)
МИД — Министерство иностранных дел СССР
МККК — Международный комитет Красного Креста, Женева
НАРБ — Национальный архив Республики Беларусь, Минск
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НСДАП (Nazional-Sozialistische Deutsche Arbeitspartei) — Национал-социалистическая рабочая партия Германии
ОКВ — Верховное командование вооруженных сил Германии (OKW: Oberkommando der Wehrmacht)
ОКХ — Верховное командование сухопутных сил (OKH: Oberkommando des Heeres) ПО — партнерская организация
РГВА — Российский государственный военный архив, Москва
РСХА — Имперская служба безопасности (RSHA: Reichssicherheitsamt)
РФВП — Российский фонд «Взаимопонимание и примирение»

СД — Служба безопасности при СС (SD, Sicherheitsdienst der SS)

СС — Охранные отряды национал-социалистической рабочей партии Германии (SS, Schutzstaffel der NSDAP)

ЧГК — Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, Москва

ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны РФ, Подольск

BAВ — Bundesarchiv, Berlin

BA-MA — Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg

JCC-International Claims Conference, New York

IfZ — Archiv des Institutes für Zeitgeschichte, München

USHMM — United States Holocaust Memorial Museum, Washington



ПЕРЕВОД С НЕИЗВЕСТНОГО

Личная карточка СТАЦИОНАРНЫЙ лагерь военнопленных 825, г. Дрогобыч		Личный номер пленного: 04803
Фамилия: ВИГНЕВНИЙ Имя: САМУИЛ Дата и место рождения: 1 марта 1903 Вероисповедание: иудейское Имя отца: ПАВИД	Пол: мужской Военное звание: гражданский Профессия: агроном Когда и где взят в плен: 22 июня 1941 г., Дрогобыч В каком состоянии взят: ранен	
Место для погребения	Рост: 172 Цвет волос: светлый Отпечаток правого указательного пальца	Фамилия и адрес родственника пленного на родине: жена: Давида Вигневича ИТОМИР, Запорожская, 4

умер 13 апреля 1942 г. в лазарете.

Перевела: *Э. Коп* /ВОРОНИНА/ 25.7.49





Часть первая. В немецком плену

Воспоминания и дневники

Израиль Моисеевич Бружеставицкий (Бружа). Война — плен — репатриация. Из записок директора музея.^[1]

Израиль Моисеевич Бружеставицкий родился 20 июля 1922 г. в Мелитополе. Среднюю школу окончил в Симферополе. В 1939–1941 гг. учился в ИФЛИ, с 9 августа 1941 г. — в Красной Армии. В составе 147-й стрелковой дивизии 62-й армии воевал на Сталинградском фронте (радист и заместитель политрука роты), и августа 1942 г. в районе Калача-Суровикина попал в окружение и был взят в плен. Документы уничтожил, национальность скрывал. Значился под именем Леонид Петрович Бружа. После двух месяцев в дулагах на советской территории был отправлен в Германию и с 23 октября 1942 г. находился в шталаге IV В в Мюльберге и других лагерях в Саксонии.

После освобождения войсками 1-го Украинского фронта снова был призван в армию и снова служил радистом (и вновь под своим настоящим именем). Как студент вуза, он был демобилизован уже в октябре 1945 г. В 1949 г. окончил истфак МГУ и распределился в Тверь. До выхода на пенсию в 1983 г. работал в сфере культуры: в 1967–1978 гг. — директором Калининского областного краеведческого музея, в 1978–1983 гг. — генеральным директором Калининского государственного объединенного историко-архитектурного и литературного музея. Умер 9 апреля 2006 г.

В 1993–1998 гг. Бружеставицкий работал над собственными «Воспоминаниями бывшего директора музея (1967–1983)», в которых подробно описал перипетии плена. С помощью сына «Воспоминания» были набраны и отмакетированы как книга. Экземпляры «Воспоминаний» хранятся в семье, а также в Тверском областном архиве, областном музее, областной библиотеке и в отделе рукописей Государственного литературного музея (г. Москва).

Павел Полян.

Война

Я долю свою по-солдатски приемлю.

А. Твардовский^[2]

В воскресенье 22 июня 1941 г. я сидел в читальном зале в институтском корпусе на Ростокинском проезде в Сокольниках, готовился к экзамену по всеобщей литературе, читал «Дон Кихота» Сервантеса. На его 189-й странице (запомнил ее на весь свой век) закончилась мирная жизнь.

Об этом объявила нам девушка-библиотекарь. Мы бросились к ближайшему репродуктору, прослушали повтор выступления Молотова и, разумеется, отставили книги в сторону. В институте в воскресенье было пусто. Не было ни администрации, ни руководителей парткома, комитета ВЛКСМ, профкома. Что было делать? И мы, группа приятелей, решили поехать в центр Москвы. Там ничего определенного понять мы не могли, потому пошли в кинотеатр «Ударник» и посмотрели какую-то кинокомедию. Вечером общежитие бурлило, все собирались на фронт, чтобы в течение двух-трех недель покончить с коварным врагом.

23 июня утром во дворе ИФЛИ состоялся общеинститутский митинг, в заключение которого мы все с энтузиазмом спели «Интернационал», будучи твердо уверенными, что «это есть наш последний и решительный бой». А во второй половине дня нас уже выселяли в разные места из Стромынского общежития, где намечалось развернуть госпиталь. Я с товарищами попал в какую-то школу на Тетеринском переулке в районе Таганки, т. е. на другой конец Москвы.

Любопытная деталь: во дворе общежития на Стромынке стоял небольшой отдельный дом, в котором находилась камера хранения. Большинство ребят сдало личные вещи в нее. И те, кто вернулся живым после войны, получили свои вещи целехонькими. Я же, имея какие-то связи в Москве, развез мои вещи на хранение, частично к деду, частично к Вере Михайловской. Вернувшись в 1945 г., я не нашел ни

одной вещички — ни пальто, ни костюма, ни белья, ни одной книжки. То ли они были брошены моими близкими при эвакуации, то ли проедены — не знаю. Ответа я не добивался.

Начало войны совпало с окончанием летней экзаменационной сессии. Некоторые парни шли нахально без всякой подготовки на экзамен, и патриотически настроенные умиленные профессора ставили им пятерки. А мне представлялось все это безразличным, и я последние два экзамена сдавать не пошел, за что и поплатился в 1945–1946 гг., восстановившись в Университете. За мной числилась академическая задолженность, и ее надо было погашать — через четыре военных года.

В числе моих комсомольских поручений на 2-м курсе ИФЛИ было обучение радиodelу, сперва в районной организации ОСОАВИАХИМа (мы все были его членами), а затем в Московском городском Доме радиолюбителя на Сретенке. К началу войны я был довольно обученным радиотелеграфистом и 9 августа 1941 г. вместе с другими воспитанниками Дома радиолюбителя вступил добровольцем в Красную Армию. Мы были зачислены в 1-й Московский запасной полк связи курсантами. Полк размещался в казармах на ул. Матросская Тишина в Сокольниках. Это название улица получила, кажется, еще при Петре I, а теперь знаменита тюрьмой. Призыв наш потом был оформлен через соответствующие райвоенкоматы (мой — Сокольнический). Кстати, к тому времени я получил повестку на призыв из райвоенкомата, кажется, на 11 августа, но предпочел определение в Кр. Армию по имеющейся уже воинской специальности.

Как узнал я после войны, всех тех студентов, которые были призваны в середине августа 1941 г. через райвоенкоматы, направили в военные училища. В частности, мой сосед по комнате в общежитии и однокурсник Миша Гофман окончил ускоренный курс артиллерийского училища и погиб на фронте в 1944 г. Другой однокурсник, Г. Каневский, не сумевший преодолеть трудности радиотелеграфного дела, не пошел с нами в связисты, а был направлен военкоматом тогда же в пехотное училище, закончил войну капитаном, начальником оперативной части полкового штаба, вернулся в 1945 г. с большим числом орденов и медалей, которые обязательно надевал, идя на экзамены. Покалеченным, инвалидом 1-й группы вернулся с войны подполковник Лев Якименко, даже получил комнату в основном корпусе МГУ на Моховой; нас, своих довоенных товарищей, не очень привечал. Как ни странно, из восьми жильцов нашей студенческой комнаты № 36 шестеро пережили войну; все, кроме Ю. Левитанского, возвратились доучиваться в Университет, куда снова влился ИФЛИ. Процент погибших ифлийцев и студентов аналогичных факультетов МГУ был значительно выше, чем в нашей комнате. Пути военные неисповедимы!

В начале июля студентов ИФЛИ, остававшихся в Москве, направили на рытье противотанковых рвов под Смоленск или на военные заводы,

многих — на Авиамоторный № 24. Я тоже был туда записан, но попал на «скорой» в больницу с острым приступом холецистита. <...>

Ночью 3 июля в больничной палате в радионаушниках раздался голос СТАЛИНА: «Братья и сестры, друзья мои!» Еще сильнее захотелось скорее на фронт. Когда вышел из больницы, начались — с 22 июля — еженощные с 22 часов бомбардировки Москвы. И новый образ жизни — либо ночью дежурство по очереди на крыше школы, откуда довелось сбросить с десятков зажигательных бомб, либо сидение в примитивном «бомбоубежище» — в подвале школы. Вскоре мы узнали, что такие бомбоубежища опаснее пребывания на поверхности, и после объявления воздушной тревоги оставались спать в комнате. Несколько ночей, когда гостил у деда, провел в туннеле метро станции «Дзержинская». В конце июля сфотографировался с двумя товарищами по курсу и комнате и один снимок отправил родителям. По этой фотографии мать узнала в эвакуации офицера М. Гофмана, находившегося на излечении по ранению в госпитале, в котором она работала швеей. Позднее он погиб.

8 августа 1941 г. накануне ухода в Красную Армию отправил домой в Симферополь почтовую открытку в патристическом стиле, сообщал о своем решении добровольно вступить в Кр. Армию. Это была последняя весточка от меня моей семье до лета 1945 г. Вскоре Крым был отрезан фашистскими войсками, связь с семьей прервалась. Как я узнал после войны, мои друзья по двору в Симферополе, все моложе меня и потому не призванные на военную службу, при приближении немцев все ушли в партизаны. Часть их погибла. Мой друг детства и соперник за лидерство во дворе Леня Иванин, смелый парень, баянист, вернулся из партизанского отряда без одной руки, стал агрономом.

В Симферополе фашисты расстреляли мою старенькую бабушку, приехавшую на лето погостить к моим родителям, вместе с нею расстреляли ее старшую дочь — сестру моего отца с 10-летней дочкой. Они не захотели поехать в эвакуацию с моей матерью и моим младшим братом, которых успел отправить отец с семьями персонала военного госпиталя, куда он был назначен помощником начальника по хозяйству. Там же, в Крыму, отец погиб на фронте осенью 1941 г. Обо всем этом я узнал после войны.

Конец моих предков не первый раз был трагическим. Родителей моей матери — беспомощных стариков — во время Гражданской войны убили петлюровцы при еврейском погроме в местечке Черный Остров недалеко от гор. Проскурова (ныне гор. Хмельницкий) на Украине. И в глубине веков мои предки гибли от рук фанатиков и грабителей, вынесли адские мучения, но в цепи поколений породили и меня.

Я после войны ни разу не побывал в Симферополе, хотя и собирался — страшно было взглянуть на родное пепелище. Связь с друзьями детства и соучениками утратил. Теперь, на старости лет, сожалею об этом.

Утром 9 августа 1941 г. нас привезли на станцию метро «Сокольники» и доставили в полк. Там сразу остригли наголо, отвели в баню, обмундировали и определили в 1-ю роту 3-го батальона, в котором готовили младших командиров^[3] полевых радиотелеграфных станций. Первым делом учили наматывать портянки и управляться с обмотками. Сапоги были только у средних командиров, старших сержантов (помощников командиров взводов) и старшин. Состав наш был пестрым: добровольцы из Дома радиолюбителя, уже выполнявшие нормативы радистов 2-3-го классов, молодые новобранцы, запасники в возрасте. Некоторые не имели даже неполного среднего образования и потому не были пригодны к профессии радиотелеграфиста, в которой надо быть минимально грамотным и обладать начальными знаниями физики. Я — из студентов — оказался одним из самых грамотных. Был, правда, среди нас и мужчина повзрослее с высшим образованием, инженер-железнодорожник. Ему слон на ухо наступил, радиотелеграфист он был никудышный, неоднократно подавал рапорт о направлении его в железнодорожные войска, но неизменно получал отказ. В числе курсантов оказался и кадровый сержант, механик-водитель танка, вышедший из окружения. И его не отправляли в танковую часть, хотя был острый дефицит танкистов. Таков был установившийся давно «порядок» в армии, где каждому начальнику было наплевать на общие интересы. Как правило, гражданские специальности красноармейцев не учитывались. Исключение составляли шофера.

Физически я был слаб, мне тяжелее, чем другим, давались физическая и строевая подготовка, полевые тактические занятия. В этом отношении я был в числе последних. Но как радиотелеграфист был лучшим, так как обладал острым слухом, знал хорошо физику в объеме программы средней школы и потому быстро разобрался в основах радиотехники. Я был прилично обучен приему и передаче радиogramм на уровне специалиста 2-го класса. Такое вот противоречие.

Сразу же без выборов был назначен комсоргом роты. Но, увы, этого испытания я не выдержал. Вел себя по отношению к товарищам как дополнительный командир, требовал, как и начальство, дисциплины и вскоре потерял популярность. Через месяц на выборах тайным голосованием меня прокатили. Это был мне суровый урок на будущее — с товарищами надо быть товарищем, а не строить из себя начальника. И хотя я все еще оставался идейно прямолинейным и сверхчестным, я становился требовательнее к себе и терпимее к товарищам.

Служба в 1-м Московском запасном полку связи была трудной. Днем нагрузка как у всех. Строевая, физподготовка, полевые тактические учения, изучение уставов, оружия, радиотехники, радиотелеграфирования, дежурство дневальным (сутки), в карауле (сутки). Но особенно тяжелы для радистов были ночи. Каждую ночь

немцы бомбили Москву; курсанты всех остальных специальностей бежали по тревоге спать в щели, выкопанные нами же, а радиотелеграфисты отправлялись в радиоклассы тренироваться в приеме и передаче радиogramм. И так каждую ночь почти не спали, а днем — никаких скидок. Очень были изнурены.

Весь август хорошо кормили, водили в бывшую гражданскую столовую за пределами части. Горожанам сперва порции казались слишком большими, и мы их не доедали. Но через месяц и кормить стали хуже (Белоруссия и Прибалтика были оккупированы фашистами уже полностью, Украина — более половины), и усиленная физическая нагрузка требовала усиленного питания. Впервые появилось чувство голода. Настроение среди красноармейцев было все же бодрым, несмотря на тяжелые неудачи на фронтах вопреки первоначальным надеждам на быструю победу. Конечно, рассказы немногих фронтовиков, попавших в полк после ранений или выхода из окружения, радости не добавляли.

Для курящих (я тогда курил) начались трудности с табаком. Табачный паек в тылу не полагался. Денег у большинства не было, чтобы купить папиросы или махорку (они еще свободно продавались). Снабжение с каждым днем ухудшалось. Особенно недовольны мы были тогда, когда мясо заменяли рыбой — соленой горбушей или кетой. Кто предполагал, что горбуша и кета станут деликатесом? А осенью 1941 г. они нам надоели предельно.

Несколько раз меня навещали мои однокашницы по ИФЛИ, возвратившиеся с рытья окопов под Смоленском. Приносили гостинцы — папиросы и печенье.

Наступил октябрь. Немцы были уже недалеко; в начале октября они прорвали наш фронт под Вязьмой и быстро приближались к Москве. От нашего батальона снарядили две авторадиостанции и прикомандировали к противотанковым истребительным батальонам на Волоколамском направлении. Меня с несколькими товарищами из числа выпускников Дома радиолюбителя, как уже обученных, включили в экипаж передвижных радиостанций, снабдили сухим пайком — концентратами супов и каши. С ними я познакомился впервые, как и с консервированным зеленым горошком, который мы купили в сельском магазине. Таков был мой примитивный жизненный опыт, хотя мне пришлось в свое время прихватить начало голода на Украине, карточную систему в первой половине 30-х годов. В этот раз, когда в Москве ввели карточки, я был уже на военной службе.

Командовал авторадиостанциями ст. сержант Морозов, текстильщик, призванный из запаса. В боях участвовать мы не успели, нас отозвали и в полном составе передали в отдельную роту связи при штабе Московского военного округа.

Памятные дни 15–16 октября 1941 г. Наши две автомашины двинулись по приказу к железной дороге, кажется, в район Курского

вокзала. В городе царила паника. Толпы обезумевших людей грабили магазины и склады. Им никто не препятствовал. Другие строили на улицах баррикады. Третьи — их были многие тысячи — пытались бежать из Москвы. Среди бегущих, видимо, было и какое-то начальство на легковых автомашинах (частных легковушек тогда практически не было). Везли домашние вещи на грузовиках, на ручных тележках, на велосипедах, тащили на себе. Просились, а то и нападали на автомашины. Пытались влезть и в наши военные автомашины (а мы присоединились к военной автоколонне), но мы были вооружены и отбивались прикладами винтовок и карабинов. Было жалко детей и стариков, но приказ был строг: никого из гражданских и чужих в военной форме в машины не допускать.

На железной дороге наши машины въехали по трапу на открытые платформы и в составе воинского эшелона поехали на восток, как потом оказалось, в гор. Горький. В пути, особенно поначалу, эшелон часто останавливался, и тогда его осаждали толпы беженцев-москвичей. Но никого — ни стариков, ни женщин, ни детей, мы взять не имели права. Командование эшелона следило за этим внимательно и проверяло каждый вагон, платформу, машины не только на остановках, но и в пути. Мы все же спрятали в нашей авторадиостанции женщину с 5-летней девочкой и довезли их до Горького. Но молодых мужчин с целыми руками и ногами в толпах беженцев мы не жалели, даже ненавидели.

Наш эшелон бомбил и обстрелял из пулемета немецкий самолет. Эшелон остановился; по команде мы рассеялись на ближней лесной опушке и стреляли безуспешно по самолету из винтовок и зенитных пулеметов. Выяснилось, что в эшелоне все же везли немало гражданских, которые тоже выбежали из вагонов. Когда самолет улетел, объявили, что убит машинист. Среди красноармейцев нашелся машинист и вместе с оставшимся в живых помощником повел эшелон дальше. Но на этот раз начальник эшелона разрешил погрузить ехавших в эшелоне гражданских — это были женщины с детьми — с тем, чтобы на первой же станции они оставили поезд. Но на конечной станции в Горьком из эшелона выгрузилось много тех же женщин и детей. Солдатское сердце — не камень!

Расположилась наша отдельная рота связи в Нижегородском Кремле в здании явно невоенного типа, а на боевое дежурство на стационарной радиостанции в штабе округа мы ходили куда-то в город. Впрочем, штаб практически радиосвязью не пользовался, его обслуживали проводной телеграф и телефон. Связисты там были из гражданских профессионалов высокой квалификации, только надели на мужчин и женщин военную форму. Хотя они, как и мы, были рядовыми, их особо оплачивали и лучше кормили, что, конечно, было правильно.

<...>

Несколько месяцев тыловой службы при штабе МВО в Горьком пролетели быстро. Горький немцы бомбили даже днем. Однажды бомбежка застала нас в бане. Мы только намылились, как раздались сирены и гудки воздушной тревоги, и сразу же отключили воду. Намыленные мы просидели в бане часа два, пока не закончился воздушный налет и не возобновили подачу воды. Быстренько домывшись, мы строем с песней вернулись в Кремль. Вот такое происшествие задержалось в памяти, а более важное выветрилось.

<...>

В конце первой декады декабря в штабе разнеслись слухи об успешном наступлении Красной Армии под Москвой, а через несколько дней мы услышали сообщение «От Советского Информбюро» о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. В начале февраля 1942 г. Штаб МВО возвратили в Москву, а часть персонала отправили по строевым соединениям. Нас, пять бывших курсантов 1-го Московского зап. полка связи, направили под командой мл. сержанта Морозова в 147-ю стрелковую дивизию, формировавшуюся на территории Татарской АССР. Штаб ее находился в райцентре Кукмор, куда надо было добираться на попутных гражданских поездах с пересадками на ст. Канаш и в Казани. Ехали мы с приключениями неделю. В Казани силой вломились в мягкий вагон. Билеты по воинским требованиям были закомпостированы военным комендантом, но это ничего не значило. В переполненные поезда новых пассажиров проводники пытались не допускать. Но мы прорвались и ехали в коридоре. Проводница была неопытной, на этой дороге работала впервые и то ли от незнания, то ли в отместку за наше нахальство высадила нас на полустанке за 20 км от Кукмора. Пока мы разобрались, поезд ушел. Переночевали у гостеприимного путевого обходчика и следующим утром двинулись пешком по железнодорожным путям в 30-градусный мороз.

В штабе дивизии нас разделили по разным полкам. Морозова оставили в отдельном батальоне связи, Козина (тульский оружейный мастер по дурацкому обычаю служил радистом) — в 615-й стрелковый полк, двух малолеток 1924 г.р., москвичей, окончивших в 1941 г. среднюю школу и курсы при Доме радиолюбителя, — в 640-й СП, а меня — в 600-й СП. Выяснилось, что в батальоне связи и в полковых ротах связи все командиры отделений и начальники радиостанций — наши сослуживцы по 1-му Московскому запасному полку связи. Полк в октябре 1941 г. был эвакуирован куда-то на Урал, там курсантов доучили, присвоили им звания мл. сержантов и сержантов и разослали в соединения, которые формировались для отправки на фронт. Только мы, наиболее обученные, прикомандированные к штабу МВО, так и остались рядовыми.

В 600-м СП я был определен в радиовзвод, в отделение к своему бывшему сослуживцу мл. сержанту Гурееву. Отношения с ним

сложились хорошие. Командир роты лейтенант С. был мой одноклассник из Смоленска, окончил среднюю школу в 1940 г. и ускоренный курс военного училища связи. Так как он прибыл в дивизию в начале ее формирования, то сразу был назначен командиром полковой роты связи, а командирами взводов у него стали старшие лейтенанты, правда, призванные из запаса. Командир роты был очень самолюбив, чувствовал, что слишком молод и неопытен, не находил общего языка с подчиненными, большинство которых были старше его по возрасту. Он не мог простить мне моего образования, поэтому относился ко мне неприязненно. Но у меня вдруг оказался сильный покровитель — политрук роты, по званию ст. политрук, татарин.

Дивизия формировалась из местного необученного населения. Новобранцы были лет сорока, кадровую службу не проходили. Большинство составляли татары, затем удмурты, марийцы, чуваша. Многие плохо владели русским языком, что вносило дополнительные трудности в боевую подготовку. Русских было мало, в основном присланные специалисты — связисты, артиллеристы и т. п. Фронтовики, имевшие боевой опыт, в дивизии были единицы. Командовал дивизией полковник-фронтник. Обучали стрелковые подразделения интенсивно, но бестолково, на деревянных муляжах винтовок. Лишь у нас в роте связи у всех бойцов, кроме специального оборудования, были карабины — несомненная заслуга нашего энергичного командира роты.

При таком качестве обучения и таком составе боевая ценность дивизии была близка к нулю, что и выяснилось летом на фронте. Достаточно сказать, что до отправки на фронт учебные стрельбы были проведены только один раз в мае, в лагерях близ Коврова, куда была переведена дивизия для принятия вооружения. Каждому дали по три патрона, минометчикам и артиллеристам соответственно по три мины и три снаряда на миномет и орудие. Вот и вся стрелковая подготовка.

Известно, что в Красной Армии связь была слабым местом и с самого начала войны являлась одной из основных причин наших поражений. К радиосвязи командование относилось с недоверием, на это действительно существовали веские основания. Радиостанций было мало, конструкции их устарели, они были очень тяжелы, радиус действия передатчиков мал. Шифровальное дело в дивизиях было ниже всякой критики, специалистов не было (в Горьком, в Кремле находилось военно-шифровальное училище; я попытался поступить туда, но наш престарелый командир отдельной роты связи Штаба МВО отказал мне — мол, заменить нечем). Поэтому радистов чаще всего использовали как дополнительных телефонистов. Тут особого искусства не требовалось — беги с двумя тяжелыми катушками с толстыми проводами да кричи в трубку полевого телефонного аппарата.

Проводная связь во фронтовых условиях тоже была ненадежной, часто под обстрелом обрывалась, и телефонисты несли большие потери

при восстановлении обрывов. Тем более нас, радистов, снимали с радиостанций и посылали восстанавливать телефонную связь. В учебном процессе это учитывалось, и радисты, как всегда, несли двойную нагрузку — к занятиям по радиodelу добавляли занятия по телефонной связи. А телефонистов, естественно, радиodelу не обучали.

Наша отдельная рота связи 600-го стрелкового полка в период формирования и обучения размещалась в каком-то деревянном бараке в деревне, похоже — в бывшем клубе, так как длинный зал заканчивался большой эстрадой. На ней установили пирамиды для оружия и поставили несколько письменных столов для командиров. Оттуда же вели занятия. Чуть ли не на третий день после моего прибытия в роту меня избрали ротным комсоргом (кстати, и комроты был комсомольцем). Но на сей раз я уже не строил из себя дополнительного начальника и во всех отношениях был таким же рядовым, как и все, отказавшись от малейших привилегий.

А через неделю все-таки стал маленьким начальником. Меня усадили за письменный стол и поручили исполнять обязанности писаря. По штату в роте связи писаря не полагалось, и до меня над бумагами корпели сам командир роты и командиры взводов. А бумаг было поразительно много — ежедневные отчеты о личном составе, болезнях, наличии и движении имущества, о ходе боевой и политической подготовки и т. д. и т. п. Взвалив на меня бумажную канитель, командиры облегченно вздохнули. И стали все звать меня писарем. Каждый день рота отправлялась на тактические занятия в поле, где, несмотря на конец зимы и начало календарной весны (шел уже март), стояли 30-градусные морозы. При нашем обмундировании они были весьма чувствительны. Я, однако, в поле выходил очень редко, по уши загруженный бумажной волокитой. И что удивительно, никто мне не завидовал — бумаги для большинства (а они были малограмотны) казались страшнее морозов.

В конце марта или начале апреля вдруг был получен приказ за подписью командира и комиссара дивизии: мне было присвоено воинское звание заместителя политрука роты, равнозначное званию старшины, и я был назначен на эту должность. Видимо, представление сделали политрук и командир роты, последний, думаю, с неохотой. И стали называть меня теперь не писарем, а замполитом. Мне поручили вести все политзанятия и занятия по уставам, в то же время не освободили от писарских обязанностей. От тактических занятий, кроме маршевых бросков, я был освобожден. Пошло ли это мне на пользу? Не уверен. Нацепил я на петлицы по четыре треугольника; комиссарских звезд я не носил, так как их просто не было. Поэтому незнакомые принимали меня за старшину. Заменили мне ботинки с обмотками на хромовые сапоги, теплую шинель из грубого русского сукна на более легкую и красивую, но холодную, из тонкого английского сукна.

Назначили мне месячный оклад в 150 р. как старшине 3-го года службы, хотя я служил еще меньше года. Появились деньги на покупку махорки (20–30 р. за стакан), которую я, естественно, раскуривал не один, а совместно с товарищами. Красноармейская зарплата была 4 р.

Питались мы плохо, было голодно. Хлеба давали по 600 гр., жиров почти не было, на ротной кухне воровали повара и наряды, командирам вылавливали побольше мяса. Испортил я отношения с командирами после того, как, возглавив наряд на кухню и пекарню, запретил выдать пришедшему ординарцу сверх нормы хлеб и мясо из общего котла для командиров. И составу наряда не дал уворовать ни хлеба, ни мяса, и себе не взял. Более меня на кухню не посылали. От столования с командирами я отказался, питался наравне со всеми красноармейцами. Большинство их как раз не голодало, так как почти каждому приносили что-то жены и другая родня, жившая относительно недалеко. Местные не страдали от отсутствия табака — родственники снабжали их самосадом. Пока мы оставались в Татарии, от ребят и мне перепадала какая-то подкормка — отношения с ними у меня сложились товарищеские.

Во второй половине апреля полки сосредоточили, погрузили в теплушки и отправили в воинские лагеря в 20 км от г. Коврова (в ту пору Горьковской, ныне Владимирской области). Ковров был крупным центром оборонной промышленности. Здесь дивизию укомплектовали вооружением. В полки передали более современные переносные радиостанции, в дивизионный батальон связи — автомобильные. Боевая подготовка продолжалась. Как я уже писал, один раз состоялись учебные стрельбы; показатели были очень плохими. У меня, например, был значок «Ворошиловский стрелок», полученный еще до войны, но за стрельбу из малокалиберной винтовки. А теперь, как все, я впервые стрелял из карабина. В Московском полку связи тоже экономили патроны, мы тренировались в прицеливании в классе на специальном приборе — равноценно обучению плаванию на берегу. В Ковровских стрельбах из моих трех выстрелов лишь два угодили в край мишени, один был послан, как говорили в армии, «в молоко». У других результаты были еще хуже. Но повторно тренировочных стрельб не проводили. Было немного и хороших стрелков — из охотников. Автоматами ППШ и ППД были вооружены только подразделения разведчиков.

В Ковровских лагерях мы голодали. Хлеб (600 гр.) выдавали утром в роте; пока строем шли в полковую столовую, на ходу съедали всю дневную пайку. На обед и ужин хлеба не оставалось. Небольшие порции пшенной или перловой каши без жиров на завтрак и ужин, жидкий суп или щи и незначительное второе на обед не могли насытить мужчин, на которых навалилась тяжелая физическая

нагрузка. Очень страдали без курева. Отпрашивались в увольнительную в Ковров, где на рынке меняли на махорку-самосад выданные нам 100-граммовые брусочки хозяйственного мыла. Родня была теперь далеко, и подкормки не было ни у кого.

Изнуряли учебные марши, особенно ночные. К обычной выкладке бойца у связистов добавлялось специальное заплечное оборудование. Я вдвоем с напарником тащил на себе по половине радиостанции, каждая упаковка по 15 кг. Общий вес груза у радиста достигал 40 кг (скатка, карабин, три гранаты, запас патронов, противогаз, вещмешок со всеми личными вещами, малая саперная лопатка и т. д.). Марш — на 50 км. Привалы — через 15 км. Часть пути — бегом, часть — ускоренным шагом. Было тяжело, а от меня, как от замполита, требовали еще, чтобы я поддерживал боевой дух у красноармейцев и... развлекал их. Но развлекать я не умел, и командир роты был мной недоволен. Командиры на марше шли, конечно, без груза, а командир роты ехал верхом на лошади. Поистине конный пешему не товарищ!

<...>

В середине мая, после поражения наших войск под Харьковом и в Донбассе, нашу дивизию погрузили в эшелоны и направили на фронт. Не помню, какими дорогами нас везли. Кажется, мы проехали Воронеж, куда немцы еще не дошли. Несколько раз попадали под бомбардировки с воздуха. Особенно памятна бомбежка на станции Лиски, когда вокруг все горело и укрыться было негде. Сидели в теплушках и ждали, что вот-вот и на нас упадет бомба. На этот раз повезло, нашему эшелону на дальнем пути бомбы не достались. По железной дороге переправились через Дон и заняли 2-ю линию обороны на левом его берегу, километрах в 20 от реки.

Немцы были еще далеко, но мимо нас двигались тысячи беженцев, гнали бесчисленные стада скота. Немцев ощущали с воздуха, все время над нами летали воздушные двухфюзеляжные разведчики «Фокке-Вульф». Мы их называли «рамой» и люто ненавидели. После них обычно прилетали пикирующие бомбардировщики и осыпали нас бомбами. Но потери были пока небольшими, мы вырыли в твердой земле окопы в полный профиль и там отсиживались. Блиндажей не было даже у полкового начальства, вокруг была ровная степь, не видно ни деревца.

Вскоре всех радистов из полков собрали на неделю на занятия в отдельный батальон связи при штабе дивизии. В заключение состоялись соревнования по радиотелеграфированию, на которых я занял 1-е место. Поэтому меня не возвратили в полк, а оставили в батальоне связи. Я имел воинское звание заместителя политрука роты, но вакансий в батальоне не было, и стал я снова рядовым радистом на автомобильной радиостанции дивизионного узла связи. В финчасти батальона разобрались, что я не 3-го года службы, посему оклад мой снизили со 150 р. до 32 р. + 100 % фронтовой надбавки. Но деньги здесь уже не играли особой роли. Нас перевели на фронтовое

снабжение, еще, правда, по 2-й категории — без водки. Кормили досыта, было вдоволь мяса, так как вокруг бродили многочисленные стада эвакуированного скота, хлеба лучшего качества давали по 800 гр., при обилии мяса его хватало. Единственный недостаток — три раза в день одна и та же каша — либо перловая (месяц), либо пшенная (месяц). Это было для удобства военных снабженцев. Получили мы и табачный паек — махорку.

Батальон связи расположился не в поле, а на казачьем хуторе. Для машин вырыли глубокие окопы, антенны замаскировали в садах. Местное население — казаки, и без того относившееся к нам не особенно дружелюбно, опасалось, что мы привлечем налеты авиации. Да, остатки казачества нас не любили. Везде были расклеены листовки, требовавшие, чтобы бывшие служащие Белой армии, а также бывшие репрессированные немедленно зарегистрировались в милиции. Они подлежали высылке. А ведь таких среди казаков было большинство. Как-то я разговорился со стариком-«иногородним». Он рассказал, что родом он из Воронежской губернии, но здесь живет с 1911 г., т. е. больше 30 лет, работает вместе с коренными станичниками в одном колхозе, но те все еще относятся к нему как к чужаку. Презирали нас девушки-казачки. По вечерам собиралась хуторская молодежь, парней местных не было — они тоже служили в Кр. Армии, веселились девчата и подростки, подходили и красноармейцы нашего батальона и приштабных подразделений. И редко какая казачка соглашалась танцевать с красноармейцем. Они называли нас неухватистыми, неловкими и еще какими-то своими диалектными прозвищами.

Особенно доставалось нерусским — я уже упоминал, что большинство среди нас составляли татары и удмурты.

Ранее я воспринимал казаков с симпатией через произведения Шолохова, которые я знал и любил. При личном общении убедился, что многие казаки — мужчины и женщины — проявляют себя довольно стервозно. Они не только антисоветски настроены, но презирают всех неказачков, из хозяйской кружки напиться не дадут (староверы?). Тыл Сталинградского фронта на Дону был ненадежен. Позднейшие мои встречи, не только военные, но и послевоенные, подтвердили мое настороженное отношение к казакам, хотя с некоторыми казаками в плену я был дружен. <...>

Июль 1942 г. ознаменовался новыми крупными поражениями советских войск на южных фронтах. В первых числах июля дивизию срочно погрузили в эшелоны и направили в район Воронежа. Однако до места назначения дивизия не доехала. Резко ухудшилась обстановка на Сталинградском направлении. Эшелоны повернули обратно. Включенная в 62-ю армию генерала Колпакчи наша 147-я стрелковая дивизия заняла оборону на правом берегу Дона в районе станции и райцентра Суrowикино по реке Чир.

Я в этом движении «туда и обратно» по совершеннейшему случаю участия не принял. Как раз в тот день, когда штаб дивизии и наш батальон были погружены в эшелон, я был назначен дежурным и одновременно начальником караула по батальону связи. Конечно, дежурным полагалось назначить офицера (употреблю этот позднейший термин), а я мог быть начальником караула. По неизвестной мне причине эти обязанности соединили (может быть, вследствие отъезда батальона), вспомнили вдруг о моем звании замполита и сделали такое назначение. И оставили меня караулить до особого распоряжения запасное хозяйственное имущество и запасное оборудование батальона. Под моим командованием оставили девять человек (со мною десять), радиостанцию переносную, восемь лошадей, две повозки и телку. Несколько дней мы охраняли имущество, но неожиданно дивизия проследовала мимо нас в обратном направлении — к Дону. Я на ходу получил приказ пока пребывать на месте. Примерно 16 июля я получил по радио шифровку — приказ прибыть с имуществом, которое можно погрузить на повозки, в батальон. Расположение его было указано. Карты местности у меня не было. Приходилось дорогу спрашивать у населения. Хороша военная тайна!

Теперь мне известно из литературы, что как раз 17 июля 6-я немецкая армия начала наступление на наши позиции на реке Чир в направлении на Сталинград^[4].

Утром 17 июля погрузили мы имущество на две повозки, в каждую запрягли по две лошади, на четырех лошадях поехали верховые. К передней повозке привязали за рога телку и отправились в путь. Я был в команде старшим по званию и младшим по возрасту. Оставалось три дня до моего 20 летия. Сколько меня ни уговаривали сержант, мой заместитель, и красноармейцы, я не соглашался бросить на месте воинское имущество — телку. Она и определила нашу черепашью, то бишь коровью, скорость движения. Глуп, конечно, я был и наивен. Ведь повсюду бродили тысячи голов скота без всякого присмотра, и можно было на месте назначения уловить не одну телку. Но я предполагал, что чем ближе к передовой, тем больше порядка.

Перед отбытием из хутора пришлось все же бросить часть имущества — несколько стогов сена. Мы обменяли его у местных жителей на мед и крестьянский хлеб. Досталось по двухлитровому котелку на два человека, т. е. больше чем по килограмму меда на брата. Тут же мы сели и умяли весь этот мед вприкуску с отличным крестьянским хлебом. И ничего с нами не случилось, даже отрыжки. Попили колодезной водицы и поехали.

До Дона, через который мы должны были переправиться, по ближайшей дороге — 20 км, это до железнодорожного моста. А до паромной переправы километров 35-40. Решили двигаться к железнодорожному мосту, хотя знали, что нас там наверняка не пропустят. Но телка-двухлетка... Для нее и 20 км были непосильны,

ведь и за Доном — такое же расстояние до батальона. Но я был тверд и прямолинеен, как телеграфный столб.

Описывать наш марш надо бы юмористу или даже сатирику. Двигались мы медленнее пешехода. Телка шла медленно, вскоре устала, упиралась. Верховые наши подгоняли ее плетью. Дорога была к тому же забита беженцами с западного (правого) берега Дона. Навстречу нам ехали бесчисленные подводы, грузовые машины, в том числе военные, которые отправлялись в тыл за боеприпасами и другими грузами и что-то везли в тыл, шли пешеходы, гнали скот. На санитарных машинах везли раненых. Это была картина народного бедствия. Но мы, хотя и медленно, продвигались вперед.

Часам к 15–16 мы подъехали, наконец, к железнодорожному мосту. Охрана нас, конечно, на мост не пустила. Начальник охраны отругал меня. В сторону фронта прошел воинский грузовой состав с орудиями на платформах. Через минут 20 прошел состав с правого берега. Я опять стал уговаривать капитана. Вдруг, отогнав меня в сторону, он вытянулся в струнку. К мосту подъехало несколько легковых автомашин. В одной из них я узнал Хрущева и Тимошенко. Это было командование Сталинградского фронта^[5].

Как только машины проехали, я снова обратился к капитану, обещал ему, что вслед за машинами мы двинемся рысью и ему не придется задерживать железнодорожное движение. У меня, мол, приказ. Я показал ему радиogramму, никем, конечно, не заверенную. Остальные документы у нас были в порядке. И, наконец, он сжалился над нами, учитывая, что до парома километров 20. И пропустил, добавив, что если нас раздавит поезд с одной или другой стороны, то так нам и надо.

Мост был длинный; и вот мы тронулись рысью по шпалам. По настоянию красноармейцев мы перестроились; повозка с привязанной телкой теперь следовала последней. На ней остались только я и повозочный. Другие медленной рысью ехали впереди. Лошади спотыкались о шпалы, повозки трясло, телка со сбитыми копытами, протертыми привязью рогами тоже рысила спотыкаясь.

И вдруг издали навстречу нам показался поезд. Разминуться было невозможно. Верховые и передняя повозка рванули галопом и успели заблаговременно проскочить мост. Мы же с телкой прибавили скорость лишь чуть-чуть. Паровоз беспрерывно гудел, и хотя несколько замедлил ход, но неумолимо приближался. Телка перепугалась, стала громко мычать, рваться в сторону; повозочный нахлестывал лошадей и матерился. Лишь мне одному приходилось сохранять спокойствие. Все же нам удалось проскочить пролеты моста над рекой. К счастью, хотя часть моста над берегом стояла еще высоко, но ограждение кончилось. Мы сумели отвязать телку, и я спрыгнул с нею на землю. Повозочный же дал деру и съехал на берег нормально. Я держал за рога перепуганную телку, не знаю, как хватило сил. В ту же минуту поезд

промчал мимо нас. Машинист высунулся из кабины и обложил меня великим русским языком. Прошло минут 10, телка, наконец, успокоилась — все же она была вполне современной и привыкла к машинам. Мы воссоединились со своей командой, обменялись, естественно, ругательствами и поехали дальше.

Часов в 7 вечера мы добрались до тылового хозяйства нашей дивизии. Здесь над нами посмеялись, приняли от меня по накладной эту проклятую телку, которых у них было теперь целое стадо, и дали мне взамен... кабанчика в мешке. <...>

Как ни странно, телка и кабан помнятся до сих пор, а фронтовые подробности и особенно последовательность событий уже стерлись из памяти — прошло полвека! Помню, что дня три меня и нескольких радистов использовали как телефонистов. Мы с катушками налаживали проводную связь с полками, которые вели тяжелые оборонительные бои с наступавшими немцами и пока держались. В равнинной степи укрыться было негде. Иногда попадались овраги, в которых некоторое время можно было отлежаться в надежде, что туда не попадут снаряды или мины. От пролетавших без конца немецких самолетов, от «рамы» укрывались в несжатой пшенице и кукурузе. Во время дежурства на промежуточном телефоне в открытой степи (нас было трое) снова попали под грозу. Видимо, в телефонный аппарат или в линию, которая шла по земле, угодила молния, нас отбросило метра на три, оглушило, но все остались живы. Благодаря заземлению не был поврежден и телефонный аппарат.

Штаб дивизии и батальон связи при нем ежедневно меняли место расположения. Это особенно вызывало недовольство бойцов. Только успевали вырыть в твердой земле окопы, а мы, радисты, еще и траншеи для авторадиостанций с наклонным выходом, как поступал приказ на марш, мы передвигались на несколько километров и снова рыли землю. Не зная и не понимая общей обстановки, мы все это относили на неорганизованность начальства. К сожалению, ни командир, ни комиссар батальона не утруждали себя разъяснительной работой, действовали только приказом и не пользовались авторитетом у связистов.

<...>

Наша 147-я стрелковая дивизия оказалась в окружении. Но мы, рядовые красноармейцы и младший комсостав, этого не знали. Вполне возможно, что сперва этого не знал и средний комсостав. Во всяком случае, до 7-8 августа дивизия удерживала позиции и паники никакой не было.

Я после телефонных пробежек был направлен на радиостанцию на командный пункт командира дивизии в непосредственной близости к линии передовых окопов. Радиостанция на двух автомашинах разместилась в глубоком окопе, антенная мачта была кое-как замаскирована как деревце. В связи с тем, что телефонная связь под

обстрелом все время выходила из строя, наша радиостанция непрерывно работала на связи с основной группой дивизионного штаба, расположенного от нас в трех км в сторону тыла, и с полковыми радиостанциями. Расстояния были небольшими, и поэтому командир дивизии и мы пользовались главным образом радиотелефоном; лишь изредка более важные сообщения и команды передавались шифровками по радиотелеграфу. Шифровали мы сами по примитивной таблице, которая наверняка не была секретом для противника.

Как-то охране командного пункта и нам удалось винтовочными выстрелами подбить немецкий истребитель, который нагло, на сравнительно небольшой высоте, обстреливал из пулемета командный пункт. Самолет упал метрах в 700 от нас; летчик выбросился с парашютом, но живым до земли не долетел, так как мы продолжали стрелять, опасаясь, что он опустится на территорию, уже занятую немцами. Когда мы добежали до него, он был мертв. И в планшете у него мы обнаружили карту, на которой с абсолютной точностью были отмечены все полки нашей дивизии, расположение штаба и командного пункта командира дивизии. И это несмотря на то, как я уже писал, что штаб каждый день, а то и два раза за день менял свое расположение. Никакие наши секреты не были тайной для врага! Не знаю, действовала ли агентурная разведка (казаки!), но «рама» все время висела над нашими головами.

И командный пункт, и пути к штабу и батальону связи были под постоянным обстрелом, главным образом минометным. Но круглосуточно туда и обратно ползли по-пластунски связные. Кроме того, надо было кормиться. На командный пункт горячую пищу доставляли в бидонах по ночам на повозках. А радистам и телефонистам от этой доставки ничего не выделяли, давали только воду. Говорили: «приносите сами». И мы, обычно по утрам, по очереди, перебежками, добирались до своего батальона, наедались сами и тащили в закрытых котелках обед товарищам.

В эти дни нам зачитали теперь широко известный приказ Сталина «Ни шагу назад!». Увы, было уже поздно. 7 августа в 615-м полку была разбита последняя радиостанция, погибли и радисты. По этой причине меня и моего товарища еще по Московскому зап. полку связи мл. сержанта Толю Кузнецова нагрузили переносной радиостанцией «РБ» и отправили в 615-й полк. Туда мы добирались под обстрелом, но невредимыми прибыли к вечеру. Оказалось, что двое знакомых радистов — Козин и глуховатый инженер-путеец Стрельцов живы, но все радиостанции разбиты. Телефонной связи с дивизией уже не было. Пришлось немедленно развернуть радиостанцию. Удалось установить радиотелефонную связь со штабом дивизии, который сразу вызвал командира полка. Я передал ему радиотелефонную трубку, а сам вместе с Кузнецовым отошел в сторону. После короткого разговора командир полка подозвал нас и приказал перенести радиостанцию на

повозку, поддерживая радиосвязь с дивизией. Был отдан приказ полку оставить позиции и маршем двигаться на восток.

Глубокой ночью полк, вернее, его остатки, сперва строевыми колоннами, двинулся на восток. Небо вокруг нас освещалось осветительными ракетами и трассирующими выстрелами. Мы поняли, что находимся в окружении. Когда рассвело, было приказано идти врассыпную. Вокруг простиралась равнина, дикая степь, реже поля несжатой пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Укрыться было негде. Радиостанцию с повозки пришлось снять, тащить ее на себе. Связи с дивизией все равно уже не было. На повозке повезли раненых. Над нами все время висели немецкие самолеты, обстреливали из пулеметов, бросали осколочные бомбы. Когда самолет был над головой, мы ложились на землю, пока он делал круг, мы вставали и шли дальше. Ряды наши редели. Убитых оставляли, выносить или хоронить их было некому. Раненых везли на еще имевшихся повозках. Те, кто мог, шли сами. Ранило в левую руку Козина, мы перевязали его, он был здоровым мужчиной лет 35, шел с нами, не отставая.

Днем было очень жарко, радиостанция, которую мы тащили вдвоем с Кузнецовым, выматывала последние силы. Стрельцова заставили с кем-то в паре нести противотанковое ружье, и он не мог помогать нам. К вечеру переходили вброд какую-то речку, командир радиовзвода приказал нам с Кузнецовым разбить бесполезную теперь радиостанцию и утопить ее в реке, что мы и сделали с облегчением и горечью. Еще днем в жару я бросил скатку (шинель), хотя ночи были холодны. Кузнецов шинель не бросил; он был крепче и практичнее меня. Потом мы с ним вдвоем по ночам укрывались его шинелью.

После короткого привала в ночь на 9 августа прибыли в хутор Жарков (все это в районе Суровикино). По приказу заняли круговую оборону, окопались. В хуторе сосредоточился примерно батальон. Где были остальные, не знаю. Многих штабных офицеров мы уже не видели, исчез и командир радиовзвода. Но командир полка и несколько офицеров были неподалеку и руководили обороной. Когда рассвело, немцы уже настигли нас и повели интенсивный артиллерийский и минометный огонь. Рядом падали убитые и раненые бойцы, а нас с Кузнецовым ни разу не зацепило. Только один раз поблизости разорвавшийся снаряд засыпал землей и оглушил нас, легко контузив. Но мы все же очухались некоторое время спустя.

9 августа наша оборона еще продержалась. Во второй половине дня 10 августа немцы в шортах, двигаясь за танками, атаковали нас. Мы трижды ходили в контратаки и остановили противника на какое-то время; единственное противотанковое орудие и противотанковые ружья сыграли свою роль — три немецких танка загорелись. Но у наших артиллеристов и минометчиков боеприпасы кончились. Вообще для них в боях была установлена норма — по две мины на миномет и

три снаряда на орудие в сутки — как на учебных стрельбах в Коврове. Практически мы дрались голыми руками.

К вечеру немцы заняли хутор. Вот когда проявилась слабая подготовка нашей дивизии и нестойкость пожилых запасников. Вокруг слышались крики «сдаемся». На наших глазах застрелился командир полка. Мы с Кузнецовым и трое приставших к нам незнакомых красноармейцев, один из них старшина лет тридцати, укрылись в саду (хутор утопал в садах). Вскоре, когда стемнело, выбрались из хутора и пошли на восток. Подошли к дороге, залегли. По ней беспрерывно проезжали немецкие автомашины. Обстановки мы не знали и не догадывались, что немцы уже форсировали Дон и мы глубоко в тылу у них. Все же решили уничтожить свои документы. Я порвал свою красноармейскую книжку и комсомольский билет. А что было делать? В случае плена, а с этим приходилось считаться, мне, как еврею и замполиту, угрожал немедленный расстрел. Вышли бы к своим, надеялись восстановить документы.

Воспользовавшись некоторым перерывом в движении на дороге, перебежали ее и пошли дальше. Прошли километров пять и решили сделать привал в неубранной пшенице. Выставили часового и заснули — ведь несколько ночей не спали. После марша и боя страшно устали.

Плен

*Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.*

Семен Гудзенко^[6]

Пробуждение было ужасным — под окрик немецких солдат: «Русс, ауф, хенде хох!» Немцев было трое, видимо, прочесывали округу. Не успели мы схватить карабины — немцы выстрелили, но не в нас, а по окружности. Пришлось подниматься и поднимать руки. Немцы отобрали оружие, обыскали нас и наши вещмешки, в которых ничего ценного не было, и повели. Мы только успели обматерить часового, который заснул, получили удары прикладами и замолчали.

Метров через 300 подвели нас к группе с какими-то знаками отличия на погонах — явно к начальству. Немцы переговорили, и два солдата погнали нас к хутору. Здесь на огромном поле сжатой пшеницы, уже обнесенном колючей проволокой (когда только успели), были собраны тысячи пленных. У входа в этот лагерь приведшие нас солдаты отставили меня в сторону и сказали охранникам: «юде», т. е. «еврей». Но охранники махнули руками и нас всех пятерых толкнули в

лагерь. Среди пленных большинство было татар, и, возможно, меня, черноволосого, охранники приняли тоже за татарина. Комиссарских звезд, как я уже писал, на моих рукавах не было, а четыре треугольника на петлицах означали, что начальник я небольшой.

Было раннее утро 11 августа 1942 г. Я пишу эти строки 9-11 августа 1993 г. Прошел ровно 51 год с того страшного утра. Подробности стерлись из памяти. Но сейчас я вновь переживаю то чувство подавленности, страха, позора, которое ощущал тогда. По импровизированному лагерю бродила тьма людей, грязных, обросших, многие в грязных перевязках. Сотни лежали и сидели на земле. Искали знакомых. Нашли знакомых и мы. Здесь были Козин и Стрельцов, мл. сержант Гуреев из 600-го СП, еще несколько радистов из дивизионного батальона связи. Стало ясно, что попала в плен вся дивизия, даже медсанбат полностью.

Из разговоров узнали, что сюда же пригнали некоторых пленных из соседней с нами по фронту дивизии — 33-й гвардейской. Пленные из 640-го СП рассказали, что наши бывшие сослуживцы — радисты, малолетки-москвичи Златопольский и Альтман погибли не то в контратаке, не то были захвачены в плен и расстреляны как евреи сразу же на месте. Сведения были противоречивы. О Златопольском я помнил, что он жил в Москве на ул. 25 Октября (Никольской), а его мать работала на этой же улице провизором в аптеке № 1, так называемой «Ферейновской». После войны, когда я учился в МГУ, недалеко от этой аптеки, у меня не хватило мужества найти мать Златопольского и сообщить ей о гибели сына, тем более что собственными глазами я его гибель не видел. Да и не хотел лишать ее последней надежды. Но многие годы меня мучили сомнения — может, надо было найти ее?

Рассказывали, что командир дивизии, как и командир 615-го СП, тоже застрелился. А о командующем 62-й армией генерале Колпакчи говорили, что он бросил войска и улетел из окружения на самолете. Мы не знали тогда, что с 3 августа армией командовал другой генерал — Лопатин^[7]. Что здесь действительно было, что просто слухами — не знаю. В литературе об обоих генералах пишут хорошо, оба командовали и в дальнейшем армиями, стали Героями Советского Союза^[8]. Но нашу 62-ю армию летом 1942 г. они погубили, не сумели организовать отступления в боевом порядке. В окружение большая часть 62-й армии попала, видимо, при Лопатине. Та 62-я армия, которая прославилась в Сталинграде под командованием Чуйкова, была уже в другом составе.

Я страдал, как и все мои товарищи, попавшие в плен. Но к этому добавлялся страх разоблачения, что я еврей и политработник. Таких расстреливали немедленно. А меня в дивизии знали многие, так как я не раз бывал на общедивизионных сборах комсorghов, замполитов, выступал на митингах. Но в этом первом лагере меня никто не выдал,

хотя подходили, здоровались, и только один назвал замполитом и покачал головой.

Поразило нас, что в первый же день среди пленных появились прислужники немцев — полицаи с дубинами (палками) в руках. Они разгоняли группы пленных, не жалея побоев. В числе этих «блюстителей порядка» оказался и наш комиссар батальона связи. Был он, правда, в красноармейской гимнастерке без «шпал» на петлицах и без комиссарских звезд. Он прошел мимо меня, сделав вид, что не узнал, и не выдал меня немцам; думаю, что опасался ответного разоблачения.

Охраняли нас солдаты какой-то тыловой части, так как вооружены были винтовками, а не автоматами, как те, с которыми мы встретились в боях. Охранники были с собаками.

Уже в первый день мы ощущали чувство голода, большинство ничего не ело два-три дня; сухие пайки «НЗ», которые мы таскали в «сидорах» (вещмешках) и противогазных сумках, были съедены еще до отступления. На передовую в последние дни боев питание уже не доставляли. (Противогазы из сумок все без исключения повыбрасывали в первую неделю на фронте, несмотря на строгие приказы.) Стояла жара, мучила жажда, но воды не было. Немцы о нас заботиться не намеревались.

Первая ночь в лагере... Мы лежим на голой земле; на шестерых — две шинели. Нет ни физических, ни нравственных сил, ни надежды. Утром поднимают нас отрывистыми командами на немецком и русском языках (нашлись переводчики). Приказывают строиться в колонны по шесть в ряд. Выводят из лагеря и ведут километровую колонну на восток, не дав ни поесть хоть что-то, ни попить. Проходим через казачьи хутора и слышим лишь проклятия вслед: «сталинские собаки»; женщины бросали в нас камни и кирпичи. Через 10 км — привал. Наша шестерка (все — знакомые связисты) решила не присаживаться, а идти в голову колонны. Колонна на марше растягивается, задние отстают, их подгоняют плетями и прикладами, далеко отставших тут же пристреливают. Охраняют колонну верховые немецкие солдаты и пешие солдаты с собаками. Им помогают новоиспеченные полицаи.

На первом привале удалось, наконец, напиться — остановились у какой-то мелкой речки. Котелки и кружки есть не у всех; побросали вещмешки в боях и при отступлении. Набирают воду в котелки и каски, пьют по очереди из котелков и кружек, многие из пилоток. Приходится быть осторожным, чтобы не удрали с твоим котелком. Передвигаться внутри колонны на привале немцы не препятствуют.

Через полчаса поднимают и снова гонят на восток. К середине дня подогнали к Дону. Видим, что немцы и на левом берегу, их машины идут сплошным потоком. По пути к Дону к нашей колонне присоединяли такие же длинные колонны военнопленных. У Дона колонну осмотрело какое-то высокое начальство в черной форме,

видимо, «СС». После этого колонну повернули кругом и погнали на запад. Мы очутились в середине колонны. Я все время шел в середине ряда, товарищи прикрывали меня от пристальных взглядов конвоиров. Теперь уже длина колонны — не менее пяти километров. Снова привал у знакомой речонки. Напиваемся и, не присаживаясь, идем ближе к голове колонны. В этот день прошли в общей сложности 50 км. Немецкие конвоиры сменялись, отдыхали в автобусах, шедших впереди и позади колонны. А военнопленных никто не жалел. В казачьих хуторах снова нас проклинали и забрасывали камнями и кирпичами.

Последующие дни были такими же: марш на 50 км, один раз — на 70 км. Но стали «кормить» — выдавали в день по кружке сырой нерушенной пшеницы. Ее грызли как могли, но она выходила с испражнениями непереваренной. Нужду справляли только на привалах, которых за день было не более трех, как правило, на берегу какой-нибудь речки или ручья. Тогда и пили. Фляжек почти ни у кого не было, большинство котелков было открытыми, без крышек, да у многих и котелков не было, так что воду с собой несли немногие и делились ею только в обмен на курево, которого тоже не было у большинства. У дороги (все дороги — грунтовые) валялись раздутые конские трупы; некоторые пленные не выдерживали, вырезали перочинными ножами (их пока не отобрали) куски и поедали их сырыми. Это был яд, и потребители трупов вскоре погибали, но все равно у них находились последователи. Голод быстро превращал людей в озверелых животных.

Наша небольшая группа и еще несколько групп знакомых ребят старались держаться вместе, на привалах надолго не садились, только перематывали портянки и сразу шли вперед, в голову колонны, чтобы не отставать далеко на марше, не бежать потом, как это приходилось делать уже с середины колонны. Ночью не разувались, опасаясь, что обувь украдут. Вот когда мы поняли пользу тренировок в Ковровских лагерях. Никто из нас не натер ноги, не отстал.

Иногда дорога проходила через поля неубранной пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Тогда из колонны выскакивали пленные и успевали что-нибудь схватить: горсть колосьев, початок кукурузы, головку подсолнуха. Удача сопутствовала только первым смельчакам; в последующих стреляли, и они оставались лежать памятью беды на родной земле. Дорога шла уже не через казачьи хутора, а через русские и украинские слободы. Отношение населения резко изменилось. Вдоль колонны стояли плачущие женщины, старики и дети, пытались передать пленным что-нибудь из еды — кусок хлеба, несколько вареных яиц или картофеля, яблоки, груши, кисет с самосадом. Конвойные кричали, избивали и пленных и женщин, но это никого не останавливало. Стрелять в населенных пунктах немцы не решались.

Вели нас с неделю и привели в город Миллерово. Вели, видимо, окружным путем по большой дороге, поэтому так долго. За городом на

огромной поляне, частично опоясанной холмами, был устроен под открытым небом сборный лагерь военнопленных. Он был оцеплен колючей проволокой; через каждые метров 200 была установлена сторожевая вышка, на которой дежурили часовые с пулеметом. Никто не считал, сколько здесь было собрано несчастных советских солдат. На наш взгляд — тысяч сто. Лагерь был разделен на две части оградой из колючей проволоки. Во внутренней ограде было оборудовано пять проходов; в них стояли пять котлов, из которых десять здоровенных полицаев из пленных же выдавали питание: пол-литра баланды из нерушенной пшеницы и на десять человек килограммовую буханку хлеба с примесями.

Порядок был такой: из неокормленной половины проходили через эти проходы, получали баланду в котелок, каску или пилотку; ее наливали большими черпаками по очереди в выставленные емкости, и никто, конечно, не измерял, чтобы досталось пол-литра; кому-то попадало больше, кому-то меньше. Но особая беда была с хлебом. Отсчитывали по головам десять человек, последнему вручали буханку. И нередко бывали случаи, когда получивший буханку удирал в толпу, а его сотоварищи по десятке оставались без своей пайки. Мы спасались тем, что все время старались держаться вместе с группой знакомых связистов из 147-й СД. Не единожды в день толпы пленных пытались прорваться через ограду или проходы из «накормленной» половины лагеря в ненакормленную, чтобы еще раз пройти мимо раздатчиков. Кому-то это удавалось. Но, как правило, сразу же по толпе с вышек следовала пулеметная очередь и десятки людей падали убитыми или ранеными. А через час-другой история повторялась. Оголодавшие люди шли на верную смерть в надежде ухватить еще еду.

Так проходил день за днем. «Покормившись», мы слонялись по лагерю. А в лагере уже процветало «предпринимательство», главным образом — меновая торговля. Некоторых выводили из лагеря в город на какую-нибудь работу — обычно грузить или разгружать грузы на станции. Работники разживались кое-чем и потом в лагере меняли еду на вещи — гимнастерку, шинель, сапоги. Я не раз получал предложения сменять мои хромовые сапоги, но пока держался. Вовсю шла карточная игра. Карты были в большинстве самодельные: на кусках картона были нарисованы карточные фигуры и знаки, а обратная сторона оклеена советскими рублями. Один раз мы с Тол ей Кузнецовым решили сыграть, поставив на кон пайку хлеба, но сразу же проиграли ее и в этот день довольствовались каждый половиной пайки. Больше мы в карты не играли.

В лагере и на воле в обращении еще были советские деньги, но немцы вводили уже оккупационные марки. Не помню точно, как ходили советские деньги. Помню лишь, что с левой и с правой стороны Днепра в ходу были различные советские купюры: в одной части только 1-3-5-10 р., с другой — 30 р. и выше. Но так как для вольных общение между

правобережной и левой стороной на определенных условиях допускалось, то, кажется, в первое время в торговле принимались все купюры. Спекулянты на этом наживались. Впрочем, нас это мало касалось. В Миллерове и других лагерях, где пришлось побывать, деньги не ценились совсем, ценились только продукты и вещи.

Наша группа потеряла Козина. На одном из ночных привалов, еще до Миллерова, он с двумя красноармейцами бежал. Увы, на второй день в Миллерове мы увидели, что их привели избитыми до полусмерти и поместили не в общий лагерь, а на холм, где держали главным образом евреев, обреченных на расстрел. Больше мы Козина не видели.

В Миллерове мы впервые встретились с разделением по национальности: отдельную часть лагеря заняли татары; они претендовали на покровительственное отношение со стороны немцев. Из их числа в первую очередь выбирали полицаев. Как-то мы с Кузнецовым подошли к группе татар, но те, обнаружив, что я не понимаю их языка, отогнали нас тотчас же. Между тем в лагере уже начали искать евреев и комиссаров. Делали это немцы в сопровождении полицаев из пленных, но в Миллерове особенной тщательности не проявляли и ко мне ни разу не придрались.

Еще одна деталь: издавна товарищи называли меня «Бружа», укоротив фамилию. Эта кличка прицепилась ко мне и переходила со мной из школы в ИФЛИ, из ИФЛИ в Кр. Армию, в Кр. Армии из части в часть, потом в плен и, по существу, превратилась в фамилию. Сперва это не имело особого значения, но важно, что никто в плену меня в первые месяцы не называл ни по имени, ни по настоящей фамилии. В первых лагерях не было никакой регистрации пленных. Если выводили из лагеря на работу, то просто считали по головам.

В Миллерове мы пробыли дней десять. В конце августа наша группа (теперь пять человек, без Козина) попала в строй пленных, которых якобы вели на работу на железнодорожную станцию. В действительности нас загнали в товарные вагоны, выдали по пять сырых картошек, которые мы съели сразу же, хотя и с отвращением. Вскоре состав тронулся, и нас повезли. Сколько дней провели в пути — не помню.

Привезли нас в Харьков, в тюрьму на Холодной горе. Здесь нас набили битком в камеры так, что трудно было передвинуться, чтобы пробраться к параше. Утром парашу выносили по очереди, которую устанавливали более сильные для слабых. Днем выгоняли на тюремный двор. Ежедневно выкликали: «Нефтяники, столяры, шахтеры и т. п. есть?» Все откликались на ту специальность, которая спрашивалась. На самом деле шахтеров вели разгружать вагоны с углем, нефтяников — бочки с горючим и т. п. Один раз мы попали в группу «столяров», и погнали нас выламывать в каком-то помещении паркет. Рвались все на работу потому, что от наших вольных всегда что-нибудь перепало: еда, немного махорки. Русские люди и украинцы нас жалели.

Кормили и в этом лагере — выдавали по куску макухи — подсолнечного жмыха или баланду из жмыха. Грызли жмых и немного насыщались, так как в нем содержалась какая-то доля подсолнечного масла. В этом лагере я наконец-то расстался со своими хромовыми сапогами. Несмотря на длинные марши, они, благодаря подковам, были еще в хорошем состоянии. В обмен я получил солдатские подкованные ботинки без обмоток, целую гимнастерку взамен моей дырявой (прожег я гимнастерку, заснувши у костра за несколько дней до плена), двухлитровый котелок баланды, буханку хлеба и три котелка огуречных очисток. Еду мы разделили на пятерых, и всех нас от огуречных очисток одолел понос на целый месяц.

В харьковской тюрьме мы пробыли несколько дней. В начале сентября всех пленных выстроили в шеренги и вдоль них стали ходить полицаи из своих, выискивая евреев. Немцы стояли в стороне. Определяли евреев по внешности и по неотъемлемому признаку — обрезанной крайней плоти. Остановился молодой полицай возле меня: «Спускай штаны». Я ответил ему: «У меня мать татарка, так что я обрезанный». Стоявшие рядом мои друзья подтвердили это. Полицай усмехнулся, посмотрел на меня и пошел дальше. Ясно, что он выполнял свою роль за лишний кусок хлеба и не старался особо выслужиться. На этот раз я был спасен. Из рядов вывели десятка два явных евреев, и немцы с побоями их увели. Евреев-военных (Waffenjuden) они считали особо опасными и уничтожали их немедленно. Вечером в камере ко мне подошел пленный лет сорока, мой бывший сослуживец еще по роте связи в 600-м СП, телефонист: «Ты что же, жид, не вышел, комиссар хреновый?» (Сказано было крепче.) Я промолчал, а Гуреев и Кузнецов отогнали его. Надо мной нависла смертельная угроза. Нужно было любой ценой скрыться от этого гада, который явно собирался донести на меня.

И, можно сказать, мне повезло. Рано утром, когда нас выпустили из камер на тюремный двор, там стали выкликать: «Кзаки есть?» Наша дружная пятерка рванулась вперед и встала в строй мнимых казаков. Таких набралось человек сто; нас вывели из тюрьмы и снова — в товарные вагоны. Выдали по куску макухи и повезли, на этот раз в Шепетовку. Здесь, в Шепетовке (я знал о ней по роману Н. Островского «Как закалялась сталь»), за городом устроили похожий на Миллеровский лагерь под открытым небом, но не очень большой. Здесь было тысячи три-четыре пленных «казаков». Были среди них и настоящие казаки, но, по-моему, меньшинство.

В Шепетовке впервые прошли письменную регистрацию. Я назвался Бружа Леонид Петрович; отец — кубанский казак из Темрюка, мать — татарка, вырос в детском доме, был студентом института связи, рядовой. Фамилия казалась несколько странной, но я никак не мог от нее отвязаться, окружающие так меня называли. Имя и отчество позаимствовал у своего друга — одноклассника в Симферополе,

Темрюк — у однокашника по ИФЛИ Льва Якименко, кубанского казака. В Темрюке я так никогда и не побывал. Своей легенды придерживался все годы плена, хоть она мало походила на достоверную. Трудность была не в легенде, а в моем несоответствии ей. Все же я был похож на еврея, а не на казака. Спасало отчасти то, что казачество этнически неоднородно, что отмечают многие авторы, в частности Шолохов, произведения которого я хорошо знал.

По лагерю ходили настоящие казаки — бывшие белогвардейцы — и призывали вступать в казачьи отряды на службу немцам, обещали всякие блага. Проводили митинги, выступали офицеры в дореволюционной казачьей форме, взывали к казачьему долгу и патриотизму. Но даже если среди нас и были настоящие казаки, то на службу к немцам пошли единицы. Подавляющее большинство не поддавалось на уговоры и предпочитало голодную смерть предательству. В плену мы очутились не по своей воле, не считали себя предателями и не были ими, хотя знали, что советское руководство всех пленных объявило изменниками.

Наша пятерка держалась все время вместе; кое-кто стал терять надежду и веру в грядущую победу Красной Армии. Я, как мог, убеждал друзей, что победа Советского Союза исторически неизбежна. Стрельцов говорил мне: «Сам-то доживи, ведь выявят тебя, в конце концов». Но я стал укрепляться духом. Познакомился со многими другими пленными, в частности, с Иваном Шевченко, с которым потом снова свела судьба.

В Шепетовке продержали нас около месяца. Не дождавшись массового вступления в казачьи отряды, стали вывозить в другие лагеря. Наша пятерка неожиданно была разделена. Мы с Толей Кузнецовым попали в Днепропетровск, опять в тюрьму, а трое друзей остались тогда в Шепетовке. Так мы оказались оторванными от своих товарищей, с которыми вместе служили и вместе попали в плен. Из Днепропетровской тюрьмы вывозили несколько раз на работы в цеха разрушенных заводов, опять выламывали паркет и прекрасные половые доски. Немцы не гнушались никакими трофеями.

Наступил октябрь, становилось холодно, шли дожди, я был без шинели. Шинелью Кузнецова мы укрывались вдвоем ночью, но днем ее вдвоем не наденешь. Очень голодали. Кормежка все та же: пол-литра баланды и 100 граммов хлеба с примесями в день. Запомнились некоторые события 13-14 октября 1942 г. Утром 13 октября, оголодавший до предела, я обменял с поваром свои ботинки на буханку хлеба, бадью с 12-литрами густой баланды и тряпичные тапочки. Сели мы с Толей Кузнецовым и все съели часа за два. Намеревались хлеб отложить на вечер, но не стерпели, доели сразу же. Договорились, что в следующий раз он обменяет свои ботинки. Но не пришлось. Днем объявили построение той части пленных, которые прибыли из Шепетовки. Провели переключку по шепетовской письменной

регистрации. Приказали разуться — снять сапоги и ботинки, у кого были, сложить у ног шинели, ножи всех видов. Немецкие солдаты и полицаи обошли шеренги, отобрали все это, попутно обыскав каждого. После этого объявили, что завтра нас отправляют в Германию. Отделили нас от остающихся, а утром 14 октября погрузили в товарные вагоны, выдали по куску макухи и повезли.

На вокзал шли почти босиком. Я имел хотя бы тапочки, а большинство, в их числе и Толя Кузнецов, шли в портянках, закрепленных обмотками или шпагатом. Получилось, что я случайно выгадал — один раз мы с Кузнецовым все же наелись досыта за счет моих ботинок. Везли нас девять дней в товарных «теплушках» без отопления, с нарами и парашей; открывали двери на остановках на пустырях, чтобы под охраной вылили содержимое параш. На станциях вагоны не открывали. Только в Варшаве вдруг открыли вагоны, но из них не выпускали. Здесь мы увидели поляков-железнодорожников, которые отнеслись к нам равнодушно. В пути кормили один раз в день — давали по куску макухи и воды.

Плен. Германия

23 октября 1942 г. мы прибыли к месту назначения. Выгрузились из эшелона. Шел дождь с мокрым снегом. Длинная колонна советских военнопленных без ботинок и шинелей шлепала по грязи несколько километров, подгоняемая солдатами с собаками и криками «Schnell» (шнель — быстро). Привели в огромный лагерь, застроенный большими бараками. Лагерь был окружен двойной высокой (2,5–3 м) оградой из колючей проволоки с постовыми вышками, на которых стояли немецкие солдаты, вооруженные автоматами и ручными пулеметами. Поместили нас в карантинные бараки. Все были невымытыми несколько месяцев, завшивели страшно. Полы в бараке покрылись вшами; мы «развлекались»: положив лист бумаги на пол, смотрели, как он шевелился над ползающими вшами.

Немцы с полным основанием боялись сыпного тифа. Поэтому следующий день начали с бани, где остригли наголо, дали по кусочку песчаного мыла, которым мы «побанились», потом нас прогнали через комнату, где здоровенные полицаи мазали малярными кистями все наши волосяные места какой-то мазью с запахом дегтя. Этот барьер я проскочил, т. к. было много татар (т. е. обрезанных). Нашу одежду всю отняли, выдали нательные рубахи и кальсоны, явно советские, сильно поношенные, но чистые, брюки и кителя синего цвета — перекрашенное обмундирование немецких солдат времен Первой мировой войны, такие же шинели и пилотки. На всех частях

обмундирования сзади и спереди были нанесены яркой желтой краской огромные буквы «SU», т. е.

«Sowjetunion» — Советский Союз. Выдали и обувь — деревянные колодки, выдолбленные из цельного куска дерева. Они известны были мне по художественной литературе. Но я, читая в свое время французских и других западноевропейских писателей, не предполагал, что мне доведется когда-нибудь носить описанную ими обувь простонародья — «сабо» и как это будет неудобно, а порою и мучительно.

Попали мы в один барак с Толей Кузнецовым и со знакомым по Шепетовскому лагерю Иваном Шевченко. В бараке — трехэтажные нары; на них на каждого — матрац из бумажной сетки, набитый бумажной лентой. Вместо одеяла — такой же матрац холодный плюс своя шинель, которую надо оберегать, чтобы не уворовали. Полы — кирпичные. В бараке — две или три железные печки типа «буржук». Топлива (брикетированного угля) давали мало, и было очень холодно.

Перед размещением по баракам прошли письменную регистрацию. Заполнили подробную анкету, сняли с нас отпечатки пальцев и взяли подписку об обязательстве исполнять законы о расовой чистоте: не вступать в связь с немецкими женщинами. За нарушение расового закона — смертная казнь. Нас это не пугало — нам было не до женщин.

Характерная примета: в любом сборище мужчин, особенно молодых солдат, если они сыты и здоровы, главная тема разговора — женщины. Но если мужчины оголодали, притом длительное время, то главная тема разговоров — еда. О женщинах если и вспоминают, то только о том, как они вкусно готовили и сытно кормили.

Итак, я зарегистрировался вновь как Леонид Петрович Бружа, русский, казак (!), мать — татарка, родился в 1922 г. в Темрюке, рядовой, студент института связи (не писать же, что студент идеологического вуза, а определенную степень образованности не скрыть). Присвоили мне номер «Stalag IVB 204728» и выдали «паспорт» — металлическую пластинку с перфорацией посередине; на пластинке этот номер был выдавлен. Пластинку каждый военнопленный обязан был носить на веревочке на шее; за утерю — строгое наказание. Храню эту пластинку как память о плене до сих пор. У Толи Кузнецова номер был 204727. Слово «Stalag» — сокращение от «Stammlager» — стационарный лагерь (для военнопленных). Этот лагерь находился в Земле Саксония, возле городка Мюльберг на Эльбе.

<...>

Но возвращусь к собственной судьбе. Дезинфекция, которую мы прошли при поступлении в лагерь, запоздала. В бараках вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Мы с Толей Кузнецовым были в числе первых жертв. Через три-четыре дня Кузнецова отправили в сыпнотифозный барак-лазарет, а на следующий день и меня. Как производилось выявление больных — не помню. Вероятно, специально ходили по

баракам русские врачи из числа военнопленных. Я к тому времени уже потерял сознание. В эти же дни заболел сыпным тифом и Иван Шевченко.

Пробыл я без сознания дней пять-семь. Помню отчетливо одну невероятную сценку: я в полусознательном состоянии, в бреду выкладываю всю свою биографию и подноготную — и кто я по национальности, и где учился, и как был комсоргом и заместителем политрука. Чувствую, что возле меня стоит высокий человек, держит меня за руку, успокаивает, а я не могу остановиться. Как я потом узнал, это был врач, тоже военнопленный, доктор Клименко. Мы ни разу не говорили с ним потом о моей исповеди в бреду, но я ее запомнил и чувствовал, что это он дежурил возле меня. Никто другой моего бреда не слышал, все больные рядом на нарах тоже лежали без сознания.

Доктору Клименко я обязан своим спасением и как врачу, и как человеку. Он не только не выдал меня, но и продержал в сыпнотифозном бараке до февраля 1943 г., когда эпидемия тифа сошла на нет и сыпнотифозный барак превратился в обычный лазарет. Большинство военнопленных советских врачей — подвижники. В тяжелейших условиях, почти без медикаментов и перевязочных средств, при мизерных продовольственных пайках, под неусыпным надзором немцев они делали все возможное и невозможное для спасения попавших в беду советских солдат. Ожидала ли их благодарность? Вполне вероятно, что многим из них после фашистского плена пришлось испытать горькую долю узников сталинского ГУЛАГа.

Сыпнотифозная эпидемия в лагере шла волнами. Когда первая партия заболевших, к которой принадлежали Толя Кузнецов и я, стала постепенно приходить в себя, выздоравливать, поступала следующая группа больных без сознания. На этой стадии болезни больные ничего не ели, и это выручало выздоравливающих, у которых разыгрывался зверский аппетит — им доставалась баланда, картошка и хлеб людей, находившихся еще в тяжелом состоянии.

До 30 процентов заболевших умирало от тифа и наиболее частых осложнений — воспаления легких и поноса. Лечить было нечем. Почти никаких лекарств в распоряжении врачей не было. Были только медицинские градусники. В бараке, кроме доктора Клименко (имя и отчество его я, увы, забыл), был еще один — нештатный — врач из первых заболевших. Не помню точно его фамилию — то ли Сапунов, то ли Сафонов. В отличие от Клименко — невысокий, плотный, он, видимо, обладал большим опытом и помогал Клименко. О Сапунове говорили ребята, что он был захвачен в последний день обороны Севастополя и что ему — единственному из медиков — было присвоено звание Героя Советского Союза. Сам он ничего о себе не рассказывал. Как и Клименко, он относился ко мне доброжелательно и покровительственно и, как я понимаю, тоже прикрывал меня. Оба они

были не только врачами и русскими людьми, они были советскими людьми. Мы не выясняли отношений, это было бы опасно, но и без разговоров все было понятно.

Первые месяц-полтора немцы даже не заглядывали в сыпнотифозный барак, панически опасались заразы. Но потом один раз в неделю лазарет навещал немецкий военный врач, усаживался на стул, перед ним в трех-пяти метрах представляли больного, тот снимал одежду, и немец издали «осматривал» его, слушая разъяснения Клименко. Не помню, был ли при этом переводчик, или сам Клименко докладывал по-немецки. Выздоровевших выписывали. На каждого больного вели, как и положено, историю болезни, которую и держал в руках Клименко. Что он докладывал обо мне, как ему удалось задержать меня в лазарете до февраля — не знаю. И по этому поводу никакого разговора между нами не было. Месяцы, проведенные мною в лазарете, были, пожалуй, судьбоносными в моей жизни. В это время в лагере шла тщательная проверка всех пленных, выискивали евреев и комиссаров. Найденных или расстреливали здесь же, или увозили в лагерь смерти. А в сыпнотифозный барак проверяющие не сунулись. Видимо, Клименко знал все это и спасал меня в своем лазарете.

В начале декабря одним из первых выписали из лазарета Толю Кузнецова. Перед расставанием мы обнялись и даже прослезились. Порвалась последняя ниточка, связывавшая меня с друзьями-сослуживцами по Красной Армии. Больше мы с ним не встретились. Когда я вышел из лазарета, Кузнецова уже куда-то отправили из шталага.

В лазарете я сблизился с Иваном Шевченко — настоящим русским богатырем, знакомым еще по лагерю в Шепетовке. Это был великан двухметрового роста, с большими мощными руками, рыжеватый, весь в веснушках и... татуировках. Донской казак, он, по его словам, провел много лет в советских лагерях — за разбой. Как он говорил, сроков он нахватал лет на 100, но как-то освобождался каждый раз. Перед войной он оказался на свободе и был призван в Красную Армию. В плен он попал в мае 1942 г. вместе с десятками тысяч красноармейцев в Керченском сражении, проигранном бездарными командующими Козловым и Мехлисом. Человек огромной физической силы, Иван Шевченко вызывал невольное уважение у немцев. Они называли его «Der Große Iwan» — «Большой Иван» и даже иногда подкармливали сверх нормы, учитывая его размеры. И вот этот Иван, отсидевший годы в советских тюрьмах и лагерях, сохранял верность Родине и отвергал многократные попытки завербовать его в казачьи отряды или позднее во власовскую РОА, избрал горькую судьбу военнопленного и голод. В середине декабря его выписали из лазарета.

Еще в лазарете вокруг меня начала складываться небольшая группа ребят, не очень грамотных, но любивших слушать рассказы о приключениях. Часами я пересказывал им приключенческие книги:

«Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Всадник без головы» и т. п. Так появились новые товарищи, и немного стало легче на душе. Я не был с ними откровенен, но, думаю, Иван догадывался, кто я на самом деле, и помалкивал. Выручала меня моя чистая русская речь, говорил я по-русски не хуже природных русаков. С этой стороны мне не угрожала опасность. Тот факт, что я понимаю немецкую речь, я скрывал, хотя иногда это проявлялось. Скрывал потому, что современный бытовой еврейский язык, жаргон «идиш» — производный от немецкого языка, хотя и далекий от него. Евреи, владевшие языком «идиш», понимали немецкий, как русский понимает украинский и белорусский языки, не полностью, но все же многое. В этом и таилась опасность для меня.

Я, кстати, понимал немецкую речь отнюдь не потому, что знал еврейский. Я не владел разговорной еврейской речью, только понимал ее частично. Полузнание же немецкого языка я приобрел в ИФЛИ, особенно на 2-м курсе, когда по программе надо было сдавать в больших объемах внеклассное чтение (первоосновой для меня послужил роман Стефана Цвейга «Фуше»).

Новый 1943 год преподнес нам замечательный подарок. Вечером 31 декабря человек пять выздоравливающих и два штатных санитаря собрались за столом, который стоял на краю барака у двери в отдельную комнату, где был врачебный кабинет и где спали доктора Клименко и Сапунов. В 12-м часу (у Клименко были ручные часы) к нам присоединились оба доктора, вынесли бутылочку спирта, налили нам граммов по 20, дали на закуску по две вареные картофелины. Но главным подарком была русская белоэмигрантская газета (названия не помню), в которой было напечатано сообщение Верховного Главнокомандования Вооруженных сил Германии о том, что в районе Сталинграда немецкие войска в окружении ведут упорные бои с превосходящими силами противника. Так мы впервые узнали о наступлении Красной Армии под Сталинградом, о поражениях фашистских войск. Мы выпили спирт, разбавив его водой, за победу Советского Союза, за Новый год. Доктор Клименко вполголоса запел советский гимн «Интернационал», а мы подтянули «Это есть наш последний и решительный бой», потом спели несколько советских песен: «Три танкиста», «Москва моя». Для докторов это был огромный риск — им было что терять. Но они доверились нам и не ошиблись. Доносчиков среди нас не оказалось.

Наступил февраль. Сыпнотифозный барак пустел. Последние больные тифом были выписаны или умерли. Далее держать меня в лазарете доктор Клименко был не в силах, о чем он мне не при свидетелях сказал. Я поблагодарил его за все, за доброе отношение. В подробности мы не вдавались.

Снова я очутился в прежнем бараке (номера не помню), там же, где уже был Иван Шевченко и несколько новых товарищей по лазарету. Иван договорился со старшим по бараку — полицаем из

военнопленных, и я поместился на втором этаже нар рядом с Иваном. Он в это время был в полосе удач, приглянулся кому-то из лагерного начальства и был направлен рабочим на лагерную кухню, к котлам. Через три дня он пристроил туда же на кухню меня и еще трех лазаретных приятелей — перебирать и мыть картошку, чистить брюкву и турнепс. Это было лагерное питание. Выдавали на бараки в бидонах баланду из брюквы или турнепса из расчета пол-литра на человека, к ней в качестве «второго» по пять-шесть вареных в «мундире» картофелин и на десять человек килограммовую буханку хлеба с примесью особой для пленных выпечки. Мы, кухонные рабочие, хлеб получали в своем бараке.

Хлеб делили по справедливости. Хлеборез и весовщик разрезали буханку и развешивали пайки на самодельных весах типа аптекарских, с заостренными палочками на концах. Один из десятка поворачивался к хлеборезу спиной и на вопрос «кому?» называл имя. Так каждому попадала его пайка. Верхом удачи считалась горбушка.

Иван был близок к кухонной аристократии у котлов, мы же находились вдалеке, нам запрещалось подходить к котлам. Все же здесь на кухне мы были относительно сыты. Нам наливали полные котелки баланды и давали по 10–12 картофелин, причем дважды в день. В лагере кормили один раз в день. Однажды Иван стащил и принес нам кусок вареной конины килограмма на три. Вот уж когда поели досыта. Морально мы не страдали: знали, что эта конина все равно до масс не дойдет, ее съедят повара, полицаи и им подобные. Увы, «недолго музыка играла». Мое кухонное «счастье» длилось менее месяца. От острого авитаминоза я снова заболел: у меня появился под мышкой огромный, очень болезненный нарыв, так называемое «сучье вымя». Не мог ни шевельнуться, ни, так сказать, чихнуть. В лазарет меня Клименко не поместил, сказал, что будет выглядеть подозрительно; дал справку об освобождении от работы (было и такое). Только через две недели нарыв в лазарете вскрыли, стало легче.

Но на кухню я не вернулся. Наоборот, по сокращению штатов оттуда уволили и нашу бригаду и самого Ивана Шевченко. Из шталага, который был центральным лагерем в Саксонии, постоянно отправляли пленных в другие — «рабочие» лагеря (Arbeitskommando). Массовых новых поступлений советских военнопленных в 1943 г. уже не было. Поэтому в шталаге сокращался и штат самообслуживания — кухни, лазареты и проч.

Ежедневно стали гонять нас на общие работы: запрягали как лошадей в телеги, и под конвоем мы тащили их за несколько километров туда, где находились покрытые землей и соломой бурты брюквы, турнепса, картошки. Вскрывали бурты, нагружали их содержимым телеги и везли в лагерь. Иногда удавалось съесть кусок сырой брюквы или турнепса. Часто вывозили на поля цистерны с «удобрениями» из лагерных уборных — выгребных ям.

Несколько раз пришлось перевозить страшный груз: трупы умерших от истощения и болезней товарищей по плену. Раздетые догола тела мертвых, походивших на скелеты, наваливали штабелями по 40-50 на большую телегу, и вереница телег ежедневно двигалась скорбной процессией на кладбище. Это было ровное поле без опознавательных знаков. Здесь мы запасенными лопатами вырывали траншеи глубиной метра полтора, складывали туда трупы и засыпали их землей, выравнивая поверхность. Никаких холмиков делать не разрешали. Так скрывали места захоронения военнопленных. Сколько тысяч погибло только в этом шталаге IVB? Лагерная канцелярия, наверно, их учитывала. С умерших снимали номерки, разламывали их по перфорации пополам. Видимо, одна половина оставалась в лагерной канцелярии, вторая — отсылалась в центральное управление лагерями.

Лет через 30-35, в середине 70-х гг., привелось мне в Калининском музее принимать разновозрастную туристскую группу из ФРГ. Эти туристы увидели в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, фотографию немецкого военного кладбища — ряды крестов на площади Революции перед Путевым Дворцом. Пожилые немцы, возможно, солдаты той войны, спросили меня — куда переместили тела похороненных на этой площади. Я не знал, и так ответил: «Не знаю, вряд ли это место отмечено». Тогда они спросили вторично: «Как же так, ведь это не гуманно?» И я, вспомнив безымянные, сровненные с землей захоронения советских военнопленных близ шталага IV B, ответил на этот раз резко и зло: «Чего же вы хотите? Ведь мы их к нам не приглашали!» Сказал им это по-немецки, минуя переводчика: «Was wollen Sie doch? Wir haben sie zu uns nicht eingeladen!» На их вопросительные взгляды добавил, что я, как военнопленный, был в лагерях в Германии и помню, как хоронили наших.

В последней декаде мая 1943 г., когда было уже тепло, под вечер несколько телег, запряженных военнопленными, отправились за брюквой. Конвоировал нас на этот раз всего один солдат. Пока мы возились у бурта, стемнело. Немец покрикивал — «шнель» (быстро). И вдруг мы с Иваном Шевченко и еще одним лазаретным товарищем решили бежать и скрылись в ближних, уже покрытых листвою кустах. Конвоир этого не заметил, пересчитывать упряжки не стал, они отбыли. Побег наш был неожиданным для нас самих, совсем не подготовлен. До сих пор не понимаю, как немцы нас сразу не хватились, не вернулись с собаками. Видимо, охрана у входа в лагерь тоже не пересчитывала вернувшихся — и педантичным, дисциплинированным немцам не чужда халтура.

У нас не было ни карты местности, ни какого-то предварительного плана побега и действий. Не было продуктов. На ногах — деревянные колодки, в них быстро не пойдешь. И тем не менее мы пошли, прихватив из бурта по брюквине. По звездам мы пошли на восток, шли лесами, хотя в немецких лесах особенно не скроешься — деревья в них

посажены рядами, между рядами расчищено. Три ночи мы шли, выползали на лесные опушки, находили прошлогодние бурты с брюквой или турнепсом, выдирали несколько штук и ели их. С собой унести было не в чем.

Где-то в районе города Баутцен нас обнаружили мальчишки. Уйти было невозможно, их было более десяти. Двое из них сбегали в ближнюю деревню, привели полицейского. Он погнал нас под пистолетом в полицейский пункт. Номера мы свои выбросили, но по одежде ясно было, что мы советские военнопленные. Полицейские нас побили и, не допрашивая, усадили в повозку, и двое полицейских отвезли нас в город Баутцен в воинскую команду типа нашего военкомата. Там нас снова сильно избили и допросили (кто-то из унтер-офицеров говорил по-русски) — из какого лагеря мы бежали. Не было смысла отрицать истину, так как по отпечаткам пальцев все равно быстро установили бы наши личности. В результате в этот же день за нами прислали автофургон и в сопровождении двух солдат нас отвезли в «родной» шталаг.

В караулке нас опять избили и поместили в отдельную комнату прямо на пол. Утром на следующий день нас поставили перед комендантом лагеря. Он наорал на нас и сообщил, что отправляет нас в штрафную рабочую команду. Это произошло через два дня. Нас в наказание лишили в эти два дня хлебной пайки, затем выдали дубликаты номеров. Именно этот дубликат я и храню.

Итак, мы — трое беглецов и еще двое из нашей бывшей кухонной бригады (за то, что сразу не сообщили о побеге) — были отвезены на том же автофургоне в штрафной лагерь возле городка Хюэнмюле. Это был каменный двухэтажный дом. Казарма (как ее еще назвать?) для пленных находилась на втором этаже в нескольких больших залах; здесь стояли двухэтажные нары. В лагере было примерно 150 военнопленных-штрафников, главным образом, как и мы, неудачливых беглецов. На первом этаже размещались службы: караулка, кухня, склад инструментов, каптерка, где хранился мягкий инвентарь — одежда, а также обувь — деревянные колодки, в подвале — склад «продовольствия» — неизменные брюква, турнепс, картошка. Хлеб привозили из городка, но не такой, какой употребляли немцы, а специальной выпечки, с примесями. Было помещение для мытья (но не баня), уборная с выгребной ямой, в подвале — карцер.

Охранники — солдаты-нестроевики жили в отдельном одноэтажном доме. Комендантом был пожилой фельдфебель, рыжий и злой. Лагерь был огорожен колючей проволокой всего в один ряд. Ночью по территории бегали собаки, но они быстро привыкли к «своим» пленным и не обращали на нас внимания. На ночь лагерный дом запирали в 22 часа. Охранники дежурили в караулке, наружной охраны ночью не было, так как выйти из дома после вечерней поверки в 21.30 было невозможно. Окна — в толстых решетках, все перекрыто.

Лагерный режим был суровым: подъем в 5 утра, полчаса на уборную, умывание и одевание, утренняя поверка, в 5.45 строем под конвоем на работу километра за 3-4. Рабочий день начинался в 6.30 и заканчивался в 18.30, т. е. длился 12 часов. Днем в 12 часов, когда по всей Германии начинался обед, нам давали 15-минутный перерыв на отдых и тоже на обед — от фирмы, которая арендовала пленных у армии, выдавали нам по три вареных небольших картофелины. В лагере кормили один раз вечером, когда пригоняли с работы: 0,5 литра баланды из брюквы, 100 граммов хлеба, 5-6 вареных картофелин. Утром на работу отправлялись натошак.

Работа была очень тяжелой: мы пробивали в скалах (местность горная) траншею для водопровода в гор. Дрезден. Инструмент — кирка и совковая лопата. Киркой мы откалывали кусок скалы и выбрасывали наверх совковой лопатой. Над нами ходили конвоиры — человек пять, которые все время нас подгоняли, не разрешали останавливаться для передышки. Производительность нашего труда, конечно, была низкой; голодные обессилевшие люди не могли трудиться эффективно, если бы даже хотели. А мы ведь работали буквально из-под палки. Конвоиры не скупилась на побои.

Выделялся только Иван Шевченко, которого немцы и здесь сразу стали называть «Большой Иван» — «Der Große Iwan». Он был все еще силен, несмотря на голод, был ловок и ухватист и мог сделать, если хотел, больше, чем гражданские немцы, работавшие с нами. Их было несколько человек — пожилых рабочих, вышедших из призывного возраста. Они исполняли обязанности мастеров — размечали траншею, следили за уровнем, обеспечивали технологию и последовательность работ и т. д. Когда было холодно, сами брались за кирку, чтобы согреться.

При рытье траншеи использовался пневматический отбойный молоток, действовавший от компрессора. С ним работал так называемый «Volksdeutsche», фольксдойче, т. е. этнический немец, проживавший до войны за пределами Германии. Этот немец — Пауль — был из Польши, понимал русский язык и немного говорил по-русски. Он и был на работах переводчиком. Я хотя и продолжал скрывать, что я понимаю немцев, но постепенно в работе мое полужнание все же стало проявляться, и ко мне при нужде обращались немцы и свои ребята с просьбой перевести. Лично мне это не помогало нисколько и, как мне показалось, возбудило некоторые подозрения у товарищей по лагерю. Однажды в каком-то споре (чего-то не поделили) один молодой пленный назвал меня хриstopродавцем. Это указывало на то, что он считает меня евреем, и, возможно, не он один. Но никто меня немцам не выдал.

Коллективной бани в лагере не было. Немцы, опасаясь эпидемии, требовали от нас чистоты в помещении (ее поддерживали дежурные дневальные) и минимума личной гигиены. В помещении для мытья

стояла печь, в которую был вмазан котел; в нем сами грели воду и каждую неделю мылись, стоя в старенькой ванне. Но я, боясь обнаружения моей неизбывной приметы, ухитрился уклоняться от мытья тела в течение 7 месяцев (!), мыл только голову. Потом все же решился и стал мыться вдвоем с Иваном Шевченко или как раз с тем Алексеем, который обозвал меня христопродавцем. Прикрывался, насколько было возможно. Обошлось! Для мытья выдавали так называемое мыло из смеси глины и песка. Оно не мылилось, а скребло, но, кажется, и сами немцы к концу 1943 г. получали по карточкам такое же мыло.

Нательное белье нам меняли дважды в месяц. Его стирали в городской прачечной, в специальном отделении для пленных и иностранных рабочих. В каждую смену оно все более превращалось в лохмотья и становилось объектом развлечения. Когда получали белье, начинался между нами обмен «не глядя», возбуждая громкий хохот при виде обрывков, которые невозможно было даже определить, что это — рубаха или кальсоны. После многочисленных обменов становились владельцами этих все же чистых лохмотьев на две недели, чтобы потом получить еще худшую рвань. Портянки стирали сами.

На траншее пришлось выполнять и бетонирование, таскать на себе 50-килограммовые мешки с цементом (бумажные), возить на одноколенной тачке по прогибающейся доске песок, гравий, бетон. Мне этот вид работы, при моем физическом слабосилии, обостренном постоянным голодом, был особенно тяжел. Я часто не справлялся с тачкой, она преждевременно опрокидывалась, а я получал добавочные побои.

Наступившую зиму преодолевать было очень трудно. Каждый шаг в деревянной обуви был мучителен. На колодки налипал снег, превращался на ходу в бугры, ноги подламывались, сбивать эти горки было затруднительно, да и сразу же налипали новые. Конвоиры орали на нас из-за медленного марша, били прикладами, подталкивали штыками.

Даже Иван Шевченко стал сдавать, хотя ему удавалось урвать дополнительную подкормку. Ему доверили отбойный молоток, и он однажды специально, якобы нечаянно, пробил себе ступню, тем самым на месяц освободив себя от ежедневной 12-часовой траншеи. Вечера стали темными. Иван подрезал в одном месте проволочную ограду, вылезал из лагеря и с раненой ногой, обмотанной портянкой и не влезавшей в колодку, бежал километра за два-три, набирал из полевого бурта картошки или брюквы, разрывая и покрывая потом бурт голыми руками. Наполнял мешок (где-то он его добыл) и тащил его в лагерь, успевая все это сделать за два часа, чтобы успеть к вечерней проверке. Такой рейс он проделывал еженедельно, кормился сам и подкармливал немного двух-трех доходяг, включая и меня. Немцы не

обнаружили эти минипобеги ни разу! На настоящий побег, помня горький опыт, ни Иван, ни другие не решились.

Отличительной чертой этого штрафного лагеря было отсутствие в нем полиция и штатного переводчика из пленных. Летом 1943 г., после Сталинградского и особенно после Курского сражения, в лагерях для пленных фактически произошла революция: полицаям из своих стали устраивать «темную», убивали их и трупы выбрасывали в выгребные ямы. Немцам воспрепятствовать этой революции не удалось, во всяком случае в тех лагерях, в которых мне довелось побывать или слышать о них. Тогда полицаяв и других прислужников немцы стали переводить в другие лагеря — обычными, так сказать, рядовыми. Но иногда молва настигала их, и на новом месте их также ожидала смертная расправа. В охране нашего лагеря были солдаты-чехи; некоторые из них кое-как объяснялись по-русски, таким путем передавались распоряжения коменданта. Был ли штатный переводчик-немец, не помню.

Через некоторое время трасса траншеи привела нас на окраину деревни. Здесь был обыкновенный суглинистый грунт. Траншею стали рыть более глубокой, стенки укреплять дощатой обшивкой и распорками, устроили «межэтажные» мостки, на которые выбрасывали грунт снизу. Но труд не стал легче, так как сил не было совсем.

В деревне я пережил счастливый день, если можно назвать счастливым день в плену. Однажды, когда конвоиры отошли в дальний конец траншеи, я выбрался из нее и забежал в находившийся метрах в тридцати магазинчик. В нем стоял за прилавком хозяин — пожилой немец. Я попросил у него хлеба. И, о — чудо! Он снял с полки и протянул мне 2-килограммовую буханку настоящего хлеба, такого, какой выдавали немцам по карточкам. Я ухватил эту буханку, сунул за пояс в брюки и успел добежать к своему рабочему месту до возвращения конвоира. И вот в течение двух часов я потихоньку отрывал по кусочку от буханки и с жадностью сжирал всухую без воды, ни с кем не делясь. К этому времени каждый думал только о своем выживании, мы превратились в животных. Иван Шевченко на работу все еще не выходил. Вечером, когда нас пригнали в лагерь и выдали питание, я отдал ему свою хлебную пайку, а баланду съел сам. Намеревался отложить на утро пять вечерних картофелин, но не вытерпел, съел перед сном. Утром, как всегда, на траншею — натошак.

Наступила весна 1944 г. Дни стали длиннее, и Иван уже не мог вылезать по вечерам из лагеря за добычей. Никакой подкормки не стало не только у меня, но и у него самого. Я совсем обессилел, уже фактически не работал, больше стоял. На меня сыпались побои, в лагере несколько раз лишали хлеба и картошки, сажали в подвальный холодный карцер без одежды на ночь, а утром — снова на траншею, рыть которую сил не было. Особенно унижительным было наказание бессмысленным трудом. Ставили со мной еще одного проштрафившегося, я перебрасывал ему в кучу из своей кучи зимой

снег, а весной гравий, а он — из своей кучи в мою. Это оскорбление последних остатков человеческого достоинства я воспринимал болезненно, неосторожно огрызался и опять схватывал новое наказание. Казалось — мне пришел конец...

По всей видимости, я и подобные мне доходяги надоели коменданту. Убить нас не убили; мне представляется, что, в связи с поражениями Германии на фронтах, немецкие солдаты, охранявшие пленных, начали задумываться о своей ответственности перед будущими победителями. От нас избавились простейшим способом — в марте 1944 г. меня в числе десяти других дистрофиков перевезли в другой — «обычный» рабочий лагерь в город Дрезден. Лагерь этот помню плохо. В нем было до 300 пленных. Он размещался непосредственно в городских кварталах, возможно — в бывших военных каменных казармах. В больших залах стояли трехэтажные нары с теми же бумажными матрацами и одеялами. Я уже с большим трудом взбирался на второй этаж нар.

На работу гоняли на окраину Дрездена рыть продолжение траншеи под тот же водопровод. Часть пути везли даже на трамвае. Некоторых пленных направляли на другие объекты. Траншея продвигалась медленно. Фирма перестала давать «обед» — три картофелины — тем, кто плохо работал. Я сразу же попал в эту категорию. Затем, сославшись на опыт советских лагерей, начальство ввело дневную норму — от 2 до 8 кубометров выемки грунта по характеру грунта. В зависимость от выполнения нормы поставили продолжительность рабочего дня и размеры продовольственного пайка — не выполнившим нормы не только не давали обеденных картошек, но и лишали половины пайки хлеба и баланды вечером в лагере.

В результате я слабел все больше и больше, опух. Даже половина рабочей нормы была мне не под силу. Меня задерживали на траншее после окончания рабочего дня; сперва задерживали и всю группу пленных рабочих, чтобы они ожидали, пока я как-то дотяну. Большинство по праву отдыхало, но несколько человек, несмотря на неодобрение конвоя, помогало мне. Но так длиться долго не могло. Озлоблялись товарищи по несчастью, озлоблялись гражданские немцы, но более всех конвоиры, которым тоже приходилось задерживаться. Наконец, оставили на траншее меня одного и при мне молодого плюгавого солдата, видимо, нестроевого. Я еле ковырялся в траншее; конечно, о каком-нибудь выполнении нормы не могло быть и речи. Солдатик помалу свирепел. В девятом часу вечера он приказал мне вылезать: «*raus!*» (т. е. *heraus* — вон!) и повел меня к трамвайной остановке, подталкивая прикладом и штыком.

Я едва передвигал ноги. Встречные гражданские немцы глядели нам вслед; некоторые, по-видимому, испытывали что-то похожее на жалость. Обычно для перевозки группы пленных подавался отдельный трамвайный поезд. Но теперь нас было только двое и мы сели в общий

вагон. Немки смотрели на нас обоих с жалостью. Возможно, им представлялось, что их чей-нибудь сын вот так же страдает в плену в далекой России. Обстановка на фронтах изменялась не в пользу Германии, и немцы, до того безусловно поддерживавшие Гитлера и его войну, начинали прозревать. Когда мы высадились из трамвая, солдат подгонял меня к лагерю только словами, не употребляя больше штыка. В нем тоже что-то изменилось.

Дело было в субботу, на следующий день на работу не гоняли, и я отлеживался на нарах без всякой надежды на следующий день. Ждать помощи было неоткуда и неоткуда. Друзей здесь у меня не было. Иван Шевченко остался в лагере в Хюэнмюле. Пленные из этого лагеря, переведенные вместе со мною в Дрезден, были сами почти в таком же состоянии. Но я решил бороться до конца. Мне стало известно, что в дрезденской «Рабочей команде» нескольких пленных увезли в лазаретный лагерь из-за заболевания энурезом, т. е. недержанием мочи. Будет ли лучше в лазаретном лагере — никто не знал. Никто не верил в милосердие немцев. Но лазарет означал изменение обстановки, а к этому стремилось большинство пленных.

И я задумал инсценировать энурез. Ночью я помочился прямо на нарах, вызвав большой шум, т. к. моча, естественно, попала на лежащего подо мной. Он дал мне по морде, обещал пожаловаться немцам. Той же ночью я повторил проделку; мне было жалко и неудобно перед нижним товарищем, но я не видел другого средства вырваться из дрезденского лагеря, где мне грозил близкий конец. Опять я получил по морде, и мой «партнер» пошел утром жаловаться немцам. Привели меня в караулку, тоже стукнули несколько раз и решили избавиться от меня. Пока хоть на работу не повели.

А там, кстати, все взбунтовались против нормы, и ни один, по договоренности, на этот раз норму не выполнил. Ни побои, ни лишение обеденных картофелин не помогли. Дня два продолжалась эта борьба, и норму отменили. Как мы знаем теперь, в советском ГУЛАГе такой номер бы не прошел, бунт закончился бы жестокой расправой. И здесь было бы все иначе, если бы лагерь был подчинен эсэсовцам. Но это был обычный лагерь военнопленных, подчиненный армейским структурам, где порядки были менее суровы, чем в концлагерях ведомства Гиммлера.

На следующую ночь меня поменяли местами на нарах с соседом, переместив на нижние. Ночью я не дождался от потерпевшего выполнения угрозы отомстить мне тем же средством. А сам я с умыслом опять напустил лужу на нары. Утром вместе с охранником пришел посмотреть на лужу немецкий военный фельдшер. В тот же день меня в сопровождении конвоира на местном поезде доставили в лазаретный лагерь в километрах пятидесяти от Дрездена.

Ни названия, ни литерного обозначения лагеря-лазарета я уже не помню. Возможно, «IV-C» или «IV-D», а может быть, другое. Это было

большое пространство, заполненное деревянными бараками зеленого цвета, окруженное колючей проволокой с неизменными сторожевыми вышками. Внутри лагерь тоже был разделен проволочной оградой на русскую и западноевропейскую части.

На этот раз мне повезло. Не знаю, по какой причине меня поместили в небольшой барак, разделенный на отдельные комнаты-палаты. Я попал в офицерскую палату на восемь человек. Впервые в плену я встретился с каким-то выделением советских офицеров. В тех лагерях, где я бывал до сих пор, офицеров не отделяли от общей массы, и если кто-то объявлял себя офицером, то ему доставалось тяжелее, чем другим.

Не то было у пленных из армий остальных противников Германии, находившихся под защитой Международного Красного Креста. Пленные офицеры работали только по согласию, им были оставлены все личные вещи и кортики, у кого они были. Они носили собственное обмундирование со знаками различия, награды. И офицеры и рядовые западных армий, а также поляки и сербы получали ежемесячно посылки от Красного Креста; могли написать родственникам по другую линию фронта и получить от них весть один раз в месяц. Лишь советские (а впоследствии и итальянские) военнопленные не имели защиты Красного Креста, так как И.В. Сталин в свое время не считал нужным подписать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и, считая всех военнопленных изменниками, обрек их на гибель, голод и самую жестокую судьбу.

Общие порядки в русской части лагеря-лазарета были такие: подъем в 7 утра, собственный туалет, утренний строй и поверка (лежачие оставались в палатах), уборка в палатах и на территории лагеря по очереди, устанавливаемой русской администрацией лагеря (были старший офицер, главный врач, хирург, два-три ординатора, два переводчика). Действовала и регистрационная канцелярия, о ней я еще скажу. Кормили советских военнопленных один раз в день. Рацион — не для выздоровления, а для подведения к летальному исходу. Та же, но пожиже, баланда из брюквы или турнепса, пять вареных мелких картошек, и, так как лагерь не рабочий, та же буханка хлеба, но не на 10, а на 25 человек, т. е. по 40 граммов на пленную душу.

Раз в неделю осматривали русские врачи. Терапевтическим больным было лишь два назначения: либо постельный, либо ходячий режим. Кстати, о постелях: впервые в плену мы спали не на нарах, а на железных солдатских койках, покрытых тюфяком и простыней (!); давалось байковое одеяло. Дело, видимо, было в том, что западноевропейскую часть лагеря иногда посещали представители Международного Красного Креста из Швейцарии. Они могли ненароком заглянуть и в советское отделение. Поэтому немцы соблюдали здесь внешние приличия. Раз в неделю водили нас в баню, меняли нательное белье, которое было относительно целым. Словом, не плен, а «рай». Но,

увы, лекарств не было, голод был еще острее; смертность в лагере — большая. Дошедших до последнего края увозили, по слухам, в Польшу и там, якобы, передавали доходяг советским войскам. Только значительно позднее дошла до нас правда — их увозили в лагерь смерти типа Освенцима, прямым ходом в крематорий. Повернись иначе колесо Фортуны — быть и мне там.

Но иногда и в несчастье выпадает счастливый жребий. Я попал случайно в палату лагерной элиты. Большинство сопалатников были офицерами в звании майора и выше. Старшим по палате был доктор Ушкалов, который до того был в другом большом лагере главным врачом и был снят с этого поста немцами по подозрению в подпольной работе и содействии побегам военнопленных. Прямых доказательств немцы сперва не нашли и, не передав Ушкалова в гестапо, отправили в наш лазаретный лагерь. К тому времени, когда я попал сюда, он провел здесь около месяца, пользуясь сочувствием русской администрации и врачей лазарета.

<...>

Главная удача нас всех состояла в том, что в палате с нами оказался замечательный парень старший сержант Иван Лукьянов, колхозный тракторист из Курской или Воронежской области, мастер на все руки. Он с успехом ремонтировал часы и был буквально завален заказами. Ему приносили в ремонт часы немецкие солдаты из охраны, они же передавали часы от немецкого гражданского населения, от привилегированных пленных англичан, французов и т. п. Лукьянов обзавелся полным набором инструментов часового мастера, коробкой запасных частей; он выделял также колечки и броши из металлических монет. Плату он брал главным образом продуктами, был сыт сам и кормил всю нашу палату. Таким вот образом я был спасен от голодной смерти, подкормился и уже через месяц окреп.

По вечерам в палате шли долгие беседы; доверяя друг другу, мы анализировали события на фронтах. Информацию получали опять-таки через Ивана. Ему заказы и продукты приносили завернутыми в немецкие газеты, которые читали и переводили доцент и я, перестав скрывать свое знакомство с немецким языком. Все были настроены антифашистски и просоветски. Потом общим вниманием завладевал Лукьянов. Часами он рассказывал о своих приключениях, об успехах у женщин (тема сытых!). Рассказчик он был талантливый, привирал, конечно, но слушали мы с интересом.

Я в палате был самым молодым, мне шел только двадцать второй год. Я чувствовал, что группа доктора Ушкалова ведет подпольную работу в лагере. Они в чем-то доверяли мне, но полностью не раскрылись. И вот я получил от них задание. В канцелярии русского отделения открылась вакансия, потребовался писарь, умеющий писать и по-немецки. По договоренности Ушкалова с русской лагерной администрацией на это место пристроили меня.

В канцелярии помимо меня было два поляка. Один из них — старший, польский офицер в чине капитана, шляхтич, до войны собственник крупного имения. Он владел кроме польского русским, немецким, французским и английским языками, словом, это был настоящий дворянин, блестяще образованный. И в плену он жил безбедно. Кроме посылок Красного Креста получал посылки из дома; в дневное время имел право выходить из лагеря без конвоя, обязан был возвращаться в лагерь к вечерней поверке. Таким правом пользовались и пленные французы; война с Польшей и Францией считалась законченной. Настроен был польский офицер антикоммунистически, антисоветски и антирусски, симпатизировал англичанам, надеясь на их победу. Бошей — немцев — не любил. Ко мне и ко второму поляку — капралу (унтеру?) из простонародья — относился свысока, с плохо скрываемым презрением. Поляк-капрал, впрочем, платил ему той же монетой и в его отсутствие ругал его почем зря.

Наши обязанности заключались во внесении дополнительных сведений в регистрационные карточки, которые были заведены на каждого пленного. Эти карточки пересылались за пленным из лагеря в лагерь. Отпечатков пальцев на карточках не было, они, видимо, хранились в основном шталаге. Карточки велись на немецком языке латинским шрифтом. Несколько граф были повторены по-русски: фамилия, и.о., национальность, год рождения, воинское звание. В карточке по-немецки излагалась краткая личная характеристика, данная лагерной администрацией, отметки о пребывании в каждом лагере.

Дополнительные сведения на немецком языке приносил из лагерной администрации польский капитан и давал их нам для записи в карточки. Первые дни он контролировал меня, убедился, что я справляюсь с заданием, почерк у меня нормальный, разборчивый, ошибок не делаю. Не проявляя особого усердия, вскоре он перестал проверять меня, возложив это дело на второго поляка, а сам большую часть дня отсутствовал в канцелярии. Второму же поляку все было «до лампочки», как теперь говорят, он отнюдь не стремился выслужиться перед немцами и тоже уходил из канцелярии, оставляя меня надолго одного. На это и рассчитывал доктор Ушкалов. Он поручил мне составить список пленных, состоящих в лазарете, сделать выписки из карточек отрицательных характеристик и по его указаниям переписывать некоторые карточки, устраняя наиболее порочащие с немецкой точки зрения сведения. Пустых бланков было достаточно.

Обратил я внимание на собственную карточку. И что же я в ней нашел? — Отметку о побеге, фразу о том, что я уклоняюсь от работы, вступаю в пререкания (*streitetsich*) и... понимаю и говорю по-немецки, хотя и с затруднениями. Вот те и на! Скрывал, называется. Естественно, что я немедленно свою карточку переписал, а старую уничтожил. Отметку о побеге, фразы об уклонении от работы и

пререканиях опустил, но сведения о знании немецкого языка оставил. Подумал, что, как видно, оно все равно проявляется и, в конце концов, может дать мне какие-то преимущества. Оставил из предосторожности и отметку о принадлежности к казачеству, т. к. такая пометка содержалась в документах шталага IVB. А вот карточки Ушкалова и Ионова по их желанию оставил без изменений, в том числе подозрения по поводу их участия в подготовке побегов. Они были и без этих карточек хорошо известны управлению лагерями военнопленных, состояли на особом учете, и редактирование их карточек вскоре было бы выявлено, как и редактор-исполнитель.

Осенью 1944 г., когда я находился уже в лагере в гор. Зебниц, нам зачитали перед строем приговор военного суда по делу доктора Ушкалова, полковника Ионова и еще нескольких военнопленных. Они обвинялись в организации в лагерях подпольных коммунистических организаций, в подготовке и организации побегов, для чего они наладили изготовление карт местности, компасов, ножей и кастетов. Все они были приговорены к смертной казни, и приговор приведен в исполнение.

В лагере-лазарете особенно прояснялось различие в положении советских и всех остальных военнопленных. Мы видели, как за оградой англичане занимаются спортом, бегают в спортивных костюмах, играют в футбол и другие спортивные игры, боксируют. У них было спортивное снаряжение, спортивная площадка. Они были сыты, одеты и обуты. Иногда они перебрасывали нам через ограду банку консервов, но чаще не закрытую, а уже открытую с остатком содержимого — словно подачку собаке. Дружеских союзнических отношений между нами не чувствовалось; англичане презирали нас за истощенный нестроевой вид, за нашу неаккуратность, запущенность, как будто в этом виновны были мы сами, а не наш общий враг — немецкие фашисты. Лучше к нам относились французы и особенно сербы, но их в этом лагере было немного.

Среди советских военнопленных в тех лагерях, где мне довелось побывать, большинство попало в плен в 1942 г. — в Керчи и Севастополе, под Харьковом, Ростовом, на Северном Кавказе, Сталинградском фронте. Между тем в 1941 г. в плен попало несколько миллионов красных бойцов — значительно больше, чем в 1942 г. Но миллионы и погибли во вражеском плену. Пережившие и побывавшие в разных лагерях рассказывали страшные подробности о гибели тысяч советских военнопленных под Минском, в Прибалтике, Польше, в лагерях на Украине. Упоенные первыми победами, немцы уничтожали с легкостью не только евреев и цыган, но военнопленных всех национальностей. Только позднее они стали использовать военнопленных как дармовую рабочую силу. Ребята рассказывали, что в лагерях более жестоки, чем немцы, охранники из прибалтов, пошедшие в национальные части в германскую армию или полицию.

Пленные 1943 г. были более редки, а в 1944 г. советских бойцов попадало в плен вообще немного. Тех же, кто попал в плен поздней осенью 1944 г. и в 1945-м (были и такие), не смешивали со «старыми» пленными, а содержали их изолированно от общей массы, опасаясь, видимо, рассказов о победах советских войск и катастрофических поражениях немцев.

Положение на фронтах сказывалось на поведении некоторых охранников-немцев. Среди них стали вдруг появляться сочувствующие нам. Как-то на лагерной улице, когда я стоял в одиночестве, ко мне подошел немецкий солдат лет пятидесяти, спросил, понимаю ли я по-немецки, и на утвердительный ответ стал вдруг рассказывать о себе: он-де был коммунистом, он — певец, пел антифашистские песни, был арестован, побывал сам в концлагере, но с началом войны освобожден и мобилизован в армию на нестроевую службу. Он надеется, что вскоре мы будем по одну сторону баррикады и он еще споет свои антифашистские песни. Я молчал, опасаясь провокации, и он, выговорившись, ушел. А я подумал, что вряд ли он провокатор и что невозможно представить такую исповедь в 1942 и 1943 гг. Чувствовался перелом на фронтах.

Теперь я уж не помню точно, как долго я пробыл в лагере-лазарете. Вероятно, месяца два. После одного из врачебных осмотров я был признан годным к работам и отправлен в следующий пересыльный лагерь. Этот лагерь IVA размещался в бывшем княжеском замке Хонштайн (Hohnstein). Попрощался я навсегда с товарищами по палате, с поляками-канцеляристами и в составе группы из двадцати пленных на автофургоне был перевезен в горный замок. Лагерь был небольшим. Во дворе замка в каменных зданиях содержали советских военнопленных и... итальянцев. Недавние союзники немцев были захвачены в 1943–1944 гг. после свержения в Италии Муссолини.

В Хонштайне пленные из разных стран не были разделены, поэтому мы и итальянцы общались свободно, причем они ходили в наши камеры чаще, чем мы к ним. Мы все еще видели в них вчерашних противников. Немцы относились к пленным итальянцам еще хуже, чем к советским военнопленным. Считая итальянцев предателями, вонзившими Германии нож в спину, немцы избивали их при каждом удобном случае, лишили их защиты Красного Креста, нарушив тем самым свои международные обязательства. Кормили итальянцев по тем же мизерным нормам, что и советских пленных. Единственным различием в нашем положении было то, что итальянцы оставались в своем армейском обмундировании и обуви. Объяснялись мы с итальянцами на немецком языке, кто как умел. Теперь и они ненавидели «бошей», желали им скорого поражения на фронтах и мечтали о возвращении на Родину к женщинам, вину и песням. У одного итальянца сохранилась скрипка, и он играл нам неаполитанские напевы, которые и мы знали и любили.

В самой высокой части лагеря виднелось здание, имевшее типичный облик средневекового рыцарского замка. Оно тщательно охранялось, доступа из двора туда не было. Говорили, что там содержатся французские генералы, что оттуда уже был совершен успешный побег.

Шел, видимо, июнь 1944 г. В лагерь доползли слухи о высадке войск западных наших союзников во Франции, о крупных поражениях немцев на Восточном фронте. По поведению охраны было видно, что немцы нервничают. Они стали строже следить за тем, чтобы в лагерь не попадали никакие газеты, чтобы до минимума сократились контакты пленных с гражданскими немцами.

В лагере IV А я пробыл недолго — недели две. С группой пленных, человек 15-20, был отвезен на автофургоне под охраной в последний свой лагерь — «Рабочую команду» в городок Зебниц на границе с Судетской областью. Небольшой город Зебниц, до войны мировой центр по изготовлению искусственных цветов, был расположен в горной местности. Перепады высот на улицах были очень заметны. Лагерь военнопленных — Arbeitskommando — находился на плоской площадке на возвышенности в самом городе и был, как обычно, огорожен колючей проволокой.

На площадке разместились два длинных стандартных сборных барака; один еще достраивался. Основной барак был разделен дощатыми перегородками на несколько отделений без дверей. На двухэтажных нарах с обычными бумажными матрацами и такими же «одеялами» размещались до 230 военнопленных. Полы — деревянные. Мой внутрилагерный номер был не то 214, не то 217 — точно не помню. Поверки проводились по внутрилагерным коротким номерам, постоянные длинные (мой — IVB-204728) не употреблялись. В дальнем углу помещалась уборная с выгребной ямой. Здесь под надзором немцев соблюдалась идеальная чистота. Чистоту в бараке наводил постоянный уборщик, на работу вне лагеря его не водили. В ближнем к входу в лагерь конце барака размещалась комната вроде кухни. Здесь была кирпичная печь-лежанка с водогрейным котлом ведер на пять, обычные для таких печей четыре конфорки. В самом бараке стояли четыре небольшие печки, типа уртермарковских, кирпичные с металлическим кожухом. <...> Стояли несколько лавок и дощатый стол.

В караулке было несколько комнат. В одной из них жил комендант лагеря — молодой унтер-офицер Скора, получивший эту должность после ранений на Восточном фронте. <...> Остальная охрана лишь дежурила в лагере, жила же в военной казарме в городе. Это были нестроевые солдаты 50-55 лет либо молодые инвалиды, раненные на фронте. <...>

Среди пленных в лагере были инвалиды — с ранеными ногами, несколько человек — с деревянным протезом, т. е. простой

деревяшкой, привязанной ремнями (брезентовыми) к культе. Но и их гоняли на работу.

<...>

Водил бригаду грузчиков на станцию всего один солдат, их уже командованию не хватало. Практически надзора за грузчиками-пленными не было. Гражданские немцы — кладовщики и сдатчики-приемщики грузов были заняты своими делами. И наши грузчики приладились воровать все, пригодное для еды и некоторых других целей. Воровали мешками сахарный песок, консервы, открывая ящики и опустошая их частично, после чего снова забивали крышки ящиков. Не обходили мыло и другую мелочевку. Фирма разрешила этой бригаде относить каждый вечер в лагерь несколько мешков с угольным брикетом и иногда с картошкой. В этих мешках прятали и ворованное. Охрана лагеря проверяла мешки с углем поверхностно, и не было случая, чтобы краденое обнаружили. Это удавалось главным образом потому, что грузчики подкупали лагерного коменданта, который был еще большим вором, чем наши ребята. Не единожды они ночью отправлялись с ним во главе на станцию грабить склады исполу — половину ему, половину себе. Воровали для него сахар — острейший дефицит в то время в Германии. На него можно было выменять все, что угодно. Комендант, кажется, менял сахар на спиртное и заводил за этот счет любовниц.

Периодически в лагере проводили обыски, но все, что приносили в лагерь, быстро съедалось. Грузчики держали запасы на станции в угольных кучах, которые не обыскивали, да и найти в них что-либо было почти невозможно. Один раз случился величайший скандал: наши ребята грузили ящики с шоколадом, предназначавшиеся для нацистской элиты. По «неловкости» они «нечаянно» уронили несколько ящиков и сразу же растащили содержимое — около 100 кг, тщательно спрятав в угольных кучах. Немцы рассвирепели. Вмешалась военная полиция. Грузчиков обыскали на станции, при входе в лагерь высыпали уголь из мешков. Устроили через день обыск в лагере: прощупывали матрацы и одеяла, вещмешки, осмотрели все закоулки, в нескольких местах вскрыли полы. Шоколада не обнаружили. Такой же обыск провели в английском рабочем лагере, откуда также посылали грузчиков на станцию. Шоколада не было. Обыскивали станционные склады, самих немцев. Шоколада не было.

Через две недели, когда все уже утихло, бригадир наших грузчиков (выбранный ими самими) Алексей Васин, из старшин-сверхсрочников, постучал в караулку и попросился к коменданту. В руках у него был большой сверток. Он его развернул и преподнес коменданту на ворованном блюде гору ворованного шоколада — килограмма два. Как рассказал нам Алексей, комендант в первый момент очумел, лишился речи. Потом долго матерился по-русски и немецки (обычные немецкие ругательства в наш адрес: «русская свинья», «подлюка» — russische

Schwein, Schweinehund), но шоколад взял. Инцидент был исчерпан. Каждому пленному в лагере грузчики подарили по плитке шоколада. Это был праздник!

Таская ежевечерне продукты в лагерь, грузчики варили на печке ужин, обычно — картошку с мясными консервами (!), сами ели досыта и, насколько было в их возможностях, подкармливали кое-кого из остальных пленнх. Всех накормить они, конечно, не могли, но, чтобы придерживаться хоть какой-то справедливости, сами мы установили определенную очередность. Такое воровство все мы, и я в том числе, не считали постыдным — воровали у врага. Это было святым делом!

Кстати, воровали и англичане на станции, но неумело. Однажды они украли несколько десятков брюк и на следующий день отправились в них на работу на станцию. Естественно, брюки тут же с них сняли, избили, обыскали лагерь и все забрали, прихватив кое-что из посылок Красного Креста. На свою неудачу англичане нашим грузчикам пожаловались на смешанном англо-немецко-русском языке, в котором преобладали ставшие интернациональными крепко соленые русские слова.

Большую часть пленнх из нашей «Рабочей команды» водили на дочернюю фабрику фирмы «Autounion», где изготавливались комплектующие детали — магнето — для автомобилей, выпускавшихся этой фирмой. Здесь мы занимались подсобными работами: инвалиды упаковывали магнето в промасленную бумагу и укладывали в ящики, остальные на ручных тележках отвозили по грузовому лифту во двор, где грузили ящики на автомашины. Украсть здесь было нечего, и дополнительно съесть тоже. На всех этапах работы за нами пристально наблюдали гражданские немцы — в основном женщины, чтобы не допустить порчи изделий. И все же мы иногда ухитрялись отвернуть какую-нибудь гайку, сунуть в магнето гвоздь. Но это имело малое значение. По-настоящему навредить немцам возможности мы не имели.

7 ноября 1944 г. мы предприняли попытку не пойти на работу, не вышли по команде строиться. Караульные солдаты ворвались в барак с оружием; прикладами и штыками выгнали всех во двор, вывели за ограду; появились военные полицейские с собаками и нас силой построили. Комендант орал, выхватил «Вальтер» и застрелил одного парня, который не хотел стать в строй. Мешая немецкие ругательства с русским матом, комендант пригрозил расстрелять столько пленнх, сколько нужно, чтобы мы подчинились. Видя, что угроза будет выполнена, мы, стиснув зубы, покорились. Попытка забастовки в святой для нас день Великого Октября не удалась. Сила была на стороне врага. Фамилию убитого не помню. <...>

Между тем строгости в лагере летом 1944 г. снова усилились, несмотря на крупные поражения немцев на Восточном, а теперь и Западном фронтах. Толчком послужило неудавшееся покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Улицы, по которым нас гнали на работу,

запестрели новыми крупными портретами фюрера, транспарантами и надписями на стенах: «Хайль Гитлер!», «Бог спас вождя!», «Провидение хранит Гитлера!», «Одно Отечество, один народ, один фюрер!» и т. п. («Heil Hitler!», «Der Gott rettete den Führer!», «Vorsehung verwahrt Hitler!», «Ein Vaterland, ein Volk, ein Führer!»). Чувствовалось, что среди немцев — военных и гражданских — ищут сторонников заговорщиков. На фабрике сгустилась атмосфера страха. Немки, которые до того часто обменивались с нами репликами на смешанном примитивном немецко-русском жаргоне, стали осторожнее. В лагере участились обыски, несколько раз в них участвовали эсэсовцы, но ничего предосудительного не нашли.

Информация о событиях доходила до нас от общения с гражданскими немцами, контакты с которыми в работе были неизбежными; к нам от них попадали и немецкие газеты. Выдержки из газет о бедах немцев на фронтах я, не стесняясь, зачитывал в лагере даже перед строем. Усилившиеся строгости в лагере сочетались с послаблениями, которые вынужден был делать вор-комендант, нуждавшийся все время во взятках от станционных грузчиков. Снова мешки с углем, которые они приносили в лагерь, стали пропускать почти без проверки. Кража шоколада прервала этот «обычай» всего на две недели, потом все пошло по-прежнему.

Сравнивая порядки в Зебницкой рабочей команде с порядками в тех лагерях, в которых мне довелось побывать прежде, уже тогда пришел к выводу, что наш злой, непредсказуемый, вздорный, взбалмошный комендант, от которого в любой момент можно было ожидать какой-нибудь особо изощренной подлости, все же был, благодаря его вороватости и взяточлюбиву, «выгоднее», если можно употребить такое слово, для нас, пленных, чем порядочные, честные служаки, пусть и менее суровые, но точно выполнявшие инструкции, безжалостные к пленным. Перспективы выжить и дожидаться освобождения в Зебницкой рабочей команде были надежнее, чем в других знакомых мне лагерях, хотя и пулю в лоб получить перспектива тоже была.

В лагере не было собственной кухни. Пищу для пленных варили в гражданской частной столовой, которая находилась рядом с лагерем. Готовили баланду три украинские женщины — «восточные рабочие», вывезенные с Украины на принудительные работы в Германии. Жили они у хозяйки столовой (кафе?), ходили вольно в пределах города. Нормы и характер пищи были обычны для пленных: 0,5 литра баланды из брюквы или турнепса, пять-шесть вареных «в мундире» картофелин, 100 граммов хлеба, «пленной» рецептуры и выпечки. Баланду в бидонах и все остальное доставлял на ручной тележке к вечерней раздаче постоянный лагерный уборщик; он же и раздавал пищу под наблюдением выборных контролеров.

Дамоклов меч разоблачения моей национальности висел надо мной постоянно. Моя внешность имеет некоторые расовые признаки, может

быть, выраженные не очень ярко. Возможно, при длительном общении отдельные черты характера в сочетании с внешностью тоже вызывали подозрения. Мне иногда приходилось выслушивать намеки по этому поводу, но до немцев они не дошли. Ненависть пленных к противнику оказывалась сильнее. Никто на меня не донес!

В Зебницкой рабочей команде оказалось человек тридцать, знакомых мне по прежним лагерям. С некоторыми я прибыл из пересыльного лагеря IVA Хонштайн, вместе был в лагере-лазарете. Было два-три знакомых по дрезденскому лагерю, которые попали сюда раньше меня, а один парень — Коля Манацков — был знаком по лагерю в Шепетовке; в Зебниц он попал тоже раньше меня. Видимо, лагерные маршруты были достаточно шаблонными. С Колей Манацковым — природным донским казаком из Ростовской области — я подружился. Он был года на два старше меня, настроен очень патриотически, и я с ним разговаривал откровенно. Через несколько месяцев, когда я ему уже полностью доверял, однажды во время совместной помывки в фабричной душевой кабине, я открыл ему, кто я на самом деле. С тех пор мы всегда мылись вместе; он был мне прикрытием. Дружба наша окрепла.

В Зебницкой рабочей команде я впервые за все время плена выдвинулся из ряда последних опустившихся доходяг в лагерные лидеры. Причем это выдвижение шло и сверху и снизу. В лагере не было штатного переводчика; комендант, хотя и калякал немного по-русски, все же не мог полностью донести свои распоряжения до пленных. Вычитав из сопроводительной личной карточки, что я изъясняюсь по-немецки, он стал привлекать меня как нештатного переводчика. К переводчикам пленные относились обычно настороженно, особенно в 1941-1942 гг., когда переводчики в значительной части были немецкими прислужниками и были близки к полицаям. В 1943-1944 гг. положение изменилось; переводчики из пленных были лишь необходимыми посредниками, а не доносчиками и предателями.

Со временем комендант доверил мне самостоятельно проводить вечернюю поверку и докладывать в караулку — ему лень было самому строить пленных и проводить перекличку. Отсутствие немцев на вечерней поверке дало мне возможность проводить, по просьбе ребят, настоящие политинформации. Через гражданских немцев в наши руки попадали немецкие газеты; стали давать мне немецкие газеты и охранники. Как ни старалась немецкая пресса сдержанно писать о поражениях их войск, но полностью скрыть положение дел было невозможно. И на Восточном фронте, и во Франции, в Италии, на Балканах союзники наступали, а немцы отступали. Газеты называли все новые города, где шли сражения; война пересекла границы Германии, советские войска воевали уже в Восточной Пруссии; были освобождены Белоруссия, Украина, часть Прибалтики, Польши, вышла из войны

Румыния и т. д. Писали газеты и о бомбардировках германских городов. Практически каждый вечер перед строем на поверке я делал сообщение о положении на фронтах, анализируя те материалы, с которыми удавалось ознакомиться в доступных нам немецких газетах («Völkischer Beobachter» — главным образом). Помогали мне довоенные навыки читать между строк, неусыхинская выучка анализировать минимум сведений.

Мой авторитет в лагере быстро возрастал. Настроение среди пленных поднималось, усиливались надежды на близкий конец войны и наше освобождение. Особенно поверили в меня ребята после 7 ноября, когда мне удалось предотвратить массовый расстрел пленных в нашем лагере. Тогда, после убийства нашего товарища комендантом, вторым на прицеле был я. Невзирая на это, я успокаивал и коменданта с охраной и строй пленных. Ведь выхода не было, пришлось подчиниться.

Мое положение переводчика не давало мне никаких поблажек или льгот со стороны немцев. Как и всех, меня водили ежедневно на работу на фабрику, где я был таким же грузчиком ящиков, как и все; мне не давали добавочного питания. Единственное, что я получил, — это «ботинки» на деревянной подкованной подошве с верхом из искусственной кожи вместо цельных деревянных колодок, которые у меня были до сих пор. Новые ботинки были полегче, на них меньше налипал снег. Такая обувь была у всех станционных грузчиков.

Дополнительное питание я получил не от немцев, а от бригады станционных грузчиков. Они ворованное делили между собой поровну и равную долю стали выделять мне: я садился с ними за стол, когда они по вечерам варили свой сытный ужин, как правило — картошку с мясной тушенкой, иногда кашу. Несколько месяцев удавалось обменивать краденый сахарный песок на хлебные карточки на фабрике — у одного немца-спекулянта. Он разузнал каким-то образом, что наши станционные грузчики «добывают» сахар, и предложил через меня производить обмен. И вот я носил в противогазной сумке, которую мне дал Алексей Васин, мешочки с сахарным песком на фабрику, а оттуда — талончики от хлебных карточек. До марта 1945 г. в немецких булочных принимали талончики в отрыве от карточек. На эти талончики станционные грузчики выкупали хлеб в булочной при станции. Деньги добывались на тот же сахарный песок у немца-спекулянта. Операция эта была рискованной. Если бы мы попались, то пленным грозил штрафной лагерь или даже гестапо, а немцу — тюрьма, если не смертная казнь. Обмен продолжался до марта 1945 г., когда прекратилась работа на фабрике, и тогда же перестали принимать оторванные от карточек талончики. Таким образом, в течение нескольких месяцев я кормился у станционных грузчиков, а лагерный паек отдавал Коле Манацкову; иногда мне удавалось что-то добавить ему и со «станционного» стола. В эти месяцы я не голодал и заметно окреп.

В числе лагерников было и несколько офицеров званием до подполковника, в большинстве призванных из запаса интеллигентов. К сожалению, это были опустившиеся более других люди. Физических сил у них было мало; тяжелые испытания, непосильный физический труд, постоянный голод они переносили хуже других, меньше следили за собой и производили впечатление особо несчастных. Да и я только в Зебницком лагере вырвался из этого круга интеллигентов-доходяг. Никто из офицеров не мог претендовать и не претендовал на роль лагерного лидера. Благодаря влиянию бригады станционных грузчиков не проявились претенденты на лидерство из бывших уголовников.

Постепенно я стал выполнять внутри лагеря функции третейского судьи. В большом коллективе не обходится без внутренних конфликтов. То что-то не поделили, хотя, казалось бы, и делить нечего, то кто-то обозвал кого-нибудь оскорбительно. Особенно чувствительны были к таким оскорблениям представители национальных меньшинств, которых в лагере было процентов тридцать: дагестанцы, грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, узбеки, киргизы, туркмены, чуваша, мордва, удмурты, татары и т. д. Многие плохо говорили по-русски, только матерились вполне «грамотно». Нацменов иногда обзывали оскорбительной кличкой, кажется — «чучмек» (забыл уже) или «елдаш», что на тюркских языках означает «товарищ», но при соответствующей интонации и ухмылке может восприниматься как оскорбление.

И вот конфликтующие стали обращаться ко мне с просьбой рассудить их. Они были уверены, что я это сделаю объективно и беспристрастно. Не было случая, чтобы кто-либо оспорил мой «приговор». А я ведь был одним из самых молодых в лагере, мне стукнуло всего двадцать два. Были среди нас люди с высшим образованием и даже с учеными степенями, с большим жизненным опытом, но так вот сложилось. Этим доверием товарищей по плену я очень дорожил. Предполагаю, что такое доверие товарищей отчасти объяснялось тем, что я не скрывал своих советских и коммунистических убеждений, хотя это было все еще небезопасно.

Конечно, я сам не был безгрешным ангелом и мог — как ни следил за собой — допустить в каком-нибудь споре (а они бывали) резкое или обидное слово. Но в ответ на неизбежный укоризненный взгляд я немедленно извинялся. Мне кажется, что такое поведение еще больше укрепляло доверие ко мне, чем если бы я был «сверхбезупречным». Помню, я крупно поговорил с пожилым, лет 50, осетином, который повздорил с грузином — соседом по нарам. Разговор пошел на повышенных тонах, и я сгоряча вдруг обозвал осетина обидной кличкой. И фронт переменялся. Осетин, годившийся мне в отцы, стал стыдить меня, говоря, что от меня он такого не ожидал, что мне негоже вести себя как другим, не понимающим, как это обидно слышать советскому человеку, и т. д. Я опомнился и долго просил у него

прощения, дал обещание, что в последний раз я допустил такой оскорбительный выпад. Я свое обещание сдержал. Случай этот послужил мне полезным уроком!

Зимой 1944/45 г. и нам и немцам стало ясно, что военный крах Германии близок. Начались сражения на коренной территории Германии. В городе и на фабрике появились беженцы с Востока и с Запада. Фашистские власти зверствовали. Участились сообщения в немецких газетах о применении смертной казни за дезертирство. И хотя многие гражданские немцы и охрана лагеря все еще на словах надеялись на «секретное оружие» Гитлера, которое якобы должно было вскоре изменить ход войны, но чувствовалось их подавленное настроение. Газеты и стены домов запестрели лозунгами: «Sieg oder Sibir» — «Победа или Сибирь», «Берлин никогда не станет русским, Вена снова будет немецкой» (после взятия Вены Красной Армией) и т. п.

Фашистские власти проводили тотальную мобилизацию. В ополчение призывали всех мужчин от 16, даже от 14 лет до 70. Их вооружали противотанковой ручной ракетой — «Фаустпатроном», отчего, как мы узнали после освобождения, в Красной Армии их прозвали фаустниками. Пошерстили и охрану нашего лагеря. Всех, у кого руки и ноги были целы, отправили на фронт. Один охранник — местный зебницкий, лет 50, отец семи детей, помню его фамилию — Хольфельд — вдруг сказал мне (по-немецки, естественно): «Отправляют меня под Вену. Сразу же сдамся в плен русским». Охрана лагеря теперь сплошь состояла из инвалидов.

Однажды мартовским вечером меня вызвал к себе комендант лагеря и провел со мною «политбеседу»-полемику. Она была очень примечательной и по форме и по содержанию. То он говорил по-немецки, а я по-русски, то, наоборот, он переходил на русский язык, а я — на немецкий.

Комендант спросил меня: «Что же вы — радуетесь приближению большевиков?»

— «Natürlich» — «естественно», — ответил я.

Комендант: «Dummköpfe sind sie» — «Дураки вы, вас всех отправят в Сибирь или казнят».

Я в ответ: «Feindespropaganda» — «Вражеская пропаганда».

Комендант: «Скоро мы снова будем под Москвой, у нас есть секретное оружие».

Я: «Jawohl! Deutsche Soldaten werden bald bei Moskau marschieren, aber nicht als Sieger, sondern als Kriegsgefangene» — «Конечно! Немецкие солдаты скоро будут маршировать под Москвой, но не как победители, а как военнопленные».

Комендант кипятился, густо матерился, но не мог убедить не только меня, но и самого себя.

На вечерней поверке я доложил перед строем об этой беседе, как о свидетельстве близкого поражения Германии.

Через несколько дней нашего коменданта перевели в другой лагерь, а к нам прислали унтера-старика. Было ясно, что немецкое командование меняет комендантов, чтобы уберечь их от расправы в тех лагерях, где они зверствовали.

В середине февраля прекратились работы на фабрике, наш лагерь стали готовить к эвакуации, приказали собрать все личные вещи (сколько их было?). Однажды утром построили и вывели из города. Прошли в южном направлении (на Чехию?) километра 3 и остановились. Постояли несколько часов и возвратились в лагерь. Видно было, что немцы в растерянности и не знают, что с нами делать. До нас доходили слухи, что при приближении советских войск немцы уничтожают в лагерях всех военнопленных, эвакуируют их не всегда.

После возвращения в лагерь вдруг возобновились работы на фабрике, но в начале апреля вновь прекратились, теперь уже окончательно: неоткуда было получать комплектующие детали, некуда отгружать готовую продукцию. Только станционные грузчики продолжали работать на станции, но возможности что-либо украсть уменьшились. Прекратился обмен сахара на хлебные карточки, вскоре иссякли запасы в угольных кучах, и мы стали вновь голодать и слабеть. Резко сократились нормы снабжения гражданского населения, теперь и немцы голодали, особенно беженцы, число которых все увеличивалось в городе. Наступало справедливое возмездие народу Германии за те страдания и беды, которые он причинил народам нашей страны и всей Европы.

Истина требует сказать, что до последнего часа немцы оказывали упорное сопротивление советским войскам, а гражданское население соблюдало дисциплину и порядок. Не видно было паники. На ограниченной территории все еще ходили местные поезда строго по расписанию, в городе Зебнице еще действовали водопровод и местная электростанция.

Во второй половине апреля мы впервые услышали гул отдаленной артиллерийской канонады, который уже не смолкал до конца войны. Числа 25 апреля в лагерь вдруг привезли человек 10-12 новых пленных, взятых в последних боях; их заперли во втором бараке и никаких контактов с ними не допускали. Дней через пять их увезли в неизвестном направлении.

Информация в лагерь поступала скудная. К концу апреля перестали гонять на работу станционных грузчиков; контакты с гражданскими немцами практически прекратились. Но стали более разговорчивыми солдаты охраны. Они сказали мне по секрету, что в Берлине идут уличные бои, а числа 4 мая — что Берлин взят русскими. Я, разумеется, сообщал обо всем в лагере. Дополнительным источником информации были для нас украинки-поварихи, обслуживавшие лагерь. Через них к

нам попадала местная немецкая газета, которая все еще выходила ежедневно; центральных газет уже не было. От ставших вдруг дружелюбнее солдат охраны к нам попали листовки, которые сбрасывали летавшие над городом советские, американские и английские самолеты. В листовках на немецком, английском и русском языках немецкое командование и все армейские чины предупреждались об ответственности за сохранение жизни военнопленных. Это было заявление за подписью Сталина, Трумэна и Черчилля.

Немцы было несколько воспряли духом, узнав о смерти Рузвельта. Они считали смерть американского президента Божьим возмездием. Но радость их была непродолжительной. Конец их был близок. Смерть Гитлера от нас пытались скрыть, но и о ней мы узнали из листовок примерно 6 мая. Город Зебниц отстоял от Дрездена на 50–80 км. Еще в середине февраля мы слышали гул бомбардировки Дрездена англо-американской авиацией и видели отдаленное зарево. Эта бесполезная в военном отношении бомбардировка Дрездена в последние месяцы войны, к тому же проведенная союзниками в полосе действий советских войск, нами тогда воспринималась как справедливое воздаяние фашистской Германии за те страдания и разрушения, которые она принесла миру.

Мы в лагере изнывали от нетерпения и ожидания освобождения. Город Зебниц оказался в той части Германии, куда Красная Армия дошла только в последний день войны. Усилились слухи о массовых расстрелах пленных в лагерях перед приходом советских войск. Поэтому часть станционных грузчиков, я и Коля Манацков решили бежать. Чтобы ввести в заблуждение охрану, было задумано скрыться под полом барака перед уже намеченной эвакуацией лагеря. Такой способ побега был вызван опасением, что есть опасность попасть в руки эсэсовцев, которые уже бродили группами по всей фронтовой территории. Готовясь к побегу, мы по вечерам после отбоя вскрывали в дальнем конце барака полы, вырыли довольно просторный подвал. Грунт размещали равномерно дальше под полами. Узнав, что утром 8 мая нас из лагеря угонят, вечером 7 мая мы подрезали проволочную ограду в дальнем ее краю, чтобы создать впечатление, что мы бежали из лагеря. Артиллерийская канонада приближалась. Чувствовалось, что в ближайший день Красная Армия вступит в Зебниц.

Утром 8 мая охрана отперла бараки раньше обычного времени, и я неожиданно попался охраннику на глаза, так как поднялся раньше других и руководил упрятыванием беглецов. Таким образом, я лишился возможности скрыться вместе с ними в подполе. Иначе немцы сразу догадались бы, в чем секрет побега. Наскоро я попрощался с друзьями, закрыл за ними полы. Не успели мы даже обменяться адресами, заранее не продумали возможность такого варианта. Больше я своих ближайших товарищей не видел. Впоследствии, после освобождения,

слышал на сборном пункте 1-го Украинского фронта, что их в Зебнице оставили на первое время служить при советской военной комендатуре. Что было дальше с ними — не знаю.

В 8 часов утра 8 мая комендант отдал команду выходить строиться со всеми вещами. Присутствовала вся охрана. Провели поверку и сразу обнаружили побег. Обследовали лагерь, увидели подрезанную ограду и... успокоились. Немецким солдатам все уже было безразлично.

Колонна военнопленных по пять человек в ряду, более 200 человек, окруженная полувзводом немецкой охраны, двинулась по горной дороге на юг. К нам присоединились и три украинки-поварихи. Перед отправкой из лагеря нас не кормили. Колонна двигалась малой скоростью — не более 2 км в час, так как и среди конвоиров, и среди пленных были одноногие инвалиды. Колонна растянулась, но конвоиры не подгоняли. Они уже знали то, что мы еще не знали: война окончилась; немецкое командование подписало акт капитуляции перед командованием западных союзников СССР и через несколько часов подпишет капитуляцию и перед командованием Красной Армии.

Я шел в голове колонны. Через час ко мне подошел комендант и сказал: «Krieg kaput, Hitler kaput» — «Война окончена, Гитлер — мертв». Я передал это по колонне; все взбодрились. Комендант сказал, что нас передадут организованно советскому командованию — такое его требование охране известно и таков приказ немецкого командования. У нас выбора не было, мы были безоружны. Каждые два часа устраивали привал. Охрана вела себя вполне дружелюбно, стиль отношений совершенно изменился. Конвоиры подходили ко мне, просили перевести пленным, что они — солдаты — рады окончанию войны, что их суровое обращение с нами было не по их воле — этого требовало их начальство; слушание им грозило строгим наказанием и т. п. Волки на наших глазах превращались в ягнят. С другой стороны, в эти часы мы видели в нашей охране защиту от возможных нападений эсэсовцев, которые, как это всем было ясно, озлоблены поражением и никого не пощадят.

В общей сложности в этот последний день войны наша колонна прошла километров 12-15. Привели нас в деревню Никсдорф (Nixdorf), уже в Судетской области. Здесь, видимо, располагалась крупная рабочая команда. Сюда согнали из окружающих лагерей тысячи советских военнопленных и продолжали их содержать под стражей под начальством крупного чина, кажется — полковника, что само по себе было необычно. Разместили нашу команду в огромном сарае на холме. В качестве подстилки можно было использовать немного соломы. Вечером нас все же накормили «сухим» пайком: выдали по буханке хлеба на десять человек и по небольшой сырой брюквине.

Нарастали звуки артиллерийской стрельбы, слышались дальние пулеметные очереди; когда стемнело, стало видно зарево пожаров на севере. Но из сарая выйти было нельзя — на посту стоял вооруженный

солдат. Делать было нечего, мы все еще находились во власти противника. В 22 часа мы улеглись на солому и заснули под аккомпанемент уже привычной орудийной стрельбы.

Проснулись мы в полночь от внезапно наступившей тишины. Стрельба смолкла. Я и еще несколько молодых ребят подошли к выходу из сарая. Часового на посту не было, а его винтовка валялась на земле. Вот когда мы осознали и почувствовали, что войне пришел конец. Посоветовавшись, мы решили до рассвета из сарая не выходить. Взяли трофейную немецкую винтовку и коллегиально распределили очередь дежурства — по часу. У меня тогда были плохонькие наручные дамские часы, выменянные еще зимой на краденый сахар. По ним и следили за сменой караула. Никто из нас не спал. На душе были радость и тревога. Радость Победы, освобождения из долгого плена и тревога за будущее. Мы опасались и эсэсовских нападений и своей встречи с освободителями. Мы не знали, как к нам отнесутся; помнили, что в Красной Армии нас в свое время предупреждали: каждый попавший в плен — изменник Родины. Что из того, что в плен мы были захвачены не по своей воле, что нас были миллионы и что в плену оказались и особы и политработники (я сам был замполитом), т. е. те, кто в первую очередь предупреждал о плене как измене.

Ранним утром мы услышали шум автомашин и танков. Вышли из сарая на дорогу — там двигались советские войска. Как мы узнали у остановившихся офицеров (на них я впервые увидел погоны), это были войска 1-го Украинского фронта, направлявшиеся освобождать Прагу. Мы взаимно приветствовали друг друга, но долгих бесед не заводили, они торопились. Нам сказали, — организованно отправляйтесь на восток, на сборный пункт 1-го Украинского фронта. Среди проходивших войск были и части 2-й Польской армии, впрочем, наполовину состоявшие из советских солдат, но в польском обмундировании. Молодой поляк с сержантскими нашивками обратил на меня внимание и спросил: «Юде?» Я отрицательно помотал головой, но еще раз ясно понял, что я все же вполне опознаваем для опытного взгляда. То, что я пережил годы плена, — везение необыкновенное, чудо!

Войска прошли, и мы остались один на один с бывшей немецкой охраной. Немецкие солдаты и офицеры сложили во внутреннем дворе оружие, но все еще пытались наводить порядок. Часов в 9 утра они прошли по баракам и сараям и *прости* собраты всех внизу во дворе. Там с грузовой автомашины обратился к нам через немца-переводчика полковник. Он убеждал нас не покидать лагерь, соблюдать организованность с тем, чтобы они смогли передать нас русскому командованию по спискам — как этого потребовали советские власти. В общем это было правильно и для нас было бы безопаснее. Ведь нас могли принять и за переодетых власовцев, хотя большинство не походило на здоровых солдат. Это были доходяги.

Но дорвавшиеся до свободы бывшие военнопленные уже никого не слушали и никому не подчинялись. Первое желание у оголодавших, истощенных людей было поесть, нажраться. Вскоре по всей территории лагеря запылали костры. На них в котелках варили картошку. Ее собрали по дворам у крестьян, попросту отняли. Кое-кто уже отобрал свиней, овец, птицу, тут же резали их, свежевали, варили в котелках. Нашли в деревне склады, разгромили их, добыли консервы, спиртное, и пошло... Тысячи освобожденных пленных разбрелись по деревне и отнимали у жителей не только продовольствие, но и вещи, нередко советского производства, награбленные в ходе войны у нашего народа. Я в душе не одобрял грабеж, но не мог и не собирался его остановить, да меня никто бы и не послушал. Зашел в один крестьянский двор и я с товарищами, увидел маленькую ручную тележку типа арбы с боковинами. Спросил у хозяина, не продаст ли он ее. Тот с удивлением посмотрел на меня и, разумеется, согласился. У меня было, кажется, десять марок, и я отдал их крестьянину. Плен и пережитые невзгоды не выбили из меня окончательно ифлийско-комсомольского воспитания. Впрочем, тележка мне не понадобилась и я в тот же день отдал ее кому-то.

Около 11 утра вся «Рабочая команда» из Зебница собралась у ночного нашего сарая. Посовещались и решили двинуться на восток, не задерживаясь здесь. Правда, раздавались призывы ожидать здесь представителей советских военных властей, но большинство пришло к выводу, что ждать нельзя. И мы пошли единым отрядом, численностью более 200 человек, т. е. примерно роты. Командование никто на себя не принял; я считал свои обязанности лидера исчерпанными, а наши офицеры желания командовать не проявили. Мы захватили в лагере три пароконных повозки, умельцы запрягли лошадей, усадили на повозки наших одноногих инвалидов и стариков, погрузили несколько мешков картошки, добытые буханки хлеба пленной выпечки, несколько ящиков консервированной тушенки из разгромленного склада, кое-какое барахло. У меня была туристская карта автомобильных дорог Саксонии и Силезии, не помню уж, где я ее достал в Зебнице при подготовке к побегу. Этой картой мы и руководствовались, благо на дорогах везде стояли указатели. В Зебниц решили не возвращаться, а направиться прямо на восток.

В лагере продолжался пир горой, появились пьяные, но наша Зебницкая команда тронулась в путь. Еще в никсдорфском лагере мы нашли брошенные велосипеды; молодые ребята, и я в их числе, уселись на велосипеды и помчались вперед. Проехали километров десять и пришли в себя — что же мы делаем, отрываемся от своих, оставляем их без защиты. Решили вернуться. Когда мы возвратились, нас встретили возмущенные крики наших товарищей. Колонна остановилась, начался стихийный митинг. Выступали особенно яростно старики и инвалиды, упрекали нас и особенно меня за нетоварищеское поведение в острой

сложной фронтовой обстановке. Стало стыдно. Наконец-то проявили себя и наши офицеры. Они предложили избрать командира и добровольно ввести воинскую дисциплину. На пост командира они предложили меня. Мои возражения, ссылки на молодость, отсутствие командного опыта были отвергнуты. Мне заявили, что я пользуюсь общим доверием и в Зебницком лагере доказал умение ладить с людьми. Выбрали меня единогласно, офицеры обещали помогать. Я поставил условие: дисциплина должна соблюдаться беспрекословно; грабежи населения запрещаются. Пищу и минимум барахла добывать в брошенных складах и магазинах. После острой дискуссии все согласились со мною.

Особенно я настоял на том, чтобы никто не сбрасывал с себя одежду военнопленных со знаками «SU» — некоторые уже обзавелись гражданскими костюмами. Я убедил товарищей, что эта ненавистная нам одежда — наш единственный документ, очень важный потому, что мы предстанем перед советскими военными властями вне лагеря и должны будем доказывать, что мы военнопленные красноармейцы, а не власовцы. Но обувь надо было сменить — в деревянных колодках идти было тяжело. Нам повезло. Уже в начале пути мы набрали в одной большой деревне на брошенный магазин со складом и нашли там коробки с гражданской обувью чешского производства (протектората Богемия и Моравия) фирмы «Батя». Мы переобулись; мне достались яркие желтые ботинки — подошли по ноге. Здесь же нашлись носки, и впервые за четыре года на ногах были носки. Впрочем, на марше портянки удобнее, предохраняют от потертостей.

С той поры прошло полвека, подробности стерлись из памяти. Не помню маршрута, по которому направлялась наша Зебницкая колонна. В день мы проходили километров 20–25. Большинство еще было ослаблено. Продуктов мы набрали много в немецких складах, которые еще не освоили воинские части и их тыловые службы. Находили кое-что в оставленных жителями домах и хозяйственных постройках, в частности, корм для лошадей. Погрузили мы в повозки десятки ящиков мясных консервов, ребята, конечно, прихватили спирт в бутылках, но пьянства я не допустил. Были попытки нарушить договоренность; я опять провел собрание и твердо сказал: или будем соблюдать дисциплину и поддерживать порядок, или я подаю в отставку. Подавляющее большинство поддержало меня, и весь путь в нашем отряде (как его еще назвать?) больше никаких эксцессов не было.

По ночам мы выставляли караул, чтобы обезопасить себя от бродячих эсэсовцев. Первую ночь мы даже вооружились трофейными винтовками, но потом бросили оружие — мы больше всего опасались, чтобы нас не приняли за власовцев. На дороге мы выделялись организованностью, шли строем по четыре в ряд, колонну замыкали повозки. Я шел в первом ряду. На левой руке у меня была красная повязка (где-то ребята достали кусок красной ткани), указывавшая, что

я командир колонны. Я, как правило, не покидал колонны. На поиски еды и корма для лошадей и в разведку я назначал самых молодых боевых ребят.

Мы находились в тылах 1-го Украинского фронта. Но пока в населенных пунктах не было еще военных комендатур (города мы обходили), никто нашим движением не руководил и нас не направлял. Встречные воинские части — все на автомашинах и бронетехнике — приветствовали нас взмахами рук, но не вмешивались в наши дела. Несколько раз мне удавалось останавливать военные «виллисы», в которых ехали офицеры высоких чинов; я спрашивал их, что же нам делать, к кому обращаться. Ответ был один: «Идите на восток, вас в определенном месте задержат и направят на сборный пункт».

Дороги были забиты. На восток шли многие тысячи людей: бывшие военнопленные, «восточные рабочие», угнанные во время войны в Германию. Ехали на подводах, к которым были привязаны коровы; некоторые везли на подводах свиней, овец, коз, разные вещи — вплоть до посуды, громоздкой мебели, музыкальных инструментов. Можно ли осуждать людей, обездоленных и ограбленных Германией? В большинстве шли пешком, везли ручные тележки, ехали на велосипедах — мужчины всех возрастов, женщины, даже дети, советские люди разных национальностей; много было поляков. Было и встречное движение — шли французы, датчане, голландцы, сербы, итальянцы, тоже мужчины и женщины с тележками, на велосипедах. Мы тепло приветствовали друг друга, часто обнимались, смеялись. Иногда устраивали общие танцы — праздновали великую Победу.

<...>

По ночам мы выбирали такое место стоянки, чтобы к нам нельзя было незаметно подобраться. Караул выставляли обязательно, часовых меняли каждые 2 часа. Уже 10-го нас настигла весть, что в ночь с 9-го на 10-е в деревню Никсдорф ворвались эсэсовцы и перебили оставшихся там советских военнопленных — человек сто. Опасения наши были не напрасны. Мои товарищи убедились, что мой совет идти сразу же был верен, это спасло нам жизнь. Наш марш продолжался девять дней. Наконец, мы подошли к заграждению и были направлены на сборный пункт — огромный военный лагерь, где скопились тысячи людей. Наших женщин и одноногих инвалидов отделили от нас и разрешили продолжать путь на повозках. Мы тепло попрощались, чтобы никогда больше не встретиться.

Те девять майских дней 1945 г., наш поход я вспоминаю с особенным чувством. Это были дни радости Победы, Свободы и тревожной неизвестности. Не все встречавшиеся по пути советские воины приветствовали нас. Некоторые смотрели на нас с подозрением, обзывали оскорбительно фаустниками. Но мы знали, что так может быть. Ведь многие из нас, и я тоже, в свое время активно внедряли этот

дух всеобщей подозрительности к несчастным людям, оказавшимся во власти немцев. Что нас ждало впереди?

Тогда мне некогда было продумать и прочувствовать цену доверия, оказанного мне моими товарищами, избравшими меня, совсем молодого парня, своим командиром. Но потом, вспоминая это время и месяцы лидерства в Зебницком лагере, я всегда ощущал чувство благодарности товарищам по плену и гордости за их доверие. Горжусь этим далеким уже доверием до сих пор. Мое лидерство в Зебницком лагере и 9-дневное начальствование над двумя сотнями людей, большинство которых было старше и опытнее меня, — маленький, но светлый отрезок моей нелегкой жизни.

После войны (первые месяцы)

Итак, в середине дня 18 мая 1945 г. наша зебницкая колонна достигла сборного пункта 1-го Украинского фронта где-то у городка Ротенбург, насколько я могу судить по записи в сохранившейся у меня Красноармейской книжке. Не помню уже, как велик и как был устроен сборный пункт, как мы ночевали и питались. Помню лишь, как мы проходили регистрацию. Заходили по одному в комнату, где офицер записывал все данные. Я первоначально зарегистрировался как Леонид Петрович Брусов (воспользовался той фамилией, которой наградил меня комендант лагеря в Зебнице, русифицировав ее), сообщил все сведения о том, где и на каких должностях служил в Красной Армии, как попал в плен, в каких лагерях побывал, где и как был освобожден. Затем с каждым из нас в отдельности беседовал сотрудник Смерша, как тогда назывался особый отдел (т. е. «Смерть шпионам»).

Однажды поздней ночью я сам пошел в регистрационный пункт, где работали круглосуточно, попросился на вторичный прием в отдел Смерша. Меня принял капитан. Я рассказал ему, какая фамилия моя и какая национальность на самом деле и более детально о пребывании в плену, сказал, что в Зебницкой рабочей команде я был переводчиком (хоть и нештатным). Капитан мне ответил, что он это знает, что мне дали подробную, очень хорошую характеристику мои сотоварищи по Зебницкому лагерю. Я попросил разрешения оставить себе фамилию Брусов. Капитан очень вежливо, даже дружественно дал совет не делать этого, а принять свою настоящую фамилию, имя и отчество. Интересна и неожиданна была его аргументация, поэтому, видимо, я и запомнил ее. Он говорил мне: «Я понимаю ваши мотивы, вы исходите из уже прошедших этапов вашей судьбы. Но задумайтесь о будущем. Через год-два наши союзники превратятся в противников (!?), тогда возникнет вопрос — какова причина замены вами фамилии. Уж не

шпион ли вы англо-франко-американский? Вы попадете в затруднительное положение». Капитан Смерша был, вероятно, умудренный жизнью, опытный сотрудник контрразведки, хорошо знавший ее обычаи, и просто хороший человек. И разговаривал он со мной как советчик, а не в приказном тоне. Мне в очередной раз повезло. Сразу же я перерегистрировался на подлинную фамилию с подлинными сведениями о месте рождения, о родителях, национальности и т. д.

Но далее я совершил глупость, которую теперь считаю непростительной. «Как же мне смотреть в глаза моим товарищам, — сказал я капитану, — я так долго обманывал их придуманной фамилией и биографией. Мне будет очень неудобно. Нельзя ли дальнейшую службу мне проходить не вместе с ними, в другой части?» (Нам уже сообщили, что нас вновь призывают в Красную Армию). Капитан ответил, что это проще простого, и мне дали новое назначение — в отдельную 24-ю гвардейскую Нежинскую механизированную ордена Красной Звезды бригаду.

Позднее я понял, что ребята простили бы мне невольный и необходимый в плену обман. Служить же вместе со своими товарищами мне было бы значительно легче, и приобретенный у них авторитет сыграл бы положительную роль в моей дальнейшей судьбе. В ситуации, которая тогда сложилась, я ни с кем не обменялся адресами, ведь надо было дать подлинные сведения о себе, а я по глупости этого стыдился. Так еще раз порвались нити связей с прежними товарищами — по Зебницкому лагерю.

С грустью разглядываю самодельный портсигар из алюминиевого листа — изделие и подарок Коли Манацкова в Зебницком лагере. На лицевой стороне выполнен гравированный рисунок — сердце, пронзенное стрелой, не только символ любви между мужчиной и женщиной, но в ту пору и символ мужской дружбы, что подтверждается соседним рисунком, изображающим рукопожатие. На оборотной стороне выгравирована красноармейская звездочка и дата: 24.9.1944. Берегу этот портсигар как последнюю память о друзьях в плену, которым я обязан своей жизнью. Они прикрывали меня и тем спасли. Какова их судьба?

Сборный пункт был разгорожен жердями на отделения. В следующие дни я видел, как в соседнем отделении военного лагеря занимаются строевой подготовкой мои зебницкие товарищи. Командовал ими молодой лейтенант из нашей же рабочей команды. Не знаю, восстановили ли ему звание лейтенанта; он был, как и все, в новом советском обмундировании, солдатском и с солдатскими погонами. Правда, на ногах у него были не ботинки с обмотками, а сапоги, но кирзовые. Мои товарищи поприветствовали меня взмахами рук и возгласами и промаршировали дальше. Сердце сжалось, но все-

таки я не решился переиграть направление в часть, да и было, пожалуй, поздно.

Через несколько дней (3 июня) я, уже одетый в новое обмундирование с погонами рядового, обутый в ботинки с обмотками, прибыл в Нежинскую бригаду и был определен радистом во взвод связи 1-го мотострелкового батальона. О восстановлении моего прежнего воинского звания не могло быть и речи. Во-первых, у меня не сохранилось никаких документов. Впоследствии в Нежинском полку в красноармейской книжке в разделе «Прохождение службы» строку «участие в боях на Сталинградском фронте» отметили как записанную «со слов». Во-вторых, звание «замполит роты» уже не существовало. Носителям этого отмененного в конце 1942 г. звания присваивали звания старшин или сержантов. Но я к тому времени был в плену. Так в 1945 г. я снова стал рядовым.

Не успел я познакомиться с новыми товарищами, как нашу бригаду, преобразованную в полк, усадили на грузовики и вместе с другими соединениями и частями 1-го Украинского фронта направили в Чехословакию. Помню, как проезжали через Дрезден. Он был полностью разрушен англо-американской бомбардировкой. Городская дорога была проделана поверх развалин, их отутюжили тяжелой бронетехникой и катками. Дорога проходила на уровне второго этажа. Как только въехали в Чехословакию, увидели на обочинах на стояках огромные объявления на русском языке: «Здесь союзная Чехословацкая республика. За грабеж — смерть!»

Игорь (Израиль) Исаакович Гуревич-Гуров. «А я что, тоже еврей?..»

Воспоминания одного из пяти военнопленных, выживших в Гросс-Розене^[9]

Израиль Исаакович Гуревич родился 7 декабря 1921 г. в Пензе. После окончания школы в 1939 г. поступил в ГИТИС, но был призван в ряды РККА. Участвовал в «освободительном походе» Красной Армии в Бессарабию в 1940 г. Начало войны с гитлеровской Германией встретил на Украине в должности «секретчика» — начальника секретного сектора штаба 717-го гаубичного артполка. 7 июля 1941 г., будучи раненым, попал в немецкий плен, побывал в нескольких лагерях, пока 16 октября 1941 г. не попал в концлагерь Гросс-Розен. Концлагерником при этом не был и полосатой одежды не носил, что может означать только одно: он и его товарищи по эшелону входили в число тех 20–25 тысяч советских военнопленных, которые были переданы вермахтом СС для трудового использования в концлагерях.

Из плена освобожден в мае 1945 г. 16 октября 1945 г. был арестован Смершем и осужден на 15 лет каторжных работ на шахтах Воркутлага. Личную свободу получил ровно через одиннадцать лет. Официально реабилитирован в 1963 г. Значительную роль в его последующей реабилитации сыграл советский писатель и журналист Сергей Сергеевич Смирнов. В настоящее время Игорь Исаакович Гуревич живет в Пензе.

Настоящая публикация представляет собой фрагмент обширной рукописи, озаглавленной «Жизнь прожить — не поле перейти» (оригинал — в архиве автора).

<...>

Нам было известно, что вдоль наших границ после освобождения западных Украины и Белоруссии стоят немецкие войска, оккупировавшие Польшу. Было известно количество полков, соединений, вплоть до фамилии командиров. Эти сведения хранились в секретном секторе штаба полка, т. е. у меня. И вот 22 июня в районе Старо-Константинова мы слышали по радио о начале войны. Мы прошли еще два дня, и на третий день, 25 июня, в местечке Кременец Тернопольской области, мы вступили в первый бой. Продержались 6 дней, от полка осталась третья часть, и в ночь на 1 июля нас подменил полк приписников, а наш полк, вернее, его остатки направили на переформирование на восток. Мы прошли 6 суток пешим маршем и утром 7 июля, в районе города Старо-Константинов, оказались в окружении немецких войск. Была команда уничтожить архив штаба полка, сжечь его и выходить из окружения поодиночке. Мы с Васильевым приказ выполнили, все сожгли и пошли в лес на восток. Впереди, поперек нас проходила дорога как в овраге, по бокам были поля с травой и хлебом (рожью или пшеницей). Начался артиллерийский обстрел. Мы с Васильевым^[10] решили выйти из окопа и подождать, когда огневой вал пройдет окоп, и тогда вернуться в окоп и подождать ночи, чтобы попробовать перейти фронт и окружение. И вот тут наши пути с ним разошлись. Я успел перескочить через огневой вал, а где Саша, не мог понять. Когда потом, через много лет мы встретились с ним, он сказал, что запутался в лесу и не вернулся, а выйдя из окружения, попал в другой полк, провоевал в нем еще два месяца, был контужен, попал в плен.

Я вернулся в окоп, но огневой вал закончился, и мы перешли в поле и залегли в траву, стали ждать ночи. И в это время немцы стали подниматься в нашу сторону по двум тропинкам слева и справа от нас. Не знаю почему, возможно, кто-то пошевелился в траве, немцы слышали это и начали стрелять автоматами по траве. И вот тогда меня ранили в обе ноги выше колен. Понимая, что сейчас заберут в плен, я быстро закопал свой комсомольский билет и перевязал ноги бинтами, которые мы носили в карманах.

И еще что решил я, это «перекреститься», т. е. взять русское имя, отчество и фамилию. Так как на руке у меня были наколки первых моих инициалов, то я и назвал себя Игорем Ивановичем Гуровым и с этим именем прожил все годы войны. Имя Игорь осталось у меня навечно, даже родители, когда я вернулся домой, продолжали звать меня Игорем, раз это имя спасло тебе жизнь, говорила мне мама.

Ко мне подошел немец, велел встать и идти к дороге, где стояли автомобили. Нас, раненых, которых оказалось человек 40, посадили в автомобили и повезли в Ямполь. Лагерь располагался во дворе какого-то дворянского здания. И здесь я увидел врача нашего полка. В те годы студентам медицинского института, при окончании его, воинских званий не присваивали, и этот парень служил в нашем полку врачом в звании солдата. Мы ранее с ним общались в Бердичеве. Он сразу узнал меня, помог бинтами и другими медикаментами и не выдал меня как еврея. Звал меня Игорем. Он тоже попал в плен в те же дни, и немцы, узнав, что он врач, поставили его врачом этого лагеря. Мы пробыли в Ямполье до конца августа. Видели, как немцы привели евреев на расстрел, слышали выстрелы. В нашем лагере было спокойно, ни полицаев, ни надзирателей не было. Тех, кто находился во дворе, часто уводили, куда — мы не знали.

В конце августа нас, раненых, стали перевозить на запад. Я попал в этап, который привезли во Львов. Бараков здесь еще не было, мы продолжали жить под открытым небом. Стало холодать, пошли дожди. Я попал в плен без шинели, в одной гимнастерке. И меня выручали ребята. Спали мы на земле втроем, одну шинель клали под себя, а второй накрывались. А когда днем стало холодать, этот парень надевал свою шинель, а я вставал рядом с ним спиной и он застегивал шинель на мне. Вот так мы ходили с ним. В сентябре нас перевезли в Перемышль дней на 15, а затем в Ярослав. Это напротив Перемышля, на другом берегу реки.

1 октября нас перевезли уже в лагерь военнопленных, имеющий номер и звание, где нас зарегистрировали и выдали металлические номера. Лагерь назывался Шталаг 318. Мой номер был 4266. Это была металлическая пластинка из двух половинок, соединенных между собой. Когда военнопленный умирал, половинку номера отламывали и отдавали в архив, а оставшаяся половинка оставалась висеть на шее на цепочке у покойника. Лагерь находился в Силезии в местечке Ламсдорф. И здесь тоже бараков не было. Мы располагались на ночь в картофельных буртах. Кормили нас стоя, выстраивали по 100 человек и разливали баланду из 50-литровой бочки. И в этой обстановке иногда отдельные хулиганы поступали подло. Подбегали с большими котелками, наливали их, опрокидывали, и половина пленных из этой сотни оставались голодной. А немцы смеялись, им было безразлично. И тогда группа ребят, обделенных едой, поймала этих подонков и

отпорола, предупредив их о том, что, если они повторяют свои действия, они их убьют.

Мы прожили в Ламсдорфе 15 дней. 16 октября собрали 2500 военнопленных, погрузили в товарные вагоны, привезли в концентрационный лагерь Гросс-Розен, находившийся тоже в Силезии. Теперь это территория Польши. Лагерь находился недалеко от города Бреслау, теперь это город Вроцлав. Первые 5 дней мы проходили санобработку под открытым небом. Необходимо побрить все волосы на теле и на голове и пройти полтора километра в каменный карьер, где располагалась баня, затем, вернувшись в бараки, ждать 3-5 дней, когда принесут дезинфицированную одежду. Мне повезло. Один из наших ребят смог спрятать и пронести безопасную бритву, и мы не стали ждать очереди, пока дойдем до парикмахера, который брил нас всех, а побрились сами и прошли в первую очередь в баню. За эти пять дней, что длилась процедура, от холода и голода умерло человек 170. Это бритье, сделанное товарищем, помогло мне скрыть свое еврейство (обрезание), так как мне не пришлось проходить эту санобработку перед женщинами.

Наши бараки, как и в основной зоне, состояли из двух секций. В центре у главного входа был туалет и комната старшины барака, которого звали «блокэльтесте». Справа и слева были две секции, в которых первая комната была столовой, а вторая — спальней. В ней стояли двухэтажные кровати в несколько рядов. В каждой секции был старшина, которого звали «штубендист», он занимался уборкой помещений и раздачей еды. Эти должности занимали немцы-заключенные. Они носили полосатую форму и номера, нашитые на груди. В нашей зоне были в основном уголовники, носившие на номере зеленый треугольник, за исключением старшины нашего барака, который носил черный треугольник. Это были «азоциаль-элементе», по-нашему бомжи. В бараке, в котором меня поместили, старшиной был немец с таким же треугольником. Звали его Ганс Распотник. А старшиной нашей зоны был уголовник. Вот он и устроил грабеж нашей еды. В общей зоне буханку хлеба в 1 килограмм делили на четверых, а в нашей зоне в бараки давали такое же количество хлеба, который требовали делить на пятерых.

Я уже хорошо освоил немецкую разговорную речь и обращался с немецкими заключенными, старостами барачных секций и проходящими по утрам делать проверку немецкими солдатами. И когда я пришел из бани в барак, Ганс Распотник попросил меня быть переводчиком у него. Мы с ним разговорились, он спросил меня, кто я по профессии. Я сказал ему, что хотел стать артистом, поступил в институт, но учиться не дали. А я тоже артист, ответил он мне. Вот недавно, перед арестом, работал как конферансье в концертах американского джаз-оркестра Вайнтрауба Синкопаторса.

— А я этот оркестр слушал в Москве в 1936 г., — ответил я.

Поговорили еще немного, и он дает мне свою тарелку с недоеденным супом, предлагает доесть его. Я взял тарелку, подошел к умывальнику, вылил суп в ведро, тарелку помыл и поставил ему на стол.

— Ты что, не голодный, не хочешь кушать?

— Я голодный, но объедки с барского стола не ем.

И тогда он позвал штубендинста и велел налить мне тарелку супа и дать кусок хлеба. И вот так все четыре месяца, когда мы жили в отдельной зоне, он давал мне вторую порцию и этим спас меня. За эти месяцы из 2500 пленных живыми остались человек 70. Люди погибали и от адского труда в каменном карьере и от голода. Из трех бараков жилыми остались два, а третий называли ревиром, это по-русски санчасть. Туда поселяли и больных, и доходяг.

В один из вечеров мы увидели страшную картину. Немцы-охранники выводили голого человека и заставляли лечь на снег головой к нашему барaku. Затем выводили следующего, тоже голого и клали его на первого головой к ногам. И продолжали выводить и класть на снег других. Нас увидел в окне один немец, мы быстро легли на пол и накрылись одеялами. Он вбежал в барак, но нас, к счастью, не обнаружил. В это время, в связи с тем, что из того барака, который считался ревиром, часть ребят переселили в наш, нам пришлось потесниться и спать на полу в той комнате, которая была столовой. Утром мы узнали, что произошло ночью. Всех больных и доходяг травили стрихнином, умирающих выводили на улицу и клали вдоль нашего барака на снег. На утренней проверке эсэсовцы нас считали в комнате, а затем открывали окно и считали тех, кто лежал на снегу.

Наш барак находился рядом с оградой. И мы решили попробовать устроить побег. Из подвала нашего барака мы стали копать траншею под ограду. Это примерно метров десять надо было прокопать. Но нам не повезло. Мы опоздали. Когда наша траншея прошла под ограду, ее перенесли метров на 50 и на освободившейся территории начали строить еще три барака.

Прошло четыре месяца, в общем лагере был объявлен сыпнотифозный карантин. Это случилось в начале февраля 1942 г. В нашем среднем бараке соорудили баню, поставили большой бачок с водой и ванную. В общей зоне освободили барак, в котором находились евреи. Их всех куда-то увезли, а нас, человек 35, перевели в общую зону. Здесь жить стало немного лучше, чем в той зоне, где нас содержали. Дело в том, что почти все заключенные — поляки, чехи, французы и другие получали посылки от их Красного Креста и от родственников продуктовые посылки. Эти посылки эсэсовцы урезали и отдавали часть этих продуктов русским заключенным и пленным. Дело в том, что в первый месяц пребывания в концлагере мы заполнили анкеты, которые немцы направили в наш Красный Крест. Через месяц нам объявили, что наш Красный Крест ответил на их запрос, что у них

нет военнопленных, а есть только изменники Родины и поэтому они никакой помощи оказывать не будут.

Я работал маляром, рисовал, рисовал на тканях номерные знаки для заключенных. И работал строителем на строящихся бараках. Когда начальству надо было что-то сказать на проверках или при регистрации вновь прибывающих этапов, при заполнении регистрационных карточек, меня использовали, как переводчика. Был один случай. Прибыл этап. Их всех построили и начальник режима, по-немецки рапортфюрер, Гельмут Эшнер, очень свирепый эсэсовец, вызвал меня и просил спросить прибывших, кто из них знает немецкий язык. Это в основном были русские. Я спросил, и один мужчина сказал, что он знает. Тогда Эшнер велит мне спросить его, кто он по национальности. Я спрашиваю, и он отвечает, что еврей. Я говорю ему — зачем признаешься? Он отвечает, что уже признан евреем. Я тогда говорю Эшнеру, что он еврей.

— Ну конечно, кто же в России знает немецкий язык, кроме евреев? — говорит он.

И тогда я ему говорю:

— Герр рапортфюрер, а я что — тоже еврей?

— Молчи, старая свинья («альте зау»), это мы тебя здесь научили!..

Вот так я подтвердил свое нееврейское происхождение.

Народ в лагере был разношерстный. Вместе с военнопленными, попавшими в лагерь за побег из лагерей военнопленных, были и бендеровцы, и польские националисты, и бывшие полицейские, жандармы, старосты, власовцы, которых немцы посадили за то, что они слишком заботились о «своем животе», т. е. воровали. Естественно, что эти люди ничего общего с нами не имели и многие из них становились провокаторами. Их и приходилось опасаться. Привыкнув к легкой жизни, они и в лагере начали терроризировать слабых узников. Отнимали у них хлеб, табак, другие вещи. Не имея другой возможности их наказать за это, но и за прошлые делишки и я и другие военнопленные били их за эти «фокусы». Так и отучили их.

В 1943 г. меня поставили старшим барака малолеток, но через несколько месяцев сняли за то, что я якобы спрятал одного больного парня во время проверки под кровать. На самом деле это случилось так. Мальчишка уснул под кроватью и не пошел на проверку. При подсчете эсэсовец недосчитал одного человека в моем бараке на проверке, где мы строились. Он пошел в барак и там нашел его. И тогда меня сняли с должности блокэльтесте и поставили штубендистом в другой барак, в котором были русские и французы, чехи и поляки. И вот тут мне удалось подружиться с заключенными немцами — шеф-поваром и заведующим материальным складом, нарядчиком, который распределял на рабочие места, и политическими заключенными. Это очень помогало мне оказывать помощь нашим заключенным, живущим не только в нашей секции. Шеф-повар в Первую мировую войну был в

русском плену. Когда я с ним познакомился, он стал давать в нашу секцию лишний 50-литровый бак с супом, которым мы кормили наших ребят. А заведующий материальным складом сказал мне:

— Когда ваших русских будут привозить в лагерь, спроси у них, есть ли у них русские рубли. Пусть отдадут их мне, а я за это буду их одевать и обувать.

Он был уголовным заключенным и цену деньгам знал хорошо. И когда я ему сказал: «Зачем тебе рубли, ведь они обесценены?», он ответил мне: «Дурак! Кончится война и за рубль будут давать 10 марок». Он оказался прав, после окончания войны так и было.

Нарядчиком был дезертир из армии. Когда я обращался к нему с просьбой устроить прибывшего русского заключенного на легкую работу, он всегда мою просьбу выполнял.

Среди политических заключенных был старый коммунист Фридрих Адольф, соратник Тельмана, сидевший в тюрьмах и концлагерях с 1936 г. В Гросс-Розен он приехал в 1940 г. при его организации как филиала концлагеря Заксенхаузен. Он работал официантом в эсэсовской столовой. У него была возможность слушать радио, и он мне всегда сообщал последние известия русского и английского радио, которые я сообщал и нашим друзьям, русским заключенным.

И был один мальчишка-эсэсовец, делавший утренние проверки численности в секциях, в том числе и в той, в которой я был штубендистом. Он был очень хороший парень: ни ругался, никого не бил, вел себя очень спокойно. Я с ним разговорился, он сказал мне, что в начале войны был солдатом и дошел до Бердичева. Мы вспомнили с ним знакомые места этого города и поделились воспоминаниями о войне. Он очень хорошо относился ко мне и другим русским. И вот однажды произошел случай, запомнившийся мне на всю жизнь. Я шел по зоне и около вахты услышал его голос, он позвал меня к себе. Он дежурил на вахте. Мы с ним разговорились, и в это время другой эсэсовец привел русского парня с котелком картошки, которую он стащил со склада, и этот эсэсовец его поймал и привел на вахту пороть за это. Он завел парня на вахту, а того эсэсовца отпустил. Я спросил: «Зачем завел парня на вахту? Пороть его будешь?» «А что мне делать? Ведь этот старик, поймавший его, будет жаловаться на меня!» Тогда я ему сказал: «Вы дайте ему палку, и пусть он бьет ей по топчану и кричит вроде от боли». Вахтер засмеялся и мою просьбу выполнил. И этот парень, Иван Бобришев^[1], 10 минут бил по топчану на вахте, окна которой были закрыты, орал во весь голос, и все проходившие мимо вахты эсэсовцы слышали это.

Режим в лагере был очень строгим. За любые нарушения заключенных порили на апельплаце перед всем лагерем, построенным на проверку численности. Слово апельплац означает проверку на площадке. Однажды в 1943 г. произошел страшный случай. Один парень попытался сбежать из каменного карьера, где работал.

Охранник-эсэсовец нашел его и привел в лагерь. И за это его приговорили к смертной казни. Во время вечерней проверки на аппельплаце его повесили на виселице, стоявшей на площади.

В лагере и была культурная деятельность заключенных. Был создан джаз-оркестр заключенных, в котором играли и двое русских заключенных на тромбоне и трубе. Я с ними общался. Меня попросили сплясать чечетку. У них это назывался стэптанец. Мы организовали небольшой хор и пели песни «Катюша», «Москва моя», «Песнь о Волге» и другие русские и украинские песни. Об этом, кстати, написал поляк Мечислав Молдова в своей книжке «Гросс-Розен» в 1967 г.

В январе 1945 г. через наш лагерь провозили эвакуированных из лагерей, находящихся в Польше, заключенных и вольных граждан, вывезенных на принудительные работы. В одном из последних транспортов привезли группу женщин, работавших в Польше как узницы. И мой товарищ Боря Уманов узнал среди них своих землячек из Днепропетровска. И они попросили его помочь им в приобретении теплой одежды. Он попросил меня, и я сходил к заведующему складом, моему знакомому, и попросил его об этом. Он дал мне для них телогрейки и брюки, и мы передали их землякам Бориса.

В феврале 1945 г. наш лагерь начали вывозить на Запад, т. к. советские войска уже вошли в Польшу. Мы с ребятами хотели спрятаться и остаться в зоне лагеря до прихода Красной Армии, но нам не удалось это сделать. Нас погрузили в открытые вагоны и привезли в Судетскую область Чехословакии, в город Литомержице. Тогда он назывался Ляйттмериц. Это была рабочая команда концлагеря Фленсенбург. Начальником этого концлагеря был обер-лейтенант. Как потом узнали, он в 1915 году был в русском плену. Когда нас привезли в зону, он увидел нас, а мы все время ходили в солдатской форме Красной Армии, только на спине курток у нас была надпись крупными буквами СУ немецким шрифтом — «Советунион», «Советский Союз». Он отвел нас в сторону от всего нашего транспорта и сказал: «В подземный завод я вас не пущу, вы будете возить картошку из буртов на кухню на тележках в зоне».

Нас прибыло всего 5 человек военнопленных, которые никогда не носили одежду концлагеря, полосатую. Остальные 30 военнопленных, умерли в Гросс-Розене. Из 2500 военнопленных, прибывших в Гросс-Розен 16 октября 1941 г., в живых осталось только эти пятеро.

По указанию начальника, мы вместо лошадей возили картошку на кухню до конца пребывания в этом лагере. 3 мая он построил весь лагерь и объявил: «Берлин пал, Гитлер капут, кто живет на незанятой территории, может идти домой. Остальные не волнуйтесь, всех скоро освободим». Это произвело такой эффект, что один поляк умер от разрыва сердца. Об этом написал польский писатель Антон Гладыш в книге «Лагерь смерти», которую подарил мне в 1963 г., прислал по почте. И вот 8 мая, утром, нам выдали сухой паек и по 100 человек под

конвоем выводили из лагеря. Мы шли по городу, переходили мост через Эльбу, подходили к перекрестку дорог к двум городам. Когда мы шли, рядом с нами шел конвоир-старикашка. Я спросил его, куда нас ведут. И он ответил, что идет в первый раз и не знает куда. Мы знали, что на перекрестке налево будет идти дорога в другой концлагерь с крематорием. И тогда я попросил его — если нас поведут влево, то мы побежим в лес, а он пусть стреляет вверх, чтобы командир его слышал, а не в нас. Ведь война скоро кончится и СССР победит. Он пообещал выполнить нашу просьбу. И вот мы подходим к перекрестку и видим, что там стоят представители Чешского Красного Креста. Они скомандовали конвоирам — «кругом марш, назад в лагерь». Потом мы поняли, почему нас так сопровождали. Чтобы мы не устроили в городе грабежей.

Представители Красного Креста спросили, есть ли среди нас чехи. Мы ответили, что все мы русские. Тогда они предложили нам идти направо в поселок, где нас покормят и при нашем желании оставят отдохнуть. Идем мы и видим вдруг, как на пригорке стоят наши ребята из лагеря и играют на саксофоне и гитаре. Это были французы, они первыми были выведены из зоны. Мы подошли к ним, и они проиграли нам «Катюшу». Сказали, что в соседнем селе нас ждут. Мы прошли километра три в это местечко. Нас пригласили в столовую, угостили вином и обедом, дали сигареты и предложили остаться ночевать. Мы отказались и пошли дальше. Везде громкоговорители радио говорили о том, что концлагерь освобожден, и просили население принимать этих людей и покормить их. Мы прошли три села, и везде нас поили-кормили и предлагали остаться ночевать. И в третьем селе мы остались ночевать. Нас разместили в хозяйственных помещениях, мы спокойно спали. Почувствовали себя свободными людьми. Часа в 4 я проснулся и услышал шум моторов. Вышел во двор, а затем на улицу и увидел: примерно в ста метрах от нас на трассе, перпендикулярной нашему переулку, шли наши войска. Я разбудил ребят, и мы побежали к ним. Обратились к одному командиру, ехавшему на автомобиле, генералу, с просьбой взять нас с собой. Он ответил нам — ребята, война окончилась, гуляйте! Потом мы узнали, что наши войска шли на Прагу. И мы пошли обратно в то первое село, в котором были вчера. Там были два барака, в которых жили ребята и девчата, высланные с Украины на принудительные работы. Немцы называли их «остарбайтеры», т. е. восточные рабочие. Мы прожили у них 5 дней. Мимо нас проходили наши войска. Однажды к нам зашел капитан и побеседовал со мной. Я рассказал ему о моей судьбе, и он предложил мне пройти служить к нему в Смерш. Это служба КГБ в армии. Я ему ответил, что не могу бросить ребят, с кем был в концлагере. И тогда он мне на прощание сказал: «Дурак ты! Вы все друг другу горло перегрызете». Увы, он оказался прав, так потом и случилось. Через пять дней мы пошли на вокзал и приехали в воинскую часть, где нас зарегистрировали,

опросили и составили справку в Смерше, выдали военный билет и направили в запасной полк. Там я прослужил месяц.

В полку мы начали заниматься самодеятельностью. Организовали хор, танцевальную группу, я выступал как конферансье, пел в хоре и плясал. На проверку нашей самодеятельности к нам приехал начальник Дома Красной Армии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, куда входил наш полк, просмотрел наш концерт и забрал в Ансамбль песни и пляски меня и Бориса Уманова, тоже узника концлагеря Гросс-Розен, куда он попал после побега из концентрационного лагеря. Ансамбль Дома Красной Армии 5-й гвардейской армии располагался в Чехословакии, недалеко от Праги. Армией командовал генерал армии Жадов, впоследствии командующий сухопутными войсками.

Занятия в ансамбле проводились ежедневно по 5–8 часов. Готовили программу к трехлетнему юбилею Армии. Я танцевал в ансамбле общие танцы вместе с танцевальным коллективом, и была у нас четверых сольная пляска, которую в программе концерта называли «Русская пляска». Исполнителями были я и Феофанов — солист балета Харьковской оперы и две сестры Новокаовские, которые тоже были балеринами Харьковских театров оперы — балета и оперетты. Эти театры были вывезены в Германию на принудительные работы, и после войны многие артисты этих театров вошли в ансамбль.

Первые концерты мы давали в клубе для всех. А в июле нас привели в пругу в концертный зал Люцерна, где мы выступали перед командующим нашей Армии Жадовым и президентом Чехословакии Гомулкой^[12]. Зал был полон. Этот зал был полон. Этот концертный зал располагается в центре Праги, в цокольном этаже здания. В зале два яруса — потолок зала на уровне первого этажа. Концерт прошел очень хорошо, выступали хор, танцевальная группа, джаз-оркестр и солисты. Публика встречала нас громом аплодисментов. В зале, кроме военнослужащих, больше половины зала занимали жители Праги.

Через месяц нас привезли в город Баден под Веной. Там в театре оперы и балета дали концерт, на котором присутствовали президент Австрии и командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев. Зал театра трехъярусный, похож на зал нашего Большого театра в Москве и оперного театра в Вене, только со стеклянной крышей над залом. На этом концерте во время пляски я в присядке поскользнулся и сел на свой зад, но не растерялся, а сделал вид, что так нужно по сценарию, и зрительный зал захлопал. Вот так прошли эти концерты.

И вот наступил сентябрь. 4 и 5 сентября состоялись вечера, посвященные трехлетию нашей армии. В концерте выступил весь ансамбль по той же программе, что в Люцерне и в Бадене. <...>

Мы продолжали выступать в воинских частях. И вот наступил день 16 сентября 1945 г. Меня пригласил к себе в кабинет директор Дома

Красной Армии. Я пришел и увидел у него капитана Снигиря, с которым мы общались почти два месяца. Он работал в Смерше штаба армии. Пригласил меня к себе на беседу. Мы вышли из Дома, прошли по военному городку и вошли в здание штаба армии. Он открывает дверь какого-то кабинета, и я вижу сидящего за столом Бориса Урманова напротив какого-то военного. Снигирь завел меня в другой кабинет и закрыл дверь. Давай поговорим, сказал он, и дал мне прочитать донос, написанный на меня их сотрудником. И я вспомнил, как мы с ним встретились на празднике трехлетия армии. Он стоял в охране командующего за кулисами сцены, подошел ко мне, поздоровался и спросил, узнаю ли я его. Я ответил, что не знаю, кто он, я спросил, где мы встречались. В Гросс-Розене, ответил он, назвав мое имя и фамилию — Игорь Гуров. Он, оказывается, тоже был заключенным концлагеря и после освобождения пошел служить в Смерш. В своем доносе, который я прочитал, он обвинял меня в предательстве, прислуживании фашистам, избиении наших заключенных и других нарушениях.

Прочитав донос, я сказал Снигирю, что все это вранье. Он попросил меня рассказать ему о моей жизни в концлагере. Мы просидели в его кабинете часа два, я подробно рассказал ему обо всем, что со мной было в лагере. После этого он сказал: «Ну, а теперь пойдем пройдемся, в КПЗ (камера предварительного заключения), отдохнешь немного, и тогда поговорим».

Так я попал в тюрьму. В камере со мной находился мужчина постарше меня. Узнав, что я артист ансамбля песни и пляски, он рассказал мне о своей профессии. Он, житель Латвии, был танцором, походил на нашего Махмуда Эсембаева, выступал с концертами по всему СССР с 1939 г., после того как Латвия вошла в состав СССР. Перед войной его родители и он вместе с ними переехали в Германию, так как были по национальности немцами. Он стал работать в каком-то немецком театре, который гастролировал в Харькове. Когда наши войска освободили Украину, его посчитали шпионом и посадили в тюрьму. Он мне все это рассказал, и я не мог понять, чем это он не понравился нашему правительству. Я ведь мог бы быть разведчиком и для СССР, говорил он, давая сведения и о немцах и о американцах. Потом я узнал, что его освободили в декабре 1945 г.

Я просидел в КПЗ до 10 декабря 1945 г. Наши войска в ноябре были выведены из Чехословакии в Австрию. Нас перевели в город Сан-Пелтен. И там состоялся суд надо мною. Военный трибунал судил меня 10 декабря. В суде я встретился с двумя свидетелями — с Борисом Умановым и Георгием Горевым, сидевшими со мной в концлагере. Как потом я узнал, их вызвали в Смерш и предупредили: или вы подпишете составленные Смершем свидетельские показания против Гуревича, или, если откажетесь, сядете вместо него в тюрьму. Что им было делать? Они пошли на этот шаг — подписали. Перед заседанием

трибунала они сказали мне, что откажутся от письменных показаний и дадут показания в мою защиту.

И вот начался суд. Судья зачитал обвинения, добавил свой взгляд на поведение Гуревича в лагере. Израиль Исаакович попросил допросить свидетелей. Представитель трибунала называет Уманова и спрашивает, — подтверждаешь показания? Что оставалось делать Борису? Он понял, что менять свои показания бесполезно, и подтвердил их. То же самое произошло и со вторым свидетелем — Горевым. Тогда мне дают последнее слово.

Я встаю и начинаю говорить, что все обвинения не соответствуют действительности, что свидетелей заставили подписать показания против меня насильно, что мое поведение в лагере было правильным, что я делал все необходимое для оказания помощи заключенным. Вижу, что трибунал сидит, курит, разговаривает между собой и не слушает меня. И я замолчал и сел на стул. И так просидел минут 10. После этого председатель погасил сигарету, встал и спросил меня: «Все?»

Я, понимая, что говорить с ним бесполезно, сидя ответил ему: «А чего перед вами бисер метать, вы все равно меня не слушали». Он произнес: «Суд удаляется на совещание». Но они остались сидеть за столом, а меня и всех остальных охранники вывели в коридор.

Мальчишка-охранник сказал мне: «Ну, тебе дадут лет пять!» «А ты откуда знаешь сколько?» — «Да я не первый день на суде работаю охранником, знаю, кому, за что, сколько дают».

И вот мы входим в зал и мне зачитывают приговор: «На основании статьи 5-16 УК РСФСР с санкцией статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 г. подвергнуть каторжным работам на срок 15 лет с последующим поражением в правах по пп. „а-в“ ст. 31 УК РФ РСФСР на пять лет без конфискации имущества за отсутствием такого за осужденного. Срок отбытия назначения исчислять с 20 октября 1945 г. Приговор обжалованию не подлежит».

Захожу к секретарю суда расписываться за приговор. Она часто приходила к нам в ансамбль, мы были с ней знакомы. Она дает мне приговор на подпись и говорит: «Игорь, что ты наделал? Зачем выступил со своим бисером? Посмотри, твой приговор до суда был отпечатан на машинке, и тут стоит — 10 простых лет. Их зачеркнули и сверху чернилами поставили 15 каторжных!»

Вот так закончилось мое судебное дело. Я просидел в тюрьмах Вены, Будапешта, Львова до февраля 1946 г.

В лагерь шахты № 5 Воркутлага прибыл 21 марта 1946 г. Но это уже другая история...

Анатолий Наумович Жуков. Скажи «кукуруза»

Анатолий Жуков родился в Днепропетровске в 1922 г., с 1933 г. — в Москве. В 1941 г. учился на 2-м курсе ИФЛИ. 9 августа 1941 г. призван в армию, в Сокольниках. 23 февраля 1942 г. закончил Рязанское пехотное училище им. К. Ворошилова. Потом Тула, потом Гороховецкие лагеря — формирование. Весной 1942 г. его направили в Севастополь, влив в состав 9-й бригады морской пехоты. В конце мая и в июне оборонял Балаклаву и Сапун-Гору, где в плен попало около 60 тысяч человек.

Самого его взяли 1 июля 1942 г. Пешком отправили в Бахчисарай. Первым делом там: скажи «кукуруза», потом — показывай член, если скажешь, что татарин, — тут же тебя татары и разоблачат (дело-то происходит в Крыму!). Его спасли — отсутствие документов, русская фамилия, не еврейская внешность, но свое отчество — Наумович — он все-таки поменял на Николаевич.

Из Бахчисарая — в Симферополь, а оттуда — в Днепропетровск. Главный лагерь там был в тюрьме, но его отправили в команду на металлургический завод в Нижнеднепровске — там он и работали: меняли скаты на железнодорожных вагонах на европейскую колею.

Приготовился к побегу, но его выдали и поймали до побега. Избили — и вернули в Днепропетровскую тюрьму. Там ему помогли полицаи — Федорченко и Бугаев.

Увезли по 40 чел. в товарном вагоне в Житомир. Не было воды. Несколько человек умерло. А из Житомира отправили опять в Крым, в район станции Багерово, что близ Керчи.

В сентябре 1943 г. в районе станции Алешки (кучугуры) бежал по направлению к фронту. В селе Британы его поймали, отвезли в арестный дом гестапо в Каховке. Пешком — до Николаева. Оттуда в эшелоны — с остановкой в Перемышле — в Германию, в шталаг Хемер, оттуда распределяли по шахтам (он был на шахте Конкордия). В лагерьной больнице он поправился — от анемии. Затем лагерь в Оберхаузене, где он попал в медчасть, которой ведал старший санитар Шредер. Освободился Жуков в Бауцене.

Скончался А. Жуков 25 сентября 2005 г. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Текст печатается по рукописи, разобранной и переписанной его вдовой — Ниной Терентьевной Жуковой.

Павел Полян.

Невозможно забыть о том страшном времени, когда после падения Севастополя летом 1942 г. я оказался в немецком плену. Воспоминания приводят меня в ужас. Как это можно было пережить и выжить? Кроме того, я еврей и, если это будет известно немцам, — я обречен на

смерть. На войне, конечно, в любой момент ты можешь быть убит, ранен, попасть в плен.

В своих воспоминаниях о плене я хочу остановиться на трех эпизодах, когда я был на волоске от смерти. Во-первых, это сдача в плен. Во-вторых, пребывание в арестном доме гестапо в городе Днепропетровске. И в-третьих, это каторжная работа на угольных шахтах Рурской области.

Сдача в плен.

Июль 1942 г. Пал Севастополь. Без еды, без воды и почти без оружия с боями уходим к Балаклаве. На высотах Балаклавских гор видим вражеские танки, которые время от времени обстреливают нас.

Я, Жуков Анатолий Наумович, 20 лет от роду, помощник командира роты в составе 9-й бригады морской пехоты, сижу на берегу Черного моря и пытаюсь сосчитать, сколько же осталось из моей роты бойцов. Их осталось немного. Они, в основном, уже полегли на Сапун-горе, — а что будет с нами?

На море вражеские сторожевые катера. Исчезает крохотная надежда на помощь с моря и на эвакуацию. Перед нами выбор: уходить морем или пробиваться в горы к партизанам. По ночам смельчаки пытаются вплавь добраться до наших катеров, но утром их находят вражеские катера и рубят винтами. Остатки моей роты пытались пройти в горы к партизанам. Но пройти через фашистские заслоны оказалось невозможно. Кольцо сжималось, и я понял, что впереди нас ждет плен.

Немцы уже засыпают нас листовками, с которыми в руках мы и должны сдаваться. В этом случае они обещают сохранить нам жизнь. Мы уже слышали, что нас ждет в плену, особенно командиров, политруков, евреев и цыган. И все-таки, как ни унижителен плен, он оставляет хоть какую-то надежду на жизнь. Негласно распространяется совет командиров уничтожать или закапывать документы: военные, партийные и комсомольские билеты. Бережно завертывают в тряпочки ордена и медали, прячут в укромных местах в надежде найти их потом, после Победы, в которую крепко верят. Идет и обработка одежды — спарываются все знаки отличия.

Но как скрыть национальность? Я — еврей. Но об этом практически никто не знает. У меня русская фамилия, которую получил мой отец в Гражданскую войну, когда, будучи разведчиком, засылался в тыл белогвардейцев. Его настоящая фамилия была Айзенштадт. Но отец и после Гражданской войны остался Жуковым, а впоследствии эта фамилия перешла и к его детям. Кроме того, мои революционные родители не сделали мне обрезание. Единственным намеком на мое еврейское происхождение было мое отчество — Наумович.

На случай плена я сочинил себе легенду. Я, прежде всего, русский — Жуков Анатолий Николаевич, документы потерял, до войны — студент. Подобные легенды сочинили и два красноармейца-еврея из моей роты. Им нужно было поменять все свои биографические данные. Один решил стать донским казаком, другой — башкиром.

Итак, решено: плен. А там видно будет. И вот я перед двумя немецкими офицерами. Они пристально осматривают меня с ног до головы, требуют документы. Я отвечаю им через переводчика. Отвечаю строго по продуманной мною легенде, чувствую, что еврея они во мне не подозревают. Отлично. А дальше опять стало жарко. Мне предлагают сотрудничество с ними по выявлению командиров, политруков, евреев. О, если бы они только знали, кто стоит перед ними. Меня лихорадит. В висках стучит. Только бы не упасть — тогда пристрелят. Из последних сил я говорю им, что никого здесь не знаю, что все мои сослуживцы погибли в Севастополе, в том числе и командир и политрук. Фамилии их не помню.

Кто-то прикладом винтовки толкает меня влево — в толпу военнопленных, а не вправо, где проходит дополнительное дознание: требуется спустить брюки, сказать «кукуруза». И это не анекдот. Все это было. Выявлявшихся евреев тут же расстреливали. Два еврея из моей роты, которые пытались выдать себя за донского казака и за башкира, были разоблачены и расстреляны. А нас погнали в сторону Бахчисарая. По пути картофельное поле, на которое нас выгнали, как скот, добыть себе пропитание. За отведенные нам 20 минут я наковырял горсть мелких картофелин. Так началась моя жизнь в немецком плену.

До конца 1942 г. наш лагерь много раз перегоняли с места на место, но все на территории Крыма. У меня появились друзья — три Петра — русский, украинский и белорусский. Строили планы побега и ждали удобного случая, но пока он не предоставлялся.

Мы узнали от конвоиров, что наш лагерь переводится из Симферополя в Днепропетровск, а это мой родной город. Как-то он меня встретит? Работаем на заводе имени Карла Либкнехта. Когда-то там работал мой отец. Собираем и грузим на железнодорожные платформы металлолом и металлическую стружку для отправки в Германию. Обносились до предела. От советской военной формы осталось одно рванье. Немцы обули нас в деревянные сабо. Скудное питание: баланда и 100–150 граммов некачественного хлеба.

На заводе работают и вольнонаемные. Один из Петров познакомился с девушкой, которая работает в администрации завода и хочет нам помочь. Быстро созревает план побега. В группе я и три Петра. Сочувствующая девушка снабдила нас липовыми справками, что мы работаем на заводе как вольнонаемные, кое-какой одежкой и

едой. Одному из Петров она передала старые немецкие солдатские ботинки, которые впоследствии сыграли роковую роль в нашем побеге. Нам удалось довольно легко выйти за территорию завода. Но далеко мы не убежали. На третьем хуторе нас взяли гестаповцы. Именно на этом хуторе был убит немецкий солдат. Гестаповцы были уверены, что мы партизаны, что мы убили немецкого солдата, тем более что на одном из нас они обнаружили немецкие ботинки.

Били нас жестоко. Повывбивали зубы. Лица в страшных кровоподтеках. В таком виде нас доставили в арестный дом гестапо, который находился в здании бывшей тюрьмы екатерининских времен. Камеры с цементными полами без отопления. Никаких нар, никаких матрасов. Спали на голом полу, подстелив половину ветхой шинели на пол, а другой половиной накрывались. Под голову шла накрытая той же шинелью консервная банка, которая служила и миской для баланды.

Мои три Петра потихоньку приходили в себя. Я же очень сильно ослаб, началась дизентерия. Я страшно исхудал, и все чаще посещали меня мрачные мысли о смерти. Доживу ли я до своего дня рождения — 20 апреля, когда мне должно исполниться всего-то 21 год, и неужели я должен умереть в своем родном городе Днепропетровске? Но оказалось, что умереть здесь мне было не суждено. В камере появился новый заключенный. Это был рабочий лет 50 из местных. Немцы подозревали его в связи с партизанами. Знакомимся. Это Карпенко Федор Иванович. Я чувствую, как угнетающе подействовал на него мой вид. Он назвал меня сынком и спросил о самочувствии. И во мне возникла какая-то симпатия к нему, как к отцу, который спасет меня. В руках у Федора Ивановича узелок с едой и безрукавка из овчины, которую он тут же подкладывает под меня и начинает кормить какими-то лепешками из тыквы, а потом наливает мне в банку молоко. Это было чудо. Уже несколько дней я не мог проглотить ни ложки баланды, ни крошки так называемого хлеба, пайку которого я получал.

Довольно часто жена Федора Ивановича приносила в тюрьму передачи мужу. Обычно это были лепешки из тыквы, моркови, картошки и бутылка молока. И все это в основном съедал я, а Федор Карпенко ел мою баланду и мою пайку хлеба и радовался моему выздоровлению. Я уже твердо хожу. Но вот настал день, когда разбирательство с Федором Карпенко завершилось и его освободили из тюрьмы. Прощание было трогательным. Я клялся ему, что никогда его не забуду. Он же мне подарил безрукавку из овчины, с которой я не расставался до полного ее износа.

Скоро и я вышел из тюрьмы и с большой группой военнопленных был отправлен в Житомир. А потом снова был в Крым, где нас использовали на строительстве дорог.

И снова побег в сторону приближающегося фронта, и снова неудача и тюрьма, но теперь в г. Каховке с допросами и избиениями. Затем в пешем порядке под конвоем немецких солдат с собаками погнали на

Запад. Дней через десять нас пригнали в большой лагерь военнопленных в г. Николаеве, а оттуда — в Германию.

Пребывание в Германии.

Везли нас в старых теплушках, битком набитых военнопленными. На пути в Германию была только одна остановка — в г. Перемышль, где нам дали воду и баланду с хлебом. А потом вагон закрыли на замок и почти трое суток не открывали. Мучила жажда. Собрали рукавицы, набили их ветошью и на бечевке опускали на железнодорожные пути через дырку, которая предназначалась и для отправления наших физиологических нужд. Поднятые в вагон рукавицы отжимались, и пили грязную, вонючую воду. Смерть не заставила долго ждать. Трупы штабелировали у дверей вагона.

В Германии я находился в нескольких временных пересыльных лагерях, пока не попал в постоянно действующий так называемый шталаг Хеммер в г. Изерлон Рурской области.

Отсюда военнопленных посылали на работы в угольные шахты. Но из-за общего истощения меня некоторое время держали в камере.

Весной 1944 г. в составе большой группы военнопленных я был отправлен в Обергаузен на шахту АО «Конкордия». Здесь находилась рабочая команда военнопленных из Советской России № 113R. Лагерь же, в котором я находился и работал, назывался «Лалуд». Труд на шахте был воистину каторжный. Забои настолько низкие, что приходилось работать стоя на коленях. Пока не вырубешь норму, наверх не поднимают, иногда целые сутки. Питание скудное, но получше, чем в лагере.

Уже через две недели я попал в ревир — небольшую больничку при шахте. Коленки мои не выдержали — гангрена. Врач из военнопленных, грузин Иван Сералидзе, сразу сказал мне, что дела мои плохи, могу остаться без ног. Гангрену он лечил крепким раствором марганца. Он делал надрез на ногах и протягивал под кожей смоченные в марганцовке бинты. Этим методом он многим военнопленным спас ноги и жизнь. Марганец в ревире был основным лекарством, которым доктор лечил и желудочные заболевания, и ангину, и кожные заболевания. Его метод был испытан на мне, и снова появилась надежда выжить, и она еще более укрепилась, когда монашки-кармелитки в ходе своей милосердной акции приехали в ревир и отобрали десяток самых ослабленных. В их число попал и я. Ни до, ни после плена я не видел таких самоотверженных сестер милосердия, какими были монашки-кармелитки. Для них не имела никакого значения национальность солдата и из какой он страны. Они выхаживали умирающих в своей монастырской больнице — они выходили и меня, а выйдя, вернули на шахту. И тут я вытащил еще один счастливый билет. Лагерному врачу

нужен был санитар, и его выбор остановился на мне. Я прилично знал немецкий и латынь. Врач посоветовал выдавать себя за студента-медика, хотя я был студентом-историком и два года учил латынь на историческом факультете. Представление меня немецкой администрации прошло благополучно, и моим первым приказом было — освободить территорию лагеря от трупов, а их, пересыпанных хлоркой, было много, целые штабеля. Я собрал похоронную команду, и работа началась. Труп завертывался в газетную бумагу, затем бечевкой обвязывали вокруг шеи и вокруг ног и загружали на арбу с высокими бортами. А чтобы больше вошло — один труп клали вперед ногами, а другой вперед головой. Через неделю трупы были вывезены, и я начал работать в ревире. Иван Сералидзе научил меня многому — даже ставить диагнозы основных заболеваний шахтеров и лечить их его методами.

В конце зимы 1944/45 г. начались массированные бомбардировки английской и американской авиацией. В одну из таких бомбардировок погиб врач Иван Сералидзе. Меня назначили обер-санитаром, и я практически руководил ревиrom. Но это продолжалось недолго. В марте 1945 г. в результате бомбардировок лагерь был разрушен, и военнопленных перевели в подвалы главного здания шахты, готовились перегонять нас на Запад. Охрана лагеря ослабла, и начались побег. С группой друзей убежал и я. Скрывались в бомбоубежищах, в разрушенных домах, в конце концов оказались в расположении американских войск, которые как раз в эти дни форсировали Рейн. Советских военнопленных американцы содержали отдельно от гражданских перемещенных лиц. Через некоторое время появилась и наша армия. Американцы не удерживали нас, а мы жаждали вернуться домой. Многие из нашего лагеря вступали в советскую оккупационную армию. Вступили в нее и два моих друга, два Петра (русский и белорусский) — Живадров и Мазур. Третий — Петр Прилипко (украинский) вернулся на Украину к семье.

Я тоже поехал домой. В запасном полку я прошел проверку. Мои родители прислали мне из Москвы мою зачетную книжку из института и справку из военкомата о моем призыве в армию. В запасном полку мне оформили документы и даже выплатили немного денег: за каждый год плена — месячную зарплату лейтенанта.

Вернувшись в Москву, я уже через месяц восстановился на историческом факультете МГУ, поскольку мой институт (ИФЛИ) слили с МГУ.

Моя семья понесла невосполнимые потери: погиб мой брат Ким, погиб муж сестры, тяжело ранен отец, воевавший в московском ополчении. Но вернулась с фронта сестра Кира, и я — из плена, хотя родители похоронили меня еще в 1942 г. Им пришла похоронка на меня.

В 1949 г. я закончил МГУ, женился и стал главой большой семьи. У меня родилась дочь, потом два сына, — и от них семь внуков и два правнука. Несмотря ни на что, я — счастливый муж, отец, дед и прадед.

Виктор (Самуил) Ефимович Кацперовский. Судьба, или Между жизнью и смертью. ^[13]

Виктор (Самуил) Ефимович Кацперовский родился 3 января 1923 г. в Мелитополе. В 1940 г. он окончил десятилетку и поступил в Институт механизации сельского хозяйства, где проучился около года. 21 августа 1941 г. он был призван в армию, а 20 мая 1942 г. закончил 6-месячные курсы Краснодарского артиллерийско-минометного училища и был направлен на Юго-Западный фронт командиром минометного взвода при кавалерийском полку (Изюм-Барвенковское направление).

Летом 1942 г. в окружение попали части 6-й, 9-й и 56-й армий, сотни тысяч человек. Одним из них был и Кацперовский. Как чистокровный и обрезанный еврей, к тому же не скрывавший своей национальности в своей части, шансы на собственное выживание он оценивал не слишком высоко, но тем не менее он твердо решил побороться за жизнь. И, проведя в плену 1041 день, — он уцелел и тем самым победил.

Непосредственно перед пленением он успел сорвать кубики с петлиц и присыпать в окопе документы землей: но документы, видимо, нашли, потому что на перекличке выкрикнули и его подлинное имя. Он вздрогнул, но лежавший рядом с ним старшина Попов надавил своей рукой на его руку, и он не отозвался. Он скрыл не только национальность и офицерство, но и имя, назвав себя Виктором Андреевичем Карасевым из Ижевска.

Впрочем, об этом он рассказывает и сам в своих воспоминаниях.

Мне остается добавить, что в апреле 1951 г. он женился, а в самом конце 1961 г. ему удалось вернуться в родной город, устроившись на Мелитопольский завод холодильного машиностроения. Здесь он проработал 32 года(!) — вплоть до осени 1993 г., когда он вышел на пенсию и переехал к дочери, эмигрировавшей к этому времени в Германию, в Ганновер. В мае 2005 г. он участвовал в серии юбилейных мероприятий в Берлине, устроенных берлинским объединением «Контакты» в память погибших советских советских военнопленных и в честь оставшихся в живых.

Павел Полян.

В начале лета 1941 г. в мире уже полным ходом полыхало пламя 2-й мировой войны. Чувствовалось, что вот-вот в эту мировую бойню будет втянут и Советский Союз. И долго ждать не пришлось. 22 июня 1941 г., в 11 часов утра радиостанция им. Коминтерна сообщила, что с важным сообщением выступит нарком иностранных дел В.М. Молотов. Все, кто мог, собрались к этому времени возле репродукторов и ждали этого выступления. Из него мы узнали, что 22 июня в 4 часа утра фашистская Германия внезапно напала на Советский Союз.

Война.

После окончания выступления Молотова все соседи вышли наружу и собрались посредине двора. Все были в каком-то оцепенении, притихшие. Но постепенно разговорились, подбадривая себя тем, чем нас всегда кормила советская пропаганда — непобедимостью Красной Армии, нерушимостью советских границ и т. д. Да и само выступление Молотова заканчивалось словами: «Враг будет разбит, победа будет за нами».

Но время шло, и фашистские полчища все дальше углублялись на территорию СССР, и в частности на Украину, захватывая новые города и территории. По всем дорогам двигался поток беженцев, на лошадях или пешком стремясь уйти как можно дальше в тыл. В печати и по радио сообщалось о небывалой жестокости фашистов, которые на своем пути уничтожали все еврейское население, цыган, коммунистов и комиссаров. Уже с первых дней войны население Мелитополя, по решению местных властей, начало рыть во дворах траншеи-бомбоубежища.

Экзамены за 1-й курс были уже позади, и я остался не у дел. Но, к счастью, в это время Лазарь Шапиро предложил мне взяться с ним вместе за ремонт автомашины ГАЗ-АА, принадлежавшей мельнице, расположенной рядом с нашим двором. Предложение я принял, и у меня появилась возможность избежать безделья, да к тому же еще и подзаработать. Стоимость ремонта оценивалась в 1200 рублей, из которых Шапиро мне предложил 400. Я согласился, и мы приступили к ремонту. В то время мы и не предполагали, что фашистская армия будет так быстро наступать. В конце июля ремонт был закончен. В это время вблизи города иногда начали появляться одиночные вражеские самолеты, а в городе объявлялась воздушная тревога. В то время за городом располагался военный аэродром, на котором до 1940 г. базировались соединения истребителей, а с 1940 г. — соединения бомбардировщиков, так что немцам было что у нас искать и бомбить.

Немцы захватывали все большую территорию Украины и стремительно продвигались вперед по всей европейской части Советского Союза. В нашей семье встал вопрос: если хотим остаться в

живых, нам необходимо эвакуироваться. Многие горожане к тому времени уже эвакуировались, многие заводы начали отправлять на Восток свое оборудование вместе с семьями своих работников. Отец достал в своей организации лошадь с повозкой. Примерно 15 августа он пригнал ее к нам во двор и сказал, что надо собираться и ехать. Но мне невольно пришлось охладить его пыл, сообщив ему, что я военнообязанный и что со дня на день жду повестку из военкомата. И если я уеду, то меня могут посчитать дезертиром. Папа меня понял, и мы стали ждать, что будет дальше. Я чувствовал себя виноватым перед родителями и своим братом, что из-за меня они не могут сделать то, что решили, то есть как можно скорее уехать подальше от приближающегося врага.

Наконец, 21 августа утром я получил повестку, согласно которой к 18.00 вечера я должен был явиться на сборный пункт военкомата. Начались сборы. У меня не было вещмешка, куда нужно было уложить пожитки на дорогу. Пришла моя тетя Маруся — жена маминого родного брата Изи, семья которой жила от нас через дорогу, на два двора дальше. Пока тетя Маруся шила вещмешок, мама готовила мне на дорогу кое-что из продуктов и одежды.

Вместе со мной повестку получил и Шурка Моисеенко, мой сосед через двор. Пока родители собирали нас в дорогу, мы с Шуркой купили чекушку, и я впервые в своей жизни выпил водку, хотя и в небольшом количестве. Теперь мне было все дозволено, ведь я шел на ВОЙНУ, из которой мог и не вернуться. Зная, что у отца в столе имеются папиросы и табак, я попросил его дать мне немного на дорогу. Этим я впервые как бы признался отцу, что курю. Папа посмотрел на меня (а что он мог еще сказать?), достал из ящика пять пачек папирос «Броненосец „Потемкин“» и несколько пачек табака.

Я был готов к отправке.

С этого момента кончилось мое детство, а мне было только 18 лет. Начиналась моя юность. Но какая она будет и будет ли вообще, никто не знал. Попрощавшись со всеми соседями двора, я отправился на сборный пункт. Меня провожали родители, которые находились там до тех пор, пока наша сформированная колонна не двинулась в путь в направлении города Бердянска. Конечным пунктом, куда мы должны были прибыть, было село Борисовка под Бердянском. По дороге мы двигались нестройной колонной, ночевали в степи под скирдами соломы. Время-то было летнее. Поля, сады и огороды были полны овощами, фруктами, поэтому мы не испытывали в них недостатка, заглядывая на привалах на колхозные и совхозные поля.

Шли не спеша и 120 км прошли почти за четыре дня. Утром 25 августа мы были уже в Бердянске и успели сфотографироваться на базаре на пятиминутке и получить фото на память. На этой фотографии запечатлены ребята из моей 3-й школы, которую они закончили только 2 месяца назад. Мы хорошо знали друг друга. К вечеру мы прибыли в

село Борисовку, где в качестве казарм нам предоставили животноводческие постройки, полы которых были застелены свежей соломой.

Зачислили нас в 7-й запасной артиллерийский полк. Обмундирования, по причине его полного отсутствия, нам не выдали. Занятия проводились только строевые и политические. Какая-либо техника отсутствовала. Складывалось впечатление, что никто и не знал, что с нами делать. Вероятно, перед военкоматами стояла задача увести молодежь призывного возраста как можно дальше в тыл, чтобы она не попала в руки врага.

В селе Борисовка мы пробыли около двух недель, после чего вышли маршем на город Ростов. Это был трудный марш. Нам предстояло пройти пешком более 550 км. На марше у нас была своя полевая кухня, так что о пище нам думать не приходилось. Это расстояние мы преодолели за девять ночей. Шли только по ночам. Выходили часов в 8-9 вечера и приходили к месту, где проводили день, часам к 9-10 утра. В отдельные ночи мы проходили до 70 км. Многие засыпали на ходу и падали из-за сильной усталости. Днем же не всегда удавалось поспать. На походную кухню в течение дня надо было трижды выделять людей для подноски воды, чистки картошки и других овощей, а также заготовки и рубки дров. Для того чтобы три раза поесть, сон прерывали трижды в течение дня.

Идя по степным дорогам, мы видели, сколько людей на лошадях или пешком с ручными повозками отправлялись подальше в тыл. Колхозники и работники совхозов гнали табуны лошадей, стада коров и овец. Бедные коровы ревели от боли, так как некому было их вовремя подоить.

Некоторые ребята с трудом переносили марш. Особенно трудно было тем, кто страдал куриной слепотой. Их приходилось вести за руку: в ночное время они ничего не видели. Я был худой и легкий и поэтому переносил марш сравнительно легко. Да и занятия спортом сказались: я, как и другие, очень сильно уставал, мне так же, как и всем, хотелось спать, но трудности этого марша я преодолел без особых усилий.

Под Ростовом мы остановились в одном из сел и разместились в таких же «животноводческих» казармах, как и в селе Борисовка под Бердянском. Командование решало вопрос о том, куда нас девать. И недели через две нас повели в Ростов на железнодорожную станцию, где погрузили в вагоны и отправили в Сталинград.

Там нас разместили в одном из зданий Сталинградского тракторного завода. Казарма представляла собой большое помещение, оборудованное наскоро двухэтажными нарами. Нам сообщили, что при заводе организовывается бронетанковое училище и что мы будем зачислены его курсантами.

Тем не менее через несколько дней всех направили на медкомиссию, на которой отбирали в различные рода войск. После

медкомиссии мне пришлось расстаться с Шуркой Моисеенко, с которым я вместе призывался. У него не было среднего образования, и он не попал в училище.

Через несколько дней после медкомиссии нас отвели на вокзал, погрузили в вагоны и отправили в город Краснодар. Почти на всем пути нас преследовали и бомбили немецкие самолеты. Дни были пасмурные, с частыми дождями и низкой облачностью, и они спускались так низко, что обстреливали и бомбили скопления эшелонов на вокзалах на бреющем полете.

Первая крупная станция на нашем пути от Сталинграда был Сальск. Еще в начале пути, на одном из полустанков, я решил проехать не в крытом вагоне, в котором мы ехали, а в полувагоне, загруженном тюками соломы. В углу одного полувагона не было тюка, и я влез на это место. Было неудобно, и на следующем полустанке я вернулся в свой вагон. Только мы въехали на станцию Сальск, как налетели немецкие самолеты и на бреющем полете начали бомбить и обстреливать станцию. Наш эшелон остановился, и мы бросились врассыпную, кто куда. Во время бомбежки вагон с тюками соломы загорелся и продолжал гореть до тех пор, пока не закончилась бомбежка. Затем он был отцеплен от состава и потушен. Оказалось, что по пути следования один гражданский мужик влез в вагон с тюками соломы как раз в то место, где ранее ехал я. Этот мужик сгорел, и из вагона извлекли обгоревший труп.

А ведь на его месте мог бы оказаться и я! СУДЬБА!!!

Все собрались по своим вагонам и двинулись дальше. Всю дорогу шел небольшой дождик. Это была последняя декада октября 1941 г. Как только мы въехали на станцию Тихорецкая, внезапно появились немецкие самолеты и начался обстрел и бомбежка станции. Мы стали разбегаться кто куда, не зная, где можно скрыться. Я поднял голову, посмотрел вверх и увидел, что на меня (так мне казалось) летят сразу несколько бомб, и я понял, что мне пришел конец. Передо мной оказался какой-то заборчик, и только я заскочил за этот заборчик, как по другую его сторону раздалось несколько взрывов. В это время на вокзале было громадное скопление разных эшелонов: с боеприпасами, с горючим, с ранеными, с эвакуированными, с различным оборудованием, воинские эшелоны и др. Очень много людей погибло во время этого налета. Как только стих гул самолетов, я выглянул из-за ограждения, за которым спрятался, и в нескольких метрах от него увидел несколько зияющих неглубоких воронок. Как оказалось, заборчик, за которым я спрятался, был бетонным ограждением входа в привокзальный туалет, и это-то меня и спасло. Второй причиной спасения было то, что бомбили небольшими 50-килограммовыми бомбами.

И в этом случае мне удалось выжить! СУДЬБА!!!

В Краснодарское зенитно-артиллерийское училище мы прибыли 30 октября 1941 г. и были зачислены курсантами этого училища. Наконец, мы попали в человеческие условия обитания. Нас обмундировали и разместили по казармам. Мы были довольны, что попали не в пехотное училище, которое было здесь же, недалеко от нашего. С первых же дней начались интенсивные занятия. Наше училище располагалось недалеко от затона реки Кубань, на берегу которого стояла батарея из четырех зенитных орудий калибра 85 мм, и обслуживали эту батарею курсанты училища.

Мы изучали тактику, устройство зенитных орудий, устройство автомобиля, так как орудия эти были на автомобильной тяге, а также строевую подготовку и др. Мы прозанимались по этой программе недели две, как вдруг прибыл новый приказ наркома обороны, в соответствии с которым училище переквалифицировалось на противотанковое артиллерийское. В училище срочно были доставлены противотанковые орудия калибра 45 мм, и мы приступили уже к их изучению. Но и это решение было не окончательным!

Примерно недели через две был получен новый приказ наркома обороны. Училище переквалифицировалось в минометно-артиллерийское! Срочно были доставлены минометы разных калибров: 52 мм, 82 мм, 107 мм, 120 мм, и мы начали теперь их изучение.

На фронте обстановка была очень тревожная, враг продвигался все дальше и дальше. Наше училище несколько раз поднималось ночью по тревоге, и мы занимали оборону на подступах к городу на случай высадки парашютного вражеского десанта. Во время учебы в училище часто устраивались учебные тревоги, в основном в ночное время.

Недели через две-три после нашего приезда в Краснодар некоторым из наших ребят удалось установить связь со своими родителями. И остальные ребята, пользуясь этими связями, также смогли связаться со своими родителями и родственниками. Так я узнал, что мои родители находятся в эвакуации в Сталинградской области, и наладил с ними переписку. Мне удалось разыскать и моего дядю Изю, который жил со своей семьей в Ижевске, куда была эвакуирована швейная фабрика, на которой работала его жена — тетя Маруся. Их адрес в Ижевске, кинотеатр «Спартак», ул. Ленина, 10, я запомнил на всю оставшуюся жизнь. В будущем он мне пригодился.

20 мая 1942 г. мы закончили училище. Каждому из нас присвоили звание младшего лейтенанта. Группа, в которую я попал после окончания училища, получила назначение на Юго-Западный фронт, на который мы должны были прибыть 25 мая. В группе было 8 человек. Добирались к фронту по железной дороге, попутным автотранспортом и пешком. За день до того, как мы должны были прибыть в штаб армии, мы остановились на ночь в одном небольшом селе, чтобы где-нибудь переночевать. Мы попросили одну хозяйку пустить нас на ночлег, что она с удовольствием и сделала. Она была одна с маленьким ребенком и

очень боялась оставаться сама, поэтому была рада нашему присутствию. Спать мы должны были на полу, потому что другого места не было. А хозяйка с ребенком ложилась спать под кровать, считая, что кровать сможет защитить ее от бомб. Мы разобрали свои вещмешки и устроили общий ужин, пригласив и хозяйку.

Поужинав, мы вышли покурить. Курили скрытно, так как в прифронтовой полосе открыто курить в темное время суток запрещалось. Мы видели, как возле одной из хат, находившейся недалеко от нас, стоял мужик и открыто курил сигарку из махорки, которая в темноте хорошо светилась. Мы не придали этому значения.

Покурив, мы пошли укладываться спать. Расстелив шинели на полу, мы улеглись на одну ее половину, а второй прикрылись. Поговорив немного перед сном, постепенно затихли. Все время слышался гул немецкого самолета, который в ночное время выискивал для себя цели. Мы уже перестали обращать внимание на этот гул, как вдруг услышали вой падающих бомб, и тут же раздались взрывы. Нашу хату как будто подбросило вверх, с потолка посыпалась штукатурка, куски окон влетели вовнутрь. Все, что осталось на столе после ужина, перемешалось с этим мусором. Пока мы выскочили из хаты и побежали в огород подальше от нее. Когда все стихло, мы вернулись обратно и увидели, что сброшено было всего две бомбы. Одна упала на расстоянии примерно двух метров от одной стены хаты, а другая примерно в метрах в четырех с другой стороны хаты. Сложилось такое впечатление, что самолет пролетел точно через середину хаты. Бомбы и на этот раз были небольшие, наверное, не более 50 кг, а дом был деревянный. Это, возможно, нас и спасло от более тяжелых последствий. Но как-то удивительно было, что на деревню было сброшено всего только две бомбы, и именно на ту хату, в которой остановились на ночлег восемь молодых командиров Красной Армии. Не наводчиком ли был тот мужик, которого мы видели открыто курящим?

Так это или не так, но опять пронесло. СУДЬБА!!!

На следующий день мы прибыли в штаб 9-й армии, откуда нас откомандировали в соответствующие подразделения. Я и мой одноклассник Алик Михлин, с которым я в 1940 г. закончил 10 классов, были откомандированы в 127-й кавалерийский полк 30-й кавалерийской дивизии 5-го кавалерийского корпуса командирами минометных взводов в минометной батарее.

Прибыв на батарею, мы представились ее командиру лейтенанту Семонину. Он, в свою очередь, представил нас помощнику комбата лейтенанту Рамоданову и политруку батареи лейтенанту Кулику. Приказом комбата я был назначен командиром 1-го минометного взвода, а Михлин — командиром 2-го. Так началась наша боевая жизнь.

У меня во взводе было три миномета калибра 82 мм, у Михлина — два миномета того же калибра. Численный состав взвода вместе с

помощником командира взвода, старшиной взвода и телефонистом составлял 21 боец. О нашей боеготовности к отражению атак противника можно было судить хотя бы по тому, что на 21 бойца во взводе было только семь винтовок и один автомат ППШ, который был закреплен за помкомвзвода.

Ни мне, ни Михлину личного оружия не выдали — по причине его отсутствия. Полк наш был каваллерийский, следовательно, по штатному расписанию за мной закреплялась лошадь и обслуживающий ее солдат-коневод. Лошади были далеко не кавалерийские, изъятые из колхозов, совхозов и др. хозяйств. Через несколько дней после того, как мы немного обжились, комбат предложил проехаться на закрепленных за нами лошадях.

Надо было узнать, что собой представляют эти лошади. А если учесть, что ни я, ни Михлин ни разу в жизни не ездили верхом, то надо было еще и освоить езду на них. Выехав на одну из лесных дорог, комбат пришпорил свою лошадь, моя лошадь помчалась без всякого воздействия с моей стороны за его лошадью. Чем быстрее ехал комбат, тем быстрее ехал и я. Попытка остановить свою лошадь, натягивая поводья, не увенчалась успехом. Моя лошадь бежала до тех пор, пока комбат не остановился. Как потом стало известно, лошадь комбата и моя лошадь были взяты из одного хозяйства, где они долгое время работали в одной упряжке, и если бежала одна, то и вторая мчалась за ней. В результате такого выезда я хорошо набил себе задницу, так что несколько дней пришлось помучиться. После этого случая мы не раз выезжали в штаб полка, но комбат не гнал свою лошадь, да и у меня уже копился опыт верховой езды.

Позиция нашей батареи располагалась в лесу в ложбине. Для визуального наблюдения приходилось выбираться из лощины. Мне это не особенно нравилось, но я был человеком новым и высказывать свое мнение по этому поводу не собирался, так как понимал, что расположение батареи выбирал комбат, а утверждал комполка. Их наблюдательные пункты и были выдвинуты вперед. Ведя наблюдения за противником, они передавали свои команды на батарею для исполнения. Телефонист батареи находился у меня во взводе, и я должен был обеспечить передачу команд и во второй взвод. Фамилию телефониста не помню, а звали его Тимофей.

До 21 июня 1942 г. на нашем участке фронта было относительно спокойно. Только иногда слышалась вдали канонада и работа «катюш». С 22 июня немцы по всему Юго-Западному фронту перешли в наступление и начали стремительно продвигаться вперед. Весь фронт, который прикрывали три армии — наша 9-я, 6-я и 56-я, — был прорван немцами. Наши войска, не успевая сменить позиции организованно, попадали в плен или несли громадные потери.

Немецкие части приближались к нашим позициям. Наша батарея, получив по телефону приказ комбата открыть беглый огонь в

направлении командного пункта командира полка, немедленно приступила к его выполнению. Но сама по себе эта команда означала, что судьба наша уже решена. Весь лес вокруг нас гудел от выстрелов, которые в еще большей мере усиливало лесное эхо. Уже непонятно было, где враг. Я выслал помкомвзвода вперед, чтобы увидеть, где находится враг, но он тут же был убит, и целая вражеская свора со своими криками на непонятном для нас языке ринулась в ложбину на позицию нашего взвода, забрасывая нас гранатами. Спасаясь от разрыва гранат и ружейных выстрелов, все кинулись в блиндаж, но тут же были накрыты немцами. Мы оказались в их руках. Последовала команда «руссен раус», «хенде хох», и мы вынуждены были им подчиниться.

Так, в составе своего взвода, я попал в плен.

Плен.

Мне стало предельно ясно, что наступил конец моей жизни. Более реальной ситуации для такого заключения, по-моему, и быть не могло. Я в руках врага, который ненавидит мою нацию, стремится всеми силами ее полностью уничтожить и своими действиями на всем пути своего продвижения доказывает это массовыми расстрелами и уничтожением любыми способами.

Но как же не хотелось умирать! Ведь мне было всего 19 лет!

Но даже в этом, казалось бы, безнадежном положении я не пал духом и старался бороться за жизнь. Я не знал, как и по каким признакам немцы определяют, кто еврей, а кто нет, но я понимал, что мне надо уничтожить все, что давало возможность им вычислить меня. В первую очередь я поспешил извлечь из карманов все свои документы и спрятал в углу блиндажа, присыпав их землей. Затем я сорвал с петлиц кубики, чтобы своим званием не привлекать к себе их внимания. Мне тут же надо было забыть свою фамилию и имя. После всего этого я уже ничем не отличался по своему внешнему виду от рядовых бойцов.

Нас выгнали из блиндажа. Кругом стояла непривычная тишина, был теплый летний день 23 июня 1942 г., ярко светило солнце, и в голове никак не укладывалось, что я должен расстаться со своей жизнью. Меня все еще не оставляла мысль, что кто-нибудь из моих бойцов может меня выдать и для этого я сам накануне дал им в руки карты.

Когда я принял взвод, никто не знал, кто я по национальности. Бойцы ко мне обращались или как к «товарищу командиру», или как к «товарищу младшему лейтенанту».

Однажды во время беседы со своим взводом кем-то был затронут вопрос о евреях. Кто-то отзывался о них положительно, кто-то отрицательно. Не помню, как это получилось, но меня что-то задело, и я сказал им, что я по национальности тоже еврей. И вот теперь,

оказавшись в плену, я очень пожалел о своем признании. По своему составу мой взвод был интернациональным. Половина состояла из нацменьшинств, остальные были русские и украинцы. Я оказался в ловушке, из которой выхода не видел. Но идти к немцам и объяснять им, что я еврей, я тоже не собирался. Я решил: что будет, то и будет.

Я не знал, как именно будут обращаться с нами немцы. Будут ли нас переписывать по фамилии или что-то еще. Если будут переписывать, то мне необходимо придумать себе новую фамилию и новое имя, сославшись на то, что где-то мои документы затерялись, хотя и это могло меня выдать, что я еврей. Но что еще я мог придумать? Мне надо было еще сочинить легенду, откуда я родом, где меня призывали в армию и т. д.

Место рождения не должно было находиться на оккупированной территории, а где-то далеко в глубоком советском тылу, чтобы немцы не могли нигде навести обо мне какие-либо справки. Тут-то мне и пригодился адрес моего дяди, который вместе со своей женой и со швейной фабрикой был эвакуирован в сентябре 1941 г. в Ижевск.

Одновременно я ломал себе голову над тем, какую фамилию и имя себе придумать, чтобы они не были особенно выделяющимися. Я перебирал все знакомые мне фамилии по школе, по институту и остановился на фамилии одного знакомого мне студента — Карасева Виктора. С этого момента я стал совсем «другим человеком». Об этом я немедленно сообщил Михаилу и Тимофею, которым я доверял свою жизнь. И они одобрили все мои решения.

Немного о моем имени. Когда я появился на свет, родители дали мне имя маминого родного брата, которого звали Самуил и который в 1918 г. погиб на фронте в боях с теми же немцами (какое, однако, совпадение, какие одинаковые судьбы!). По еврейскому обряду после рождения мне сделали обрезание, оставив на мне «клеймо» на всю жизнь. И если я смог избавиться от своих документов, выбросив их, поменять имя и фамилию, то факт обрезания мне скрыть нигде и никак не удастся. (Здесь же я хочу подчеркнуть, что никогда в своей жизни я не упрекал и не обижался на своих родителей за исполнение этого еврейского обряда.) Вот так лихорадочно работала моя голова, выискивая возможные пути к сохранению жизни или, хотя бы, к отдалению ее конца.

Собрав всех пленных на этом участке, немцы погнали нас нестройной колонной на несколько километров в тыл и разместили на громадном поле. Мы оказались на возвышенной части поля, и было видно, что все оно уже было усеяно пленными из других частей и соединений. Ведь в окружение попали тогда три армии, и, как впоследствии сообщали немцы в своих листовках, в этой операции к ним в руки попало 275 тыс. пленных (правдивые это цифры или нет, я не знаю). На поляне мы все уселись на теплой летней земле, приходя понемногу в себя после такого стресса. Для кого-то война закончилась,

и они были рады, что остались живы, кто-то очень переживал, что с ним такое случилось, а кто-то, как и я, ожидал, что каждая следующая минута — будет последней в его жизни.

И долго не пришлось ждать. В услужении у немцев было немало предателей — украинских националистов, которые двигались вместе с немецкими войсками и добросовестно им служили. Вот эти предатели и были теми подонками, которые сразу же после нашего прихода на поляну начали ходить между нами с возгласами: «Евреи, коммунисты и комиссары, выходите!»

Все, к кому относился этот призыв, знали, что рано или поздно он обязательно прозвучит. Иначе немцы не были бы немцами. Все с тревогой ждали его, но все равно каждый надеялся на какое-то чудо, думая, что беда его обойдет. Но, как правило, не обходила. В «бой» вступили свои же однопольчане, которые начали выдавать своих же коммунистов, комиссаров и евреев. Слышны были отдельные выкрики: «а вот комиссар», «а вот коммунист», «а вот еврей» или «а вот жид». И это были не немцы, а свои! Сколько людей остались бы жить, если бы не эти нелюди?

Обреченным ничего не оставалось, как подчиниться команде и выйти. Тут же их раздевали до нижнего белья, снимали обувь и уводили на расстрел. Это «выкуривание» продолжалось долго, и только после того, когда уже некого было предавать, все затихло. На меня никто из моих пальцем не указал, и я продолжал лежать на земле, облокотившись на правую руку, в окружении бойцов своего взвода. Рядом со мной были Тимофей и Михаил.

Какое-то время стояла тишина. Вдруг в этой тишине я слышу, что один из полицаев вызывает меня персонально по фамилии. Ну, думаю, кто-то меня предал. Сердце заработало на самых высоких оборотах. Ведь это конец. Не меняя позы и стараясь не паниковать, чтобы своим поведением не привлечь к себе лишнее внимание, я говорю Попову и Тимофею, что кто-то меня выдал, а сам продолжаю лежать. Они оба обошли всех бойцов взвода, обращаясь к ним с одним вопросом: «Кто предал комвзвода?» Все ответили, что они не предавали. Этот опрос они вели осторожно, не привлекая к себе внимания. Полицай еще несколько раз походил вдоль рядов и вызывал меня по фамилии, угрожая, что если добровольно не выйду, то будет хуже. Но что могло быть еще хуже? Так и не дождавшись моего добровольного выхода, он прекратил меня вызывать. Тут я подумал, что, шаря в блиндаже, они нашли мои документы и на основании их узнали мою фамилию. Но в лицо они меня не знали, а в такой толпе ходить и выискивать человека — слишком долгая работа. Так мне удалось пройти еще одно испытание в борьбе за жизнь.

Через некоторое время нас колонной погнали по дороге, но мы не знали куда. Шли, понутив головы, в которых был полнейший хаос мыслей из-за неизвестности, что ждет каждого впереди. Мне трудно

было надеяться на то, что удастся выжить в этой ситуации, но я, как утопающий, хватался за соломинку, чтобы все-таки выжить. И первое, что я решил сделать — это затеряться в громадной толпе военнопленных, чтобы уйти подальше от тех, кто меня знал, так как эти люди из-за какой-нибудь мелочи в трудную минуту могли меня выдать. О своем решении я сообщил своим двум товарищам Тимофею и Михаилу, которым я доверил свою жизнь. Они поддержали и это, но сказали, что останутся со мной. Во время привалов мы втроем перемещались в гуще пленных как можно дальше от тех, кто нас знал. Мы смешались с пленными из других подразделений, где я почувствовал себя на какое-то время увереннее.

Мы прошли километров тридцать и оказались в г. Барвенково. Нас разместили за колючей проволокой, которой была ограждена большая территория. На ней находились развалины мельницы. Ночевали под открытым небом, так как на этой территории никаких укрытий не было. Благо, что было лето.

Оказавшись за проволокой, люди начали постепенно приходить в себя. И первыми начали проявлять себя те, кто после революции воевал в бандах Махно, в армиях Деникина и Колчака, а также те, кого советская власть раскулачила. Перед немцами, охранявшими лагерь, они с радостью и удовольствием выкрикивали слова: «Сталин капут», изливая этим свою радость, что остались живыми. Это были в основном люди, в возрасте от 40 лет и старше, у которых были основания ненавидеть советскую власть.

В лагере нас содержали как скотину. Спали мы на голой земле, и если шел дождь, то укрываться было негде. Кормили нас какой-то похлебкой, в которой можно было поймать отдельные крупинки пшена и проса, а также кусочки очисток от картошки. Складывалось мнение, что лагерную похлебку варили нам из отходов продуктов немецкой кухни. Некоторым везло, если им попадался кусочек мяса; но от живой или еле живой лошади, мы не знали. Мы готовы были есть все, что можно было съесть. Несколько дней нам не давали хлеба. Потом начали выдавать по кусочку примерно в 200–250 граммов в день, который мы с жадностью тут же съедали, несмотря на то что этот хлеб был испечен из муки, смешанной пополам с просяной шелухой.

Мы понимали, что хлебаем похлебку и едим хлеб, к которому не каждое четырехное животное притронулось бы. Но мы ели, а все же силы нас постепенно покидали. Утром, поднимаясь с нашей «мягкой постели», мы испытывали головокружение и вынуждены были придерживать друг друга, чтобы не упасть, пока это состояние не проходило. Туалетов в лагере не было, и место, куда ходили справляться (если было чем), находилось на открытой площадке, вблизи места нашего нахождения. Если для всех это не имело никакого значения, то для меня это представляло опасность, и я должен был и

здесь проявлять осторожность, чтобы не засветиться. Пробыв в этом лагере около двух недель, нас маршем отправили в город Никитовку.

По дороге, проходя через одно село, нам устроили привал возле развалин церкви. В развалинах мы обнаружили громадную кучу очищенной кукурузы. Все кинулись набирать ее, кто во что мог. Мы обрадовались, что появилась возможность хотя бы на некоторое время поддержать свои силы. И всю дорогу мы жевали набранную кукурузу.

В Никитовке нас поместили в лагерь, ничем не отличающийся от того, где мы находились до этого. На следующий день прямо с утра мы попытались опять жевать кукурузу, но не тут-то было. Две недели мы питались только лагерной похлебкой, и жевательный аппарат очень ослаб. Невозможно было ее жевать, так как наступала сильная нестерпимая боль, создавалось ощущение, что во рту сплошной нарыв. Пришлось искать другой способ использования кукурузы. Мы искали любые твердые предметы, в т. ч. и камни, лишь бы можно было ими дробить «зерно жизни». Уже раздробленное зерно, держа некоторое время во рту и смачивая его слюной, мы просто заглатывали, лишь бы оно попало в желудок. В этом лагере кормили так же плохо.

Дней через 8-10 нас погрузили в товарные вагоны и отправили в лагерь военнопленных в город Константиновку. В этом лагере похлебку давали нам 2 раза в день, но по качеству она особенно не отличалась от прежних. На кухне работали не немцы, а местные украинцы, а возможно и русские, которые наверняка все питательные добавки, которые должны были попасть в котел, несли к себе домой. Мы уже успели насмотреться, сколько людей в этих лагерях умерли от дистрофии и от постоянного недоедания. В основном это были люди старшего возраста, более слабые здоровьем. Надо было что-то предпринимать, чтобы уйти от этого кошмара. Чашу терпения переполнил один случай, который заставил нас ускорить принятие какого-то решения.

Дело было так. К лагерю на грузовой машине подвезли, наверное, уже издыхающую лошадь. Из лагеря набрали человек 20, чтобы ее сгрузить и приволочь в лагерь. Все 20 человек обступили эту лошадь со всех сторон, после чего, поддерживая ее, чтобы она не упала, и подталкивая, заволокли ее в лагерь на открытое место. Под командой лагерного повара ее тут же зарезали, начали разделывать и отправлять мясо на кухню. Голодные люди набросились на то, что осталось на земле. Они подбирали даже песок, пропитанный кровью и перемешанный с лошадиной шерстью, и все то, что не забрали на кухню. Это была удручающая картина.

Что делать дальше, как быть? Перспектива умереть медленной смертью, каждый день теряя последние силы, ни меня, ни Михаила не устраивала. (Тимофей незадолго до этого от нас откололся, может, пошел искать свое счастье самостоятельно). Поэтому мы с Михаилом приняли решение: при первой возможности, если будут куда-нибудь

набирать группу на работу, мы должны к ней примкнуть, чтобы вырваться из лагеря. Мы расположились поближе к воротам, чтобы успеть пристроиться к очередной группе, когда бы ее ни набирали.

Так совпало, что ровно через месяц после моего пленения в лагере прозвучала команда о наборе группы в количестве 100 человек. Не спрашивая, куда и на какую работу набирают, мы вдвоем кинулись к воротам и пристроились к колонне. От желающих не было отбоя, все понимали, что любая работа — это спасение жизни. Немцы не могут голодных заставлять работать, а значит — хоть как-то, но будут кормить. А это значит, что можно еще остаться в живых.

Но, несмотря на всю нашу предусмотрительность, мы с Михаилом оказались в последней шеренге и думали только о том, чтобы при подсчете не оказаться лишними. Начали, отсчитывая, выводить людей за ворота лагеря, и наша шеренга попала в число «счастливиц». Нас построили в колонну и повели. Не помню, как долго мы шли, но привели нас на окраину одного села, где стоял большой свинарник, который теперь должен был стать нашей «гостиницей», где теперь мы, а не свиньи будем проживать. Полы в свинарнике были застелены свежей соломой, а недалеко от свинарника стоял небольшой навес, под которым несколько женщин возились у печи.

Одно то, что у нас над головой появилась крыша и что мы будем спать теперь не на голой земле, казалось для нас роскошью. После того как мы разместились в своем новом жилище, нас позвали на обед, и впервые за прошедший месяц мы ели затирку из пшеничной муки. Нам объяснили, что пригнали нас сюда на уборку урожая. Мы были на какое-то время спасены от голода.

Из числа пригнанных отобрали тех, кто может работать с косой. Я работал на увязке снопов и укладке их в стога. При работе на уборке у нас не было охраны из немцев. За нами смотрели деревенские полицаи. Мы себя чувствовали свободно и, идя после работы в свое общежитие, по пути заглядывали на соседние поля, выкапывали по несколько корнеплодов сахарной свеклы и, придя в общежитие, сначала ужинали, а затем принимались печь сахарную свеклу и жарить пшеницу. Так что на какое-то время мы забыли о голоде.

Но нас продолжали мучить насекомые. Пока было тепло, мы обжаривали на кострах свою одежду и как-то с ними боролись. Люди начали роптать, что надо было бы повести нас в баню, где можно было бы не только помыться, но и прожарить одежду. Для меня это было не приемлемо. Общая баня для меня была очень опасна. Но я же не мог ее отменить!

И вот «роптение», в конце концов, до кого-то дошло. Был назначен день, когда всех поведут в баню. Для меня это было равносильно тому, что я должен был идти на эшафот. Моя голова работала над тем, как мне избежать это мероприятие. И я ничего другого не мог придумать, как прикинуться больным. И в день, когда собирались идти на

санобработку, я, симулируя сильную боль в животе, не пошел на завтрак и сказал, что живот болит так, что не могу идти. На меня посмотрели с сожалением, что мне не удастся за столько времени искупаться, и оставили меня в покое, не представляя себе причину моего отказа. Для меня это было сверх архиважно, так как в очередной раз на карту был поставлен вопрос моей жизни.

Под навесом у плиты возились две женщины, готовя очередную затирку на обед. Периодически одна из них заходила и спрашивала, как я себя чувствую, буду ли я кушать. Я от всего отказывался и только примерно часа через два вышел из нашего барака и сел под стенкой. Своим поведением я показывал, что мне стало легче. Еще через какое-то время я отошел от барака, разжег из соломы костер и прожарил всю свою одежду, поочередно каждую вещь. По возвращении всех из бани я незаметно смешался со всеми.

И на этот раз мне удалось избежать опасной для меня ситуации. СУДЬБА!!!

Со временем в лагере количество людей значительно уменьшилось. Многие из тех, кто жил на уже оккупированных территориях, ушли домой. Собирался домой в Крым и Михаил. Он предлагал и мне идти с ним, но я отказался. Мы друг друга поняли и расстались друзьями. Я его очень благодарил за громадную поддержку, которую он оказывал мне за все время совместного пребывания в неволе.

Сам я не мог уйти в глубокий тыл, так как жил с постоянной надеждой, что наступление немцев должно захлебнуться и что рано или поздно их погонят назад, и я сумею освободиться от этого страшного кошмара. Я даже не задумывался о том, что может быть со мной после моего освобождения. Теперь я остался один.

Но одному мне оставаться было нельзя. Я понимал, что, будучи один, могу у некоторых типов вызвать какое-то подозрение, а это для меня был бы конец, в чем я вскоре и убедился. Я сблизился с одним ленинградцем по фамилии Лазуков, с которым уже ранее общался. Он был старше меня лет на 10–15, высокого роста. Мы с ним подружились, все делили вместе. Он уже знал мою легенду, что я из Ижевска, Виктор Карасев.

Когда уборка подошла к концу, то из 100 человек, которых пригнали вначале, осталось не более 20, остальные же разбежались. В начале октября эту небольшую группу отвезли в город Дружковку на болторезный завод. На заводе нам показали помещение, в котором мы должны будем жить. Оно состояло из нескольких комнат. Мне и Лазукову показали, в какую комнату идти, и мы направились туда. Открыв дверь, мы оказались на ступеньке, а пол был ниже. Вокруг у стен сидели те, кто уже работал здесь.

Стоя на ступеньке и высматривая, где свободное место, которое мы можем занять, я вдруг услышал возглас с подначкой: «Ты гляди, жидка привели, а ну снимай штаны и показывай залупу». Это один мужик в

матросской тельняшке, сидевший у противоположной от дверей стены, высказался в мой адрес. Что мне оставалось делать? Я понимал, что, если я сам не разденусь, они меня разденут. Но мне терять уже было нечего, и я попер на него многоэтажным матом, и тут же подключился мой напарник Лазуков, сказав: «Да вы что, ребята, он же сибиряк». И они замолчали, больше ко мне не обращались.

Очередной раз мне пришлось проскочить через смертельный порог. СУДЬБА!!!

Что меня спасло, я и сам не понял. То ли мой выразительный мат высотой в многоэтажное здание, то ли сообщение моего напарника и его внушительный вид. Но я из этого случая сделал для себя вывод, что, глядя на меня, кое-кто все-таки может признать во мне еврея. Но тут я ничего не мог поделать. Мне оставалось только своим поведением доказывать, что я такой же, как и они.

На этом заводе немцы ремонтировали различный инвентарь, повозки, а также ремонтировали и изготавливали двери и окна для своего жилья и служебных помещений. Меня определили в столярную мастерскую, где я помогал выполнять различные столярные работы. В мастерской столярами работали гражданские лица. Так проходило время в работе. Нас не особенно охраняли, и кое-кто из пленных убежал домой.

В феврале месяце Красная Армия успешно наступала и уже подходила к Донбассу. В один из дней в конце февраля 1943 г., захватив станцию Гришино (теперь это город Красноармейск), двинулась танковой колонной на Константиновку, обходя Дружковку, то есть нас, стороной. Днем завязался бой, в котором немецкие самолеты, пикируя, и, наверное, не безуспешно, уничтожали советские танки. К вечеру все стихло.

Но мы считали, что Красной Армии удалось занять Константиновку. Поэтому я и еще один парень из Белоруссии, звали его Валентин, решили бежать в сторону станции Гришино, так как были уверены, что она в руках русских. Был морозный вечер, и мы отправились в путь. Прошагав километров 10-12, мы поняли, что замерзнем, и в первой попавшейся деревне постучали в одну из хат и попросились переночевать. Нас пустили. Мы улеглись, а на рассвете в селе поднялся переполох. Налетела полевая жандармерия. Кого они искали, мы не знали, но нас забрали и увели, считая, что мы партизаны. Нас посадили в сани и повезли в сторону г. Константиновки. Не доезжая до города несколько километров, в одном из сел нас загнали в подвал и заперли. Постепенно глаза привыкли к темноте. Через щели в дверях подвала проникал снаружи свет. Осмотревшись, мы увидели несколько бочек с соленьями. Это были огурцы и помидоры. В нескольких небольших нишах стояли бутылки с вишневой наливкой. Два дня к нам никто не

заглядывал, и мы не знали, что нас ждет. Для утоления голода периодически съедали по помидору, боясь наесться ими, чтобы не мучиться еще и от жажды, хотя и так очень хотелось пить. Наливку попробовали, но не пили. Боялись, что опьянеем, а мне этого нельзя было допустить.

На третий день открылись ворота, и один немец принес нам в ведре немного супа, видимо, из немецкой кухни. Нам стало ясно, что жандармское подразделение, которое нас захватило в деревне, расквартировано здесь. Мы быстро уплели суп и начали ждать, что будет дальше. На следующий день еду нам не принесли, никто к нам не приходил, и мы опять гадали, что же будет дальше.

А еще через день случилось вообще что-то непонятное. Слышим, кто-то отпирает ворота, затем распахивает их и кричит нам на русском языке: «Бегите ребята, мы тоже убегаем, немцы уходят». Мы не понимали, что произошло. Мы поспешили выбраться из подвала, но были ослеплены дневным светом после почти недельного пребывания в темном подвале. Голова кружилась, и идти куда-нибудь у нас не было сил.

Мы зашли в ближайшую хату. Возможно, тот подвал, где мы сидели, и принадлежал хозяевам этой хаты. Мы попросили их накормить нас чем-нибудь. Хозяйка принялась варить кукурузную кашу. Мы сидели и ждали, когда каша будет готова. Но поесть ее нам было не суждено. В дом зашли два полевых жандарма, вытолкали нас во двор и затем погнали по дороге. Сами они ехали сзади нас на санках и лошадьми подгоняли нас идти быстрее. Мы шли, спотыкаясь и падая, стараясь брать несколько в сторону, чтобы не попасть под лошадиные копыта, поднимались и снова шли. Пройдя, как нам казалось, километра три-четыре, мы оказались на окраине Константиновки возле какого-то штаба. Немцы зашли в него вместе с нами и там, что-то спрашивая, все время употребляли в разговоре слово «партизаны». Слыша это слово, мы вмешивались в разговор, но все, что мы могли сказать, это — «вир ниht партизанен». Кончилось тем, что нашим конвоирам сообщили, что они попали не по адресу. Так нас завозили в пять или шесть штабов, и всюду наши конвоиры попадали «не по адресу».

Уже начинало темнеть, когда в последнем штабе их представитель, видимо, предложил нашим конвоирам грузовую машину, чтобы нас куда-то отвезти. Нам скомандовали залезть в кузов, рядом с водителем сел один из наших конвоиров с автоматом, и мы поехали. Отъехав от города километра три-четыре, машина остановилась, и конвоир скомандовал нам вылезать из машины. Уже почти стемнело. Мы увидели, что остановились в степи, вокруг нет никаких строений, рядом с дорогой пахотное поле.

Нам стало ясно, для чего нас сюда привели. Последовала команда конвоира идти вперед от дороги в поле. Я шел по пахоте, и мозг не воспринимал, что это последние минуты моей жизни. Страх не было,

но наступило какое-то безразличие после стольких переживаний. А когда в наступившей темноте мы увидели впереди очертания противотанкового рва, то окончательно убедились, что это конец. Конечно, умирать не хотелось. Ведь немногим более месяца назад мне исполнилось только 20 лет! Кричать и просить о чем-то у конвоира было бесполезно. Взявшись за руки, мы медленно приближались к противотанковому рву. Мы попрощались друг с другом, хотя практически и не знали хорошо один другого. Я еврей, он белорус, но несчастье нас сдружило.

Вдруг последовала команда «хальт» («стоять!»). Мы остановились и, не поворачиваясь, ждали автоматной очереди в спину. Но последовала опять команда конвоира «цурюк» («назад»). Мы, ничего не понимая, тем более после такого невероятного нервного напряжения, повернулись и услышали, что конвоир нас звал, повторяя «ком, ком» («иди, иди»). Он повернулся и пошел в направлении к дороге, где стояла машина. Мы пошли за ним и, подходя ближе к дороге, увидели, что лоб в лоб к «нашей» машине стоит машина типа «пикап». Когда мы подошли к самой дороге, нам скомандовали опять лезть в кузов. Мы с трудом забрались в него. Тогда мы поняли, что нам пришлось испытать самое страшное, что могло быть, — умереть, как беспризорные собаки, где-то в степи. Но мы также не знали, что же ждет нас впереди. Наша машина развернулась и вслед за пикапом поехала обратно в город.

Нас завели в какой-то штаб, — вероятно, тот, который наши конвоиры пытались найти раньше, и после того, как они его не нашли, пытались с нами покончить. Здесь нас допрашивал немецкий фельдфебель. Он задавал вопросы, кто мы, откуда и т. д. Допрос, к нашему удивлению, а возможно и к счастью, велся на чистейшем русском языке, даже без акцента. Это давало нам возможность более четко и подробно рассказать о себе. Мы рассказали, что являемся военнопленными, работали на болторезном заводе в г. Дружковке, где комендантом был обер-лейтенант Арнгайтер (я эту фамилию запомнил на всю оставшуюся жизнь). Более подробно рассказали, в каких лагерях мы были до этого и какие работы выполняли. На все вопросы мы отвечали четко, не задумываясь.

Только в одном мы ему соврали. Мы не сказали, что бежали к своим, а сказали, что, когда немецкие самолеты начали бомбить танковую колонну русских, мы испугались и решили убежать куда-нибудь подальше от места боя. Видимо, он нам поверил, и нас отвели в лагерь, который находился рядом.

Жизнь уготовила нам страшное испытание, мы были всего в нескольких минутах или секундах от того момента, когда наша жизнь должна была оборваться. Откуда взялся этот немецкий офицер? Почему он вмешался в нашу жизнь тогда, когда она должна уже была оборваться?.. Это понять невозможно.

Но... опять СУДЬБА!!!

В лагере мы столкнулись с совсем молодыми ребятами, только-только попавшими в плен. Так продолжилась моя лагерная жизнь. У меня уже был более чем полугодовой опыт пребывания в лагере, и я хорошо знал, что это за жизнь. Для себя я принял решение, что при первой же возможности я должен вырваться куда-нибудь на работу. Долго ждать не пришлось. К этому времени наступление советских войск на Донбасс было приостановлено. Дней через семь-восемь стали набирать команду для работы ку-да-то, и к этой группе мне удалось пристроиться. Нас, человек 70, разместили в грузовых машинах и отвезли в город Новую Горловку. Там разместили в двухэтажном здании — как оказалось, это было здание бывшей школы. Нас покормили почти такой же бурдой, но к ней дали еще 400 гр. черного хлеба (тоже из какой-то смеси). Это было уже что-то. Кормили бурдой три раза в день. Мы разместились в бывших школьных классах на полах, застеленных соломой. Помещения не отапливались, но мы были защищены от дождя, снега и ветра. Это был конец февраля 1943 г. Утром нас подняли рано, дали позавтракать и погнали на товарную станцию, где мы должны были заниматься разгрузкой вагонов с различными боеприпасами, прибывающих на эту станцию, и погрузкой боеприпасов в автомашины для вывозки их со станции на армейский склад, который размещался на территории бывшего хим. завода «Синтус».

Часть людей из нашей команды попадала работать на этот завод. Частенько попадал и я туда же. Работа была очень тяжелая, так как боеприпасы, и одиночные, и упакованные в тару, были довольно тяжелыми, а мы довольно тощими. Особенно трудно было разгружать снаряды крупного калибра — более 200 мм. Два человека в вагоне брали такой снаряд, упакованный в плетеную корзину цилиндрической формы, и укладывали каждому на плечо. Его надо было отнести к месту складирования. Когда снаряд укладывали мне на плечо, я аж приседал под его тяжестью и спешил скорее отнести его к месту укладки, чтобы быстрее освободиться от этой тяжести. Так мы работали каждый день. Придя с работы и поужинав, уставшие, ложились спать.

Через несколько месяцев народ опять начал роптать, что надо помыться, прожарить одежду, так как вши уже совсем заели. Был назначен день, когда мы должны были пройти санобработку.

Для меня вновь наступила крайняя опасность. На этот раз у меня не было возможности как-то выкрутиться, чтобы не пойти, и мне пришлось идти со всеми вместе. На этот раз меня спасла теснота помещений раздевалки и помывочного отделения. Там не было душевых, мылись с помощью тазиков. Кроме тесноты в раздевалке там был еще очень тусклый свет, а в помывочном отделении от горячей воды стоял сплошной туман, и добираться до кранов с водой приходилось чуть не

ощупью. Вероятно, до войны это была городская баня, и там мылось одновременно немного людей, а тут пригнали целую ораву, которую надо было вымыть как можно быстрее. Все эти «недостатки» позволили мне и на этот раз выйти из опасной ситуации и за столь длительный промежуток времени, пусть не совсем хорошо, но помыться «настоящей горячей» водой.

Однажды, работая на выгрузке машин на заводе, в момент, когда не было машин под погрузку, немцы предложили разобрать бездействующую деревянную градирню. Видимо, им понадобились дрова. Градирня была невысокая, метров 10–12. Разбирать надо было начинать сверху. Требовалось сначала снять обшивку из досок, а затем разобрать каркас из брусьев. За эту работу они давали целую буханку хлеба.

Предложение было заманчивым, но не каждый мог забраться на такую высоту, а тем более работать на ней. Страховочных средств не было никаких, а рабочим инструментом был только топор. Никто, даже за буханку хлеба, не отважился взяться за эту работу. Я знал, что могу выполнить эту работу, долго стоял и думал, вспоминал, как в детские годы облазил все строения, не было ни одной крыши, где бы я не прошелся по их конькам.

И я решился. Сказал, что я полезу разбирать. Вооружившись топором, который заткнул за пояс, я довольно легко забрался на самую верхушку. Меня только беспокоило, не будет ли кружиться голова, но все обошлось. Сначала отбил самую верхнюю доску и в этот зазор влез левой рукой и зацепился за брус. Теперь правой рукой я мог свободно работать. Строение было старое, пересохшее, и доски легко отскакивали и летели вниз. Мне удалось разобрать верхнюю часть градирни, а нижнюю разбирали уже другие, но буханку хлеба я заработал.

Я поделился с теми, с кем поддерживал хорошие отношения. Так что каждому достался небольшой кусочек. Но зато какой авторитет я завоевал!

Наша тяжелая работа продолжалась до начала августа 1943 г. Красная Армия наступала на всех фронтах и уже приближалась к нам. 2 августа нас спешно погрузили в два товарных полувагона, поезд наш тронулся и начал набирать скорость. После выезда за пределы станции произошло резкое торможение, и поезд остановился. Мы по инерции полетели один на другого. Образовалась настоящая куча-мала. Мы выскочили из вагонов, не понимая, что же произошло. Конвоиры собрали нас и повели в сторону, где стоял паровоз. Мы увидели жуткую картину. Второй вагон влез в первый почти до отказа, третий вошел во второй уже меньше, четвертый в третий еще меньше и т. д. Из стен вагонов торчали снаряды, как гвозди. Громадное количество их

валялось на земле. Впереди паровоза было нагромождение шпал высотой более двух метров. Наш состав был комбинированным. За паровозом было прицеплено штук десять вагонов с боеприпасами, за ними два полувагона, в которых размещались мы, а за нами были прицеплены еще полувагоны, груженные бочками с бензином. Оказалось, что кем-то был разобран путь, и поезд, еще не успев набрать скорость, пропахал железнодорожную насыпь, нагромоздив впереди себя громадную кучу шпал.

Но не эта картина удивила всех. Удивительно было то, что ни один снаряд, ни одна мина при таком ударе не взорвалась. Это можно было объяснить только каким-то чудом. И трудно себе представить, что было бы со всеми нами, если бы снаряды начали взрываться и все вокруг гореть.

Но опять пронесло. СУДЬБА!!!

Наступление Красной Армии на этом фронте продолжалось. А нас погнали этапом на Константиновку, затем на Гришино. Здесь нас продержали несколько дней, затем усадили в грузовые машины и повезли. Мы долго ехали. Проехали г. Днепропетровск. Проезжая по его главной улице, видели много развалин и обгоревших остовов зданий. Дальше проехали г. Верхнеднепровск, затем станцию Верховцево и остановились в г. Пятихатки. Здесь нас разместили в небольшом лагере. 18 октября нас вновь посадили в машины и повезли дальше. 21 октября мы приехали в районное село Михайловку (примерно в 30 км от г. Кривой Рог). Здесь нас разместили в помещении свинарника. В этот же день понадобилось несколько человек, чтобы привезти солому, которая заменила бы нам матрацы. С немецким конвоиром мы поехали на хутор Корниловка, примерно в 1,5 км от Михайловки. Пока конвоир решал с кем-то вопрос, где взять солому, мы смогли познакомиться с некоторыми жителями. Они даже успели нас за это время подкормить.

Советские войска продвигались в это время очень быстро. И в первый ночлег в Михайловке мы слышали канонаду, звучавшую со стороны Кривого Рога. Это значило, что нас увозили на запад, а Красная Армия нас догоняла.

Тогда я опять решился бежать. Я поговорил с одним из своих товарищей, его звали Николаем, и на следующий вечер, когда стемнело, мы рванули с ним на уже знакомый нам хутор Корниловку. Нам предстояло пересечь асфальтированное шоссе, через которое почти непрерывно двигалась немецкая техника. Мы залегли недалеко от дороги, выжидая подходящего момента. В это время, как назло, ярко светила луна. Переходить дорогу во весь рост было опасно, поэтому, выждав момент, когда дорога опустела, мы по-пластунски переползли через нее и оказались в поле.

Дорогу на хутор мы уже знали, поэтому направились к той хате и к той семье, с которой были уже знакомы. Нас приняли, обогрели, подкормили, чем смогли, и мы начали советоваться, как нам быть

дальше. Мы сказали, что хотим укрыться на хуторе до прихода Красной Армии. От хозяйки мы узнали, что их хуторской полицей очень боится прихода советской власти, так как служит у немцев. В то же время хозяйка сказала, что ничего плохого людям он не делал. Я сказал ей: «Пусть тогда он поможет нам здесь укрыться, а когда придет сюда вновь советская власть, мы, как говорится, за него постоим, сказав, что он, мол, помог двум пленным убежать из немецкого плена». Мы абсолютно не представляли, что с нами будет, когда Красная Армия нас освободит, но почему-то верили только в хорошее. Хозяйка пошла к полицая на переговоры, не говоря ему, что мы уже здесь. Мы с нетерпением ждали ее возвращения, и когда она пришла, то сообщила нам, что полицай согласился нам помочь.

Ночь и день мы пробыли у этой хозяйки. В течение этого дня полицай нашел семью, которая согласилась нас припрятать у себя. Когда стемнело, он отвел нас к новой хозяйке. Эта семья состояла из двух человек: матери и дочери. Мы долго сидели и разговаривали. Узнали от дочери, что она была комсомолкой. Ее звали Мотей, а имя и отчество матери я позабыл. Но случилось так, что под Кривым Рогом наступление наших захлебнулось. Прошла уже почти неделя, как мы жили у этой хозяйки. Как-то раз она мне говорит: «Слушай, Витя, оставайся у нас, будешь как сын, а Николай пусть перейдет к кому-нибудь другому».

Мне об этом трудно было сказать Николаю, но в этом мне помогли сами немцы. Утром в хутор заехала машина с полевой жандармерией и с несколькими украинскими полицейскими. Они никого не ловили, а через громкоговоритель, разъезжая по хутору, объявили: «Всем лицам мужского пола к 10 часам утра собраться возле деревянного сарая на краю хутора. Кто попытается скрыться и будет найден, будет расстрелян, а хата будет сожжена». Мы поняли, что нам надо идти вместе с хуторскими мужиками. Мы уже были одеты в гражданскую одежду, и в ней отправились к месту сбора. Всем сказали зайти в сарай, после чего нас заперли. Зная, что творят немцы с населением, мы думали, что в этом сарае они нас и сожгут. В сарае мы пробыли остаток дня и ночь. На утро 1 ноября нас повели этапом в город Вознесенск.

13 ноября нас привели в этот город и там определили в лагерь, где находились гражданские лица только мужского пола. Дней через десять нас погрузили в вагоны и отправили в неизвестном нам направлении. 27 ноября 1943 г. нас привезли в г. Перемышль, это был уже польский город. Нас выгнали из вагонов и направили на приемный пункт. На следующий день нам устроили баню и санитарную обработку, во время которой один немец (а может быть, поляк) каким-то раствором смазывал все волосяные покровы на теле каждого. Я опять шел как на эшафот, но проскочил.

Затем была баня и прожарка одежды. Мне вновь удалось выдержать и это испытание.

После всего этого нас всех пропустили через настоящую медицинскую комиссию, похожую на ту, которую проходят допризывники во время призыва в армию. Комиссия состояла из нескольких врачей. На осмотр мы заходили раздетые, в чем мать родила. Каждый врач осматривал по своей части. Внимательно проверяли, чтобы никто не проскочил с венерическими заболеваниями. Врач-венеролог тщательно осматривал и ощупывал половые органы. Что я мог думать и испытывать в это время? Я прекрасно понимал, что мне пришел конец. Более безвыходного положения я не представлял. Но вот врач что-то сказал, и я не сразу сообразил, что он зовет следующего. Я, сам не свой, двинулся на выход, уверенный в том, что сейчас кто-то придет и меня уведет. Оделся, сидел и ждал своего последнего часа. Закончилась комиссия, все уже оделись, и поступила команда выходить. Мне все еще не верилось, что такое испытание я мог пройти. Но колонна выстроилась, и поступила команда двигаться в лагерь.

Опять вмешалась СУДЬБА!!!

Чем еще мог я объяснить, что уже в который раз мне удастся выкрутиться из, казалось бы, безвыходных ситуаций? Какой ангел-хранитель так заботился обо мне? Ведь прошло уже почти полтора года, как я находился в плену, и сколько раз уже попадал я в безвыходные ситуации. И каким же должен быть человек, чтобы все это выдержать?..

Германия.

Еще до начала комиссии дошли слухи, что нас будут отправлять на работу в Германию. Для меня это было наихудшим вариантом, но я ничего не мог изменить и положился на свою судьбу, которая пока еще меня не подводила.

На следующий день рано утром нас загнали в вагоны и отправили в Германию. 30 ноября нас привезли в Дрезден.

Когда я узнал, что нахожусь в Дрездене, я вдруг вспомнил о своей случайной находке — медальоне с видами архитектурных памятников г. Дрездена, который еще за несколько лет до начала войны я нашел у нас во дворе. Откуда он взялся? Может быть, это тоже было предусмотрено в моей судьбе, побывать в Дрездене, и потому судьба до сих пор меня оберегала? Слишком много совпадений оказалось в моей жизни.

В Дрездене отобрали небольшую группу человек в 16, в которую попал и я, и отправили в г. Фрейталь. Это был небольшой городишко, окраины которого сливались с окраинами Дрездена. Через Дрезден везли нас в открытой машине, и мне удалось увидеть этот город во

всей его красе. Красивые дома в готическом стиле, красивые улицы и площади, чистые и ухоженные. Ничего подобного в своей жизни мне еще не приходилось видеть. Несмотря на мое душевное состояние, я не мог не обратить внимание на эту красоту.

Привезли нас в небольшой рабочий лагерь, принадлежавший чугунно-литейному заводу фирмы «Кениг-Фридрих-Аугуст-Гютте». Этот завод имел два литейных цеха: один чугунно-литейный, второй — цех алюминиевого литья. В лагере уже жили и какое-то время работали восточные рабочие, привезенные из Бердянска, причем все молодые ребята в возрасте в основном от 15 до 18 лет. Несколько человек были постарше и несколько, которым было уже за 50. Двое из этих пожилых были из моего города Мелитополя, но мы не были знакомы. Всего в лагере находилось примерно человек 70 рабочих.

Так началась моя жизнь на немецкой земле. Почти все «остарбайтеры» работали на вспомогательных работах, и эти же работы пришлось выполнять и мне. Более слабые работали в стержневом отделении, где работа была значительно легче, а остальные находились на работах по подготовке литейной земли — очень трудоемкая и тяжелая работа. Но еще труднее было работать на заливке чугуна в литейные формы, когда вдвоем приходилось перетаскивать расплавленный чугун в ведрах весом до 100 кг.

Заводской лагерь имел три деревянных помещения: спальня, барак с двухэтажными деревянными кроватями; барак, где размещалась столовая и место для проведения свободного от работы времени, и бытовое помещение, где размещались, с одной стороны, умывальник, а с другой — туалет. В лагере ежедневно дежурили надзиратели из числа гражданских лиц пенсионного возраста. Их задача заключалась в том, чтобы следить за нашим поведением и выполнением всех правил внутреннего распорядка. Уйти из лагеря было просто, но уходить было некуда.

В литейном цехе работа была не только тяжелая, но и грязная. А для этого была хорошая баня, где было не менее двадцати душевых установок и раздевалка. Но для меня эти условия мало подходили, так как я не мог вместе со всеми купаться. Мне надо было как-то выкручиваться в этой ситуации. Не идти мыться — плохо, идти со всеми — еще хуже. Первое время я высиживал в комнате ожидания, пока основная масса рабочих не помоеется и не уйдет. А когда людей оставалось немного, тогда шел и я, стараясь становиться под душ подальше от других. В общем, выкручивался как мог.

В бараке для отдыха был установлен приемник, по которому шли немецкие передачи. Он находился в деревянном футляре, и на передней его стенке было отверстие против ручки, регулирующей громкость. Как-то, засидевшись немного позже, я стал свидетелем того, как один из парней, выждав, когда многие ушли спать, стал на скамейку, полез ножовочным полотном в щель между ручкой громкости

и внутренней стенкой футляра и, поворачивая ручку настройки волны, поймал Москву, и мне удалось в этот день услышать последние известия.

После этого я никогда рано не уходил спать, а дожидался последних известий. Когда проводилась эта операция, мы обязательно выставляли дозорных. Слушая эти передачи, мы были в курсе об успешном продвижении советских войск и войск союзников.

Среди молодых ребят были и такие, которые шастали по городу и выискивали, где и что можно украсть, и в первую очередь продукты. Так однажды они обворовали продуктовый магазин, в котором выкрали не продукты, а продуктовые талоны, по которым продукты в магазине уже были отоварены немцами. Я об этом, наверное, никогда бы и не узнал, если бы случайно, поправляя матрац на своей кровати, не обнаружил под ним бумажный пакет, в котором были завернуты эти талоны. Ко всем проблемам, которые приходилось мне ежедневно решать, чтобы скрывать свое происхождение, прицепилась ко мне еще и проблема с талонами. Я невольно подумал, а что было бы со мной, если бы немцы нашли их под моим матрацем. Думаю, что где-то меня сгноили бы. В лагере было два человека, которые были назначены старшими и через которых к нам поступали различные указания от наших надсмотрщиков. Оба они были из Бердянска, никому ничего плохого не делали и вели себя со всеми по-панибратски. Я решил обратиться к одному из них, Василию Кальцеву, который должен был хорошо знать, кто это мог бы сделать. Привел его к своей кровати, поднял угол матраца, достал пакет, развернул его и показал содержимое. Попросил его, чтобы он забрал его с собой, пообещав, что я никому об этом говорить не буду, а он пусть уж поступает, как найдет нужным. Я мог бы его, конечно, и сам выбросить, но подумал, что тот, кто спрятал, мог бы мне за это отомстить. Что Кальцев сделал с этим свертком, я никогда не интересовался. И даже тогда, когда через много лет я встретился с ним в своем городе Мелитополе, где он работал помощником директора городского аптечного склада. И дальнейшие наши случайные встречи заканчивались только приветствиями на ходу.

В 1944 г. в Дрездене все чаще начали звучать сигналы воздушной тревоги, и у нас во Фрейтале также. Иногда были слышны раскаты далеких бомбардировок. Руководство фирмы решило строить бомбоубежище. Возле завода были идеальные условия для строительства бомбоубежища в каменистом кряже, проходившем за заводом.

Работа началась. Два немецких рабочих-взрывника бурили днем шурфы в каменной толще кряжа, закладывали взрывчатое вещество и поздно вечером производили взрывные работы, после чего двое наших рабочих в течение ночи должны были убирать весь каменный мусор, образовавшийся после взрывов.

Я начал думать, как бы и мне попасть на эту работу, которая дала бы мне возможность отдалиться от всей массы рабочих. Долго я ждал этой возможности. И вот однажды от одного из рабочих узнал, что ему надоело работать все время в ночной смене. Я начал подбивать клинья ко второму напарнику, и мне удалось получить его согласие работать с ним. А потом попросил старшего, чтобы меня перевели из цеха на работу по строительству бомбоубежища. Это мне тоже удалось сделать. Мне стало немножко легче. В ночное время, когда нас всего двое, а в бане двадцать душесеток, мне легче было скрываться от посторонних взглядов.

Так прошел 1944 год, и наступил год 1945. Советская армия на всех фронтах теснила немцев. Уже действовал второй фронт. По немецкой земле успешно продвигались войска союзников. В антигитлеровской коалиции уже было решено, как будет поделена Германия после окончательного ее разгрома. С этой целью, чтобы СССР не достались уцелевшая немецкая промышленность, а также города и другие населенные пункты, они решили их по возможности уничтожать.

13 февраля 1945 г. под вечер раздался сигнал воздушной тревоги. Мы находились в лагере. Услышав сигнал, все повыходили на улицу, начали прислушиваться. Услышали нарастающий гул самолетов, который все приближался. Нам некуда было деваться, и мы уселись возле водосточной канавы, чтобы в случае бомбежки хотя бы улечься в нее. Волна самолетов пронеслась над нами, и вскоре мы слышали сплошной гул разрывов в Дрездене. На Дрезден сбрасывались зажигательные бомбы различного калибра. Город запылал, а самолеты все шли волна за волной, и мы их хорошо видели. Погода была пасмурная, и отсветы от пылающего города отражались облаками. Стало светло, можно было даже читать, и пролетающие над нами самолеты были ясно видны.

Так продолжалось несколько часов, потом все стихло, но ненадолго. Вскоре послышался опять нарастающий гул самолетов, но от этого гула казалось, что земля дрожит. Приближались стаи американских летающих крепостей, которые спешили добить этот исторический город-красавец, город-памятник архитектуры. Самолеты продолжали идти волна за волной. Бомбежка продолжалась до 6 утра. На город сбрасывались тяжелые бомбы, чтобы как можно больше разрушить город. На следующий день после бомбежки говорили, что американцы, кроме тяжелых бомб, применяли так называемые люфтмины. Говорили, что одна такая мина сносит целый квартал. От бомбежки стоял такой грохот, что мы даже не слышали, когда и на наш городишко была сброшена, возможно, такая же люфтмина.

На следующий день мы смогли в этом убедиться, побывав на месте трагедии. Один из кварталов был полностью снесен. Кто-то из ребят увидел несколько оторванных досок под самой крышей и нашего барака. Мы поняли, что наш барак уцелел потому, что находился в

ложбине, и воздушная волна прошла над ним, а значит, и над нами. На утро после бомбежки из города хлынул поток беженцев. Немецкая пресса сообщила, что в эту ночь погибло 104 тысячи человек.

На следующий день после бомбежки весь лагерь погнали на разборку завалов. Перед нами предстала страшная картина. Мы с трудом пробирались по этим завалам. Железнодорожные пути были искорежены, а рельсы, как изогнутые спирали, торчали вверх на высоту 10-15 метров. Всего лишь более года назад, когда нас везли в лагерь через Дрезден, я любовался его красотой, красотой деяний рук человеческих. А теперь, глядя на эти развалины, на несчастных немцев, бредущих по дорогам, уходящих подальше от этих развалин, где они потеряли жилье, а может быть, и близких им людей, я думал о том, что вот и они, то есть немцы, сами почувствовали то горе, которому они подвергли миллионы людей во всем мире.

Освобождение.

Каждый день чувствовалось приближение фронта. И вот 15 апреля началась эвакуация нашего лагеря. Мы со своим небольшим скарбом в сопровождении наших надзирателей двинулись в путь. Нас повели через город Дрезден почему-то на восток, навстречу наступающим советским войскам в сторону польской границы. В одной из деревень недалеко от города Пирна нас поместили в хозяйских постройках одного бауэра.

Мы тут же начали хозяйничать. Вскрыли кагат с картошкой и начали заниматься самообслуживанием. Наши надзиратели ку-да-то сбежали, и мы остались без надзора. Фронт все ближе продвигался к местам нашего обитания. Мы решили здесь дожидаться прихода нашей армии. Что и произошло через несколько дней. Мы услышали, что артиллерийская стрельба из дальнобойных орудий ведется через нашу деревню. Мы (в количестве восьми человек) облюбовали пустующий дом и там притаились. Это было вечером 7 мая.

На следующий день рано утром мы увидели, что в село заехало несколько советских самоходок. Для нас стало ясно, что пришла долгожданная свобода. Я подошел к одному капитану и сказал ему, что я военнопленный артиллерист и прошу меня взять в свою часть. Он мне ответил, что им люди не нужны. Этот ответ меня удивил, так как я думал, что освобождаемых пленных они будут с радостью брать для пополнения. Войска двинулись вперед, но часть из них осталась в деревне.

А во второй половине дня мы услышали бешеную стрельбу со всех видов стрелкового оружия. Мы подумали, что в деревне начался бой, но, выглянув из дома, мы увидели, что все солдаты стреляют вверх, обнимают друг друга, целуются и кричат, что войне конец. В этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Меня охватила неопишуемая радость.

После почти трехлетнего пребывания в фашистской неволе, а точнее, через 1041 день и ночь я оказался на свободе. Я не знал, как выразить эту радость. Умом я понимал, что в моей жизни произошло что-то очень важное, появилась возможность найти своих родителей, о которых почти три года ничего не знал, да и они наверняка считали меня погибшим. А мама, наверное, думала, что у меня сложилась судьба так же, как и у ее родного брата Самуила, который погиб в 1918 г. тоже в боях с немцами.

Нет, мамочка, твой сын Самуил тысячу раз мог погибнуть, но не погиб! Он выжил, хотя и под другим именем, которое, как талисман, носит до сегодняшнего дня вот уже 62 года.

...Мне казалось, что я не хожу по земле, а летаю. Кто не испытал в своей жизни тяжелой неволи, тому трудно будет понять человека, который не только долго был в этой неволе, но также ежеминутно находился в невероятном психологическом напряжении от того, что был не такой, как все, кто его окружал, и от того, что постоянно должен был всех бояться. Даже сейчас, почти через 60 лет, записывая эти строки, я почувствовал сильнейшее волнение от этих воспоминаний, да так, что вынужден был сделать перерыв, чтобы немного успокоиться.

День 8 мая 1945 г. стал, по существу, днем моего второго рождения.

На следующий день войск в деревне прибавилось. Появились части, которые занимались вопросами работы тыла. Обратившись к ним, мы получили точные координаты, куда должны были обратиться далее. Нам следовало отправиться в город Бунцлау (теперь это город Болеславец на территории Польши), где находился полевой военкомат.

Нас было 6 человек призывного возраста, и перед тем, как туда отправиться, мы пошли по немецким домам и обзавелись велосипедами. Не идти же нам более 100 км пешком. Через несколько дней, а точнее, 13 мая, проехав города Пирна и Герлиц, мы прибыли в город Бунцлау и явились в военкомат, где уже собралось более 20 человек с разных мест Германии. Один из офицеров построил нас в одну шеренгу и, подходя к каждому по очереди, собрал и записал сведения о каждом из нас, кто есть кто.

Впервые за три года я произнес вслух свою настоящую фамилию. Имя я решил оставить то, которое сам себе присвоил во время пленения. Оно происходит от слова «Виктория», что означает «победа». Я должен был победить в этой борьбе за жизнь, и я победил. С первой минуты стало символом моей победы над силами зла, которые окружали меня все время и со всех сторон. Как же я мог от него отказаться?

Решил — будь что будет. Хуже того, что я видел за прошедшие три года, не будет.

При опросе в шеренге я сообщил о себе, что был офицером, попал в плен на юго-западном направлении в 1942 г. Через некоторое время после окончания опроса этот офицер вызвал меня по фамилии, вручил список опрошенных и сказал, чтобы я в соответствии с этим списком вызывал всех опрошенных по очереди на комиссию.

Меня несколько удивило проявленное ко мне доверие. Я принял поручение к исполнению. Невольно подумал, что меня решили вызвать последним, когда все уже пройдут комиссию, чтобы подробнее заняться мною. Комиссия закончила работу, а меня так и не вызвали, и я остался в полном неведении, что же будет дальше.

Через некоторое время вышел офицер и, вызывая каждого по фамилии, вручал красноармейскую книжку (эта книжка до сих пор хранится у меня). 15 мая 1945 г. меня направили в запасной 189-й стрелковый полк, а 20 мая мы пополнили 1108-й стрелковый полк 331-й стрелковой дивизии 31-й армии.

Меня направили в минометную роту. Командир роты, капитан (фамилию его не помню, но помню, что она была украинской), очень хорошо ко мне отнесся, и после моего короткого рассказа о себе он понял меня и оставил при себе. Он освободил меня от строевых занятий, нарядов и других работ. Я был у него как начальник штаба. Все распоряжения, команды, необходимые документы по его команде готовил я. Он проявил ко мне человечность, дав время набраться сил.

Полк стоял в лесу. Погода была теплой, я упивался свободой. Мне казалось, что я не хожу по земле, а летаю. Все поручения, которые давал командир роты, мною немедленно выполнялись, и это ему нравилось.

Но наша армия подлежала расформированию и передаче из состава 1-го Украинского фронта в состав 2-го Украинского фронта. 15 июня 1945 г. началась ее передислокация. Мы отправились маршем из Германии в Венгрию. Пройдя несколько населенных пунктов, мы пересекли границу Чехословакии и почти 2 недели двигались по ее территории. Только недавно закончилась война, и командование, видимо, решило сделать так, чтобы этот марш длиной более 1000 км не утомлял людей и не был им в тягость. По два дня мы шли, а на третий день отдыхали. В день проходили 40–50 км, и остановки на ночлег выбирались квартирьерами в самых красивых живописных местах, в большинстве случаев на берегах рек.

Самым трудным был переход через Карпаты. Стояла жара, людей мучила жажда, и если на пути попадался горный ручей с холодной ключевой водой, все бросались к нему, припадали ртами и пили до «не хочу». Для некоторых такое водопитие окончилось трагедией, так как люди были разгорячены от сильной жары. Говорили, что было даже несколько смертельных случаев, в основном среди нацменов.

В течение всего маршрута движения я ни одной капли воды не взял в рот. Мне уже хорошо было знакомо состояние человека, если он в походе напивался воды. В этом случае жажда была невыносимой. Как через Карпаты, так и весь остальной маршрут я прошел без каких-либо проблем. Руководствовался и придерживался правил, после утреннего завтрака выпивал солдатскую кружку чая с хлебом, посыпанным солью, и это давало мне возможность не страдать от жажды в течение всего дня.

От этого марша я испытывал одно удовольствие. 28 июня, пройдя Чехословакию, мы вступили на территорию Австрии. Проходя по городам и селам Чехословакии, я любовался окружающей природой, красивыми пейзажами, архитектурой, т. е. познавал мир. Ведь я был на свободе! Не меньшее удовольствие я получал при прохождении Австрии. Особенное восхищение вызвала у меня столица Австрии Вена, куда мы, перейдя мост через Дунай, вошли утром 2 июля.

Во время марша выдерживался временной график: 50 минут марш, 10 минут привал. В Вене наше подразделение во время привала оказалось напротив здания парламента. Нас предупредили, что при движении по городу мы не должны ложиться или садиться на дороге. Придерживаясь этого указания, мы ели стоя свой сухой паек, выданный нам накануне в связи с тем, что переход через Вену должен был занять длительное время. Затем почти все принялись курить, и так как табак, выданный нам накануне, был очень крепким, многие, не докурив даже до половины, выбрасывали окурки на дорогу.

И тут мы увидели, как вдоль нашей колонны шли австрийцы с тросточками, на концах которых были острые шипы. Они накалывали окурки и отправляли себе в карман. Нас это не особенно удивило, но появление одной молодой девушки, которая ехала вдоль нашей колонны на велосипеде, одетая в коротких трусиках, вызвало бурю восторга, так как в те времена такое увидеть в Союзе было невозможно.

3 июля вечером мы перешли границу и вошли на территорию Венгрии. Пройдя почти через всю ее территорию, 13 июля пришли в г. Надьканиж, где был расквартирован 363-й гвардейский стрелковый полк, в котором я и был зачислен в отдельный зенитно-пулеметный взвод стрелком. Взвод располагался в отдельной большой казарме, в которой размещались не только мы, но и были установлены наши четыре зенитных пулемета.

Командиром взвода был лейтенант Михаил Азбель. С ним у меня сложились какие-то официальные отношения. Да и с остальными он пытался быть строгим. Он был еще очень молод и наверное упивался своей должностью, показывая свое превосходство над остальными. А с личным составом взвода я быстро сдружился. Командир отделения сержант Сергей Транда в свое свободное время сшил мне сапоги.

У меня, наконец, появился постоянный адрес, и в первую очередь я занялся розыском своих родных. Я написал письмо на адрес своего двора, в котором я проживал до войны, надеясь, что кто-то из соседей продолжает там жить. Мои надежды оправдались, и вскоре я получил письмо от своего дяди, которому бывшие мои соседи сообщили обо мне после получения моего письма. К этому времени мой дядя с женой и сыном успели вернуться из эвакуации из Ижевска. Они знали адрес моих родителей, и в свою очередь сообщили им обо мне. Вскоре я получил письмо и от родителей. И только тогда узнал, что они живут и работают в Новосибирске.

Трудно себе представить, что чувствовали мои родители, когда узнали, что я жив. Ведь за три года до этого они получили сообщение, что я пропал без вести. Они прекрасно понимали, что значило тогда быть пропавшим без вести. Как бы то ни было, но я вновь обрел родителей, и у меня появилась надежда на скорую встречу с ними.

В феврале месяце 1946 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о частичной демобилизации из армии военных старшего возраста, и отдельно был пункт о демобилизации студентов 2-го курса вузов. Я относился к этой категории.

Я немедленно написал письмо своему дяде Изе, объяснив, какие справки нужны были мне из института, и просил его подойти к директору института Георгию Федотовичу Гуливеру с просьбой предоставить для меня нужные справки. Трудность и неуверенность в успехе были у меня в том, что мне нужны были справки, в которых значилось бы мое новое имя, а иначе они были бы бесполезны. Об этом я четко объяснил дяде в своем письме.

Он пошел к директору института. Они и до этого были уже знакомы друг с другом по комсомольской работе в городе. Но больше всего, мне кажется, сыграло в этом деле именно то, что Гуливер не мог не вспомнить, что каким-то образом был обязан моему отцу за то шефство над ним, когда он был еще подростком, что в дальнейшем дало ему возможность занять должность директора института. Кроме того, узнав мою историю, он, как отец, потерявший в эту войну своего единственного сына, на почве чего из-за болезни глаз ослеп, немедленно дал задание, и нужные справки были мне высланы. Они помогли мне быстро демобилизоваться, и уже 4 апреля 1946 г. я по демобилизации отправился из армии в свой родной Мелитополь.

После войны.

В послевоенное время особой дискриминации как человек, побывавший в плену, я не испытывал. Но отдельные факты, отрицательно влиявшие на мою жизнь и связанные с этим, все же были.

В 1947 г. страна отмечала 30-ю годовщину Октября. Мы, студенты, собрались в институте для того, чтобы пойти на демонстрацию. Начали выносить знамена и транспаранты и раздавать студентам. Мне тоже хотели дать транспарант, но я отказался. Этого оказалось достаточно, чтобы многие после праздника перестали со мной общаться, избегали меня, в том числе и мой лучший друг Алексей Иванов. За этим, как оказалось, стояла соответствующая обработка со стороны комсомольской организации, о чем мне позднее рассказал, предварительно извинившись, тот же Иванов.

По окончании института меня распредели в Керченскую машинно-тракторную станцию Крымской области. Мы с женой очень обрадовались тому, что я буду работать в городе, да еще в Крыму. Но вскоре после защиты диплома распределение откорректировали, и меня направили в сельскую местность бывшей Великолукской области. При этом корректировка коснулась одного-единственного человека — меня. И я поехал, ничего не поделаешь.

В 1970 г. передовиков производства награждали юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Руководство завода внесло в список награждаемых и меня. Но начальство повыше меня из списка вычеркнуло, и только через несколько месяцев, много позже награждения остальных, завод сумел добиться восстановления справедливости.

За всеми этими, может быть, и незначительными самими по себе эпизодами стоит то, что я побывал в немецком плену.

Исай Моисеевич Тартаковский. Из незаконченных воспоминаний.

[14]

Вместо справки об авторе публикуем письмо Е.И. Лурье, дочери И.М. Тартаковского, в настоящее время проживающей в Израиле:

«Уважаемый Арон Шнеер! Спасибо за внимание.

Высылаю Вам папины воспоминания. Он писал их по нашей просьбе (моей и брата), уже будучи тяжело больным, в 1986 г. И скоро его не стало. Он умер в 67 лет. От рака, очень поздно обнаруженного. Папа писал для нас, для своих детей. Всю свою жизнь эта часть его биографии была для него когда опасной (в институт не принимали. А я сейчас, после Солженицына и многой другой информации, удивляюсь, как гребенка ГУЛАГ а не захватила его и не потащила. Просто очень повезло), а когда никому не интересной. В советской истории ведь не было Катастрофы.

Папа был техником, потом инженером. Не писателем. Это его единственное произведение. И еще. Может, стоит принять во внимание, что все советское время все, что передавалось бумаге, проходило перед этим самоцензуру в голове пишущего.

Мой отец, Тартаковский Исай Моисеевич, родился в 1926 г. в городе Екатеринославе, ставшем вскоре Днепропетровском. Его отец умер от тифа через 3 месяца после его рождения. Его мать, моя бабушка, Любовь Абрамовна Тартаковская, прожила хоть и трудную, но долгую жизнь и умерла в 1983 г.

В армию отец был призван в 1940, демобилизован в 1946.

<...> С началом войны думал только об оставшихся в Днепропетровске маме и бабушке, поэтому, невзирая на опасность, шел пешком с западной границы в город, где он родился и где все его знают.

<...> А бабушка уже была в Свердловске вместе со своей мамой. И там же, в Свердловске, в августе 1941 г. она получила извещение о пропавшем без вести сыне. Я его видела. Крохотная полоска бумаги, на которой отпечатан один для всех бланк. Вписаны пером имя, отчество, фамилия и из нескольких предложенных „опций“ пропал без вести подчеркнуто снизу.

В 1944 г. освободили Днепропетровск, и их соседка, русская женщина Нила Матвеевна Кашарновская, не задумавшаяся ни разу о степени своего благородства и самоотверженности, немедленно написала письмо Любочке в Свердловск — о том, что тогда, в 1941, был Ися жив, пришел в Днепропетровск, и все, что она знает, а потом связь потерялась...

Не знаю почему, бабушка уверяла, что это письмо не обрадовало ее и не прибавило надежды увидеть единственного сына. Может, она представляла себе, как мало шансов у еврея именно в родном его городе. <...>

С окончанием войны (и то не так быстро) дошло в Днепропетровск первое письмо — жив, цел. Жди, мама.

<...> В 1994 г. в Днепропетровске вышла „Книга памяти“ — перечислены все жители Днепропетровской области, погибшие во Второй мировой войне. Там написано: „Тартаковский Исай Моисеевич. Рядовой. Погиб в бою 03.07.1941“. Копию с этого листа я вкладываю в конверт. Еще раз огромное спасибо,

Лурье Елена».

В октябре 1940 г. нас, призывников из Днепропетровска, повели на ж.д. станцию, погрузили в красные вагоны и отправили в Москву. В Москве с товарной станции Курского вокзала с чемоданами провели через город на Октябрьский железнодорожный вокзал. Так я впервые попал в Москву. С вокзала я поехал по адресу к дяде. Жил он в центре

по Лучникову переулку. Познакомился с его молодой женой, ее братом и тещей.

Обратно на вокзал я успел к отправке нашего поезда. Разместились мы уже не в красных, а в пассажирских вагонах. Прибыли к месту назначения на станцию Кутенкино. Это был военный городок в Калининской области. Здесь стоял караульный батальон.

Поселили нас в казарме — деревянном одноэтажном здании барачного типа. В спальном отделении казармы были устроены нары в два яруса по два ряда длиной примерно 40 м. Мое место было на втором ярусе. Нас было более ста человек. Сильный храп и тяжелый воздух в казарме, исходящий от нас, обуви и портянок, не мешал мне спать крепким глубоким сном от отбоя до подъема. Курс молодого бойца проходил трудновато. Но постепенно я втянулся в армейскую службу. Когда я лежал в санчасти с флюсом, всех с высшим и средним образованием отобрали для отправки в Вышний Волочек Калининской области в школу младших лейтенантов запаса. Меня подняли ночью с постели в санчасти. В Вышнем Волочке меня определили в Минометный взвод. Взвод состоял в основном из днепропетровцев. Командир взвода лейтенант Тихонов был молодой (21 год) красивый брюнет, высокий, стройный, умный и очень добрый. Часто, когда по тревоге поднимали полк, он отправлял меня на конюшню, там было спокойно и тепло. Я чистил лошадей полковой артиллерии.

В Вышнем Волочке мы посещали театр, ходили в город в увольнение. Однажды меня вызвали в штаб полка, вручили пакет и направили по адресу в город. Это было здание НКВД, что меня несколько не удивило. Начальник, которому я вручил пакет, предупредил меня, что мне придется этот дом посещать и помогать ему в работе. Однако это было первое и последнее посещение, так как весной мы покинули Вышний Волочек. Переехали в Калинин^[15], а потом в Белоруссию, в город Пуховичи, что в 60 км от Минска, в 210-ю авиадесантную бригаду, которая переформировалась в 4-й авиадесантный корпус из прибывшего пополнения других частей. Часть наших днепропетровцев отправили в Западную Белоруссию. Я и другие 12 человек, оставшиеся в Пуховиче, попали в комендантский взвод при командующем корпусом. Жили мы в отдельном помещении. Командир взвода, лейтенант, учил нас парашютному делу. Кормили отлично. В бросках, тревогах и других учениях мы не участвовали. Оружие наше — пистолеты — нам не выдавали. Вечером часто ходили в армейский клуб, основной состав которого состоял из одесситов, привезенных вместе с нами из Вышнего Волочка.

В Пуховичах первое время, до переформировки, мы жили в палатках. На спортплощадке стояла вышка с высотой площадок в три метра и пять метров. С них кто хотел (добровольно) прыгал в песок для подготовки к прыжкам с парашютом с самолета. Прыгал и я с трехметровой высоты и однажды неудачно — подвернул ступню. В

санчасть не пошел, так как еще не был укомплектован в комендантском взводе и не хотел рисковать попасть в госпиталь, а потом в другое совершенно новое строевое подразделение после госпитализации. Поэтому я немного шкандыбал. Старался на пятку правой ноги не становиться. Так было в течение двух месяцев, до самой войны.

Война.

22 июля 1941 г. мы, как обычно в выходной, поднялись поздно, пошли в столовую. На территории была заметна суета, но понять, что произошло, я не мог. Спросил у знакомого штабиста по Вышнему Волочку, что происходит? Тревога? Он ответил: «Боевая тревога». И лишь в 10 утра собрали нас в штаб на митинг и объявили о вероломном нападении Германии.

Три дня мы несли караульную службу при штабе. Я видел трех дезертиров с передовой, в том числе одного врача. На вопрос начальника штаба, как он тут оказался, он ответил: «Я крупный специалист и требую работы в тылу». Полковник приказал всех троих расстрелять.

На четвертый день штаб переехал в лес. На следующее утро в расположении штаба в лесу я увидел автомобиль — легковой «оппель». Красивая обтекаемой формы машина, видно было, что иностранного производства. Задержанные с машиной в нашей форме военные чины оправдывались перед нашим полковником. Дальнейшая их судьба мне неизвестна, так как весь наш гарнизон маршем повели на передовую.

Несколько человек нашего взвода и командир-лейтенант получили задание эвакуировать семьи комсостава. По пути лейтенант пристрелил одного антисоветчика, который просил спасти его от советской власти. Видимо, он был ненормальный. Ребята, сидевшие в кузове, рассказывали, что он подбежал к кабине грузового ГАЗика и закричал: «Спасите!» Лейтенант спросил: «От кого? Вы за кого?» Он ответил: «За кого угодно, только не за Советскую власть». Лейтенант моментально пристрелил его, и машина пошла дальше.

К передовой шли мы сутки с привалами и причалами. Командовал колонной майор, выпускник академии, молодой брюнет, среднего роста. Много ребят натерли портянками и обувью ноги. Трудно передвигались. Без команды приваливались к обочине дороги. Тогда майор подъезжал на «Эмке» (М-1), выходил из машины и говорил: «Эх вы. Воины».

Особенно тяжело совершали марш клубные артисты и музыканты, а также те, которым до этого выпала не строевая, а обслуживающая служба.

Штаб расположился в лесу, а десантники-строевики пошли дальше к передовой принимать участие в десантных операциях по обороне реки Березины.

Первые жертвы и расстрел пленного немца.

К вечеру мы узнали о жертвах. Погиб наш начальник инженерной службы майор Филипов при операции по взрыву моста через р. Березину. Об этом нам сказал днепропетровец Стоник, когда мы в палатке улеглись спать, и добавил, что хороший человек был Филипов и вот погиб. Но он не знал, что в нашей палатке улегся офицер-оперативник из штаба, который приструнил Стоника и разъяснил, что майор погиб при исполнении задания.

К утру в расположении штаба метрах в десяти от нашей палатки я увидел впервые немецкого солдата. Он был привязан веревкой к дереву и охранялся двумя часовыми. Рядовой Заика просил у начальства отвязать немца и доверить ему одному его охрану. Однако ему не разрешили. А позже его увели и, в связи с отступлением, расстреляли. Расстреливать поручили днепропетровцу Лене Когану. Он мне рассказал, что прицелился, а команды «огонь» выполнить не смог. Рука дрогнула, сам побледнел до обморока. Когда командир его отстранил и назначил другого исполнить команду, Леня попросил разрешения исправиться и сам расстрелял немца. Немцу было лет 19. На гражданке он работал учеником бухгалтера.

Одни с полевой кухней.

К нашему взводу прикомандировали автомашину (ГАЗик-полуторатонку) с шофером-азербайджанцем. Леню и меня послали заправить водой прицепленную к ГАЗику походную кухню. Когда мы с водой вернулись, никого и ничего от штаба на месте не оказалось. Все войска спешно отходили по направлению к Могилеву. Дорога была забита. Пробка за пробкой. При подъезде к Могилеву на дороге стояла группа комсостава, задерживала всех отбившихся от частей, формировала взводы, роты и отправляла на передовую. При этом говорили, что на фронте инициатива перешла к нам.

Нас тоже задержали. Однако мы убедили начальника, что должны догнать свой корпус авиадесанта. Единственным доказательством нашей принадлежности к авиадесанту были голубые петлицы с эмблемой авиации (птички). Удивительно, но нас пропустили в город. Поездка и розыск нашей части по городу была безрезультатна. Наступал вечер. Мы не имели никаких документов, и, конечно, нас могли задержать и обвинить в дезертирстве со всеми последствиями.

Поэтому Леня решил пойти к коменданту города и проконсультироваться, как найти нашу часть.

Время было очень напряженное, и я не думал, что комендант будет рядовому Лене уделять внимание, тем более что никаких документов у него не было.

Как я был удивлен и восхищен, когда Леня показал выданный комендантом оформленный пропуск, которым разрешалось нам разыскивать свою часть по Могилеву в любое время суток.

Мы ездили, искали в городе и за городом — безрезультатно. Для быстрой езды мы отцепили кухню, поставили ее в подъезде дома. Но все наши поиски были тщетны. Своей части не встречали. Однажды, когда мы остановились у обочины дороги перекусить, к нам подошли цыгане и предложили погадать. Я не хотел, чтобы мне гадала цыганка, хотя она была очень красивой, молодой и не черной, а, к моему удивлению, светлой с каштановым отливом густых волос, заплетенных в толстую длинную косу. Погадала она Лене. Он настоял, чтобы она гадала мне. Дал ей 1 рубль, и она затараторила. Я не верил ни одному ее слову, но запомнил, как она легко без запинки рисовала перспективу моей судьбы. И все так в дальнейшем совпадало, последовательно и точно, как по сценарию этой цыганки.

Шофер поехал заправиться. Обратного он не вернулся. Мы с Леной остались еще в более глупом и опасном положении. Правда, справка коменданта в некоторой степени могла нас выручить, но, не дожидаясь критического момента, когда нас назовут дезертирами, мы решили заявиться в ближайшую воинскую часть.

Леня зашел в распоряжение одного подразделения, а я его дожидаясь у ворот. Смотрю, он выезжает в машине с майором. Мне велит его подождать, пока они вернутся обратно с кухней, которую мы оставили в подъезде одного дома. Вскоре они вернулись, однако без кухни. Было очень неприятно. Видимо, шофер забрал ее раньше нас. Но нас все равно зачислили и поставили на довольствие. Это был штаб 20-го мотомеханизированного корпуса. Мы находились среди крупных военных чинов — начальников служб корпуса, их заместителей, всех офицеров штаба и рядового состава, обслуживающего штаб, включая кухню. Мы попали в райские условия. Стояли на часах, помогали на кухне, ездили на бойню за мясом. Однажды во время такой поездки мы на дороге встретились с машиной, в которой ехали ребята из нашего взвода авиадесанта. Узнали о погибших товарищах. Стоник погиб на автомашине, подвозившей снаряды к передовой. В машину угодил немецкий снаряд.

Передовая.

Короткой была наша райская жизнь при штабе 20-го мотомехкорпуса. Штаб переезжал в другое место за городом. По дороге нас беспощадно бомбили. Многих убило, многих контузило. Страх и ужас.

Через неделю нас укомплектовали в отряд приبلудных и отбившихся от своих частей и повезли в какой-то боевой штаб полка. Там я невольно услышал за палаткой, в которой проходило собрание, выступление командира полка. Он говорил: «Много комсостава погибает из-за того, что, поднимаясь в атаку первыми, они являются живой мишенью, а подчиненные не успевают подняться и командира убивают. Надо командой поднять бойцов и управлять боем». Так учил командир свой комсостав.

Из штаба нас повезли на передовую.

В метрах 100 от леса было село. К нашему прибытию от сельских хат остались одни дымовые трубы. Вчера тут был тяжелый бой. Немцев из села выбили. Но и наших много погибло. Вот нас и привезли сюда на пополнение. Питались сухими продуктами: сухари — рядовым, галеты и сахар — командирам. Были голодные все, кто вчера здесь воевал. Подвоз питания был затруднен. Бои имели локальный характер. Четкой линии фронта я определить не мог.

С этой позиции нас автомашинами увезли на другую. Привезли ночью. Высадили и приказали рыть окопы один на двоих. В окопе мы по очереди, спали по два часа. Ночь была темная, и нельзя было определить окружающую местность. Только на рассвете видно было, что мы расположились в метрах 50 от мелководной узенькой речки, за которой на коренном берегу проходила в посадке дорога в соседнее село. За нами также находилось село. Местность была равнинная и открытая, и только колхозная кухня-домик на два котла метрах в 60 левее нашей позиции был единственной постройкой. Часов в 10 сельские ребята сообщили, что немцы — автомашина и два мотоцикла — в соседнем селе загружаются продуктами из колхозной кладовой (кажется, Коморы) и что возвращаться они будут по заречной дороге. Командир нашей роты старший лейтенант приказал выйти в засаду и перехватить немцев. В эту группу из четырех человек попал и я. Действительно, немцы возвращались обратно. Впереди шла автомашина. После нескольких выстрелов по кабине машина остановилась, а мотоциклисты скрылись. В кабине авто был убит фельдфебель.

Так я впервые увидел убитого немца. Может быть, попал в него я. Определенно это утверждать не могу, так как стрелял не я один. Но я был обучен стрельбе еще до войны, умел пользоваться новым оружием, в то время как другие бойцы были военного призыва, в том числе и наш старшина, и обучены не были.

Когда машину привезли на нашу сторону, из нее выволокли фельдфебеля. А в закрытом специальном для продуктов кузове стояла

бочка с салом и ящики с другими продуктами, награбленными немцами в колхозе. Нас переписали для представления к награде.

Воспользовавшись продуктами, сварили суп. Меня послали в колхозную кухню за супом с двумя ведрами. Когда я нес суп, вся рота залегла в окопы, и только я один с двумя ведрами был на земле во весь рост. Мне кричали, чтобы я залег. На нас двигались немцы и вели огонь. Пришлось поставить ведра с супом и перебежками добраться к окопу.

Немцы открыли огонь и перешли в атаку. Мы оборонялись, у нас был один пулемет «Максим», два «Дегтярева», автоматы и винтовки. После первой атаки немцы подошли с двумя танкетками к реке, часть из них уже переправилась через реку. Я уже слышал их возгласы «Рус давайся». Но наш огонь вынудил их уйти и скрыться за дорогу. В наших рядах были убитые и раненые. Полы моей шинели были посечены. Раненые стонали. Некоторые молили, чтобы их пристрелить, так им было невыносимо мучительно больно. Воспользовавшись коротким затишьем, я и Леня предложили командиру роты отходить. Однако он нам пригрозил и сказал «Куда?».

Через 6-8 минут фашисты вновь пошли на нас. Подошли они очень близко, я уже считал себя пленным, но наш оборонительный огонь снова завернул их обратно. Нас осталось из роты менее 15 человек. Патроны кончились. Поэтому командир сказал «уходим», и мы бегом ушли. Мне и сейчас непонятно, почему немцы нас не преследовали и не захватили, почему дали возможность уйти?

К вечеру мы разбрелись. Я и Леня остановились в школе. Там собрались еще вооруженные рядовые, младший и средний комсостав. Выставили охрану и заночевали. Утром пошли искать, куда и к какой части следует примкнуть, стать в строй и на довольствие. Масса разбитой армии по дороге неорганизованно уходила в восточном направлении. В противоположном, западном направлении передвигались отдельные военные грузовые автомобили, реже легковые. Мы, я и Леня, двигались на восток. Однажды перед нами остановилась полуторка, из кабины вышел старший лейтенант. Задержал нас и других и со своей командой начал отбирать оружие, приговаривая: «Кто идет с передовой, тому оружие не нужно». Попытался он и у нас забрать. Леня отказался отдать, я последовал его примеру. Старший лейтенант присмирел: «Как это можно довести отступление нашей армии до такого состояния?» Он обвинял Сталина за неподготовленность. Вспоминал свое участие в боях в Испании. Потом сквозь слезы попрощался с нами и поехал в сторону фронта.

Где был фронт, точно я не знал. Видно было вокруг у горизонта зарево, и казалось, что мы находимся в огненном кольце. Орудийные залпы доносились с большого расстояния и были приглушенными. Мы изрядно проголодались. Зашли по дороге в хату. Там было уютно, нас покормили, а уходить не хотелось. Хотелось отдохнуть, поспать, нервы

были на пределе. Но Леня торопил. Он был прав. Мы пошли к передовой. Подошли вплотную. Я увидел цепи наших войск, вступающих в бой. Вперед они двигались змейкой, а легкораненые отходили назад. Вот как раз в этом месте, где выходили наши после боя, мы с Леной стояли и смотрели в обширную впадину — поле боя. В этом месте — в районе Сухарей под Могилевом — была предпринята попытка прорваться из окружения.

Мы успели сориентироваться, куда следует примкнуть для выхода на передовую, как вдруг все обозы, склады, весь тыл запылал огнем. Прорыв из окружения не получился, и все начали разбегаться. Разбирали продовольствие и вещи в горящих складах. Как раз в этот момент я потерял из виду Леню и остался один.

Я остался один.

Было очень досадно. Ведь он был мой путеводитель. Его совет и решение были для меня непрекословны. И вот в самый критический момент я остался без него среди огромной разбитой армии. Все разбегались и исчезали с открытой площади группами по два-четыре человека, в основном в окружающую нас рожь. Я тоже укрылся во ржи. Примкнул к двум солдатам. Они были из одного взвода. Один — сибиряк, второй — уралец. У них были небольшие припасы пищи, прихваченные со склада (сахар, сыр). Ребята были хорошие. Делились со мной всем, что у них было. Вспоминали свои родные края: Сибирь, Урал. Говорили, что, окажись они как мы здесь с винтовками в тех краях, настреляли бы дичь, зверя. А тут подбить нечего.

Вокруг — рожь. В том 1941 г. она стояла выше и гуще обычного. Урожай был рекордный, а уборка задерживалась. Через пару часов установилась тишина. Очень редко доносились выстрелы винтовочные и пулеметные. К нам забрался еще один солдат. Он не имел оружия. Рассказывал, что был у немцев, что они никого, кроме евреев, не трогают и не задерживают, всех отпускают. Приглашал идти к ним. Ему никто не возразил, но к немцам никто не пошел.

К концу дня, часов в шесть, к нам проник командир в обмундировании без знаков отличия и предложил присоединиться к отряду для дальнейших совместных действий. Мы согласились. Он нас привел к небольшому оврагу, где располагалась группа человек 35–40, в том числе четыре женщины — две медсестры, две связистки. Командир ознакомил нас с обстановкой. Впереди в 50 метрах проходила дорога на Могилев через Сухари, где мы находились. Справа в 100 метрах — немецкий штаб. Наша задача: взорвать штаб и прорваться к нашим. Мне, да, наверно, и многим другим, задача казалась нереальной, но все были согласны. Когда стемнело, после разведки, мы вышли из оврага, приблизились к дороге, ждали команды.

Командир, вернувшись к нам после повторной разведки, сказал, что пройти через дорогу такой большой группой невозможно, и предложил пробираться к своим по два-три человека. Мы пошли врассыпную. В ближайшей хате я и несколько других солдат забежали в погреб. Хозяйка дома принесла нам молоко. Заменяла военную форму на тряпичную гражданскую.

Поели, переоделись. Еще было темно и трудно было разглядеть лица. Парень, сидевший на корточках рядом со мной, шустрый и симпатичный, намеревался добраться в село недалеко от Сухарей к дивчине, с которой он познакомился, когда часть двигалась через село, и обещал к ней вернуться, если останется жив. Говорил он суверенностью исполнения своего желания. В основном все молчали в глубокой задумчивости. С меня не сводил глаз в течение пяти минут один, назвавший себя позже политруком, хотя я ему не верил. У него было тупое лицо, а говорил он малограмотно и глупо. Он обратился ко мне: «Ты похож на еврея, но ты не еврей, так что не бойся, не переживай».

Я ему ответил: «Я не боюсь и не переживаю».

«Jude».

На рассвете все мы вышли во двор. Во дворе был крохотный водоем, видимо для домашней птицы. Мы подошли к нему и начали умываться. Вдруг из-за дома выходит красивый бородатый старик и показывает на нас пальцем, а за ним появляются немцы, наставляют на нас автоматы и кричат «Хенде хох!». Каждого прощупали, нет ли оружия. Повели в сарай и заперли.

Ничего хорошего я не ожидал. Думал, вот подожгут этот сарай, и мы сгорим.

Я настраивал себя на все самое страшное со стороны фашистов. По отношению ко мне как к еврею. Но на этот раз мои предположения не подтвердились. Нас вывели из сарая, привели еще таких же пленных. Построили перед немецкими офицерами и повели во двор штаба. Того самого штаба, который намечали взорвать.

Когда нас вели, я видел интенсивное движение немцев по дороге. Во дворе штаба, где нас усадили на землю, три калмыка (так мы определили их по внешности) из наших военнопленных обслуживали немцев. Подносили немцам воду, сливали им для умывания, чистили сапоги и т. д.

Двор не имел ограды, и весь транспорт по дороге проходил мимо нас. Немцы в основном двигались на восток в сторону Смоленска. В Могилев возвращались подводы, груженные домашним скарбом. На подводах было много, как мне казалось, евреев. Причину их возвращения можно было лишь предполагать. Либо они не успели

эвакуироваться, либо они выехали из города на период боев и теперь, когда бои закончились, они возвращались домой. Это были старики, женщины, дети.

Мы сидели, а над нами стояли два немца и разговаривали между собой. Из их разговора я понял, что они, как и я, определили, что это евреи едут в город. Еще я услышал от них, что пал Смоленск. Когда я понял, как тонко они разбираются и отличают евреев от других, мне стало ясно, что в общей массе я буду опознан. Что делать, что предпринять?

К нам подошел штабист. Переписал, кто из какой части. Другой немец принес кусок хлеба и сыра и дал мне. Я разделил все. Себе ничего не оставил, мне было не до еды. Нас вывели со двора, усадили на обочине дороги.

Здоровый, холеный немец с бляхой на цепи — полевая жандармерия — посмотрел на меня и сказал: «Du bist Jude?» Я безусловно понял, что он спросил: «Ты еврей?» Тем более что к этому вопросу меня подготовил еще Леня Коган, когда после отбитой атаки немцев он у меня спросил: «Что ты ответишь, если попадешь к немцам, на их вопрос „Юде?“»? Я тогда растерялся и не понял, что это за вопрос. Когда он мне разъяснил, что «юде» — это еврей, я вспомнил, что «ид» и «юд» одно и то же.

Так что теперь я четко понял вопрос немца, но пожал плечами, притворился непонятливым. Немец повторил свой вопрос, и, когда я снова притворился непонятливым, он начал показывать на уши, глаза и переносицу и что-то приговаривать со словами «Израиля, Моисея». Я снова сделал вид, что не понимаю. Тогда ко мне повернулся парень, сидящий впереди меня, и разъяснил: «Та то то він питає чі ти жид». «А! — ответил я. — Нет». А немец закивал головой несколько раз вниз и вверх, приговаривая по-немецки «ja, ja», что значило «да, да».

Что же мне делать? Как мне быть? В этой обстановке ничего я сделать не мог. Я думал, что немец меня поднимет и передаст для расстрела.

Но он ничего не предпринимал, а упорно смотрел на меня.

Тем временем подъехала грузовая автомашина и нас всех погрузили в кузов и повезли по направлению Могилева.

Я следил за немцем из полевой жандармерии, который нас охранял также и при погрузке в машину. Меня волновало, сообщит ли он обо мне свое «открытие» о том, что я «Jude», или нет.

Нас погрузили. Этот жандарм остался, и я не слышал, чтобы он что-то обо мне говорил новой охране.

Охранял нас один солдат. Сидел он в углу. Винтовку поставил на пол и, придерживая ее, читал газету, поглядывая на нас. В кабине сидело еще два немецких солдата.

С одной и другой стороны от дороги на поле встречались наши раненые солдаты. Двое с легким ранением добрались к обочине, попросились в машину, и их усадили в кузов.

Бежать нужно, бежать можно!

Я всю дорогу обдумывал, как спрыгнуть с машины, чтобы солдат, читая газету, не заметил хотя бы в начальный момент. Это, конечно, было связано с большим риском, но у меня других вариантов не было. Я твердо знал, что меня пустят в расход. Поэтому даже в такой нелепой обстановке искал возможность сбежать. Все ехали молча, только двое, как мне показалось, старше нас по возрасту, разговаривали между собой. Разговор четко был слышен.

Один из них рассказывал, что обслуживал генерала, ежедневно готовил ему курицу и себя не давал в обиду. Другой тоже, как я понял, ходил в ординарцах у крупного начальства. По моему убеждению, эти двое были проныры и приспособленцы. Говорили они всю дорогу, и, между прочим, глядя на меня куровар сказал: «Я и до войны их не любил и прямо в глаза им высказывал, а не так, как другие, скрывали...»

Война, говорил он, продлится месяца три-четыре, нас сейчас, видимо, разместят в домах комсостава, мы будем работать на восстановлении мостов и других важных стратегических объектов. Когда-нибудь мы расскажем своим детям об этом... Так он фантазировал про свою перспективу до тех пор, пока нас не привезли в Могилев. Я понял, что эти двое для меня опаснее охранника и спрыгнуть с машины мне они не дадут.

Машина остановилась на дороге у пивного завода. Вышел немец, переговорил с нашим конвоиром, и тот приказал половине пленных, в том числе и фантазерам, слезть с машины и следовать в ворота завода. Вторая половина, в том числе и я, остались на машине. Через несколько минут и нас сняли с машины и завели в здание. Когда мы переступили порог, я увидел, как первая группа наших ребят с трудом выкатывала из подвала большие чаны с пивом. А немец кричал на них: «Гей но, люс», при этом он размахивал плетью и ударял ею наших пленных, в том числе и фантазеров.

Наша группа стояла в ожидании распределения работы. В это время я увидел во дворе в шагах 18 от меня выстроенную беспорядочную очередь местных жителей, женщин и стариков с посудой для пива. К ним подскочил пьяный немец-фельдфебель выяснить, чего они хотят, и начал их разгонять, размахивая плетью и пиная ногами. Увидев это, я направился к этому фельдфебелю и получил от него пинок и толчок и, вместе со всей разогнанной очередью, выбежал со двора.

Мой расчет оправдался. Я не слышал, как на этот мой шаг реагировали остальные пленные. Выражение их лиц я не видел, но, видимо, они были ошеломлены.

Наивные евреи Могилева.

Выйдя за пределы двора пивзавода, я прежде всего решил добыть себе кепку или другой головной убор, так как по стриженной под машинку голове немцы сразу угадывали наших солдат. Хотя я был порядочно заросший, но равномерная заросль меня тоже выдавала.

Увидев на крыльце одноэтажного дома пожилую еврейку, я попросил у нее кепку. Она вынесла кепку и покормила меня свежими картофельными оладьями.

Я вышел к Днепру, Днепр в Могилеве узкий. Коренной берег высокий. На скамейке вблизи от коренного берега сидели два деда — белорус и еврей с внуком, который был занят какой-то игрой. Я к ним подошел и спросил, можно ли пробраться по берегам Днепра в Днепропетровск. Они удивились моему глупому наивному вопросу и в один голос отрицательно ответили. В это время мимо нас проходила пьяная баба, выкрикивала антисоветские, антисемитские изречения и восхваляла фашистов. Мы все трое высказали свое возмущение по поводу таких недобитых крыс, выползших из нор.

Куда идти, в каком направлении? Очень хотелось попасть в нашу группу или отряд. Как их найти? Я побрел от Днепра на окраину города. Зашел в один двор. Во дворе жил старый портной-еврей с семьей и его многочисленные родственники, женщины и дети. Некоторые из них в центре города оставили свои квартиры в период боев.

При первой встрече со мной они решили, что я какой-то вор, освобожденный из тюрьмы, и отнеслись ко мне с большой опаской. Это я понял из их разговора между собой на идиш. Однако я им разъяснил, кто я такой, что я прекрасно понимаю идиш, хотя разговаривать мне не приходилось. Мне поверили. Пригласили в квартиру, покормили, дали ватник. Они не подозревали, не представляли и не знали, что их всех фашисты расстреляют. Одна пожилая женщина с возмущением рассказывала, что она слышала от немцев антисемитские выкрики: «Русский, бери хворостину и гони жида в Палестину» — и добавляла, от себя: «Мы тут родились, и никуда мы отсюда не уедем». Я подумал, какая наивность, и посоветовал им уходить из города в глубинку, прятаться, спасаться.

Я иду в Днепропетровск.

Мне заменили лапти на старые ботинки, и я пошел на Днепропетровск.

План мой был такой: идти на Днепропетровск, так как меня волновала судьба наших родных и мамы. Если по пути встречу группу, отряд или отдельных партизан — буду проситься к ним примкнуть.

Прошел через окраину города, вышел на шоссе к вечеру. Метрах в 150 от шоссе увидел отдельно стоящий домик-усадьбу, направился туда, чтобы переночевать. Встретили меня радушно двое мужиков. Рассказывали, как перепрягивали от немцев раненых наших бойцов и медсестер. Однако в дом не пригласили, поесть не предложили (хотя я был сыт), переночевать не разрешили.

Вернулся я обратно к дороге. Прошел вперед до полной темноты. Шел параллельно дороге по картофельнику. Вдоль дороги тянулась лесная посадка, которая отделяла дорогу от картофельных полей. По пути мне встречалась тара, гильзы, упаковки от снарядов и мин. Я видел движение немецких войск и обозов.

Когда полностью стемнело, я расстелил фуфайку между грядками в ложбинке, лег и заснул. Рано утром пошел дальше, стараясь выйти на проселочную дорогу. Пройдя километров 10-12, я наткнулся на группу молодых людей, среди них были и такие же, как и я, бывшие красноармейцы. Всех было человек 9-11, которые между собой знакомы не были. Мне пояснили, что дальше идти нельзя — немцы ловят.

Я тоже стал выжидать. Разговорился с парнем. Он из Днепропетровска. Закончил ФЗУ «Юный металлист». Знает мою маму, Любовь Абрамовну, которая там работала бухгалтером. Его отец был раскулачен, и по этому поводу он высказывал недовольство властью.

Снова плен и побег. А как иначе?

Примерно часа в 3 дня пошел слух, что уже можно идти, и все двинули вперед на шоссе. Однако через два километра немцы всех задержали и увели в загражденную проволокой открытую площадку примерно 50х50 метров.

Меня охватил ужас. Что делать? Как быть? До нас тут уже накопилось человек сто. В углах площадки выкопали временные туалетные ямы глубиной до 0,7 м. Я подумал, может быть, украдкой туда лечь? Но дно ямы просматривалось с поверхности, и скрыться таким образом было невозможно. Да и вообще идея лишена здравого смысла. Через час нас всех вывели на обочину шоссе. Немцы останавливали грузовики, ехавшие в сторону Могилева, и грузили нас. Однако не успели загрузить одну машину, как подъехал на легковой какой-то офицер и выяснил у немцев, в чем дело. Некоторые из пленных кричали этому офицеру, что их из Могилева немцы отпустили домой, а теперь снова отправляют в Могилев. Офицер приказал отправить всех в Могилев, только пешком.

Получив такой приказ, немцы скомандовали построиться в колонну по три человека в ряду. Возле моего ряда было отдельно стоящее

дерево, широкое, большое. Когда выстраивалась колонна, я присел за дерево, как будто зашнуровываю ботинки, а возле меня спиной к дереву стоял конвоир, который с другими немцами строил колонну и конвоировал, этот немец невольно прикрывал меня у дерева.

Колонна тронулась. Я остался за стволом дерева и перемещался по мере удаления колонны. Когда колонна скрылась, я поднялся и бегом помчался через дорогу в лес. Однако проезжавший на грузовике немец-шофер остановился, вылез из кабины, стал на подножку и крикнул: «Эй! Не туда!» — и показал мне направление, куда пошла колонна. Я побежал будто бы за колонной вдогонку и тоже повторил жестом и словом: «Туда?» Немец десять секунд выждал и, видимо убедившись, что я догоняю своих, поехал в противоположном направлении. Я же свернул через дорогу в лес. В лесу, слева от меня, была расположена мастерская по ремонту танков. Я резко повернул правее и увидел домик. Это был дом лесничего.

Я был голоден, и очень хотелось мне узнать, кто там проживает. К дому с другой стороны подъехала бричка-пароконка. В бричке сидело двое мужчин в белых нижних рубахах. Лиц их я определить не мог, так как расстояние было порядочное. Я направился к ним. Но потом остановился, испугался — а вдруг это немцы.

Они смотрели на меня — я на них. Через пару секунд они меня позвали. Я понял, что это немцы, и бросился в глубь, в непроходимый лес. Слышал крики мне вслед, но за собой никого не видел.

Прошел еще метров двести и встретил двух мужчин. В них я узнал командиров нашей армии. Поговорили. Я рассказал про эпизод. Сориентировал расположение дома лесничего и мастерских и спросил, где можно поесть. Они мне показали, по какому направлению пробираться до выхода на одинокую хату. Я нашел эту хату. Во дворе было несколько наших.

Увидел над костром ведро, в котором варился суп из прошлогодней ржи. Суп был мясной — куриный. Когда он был готов, всем разлили в посуды. Я отлично поел. Настроение поправилось. Позже появились и те двое, которых я встретил в лесу. А всех в доме было человек семь. Наступила ночь. Я крепко уснул.

Утром появились хозяева — муж и жена. Немного поворчали и снова куда-то ушли. А мы снова сварили суп и стали завтракать. Среди нас были две девушки, похоже, медсестры. Завтрак был в разгаре, когда забегает дозорный и говорит, что к нам движутся три немца в белых рубахах — один впереди в шортах с фотоаппаратом, а два других будто его телохранители или сопровождающие.

Наш старший сразу распределил роли и узы родства: кто хозяин, кто кому брат, сестра, дядя, тетя и т. д. Съехались мы на отдых, и война вот застала. Сам он пошел встречать гостей.

Через несколько минут эти самые немцы в сопровождении нашего старшего вошли в дом и расспрашивали о каждом из нас на русском

языке. А потом, прощаясь, их главный спросил, есть ли в этом лесу ягоды и какие. Старший перечислил несколько видов, хотя в действительности именно в том лесу ягоды не росли вовсе. Немцы попрощались и ушли по направлению леса. По пути останавливались и фотографировали наш дом.

Когда они скрылись, наш старший дал команду немедленно всем уходить. Я попросился у моих первых знакомых, как мне показалось, командиров, примкнуть к ним. Они разрешили, и мы трое прошли снова через гущу непроходимого леса в его культурную часть и приблизились к шоссе — тому самому, которое я перешел, оторвавшись от колонны пленных.

Теперь, по замыслу моих новых товарищей, нам предстояло перейти через шоссе, выйдя из леса. Они этот шаг никак не решались сделать. Все выжидали, выглядывали, опасались. Я лично перешел бы через шоссе моментально. А вот они не находили подходящей обстановки. То машина где-то загудела, то еще что-то мешает. Так мы проторчали в лесу до двух часов дня. А когда перешли шоссе, нас увидел офицер, который в это время вдруг появился на дороге. Он не поднял тревоги для нашего задержания, и мы пошли в степь.

Дошли до полевого стана. Остановились, присели отдохнуть и поесть. У моих товарищей было много денег, но поесть попросить или купить они не решались. Глядя на их робость, я сам попросил для нас молока, и мы, хорошо заправившись, пошли дальше по открытой полевой местности, перебежками от ложбинки к ложбинке. Слышны были отдельные выстрелы и короткие автоматные и пулеметные очереди. Мы медленно и настороженно, с оглядкой и опаской продвигались, причем я перебегал первым, а потом они, располагаясь метрах в десяти от меня.

После одной из таких перебежек мне заявили, что идти троим опасно и мне следует от них отделиться. Я с ними моментально распрощался и пошел обратно через шоссе, которое мы очень долго не решались перейти. Я же перешел его с ходу, только в другом месте, прошел через лес и вышел к берегу Днепра, когда наступила ночь. Тут на берегу Днепра я набрел на покинутые немецкие траншеи, окопы, землянки, оборудованные тюфяками и матами из камыша, видимо для крупного командования фашистов. Тут я и переночевал. Утром пошел по берегу, вышел в село и снова встретил скопление таких же, как я. Дальше продвигаться нельзя было, так как километрах в трех от этого места немцы всех вылавливали.

Познакомился я с пареньком из Урала, звали его Егор. Мы решили обойти далекой стороной это село, держаться подальше от больших дорог и шоссе и проходить там, где нет немцев. Была горячая пора сенокоса. Косари, завидя нас, предлагали поработать на уборке сена. Мы не соглашались и продвигались по проселочной дороге. Однажды выкупались в речке, пересекавшей нам путь, и внезапно к реке

подъехала автомашина с немецкой пехотой. Мы только успели одеться. Один немец, сидевший на скамейке кузова, сказал, показывая на нас, улыбаясь, — «Stalin-Soldat?» Мы ответили — нет. Он определил нас по стриженным головам, хотя волосы уже порядочно отросли. Если бы мы раньше одели кепки, возможно, немец не задал бы такого вопроса. Все кончилось легким испугом. Нас не задержали, и мы пошли дальше по проселкам и попали в глухомань, в село, в котором немцев не было. Тут мы заночевали на кормокухне колхоза. Утром присмотрелись: увидели картофельное поле (колхозное), село примыкает к лесу, в лесу малина, черника, земляника. Из таких отбившихся как мы, в этом селе околачивалось в основном на кормокухне человек двенадцать разных возрастов и званий. Мы с Егором подряжались заготавливать хозяйкам дрова, делали другую работу, за которую нас подкармливали бульбой. Мы выжидали время, когда можно будет продвигаться дальше.

Прошло девять дней, и Егор покинул меня. Я очень сожалел, что остался один. Егор был славный парень, мой ровесник, крупный, на голову выше меня, здоровый, в наших действиях всегда было согласие.

Села Белоруссии и их жители.

На следующий день прошел слух, что немцы из ближайших сел ушли. Я решил идти на Днепропетровск. В ближайшем на пути селе зашел в дом. Меня покормили. Хозяин лет шестидесяти рассказал, что сын его лейтенант неизвестно где воюет, а невестка с младенцем от границы чудом добралась к родителям мужа, т. е. к нему и находится пока у них. Такая трагедия разбитых, покалеченных и погибших постигла сотни тысяч семей. Многих из них я встречал по дорогам и селеньям.

Задерживаться тут я не стал. Поел и двинулся дальше. Прошел два села и снова вышел через лес на то шоссе, которое переходил уже четыре раза. Перешел его в пятый раз, но это был уже последний переход.

Перед переходом я встретил мужчину лет сорока. Мы вместе перешли шоссе и продолжали дальнейший путь. Он расспросил обо мне. Рассказал о себе. Он учитель. Возмущался немцами, их фашистскими порядками, в частности, как они поступают с евреями, и от себя добавил: «Какие бы евреи ни были, они все же люди, и то, что делают с ними немцы, это нехорошо». Вот какой этот учитель был добрый человек.

Метров через двести пути он повернул в сторону, а я пошел дальше в своем направлении. На развилке наших дорог стояло небольшое двухэтажное здание школы новой постройки. Школьный двор был огражден. Во дворе находились дети — евреи под охраной немцев. Дальше на моем пути протекала малая речушка шириной 15–20 м. На

берегу сидели двое молодых здоровых мужиков лет по 25–30. Я подошел к ним, поздоровался. Меня встретили вопросом: «Плавать умеешь?»

На противоположном берегу была лодка. Ее надо было доставить на наш берег, а эти ребята плавать не умели и воспользовались моей услугой. Они шли домой в свое село. Бежали из плена. До села от реки было километров 9–11, мы добрались вечером. Один из них взял меня к себе. В избу, где я остановился, пришло много людей. Расспрашивали о своих родных, не встречал ли кого где и когда.

Потом мы выкупались, поели. И снова полный дом людей, в основном женщин разных возрастов. Очень поздно мы улеглись спать.

Утром снова заходили к хозяину односельчане расспрашивать о своих сыновьях, мужьях. Меня начали агитировать, чтобы я остался и помог в уборке сена. Я отвечал, что никогда не имел дело с сельским хозяйством и не смогу быть полезным. Однако мои доводы отвергались как несостоятельные, все настойчиво требовали, чтобы я остался. Особенно усердствовала молодая женщина. Просила, чтобы я шел к ней, так как ей одной трудно справиться с хозяйством в эту горячую пору, а муж ее в армии, наверное, на войне.

Хозяин меня подстриг (у него была машинка), я побрился и уже не был похож на остриженного солдата. В этой деревне немцев не было. Но один колхозник рассказывал, что был в комендатуре, в районе, и слышал распоряжение немцев: дать списки активистов, коммунистов и евреев. И тут же меня спросили, не еврей ли я, так как очень похож.

Я, конечно, ответил, что не еврей, а сам решил срочно рвать когти. Пошел мимо г. Речицы, железнодорожного узла. Как только увидел паровозы и ж.д. рельсы, резко повернул правее, отошел от Речицы и подошел вплотную к границе Черниговской области, которая проходила по Днепру. Здесь в селе я заночевал. В доме была хозяйка и ее дочь с подругой — обе студентки пединститута, приехали на каникулы, тут их и застала война. Мужчин в доме не было. Позавтракав, я отправился дальше.

По пути мне часто приходилось видеть передвижение немецких войск. Ночь меня застала у небольшого хуторка. Попросился переночевать. В доме жили пожилые хозяева — муж и жена. Долго очень беседовал со мной хозяин. Он был грамотный, говорил, что сам из купцов и хорошо знает Екатеринослав^[16], возил туда товар. Утром я отправился дальше. Я шел не по кратчайшей прямой, а зигзагами и кривыми, так как на моем пути встречались населенные пункты с немцами или с комендатурой. Я их должен был обходить проселочными дорогами, чтобы выйти на намеченный путь.

Поблагодарив за ночлег и еду, я пошел дальше и встретил моего ровесника, который пробирался в Киев. Назвался он Васей, закончил техникум, механик. Его беспокоило, что он будет делать при немцах в

Киеве, дома. Вероятнее всего, говорил он, придется открыть ремонтную мастерскую. <...>

Болото.

Я подошел к болотистой пойме, мост через которую, вернее, верхнее строение моста сгорело. Остались обугленные сваи и перекинутые по ним неукрепленные бревна и балки. Я почувствовал опасность перехода. Но деваться было некуда, возвращаться — опасно и далеко, в ближайших пунктах немцы, и наступала ночь. Я пошел по балкам и свалился в трясину по уши. По свае выбрался вверх и мокрый пополз дальше по балкам. Видимо, тут был специально устроен примитивный пеший переход через это болото, и другие до меня его переходили благополучно, а я свалился. С трудом я добрался до берега. Пришел в ближайшую деревню темной ночью. Немцев тут не расквартировали. Но полицаев уже назначили.

Небольшая группа мальчиков и девочек еще по домам не разошлась. Я подошел к ним и спросил: где можно переночевать? Они между собой обсудили, где безопасней, и один паренек повел меня к себе. Родители восприняли мое неожиданное позднее появление в их доме отрицательно, с опаской и подозрительностью. Но позже, поговорив со мной, выяснив, что я при эвакуации ремесленного училища отстал от эшелона и теперь возвращаюсь к маме, прониклись сочувствием, покормили и постелили. Однако я от постели отказался, так как был весь до ниточки мокрый и попросил, чтобы мне разрешили переспать на скамье. Хозяева долго не могли понять мою прихоть. В темноте без освещения не было видно, что на мне мокрая одежда. После настоятельной моей просьбы я переспал на скамье, а утром я рассказал, что не хотел пачкать постель болотной водой. Хозяева меня пожурили, поругали за то, что скрыл от них, что я промокший. Утром я пошел дальше.

Партизаны?

Проходя через сад, я увидел, как собирают яблоки женщины и девочки. Среди девочек была одна еврейка. Я к ним приблизился, взял пару яблок, как вдруг увидел двоих мужчин, подходящих ко мне. Они были вооружены, молодые, лет по тридцать, здоровые. Спросили, кто я, откуда и как сюда попал. Я рассказал все, как было. Они удивлялись, возмущались и не могли понять, как это может армия попасть в окружение.

Потом один из них сказал:

— Ну ладно, иди.

Я спросил:

— Можно с вами?

— Нет. У тебя же нет оружия.

Я пошел, оглядываясь с тревогой. Они стояли и смотрели мне вслед. Уже Украина.

К вечеру я перешел границу Белоруссии и пошел по земле Украины в районе поймы реки Припять. Украинское село видно было на большом расстоянии. Оно отличалось от белорусского белыми хатами. По дороге в ближайшее пограничное село возвращались косари. Уже было темно, когда я подошел к добротной хате попроситься на ночлег. Дверь была заперта. На стук не откликнулись. Постучал в окно. К окну подошла женщина и, выяснив, для чего я стучал и кто я, впустила в дом, покормила. Мы побеседовали. Появились два здоровенных парня, ее сыновья. Я улегся спать.

Утром, когда хозяйка увидела меня, она с волнением спросила, не еврей ли я? Я сказал, что я латыш. Она же мне не верила, утверждала, что я еврей, и потребовала, чтобы я немедленно ушел из дому, добавив, что если бы меня вчера разглядела, то ночевать бы не пустила.

Остаться тут у меня и в мыслях не было. Я был рад, что хозяйка прогнала меня и никуда не заявила обо мне. Это был второй случай в селе, когда меня точно определили, но я имел возможность уйти без преследования.

Село находилось в трех-четырех километрах от Чернобыля, районного центра. В Чернобыль я не заходил, так как придерживался тактики идти проселочными дорогами, параллельно большакам, глухими селами. Так и на этот раз — пошел тропинкой, перешел через ручей, дальше через мелкий овраг, и, когда я вышел из оврага, передо мной возник немец на лошади верхом. Он потребовал мою сумку, проверил ее (там лежал кусочек хлеба и кусочек сала) и, возвратив, поскакал, а я пошел дальше. Я очень перепугался, но все этим и кончилось.

Два села я прошел и встретил лишь одного немца. В третьем селе меня застала ночь. Надо было заночевать. В селе были немцы.

Я решил выбрать самую захудалую хатку в расчете, что в ней немцев не поселят. Так и случилось. Я увидел полуземлянку. Пол был ниже уровня земли. Окна на 20 см над землей. Постучал, попросился. Меня оставили. Хозяин, хозяйка и их единственный сын, лет семнадцати. Очень гостеприимно меня встретили. Вскоре пришли за хозяином посыльные от немцев и предложили ему зарезать и разделать корову. За работу ему дали вознаграждение — голову коровы. Семья была очень набожная, что меня удивляло, особенно набожность и молитвы сына до еды и после еды.

Поужинав, парень пошел гулять и меня пригласил. На улице немцы устроили танцы под аккордеон. Играли знакомые мне зарубежные

танцевальные мелодии. Немцы танцевали с девушками. Гулял в одиночку минут пять и понял, что нет, надо идти в хату.

Утром меня тепло проводили, дали харчей в дорогу и сказали, что, если будет трудно или негде будет жить, чтобы я возвращался к ним. Я был растроган такой добротой простых, бедных людей.

Это Леня Коган!

Обогнув Чернобыль, я взял направление на Киев. Однако чем ближе к Киеву, тем больше немцев располагалось в селах. Вокруг Киева шли тяжелые оборонительные бои наших войск, а немцы подтягивали все новые свежие резервы. Обходя Киев, я вышел на украинское Полесье Житомирской области западнее Киева и приблизился к железнодорожной станции Фастов.

Тут по дороге встретил паренька моих лет, моего роста, но коренастее меня. Мы сели на обочине, познакомились. Он назвал себя Петром и сказал фамилию, но я не запомнил. Сам он из села возле Днепродзержинска и тоже продвигается в моем направлении.

Петя рассказал интереснейший для меня эпизод, который вчера произошел в его присутствии. Он шел с каким-то Леней, зашли в село. К ним подошли двое мужчин. Один из них говорит Лене, что Леня жид. А Леня был, точно, еврей. Особенно выдавал его длинный крючковатый типичный нос. Но Леня не сробел, категорически отверг «обвинения» и «оскорбления» мужика и пригрозил, что если еще раз услышит подобное оскорбление в свой адрес — убьет. Петр восхищался смелостью Лени. Я понял, что Петя рассказывал о Лене Когане. Я шел по Лениному следу с интервалом в одни сутки. Для меня это было чудом.

После демобилизации в 1946 г., когда я приехал в Днепропетровск и встретился с Леней, он мне это все подтвердил и рассказал о своей дальнейшей судьбе. Его прятала в своем доме женщина в селе на Днепропетровщине. Когда наши в это село зашли, его взяли в разведку, и он показал нашим войскам путь на отсечение и окружение немецкой отступающей части. В 1953 г. Леня умер от туберкулеза легких.

Дальше мы с Петей пошли вместе. От Фастова на Богу слав. На третьи сутки Петя от меня откололся. Я этому не удивился. Когда мы ночевали у молодой хозяйки (она нас угощала клубникой в сметане с сахаром), я по Петиним вопросам понял, что он намерен пристать в «приимы». Хозяйка рассказала, что в окрестностях много бывших красноармейцев, бежавших из плена, — поженились, стали «приймаками». Они стоят на учете в немецкой комендатуре и регулярно отмечаются. Мы и сами видели, как эти приймаки ходили в район и возвращались обратно после перерегистрации.

Из Богуслава я пошел на Корсунь.

В Корсуне меня окружили мальчишки, человек восемь, подробно расспрашивали о войне, рассказывали о Гайдаре. Предупредили об опасности моего передвижения. Как правило, я в города и даже в районные центры старался не входить и не проходить через них, а в Корсунь зашел. Но я его почти не видел, обошел стороной и вышел на дорогу. Шел я, как правило, по проселочной дороге. Реже по большаку. Прошел Корсунь, Городище, Смелу, Каменку, Знаменку. Зашел в Александрино.

Здесь собирали евреев. Командовал немец (звания я не различил). Увидев такую обстановку, я круто повернул, вышел за пределы города и пошел в обход.

Женщины добрее...

На ночь я остановился на окраине крупного районного центра сельского типа. Добродушная хозяйка, женщина преклонных лет (65), разрешила мне переночевать, а утром с центра возвратился ее муж и сказал, что всех евреев собирают для отправки на работу. Внимательно посмотрел на меня и, определив, что я еврей, предложил и мне пойти в центр на этот сборный пункт. Я, конечно, не намеревался добровольно являться к немцам. Хозяйка же категорически запротестовала, запретила мне идти, доказывая, что я вовсе не еврей, завернула на дорогу завтрак, перекрестила и строго предупредила, чтобы я не попадался немцам. Я чувствовал, что переживала она за мою тяжелую участь.

Приближался к Днепру через Пятихатки. Зашел в Кринички переночевать. По пути встретил еще двоих днепропетровцев. Один из них работал на ДЗМО^[17], знал нашего Моею. Все трое зашли в один двор. Было уже темновато, но хозяйка еще трудилась.

Меня положили отдельно, а те двое расположились в комнате с хозяином. Я услышал их разговор. Хозяин, по моему впечатлению, был ярый антисоветчик. Я четко слышал, как он хвастал о том, что своему сыну — лейтенанту Красной Армии, — когда тот был перед войной в отпуске, советовал при первой возможности сдаваться в плен. А утром он ругал хозяйку за то, что она оставила меня ночевать. Хозяйка же ко мне отнеслась внимательно и чутко.

Перед Днепропетровском я заночевал еще один раз. Точно не помню, как называлось село, но, кажется, это было Краснополье. В этом селе я обратил внимание на сбрую и упряжь пары лошадей. Сбруя была кожаная, отделана бронзой. Такой сбруи я не видел в городе и у лучших извозчиков. Я подумал, что эта сбруя была извлечена из чердака раскулаченного хозяина. А хозяин, по моему мнению, как и немногие другие, выжидали этот радостный для них час и теперь повыползали из своих нор. Разнарядились в нарядные черные пары, в

хромовые сапоги, как на показ. Я кипел презрением к таким типам и старался уходить из тех населенных мест, где встречался с такими людишками. Так было и в Краснополье. Но поздний час побудил меня переночевать именно здесь. Попал в семью: мать с двумя детьми — девочка лет 17, мальчик лет 14. Хозяина дома не было. Хозяйка оказалась очень доброй. Быть может, она меня распознала, так как сказала мне, что в случае каких-либо затруднений, если мне с мамой в Днепропетровске некуда будет скрыться от немцев, чтобы я и мама пришли к ней на поселение. Я ее поблагодарил. (Но, к моей великой радости, как это позже я узнал, моя мама из Днепропетровска своевременно выехала. Дальнейшая судьба мамы мне была неизвестна.)

Я ВЕРНУЛСЯ В МОЙ ГОРОД! Я ВЕДЬ РОДИЛСЯ И ВЫРОС ЗДЕСЬ, И НЕТ ПЕРЕУЛКА, КОТОРЫЙ НЕ ПОМНИТ И МЕНЯ, ИСЮ ТАРТАКОВСКОГО!

В город я зашел с Западной стороны. Прошел на Свердловскую, 57, ко двору Кагаловских. Весь двор евреев выехал. Осталась одна бедная голодная еврейская семья. Я отдал им все съестное, чем добрая хозяйка снабдила меня на дорогу. Конечно, это было очень мало для семьи из четырех человек с двумя маленькими детьми. Но больше ничем помочь я не мог. Оттуда я пошел на Комсомольскую, 78.

По городу встречал евреев со звездой Давида. До этого я таких звезд нигде не видел, правда, в города я старался не заходить, но на немцев и их отношение к евреям я успел насмотреться, а также и послушаться об этом от некоторых местных жителей.

Мне было очень больно проходить по улицам города, в котором родился и вырос, в котором родилась моя мама еще в конце XIX века и прожила, никуда не выезжая, 42 года и в котором сейчас хозяйничали фашисты. Чем ближе я подходил к Комсомольской улице, к нашему двору, тем сильнее волновался, тем больше желал узнать, что мама в городе и вообще в оккупации не осталась, что она своевременно — до прихода фашистов — выехала, эвакуировалась.

И вот я зашел во двор.

Мама спасена!

В свою квартиру я не пошел. Направился в дом к Остроуховым. Прежде чем войти, мне необходимо было узнать, нет ли у Остроуховых немцев на квартире. Немцев у них не было, и я вошел в дом. Мне не терпелось выяснить, эвакуировалась ли мама?

<...>

Мое появление в их доме, естественно, было неожиданным, насторожило и удивило всех. А для меня самым важным был факт, что

мама эвакуировалась, что она не осталась при немцах. Я горько заплакал и обрадовался.

Город родной и страшный...

Нила Матвеевна решила сделать мне документы, чтобы обезопасить меня от преследования. Для этого она хотела использовать связи с начальником районной полиции Московцевым. Московцев до войны был директором завода-школы ФЗУ «Юный металлист», где мама работала плановиком, а Остроухов А.М. коммерческим директором. Когда я услышал, что Московцев начальник полиции, я был в недоумении: в какой роли он фактически выступает?

Возвратилась Нила от Московцева заплаканная. Когда она ему сказала, что бежал из плена Любочкин сын и ему необходимо сделать документы, он ей ответил: «Гоните его!» Что он ей еще сказал в мой адрес, я не знаю, но Нила проявила наивность ребенка, гуманность и доброту, искреннее желание помочь мне, не задумываясь над тем, какой опасности я подвергался со стороны полиции Московцева.

Нашу квартиру заняла сестра нашей соседки Ковалевой — Данченко. Нила мне предложила, чтобы я зашел и забрал мамину посуду. Этого мне бы и в голову не пришло. Но я, против моего желания, выполняя просьбу Нилы, потребовал у Ковалевой эту посуду. Она поинтересовалась, каким образом я в Днепропетровске. Я ей соврал, что отпущен с документом, имею право на жительство в городе. Она пообещала передать сестре мою просьбу. На следующий день я снова зашел. Ковалева мне передала часть нашей посуды. Большого требовать я не стал. Мне и эта часть не была нужна. Просто я слепо, неосмысленно выполнял волю Нилы Матвеевны и ее сестер.

Я у них жил неделю. Наш двор был изрыт траншеями и блиндажами. Во дворе осталась, не выехала семья Ярмолинских из пяти человек. Они жили в подвале. Ярмолинский Зяма, мой ровесник, и его отец были мобилизованы. К Ярмолинской я заходил. Они были подавлены своим положением. Я настаивал на их уходе из города, но это было почти неосуществимо, так как дедушка и бабушка с трудом передвигались. Ярмолинская надеялась на улучшение положения путем выкупа. Каким образом и как это осуществить, я не представлял.

Над Ярмолинскими на первом этаже жила одинокая пожилая еврейка, переехавшая к нам во двор за год до моего ухода в армию. Она меня пригласила, пожаловалась на свою судьбу и дала мне старое пальто, оставленное мужем, и сто рублей. <...>

К Остроуховым зашла бывшая старая учительница Тарасюк (не помню ее имени-отчества) и сказала, что знает о моем пребывании в доме Остроухова. Сказала это без упрека и угроз, а просто дала понять, что ей об этом известно. Дело было в том, что она у себя прятала своего внука Алика Гербильского. Отец его был еврей. До войны работал директором исторического музея «Поля». Следует сказать, что скрыла

она его хорошо. После войны Алик Гербильский работал инженером во Львове.

Примерно 4–5 октября меня предупредили о том, что больше оставаться в доме я не должен, и я ушел. Перед этим я встретил Фиму Линковича. Он отслужил до 1941 г. в кадрах. Попал в плен. Бежал из плена. Жил в доме № 76 (бывший дом Лурье). <...> Фима меня завел в дом № 74. В этом доме остались две сестры Гельбух: Катя и Галя. Их брат Гриша служил на Дальнем Востоке офицером в Красной Армии. Фима с ними был знаком. <...>

Прожил я у Гельбухов до 14 октября. За этот период мы вместе с Фимой и отдельно каждый разведывали, где можно скрыться от полицаев и немцев. Однажды зашли к его знакомой по Кооперативной ул. в частный дом. Она рассказала, что к ней против ее воли ходит немецкий майор и скоро должен прийти. Когда мы прощались у калитки, майор подходил к дому. Мы своевременно ушли.

По городу были развешаны приказы городской управы и немецкого командования:

*«На евреев налагается контрибуция — штраф в размере...
В случае невыплаты будут применены более суровые меры наказания...»
Председатель управы.*

*«...Партизаны, подпольщики, сдавайтесь. Красная Армия разбита.
При добровольной явке немецкое командование гарантирует вам свободу...»
Гебитскомиссариат.*

В витринах магазинов висели плакаты и картины. На картине были нарисованы колбасы, разделка мяса, продажа его, с надписью: «То, что вам только обещали — в Германии все это есть».

В городе функционировал кинозал в помещении бывшего театра «Коминтерн». Шли немецкие фильмы с бахвальными хрониками о войне. Вывешивались объявления с призывом о добровольном выезде в Германию на работу, где молодежь получит образование, специальность.

Запродана жидам віра
Діти не ходять в школу...

Печатался в этой газете артист Макавеевский. Его игра в русской драме мне раньше очень нравилась. Профессор Циммерман также

выступал со статьями, прославляя немецкий порядок. Я слушал его лекции до войны. Тогда он славил Пушкина и Чайковского, говорил, что опера «Евгений Онегин» несравненно превосходит оперу Гуно «Фауст».

Массовый расстрел евреев был 13 октября. Всех евреев со дворов под командой полицаев выгоняли на улицы и вели на проспект к универмагу. В универмаге отбирались вещи, людей заталкивали в грузовики и увозили. Мы с Фимой это видели с противоположной стороны проспекта. В тот же день вечером мы видели одну семью, которая возвращалась домой на углу Шмидта и Трамвайной. Я возмутился и сказал главе семейства, чтобы они уходили из города, так как на завтра их постигнет страшная участь — расстрел. На что он сказал: им некуда идти и их везде найдут.

Назавтра, 14 октября, мы видели, как немцы гнали колонну евреев человек в 120–140. По сторонам стояли люди, лица их выражали горе, страх, негодование. Кто подходил, чтобы передать кусок хлеба, того немецкие конвоиры отбрасывали прикладами.

15 октября днем я был у Гельбухов. Вдруг услышали стук в дверь не с парадного, а с черного хода, где дверь была заложена на палку. Стук усиливался, но открывать никто не шел. Мы поняли, что дверь рвали немцы, так как местные жители звонили в квартиры с парадного хода. Дверь растряслась, палка сломалась, в квартиру ворвались два фашиста и подняли крик. Я вначале спрятался во второй комнате за шкафом, а потом вышел. Немцы подскочили ко мне, обыскали и продолжали орать, как можно не открывать немецкому солдату? Кто тут живет, евреи?? Я все понимал, что они говорили.

Спасайся — дело привычное.

В это время вышла соседка и сказала немцам: «Нет-нет, пан, мы рус, мы рус». А немцы продолжали орать: «Расстрелять». Озлобленные, ушли снова через черный ход, как ворвались. Я же следом за ними выбежал через парадный ход, забежал в соседний дом Лурье и при выходе со двора через двери парадного дома Лурье напоролся снова на этих двух немцев. Но в это время они были заняты Веркой Высочиной, которая стояла посреди парадного дверного проема, а двое немцев стояли по сторонам, спиной прислонившись к стенкам проема, и флиртовали с Веркой. Когда я на них наткнулся, на бегу открыв первую дворовую дверь парадного, я вынужден был пройти через вторую уличную, между ними, и я это сделал с замиранием сердца, с колоссальным волнением. С этого момента я больше Фимы не видел и не знаю, что с ним было, куда он ушел. Куда ушли и ушли ли сестры Гельбух, я узнать не смог.

Я пошел в город на проспект. У кондитерской гостиницы «Астория» стояла очередь в ожидании продажи какого-то эрзац черного кофе. Тут

в очереди я встретил знакомых мальчиков Изю Подольского и Изю Эпштейна. Эпштейн меня возмутил своим поведением. Во-первых, он громко окликал в очереди Подольского по имени — Изя, хотя Подольский не имел внешних еврейских признаков, которыми был наделен Эпштейн. Во-вторых, на мой вопрос, какие у них планы, он не задумываясь отвечал: «В мире не без добрых людей».

Я из очереди ушел дальше к центру. На углу проспекта и Московской в кафетерии (где после войны был ресторан, а сейчас читальня), стояла большая очередь человек 50–60. Ожидали продажу тушеной капусты. И я стал в очередь. Вдруг подъезжают три грузовика с штурмовиками, оцепляют участок, хватают всех мужчин для проверки документов. Я замер от страха. Вышел из очереди, прошел рядом с суетливыми штурмовиками, вышел за границу оцепления, повернул на Московскую и, обогнув параллельно проспекту квартал, вышел снова на бульвар со стороны улицы Харьковской. <...>

Я встретил товарища по семилетке Володю Кисленко с девушкой Ниной. Шагали они об руку. Я рассказал Володе о тех потрясениях, которые я перенес и особенно в этот день. Он меня забрал к себе в дом. Его мама нас покормила, мне постелили, и я уснул <...> У них было своих два двухквартирных дома. Один сдавали под наем, в другом жили сами. Половину дома занимала сестра Володи с семьей. Отец, Иван Арсентьевич, работал на железной дороге, мать домохозяйка. На другой день Иван Арсентьевич мне тихо сказал, что оставаться у них ночевать нельзя, опасно. И я ушел на ночь глядя, а куда податься, не знал.

Вышел я из дома вместе с каким-то Володиным родственником, молодым человеком лет 30–32. Он много говорил, вспоминал знакомых мне Боярских, к себе не приглашал. Мне некуда было податься, и я решил пойти в свой двор и тайно проникнуть в пустую квартиру, оставленную Кривулиными. Было очень темно. Я открыл дверь и нащупал кровать, на ней лежал дырявый тюфяк, на который я улегся. Пошел сильный дождь. Соседка вышла, чтобы поставить посуду для набора дождевой воды. Для этого ей необходимо было открыть наружную входную дверь в квартиру Кривулина, так как порог перед дверью был узкий и не позволял устойчиво поставить посуду для набора воды. Я дверь закрыл на внутренний крючок. И поэтому, когда она хотела открыть дверь, ей это не удалось. У соседки на квартире стояли немцы, и, видимо, немец вышел и тоже не мог открыть дверь. То, что это был немец, я понял по топоту сапог, которые ступали на крыльцо. Немец возвратился в дом, быть может, за инструментом. Безусловно, это вызвало недоумение у хозяйки и у немцев (их было двое). Ведь раньше дверь была открыта — и вдруг заперта на крюк внутри тамбура. Когда немец ушел, я моментально собрался, выбежал из квартиры за школу и залез в лаз угольного склада школьной

кочегарки. Тут шуровали крысы, но я терпел, не вылезал из лаза на поверхность.

На рассвете я вылез и пошел в парк для встречи с Нилой Матвеевной — на работу она ходила через парк. Увидев меня, Нила Матвеевна заплакала, но старалась меня успокоить, рассказывала, что Виталик слушал радио о поездке Литвинова в Вашингтон и другие новости. Я ей ответил, что буду пытаться пройти через линию фронта, иного решения для меня не было. Но меня могут поймать и до перехода через фронт по внешнему виду.

Нила Матвеевна мне предложила поехать на Игрень к ее дальней родственнице Мишутинной, остановиться у нее на первое время. Для этого Виталик где-то раздобыл для меня старый годичный паспорт, выданный некоему Борисову Григорию Павловичу, 1918 г. рождения. Виталик, конечно, старался сделать мне подходящий документ, используя свою службу у немцев. Но этот паспорт Борисова мне явно не подходил и по году рождения, и, главное, по фотографии. Фотографию я отклеил, паспорт спрятал на крайний случай. Виталик приносил еще какие-то удостоверения, но они не обеспечивали мне безопасность при задержании.

Виталику я был благодарен за заботу, а вот его действия при немцах я осуждал. Он занял квартиру Энтина, который эвакуировался с семьей, натащил себе книг из школьной библиотеки. От призыва он был освобожден из-за зрения, у него было косоглазие.

<...>

Предложение Нилы Матвеевны поехать на Игрень мне подходило. Мы условились встретиться в парке в следующее утро. Нила Матвеевна подготовила письмо, упаковала сумочку с крупой и сказала, что ее директор, эвакуируясь, оставил у нее 10 комплектов белья и еще кое-что из вещей, так что, если мне остро понадобится, я могу рассчитывать на ее помощь.

Мы распрощались. Мне надо было переправиться на левый берег Днепра. Я пошел к набережной со стороны Садовой и увидел лодочника. Мне повезло. Лодочник за 15 руб. перевез меня. Дальше я пошел пешком. По пути встретил попутчика. Он знал эти места. Когда мы подходили к речке с мостиком, он сказал, что немцы очень быстро смонтировали этот мост, что его фермы были подготовлены немцами до занятия этой территории, и восхищался немецкой точностью. Когда мы подошли ближе к устью моста, немец нас задержал и заставил работать на устройстве откоса устоя. Мой попутчик остался, а я упрямил немца отпустить меня к мамке, она, мол, больна, беспомощна, и он отпустил. Весь дрожащий от страха, я пошел дальше.

Наконец, добрался до Игрени и пошел по адресу. Хозяйка, Екатерина Васильевна Мищенко, меня сразу узнала. Когда она приезжала в Днепропетровск к Остроуховым, я с ней встречался. Один раз я ездил к ней с Остроуховыми.

Кроме хозяйки, в доме проживал старик — Анатолий Васильевич. Я точно не знал, вернее, не понял, на каких условиях он жил у Мищенко — квартирантом или примаком. Мы познакомились. Я себя назвал Григорием Павловичем Борисовым, как значилось в паспорте, а он Сергей Дмитриевич (фамилии не помню). Он оказался очень разговорчивым. Это и не было удивительным, так как он был юрист, с высшим образованием, до революции работал в суде. Настроение у него было антисоветское. Он ненавидел марксистов и марксизм.

<...> Переночевав на Игрени, я утром отправился по селам искать работу.

Колхоз, крестьянский труд...

В Александровке, в 10 км от Игрени, было два хозяйства — колхоз (старая немецкая колония) и опытная полевая станция. Директор опытной станции взял меня на подсобные работы с учетом того, что я никогда не работал на селе и надо будет втянуться. Мне отвели комнату в хате под соломой. <...> В этой комнате до меня жил пленный Сергей, потом он пристал в приемы к молоденькой женщине. У них родилась дочь. Сергей ссорился со своей подругой и часто от нее уходил и жил в моей комнате, спал на топчане. Мы вместе ходили с ним на подработки в немецкий колхоз за харчи.

Через месяц я договорился с председателем немецкого колхоза Христианом Христиановичем и перешел на работу к нему в колхоз. Ушел я из опытной станции из-за недостатка харчей и в надежде немного подкрепиться в немецком колхозе. Но я потерял комнату, выделенную мне на опытной станции.

Председатель поручил мне ухаживать за коростовыми (больными чешуйчатостью) лошадьми. Лошадей было шесть. Конюшня стояла отдельно вблизи колхозного погреба, в котором хранились соленья. Я часто залезал в погреб за помидорами и огурцами. Во дворе, кроме моей конюшни, стоял домик, в котором разместилась кожевенная. Одну комнату в этом доме занимала колхозница-немка, одинокая, лет 35, умственно отсталая, но труженица. Звали ее Аня (Анка). Чимбарь, так называли кожевенника, был здоровый, рыжеватый, краснощекий, красивый молодой мужчина лет 30. Очень похож на еврея. Ростом примерно 180–190 см, широкий в плечах. Трудился он много и умело. Называл он себя Никой Петровичем. Говорил, что приехал из Ростова. Я заходил в его мастерскую, помогал ему обдирать шерсть, очищать шкуру. Со свиной шкуры я выскребал внутреннее сало, которое перетапливал на жир.

Хранил все у Ани, так как комнаты и уголка для жилья у меня не было. Спал я в конторе колхоза на столе. Вместе со мной в конторе ночевал кузнец, брат бухгалтера колхоза. Братья были мне очень

симпатичны, по национальности русские. Их приняли на работу в немецкий колхоз как специалистов. Бухгалтер жил на квартире, а кузнец околачивался без угла. На воскресенье они ездили к себе домой в Нижнеднепровск, а в понедельник приезжали чистые и переодетые. Мы с кузнецом в конторе на плите жарили кукурузу, грызли ее и беседовали до глубокой ночи.

Мне необходимо было выкупаться, и я решил для этого пойти в Днепропетровск к Остроуховым. Перешел через Днепр по льду в районе Мандрыковки, Стояли теплые для февраля дни, и по Днепру в отдельных местах на поверхности льда стояли талые воды. Я шлепал по талой воде и благополучно перешел на правый берег. В город я вошел ночью часам к 9 и должен был пройти на Комсомольскую через весь город во время действия комендантского часа и маскировочного затемнения. Я старался идти по периферийным улицам, быть незамеченным. Но мне это не удалось. Меня остановил немец. Я перепугался, думал, что задержит, потребует документ и отправит для установления личности. Но, к счастью, немец имел совершенно другой интерес. Он зажег фонарик, показал мне бумажку, в которой была написана улица и номер дома и спросил, как пройти по этому адресу. Я ему рассказал, и он пошел дальше. К Остроуховым я попал к 10 часам ночи. Когда мне открыли дверь и впустили в кухню, я сказал, что пришел специально выкупаться и буду идти обратно. Мне устроили хорошую ванну, покормили и уложили спать на кушетке у трубы.

В 11 часов зашел Мишель (Михаил Васильевич). Увидев меня, он раскричался, устроил скандал, упрекал меня в безрассудстве, говорил, что мое появление в их доме будет стоить им жизни. Но женщины его успокоили. Я хотел незамедлительно уйти. Но Нила М. не пустила и заверила, что уйду до рассвета в 6 часов.

Утром Мишель появился часов в 6. Он, видимо, ночевал у Виталика (в квартире Энтина). Я проснулся от его крика, почувствовал себя виноватым за то, что проспал, а Мишеля правым. Через двор побежал за школу. В город идти не хотел, так как еще было очень темно, а переждал в укрытии до полного рассвета. Пошел я к парку Шевченко, чтобы оттуда выбрать переход через Днепр на левый берег.

Через Днепр переходить было опасно. Лед был непрочный, и можно было провалиться между трещинами льдин в воду. Но другого выбора у меня не было, и обратно в Александровку решил идти по тому же пути, которым шел в город. При подходе к парку Шевченко увидел у левых въездных ворот в парк немецкие крытые тентом грузовики, возле которых толпился народ с корзинами и мешками. Это были в основном женщины-колхозницы. Немцы проверяли их документы (справки, разрешения — Ausweis). У кого было разрешение, по лестнице влезали в грузовик. Когда посадка кончилась, лестницу убрали и немцы сели в кабину, я подцепился на задний борт и влез в грузовик через проем брезентового тента.

На левом берегу нас выгрузили. В Александровку добрался благополучно пешком.

В Александровке появился и познакомился со мной некто Алексей. Он поступил на работу на опытное поле. Алексей, парень лет 25, чернобровый, чубатый, косая сажень в высь и в ширь, кирпичный. Он скоро пристал в приемы к Катерине, разведенной молодичке, и зажил в полном достатке. Муж Кати был в армии. Я заходил к Алексею, хотел выяснить, что он за птица, но мне это не удалось. В кожевенную мастерскую, где я продолжал иногда обдирать шкуры, часто заходили немецкие офицеры — заказчики кож и шкур.

Зачастили в мастерскую и местные полицаи, которые задавали мне вопросы, кто я, откуда я. Мне стало ясно, что мною интересуются. Кожевник Чимбарь отношение ко мне резко изменил, сурово заявил, что не нуждается больше в моей помощи. О причине такого поворота нетрудно было догадаться. Либо он слышал разговор обо мне, либо испугался, что на моем фоне и его распознают. Однажды в воскресенье я помог бухгалтеру опытного поля погрузить и отвезти к нему домой на Игрень овощи. По соседству с домом бухгалтера я увидел во дворе моего кожевника и игреньского полицая. Значит, он жил в доме полицая. Вероятно, он рассчитывал на надежное полицейское прикрытие, отвод глаз и подозрений.

В колхозе мне выдали на заработанные трудодни мешок пшеницы, картофель и другие продукты. Завозить эти продукты мне было некуда. Узнав об этом, председатель колхоза выделил мне маленькую комнатку-конурку в доме, где жил колхозник-немец с женой и дочкой. Дочь их работала в Днепропетровске у немцев переводчицей, как и большая часть немецкой молодежи Александровки. От хозяина дома я узнал, что немцам под Москвой Красная Армия преподала урок. Но точных данных я не имел. В газетных сводках немцы сообщали о какой-то планомерной перегруппировке войск и о занятии заранее подготовленных позиций. Все эти сводки выглядели туманными и расплывчатыми, но отражали резкое ухудшение положения фашистов на фронте.

Допрос в управе.

В первую же ночь ночевки на новой квартире меня разбудили стуком в дверь. В комнату вошли два полицая — немецкие колонисты, те самые, которые задавали мне вопросы в кожевенной. Меня повезли в сельскую управу. Староста управы меня знал. Я ему пилил дрова. Кроме меня, в управу привезли Сергея Рязанского и пожилого мужика из Орла, звали его Андреем.

Мне учинили допрос. Кто я по национальности? Я ответил — русский.

— А что, если мы проверим и докажем, что ты еврей?

Я понял, о какой проверке идет речь, и сказал, что отец мой русский, мать еврейка.

Староста и оба полицаи между собой переговорили на своем языке. Всего разговора я не понял, но суть его была в том, что, если мать еврейка, значит, сын еврей.

Нас заперли в камеру при управе, а на рассвете снова допрашивали: кто такой Алексей, где он? Кто скажет, того сейчас же отпустят. Это была, конечно, полицейская ложь. Но никто не знал, где Алексей. Он своевременно ушел из Александровки.

Из Александровки по направлению Игрени нас повезли на подводе. Три полицаи сидели рядом, впереди и сзади на подводах ехали еще по одному полицая. По дороге мы разговаривали. Сергей предположил, что нас везут на восстановление железнодорожных путей. Но я был уверен, что меня везут на расстрел.

Последние часы перед расстрелом?

Мы проехали Игрень и направились дальше в направлении Днепропетровска. День стоял тихий и солнечный. По голубому небу плыли отдельными островками белые облака. Я мысленно прощался с окружающей предвесенней природой и жадно всматривался в каждый штрих ее красоты.

Нас привезли в Амур-Нижнеднепровскую комендатуру. Во дворе комендатуры стояло с десятков подвод таких же, как наша. Часть подвод выезжали со двора порожняком, после выгрузки всяких подозрительных мужчин и даже местных жителей. Другие подводы привозили новых арестованных. На всех уже были составлены списки. Только меня одного снова допрашивали. Наш полицай, немец-фашист и переводчик встали вокруг меня и начали задавать вопросы. Фашист спрашивал на ломаном русском языке, еврей ли я. Мне вопрос был ясен, но сделал вид, что не понимаю. Тогда вмешался переводчик и спросил: «Ты жид?» Я отрицал. Но он фашисту разъяснил, что я пытаюсь скрыть свою национальность, на что фашист ответил: «Ему это не удастся. Необходимо отметить в документах и указать при передаче».

Нас всех построили, проверили по списку, пересчитали и колонной по три человека в ряд повели через мост в город к тюрьме, где немцы устроили лагерь для военнопленных.

Пока оформляли передачу, нас держали у ворот, а потом открыли ворота и завели во двор. Лагерное начальство, пересчитав нас вновь и убедившись, что количество соответствует списку, отпустило наш конвой. Нас же повели в глубь двора, выстроили в три шеренги, и какой-то фашист скомандовал: «Кавказцы — два шага вперед. Узбеки, таджики, киргизы, калмыки, татары — 3 шага. Евреи — 4 шага. Русские и украинцы остаются на месте».

Я остался стоять на месте.

Меня не выдали.

Немец снова повторил команду. Сергей и Николай меня не выдали, несмотря на то что меня допрашивали в Александровке в их присутствии.

Всегда соображать, и быстро.

Немец скомандовал: «Всех в баню, а потом — на медосмотр». Баня была для меня губительной операцией, а тем более медосмотр. Но я в баню пошел, вымылся. Одежду продезинфицировали, я переоделся, и вместо того, чтобы идти стричься и на медосмотр, я пошел в туалетную и вышел оттуда, когда все прошли медосмотр. Все прошедшие медосмотр были стриженные, а я был заросший. Это обстоятельство меня очень волновало. К вечеру, когда я вошел в тюремную камеру 1-го корпуса, где нас разместили, я выделялся среди всех. Я не хотел попадать в одну камеру с Сергеем и Николаем, и мне это удалось. Мое стремление отделиться от них было вызвано возможной с ними ссорой. И тогда, со злости, один из них мог бы обозвать меня. Либо рассказать из сочувствия ко мне какому-нибудь соседу или товарищу по камере, не задумываясь о последствиях.

Камера была размером примерно 6х4 м. У входа стояла параша, на окне решетка. Окно обито железом под откос в виде кармана, так что виднелась часть неба. Спали все на цементном полу впритык друг к другу, в два ряда, с очень узким проходом посередине. Когда я поселился в камеру, она была не полностью заполнена, и я имел возможность занять место в середине камеры. Но и ко мне доносился запах параша, смешанный с общей духотой. Спали все на голом полу. Кто мог, подкладывал картон или тряпки. В моей камере поселились четверо игренских мужиков, пригнанных сюда вместе со мной. Тут был народ разношерстный — от шахтера и колхозника до инженера и капельмейстера.

На следующий день староста камеры повел на регистрацию. На каждого был заведен учет, все «поиграли на пианино», то есть каждому отпечатали пальцы в его карточке. Каждое утро всех выгоняли во двор, где формировали группы, команды, бригады для отправки на работу. Эти группы подбирались двумя унтер-офицерами преклонного возраста. Один из них был тощий, высокий, другой толстый и низкий. Комплектовали их по заказу приезжающих утром представителей армейских подразделений и конвоиров по заявкам предыдущего дня. Эти унтер-офицеры, да и сами пленные в основном изучили и знали, в какую группу, к какому представителю лучше попасть на работу, где кормят пленных, где не кормят, где какая работа по составу, по трудоемкости. Через две-три недели новые пленные уже в этих вопросах разбирались и каждый стремился, естественно, попасть к лучшему «покупателю». При появлении таких «покупателей» к ним устремлялось гораздо большее количество пленных, чем им требовалось. Унтер-офицеры быстро наводили порядок ударом кортика по голове одному-двум пленным.

Мне пришлось побывать на разных работах в разных местах. Рядом с тюрьмой были старые казармы, куда привели нашу группу для уборки помещения. После окончания работ в комнату, которую я убирал, зашел старый фашист и, недовольный моей работой, начал ругаться и гоняться за мной по комнате, чтобы ударить, но достать меня не смог. Я убежал, а фашист руками и ногами махал по воздуху. Хорошо, что был конец дня, и нас привели обратно в лагерь. Больше я к этому фашисту не попадал. Со временем толстый унтер меня приметил и при комплектовании команд на работу подзывал лично и тихо говорил на ломаном русском: «Становись, хорошее место». Так называемые «хорошие места» состояли в том, что там хоть и плохо, но кормили (объедками, остатками, недоедками).

Немец всмотрелся и понял...

Однажды поставил меня толстяк в команду к очкастому немцу. На вид он был холеный, здоровый, краснощекий брюнет. Нас повезли на Садовую в здание бывшей 80-й школы. Мы носили тюфяки со двора на 4-й этаж. На каждом этаже стоял вооруженный немец, в том числе и очкастый, который нас взял из лагеря. Этот очкастый всматривался в мое лицо всякий раз, когда я поднимался грузеный. Наконец, он мне сказал по-немецки, что я еврей. Я притворился, что ничего не понял, но он громко и утвердительно повторил свое определение. А ведь я шел ему навстречу и мимо него должен был проходить еще в течение трех часов и думать, что он будет со мной делать, когда он про меня заявит, сейчас же или в лагере, как он со мной поступит? Я был уверен, что на этот раз судьба моя решена и биография закончена.

Время работы вышло. Шофер завел машину. Очкастый сел в кабину, а конвоиры в кузов. Значит, думал я, очкастый передаст свое «открытие» лагерному начальству. Приехали мы в лагерь, выгрузились. Очкастый нас передал по счету, сел в кабину и уехал. Хоть я следил за ним и не замечал, чтобы он кому-то что-то сказал в проходной лагеря, но волнение мое не проходило. Я все ожидал, что за мной придут в камеру. Ночь прошла без сна. Утром снова на «бирже» комплектовали группы. Но я к очкастому в группу не встал, старался с ним не встречаться, чтобы он меня не увидел, и пристроился в другую группу, которую комплектовал тощий унтер. В этой группе не машиной возили на работы, а гнали пешком. На следующее утро толстяк меня взял за рукав и спросил, почему я вчера не поехал в «хорошее место». Я перепугался, подумал, что очкастый все про меня уже рассказал. Толстяку я ответил, что товарищ меня попросил быть с ним в одной группе. Унтер удивился и ничего не ответил, только пожал плечами. Я понял, что очкастый промолчал.

Только не лазарет — это конец!

Как-то попал я на работу, где нас накормили отварной квашенной капустой. Повар был русский и щедро накладывал, кто сколько хотел. Я пожадничал, поел лишнее.

На следующий день я тяжело заболел желудком. Мне казалось, что это дизентерия. Меня страшно несло днем и ночью. Не было во что переодеться. Мне страшнее всего было попасть в лазарет, так как это означало подписать себе приговор. Поэтому я скрывал свою болезнь и вынужден был ходить на работы, и без того бессильный и замученный. Но к лагерному русскому фельдшеру я осторожно обратился за консультацией. Фельдшер посоветовал сухари и черный кофе. Стала проблема, где их раздобыть?

Черный кофе я попросил у немца-конвоира, охранявшего нас при переноске кислородных баллонов. Немец, к моему удивлению, оказался чутким, дал мне кофе и черные галеты. Женщины, где мы работали, принесли мне трое старых брюк, по моей просьбе, так что я мог уже переодеться, сменить брюки. Постепенно мое состояние улучшалось.

В здании швейной фабрики им. Володарского немцы устроили склады. Работая на этом складе, я встретился с Володией Кисленко, который приехал с немцами, как вольнонаемный по отбору автозапчастей. Я был под конвоем, поэтому мог с ним перекинуться несколькими фразами только на расстоянии, но ничего конкретного и определенного мы друг другу не сказали. Это была неожиданная, случайная и единственная встреча.

Когда из лагеря на работы нас водили пешком, часто, особенно в районе Комсомольской, Озерки, проспекта Пушкина и др., меня видели знакомые. Однажды у входа в парк Чкалова со стороны Комсомольской улицы, куда нас привели на земляные работы по устройству дороги, я встретил Юру Зварича из № 76 (дом Лурье) и Виталика Кашарновского. Виталик нес полхлеба и четвертинку отдал мне. А Юра Зварич ничего съестного не имел, но он скоро специально вернулся и принес мне четвертушку хлеба. Это была хорошая поддержка — и пищевая, и духовная. Я был рад, что они не прошли мимо, не просто поздоровались кивком головы, а проявили внимание и заботу. Больше на этот участок я не попадал.

Однажды я остался в камере, не пошел на работу, так как староста отнес мои ботинки в ремонт. Вместе со мной в камере остался еще один парень, молодой и шустрый. Звали его Саша. Он проверил содержимое в мешочках игренских мужиков, которым приносили передачи. Отрезал хлеб и другие продукты понемногу из четырех мешочков. Я его предупреждал о возможных неприятных последствиях. Но он меня успокаивал и делился со мной краденым. Я не мог удержаться от соблазна и принял его угощение.

По возвращении с работы игренцы обнаружили утечку и обвинили в этом Сашу. Он отпирался, ему не верили, набросились на него и

выгнали из нашей камеры. Он до конца отрицал свою вину, поэтому и не мог сказать, что делился со мной.

Вскоре он заболел тифом. Староста камеры тоже заболел тифом. Я видел, как их обоих уводили в лазарет. Они выглядели ужасно. Похоже было, что они не жильцы, что дни их сочтены. Я удивляюсь, как меня и моих соседей по камере не прихватил тиф. Ведь мы лежали и спали тесно впритык друг к другу, завшивленные. Хоть баню и санобработку временами нам устраивали, от вшивости избавиться было невозможно. А я вообще старался избежать бани, чтобы меня никто не обнаружил по внешним ритуальным признакам.

Ботинки мне отремонтировали, и во второй половине дня староста принес их мне и объявил: кто хочет пойти на постоянную работу с жильем без возвращения в лагерь, — выходить во двор.

Из корпуса вышло десять человек, не ушедших на работу. В их числе и я. Нас построили в пары. Командовал переводчик. Он подходил к каждому, молча на ходу присматривался, а возле меня остановился, посмотрел в глаза и спросил — откуда, сколько лет, как зовут? Я ответил.

Он сказал: «Выйди, тебе не надо».

Вероятно, переводчик знал, что перед выпуском из лагеря производится процедура медицинской проверки, и он сознательно не хотел меня подвергать опасности. В душе я был ему благодарен.

Лагерь.

Я остался в лагере. Продолжал ходить на разные работы в разные места.

<...>

После работы, вечером, когда все пленные возвращались в расположение лагеря, начинал действовать лагерный базар. Сюда приносили, кто что имел, достал, получил или украл, кто хотел свой продукт или вещь обменять на другой продукт или другую необходимую ему вещь. Меняли сигареты, лимонад, махорку, табак, предметы одежды. Базар размещался напротив отдельно стоящей кухни. Зав. кухней, плешивый небольшого роста фельдфебель с крыльца кухни часто наблюдал за толкучкой базара и поглаживал своего колоссального пса-волкодава и, когда базар был в самом разгаре, при большом количестве людей неоднократно швырял в центр базара куски черного хлеба и одновременно спускал волкодава. Пленные бросались на хлеб, а волкодав на пленных. Фельдфебель стоял на крыльце и заливался от удовольствия громким смехом. Ему такая картина очень нравилась.

Пленным готовилось только одно блюдо: навар перетертых кукурузных кочанов, без кукурузных зерен. Кормили два раза в день.

Утром до работы и вечером после работы. К этой баланде выдавали 100 грамм хлеба. Баланду носили пленные в свою камеру по очереди. На кухне наливали ее в кадушки с ушками, в которые продевались трубки и на плечах двух человек относили в камеры. Я часто в порядке очереди с напарником нес баланду. Один раз, поднимаясь по лестнице, споткнулся, упал и облился горячей баландой. Пострадала вся камера. Вылитую баланду нам не добавили, но зла ко мне открыто никто не выразил.

В камере я познакомился с Вадимом Алексеевичем — военным капельмейстером. Как-то слышу, он насвистывает арию Ленского. Я обратил внимание на точную передачу мотива и высказал свое восхищение. Он об этом передал своему соседу, они улыбнулись. Тут же он рассказал, что в лагере ему предложили создать оркестр и он не знает, как поступить. Его сомнения меня удивили. Но после дальнейших высказываний я понял его преклонение перед немцами. Он выражал недовольство тем, что в музыке Союза ключевые места заняли евреи. Я стал избегать с ним встречи и тем более беседы. Внешне он был похож на интеллигентного, солидного мужчину — высокий, светловолосый, красивый, симпатичный. Оказался — немецким прихвостнем. <...>

До нас в лагере доходило эхо оружейных выстрелов, а временами раскаты канонад. Поговаривали, что идут бои под Лозовой. Из этого района в лагерь пригнали много народа — мужчин, юношей и мальчиков лет 14–16. Их было человек 50. Пронесся слух, как будто этих малолеток рождения 1925 г. и моложе будут отправлять домой. В эту нелепую молву трудно было поверить, но что-то с этими мальчиками проделать немцы намеревались. Их поселили в отдельный корпус, не брали на работы за пределы лагеря. Я решил тоже поселиться в этот корпус для малолеток. Корпус находился во второй половине двора. Это был небольшой дом в два этажа. Первый этаж занимали малолетки.

Я попросил старосту моей камеры помочь мне переселиться в этот корпус. Сказал, что я 1925 г. рождения. Он пообещал, однако ничего в этом направлении не делал. Чтобы заинтересовать его, я преподнес ему пачку сигарет, которые выменял на две пайки хлеба. Но и подарок не расшевелил его.

Я забеспокоился, махнул на своего старосту и как-то после работы пошел в этот юношеский корпус, обратился к его старосте, сказал, что я 1925 г. рождения и хочу перейти к нему. Он задал мне пару вопросов и согласился принять. В тот же вечер я поселился.

Тут было просторное помещение, не полностью заполненное, свободное для сна. Второе преимущество было в том, что нас не водили на работы за пределы лагеря. Все жили надеждами и наивно ждали возвращения домой.

Медосмотр, и снова медосмотр...

Через две-три недели нас собрали с вещами, построили. Сделали перекличку и повели в медпункт. Уйти я не мог. Положение было безвыходное, и я попал на проверку. В комнату впускали по три человека. Вызвали и меня. В комнате сидел, развалившись на стуле, закинув ногу на ногу, немецкий врач, а осматривал и прослушивал нас русский врач, молодой симпатичный брюнет. К моему счастью, раздевались мы только до пояса, брюк не сбрасывали. Врач меня прослушал, спросил, здоров ли я, на что жалуюсь. Я, безусловно, ответил, что вполне здоров и чувствую себя отлично.

Врач улыбнулся, а немец все время высокомерно смотрел на меня, и казалось, что он изучает — кто я есть? Я отвечал на вопросы бодро и уверенно, хотя все внутренности дрожали. Я оделся и вышел. Ноги подкашивались от нервного перенапряжения. Всех нас собрали, повели в баню. После бани снова всех пропустили через медпункт. На этот раз была проверка при спущенных штанах. Когда я увидел, что снова ведут в санчасть, я забежал в дворовую уборную, расположенную вблизи санчасти, и вышел из нее, когда всех снова строили и делали перекличку по фамилиям.

Это была последняя перекличка и построение в лагере со своими вещами, у кого они были. Нас под охраной вывели за ворота. Вместе с нами вывели взрослых лозовчан, и всех повели на железнодорожную станцию, погрузили в три товарных (телячьих) вагона, плотно заперли и подцепили к товарному поезду, в котором увозили в Германию на работы гражданскую молодежь. Они ехали без охраны, на остановках выходили, бегали по воду, подходили к нашим закрытым вагонам, с нами переговаривались. Немцы-конвоиры отгоняли их от наших вагонов. Видимо, эта первая партия молодых людей в Германию ехала самостоятельно, добровольно, поддавшись на удочку пропаганды газет, а также расклеенных по городу плакатов и объявлений, в которых превозносилась высокая германская культура труда, уровень и условия жизни, возможность получения образования.

Перед посадкой нас смешали со взрослыми мужчинами из лагеря, плотно набив вагоны. Общаться с внешним миром можно было только через отверстие оконного проема в верхней части стенки. Тот факт, что нас смешали со взрослыми, меня расстроил. Я начал снова оглядываться и опасаться разоблачений. В пути нас не кормили, не давали ни кусочка хлеба. Конвоиры вместе с нами ехали в Германию в отпуск и весь скудный сухой паек забрали себе, не выделив нам ни грамма. В вагоне царил голод.

Иногда из соседних вагонов нам пытались передать через «телячье» окошко что-нибудь поесть из домашних харчей, взятых в дальнюю дорогу. Несмотря на то, что немцы не разрешали делать такие передачи, кое-что в наш вагон попадало. И тут же у окошка расхватывалось теми, кто был поближе. Однажды и я, стоя у окошка, получил от девушки половину буханки хлеба. Не успел я повернуться

от окна, меня окружили, стали ломать куски, так что у меня в руках остался ломтик грамм так в сто. Я не проявлял сопротивления и не пытался себе оставить большой кусок из этой полбуханки. Духовное и моральное состояние мое было подавлено. Я ждал своего последнего часа и в то же время оглядывался и ловил на себе взгляды окружавших меня пленных.

Со всеми вместе, и будь что будет!

Первая наша высадка была в Польше. Нас расположили в бараках лагеря, вблизи какого-то провинциального города. За окном под охраной немцев на дороге работали евреи. Немец кричал на них, ругался. Один старик-еврей, обращаясь к нам в открытое с решеткой окно, спросил иронически: «Чего он кричит, вы понимаете? Я не понимаю».

Тяжело было смотреть на этих несчастных, но они были живы, их не расстреливали, и у меня грешным делом мелькала мысль: может, примкнуть к ним, и пусть меня постигнет одна с ними участь.

Я думал, если меня обнаружат одного среди всех пленных, то тут же и прикончат, а этих евреев еще держат, хотя их участь ужасна и, вероятно, уже предрешена. Но мне почему-то хотелось быть вместе с ними.

Опять банные процедуры... а все-таки я за границей, здорово...

Долго размышлять мне не пришлось. По команде нас подняли, повели к пищеблоку, дали отвар из брюквы и снова загрузили в эти три телячьих вагона. Следующая высадка была в Люблине. Здесь нам устроили индивидуальную санобработку: на каждого отдельно брызгали насосом какими-то растворами из двух баллонов, потом гнали на обмывку в баню. Всю эту процедуру я прошел благополучно.

Люблин был последним пунктом высадки из вагонов перед Германией. Я подумал, что еще и Германию увижу одним глазом.

В Германии нас выгрузили в военном городке под Хаммельбургом. <...> Наш поезд заехал в зону, вагоны открыли, все вышли из вагонов, и наши военнопленные смешались с гражданскими. У нас на верхней одежде были отпечатаны две латинские буквы KG (Kriegsgefangene), что означало «военнопленный». Мы сбросили с себя эту верхнюю одежду, чтобы раствориться незаметно среди всего эшелона. Немцы дали команду построиться всем, кто вышел из наших трех вагонов, однако эту команду никто и не думал выполнять. Тогда построили весь эшелон, разбили на группы и повели в баню. Баню обслуживали русские пленные. Все начали раздеваться, а я, во избежание зла, воспользовался старым приемом и засел в туалетной. Вышел из нее после того, как увидел выходящих из бани ребят моей группы. Они внешне резко отличались от меня и обращали внимание на мою не пропаренную баней физиономию и нестриженую голову. Из бани нас повели в расположение лагерей для военнопленных.

Тут были французские и английские лагеря по одной стороне дороги, а с противоположной стороны дороги, в десяти метрах, находился лагерь комсостава советских пленных.

Нас завели в ворота на дорогу, которая отделяла между собой эти лагеря, огражденные металлической сеткой. Здания лагерей были одноэтажными сборно-разборными бараками. Когда нас завели в ворота, меня кто-то громко окликнул по имени: «Гриша». Я не сразу расслышал этот окрик, и мне соседи по группе показали, кто меня зовет. Я оглянулся и увидел Сергея и Николая из Александровки. Их из Днепропетровского лагеря увезли в Германию как военнопленных гораздо раньше, чем меня. Сейчас они были отделены от нас проволочной сеткой и переносили на плечах конструкции сборных бараков. Задержаться и поговорить со мной им не удалось, конвоир пинком погнал их вперед. Я сравнивал наше положение. Они были пленные, имели ужасно жалкий, бледный вид, переносили тяжелые конструкции. Гражданская молодежь, хоть и не свободная, имела некоторые преимущества, на мой взгляд, по сравнению с пленными. Лично я с напряжением ждал: что же со мной будет дальше, несмотря на то что я временно был в лучшем положении, чем Сергей и Николай.

За нами закрыли дорожные ворота. В лагере для наших пленных содержались и крупные чины, вплоть до генералов. Генералы на работу не ходили. Питанием их поддерживали остальные пленные, за счет своего пайка.

Французские и английские пленные жили гораздо лучше наших. Они устраивали встречи по борьбе. Охрана разрешала им такие развлечения, а мы наблюдали через металлическую решетку ограды. Наши пленные говорили, что англичане и французы получают посылки через Красный Крест. Много французов по желанию были из лагерей освобождены для постоянной работы в сельском хозяйстве и промышленности Германии, с проживанием по месту работы. Французы говорили, что эти условия освобождения их из лагерей согласовал Петен — глава Вишйского правительства, подписавший сепаратный мир с фашистами.

Опасности на каждом шагу.

Во второй половине дня приехали представители из ведомства «Arbeitsdienst». Это ведомство поставляло рабочую силу. Комплектовали партии для отправки на работы. Я не подходил к столу регистрации, не знал, как поступить, куда, в какую группу примкнуть.

Фабрик, заводов и других предприятий я старался избежать, чтобы не попасть в общежитие, где бани, медосмотр и другие процедуры меня моментально разоблачат. А в сельское хозяйство подбирали тех,

кто уже в нем работал или обладал внешними признаками здоровья и мозолистых рук.

Постепенно регистрация и отбор в группы покупателями рабочей силы подходил к концу. Мне повезло, я попал в сельскохозяйственную группу. Мне повесили личный порядковый номер. Пока мое желание претворялось в жизнь, но грядущая опасность подстерегала меня на каждом шагу.

Из Хаммельбурга нас, человек двести, повезли железной дорогой в город Кам. Тут снова медосмотр. На мое счастье, кроме рентгена ничего не проверяли. В Каме нас разделили на четыре группы. Мою группу по железной дороге повезли в Кетцинг — маленький городок районного значения. Недалеко от железнодорожной станции нас разместили в пустом двухэтажном домике, в котором не было жильцов. Мы, по команде охраны, натаскали себе для сна солому. Я поселился на втором этаже. Напротив нашего домика, по другую сторону железной дороги взаперти под охраной находились человек шесть наших пленных. Мы видели их сквозь решетки. Они пели наши песни. Охранники их ругали, что-то в них швыряли, а они продолжали петь.

Нас водили на работу по погрузке и разгрузке железнодорожных вагонов. На четвертый день во двор заехали две легковые машины. Из одной вышел мужчина-врач и молоденькая женщина, медсестра. Одели белые халаты, установили на столик пишущую машинку. Из другого автомобиля вышел мужчина — высокий лысый старик и женщина.

Врач и сестра приступили к медосмотру. Каждый подходил к медсестре, она записывала личный номер, который был приколот к одежде еще в Хаммельбурге при формировании групп. Потом, голых, в чем мать родила, осматривал врач. После осмотра медсестра делала отметку против каждого номера, прошедшего осмотр.

Увидев эту процедуру, я обомлел. Как быть, что предпринять? Времени на обдумывание не было. Очередь двигалась, мое время сокращалось. Я забежал на второй этаж в комнату, лег на свое место и решил, что при таком порядке осмотра единственное мое спасение может быть только в случае, если кто-нибудь другой, прошедший уже осмотр, оденет мою рубаху с моим номером и пройдет таким образом. В этот момент в комнату зашли два моих соседа по комнате: Ваня и Федя. Я спросил: «Ну как, все в порядке? Прошли?» Я им сказал, что мне надо тоже идти на медосмотр, но у меня сыпь на теле и меня отправят в лазарет, откуда живым мне не выйти. И тут же я попросил, чтобы Ваня одел мою рубаху с номером и пошел на осмотр вместо меня. За это я ему пообещал до конца нашего пребывания в этом доме отдавать свою пайку хлеба. Ваня немного помялся, но после того, как Федя ему сказал: «Пойди. Выручи соседа», — он согласился. Мы быстро поменялись рубахами, и он пошел. Я с замиранием сердца ждал его возвращения. Вскоре он вернулся, совершенно спокойный и сказал, что

все в порядке, прошел осмотр, ничего его не спрашивали. Мы снова поменялись рубашками, каждый надел свою, со своим номером.

После осмотра старик и дама, красиво говорившие на русском языке, на каждого завели карточки и в них впечатали некоторые демографические сведения: фамилию, имя, отчество, где родился, национальность, год рождения. Номера у нас забрали. Русская дама беседовала с нами. Обращаясь к нам, она называла нас «господа». Это звучало очень смешно. Один из нашей группы спросил у нее:

— Скажите, пожалуйста, фамилия того мужчины не Кривошеев, который был товарищем министра просвещения России?

— Да, — ответила она. — Мой муж был товарищем министра просвещения. А откуда вам это известно и как вы его узнали?

— Я его узнал по фотографии, — ответил он и добавил, что он сам преподаватель истории.

В конце дня комиссия уехала. В этом доме мы оставались еще три дня. Я регулярно отдавал свою пайку хлеба с благодарностью моему спасителю Ване. Он не представлял истинную цену его невольной услуги, благодаря которой в тот период мне была спасена жизнь.

На четвертый день за нами прибыли «покупатели». Нас разобрали по человек 10–12 в каждое село и вместе с карточками передали бургомистрам.

Бывает и хорошо — знать немецкий язык.

Я попал в село Трайдерсдорф. Бургомистр, который нас «закупил», всю дорогу от Кетцинга до Трайдерсдорфа периодически задавал мне вопросы — кто я, откуда, что умею, кто родители и т. д. Я ему кое-как отвечал. Он меня кое-как понимал. По внешнему виду я ему лично не подходил. В нашей партии были ребята покрупнее меня, гораздо здоровее и знающие сельхозработы. Но он меня взял к себе только потому, что я мог его понять. Он так всем и объяснял.

Бюргер по кличке Кропот.

Фамилия его была Мельбауэр, звали Иозеф (Иосиф), но домашнему Сеп, а кличка Кропот. Вместе со мной он себе взял нашу девушку Лиду Хоменко из Верхнеднепровска. Кроме того, у него уже давно до нас работал поляк Михал, мой ровесник, блондин с заячьей губой, отлично знающий сельхозработы, и немецкая девочка-батрачка Анна лет 14–15, красивая блондинка с косичкой.

У Кропота мне пришлось участвовать во всем комплексе сельхозработ и лесоразработках в Баварских Альпах.

Кропот был скрытый деспот, хотя старался показать себя общительным либералом. Часто говорил со мной о политике и удивлялся моему знакомству с историей Германии, ее деятелями искусства, литературы, науки, говорил, что я знаю о Германии больше, чем немцы. Он, конечно, в этом отношении мог меня сравнить только со своими односельчанами.

Однажды он мне сказал, что я похож на еврея, и рассказал, как его и других немцев выручали евреи, давая займы деньги. В то же время он был пропитан фашистской идеологией, делил людей на высшие и низшие расы. Утверждал, будто бы поляки в одну ночь вырезали в приграничном городе Гляйвице всех немцев, что явилось причиной нападения Германии на Польшу, будто Союз первым напал на Германию. Кропот очень часто читал мою карточку, в которой было напечатано с моих слов, что я родом из Сальска. Он нашел Сальск на карте и определил, что я казак по происхождению. Этому мне и надо было. Но я, зная его упрямство, отрицал, что я казак, говорил, что дед мой казак, а отец мой учитель. Кропот настаивал на своем открытии моего казачьего происхождения, доказывая с пеной у рта, что если дед мой казак, так и отец мой казак, хоть по профессии он и учитель, а я, сын казачий, тоже казак. Вот этого мне и надо было добиться от Кропота. Этот факт я имел в виду, когда отвечал на вопросы при составлении на меня карточки. Кроме того, я знал, что из Сальска запросить обо мне не представится возможным.

О том, что я казак, Кропоту подтвердил местный ксендз, который в Германии является самым большим ученым авторитетом. Он объяснил Кропоту, что по внешним признакам курчавых волос я тоже похож на казака. С этого времени, когда Кропот меня ругал, он обязательно выговаривал: «Проклятый, отвратительный казак». Мне такие его ругательства очень нравились. Они были прикрытием и отвлекающим фактором и еще одним очком в мою пользу. Однако местный почтальон, старый немец, продолжал уверять Кропота, что я еврей. Но для Кропота авторитет ксендза был превыше всего.

В Трайдерсдорфе, кроме меня и Лиды, прибыли к другим хозяевам Галя и Нина. Все три девушки из Верхнеднепровска. Нина через два месяца удрала от хозяйки: муж ее хозяйки был на фронте. Нину разыскивала полиция, и в этой связи нас допрашивали. Через пару месяцев от Нины пришло письмо. Работала она где-то в курортном городе на западе. По соседству с нами работали у разных хозяев Митя Радченко из Верхнеднепровска, Толя Черный из Пятихаток, Вася Прокопчук их Божедаровки, его отец был председатель колхоза. В 30-е гг. его расстреляли за падеж лошадей, которых кто-то отравил. Из бывших солдат Красной Армии тут были Миша-узбек из Ташкента, Толя Зеленый с Урала и Виктор «Рыжий» из Сибири.

В Трайдерсдорфе была кирха (церковь). Все местные жители регулярно, нарядно одетые, по воскресеньям и праздникам посещали

эту кирху. Служба сопровождалась органом. На органе играла дочь местного помещика. После службы по возвращении из кирхи все переодевались в рабочую одежду и трудились. В пору жатвы и сенокоса работали без выходных почти все немцы в Трайдерсдорфе и нас заставляли. В основном мы в воскресные зимние дни были свободны. Мы собирались в деревенской пивной, выпивали по одной-две кружки пива. Хозяева платили нам еженедельно по 1-2 марки, так что на пиво хватало. В канун религиозных праздников они дарили что-нибудь из одежды. Питались мы за одним столом и одинаковой пищей, главным продуктом был картофель. Жилищные условия наши были удовлетворительными. Все жили в капитальных комнатах, имели отдельные кровати, спали на перинах и укрывались перинами. Так что наши материально-бытовые условия, а также питание и свобода передвижения были гораздо лучше, чем у всех пленных и угнанных для работы на заводах, фабриках, шахтах, стройках и других крупных объектах.

Я знал о состоянии дел на фронте. Даже по фашистским сводкам можно было определить перелом войны в пользу Красной Армии. Поражение немцев в Сталинграде, окружение большой группировки и взятие в плен командующего 6-й армии фельдмаршала Паулюса было объявлено в Германии и отмечено трехдневным национальным трауром. На мой вопрос о боях в Сталинграде Кропот отвечал:

- Сталинграда не существует, там голое место.
- А кто же победил? — спрашивал я.
- Никто, — отвечал Кропот.

Я убью его, и тогда мне конец...

Мои стычки с Кропотом принимали все более острый характер. В лесу он на меня замахивался ломом или цепью. Я принимал защитную стойку и с большим трудом воздерживался от ответного удара по голове Кропота.

Эта опасность назревала и могла закончиться для меня трагично. Остаться у Кропота я не хотел и твердо решил от него уйти. Может быть, этот шаг был неразумным, не до конца осмысленным, опасным для моей жизни? Да, так и было. Но решение мое было твердым и непоколебимым.

И вот в ноябре 1943 г. однажды утром я поднялся, оделся и сказал поляку Михалу, что ухожу. Он был ошеломлен моим поступком, стал категорически отговаривать меня и доказывать, что это не к добру. Но я ушел.

У меня не было разработанного плана побега. Я знал, что при задержании буду разоблачен и ликвидирован. Я пошел на Кетцинг. По пути я взвешивал все возможные варианты моей перспективы и ничего

разумнее не мог придумать, как пойти в полицию и заявить, что я сбежал от Кропота, так как не мог вынести его издевательств. Такое решение я принял потому, что сам факт моего прихода в полицию, как я полагал, маскировал меня и был отвлекающим маневром для полиции. И вот я захожу в здание полиции, слышу громкий разговор на втором этаже. Поднимаюсь и захожу в комнату. Все затихли и обратили на меня внимание. Начальник спросил — в чем дело? Я притворился наивным и рассказал, что с Кропотом работать невозможно, он бьет ломом и цепью (нашел кому жаловаться). Начальник, улыбаясь, спросил:

— Как же ты остался жив? Если бьют ломом и цепью, то убивают, — и, приняв строгий вид, приказал мне немедленно возвращаться обратно к Кропоту. К вечеру я вернулся. Увидев меня, Кропот ничего не сказал и не спросил. Михал говорил, что Кропот не поверил моему побегу, он был уверен, что я вернусь, что я ушел погулять, потому что я лентяй, не хотел в этот день работать. Кропот еще говорил, что по его желанию я могу быть отправлен в лагерь, стоит ему только обо мне заявить.

Я все равно сбежал — только чем же это кончится?

Через три дня я снова сбежал в Кетцинг, покрутился по городу, зашел в больницу навестить Васю Прокопчука, согрелся и снова пошел в полицию, поднялся в ту же комнату, и передо мной возник во весь громадный рост полицейский инспектор Берг, о котором Кропот рассказывал, что он набил себе руку в Польше и не дай Бог попасть к нему в лапы.

Берг не дал мне высказаться и, услышав, что я пришел от Кропота, с ругательским криком вытолкнул меня на лестничную площадку и, столкнув вниз с лестницы, пригрозил, чтобы я немедленно был у Кропота и работал. Он проверит.

Когда я вышел из полиции, я не знал, как быть, куда идти. Одно для меня было ясно: возвращаться к Кропоту я не буду.

Что делать, как быть, как поступить? Этого я не мог решить. Время работало против меня. Бежать было некуда, несмотря на то что фактически побег был уже совершен. Однако шансов на его успех не было. Очень много лиц разыскивалось. И если любой другой беглец наказывался за побег лагерем или работой на каторге, то для меня даже такая мягкая мера наказания в конечном итоге закончилась бы разоблачением и крахом, так как на работах, где сосредоточена группа людей, такой конец был неизбежен, в связи с общими банями и комиссиями.

Так я прикидывал, рассуждал и пришел к выводу, что нельзя допустить быть пойманным, лучше самому пойти в тюрьму и сдаться под арест. Таким поступком я пускал пыль в глаза полиции. Начальник тюрьмы, оформляя мой арест в своем кабинете, сообщил про меня в полицию, задавал вопросы, заполняя карточку, говорил, что знает Кропота с отрицательной стороны.

Позвонил из полиции Берг. Во все горло он орал:

— Этот проклятый поляк у вас?

— Он не поляк, он украинец, — отвечал начальник тюрьмы.

Берг еще что-то прокричал, начальник тюрьмы ему ответил, повесил трубку и проводил меня во двор. Во дворе арестанты пилили дрова, рубили их и укладывали в штабеля. По окончании работ меня завели в камеру, где находился один француз. Француз, звали его Франсуа, работал на амуниционной фабрике в Кетцинге. Франсуа был из военнопленных. Как многие французы, по согласованию с Вишйским правительством Петена, был переведен по желанию из лагеря военнопленных на работы и проживание по месту работы и приравнивался к «цивильным».

На этой фабрике работало и проживало много французов и девушек из Союза, угнанных в Германию. Франсуа был низкорослый, коренастый. Он попал в тюрьму, как он говорил, за то, что не выполнял требования мастера-немца по ускорению работы рукояткой. Когда немец его подтолкнул и попытался ударить, Франсуа, будучи боксером, защитился и отбросил немца. Отсидел он в тюрьме месяц и вернулся снова на фабрику. С ним обошлись либерально. Если бы так поступил русский или поляк — концлагеря им бы не избежать.

Тюрьма — значит, баня, что делать?

Через неделю в нашу камеру посадили украинца — Николая Мельниченко, родом из Казахстана. Служил срочную в Красной Армии старшиной, бежал из плена. На следующий день нам предстояла баня. Я очень волновался, обдумывая, как мне поступить. В баню отправляли всю камеру, избежать ее не было никакой возможности.

Сказать? Не сказать?

Франсуа я почему-то не очень опасался, полагая, что он не разбирается в этих тонкостях. А вот Николая я не знал. Проработал с ним во дворе всего один день, мало беседовал. Разговорились мы в камере перед сном. После более тесного знакомства я должен был решить, как поступить: отдать себя в его власть, свою жизнь на его совесть, признаться и предупредить его о том, что мне грозит в случае разоблачения?

Доверяя ему свою судьбу, я бил на чувства гуманности и одновременно, уже не дожидаясь завтрашней бани, мог узнать реакцию Николая на мое признание.

В то же время я рисковал своим признанием, поскольку он мог бы и не знать про обрезание или не разбираться в нем и внешне не подозревать во мне еврея, и я прошел бы тюремную баню без последствий. И все же я пошел по первому пути. Раскрыв карты, я услышал (это было в темноте) его ответ:

— Не бойся. У нас в правительстве много евреев, и Молотов еврей.

Я с облегчением выслушал успокоение Николая, но заметил, что Молотов не еврей. Он со мной не согласился.

В бане я его не стеснялся, вернее, не боялся.

Он освободился из тюрьмы раньше меня, и, несмотря на мою просьбу держать мой секрет в тайне, он проболтался моему знакомому Ильку, который мне об этом после войны рассказал. Илько был хороший и надежный парень. Мы с ним продолжали служить в Румынии. Но если бы Николай без злого умысла проболтался кому-нибудь другому, мне пришел бы конец. Илько до войны жил в Ворошиловграде, работал пожарником, воевал, попал в плен.

Кропот просит меня вернуться.

В тюрьме я просидел 21 день. За это время приходил дважды за мной Кропот и требовал, чтобы я возвратился к нему обратно, в противном случае, если он захочет, меня отправят в концлагерь. После его первого посещения начальник тюрьмы, присутствовавший при разговоре, сказал, что не надо обращать внимания на его речи.

Во время второго свидания Кропот уже просил меня возвратиться к нему, обещал мир, почти извинялся, но когда я наотрез отказался, он снова перешел к угрозам.

Анализируя свое поведение, я сейчас могу с уверенностью утверждать, что для сохранения жизни я должен был вернуться к Кропоту, а не проявлять рискованное упрямство. Больше того, я не должен был уходить от Кропота, так как это тоже было связано с колоссальным риском.

За этот период в тюрьму дважды приходил для дознания и допроса полицейский инспектор Цоха. Он со мной мирно беседовал, расспрашивал, кто я, откуда родом, почему я знаю немецкий (я его знал очень примитивно), кто мои родители и каким образом я попал в Германию.

Немцы бывают ничего...

Мне повезло, что мною занялся не Краузе, а Цоха. Я ему отвечал по заранее подготовленной версии, как это было отражено в моей карточке, хранившейся у Кропота.

В конце второй беседы Цоха сказал: «Получишь хорошее место».

Через неделю за мной пришел новый хозяин, старик лет 65-67, высокий и коренастый, в старой одежде. По пути в свое хозяйство он расспрашивал, что я могу делать, где работал и т. д. Из тюрьмы мы шли пешком, поэтому я понял, что новое место моей работы будет где-то близко от Кетцинга или в самом городе. Я не ошибся.

Хозяйство было большое: лесопилка и мельница, сельское хозяйство и лесоработки в Баварских Альпах. Лесопилка и мельница

стояли на реке, по которой сплавлялся лес на распиловку. Вода приводила в движение механизмы и машины. Владельцами всего хозяйства были братья Мюллеры: Генрих, который меня привел из тюрьмы, заведовал производством и сам физически трудился, Франц 67–68 лет заведовал бухгалтерией и финансово-операционной работой. Физически он был больной, руки и ноги поражены ревматизмом. Иозеф — старший из братьев, очень больной, с трудом передвигался с помощью палочки, за пределы двора не выходил и постоянно рассказывал, как он тяжело трудился. <...>

Из работников были немцы: на пилораме мастером Иоганн-белобилетник, в коровнике батрачила Берта, конюхом был 18-летний Феликс, с бельмом в глазу. До меня у Миллеров работал Петя — украинец из Пятихаток. Он подрался с Феликсом, и его засадили в лагерь, откуда его освободили американцы.

Меня поселили во дворе, в комнате над коровником, на бывшую Петину кровать, рядом с кроватью Феликса. Спал я на перине и укрывался периной. Зимой комната не отапливалась, постель была сыровата, но под периной я согревался. Вскоре Феликса призвали, как и многих других, негодных к службе его товарищей.

Отношение ко мне со стороны стариков-хозяев, молодой хозяйки, ее сестры Марии, Феликса и Берты было нормальное. Я не могу вспомнить случая, чтобы кто-нибудь говорил со мной повышенным тоном. Старики и хозяйка с детьми питались отдельно, а все остальные: Мария, поденщицы, Роза, Берта, Феликс и я — ели за одним столом одну пищу. Мне приходилось иногда ездить за лимонадом и пивом на завод. Дочь хозяина завода много и мило со мной говорила и просила перевести на немецкий пошлые фразы и ругательства. Я стеснялся, а она настаивала. Однажды я увидел ее на прогулке с офицером, и мои симпатии к ней пропали.

В Кетцинге было два производства, на которых работали и жили русские девушки: мармеладная фабрика и амуничный завод.

«Свои» — опаснее.

После освобождения из тюрьмы все русские меня поздравляли, и даже западенец^[18] Владык из Трайдерсдорфа пришел в Кетцинг и поздравил меня. Поздравлял меня также с Новым 1944 годом. Я понимал, что эти поздравления неискренни. Вася Прокопчук рассказывал, что некоторые хлопцы, особенно Владык, договаривались поймать меня, раздеть и проверить на обрезание. От такого шага они воздерживались потому, что я прошел комиссии осмотра в лагерях и все те комиссии, которые проходили они вместе со мной за пределами лагеря. Кроме того, время работало не в их пользу, фашисты отступали, и их, я думаю, пугала расплата.

У меня, кроме Васи, был еще один доверенный друг — Толя Зеленый. Он меня информировал также, как и Вася, об обстановке опасности и кознях вокруг меня. Однажды зимой 1944 г. Вася меня предупредил, что должна быть проверка мандатная и медицинская. Я не знал, что делать, как поступить. Проверки долго не было.

Но в Кетцинг прибыл представитель от Власова — генерала-предателя, командующего так называемой РОА (Русская освободительная армия). Этот агент Власова выступил с провокационной речью, склонял всех к антисоветизму, предательству, играя на голоде 1933, репрессиях 1937 г. Говорил об освободительной миссии РОА, превозносил Власова. Все его выступление свелось к тому, что надо пополнять ряды РОА, вначале добровольно, а позже мобилизационно. Все его слушали внимательно и молчаливо, вопросы не задавали, но впечатление от встречи было отвратительное. Правда, девушки заплакали, когда он говорил о жертвах голода 1933 г. и читал об этом стихи. Я искал выход из этой ситуации и решил, что буду бежать в случае призыва. Но время прошло, и призыва не было.

Чуть что — бежать, естественно! Кажется, уже немного...

В РОА служил Виктор, брат Ольги, которая работала на амуниционной фабрике. Я часто видел его в мундире — копии немецкого с ромбической нашивкой на рукаве — «РОА». Встречал еще несколько власовцев, но знаком с ними не был. Из Трайдерсдорфа двое — Миша-узбек и Толя Черный — вступили в армию и в немецкой форме приезжали в Кетцинг прощаться. Я не понимал их цели, они говорили, что так нужно, и не объясняли ничего. Быть может, они решили таким образом перебежать на сторону Красной Армии? Только такое намерение могло их оправдать.

Для угнанных из Союза издавался журнал «На досуге» и власовская газета. В газете печатали «Манифест свободной России», возносили Власова, расписывали его биографию, его выступления, а также окружавших его предателей. В немецкой прессе была напечатана фотография встречи Гимmlера с Власовым и сообщалось о подписанном между ними договоре.

В конце 1944 г., когда было видно, что крах фашистской Германии неизбежен, Власов выступил с кощунственной речью, я помню его слова: «Мои кадеты рвутся в бой (!)! Но подождите, дорогие — еще не наступило ваше время».

Когда немцы были окружены в Венгрии, один раненый власовец из госпиталя пытался меня убедить, что немцы выйдут из окружения, что их никто не победит. Он говорил то, чему сам не верил.

Перед открытием второго фронта многих русских девушек и парней из предприятий организовано отправляли на запад^[19]. Мы не знали, куда и для чего. Но я заволновался, как бы очередь не дошла до меня? Я снова решил: если начнут брать от хозяев из сельского хозяйства — придется идти на риск — бежать.

Однако, я мысленно отмечал, как мне повезло, что я как одиночка попал к хозяину.

Вместо призванного в армию Феликса батрачить пришел откомиссованный из армии по психоневрастении Рихард. С ним у меня установились очень сухие отношения, в беседах мы не касались политики. Он не проявлял инициативы, и я не вызывал его на откровенность. Феликс же презирал Гитлера, его режим и войну и часто высказывался об этом, когда мы оставались наедине.

Союзники все чаще и интенсивнее бомбили города Баварии. Бомбовые удары доносились в Кетцинг. Увеличился приток беженцев в Кетцинг из больших городов запада Германии и Баварии, в связи с открытием второго фронта и разрушением городов авиацией союзников.

В начале 1945 г. хлынула лавина беженцев из Пруссии. Вместе с ними в Кетцинг пришел Иван Федоренко, которого поселили со мной вместо Рихарда, взятого по тотальной мобилизации. Федоренко, по его словам, родом из Новомосковска, раскулаченный, отбывал 10 лет в ссылке, антисоветчик. Может быть, он был полицаем или другой немецкой шавкой при оккупации.

Весной над Кетцингом впервые появился американский самолет. В это же время через Кетцинг из Чехословакии отходили на запад разбитые фашистские войска, и часть их на переформировке оседала в Кетцинге. Здесь скопилось много войск, в том числе и частей СС, разбитых и озлобленных.

Город усиленно патрулировался. Пропаганда Геббельса не переставала трубить о непобедимости рейха. В то время, когда до победы оставались буквально считанные дни, на стенах зданий и бортах автомашин вывешивались плакаты: «1918 год не повторится», «Саботажников — к расстрелу», а также издавались и печатались картины, запугивающие народ полным физическим уничтожением от младенцев до глубоких стариков в случае прихода врага.

К моим хозяевам прикрепили военнопленного итальянца. Он расхваливал коммунизм.

Американцы! И какое счастье — ходить сколько влезет в баню и на медосмотр.

Когда в Кетцинг вошли американцы, вместе с ними появилось много русских освобожденных из лагерей. В первые дни все крупные чиновники и власти, полиция и жандармы были задержаны и увезены на машинах для проверки и установления личности. Из тюрьмы все заключенные были освобождены, армия разоружена.

Однако через два-три дня всех чинов, полицию и жандармерию отпустили, они продолжали ходить в своей форме и служить новым

властям, и так старались, что засадили в тюрьму, с разрешения американцев, троих наших парней. По этому случаю мы пошли с жалобой к военной американской администрации, которая моментально положительно отреагировала, извинилась и предупредила, что русских можно задержать, арестовать, только по согласованию с командованием Красной Армии, в исключительных случаях.

При американцах мы прекратили работать у немцев. Питание добывали вымогательством, грабежом, воровством.

Американские солдаты, особенно негры, к нам относились хорошо, а некоторые чины военной администрации — надменно и иронически.

Фашистская армия была разоружена, но не взята в плен. Все формирования, части, подразделения оставались в своем составе, со своими командирами. Регулярно проводились построения, проверки всех видов. По вечерам организовывались веселые костры воспоминаний со спиртным и ужином, бахвальством о былых победах на Восточном фронте.

В Кетцинге после прихода американцев появились группы русских, освобожденных из концлагерей, из плена, а также некоторые служившие в германской армии и власовцы, сбросившие теперь мундиры. Все эти неорганизованные группы сами себе добывали питание, рыская по подвалам и погребам немецких бюргеров и бауэров. Обстановка складывалась так, что немцы организовали защиту своих граждан, вероятно, по разрешению американцев.

За мой отказ продолжать работать Берта-батрачка ругала меня и позорила. Дело дошло до того, что я вынужден был оттолкнуть ее от себя. За это она привела немца (в гражданской одежде), и он меня строго предупредил. Больше со мной подобных случаев не было.

Я с нетерпением ждал дня отправки в Союз после освобождения нас американцами. И вот в июне нам сообщили о подготовке к выезду. Собрались все, кто хотел уехать домой. Тут были и ранее служившие в немецкой армии и власовцы. В нашей партии таких предателей, которых я знал и видел в мундирах, было четверо. Тут были и те, которые боялись возвращаться в Союз и агитировали не ехать других. <...>

Нас погрузили в грузовики, оборудованные для перевозки людей. Командовали колонной американцы, шоферами были немцы. Шофер нашей машины говорил, что он коммунист, освобожден из концлагеря.

Мы проезжали по городам, разрушенным бомбежкой, авиацией наших союзников. Высадили нашу колонну в Австрии, в лагере над Дунаем, на его коренном берегу. На противоположном берегу и дальше вглубь размещались корпуса завода. Нам были видны крыши этих корпусов, замаскированные под цвет волны Дуная. <...>

Из Австрии нас повезли в Чехословакию. На границе американцы нас передали Красной Армии.

Чехи встречали восторженно. В г. Брно нас расположили в капитальных многокорпусных зданиях. Тут начали просеивать через контрольную проверку с составлением документов, в которых был записан весь путь от начала войны до ее последнего дня. В конце проверочного опроса проверяющий спросил: «Кто может подтвердить достоверность сказанного?» Я назвал Ивана Рябо-шапку из-под Лозовой, который знал меня, начиная с лагеря для военнопленных в Днепропетровске, бывшей тюрьмы — с 1942 г. и до конца войны. <...>

В Брно нас водили на концерты, в театр, по городу. Город очень красивый. Архитектура зданий, планировка улиц, площадей поражают своим великолепием. Всюду чистота, аккуратность, порядок, несмотря на то что это крупнейший после Праги промышленный центр Чехии.

По окончании проверки каждого был произведен отбор в составе примерно роты из бывших военных. В эту роту попал я. Нас маршем повели на Братиславу — столицу Словакии.

По пути нам несколько раз встречались группы наших солдат и офицеров. Нас сопровождал офицер, мы были одеты в штатское. На мне были американская солдатская куртка х.б.^[20], цвета хаки. Однажды один из встреченных нам солдат забрал у одного из нашей группы рюкзак, порылся в нем и, выбрав, что ему понравилось, возвратил его владельцу. Мародерничал он напоказ, с правом вояки и морального превосходства над нами. Это был единичный случай. Видимо, этот солдат и в мирное время не щепетильничал и грабил ближних.

Прошли мы Чехию, Моравию, часть Словакии и через Братиславу вышли в лес, где располагался наш запасной полк. Тут мы приняли баню, прошли медосмотр, переоделись в солдатское обмундирование, были взяты на полное солдатское довольствие.

После освобождения американцами я с удовольствием многократно ходил в баню и на медосмотр.

Из Братиславы весь полк по железной дороге поехал в Венгрию, в Будапешт. Город был разрушен до основания, но городская жизнь столицы била ключом. Работал автотранспорт, трамвай. Шла торговля, помещения приспособлялись под парикмахерские и другие учреждения обслуживания. Наш лагерь расположился за городом, но в город мы ходили.

Из Будапешта железной дорогой нас повезли в Югославию, затем в Румынию. <...> Мы стояли в городах Рымника-Вылчу, Краева, Плоешти и, наконец, в самом винодельческом районе Румынии — в г. Фокшаны. Наш минометный полк был гвардейским, и к основной зарплате начислялась гвардейская прибавка, в том числе и мне, и другим, таким как я, не участвовавшим в боях в составе гвардейского полка. В то же время бывшие фронтовики, рядовые негвардейских подразделений, получали зарплату меньше моей. Меня удивляла такая ирония по этому вопросу...^[21]

Наум Абрамович Фишман. Воспоминания.^[22]

Наум Абрамович Фишман родился 27 июня 1923 г. в Симферополе. Отец, Абрам Наумович Фишман, красногвардеец и партизан Гражданской войны, персональный пенсионер союзного значения, работал на обувной фабрике им. Ильича, а мать, София Лазаревна, работала в типографии газеты «Красный Крым».

В июне 1941 г. окончил среднюю школу. Добровольно записался в Ленинградское артиллерийское училище, закончил его в феврале 1942 г. в г. Ижевске, получил звание воентехника II ранга. Был направлен в распоряжение Северо-Кавказского военного округа, откуда выехал на фронт в составе 21-й мотострелковой бригады. При выходе из окружения попал в плен. В апреле 1945 г. был освобожден американскими войсками. Прошел проверку в ряде фильтрационных лагерей. В ноябре 1945 г. был демобилизован Киевским военным округом. Вернулся в Симферополь и узнал, что родители, младший брат и сестра были расстреляны фашистами в 1941 г.

В январе 1947 г. переехал в г. Минск, БССР, где в это время служил в армии его брат Лазарь. Работал в строительных организациях на восстановлении Минска. В 1957 г. окончил вечернее отделение факультета промышленного и гражданского строительства Белорусского политехнического института. Продолжал работать в строительных организациях, а затем в проектно-институте Белгоспроект.

В 1994 г. переехал на постоянное место жительства в США.

Со своей будущей женой познакомился, будучи в плену в Германии. Отец двоих детей и дед троих внуков.

Наталья Фишман.

1

18 июня 1941 г. на торжественном вечере в школе я получил аттестат об окончании средней школы города Симферополя. Мы, ученики 10-го класса, договорились отпраздновать это событие дома у нашей соученицы Вали в субботу, 21 июня. Ее отец, полковник, находился на границе в Бресте в инспекторской командировке, а мама — на дежурстве на спецузле связи. Наш прощальный вечер проходил с грустью и весельем и затянулся на всю ночь. Неожиданно зазвонил телефон. Звонила Валина мама. Взволнованным, тревожным голосом она сообщила: «Немцы бомбят Севастополь, включите радио». Было 4 ч.

15 минут утра 22 июня. Из «тарелки» (репродуктора) неслись воздушная тревога и «проверьте светомаскировку».

Это было начало войны, определившей судьбу каждого из нас.

До совершеннолетия моего оставалось немногим более месяца.

Через три дня я со своим товарищем, Володей, пришли в военкомат с намерением пойти в армию, не ожидая призыва. В военкомате огромная масса людей, вызванных по повесткам, и сопровождающих их родственников заполнила двор, улицу, коридоры и ждала распределения. Нам сказали: ждите повестки о призыве. Но в конце дня нам все же удалось поговорить с военкомом, и, учитывая, что оба мы были на пороге положенных 18 лет, а также то, что оба окончили школу на отлично, военком распорядился направить нас на учебу в военное училище.

2

30 июня мы прибыли в Ленинград, в Артиллерийское техническое училище. Ускоренный курс мы окончили в начале февраля 1942 г. в Ижевске, куда в конце августа 1941 г., в последние дни перед полной блокадой Ленинграда, училище было эвакуировано. Мне было присвоено звание воентехника II ранга, после чего я был направлен в распоряжение Северо-Кавказского военного округа, в формировавшийся 619-й стрелковый полк на должность начальника боепитания полка. Через полтора месяца я был отозван и направлен в г. Майкоп, где заканчивалось формирование 21-й мотострелковой бригады 14-го танкового корпуса — на должность начальника боепитания артиллерийского дивизиона этой бригады.

Печальные события весны 1942 г., приведшие к тяжелому поражению войск Юго-Западного фронта, осуществлявших совместно с войсками других фронтов наступление на Харьковском направлении, и последовавшее за этим летнее наступление немцев ускорили отправку на фронт подразделений формировавшегося 14-го танкового корпуса, который вступил в тяжелые бои с немецкими войсками, наступавшими по направлению на Сталинград. Наши войска отступали, попадали в окружение и несли большие потери. Я помню хаос, страшную неразбериху на дорогах войны. Навстречу войскам, двигавшимся к фронту, к местам боев, шел огромный поток отступавших под натиском врага частей. Дороги были забиты отступающими войсками, угонявшимся скотом, беженцами, разбитой и сгоревшей техникой. Над всей этой двигавшейся навстречу друг другу массой войск висела немецкая авиация, непрерывно бомбившая и расстреливающая из пулеметов все, что двигалось по дорогам.

...Большое количество танков нашего корпуса скопилось в роще у подножия холма. Из-за отсутствия топлива они остановились и вели стрельбу с места, сделавшись легкой мишенью для немецкой авиации. Та же участь постигла и автомобили-тягачи нашего артдивизиона, оставшегося без топлива. Цистерны с горючим застряли где-то на тыловых железнодорожных станциях, которые также подвергались бомбежкам.

Вдоль дорог горели машины, лежали убитые, погибший скот. У бригады не было тыла, она оказалась в плотном кольце окружения, без топлива и без боеприпасов. Командир дивизиона приказал вывести из строя орудия и группами выходить из окружения в направлении переправы через реку Дон в районе Богучар.

Я выходил из окружения с командиром огневого взвода Сергеем Ивановым. Днем мы скрывались в поле, во ржи, а ночью двигались в сторону Дона, пересекая дороги. На одном из перекрестков дорог еще во время движения к фронту дивизион попал под бомбежку, и я был контужен и легко ранен. Жаркие дни под палящим солнцем во ржи без воды и пищи лишили нас с Сергеем последних сил. Кружилась голова, и я шел, еле переставляя ноги. Немцы освещали дороги и местность вдоль них ракетами.

На третий день утром мы вышли к деревне. Было тихо, немцев видно не было. Мы зашли в крайнюю хату. В хате оказалась женщина и трое детей. Мы попросили воды и еды. Женщина сказала: «Посидите, я схожу в погреб за молоком».

Через несколько минут она вернулась... с двумя автоматчиками. Немцы отвели нас в ближайший сборный лагерь военнопленных и гражданских лиц. Это был огороженный колючей проволокой участок земли, куда конвоировали всех, кого задержали армейские части. Здесь не давали никакой пищи, не оказывали никакой помощи раненым. Немцы составляли команды отдельно из командиров, отдельно из солдат и младших командиров и отдельно из гражданских лиц и, под конвоем, отправляли в пересыльные лагеря.

Через сутки и нас в команде командиров отправили в пересыльный лагерь в поселке Мешково. Этот лагерь также представлял огороженный колючей проволокой участок земли, на котором вповалку сидели и лежали военнопленные. За двое суток один раз нам выдали сырую брюкву. Военнопленные медицинские работники пытались оказывать раненым помощь, используя для перевязки имевшиеся у самих раненых средства — бинты, белье, которое рвали на бинты. Никаких перевязочных средств немцы не давали.

Из этого лагеря нашу команду командиров отправили в Кантемировку. Переход пешком в этот лагерь был очень тяжелым. Шли,

еле переставляя ноги под палящим солнцем, мучила жажда. Охрана подгоняла прикладами. Упавших оставляли на дороге, а охранники, шедшие в конце колонны, пристреливали упавших и отстающих. За время пути колонна значительно поредела. Пожилые, раненые и совсем ослабевшие так и остались лежать вдоль дороги.

В Кантемировке находился большой пересыльный лагерь, в котором охранную и административную службу несло не армейское подразделение, а специальное подразделение СД. Лагерь был обнесен двумя рядами колючей проволоки и частично каменной стеной. Он был расположен, видимо, на бывшем ранее колхозном хозяйственном дворе с постройками и прилегающим колхозным полем. Огромное количество военнопленных лежали и сидели на земле, огороженные лишь забором из колючей проволоки.

Потом были еще подобные пересыльные лагеря — в Волчанске, в Кременчуге, во Владимир-Волынске. Но моя судьба могла решиться еще здесь, в Кантемировке. Нас, новоприбывших, сразу же построили в две шеренги и оставили молча стоять под палящим солнцем в ожидании лагерного начальства под надзором полицейских и переводчика (видимо, из бывших военнопленных 1941 г., перешедших служить к немцам). Стояли мы очень долго. За это время несколько человек упали, потеряв сознание от жары, жажды, ран и слабости. Их отнесли в сторону и уложили на землю под палящим солнцем. Появилось лагерное начальство — офицер, фельдфебель и два солдата-автоматчика. Последовала команда: «Комиссары, евреи, выйти из строя!» Несколько человек вышло. Команду повторили, но никто больше из строя не выходил. Я стоял, оцепенев, не понимая реальности происходящего. Сергей шепнул мне: «Стой». Офицер и сопровождающий его фельдфебель медленно шли вдоль строя, останавливаясь, внимательно вглядываясь в глаза и лица стоящих в строю. Офицер поднимал хлыст, упирал в грудь очередного военнопленного и говорил: «Ты». Это значило: выйти из строя.

Не забыть тех секунд, когда офицер остановился напротив меня, посмотрел в глаза и пошел дальше. Смерть моя прошла мимо. Через несколько шагов он ткнул в кого-то хлыстом. Таким образом он извлек из строя человек 15–20, руководствуясь единственно своей властью и интуицией. Их построили перед строем в шеренгу и приказали поднять лежащих на земле и идти к воротам. Там всех загрузили в грузовик, который, в сопровождении охраны, выехал за ворота. Через несколько минут мы, оставшиеся в строю, услышали раздавшиеся за каменным забором автоматные очереди. Всех, кто был в грузовике, расстреляли.

Процедуру выявления евреев и комиссаров подобным образом я прошел и в Волчанске и в Кременчуге. И при каждой проверке из строя извлекали какое-то количество пленных евреев и политработников, — их уводили и расстреливали. К счастью, немцы ни разу не заставляли раздеваться, — видимо, это усложнило бы дело, так как при раздевании можно было бы опознать только евреев: а как быть с комиссарами? Они использовали более простой способ — ткнул в грудь стеклом подозреваемого и собрал без хлопот группу для уничтожения.

5

В Кантемировском лагере я пробыл дней десять. Здесь я впервые прошел регистрацию, назвавшись Михаилом Васильевым. Это имя и фамилию мы придумали с Сергеем, оказавшись в первом сборном лагере. После первой проверки страх разоблачения не проходил. Я все время рисковал встретить кого-нибудь, знавшего или меня, или мою настоящую фамилию. Этот страх сопровождал меня и во всех последующих лагерях.

В Кантемировке неожиданно разошлись наши пути с Сергеем. В лагерь ежедневно прибывали новые команды военнопленных и также ежедневно формировались и отправлялись команды в другие лагеря. Сергея включили в одну из таких команд и отправили по этапу. Я так и не смог узнать о его дальнейшей судьбе.

В лагере было много истощенных и до крайности слабых людей. Пищу давали один раз в день. Это была баланда из брюквы и гнилой картошки. За малейшие провинности полицаи и охрана избивали до потери сознания. От голода, ран и побоев люди умирали ежедневно и чуть ли не ежечасно.

Лагеря в Волчанске и Кременчуге ничем не отличались от Кантемировки по части содержания военнопленных. То же проволочное заграждение, те же охранники и полицаи, изобретавшие различные издевательства, те же постоянные побои, тот же голод, те же болезни без медицинской помощи, та же «селекция» и расстрелы евреев и комиссаров при поступлении в лагерь.

А вот во Владимир-Волынске были некоторые отличия от предыдущих лагерей. Здесь действовала охрана и администрация спецподразделения СС. Старший командный состав: пленных генералов, полковников отделяли от остальных командиров и содержали в отдельном бараке. Насколько я помню, в этом лагере содержался в основном командный состав. Во всяком случае, я находился в бараке, где содержались одни командиры. В лагере была небольшая санчасть, где врачи и санитары из военнопленных оказывали некоторую медицинскую помощь нуждающимся. Когда в лагере появились тифозные больные, немцы возложили на врачей все

заботы и в санчасть сами уже не заглядывали. Санитары вывозили умерших за ограду, где их ежедневно хоронили под надзором немцев.

В 20-х числах сентября 1942 г. всех военнопленных моего барака отправили в Германию. Мы прибыли в центральный лагерь в г. Фалингбостель. Здесь проводилась полная регистрация: заполнение анкеты со многими вопросами о жизни, образовании и т. д., допросы с целью выявления лиц, обладавших знаниями служебных и военных сведений, интересующих немцев. Меня допросили и поняли, что сведений такого рода вчерашний школьник не имеет.

Голодное существование продолжалось и в этом лагере: один раз в день давали баланду из гнилой капусты и брюквы и примерно 100 грамм эрзац-хлеба. Пленные рылись в мусорных баках, искали отходы от немецкой кухни. Небольшие команды выходившие из лагеря на работу, приносили в лагерь картофельные и свекольные очистки, листья и лягушек. Их варили на костре. В этом лагере я пробыл десять дней. Здесь проходили сортировка пленных, создавались рабочие команды из более молодых, потенциально пригодных для выполнения тяжелых и опасных работ. Немцы использовали военнопленных для возмещения той рабочей силы, которой им не хватало из-за мобилизации на фронт все больших контингентов своих рабочих. Команды пленных рабов направляли на шахты, заводы, строительство дорог — повсюду, где требовалась бесплатная рабочая сила. Непригодных для работы военнопленных — пожилых, слабых, истощенных и еле державшихся на ногах — тоже объединяли в команды и отправляли из лагеря. Полицаи с усмешкой говорили, что их отправляли навсегда.

Я попал в команду примерно из трехсот бывших командиров, прибывших из Владимир-Волынского. Нас направили на марганцовый рудник — шахту Хаверлавизе. При шахте был лагерь со всеми атрибутами содержания военнопленных: двойная ограда из колючей проволоки, несколько бараков и мелких строений. Охрана с собаками. Режим работы был очень тяжелый — 10 часов рабочего времени плюс пеший переход к шахте и обратно, построения, проверки — всего часов 12, с 7 утра до 7 вечера. Здесь также били, издевались, наказывали карцером за любые мелкие проступки.

В шахте грузили вагонетки с рудой, катили их к подъемнику, на поверхности катили к железнодорожной платформе, разгружали, производили погрузку на транспортеры и в вагоны. Выносили из шахты нечистоты, чистили, мыли, убирали все в шахте и шахтном дворе. Мы испытывали постоянный голод, хотя, по сравнению с пересыльными лагерями, кормили все-таки лучше: утром эрзац-кофе, эрзац-хлеб с кусочком маргарина (грамм 10) или джема. В обед баланда из брюквы, капусты, иногда немного крупы, вечером эрзац-кофе и хлеб. Всего в день давали примерно 250 грамм эрзац-хлеба. Люди окончательно слабели от тяжелого труда, голодного пайка и избиений.

В душевую я ходил всегда с последней группой и в самом конце помывки, когда охрана торопила и некогда было обращать внимание друг на друга. Иногда устраивался работать на прожарке одежды и после работы мылся в одиночестве.

В конце марта 1943 г. всю команду перевели в лагерь в Хайниген. Здесь мы работали в фирме «Тайдель» на прокладке водопровода к большому заводу в г. Ватенштадт. Часть команды работала рабочими на погрузочно-разгрузочных работах. Я работал землекопом, разгружал вагоны. Этот лагерь ничем не отличался от предыдущего — то же голодное существование, побои, тяжелая работа. Люди становились полными доходягами — истощение, бессилие, болезни медленно приводили людей к смерти. Но здесь особенно запомнились своей жестокостью и издевательствами полицаи и надсмотрщики за работой. Однажды, стоя в траншее, я задремал и, не услышав команды, опоздал на построение к автобусу. Охранник стал избивать меня и прикладом карабина ударил в лицо. Я получил серьезную травму и потерял четыре зуба.

В конце декабря 1943 г. большую часть пленных перевели в пос. Шладен для работы на заводах «Герман Геринг Верке». В середине и особенно к концу 1944 г. лагерный режим смягчился. Из-за недостатка рабочих, которых забрали в армию, нам стали доверять более легкую работу, пытались даже ставить к станкам, на уборку в цехах, подсобную работу на складе инструмента и т. д. Да и охрана стала к этому времени другая. Забранных в армию заменили пожилые охранники.

Кроме этого, успехи Советской Армии на фронте, бомбежки германских городов союзниками отражались на поведении охраны и администрации лагеря. Стало меньше побоев, меньше издевательства. Я работал в цехе сварки цистерн, помогал рабочему-немцу на рентгеновской проверке качества электросварки, а потом работал в электроцехе на подсобных работах. Некоторое время меня, как немного знающего немецкий язык, взяли рабочим на кухню — чистить картошку, мыть котлы, полы, убирать и т. д. Я немного окреп, и меня снова вернули на завод.

В конце марта 1945 г. меня и еще двух человек неожиданно сняли с работы и повезли в город Зальцгиттер в гестапо. Не зная, в чем дело, я думал, что кто-то опознал меня и представлял, чем это для меня кончится. По ходу допроса я сообразил, что это не связано с моей национальностью. Как я потом узнал, один из военнопленных написал начальнику лагеря донос, что мы распространяли слухи о приближении войск союзников и готовимся к побегу. В гестапо оформили протоколы и вернули нас в лагерь. Гестаповцы, конечно, поняли, что бежать нам некуда и что бежать надо уже им самим. Ежедневные бомбежки городов союзниками, приближение фронта заставляли их заботиться о своей шкуре.

Через две недели, 11 апреля утром нас построили в колонну и погнали из лагеря на запад. Охраняли нас еще несколько дополнительных охранников. К вечеру мы доплелись до огромного глубокого карьера, где немцы брали глину для кирпичного завода. Нас загнали в карьер и выставили охрану по верху карьера. Наступила тревожная ночь. Мы не знали планов немцев. А что, если они не будут с нами возиться и учинят расправу прямо здесь, в карьере?

6

Мы, несколько человек, доверявших друг другу, выползли из карьера, связали охранника, пересекли шоссе и углубились в рощу. Утром мы слышали шум движущихся машин и танков и стали наблюдать за дорогой. Это были американцы.

Тогда мы вернулись в свой лагерь. Оказалось, что в лагерь вернулись и те, кто вслед за нами выполз из карьера. А вскоре из карьера в лагерь вернулись все остальные. Охрана, зная о приближении американцев, сбежала, покинув свои посты.

На следующий день, 14 апреля, американцы появились и в лагере. Нас вывезли в сборные лагеря в Ватенштедт, затем в Зюплинген, а оттуда уже в Магдебург. Здесь, на Эльбе, мы были переданы командованию Советской Армии.

Потом была долгая дорога домой. Несколько лагерей на территории Германии и Польши. В Ораниенбурге, под Берлином, в фильтрационном лагере № 229 — первая проверка. Затем еще две проверки на территории Польши и, наконец, Киевский военный округ, г. Овруч — окончание проверок и демобилизация 20 ноября 1945 г.

В Симферополь я вернулся 25 ноября, но никакого дома не было. Дом, в котором я жил до войны, был полностью разрушен, разграблен и сожжен немцами. Мама, отец, сестра и младший брат были расстреляны в декабре 1941-го.

Никого из родных или близких у меня не осталось. Не было ни имущества, ни денег. Только шинель на плечах, пилотка и пустой вещевой мешок за плечами. Никакой гражданской специальности. Подорванное здоровье, язва желудка, последствия контузии, почти беззубый рот. Да еще клеймо — был в плену, еврей...

Мне было 22 года, но юность была уже вся позади.

Надо было начинать жизнь сначала, с нуля...

Это второе «начало» далось мне, однако, очень тяжело. На работу устроиться долго не мог, — срабатывало клеймо «военнопленного». Более года жил из милости у бывших соседей и знакомых, пока не устроился строителем и не переехал в Минск.

Апрель 2005 г.

P.S. Мои воспоминания — это то, что я пережил лично. В рассказе нет подробностей и деталей. По прошествии более 60 лет многое стерлось из памяти, да я и не ставил перед собой такой задачи. Наоборот, на протяжении всей жизни я старался как можно крепче «забыть» пережитое. Этому способствовало и отношение государства к бывшим военнопленным, — отношение, принесшее немало трудностей в жизни и горьких обид.

Письма, документы, интервью, заметки

Исаак Евсеевич Азаркевич. От Белоруссии до Норвегии. ^[23]

В плену 1941–1945 гг.

Родился 25 января 1921 г. в Одессе. Проживает в Нью-Йорке.

<1>

Здравствуй, Павел Маркович!

[...] Вкратце опишу лагерь в г. Жиздра, куда нас пригнали. Это была территория, примерно в два гектара, огороженная колючей проволокой. По краям стояли вышки со стрелками. Площадь была пустая, без строений. Кругом болото, грязь сплошная. Тут же под открытым небом, в грязи валялись голодные, изнуренные военнопленные, а было здесь нас примерно 30–40 тысяч человек. Кормить, можно сказать, что не кормили. На всю эту массу была одна русская полевая кухня, в которой варили не мытую картошку, и понятно, что всем она не доставалась. Люди от холода и голода умирали сотнями. Каждый день из лагеря угоняли, в неизвестное направление по несколько тысяч людей.

Я все время боялся, чтобы меня кто-то не узнал и не разоблачил, что я еврей. Поэтому я постарался затеряться в этой массе людей. На 20-й день мне чудом удалось бежать. Набрел на вход в бывшее овощехранилище, которое под землей выходило за пределы проволочного ограждения. Ночью бежал. Долго на свободе не был. На десятый день поймали в районе г. Волхов и привели в небольшой лагерь. В этом лагере придумал себе биографию. Фамилию и имя изменил, стал Коршунов Сергей Григорьевич. Место жительства Москва, станция Царицино. В этом лагере пробыл шесть месяцев. Всю зиму 1941 г. и начало 1942 г. Все время нас держали на этом пятачке,

перебрасывая с места на место (Карачев, Мценск, Белев, Колпна, Плавск, район Черни). Работали мы по ремонту и содержанию в хорошем состоянии шоссейных и железнодорожных дорог, которые вели к фронту. Работали по 12-14 часов в день. Зима была очень холодная и снежная. Кормили очень плохо. Многие не выдерживали такой нагрузки, умирали.

Слабых, которые не могли ходить, пристреливали. Меня спасло то, что я был молод и физически закален. Внешне не был похожим на еврея. Разговаривал по-русски хорошо, без акцента. Особых проверок нам не делали. В мае 1942 г. нас погрузили в товарные вагоны и повезли на запад. Куда везли мы, не знали. В Белоруссии под городом Гомель эшелон остановили. По вагонам стали нас выпускать, чтобы мы могли оправиться. Эшелон остановился на железнодорожной насыпи. Вокруг был густой кустарник. Когда я пошел за куст, то увидел широкую трубу, которая была проложена под насыпью. Я понял, что есть возможность и надо бежать. Влез в трубу и стал ждать отхода товарняка. После того как всех загнали в вагоны и поезд поехал, немцы из автоматов сделали несколько очередей по кустам. Трубу, которая была за кустами, они, по-видимому, не увидели. Когда эшелон ушел, я вылез из трубы и стал медленно пробираться. Зашел в лесок и набрел на небольшую деревушку. Название не помню. Долго наблюдал и не решался пойти. Наконец, увидел старушку, которая вышла из крайней избы. Я решился и пошел к ней. Я был в армейской форме. Она сразу во мне и признала беглого солдата, который прячется от немцев. Позвала в дом, сказала, что в деревне немцев нет. Накормила и помогла переодеться в гражданскую одежду. У нее я пробыл две недели. Она жила одна, муж и сын были на фронте.

После этого началась моя долгая, бродячая жизнь. Ходил только днем по 20-25 километров, пока не присматривал и находил подходящее место, где мог пробыть некоторое время. Долго на одном месте старался не задерживаться. Я обходил большие деревни, в города не входил. В каждой деревне, где останавливался, узнавал, какие деревни в округности на расстоянии 40-50 км. Когда ходил, старался держать себя смело, не прятался. Вел себя как местный житель. Так я все время ходил, прошел Белоруссию, Украину.

Я устал и не знал, что мне дальше делать. В это время услышал, что немцев разбили под Сталинградом. Румынские и венгерские солдаты отступают. Это был август месяц, я пришел на Донбасс в район Алчевска и Луганска. Вначале, думал где-нибудь спрятаться и дожидаться прихода Советских войск, но обстановка изменилась. Немцы стали рвать противотанковые рвы и строить оборону. На эти работы стали сгонять местное население. Я понял, что нужно уходить. В это время у меня созрело желание пойти в Одессу и узнать, остались ли живы мои родители. И я от Алчевска пошел на Горловку, Макеевку,

Донецк, Пятихатки, Никополь. За все время эту дорогу очень тяжело проходил.

В Никополе у меня произошел неприятный инцидент. Тут пришлось ходить ночью. Перейдя плавни, набрел на отдельный, разрушенный одноэтажный домик на окраине Никополя. Через окно залез в дом. Была темная ночь, и я попал на верх 2-хэтажных нар. Решил переспать, а утром с рассветом двинуться дальше в путь. Когда утром проснулся, обнаружил: внизу на нарах спит немецкий солдат. Тут же на нарах висела винтовка со штыком. Другого выхода у меня не было, и я штыком убил немца и быстро убежал.

От Никополя пошел на Бреславль, Каховку, Херсон и пришел в Николаев. От Николаева на Одессу была одна короткая дорога через реку Буг по понтонному мосту. Мост был большой. На мосту через каждые 100 метров стояли немецкие солдаты. Я долго изучал, как проверяют переход через мост. В сквере у моста было очень много народа, и я решил, что безопасней вместе с ним держать путь. Эти места мне были знакомы, и я пришел в Ридницу.

Здесь со мной произошла неприятность, из которой я чудом сумел выбраться. Местный житель заподозрил во мне еврея. Стал за мной гнаться и кричать: ловите жида! Я успел от него оторваться. На мое счастье, стоял товарный поезд. Я вскочил в открытый товарный вагон, и в это время поезд, набрав скорость, поехал. В этом вагоне я приехал на станцию Жеребовка.

От этой станции, петляя несколько дней, от одной деревушки к другой пришел в большое село Кривое Озеро. Как всегда, зашел в самый дряхлый домишко. Там жили пожилые муж и жена. Люди оказались приличные. Я рассказал им, что бежал с плена и теперь скитаюсь, прожил у них несколько дней. Старик предложил помочь попасть в партизанский отряд. Я вначале согласился, но потом меня что-то насторожило, и я решил уходить.

Пошел по дороге Первомайск-Умань. Пришел в большое село Олыпанка. Оставаться здесь было опасно. В селе была украинская и немецкая полиция, а также целый ряд других оккупационных учреждений. Я быстро из села ушел. В 15 километрах от села пришел в небольшой хутор. Узнал, что на хуторе устроились и живут два русских военнопленных и к ним хорошо относятся и их прячут. Меня познакомили с ними, и они порекомендовали, где могу поселиться.

Я остановился у глухонемого, он жил с пожилой сестрой. Я стал им помогать по хозяйству. За долгую, бродячую жизнь хорошо освоил сельские работы. Прожил у них больше месяца. Наступила холодная, снежная зима. От ребят узнал, что староста хутора связан с партизанами. Поэтому к нам так относились. Староста собрал нас и сказал, что в районе узнали, что на хуторе прячут военнопленных. Староста велел нам срочно уходить. Я с ребятами договорился, что в начале пойдем вместе, а затем разойдемся в разные стороны. Ночью,

чтобы никто не знал, запрягли лошадь в сани и уехали. Утром подъехали к опушке леса, остановились, привязали лошадь к дереву и зашли в одиноко стоящую избу. В избе лежал больной старик, и больше никого не было.

Мы даже не успели с стариком поговорить, как услышали крик людей и топот лошадей. Когда вышли, увидели, как с двух сторон, через глубокий овраг, верхом на лошадях нас окружают кубанские казаки. У нас бежать не было возможности, и мы сдались. Они каждого из нас посадили в отдельные сани, везли нас примерно 30 км до Голованевского района. Всю дорогу издевались. На ходу сбрасывали с головы шапку на снег и приказывали подбирать и догонять сани. Когда подбегал и ухватывался за сани, подгоняли лошадь, и я волочился по снегу. Таких измученных нас привезли в Голованевское.

Поместили в помещение, где кроме нас было еще много людей. Одних обвиняли в причастности к партизанам, других за торговлю самогоном. Меня сразу взяли на допрос, пороли розгами, требовали признаться, что я партизан. Я очень боялся, чтобы меня не заподозрили евреем. Не знаю, что их убедило, и они нас троих отвезли в Уманскую тюрьму. В тюрьме просидел одну неделю. В это время началось Корсунско-Шевченковское наступление Советских войск. Было начало января 1944 г. Ночью всех согнали на плац. Через переводчика немецкий офицер стал каждого допрашивать, за что сидит. Я сказал, что бежал из лагеря военнопленных.

Меня и многих других отделили и пешком погнали в Первомайский лагерь. Буквально на третий день весь лагерь погнали в сторону г. Балта в деревню Пацецели. Когда мы проходили по г. Балта, видел небольшое еврейское гетто. То, что я там увидел, меня потрясло.

Когда оставался километр до деревни, немцы решили искупать нас в ледяной реке. Приказали сделать прорубь в реке. Раздали по кусочку мыла и велели купаться. Мокрых, замерзших привели нас в деревню и загнали в бывшие колхозные конюшни. Я как ни пытался, не мог согреться. На мне была корка льда. Мне ничего не оставалось, и я разделся и зарылся в куче конского навоза. Согрелся, но, правда, потом все тело покрылось мелкими гнойниками. После такой санитарной обработки люди стали болеть, и многие стали умирать. Через несколько дней вспыхнула эпидемия сыпного тифа, которая охватила всех нас. Когда я заболел, подумал: пришел конец, немцы нас уничтожат, но, непонятно почему, [они] стали нас лечить.

В помещение к нам немцы не входили. Один единственный человек, который за нами смотрел и лечил, был врач, американский подданный, еврей. На его одежде были пришиты шестиконечные желтые звезды. Он каждый день приходил и каждому пятому делал укол камфоры. Когда он стал делать мне укол, я шепотом на еврейском языке сказал, что я еврей. После этого он стал мне делать уколы каждый день. Когда прошел кризис болезни, принес бутылку валерьяны. Незаметно передал

и объяснил, как принимать. После такого лечения я быстро окреп. Меня стали брать возить воду больным. У колодца, где брали воду, крестьяне нас подкармливали. За время болезни очень много людей поумирали.

В конце февраля 1944 г. нас собрали в колонну, примерно две тысячи человек и маршем погнали через Украину, Молдавию, Румынию, Трансильванские Карпаты, в Венгрию. В дороге не кормили. Впереди нас гнали табун лошадей, таких же, как и мы, изможденных. Павшую лошадь немцы пристреливали, и мы как дикие звери набрасывались на добычу. Вели нас по безлюдным местам. Ночевали в поле, под открытым небом. В дороге многие не выдерживали такой нагрузки, падали, и их немцы пристреливали, особенно много погибло при переходе в Карпатах. В начале прошел дождь, а затем мороз заковал всю поверхность льдом.

В Венгрию пришло примерно 800 человек. Затем всех посадили в товарные вагоны и повезли вдоль реки Дунай через Будапешт, Вену в Германию в город Штутгарт. В Будапеште, на вокзале, видел через окошко последних евреев, которых везли на казнь. Это были, в основном, молодые девушки. Все были одеты в темные юбки и белые кофты с нашитыми на них шестиконечными звездами.

В Штутгарт прибыли в начале мая 1944 г. Через весь город привели в лагерь. Лагерь был интернациональный. В нем были пленные американцы, канадцы, англичане, французы и итальянцы, которые восстали против Муссолини, и небольшой контингент русских военнопленных. Каждая нация находилась в отдельной зоне. Все, кроме нас, получали продуктовые посылки от Красного Креста.

Мы приехали в Штутгарт изнуренные, измученные, сильно грязные, завшивленные. Больше полугода я не купался. Нас в первую очередь повели в баню. Одежду пропустили через камеру с сильным газом. Постригли нас наголо под машинку. Такую санитарную обработку я впервые за все время плена прошел. Представляете, как я все это тяжело пережил. Обрезание у меня было сделано, но, к счастью, не совсем хорошо выполнено. Все хорошо обошлось, и никто ничего не заподозрил. После бани на каждого из нас завели личное дело. Нас сфотографировали, повесив на шею табличку с порядковым номером. Мне был присвоен номер 12750.

Фамилию свою изменил. Я стал себя называть Кулагин Сергей Григорьевич. Остальные биографические данные сохранил. В этом лагере я прожил четыре месяца. Нас использовали на сельскохозяйственных работах, а также на железной дороге. В сентябре 1944 г. нас, исключительно русских, отправили морем из Гамбурга в Норвегию в город Тронхейм. В Тронхейме я пробыл до конца войны. Мы строили в скальных горах железнодорожные тоннели. Работа была каторжная. Надо было бурить буры по два метра глубиной. Бурили на сухую, и это вызывало страшную скальную пыль, от которой мы задыхались. После того как немцы взрывали, мы должны были все

грузить на вагонетки и вывозить из тоннеля. Большие глыбы надо было разбивать молотом, который мы еле поднимали. Работали в две смены по 12 часов. Кормили очень плохо. В день давали по 240 граммов хлеба, в который входили непонятные добавки. Бланду варили из брюквы и трески, но ни брюквы, ни трески нельзя было найти. Это была мутная вода. От недоедания и тяжелой работы люди худели, пухли и многие умирали. Под конец войны мы уже тяжело передвигались. Тогда нас стали возить на работу в четыре смены по шесть часов. В тоннелях для освещения использовались карбидные лампы. Лампы часто взрывались, что приводило к гибели людей. Под конец войны мы уже были не люди, а тени, которые еле передвигались.

Единственное, что нас спасло, — это конец войны. В Норвегии нас освободили Союзные войска 15 мая 1945 г. Первые, кто с нами связался, был Шведский Красный Крест. Сразу нас посетили врачи, привезли лекарства. А главное, нам стали давать продукты питания. Затем нас взяли на довольствие Союзные войска. Мы продолжали жить в лагерях до августа 1945 г. За это время мы все поправились, набрали вес, окрепли. Нас одели в английскую форму.

Продолжение напишу в следующем письме.

Извините, что так долго не писал. Я болел, мне сделали операцию на сердце. Письмо разделил на два конверта, чтобы лучше дошли.

С уважением к Вам

Азаркевич.

<2>

Здравствуйте, Павел Маркович!

В последнем письме я остановился на том, что закончилась война. Закончилась эта жестокая, кровавая война, которая уничтожила больше 50 миллионов человеческих жизней.

Шесть миллионов евреев были варварски уничтожены. Были задушены в газовых камерах, сожжены в специально сооруженных печах, а также тысячами расстреляны. Никого не щадили. Расстреливали детей, женщин, стариков. Немецкий фашизм поставил цель уничтожить еврейскую нацию. И вот в таких условиях, когда выискивали каждого еврея, мне пришлось прожить четыре года. Невольно напрашивается вопрос; как я в этих условиях выжил?

На этот вопрос прямо ответить очень сложно. Я попытаюсь, как это возможно, ответить. Во-первых, я не был выраженно похож на еврея. Разговаривал по-русски без акцента. То, что я прожил все детство под Москвой в Царицино, дало свои результаты. Во-первых, я имел возможность создать правдивую биографию. Отца всю жизнь называли Гриша, а мать была Берта Григорьевна. Фамилию себе взял не распространенную Кулагин. Долгое пребывание на территории,

оккупированной немцами, выработало у меня способность к выживанию. Кроме всего, надо не забывать, что существует еще везение. Правда, кроме всего этого, надо прилагать ум.

О том, что закончилась война, мы узнали намного раньше, чем вошли Союзные войска. Они сбрасывали нам листовки, в которых сообщали, что немецкие войска капитулировали, что немецкий фашизм повержен. Просили нас до прихода Союзных войск не покидать лагеря, что могло привести к ненужным жертвам. Где-то в середине мая Союзные войска высадились. Немецкие войска сдались без боя. У них была забрана вся техника и боеприпасы. Немецких солдат и офицеров не поместили в лагерь. Им были отведены зоны и приказано не покидать их. Оставили им стрелковое оружие для охраны. Лагерь военнопленных были расконвоированы. Власть в лагерях выбрали из числа военнопленных.

Первыми к нам в лагерь прибыли представители Шведского Красного Креста. Они первые, кто нам привез питание, медикаменты и первые оказали медицинскую помощь. Затем нас посетили представители Союзных войск. Были составлены списки (в трех экземплярах) наличия людей в лагере, а также два экземпляра новых составленных списков. Один экземпляр остался у нас в лагере. С этим списком мы прибыли в Союз. В Осло прибыла Советская миссия по репатриации военнопленных. Через несколько дней Советская миссия по репатриации знала точно, сколько военнопленных имеется в Норвегии. Союзные войска, в свою очередь, узнали, сколько им необходимо продуктов и одежды для нас. Нас стали планомерно снабжать продуктами и одеждой. Как я потом узнал, в Норвегии было 300 тысяч немецких солдат и 100 тысяч русских военнопленных.

Мы стали быстро поправляться. Там мы пробыли до августа. В августе в порту Тронхейма нас посадили на пароход и привезли в Швецию в город Гетеберг. В Гетеберге был организован прекрасный перевалочный пункт. Встречал нас консул Михайлов. Были построенные навесы, где нам накрыли столы с горячей пищей. Затем посадили в пассажирский поезд и повезли через всю Швецию и Финляндию до города Выборг. В Выборге мы прошли таможенный досмотр. После чего нас погрузили в товарные вагоны и повезли в Марийскую АССР в город Суслонгер. Нас привели в так называемую учебно-стрелковую 47-ю дивизию. Мы были определены во взводы, роты, батальоны.

Распорядок дня был у нас армейский, Подъем, зарядка, завтрак, строевая, обед, ужин и отбой. В промежутках нас вызывали на допросы. В большинстве спрашивали о других. Там я впервые признался, что я еврей и что моя фамилия настоящая Исаак Евсеевич Азаркевич. И тут у меня произошел конфликт. Следовательно, подполковник спросил меня, почему я выжил. Он не спросил меня, как я выжил. Я разозлился и сказал, что ему больше не буду давать показания. Пошел к комиссару дивизии и пожаловался. Мне был заменен следователь, на 20-й день я

получил право на увольнение в город. Так я прожил в этой части до декабря месяца. В декабре приказом по Казанскому военному округу, который был специально введен из Приволжского, поступил приказ о полной моей реабилитации с восстановлением воинского звания. Мне даже было предложено остаться в вооруженных силах. Предлагали службу в Улан-Удэ, где находились японские военнопленные. Я отказался и был демобилизован. Так благополучно закончилось мое долгое пребывание в плену.

На этом заканчиваю И. Азаркевич.

Извините меня за столь краткое и сумбурное изложение. Я в мои 82 года перенес сложную операцию на сердце, и буквально в прошлом месяце у меня был микроинсульт. Все это не дало мне более подробно изложить все пережитое. О других я не коснулся. Могу только сказать, что не все были оправданы. Многие были судимы, многих отправили в принудительные лагеря. Одно, что я могу по этому поводу сказать, что была строгая и издевательская проверка.

Возможно, Вас заинтересует такое извещение. Со мной вместе из Норвегии прибыл сын Г. Котовского. Мать его, полковник медицинской службы, через 10 дней после нашего прибытия, приехала с двумя офицерами и забрала его.

<...>

С уважением Азаркевич.

Константин Ахиезер. Подруга юности

Константин Ахиезер бежал из плена в ноябре 1941 г. и вернулся домой в Одессу, где уже свирепствовали румыны. Родителей дома уже не застал. Случайно встретил на улице подругу юности Неонилу Чистюхину.

Зарицкая Анна Петровна, подруга Неонины, свидетельствует, что соседи оказались порядочные люди, никто не выдал, а семья соседки Калабиной Тайсы помогала Константину Ахизеру выходить через свою квартиру на другую улицу, чтобы не попадаться на глаза тем, кто мог указать на него.

К. Ахизер пишет:

Она знала, что я еврей, и, увидев меня, расплакалась, так как понимала, что грозит еврею в оккупированной Одессе. Она рассказала, что мои родители — отец Вульф и мать Малка и сестра Сима сожжены в Каховских казармах. Она повела меня к себе домой, и ее родители Николай Маркович и Елена Кирилловна Чистюхины согласились

приютить меня. Я тайком от соседей пробрался в их квартиру и прятался там около года. Меня прятали в кладовке, в подвале, под кроватью. В случае проверок им удавалось переправлять меня в сарай. Но квартира была коммунальная, и мы боялись, что соседи узнают обо мне, и тогда погибну не только я, но и вся семья Чистюхиных. Когда пребывание в доме стало опасно, Неонила упросила своего знакомого из города Котовска — Всеволода Касперовича взять меня с собой в Котовск, где меня никто не знал.

Я в сопровождении Неонила добрался до Котовска, где и проживал под чужим именем Дмитренко Константина Андреевича до освобождения Котовска в марте 1944 г.

Из письма от 26.01.2000 г. в отдел Праведников мира Яд Вашем:

После освобождения — 8 сентября 1944 г. — мы стали мужем и женой. Неонила Николаевна перешла на мою фамилию Ахиезер, и мы счастливо прожили вместе 54 года. В 1996 г. ее не стало. Я прошу посмертно присвоить звание «Праведник мира» Неониле Николаевне Ахиезер. Я хочу, чтобы дети и внуки знали, каким святым человеком была их мать и бабушка.

Матвей Исаакович Бенционов. «Так и не разоблачили...»^[24]

В плену 1941-1945 гг.

Родился в 1922 г. в г. Сураж Смоленской (в то время) области. Закончил 7 классов еврейской школы, затем учился в русской. После ее окончания в 1940 г., был призван в Красную Армию служил в г. Лепель Витебской обл., в 247-м стрелковом полку, 15 июня 1941 г. полк вышел к границе Польши на военно-практические занятия. С началом войны полк отступал до Вязьмы, где попал в окружение, Матвей Бенционов оказался в плену.

Находился в лагере в Гомеле. Оттуда был отправлен с эшелоном в Германию в г. Грауденц (или Грыфиц). Для регистрации в этом лагере он придумал себе псевдоним: Кравченко Григорий Михайлович. На медосмотре его очевидное еврейство так и не разоблачили.

Работал он на заводе сельскохозяйственных машин.

При наступлении Красной Армии лагерь эвакуировали на запад, и в этот момент он бежал — вместе со своим другом, Спектором Абрамом Григорьевичем, родом из Улан-Удэ. Дошли до Вислы. Переправились на связанных бревнах к своим, где их сразу передали в контрразведку Смерша. На допросах ему не верили: ну, как он, еврей, мог остаться в живых? Применяли даже физическое воздействие. Тем не менее, его

отправили на фронт. Там он был тяжело ранен в ногу, стал инвалидом 2-й группы.

Абрам Соломонович Вигдоров. «Военнопленным по закону не положено»

1

Абрам Соломонович Вигдоров родился 14 мая 1923 г. в Ростове. Уже 3 июля 1941 г., будучи 18-летним первокурсником Ленинградского технологического института, он вступил добровольцем в Красную Армию (ополчение). После принятия 30 июля военной присяги служил рядовым в 1-м стрелковом полку 3-й Фрунзенской дивизии.

Он попал в окружение на Лужском рубеже в районе Колпино и, получив два пулевых ранения в ноги (увечье на всю жизнь), был брошен раненым на поле боя и 19 сентября 1941 г. взят в плен. Одну неделю он провел в лазарете в Любани, откуда его в гипсовой повязке отправили в отделение шталага 350 в Митаве (Елгаве) на территории Латвии. Именно здесь местные врачи спасли ему не только здоровье, но и жизнь, несколько «подправив» его имя, отчество и фамилию: он стал Алексеем Семеновичем Викторовым. С самого начала, еще при регистрации в госпитале, врачи выдали ему на это имя спасительный «документ» — небольшую картонку, на которой были нанесены наборными печатками номер шталага, его лагерный номер (22221), а также — чернилами и обычной ручкой — выведена большая буква «R».

Но и с таким «хорошим» документом жизнь Вигдорова-Викторова висела на волоске. Во время селекции экспертное заключение украинского эсэсовца стоило явно выше, и только немецкий лагерный охранник почему-то вернул его в лагерь.

Абрам Вигдоров пишет:

Между тем предъявленный мной документ не возымел силы из-за настойчивых утверждений предателей из числа военнопленных о моей принадлежности к еврейской национальности. Точку в возникшем споре поставил командир украинских SS, охранявших лагерь. Он устроил мне настоящий экзамен по произношению слов, которые люди, говорящие по-еврейски, произносят с определенным акцентом (картавость при произношении звуков «р» и «л»). Я прекрасно выдержал этот экзамен, так как никогда не знал еврейского языка и не говорил на этом языке. Однако хор голосов из строя настоял на моей

еврейской национальности. Меня одного направили к выходу из лагеря, через который увели раньше всех евреев. При подходе к воротам лагеря, за которыми евреев с трудом втискивали в переполненные большие крытые брезентом немецкие машины, меня встретил стоящий на посту у ворот немец, которому я предъявил описанный выше «документ». Вид у меня был жалкий, я отлично понимал, что еще несколько минут и меня увезут на расстрел вместе с теми евреями, которые уже сидели и стояли в машинах. Однако случилось непредвиденное. Немец сильно ударил меня ногой под зад и сказал мне по-немецки, что я подохну и так, как умирали в лагере тысячи советских военнопленных разных национальностей от голода, холода, болезней, избиений, издевательств и т. д.

В Митавском лагере и далее систематически выявляли и уничтожали евреев. Вигдоров тем не менее пробыл в нем еще продолжительное время — до июля 1944 г. Большую часть времени он провел в госпитале — из-за раненых ног и из-за болезней: сначала — сыпного тифа, а потом и туберкулеза (после сыпняка он работал санитаром в туберкулезном отделении, где и заразился). В 1944-м лагерь эвакуировали в Рейх, и Вигдоров попал в Висбаден-Бибрих, где работал на кирпичном заводе Didier-Werke.

Освобожден он был 28 марта 1945 г. в Аллендорфе-на-Лунде, находился в лагере для перемещенных лиц в г. Гиссен, и уже в июне был переведен в Магдебург, откуда вновь призван в армию (16-й запасной полк), а затем в 10-м отдельном рабочем батальоне — работал чернорабочим в тресте «Копейскуголь», прошел фильтрацию при Копейском горотделении НКВД. На родину вернулся 29 августа 1945 г. В сентябре 1946-го был восстановлен (по суду) студентом ЛТИ им. Ленсовета, проходил повторную фильтрацию в Управлении НКВД г. Ленинграда и области. В аспирантуру поступил с третьей попытки и в порядке исключения.

2

Спустя без малого 40 лет после окончания войны начались разговоры о компенсации для советских принудительных рабочих. На советских военнопленных, вопреки всем историческим истинам, она не распространялась: защитников их интересов не нашлось во властных структурах ни с германской, ни с советской, или постсоветской стороны.

«Потому что Вы военнопленный, а военнопленным, по закону, не положено», — бубнили ему от имени немецкого законодателя

постсоветские фонды «Взаимопонимание и примирение», выплачивающие узникам компенсацию за принудительный труд...

«Потому что, к сожалению (sic!), Вы не были в концлагере хотя бы шесть или на худой конец в гетто хотя бы восемнадцать месяцев и не подпадаете под наши инструкции», — отрезало франкфуртское бюро Конференции по материальным претензиям евреев против Германии (так называемой *Claimes Conference*), смысл деятельности которой должен быть ясен из ее названия.

В 2002 г., по просьбе берлинского адвоката С. Ташьяна, боровшегося в немецком суде за интересы бывших советских военнопленных из Армении, пишущий эти строки написал историческое заключение о правомочии последних на получение компенсации по Закону ФРГ о формировании Федерального фонда «Память, ответственность и будущее». Не желая или опасаясь признавать бывших советских военнопленных категорией жертв национал-социализма (уровень смертности которых уступает только евреям), не желая признавать очевидную разницу между ними и, скажем, английскими или французскими военнопленными и придерживаясь сугубо формальной интерпретации международного права, две инстанции Берлинского административного суда уже сказали истцам и их адвокату свое постыдное «нет»!

И даже в тех случаях, когда к ним обращались не совсем обычные советские военнопленные, а военнопленные-евреи — чудом оставшиеся в живых, чья жизнь висела на волоске не менее тонком, чем жизнь узника гетто или концлагеря, — даже в этих случаях упомянутые фонды, как и немецкое правосудие в целом, сохраняли олимпийское (но отнюдь не нейтральное) спокойствие.

3

Случай «некомпенсации» Абрама Соломоновича Вигдорова оказался на удивление хорошо документированным. Еще в 1994 г.

А.С. Вигдоров обратился в Российский фонд «Взаимопонимание и примирение» (далее РФВП) с просьбой о выплате «гуманитарного урегулирования», но получил отказ. 10 ноября 1994 г. председатель Правления этого фонда В.А. Князев сообщил ему, что, согласно межправительственной договоренности, выплаты военнопленным не предусмотрены (за исключением тех из них, кто попал в лагеря за сопротивление нацистскому режиму).

Вигдоров затребовал протокол Экспертной комиссии, и 11 июля 1995 г. — то есть почти через год после запроса — он получил, наконец, выписку из Протокола № 28 Экспертной комиссии фонда от 20 октября 1994 г. (за подписью Н.Г. Зубковой, ставшей к этому времени ее председателем).

Непосредственно в заседании Комиссии участвовали ее тогдашний председатель С.С. Гамора, его заместитель Н.Г. Зубкова, секретарь Л.К. Пакова и члены — Т.С. Драмбян, В.И. Белова, Т.Я. Жванецкая, Е.В. Дракин, И.А. Мельникова и А.Я. Френкель. Из 80 дел, рассмотренных комиссией в тот день, случай Вигдорова был единственным отказом, причем мнения членов Комиссии разделились: шестеро проголосовали за отказ, один воздержался (по всей видимости, это была Т. Жванецкая), а двое — Т.С. Драмбян и А.Я. Френкель — не только проголосовали против, но и настояли на включении в протокол своего особого мнения. Подчеркивая факт добровольного поступления А.С. Вигдорова в народное ополчение, его участие в боях и ранения, а также то, что благодаря содействию врачей, — как они пишут, «истинных русских патриотов», — он сумел «избежать неминуемой смерти, уготованной всем лицам еврейской нации», они поддержали стремление Вигдорова «считать его жертвой фашизма» и предложили Экспертной комиссии просить Фонд о выплате ему компенсации — «в порядке исключения»: размер же должна бы была определить та же комиссия. Однако даже к этой разумной, гуманной, обоснованной и компромиссной точке зрения большинство членов комиссии не захотело прислушаться, в результате чего Вигдоров, повторим, получил официальный отказ.

После этого Вигдоров обратился к послу ФРГ в России Эрнсту Йоргу фон Штудницу. Тот в письме от 21 декабря 1994 г. выразил свое сожаление и сообщил, что на процедуру распределения средств Правительство ФРГ влияния не имеет.

Только тогда Вигдоров апеллировал в Кассационную комиссию РФВП, но все тот же С.С. Гамора (sic!), ставший к этому времени председателем Кассационной комиссии, и в новом своем качестве подтвердил свое же старое решение, что, по всей видимости, является довольно грубым нарушением административной этики, а возможно, и административного кодекса.

Относительно компенсации по линии германского фонда «Память, ответственность и будущее» Вигдоров обратился в тот же самый Российский фонд и снова получил отказ. После чего 9 апреля 1999 г. он обратился в Кассационную комиссию Фонда, откуда 8 июля 1999 г. получил следующий ответ:

В апелляции Вы обосновываете свое право на получение немецкой компенсации тем, что случайно оставшиеся в живых бывшие военнопленные еврейской национальности, которые находились в заключении и подвергались самым жестким нацистским преследованиям — этническому геноциду или Холокосту, имеют право получить такую же компенсацию, как и другие узники, отнесенные ко второй категории лиц. Так как компенсация начисляется в

соответствии с Положением об условиях и порядке выплаты компенсации лицам, подвергшимся нацистским преследованиям, то по имеющимся в деле документам можно установить:

— к первой категории Вы не можете относиться по возрасту (1923 г.р.);

— ко второй категории не можете относиться, так как не содержались в концлагерях, тюрьмах, гетто;

— к третьей и четвертой категории относятся лица из числа гражданского населения, вывезенные на принудительные работы. На момент пленения Вы были военнослужащим. Следовательно, также не можете быть отнесены ни к одной из этих категорий.

«Положение» определяет условия и порядок выплаты компенсаций лицам, подвергшимся нацистским преследованиям, при этом не делает каких-либо ссылок на изменение условий выплаты компенсаций по национальному или какому-либо другому признаку.

На основании изложенного Кассационная комиссия поддержала решение Экспертной комиссии и отказала Вам в начислении компенсации, как военнослужащему, оказавшемуся в годы Великой Отечественной войны в немецком плену и находившемуся в лагерях для военнопленных (протокол № 35 от 9 июня, пункт 5).

Председатель Кассационной комиссии С.С. Гамора.

Интересно, что в ответе Фонда даже не упоминается Указ Президента Б.Н. Ельцина, изданный еще в 1995 г. и имеющий прямое отношение к рассмотренному случаю.

Следующим шагом А.С. Вигдорова стало обращение от 10 сентября 1999 г. к профессору В.А. Карташкину, в то время председателю Комиссии по правам человека при Президенте РФ. В нем А.С. Вигдоров так комментирует процитированное выше решение Кассационной комиссии РФВП:

...Кассационная комиссия, наконец, называет истинную причину, по которой меня лишили права на получение компенсации... Из текста следует, в то время как тяжесть нацистских преследований в решающей степени определялась национальностью жертв, сформулированные в Положении условия и порядок выплаты компенсации полностью игнорируют их национальную принадлежность.

Он интерпретирует это решение как отрицание Холокоста и оправдание осужденного в Нюрнберге нацизма. Кроме того, Вигдоров резонно указал и на юридическую слабость «Положения». В перечне

категорий лиц, не имеющих права на получение компенсации, — добровольно уехавшие на работу в Германию, в том числе и уехавшие с ними дети, а также лица, совершившие преступления против Родины или человечества. Военнопленных же в этом перечне не имеется.

В.А. Карташкин ответил Вигдорову 25 ноября 1999 г.:

Уважаемый А.С. Вигдоров. Комиссия по правам человека при Президенте РФ является совещательным и консультативным органом, все ее члены работают на общественных началах. Каких-либо властных полномочий Комиссия не имеет, так же как и прерогативы принятия окончательных решений по изложенным в Ваших заявлениях вопросам. Действия Фонда «Взаимопонимание и примирение», которые Вы считаете незаконными, Вы вправе обжаловать в суде по месту Вашего жительства или местонахождения Фонда.

С уважением, Председатель В. Карташкин.

Как ни странно, эта трусливая чиновничья отписка воодушевила Абрама Соломоновича, в логике мировосприятия которого очень не хватало одного звена — права обжалования неправомочных действий по выплатам компенсации в суде. И вот теперь он получил подтверждение того, что это возможно!

Но еще 1 октября 1999 г., то есть за два месяца до того, как ответить самому Вигдорову, В.А. Карташкин переслал свое обращение в Минтруд, откуда оно было спущено... все в тот же Фонд «Взаимопонимание и примирение». Таким образом, круг переписки замкнулся: отвечать «жалобщику» пришлось тем, на кого Вигдоров жаловался.

Отводя от РФВП даже тень ответственности за что бы то ни было, его тогдашний зам. председателя П.М. Маргиев 7 декабря 1999 г. посетовал А.С. Вигдорову на то, что Правительство РФ не может изыскать источники финансирования для реализации Указа Президента Ельцина: нету средств. Далее Маргиев, как это ни удивительно, встал в позицию... — «несправедливо обиженной» стороны — и решился написать адресату следующее:

Теперь по поводу лиц еврейской национальности — бывших военнопленных, которые, как Вы утверждаете в своем письме, подвергаются в Фонде дискриминации по национальному признаку. Нет более голословного и оскорбительного для нас утверждения. Может быть, Вы сможете назвать хотя бы одного человека — бывшего военнопленного нееврейской национальности, которому фонд выплатил компенсацию? Какое у Вас основание обвинять Фонд в

дискриминации евреев?.. В Фонде Взаимопонимания и примирения вопросы компенсационных выплат всегда решалась и решаются независимо от национальности, вероисповедания или партийной принадлежности жертв нацизма, обращающихся в фонд. Это было и остается незыблемым правилом работы Фонда Взаимопонимания и примирения.

Что же, это письмо полностью подтвердило диагноз, ранее поставленный фонду все тем же А.С. Вигдоровым: глубокое непонимание (или нежелание понять) или непризнание существования Холокоста как целенаправленного геноцида против не вообще советских людей, а против представителей совершенно конкретного народа — евреев, вытекающего из всей человеконенавистнической и антисемитской политики гитлеровской Германии. Допускать возможность простого незнания истории преследования нацистами евреев, в том числе и военнопленных, применительно к чиновнику компенсационного фонда в конце 1999 г., — уже не представляется возможным.

Вместе с тем именно соотнесенность судьбы Вигдорова с проблемой Холокоста, с постоянно над ним висевшей угрозой быть расстрелянным без суда и следствия только из-за того, что откроется его истинная национальность, ставила этот случай в совершенно особенное положение — даже в контексте общей трагической судьбы всех советских военнопленных и постыдной для России истории с недопущением их к получению компенсаций за принудительный труд.

Те казуистические аргументы, которые приводятся в оправдание такой политики, за которыми стоит отказ признать советских военнопленных особой группой преследовавшихся при нацизме, а не просто разновидностью военнопленных, в конкретном случае А.С. Вигдорова не имеют под собой даже своего общего формального основания.

В преамбуле Закона об учреждении Фонда «Память, ответственность и будущее» говорится о сознании того, что «...национал-социалистическое государство депортацией, лишением свободы, эксплуатацией, вплоть до физического уничтожения принудительным трудом, и множеством других нарушений прав человека совершило по отношению к поработленным и подневольным работникам тяжкую несправедливость».

В § 2, ст. 1 говорится, что «...цель Фонда состоит в предоставлении через партнерские организации финансовых средств бывшим подневольным работникам и *пострадавшим от иного произвола в годы национал-социализма лицам* (выделено мной. — П.П.)».

Не признавать за бывшими советскими военнопленными еврейского происхождения постоянно висевшей над ними смертельной угрозы и не

рассматривать такую угрозу в качестве произвола и преследований неприемлемо не только морально, но и некорректно исторически.

Так или иначе это признается и большинством партнерских организаций (ПО), в том числе и на практическом уровне, в частности, в формулировках категорий лиц, правомочных на получение компенсаций в рамках так называемой «открытой клаузулы», где национальным ПО предоставляется значительная свобода рук.

Так, в частности, в польской ПО правомочными считаются: «Лица, преследовавшиеся из расистских соображений (вне гетто, концлагерей и аналогичных учреждений)». Объем компенсации — 5000 DM. Чешская ПО признает правомочие «жертв национал-социалистических преследований и др. неправомочных национал-социалистических мероприятий, ограниченных в свободе перемещения (лиц, вынужденных скрываться)». Объем компенсации — 3750 DM.

Белорусской ПО признаются правомочными «евреи и цыгане, которые были вынуждены скрываться на оккупированной территории по причине национал-социалистических преследований». Объем компенсации — 5000 DM.

Мало того, прямые указания на неуместность применения к бывшим советским военнопленным еврейского происхождения общих мерок содержатся и в документах, имеющих непосредственное отношение к проблеме компенсации военнопленным.

Так, в письме г-на Тюксена (Министерство финансов ФРГ) от 9 августа 2000 г. (в ответ на обращение Вигдорова от июня 2000 г.) сообщается:

В случае если в рамках плена имело место особенное вредоносное антиеврейское преследование (как то помещение в концлагерь, истязание и т. д.), то их последствия покрываются Вторым соглашением (имеются в виду компенсации в рамках Claims Conference. — П.П.): иными словами, выплата компенсации возможна в том случае, если причиненный ущерб заметно превышает страдания, связанные с пленом вообще^[25].

Как известно, боевые приказы Гейдриха не предусматривали для военнопленных евреев никаких иных градаций наказания, средних или промежуточных между жизнью и смертью. Поэтому требовать от спасшихся доказательств помещения в концлагерь или применения к ним пыток нельзя.

Далее, в письме Райнера Тюрмера, министриаль-директора Министерства финансов ФРГ, направленном адвокату С. Ташьяну 5 июня 2002 г., читаем: «Я не могу согласиться с Вашей аргументацией в вопросах компенсации бывших советских военнопленных. Согласно §

11, ст. 3 Закона об учреждении Фонда „Память, ответственность и будущее“, пребывание в плену не является основанием правомочия получения компенсации. Исключения возможны только в особых случаях, если, например, военнопленный стал жертвой дополнительных и особо тяжелых акций преследования, например, на основании расовой идеологии»^[26].

Не менее интересным с этой точки зрения является письмо к самому Вигдорову чиновника Министерства финансов ФРГ Тюксена от 9 августа 2000 г. Оно содержит в себе один момент, чрезвычайно интересный именно с юридической стороны, поскольку трактует вопросы другого вида компенсаций (пенсии, выплачиваемые JCS евреям-жертвам нацизма из стран Восточной Европы в порядке реализации Статьи Второй Соглашения между JCS и ФРГ от 29 октября 1992 г.). До недавнего времени Вигдорову отказывали и в этой компенсации тоже, однако в 2003 г. положение «неожиданно» изменилось, и теперь он получает такую пенсию — более того, ему и некоторым другим бывшим военнопленным ее выплатили за несколько прошлых лет. Объяснение этой «смене вех» и содержит письмо Тикселя, даром что оно датировано более ранним временем, когда JCS отказывало Вигдорову и нескольким десяткам аналогичных узников в тех самых выплатах, правомочие на которые сегодня JCS признает.

Цитирую: «В случае же, если во время плена имело место *особо вредоносное антиеврейское обращение* (например, пребывание в концлагере, издевательства и т. п.), то этот ущерб покрывается Соглашением по Статье Второй. Таким образом, предоставление выплат в случаях ущербов, выходящих за рамки ущербов от обычного пребывания в плену, в принципе возможно».

Обращают на себя внимание оба предложения: второе фиксирует общетеоретическую допустимость компенсации также и для военнопленных, а первое конкретизирует это положение, причем в качестве основания может служить не только пребывание в концлагере, что записано и в тексте Закона «Об образовании фонда „Память. Ответственность. Будущее“» от 2000 г., но и другие особо тяжелые виды преследования и издевательств, что в этом законе не записано. Факт распространения на бывших советских военнопленных еврейского происхождения «особо тяжелых видов преследования и издевательств» не вызывает сомнения ни у кого (при необходимости можно предоставить специальное историческое заключение на эту тему): они были поголовно обречены смерти, а те из них, кто смог уцелеть, были вынуждены скрывать и изменять свою идентичность, находясь под постоянным страхом смерти или разоблачения.

Для обоснования непризнания за бывшими советскими военнопленными-евреями правомочия на компенсацию требуется не столько юридическая изощренность, сколько политическая воля, причем весьма специфического — бюджетосберегающего — толка.

Нет, это не обязательно антисемитизм, но это всенепременно равнодушие и трусливое нежелание ссориться с фондом в Берлине, упорно усматривающим в советских военнопленных заурядных военнопленных, наподобие американских, английских или французских, а не жертв национал-социалистических преследований, чем они на самом деле были.

До самого недавнего времени ту же «страусиную» политику проводила и «Claimes Conference», прятаясь за параграфами регламента компенсаций по так называемому Фонду «Статьи второй». Совершенно очевидно, что составители этого регламента, ориентированные на трагический опыт немецких и западноевропейских евреев, явно не учли вышеупомянутые приказы и произведенные, направленные против евреев из СССР.

В начале 2003 г. руководство «Claimes Conference» пересмотрело свою позицию, и правомочие бывших советских военнопленных-евреев на получение компенсаций по фонду «Статьи второй», наконец-то, было признано (по крайней мере де-факто, ибо де-юре расхождения с буквой инструкций по-прежнему сохраняются^[27]). В середине лета 2003 г. немногие оставшиеся в живых евреи-военнопленные, и в их числе Абрам Вигдоров, эту компенсацию, наконец, получили.

Немецкий и австрийский Фонды в компенсации за принудительный труд советским военнопленным дружно и твердо отказали.

Павел Полян

(на основании архива А.С. Вигдорова и многочисленных интервью с ним)

Алексей Гофман. «Почему ты выжил?..»^[28]

Здравствуй, Павел Маркович! Этим письмом, как я и обещал, хочу дополнить кое-какие моменты из моей жизни в плену и в бегах.

Хочу описать один из эпизодов дружбы и помощи между пленниками разных стран и национальностей.

Лагерь в Штутгарте, Германия, был интернациональным лагерем. Хуже было пленникам из бывшего Союза. Можете представить себе мое положение, ведь я боялся и страдал вдвойне — от немцев, да и свои русские могли каждую минуту опознать во мне еврея.

Каждая страна в лагере имела свою зону. Была французская, американская, канадская, английская, итальянская зона. В итальянской

зоне были пленники, которые восстали против Муссолини. К зоне итальянцев примыкала русская зона. Все получали помощь от Красного Креста, кроме нас и итальянцев.

Я сдружился с итальянцами, и они, несмотря на страшный риск, пропускали меня через свою зону на американскую территорию. Американцы делились со мной своим пайком. Я завязывал нижнее белье плотно к телу, проносил через зону итальянцев консервы, хлеб, сигареты. Это и поддерживало меня и некоторых моих соседей по нарам. Не знаю, что было, если бы не эта взаимопомощь.

В этом лагере я пробыл четыре месяца до высылки в Норвегию в г. Тронхейм с июня по сентябрь.

В лагере г. Тронхейм мы работали на постройке железнодорожных тоннелей в горах. Это был адский труд, даже для здоровых людей. Я же был крайне истощен и морально и физически.

Я был бурильщиком. Шахты освещались карбидными лампами, которые очень часто взрывались, унося жизни несчастных пленников.

Немцы к концу войны все больше зверели. Нас почти перестали кормить. Я превратился в настоящего дистрофика, кожа да кости. С трудом передвигался, уже не мог держать тяжелый бур, он выпадал из моих рук и тянул меня за собой. Все это даже не опишешь словами.

Меня согнали с этой работы и дали более легкую. Нас заставляли по двое переносить деревянные шпалы для крепления и ректовки тоннелей. Нести эти шпалы приходилось метров 200 по крутому спуску. Какому-то фрицу я чем-то не понравился, и он, издеваясь надо мной, приказал нести эту шпалу мне одному. Я понял — пришел мой конец. Я отказался выполнить его приказ. Немец истошно заорал, ударил меня по спине прикладом, сломал винтовку. Я в отчаянии потерял всякий контроль над собой и бросился на немца. Все это происходило недалеко от лагеря, нас заметили и выслали наряд с собаками. Это был ужас. До сих пор не пойму, почему они тогда меня не убили. Видно, нужны были еще рабы. Меня бросили в карцер, карцер находился под горой, сверху стекала вода. Я находился там пять дней по колено в воде и абсолютно без пищи.

После того случая и до конца войны мне оказывали «особое расположение» — урезали и без того мизерную пайку.

Союзников, которые освободили наш лагерь, я встретил уже лежащим на нарах и передвигаться мог только на костылях.

Хочу еще описать один эпизод из моей жизни. После побега из прежнего лагеря я пробирался по оккупированной территории горными лесами, это было возле г. Минска в г. Радошковиче в бывшей Белоруссии. Было начало июля 1942 г. Помню кладбище, толпа местных жителей, которую согнали, чтобы они присутствовали при расстреле евреев. Я тоже стал невольным свидетелем. Можно было представить мое состояние — я еврей, военнопленный, беглец. В этом городе я также наткнулся на местное гетто, огороженное железной проволокой.

Там, содержали евреев — ремесленников, которых заставляли обслуживать немцев.

Обстановка была крайне опасная, мне пришлось пробираться дальше вглубь страны.

Теперь немножко хочу описать свое пребывание после освобождения, уже на территории бывшего Союза.

Марийская автономная область, станция Суслонгер, 47, учебно-стрелковая дивизия, где я проходил проверку органами Смерша.

На первом же допросе, который вел подполковник, мне задали «главный вопрос» — почему я, еврей, выжил в плену? Ведь это было невозможно, так ему казалось. Ни уважения, ни сочувствия к страданиям, которые мне пришлось вытерпеть, я не чувствовал.

Это меня страшно возмутило, и я категорически отказался говорить. Полночи он вел допрос с пристрастием, очень тяжело было у меня на душе — ведь это были свои. Лишь случай отвел от меня его гнев. И лишь то, что наш артиллерийский полк 781,279-й стрелковой дивизии был полностью разбит 11 октября 1941 г. и все до одного попали в окружение, и были либо убиты, либо в плену, помогло мне выйти из проверки Смерша.

Все это было подтверждено документами, которые хранились в архивах. Многие, очень многие бывшие заключенные немецких лагерей были осуждены и попали уже в советские лагеря.

Еще вспоминаю такой случай, там в Смерше. Когда нас вели строем в столовую, вдруг какой-то подонок — антисемит ударил меня по спине и закричал: «Бей жидов, спасешь Россию!» Ведь в лагере в Смерше уже все знали, что я еврей.

В этот же день меня, как обычно, вызвали на допрос. Я ни слова не сказал о том, что произошло днем. Я уже понял. Что здесь, на советской территории, я тоже не в полной безопасности.

Григорий Исаакович Губерман. «...Выдала медсестра»

В плену 1942–1945 гг.

Григорий Губерман родился в Одессе 18 сентября 1918 г. В 1941 г. был выпущен зауряд-врачом после четвертого курса медицинского института. Он оказался в госпитале в Севастополе. После взятия Севастополя немцы интернировали мужской медперсонал, но выпустили на свободу женский. Григорий назвался Николаем Колокольниковым (имя друга).

Его выдала медсестра «в благодарность» за освобождение из лагеря. В лагере было начато расследование. Григорий утверждал, что донос был сделан из ревности. Также он заявил, что был обрезан по болезни (фимоз)^[29].

На время расследования был заключен в тюрьму. В тюрьме немецкий врач выдал ему справку о фимозе, при котором действительно делали обрезание.

Приблизительно в то же время в Севастополь должно было приехать высокое начальство, перед приездом которого «разгрузили» тюрьму. Большинство заключенных вывезли в Германию. Григорий попал в лагерь для туберкулезных. Там он работал врачом-рентгенологом. В лагере была подпольная организация. Важных пленных, которым грозила смерть, сначала записывали туберкулезными больными, а потом списывали, как умерших. То есть они получали имена людей, действительно умерших от туберкулеза. Григорий принимал в этой деятельности активное участие.

Эта его деятельность в лагере помогла ему пройти через фильтрационный лагерь после войны. После войны он носил двойную фамилию Колокольников-Губерман, так как большая часть документов, связанная с войной, была выдана на имя Колокольникова.

Записано Ирой Рабин со слов Жанны Исааковны Гольденфельд.

Давид Исаакович Додин. «Сравнивая немецкий и советский лагерь...»^[30]

Давид Исаакович Додин родился 9 мая 1922 г. в деревне Верещаки Горкинского района Могилевской области.

На войну пошел рядовым, в плен попал 27 июля 1941 г., прорываясь из окружения на Минск. Не меняя имени, он успешно выдавал себя за белоруса, изменив только отчество (на Иванович). Его внешность и его владение белорусским языком не вызывали ни малейшего подозрения. Ни в сборном лагере на р. Свислочь, ни в дулаге Острев-Мазовецкий селекции не проводились, а в туберкулезном лазарете шталага в Цайтхайне, где он работал регистратором и старшим фельдшером, селекция как таковая, в отличие от самого лагеря, не проводилась. Тем не менее в том, что он еврей, он все же признался нескольким вызывавшим его доверие людям, в том числе немецкому пастору-фельдфебелю!..

Додин был связан с подпольщиками. Он, в частности, оказывал помощь участникам побегов (обувью, задержкой доклада о побеге и т.

п.)^[31]. Эта связь с подпольщиками стала причиной посадки Д.И. Додина, арестованного в мае 1947 г. в родном селе Верещаки, где он устроился работать в школе. Его товарищ по цайтхайнскому подполью Соловьев, арестованный по делу о краже кровельного железа, назвал его в качестве очевидца их общей деятельности в плену, чем поставил Додина в положение обвиняемого. Соловьеву дали 25, а Додину — 10 лет исправительных работ, которые он провел в Особом лагере № 1 в Инте в Коми АССР.

Освободился он в 1954 г., но до 1977 г. проживал в Коми. Сравнивая немецкий и советский лагеря, он подчеркнуто отмечал унижительность и моральную боль от несправедливости отсидки у своих ни за что.

Павел Полян.

Яков Самойлович Кагаловский. «...Потерял образ человека...»^[32]

В плену 1941–1944 гг.

Уважаемый Павел Маркович!

Получил от Вас письмо, за которое очень Вам благодарен и, надеюсь, на все Ваши вопросы, которые интересуют Вас, что помню за столько пройденных лет, постараюсь ответить.

Начну свой послужной список. Был призван на действительную службу в 1939 г., в 200-й саперный батальон, был направлен в город Ворошиловград 5 февраля 1940 г., из г. Ворошиловграда наш батальон был направлен в Западную Украину на укреп, район в Львовскую область, г. Рава-Русская, где меня и застала война. Отступали с боями, контуженный без сознания попал в плен 30 июня 1941 г. Где и начались мои скитания по лагерям.

Первый лагерь был Перемышль, там находился две недели, после этого лагеря был отправлен на Польскую территорию в г. Ярославль. Лагерь находился в открытом поле, окруженный колючей проволокой, без крыши над головой. Там пробыл целый месяц. После этого был отправлен на Голландскую границу, г. Меппен на торфяные разработки до августа 1941 г.

После этого был направлен в шталаг 326, г. Лимбург. Там потерял образ человека, был под № 30152. После этого был направлен в г. Саарбрюккен на рытье канала, затем в город Больхен на строительство железнодорожной ветки, а позднее в Эльзас-Лотарингию, на угольные шахты, где работал на земле и под землей, в г. Кляйнроссель, под

землей на глубине 280–364 метра. Это большие города, а сколько было малых городов, где проходили мои мытарства и страдания, за период прошедшего времени, просто не помню. Освобожден был Союзными войсками 26 ноября 1944 г., вторично, будучи в лагере г. Больхен, такое счастливое событие забыть невозможно. Все годы в плену был под фамилией Новиков Андрей Иванович под номером 30152. Если архивы в Германии сохранены, вы сможете узнать все интересующие Вас материалы.

Если Вас интересуют еще какие-то детали, на которые я смогу ответить, я буду очень Вам признателен.

Буду ожидать от Вас ответа, с уважением к Вам
Кагаловский Яков Самойлович.

15.06.2003 г.

P.S. За все пройденные годы после моего освобождения получил компенсацию из Швейцарского банка в сумме 1400 долларов, в 1999 г.

Давид Львович Каутов. «Доктор... ничего не сказал...»^[33]

В плену 1942–1945 гг.

Уважаемый Павел Маркович!

Я, Каутов Давид Львович, родился 14 августа 1920 г. в г. Новоржеве, Псковской области в еврейской семье рабочего-жестянщика. В 1936 г. вместе с родителями переехал на жительство в г. Великие Луки, Псковской области.

В 1939 г. окончил 10 классов средней школы и в декабре этого же года был призван в ряды Красной Армии и отправлен служить на Украину в 16 ГАП^[34]. В 1940 г. полк переехал в г. Котовск, Одесской области.

С первого дня начала ВОВ на фронте. С боями отступали от реки Прут. После переформирования отправлен служить в 47 ГАП. И опять на фронт. С боями отступали до Харькова. 26 сентября 1941 г. был ранен и находился в госпиталях г. Ростова-на-Дону и г. Ессентуки.

В ноябре 1941 г. был выписан из госпиталя и отправлен служить в 83-ю особую морскую бригаду, которая формировалась в станице Успенское Краснодарского края.

В ночь на 1 января 1942 г. бригада принимала участие в десанте по освобождению г. Керчи от немцев.

Так как я был минометчиком, то мы наступали после пехоты. После освобождения города занимали оборону на перешейке. Войск было напихано очень много: артиллерия, минометы, танки, пехоты и т. д. Вообще было кому давать отпор. Все шло к наступлению, но немцы нас опередили. После 15 мая 1942-го они перешли в наступление. Наши войска начали отступать, началась паника. Мы бросали технику и бежали. А бежать было некуда — кругом вода.

19 мая 1942 г. я снова был ранен и отправлен в госпиталь, который находился на берегу Черного моря. Помещений не было. Операции и перевязки делались в палатках. Переправы на другой берег уже не было. Немец стрелял уже по санитарным кораблям. 20 мая пришли к нам немцы. Построили всех, кто мог стоять, и немецкий офицер, через переводчика, объявил, чтобы комиссары и евреи вышли из строя. Но я остался в строю. Перед этим я уничтожил все свои документы, письма от родных, их фотографии. Нас повели под конвоем в сторону станции Джанкой. Там был очень большой лагерь. Он располагался рядом с ж[елезной] дорогой, и через территорию этого лагеря проходила ж[елезная] дорога. Там мы пробыли 1 сутки. Кормили 1 раз похлебкой из брюквы. Хлеба не давали. У многих военнопленных не было котелков, ложек, те наливали эту похлебку в пилотки и так ели. Так началась моя жизнь в немецком плену и продолжалась ровно 3 года. Потом нас погрузили в товарные вагоны и привезли в г. Кривой Рог. Под усиленной охраной немцев с собаками нас привели в какой-то военный городок и разместили в казарме. Здесь были двухэтажные нары. Спали на голых досках. В Кривом Роге нас начали регистрировать, и была медицинская комиссия. К этому времени мое ранение прошло. Вот, при этой регистрации, я изменил свою фамилию и национальность. Я стал Григорьев Владимир Петрович, русский. Правда, доктор, который меня смотрел и все видел (а нас заставляли раздеваться догола), ничего не сказал и велел одеться. Наверное, пожалел меня. Он был русским. Пробыл я в этом лагере несколько дней. Здесь отбирали и отправляли на работу. Я попал в команду на работу в шахту.

Нас привезли в г. Марганец Днепропетровской области, Украина. Привели в лагерь, который размещался в одной из школ города. Лагерь был огорожен колючей проволокой с вышками.

Охраняли лагерь немцы и полиции. Начальником лагеря был немец. Но в лагере командовали полицаи. Это те, кто добровольно сдался в плен. Вот они имели всю власть над нами. Каждый из них ходил по лагерю с плеткой, на конце которой было закреплено что-то тяжелое, чтобы ударить человека так ударить. За малейшую провинность они избивали пленных до полусмерти (не отдал им честь, не прошел мимо их строевым шагом, за плохое поведение в столовой или казарме и т. д.).

Меня определили на работу в шахту № 16. Водили на работу под усиленным конвоем: немцев с собаками и полицаев. Но были побеги, так как путь был дальний и проходил через кукурузник.

Они ввели новшество: сковали и сварили из толстой проволоки прямоугольной формы фигуру. Клали ее на землю, нас туда загоняли, ставили в ряды, и кто стоял крайний справа и слева, [те] поднимали ее, и мы все оказывались в загородке — и так двигались из лагеря до шахты и обратно.

Шахта добывала марганец. Над нами старшим был мастер гражданский. Немцы в шахту не спускались.

Я был назначен откатчиком вагонов с марганцем и обратно пустых по рельсам. Кто-то из пленных долбал кайлом марганец в забое, кто-то укреплял пласты, чтобы не упали на нас, кто-то грузил в вагоны, а их отвозил туда, где их поднимали наверх.

Работали в шахте по 12 часов, первая смена с 6 часов утра до 6 часов вечера, а вторая смена с 6 часов вечера до 6 часов утра.

В шахте не кормили. Вообще кормили в лагере два раза в день. Утром до работы и вечером после работы.

Давали утром 300 грамм хлеба, суп, чай. Вечером суп, чай, но уже без хлеба. Поэтому от недоедания многие пухли и умирали. Два раза в день в лагере производилось построение, линейка, строили по баракам, и полицаи, ответственный за свой барак, отчитывался перед начальником полиции, кто есть, кого нет, кто на работе. На линейку должны выходить все, даже те, кто только пришел после ночной смены и лег отдыхать. Полицай поднимал плеткой. Они врывались в казарму и, как скотов, гнали на линейку. А линейка могла продолжаться и больше часа, и в любую погоду и тут же на линейки проводилась порка пленных за какую-то провинность. Кто-то не так вел себя в столовой, кто-то что-то обменял у другого пленного и так далее. Ему снимали брюки и били плеткой по голому телу 5, 10, 15, 20 раз, как будет угодно начальнику полиции. Он выносил приговор.

В этом лагере я проболел сыпным тифом. Нас держали в отдельной комнате. Было очень много клопов. И мы спали на полу. И здесь они нас доставали. Мы брали воду, обливали на полу границу, где будем спать, а клопы через воду не идут. И так немного спали. Возле нас был санитар, из пленных. Врача не было. Выжил, так выжил, а не выжил — вынесут и бросят в ров, который был глубокий вокруг лагеря. В лагерь приезжали агитаторы от власовцев. Но желающих идти к ним было мало. Выходило из строя 1–2 человека. Зато нас, оставшихся, в строю держали на солнцепеке более 2 часов. Несколько раз в лагерь приезжал немец искать евреев. Нас строили по рядам. Он проходил, подавалась команда спустить брюки, и он смотрел. Наверное, был специалист по этому делу. Я всегда маскировался и вставал рядом с узбеками или татарами. Вот мне и подвезло.

Я жил в плену только на пайке, ходил голодным, но ничем не торговал и ничего не менял. Поэтому и выжил. Пробыл я в этом лагере до марта 1943 г. Нас перевезли в Чехословакию, г. Брицк. Здесь я работал в карьере возле экскаватора с еще одним пленным. Мы чистили ковш экскаватора, которым черпали землю, и передвигали рельсы, по которым двигался экскаватор. Работа была очень тяжелая, так как рельсы были прикреплены к толстым бревнам, и все это мы должны были передвигать.

Сам лагерь находился в городе, и нас водили туда и обратно под конвоем. Кормили тоже два раза в день утром и вечером, и работали в две смены по 12 часов.

9 мая 1945 г. нас освободили из плена войска Красной Армии. После освобождения меня привезли в ряды Красной Армии, и я снова принял присягу, прослужил год минометчиком в 747-м стрелковом полку. Здесь я опять стал Каутов Давид Львович.

В мае 1946 г. был демобилизован. После демобилизации приехал к родителям, которые вернулись из эвакуации и жили в поселке Пенно Калининской области. До войны они жили в г. Великие Луки. Поступил учиться заочно в Педагогический институт. 40 лет отработал в школе учителем математики.

17 лет был директором школы рабочей молодежи и последние 11 лет завучем средней школы. В 1994 г. умерла жена, а в 1998 г. переехал на жительство в г. Санкт-Петербург, где живут мои дети, дочь и сын с семьями. Я инвалид 2-й группы, участник войны ВОВ. Нужно сказать, что власть меня не очень прижимала. Я, правда, три раза был на допросе в органах. Первый раз, после освобождения из плена, сразу в полку, и два раза, когда работал учителем.

Вот и все. Если что-то Вам понравится из моего послания, буду очень рад.

Может быть, я многое пропустил, ведь прошло столько времени. Прошу простить за мой почерк! Ведь мне уже в августе будет 83 года.

С уважением Д.Л. Каутов.

<...>

17.05.2003.

Семен Яковлевич Кригер. «В общем, стал „доходягой“...»

Все, что я пишу, было более 60 лет тому назад, я многое мог забыть, ведь я перенес тяжелый инсульт и мне уже более 84 лет, так что прошу учитывать эти обстоятельства и простить мне ошибки, описки, неточности.

Я, Кригер Семен Яковлевич, родился 21 августа 1921 г. в городе Калуге. В 1927 г. я с семьей переехал в Москву. В 1939 г. окончил среднюю школу и поступил учиться в Энергетический институт, однако, 28 октября 1939 г. был призван в РККА и попал в 626 с.п. 151 с.д. в роту связи. В конце 1939 г. меня перевели во взвод связи 1-го батальона 287 с.п. 51 с.д., и с этой частью мы поехали на Финский фронт. Я воевал в Финляндии до окончания войны в марте 1940 г., а потом с полком вернулся в г. Тирасполь, на место постоянной дислокации. В июне 1940 г. я участвовал в освобождении Бессарабии, а осень, зиму, весну 1940/41 г. находился в г. Измаиле на Дунае, на границе с Румынией.

Великую Отечественную войну я начал с первого часа 22 июня 1941 г., так как часть располагалась на границе. Ввиду того, что немецкие войска севернее форсировали реку Прут и создавалась опасность окружения войск в Бессарабии, мы вынуждено стали, обороняясь, отходить к р. Днестр к Тираспольскому укрепрайону. Однако немцы вышли к Умани и Николаеву, и Одесский укрепрайон оказался в окружении. С 5 августа 1941 г. наш 287-й с.п. перешел в подчинение 25-й Чапаевской с.д. Мы держали оборону 73 дня, до угрозы прорыва немцев в Крым, а потом были морем эвакуированы в Севастополь в ночь с 15 на 16 октября 1941 г. Полк отправили на отдых и формирование под Симферополем, но так как немцы прорвали оборону Перекопа, нас направили на фронт и ввели сразу в бой, в котором мы понесли большие потери, и стали отступать на юг, к горам. Перейдя через Крымские горы, мы вышли на побережье (к Массандре) и по старой дороге пошли к Балаклаве, Севастополю. К середине ноября 1941 г. мы заняли позиции на Микенгиевых горах (пос. Дуванкой) и стали строить долговременную оборону. Меня, как старослужащего, перевели радистом в роту связи 287-й с.п. (т. е. моего полка). Были очень упорные бои под Новый 1942 год, когда немцы хотели взять Севастополь, но мы упорно оборонялись, а также были высажены десанты в тылу немцев в Керчи и Феодосии. Всю зиму и весну 1942 г. мы совершенствовали оборону Севастополя, создавая несколько рубежей. В марте 1942 г. немцы разбили наши войска на Керченском полуострове, а так как их части подходили к Северному Кавказу, а мы остались в глубоком тылу, они решили взять Севастополь, создав сильную группировку с авиацией и танками и одной артиллерией.

В начале июня 1942 г. начался третий штурм Севастополя — при полном господстве немецкой авиации. 1 июля Севастополь был взят немцами. В конце июня 1942 г. я был ранен в правую ногу осколками танкового снаряда и попал в 47-й медицинский санитарный батальон. Но эвакуировать раненых было очень сложно (много раненых, а на катер брали 50 человек, на подлодку — 25 человек, а другим кораблям подойти было нельзя, бомбили немцы, а потом уже и лодки и катера не походили).

4 июля 1942 г. я попал в плен. Ночевали на окраине города в винограднике, а потом через Севастополь, Инкерман пришли в Бильбек, там в километрах трех от города, на пригорке, под открытым небом, окружили нас колючей проволокой — вот и готов лагерь. Жара, дожди, ночью холодно. Сажали в колонны в ряды по 5 человек, и ходили немцы и татары (которые перешли на сторону немцев) и выбирали политработников, коммунистов и евреев. Помню, набрали один раз человек 100-120 и повели на расстрел. Сколько был в этом лагере — не помню: неделю, две? Потом нас погнали в Симферополь, где разместили в овощехранилище. Там были умывальники, санчасть (пленные мед. работники), парикмахерская. Спать можно на досках овощехранилища или на дворе, на земле. Сильно заболел желудок, полное несварение «пищи». Сильно ослаб. Сколько был в лагере не помню — 7-12 дней? Потом набрали человек 2000 русских и украинцев — и погнали на железнодорожную станцию. В Симферополе я стал русским по фамилии Криков (это мне предложил наш полковой писарь, а сам я и не догадался бы по молодости лет). Имя, отчество, биографию не менял.

В товарных вагонах довели до переправы через Днепр в Олешки, это километров 20 от Херсона, а потом погнали на Херсон. Была жара, я сильно ослаб по дороге упал. Меня прикладами сильно избили немец и татарин (в немецкой форме и с оружием), я потом узнал, что мне сломали ребро. Хотели убить, но ребята подняли меня и под руки повели в колонне. Так я остался жить. Лагерь в Херсоне располагался в бывшей тюрьме (говорили, что ее построили во времена Екатерины II), там было отделение для больных, куда я и попал. Лагерь дальше пошел — в Николаев, на Одессу, а я остался в Херсоне — как больной. В «лазарете» лежал на голом полу, лечения никакого, питание — отвратительное, смертность 80-100 человек в день, а у меня полное несварение желудка. Похудел и ослаб. Санитаром был моряк, он попал в плен в декабре 1941 г. во время штурма Севастополя. Земляк (из Москвы, хотя я его никогда не знал). Он мне говорил: «Уходи отсюда в рабочий лагерь, а то здесь умрешь. Я помогу перейти». Я согласился, и вскоре меня перевели в рабочий лагерь. Я, наверное, был в «лазарете» дней 12! В рабочем лагере — рабочие команды, которые ходят на постоянные объекты (на элеватор и т. п.), а часть пленных остается в лагере и привлекается на эпизодические работы — разгрузка угля, уборка территории и т. п. Кто ходит работать в город — живут терпимо, а кто в лагере — тем плохо, голодно. Я познакомился с соседями, и, когда стали набирать команду столяров-плотников, я объявился специалистом и, вместе со знакомыми, попал в команду «Бетон-Верфи». В столярном цеху из нашей команды в 20 человек всего двое могли работать на верстаке, а остальные такие же «специалисты», как и я. Нас приставили подсобными рабочими к станкам — пиле, фрезерному и др. Мы подносили доски со склада, подавали их в станки, принимали,

складировали, убирали отходы, стружку, опилки. Мастерами были украинцы, а охрана — донские и кубанские казаки, вооруженные винтовками и одетые в зеленую военную форму (чешская или другая — не знаю). Я стал оживать, утром давали пайку в лагере, а обед и ужин на Верфи. На Херсонщине очень плохо с топливом, там используют кукурузу-початки, подсолнухи и т. п., а дерево — это дорого и редко. Отходы нашего столярного цеха ценились высоко, служащим конторы давали разрешение на стружку (мешок). Они обращались к нам, а мы в стружку клали обрезки досок, специально их нарезали. За них нам давали еду и даже иногда деньги.

В сентябре месяце всех работающих на «Бетон-верфи» перевели из лагеря «Тюрьма» в лагерь «Обувная фабрика» (бывшая) — условия стали лучше: деревянные полы, свет, во дворе вода, хотя от вшей, блох и тараканов шевелилась солома, на которой мы спали. В таких условиях я зимовал с 1942 на 1943 г. Работа была не очень тяжелая, да и в закрытом помещении. После Сталинградской битвы немцы стали тыловые лагеря пленных отправлять в Германию, дошла очередь и до нашего лагеря. В феврале месяце 1942 г. всех русских, украинцев, татар, чувашей и прочих, кроме азиатов и кавказцев, перевели опять в лагерь «Тюрьма», куда собрали и другие рабочих команды и стали готовить транспорт в Германию и Румынию. В марте 1942 г. нас построили во дворе тюрьмы (человек 700) и под охраной отправили на железнодорожную станцию. Ехали в товарных вагонах очень тесно, у Николаева еще прицепили вагоны (человек 120 пленных Николаевского лагеря) и повезли в Германию, через Бахмач, Фастов, Шепетовку (граница), Холм, Ковель, Люблин, Варшаву, Франкфурт, Берлин. Ехали дней 9 и остановились на станции Бремерфорде. Выгрузились и пошли километров 10–12 до большого интернационального шталага Х В. В лагере бараки на 600–700 человек, трехэтажные нары, умывальники, электрический свет, паек терпимый (голодно, но не смертельно, еда довольно чистая — на кухне работали пленные французы), баня. В лагере завели личное дело (на Украине учета не было) и выдали жетон № 143633, записали общие данные, сняли отпечатки пальцев, цвет волос, глаз, сфотографировали. В лагере был карантин, так как были заболевания тифом. Когда можно, из лагеря отправлялись большие команды на различные работы. Я по своей простоте, при регистрации, записался студентом и попал в команду грузчиков. Нас, человек 90, отправили на военные склады в г. Мольн (под Гамбургом), это, наверное, был уже май месяц 1943 г. Занимались погрузкой-разгрузкой военных грузов — снаряды, мины и т. п. Работа тяжелая, по 9–10 часов. В лагере приличные жилищные условия, чисто, баня, кормежка терпимая, чистая, готовят русские девушки. В августе месяце человек 30 из нашей команды (более молодых и более здоровых) отправили в Х В, куда собирали людей и из других команд для отправки на работу в шахтах. Я был в этом числе. Когда собрали «шахтерскую» команду

(сентябрь 1943 г.), нас направили в лагерь VI А г. Гемер (Hemer) по прозвищу «Ямы». Лагерь был очень большой — 15–18 тысяч пленных разных национальностей, в основном русских. Условия плохие, спали на цементном полу.

В конце сентября отправили на работу в шахту на станцию Хессен (Hessen), три километра от г. Хам (Hamm). Огромная шахта и коксохимический комбинат «Zeche Sachsen» (Цехе Захсен), рабочая команда № 506. На дворе шахты ворота с надписью «Уголь — это хлеб». В лагере грязно и тесно, работа 12–14 часов (вместе с построением, баней), постоянные побои, издевательства, ругань, работа тяжелая. Работая забойщиком, навалыщиком, крепильщиком, несколько раз калечился, болел, но на работу ходил. В забое жара (50–60 градусов, работали голыми), мало воздуха, газы, вода соленая — горячая и холодная. В общем, стал «доходягой» — голодный, уставший, всегда не выспавшийся, морально раздавленный. В таком положении прошли осень, зима и весна 1943–1944 гг.

Третьего апреля 1944 г. на шахте произошел взрыв газа и погибли более 100 пленных (я случайно не попал в эту смену) и около 250 человек немцев, гражданских поляков, русских, горно-спасательный отряд и др. Шахту залили водой, а нас через 2–3 дня перевели в город Терне (Herne) в рабочую команду № 669R на шахту Юлия (Julija Zeche). На этой шахте условия работы были легче, чем на шахте «Захсен», и в лагере условия были лучше, чище, хотя работали 10–12 часов. Я стал немного отходить. Так и работал до 10 мая 1944 г. В этот день в забое я попал в аварию, на меня свалился огромный кусок угля и попал на ноги, на левой ноге сломал кость голени и лодыжку, и меня прямо с шахты санитарной машиной отвезли в госпиталь для пленных в г. Ванне-Айкель (Wanne-Eickel). Палата на 40 человек. Двухъярусные койки, весь персонал из советских пленных — врачи, фельдшеры, санитары. Довольно чисто и спокойно, но очень плохо кормили — суп из костной муки и очисток картофеля. Мои кости очень плохо срастались. Когда сняли гипс, то ходил с костылем, а потом с палкой, хромал. В октябре месяце 1944 г. в госпитале стал температурить, сделали рентген и обнаружили туберкулез легких, перевели из хирургического отделения в легочное.

6 ноября 1944 г. наш лазарет бомбила в течение 30 минут авиация союзников. Кругом все горело, наше здание разбили, мы спаслись в подвале. Остаться в лазарете было нельзя, и нас перевели в другое здание, где мы сами помогали приспособить его под жилье, не хватало даже коек, и более-менее живых и здоровых отобрали и в железнодорожных вагонах отправили в лагерь VI А — «Ямы». Я попал в шестой блок — туберкулезный, грязь, тесно, трехэтажные нары, некоторые спали на полу, так как нет места, вши, клопы, блохи, никаких лекарств и никакой медицинской помощи.

Все западные районы Германии сильно бомбили союзники, а на востоке наступали Советские армии. В лагерь прибывали новые узники, наверное, из других лагерей. Паек давали мизерный и тот не всегда — я сильно разболелся, лежал, температура 38–39 и почти ничего не ел. Умирало по 50-100 человек в день. Стал скелетом. Приближалась американская армия, а фашисты готовили смерть всем 23 тысячам пленных, но не успели. 14 апреля 1945 г. американская армия заняла лагерь и освободила нас. Стали давать какую-то еду и начали наводить порядок. Отправили французов, бельгийцев, поляков и др., а советских пленных организовывали в подразделения, что позволило установить дисциплину и учет, начальником был назначен майор Миронов. Я от радости освобождения (или миновав кризис) стал чувствовать себя лучше, спала температура.

В лагере отметили праздник 1 Мая — были гости: русские девушки и парни (цивильные), американский оркестр и даже какой-то американский генерал, который нашему лагерному начальству вручил награды. В начале мая 1945 г. на машинах санитарного батальона перевезли в бывший военный госпиталь для немецких летчиков. После «Ямы» попал в рай — условия как в санатории, а лечение на уровне хорошей больницы. Стали хорошо лечить — я стал хорошо поправляться!

В госпитале «Баукло» было три коменданта: англичанин (так как это была английская зона оккупации), немец (так как обслуживающий персонал, санитарки, сестры, врачи были немцы) и советский (так как большинство больных были советские военнопленные). Лечили хорошо, кормили хорошо, условия быта — хорошие, я стал набирать вес и здоровье, меня даже привлекли в роту охраны госпиталя политруком.

В конце августа окрепших больных направили эшелоном в сборный пункт в лагере «Берген-Бельзен», а там после формирования направили в г. Галле (на Эльбе) и передали в советскую зону оккупации, а потом в фильтрационный лагерь НКВД Смерш во Франкфурт-на-Одере. Там прошел проверку, а так как ехать в Москву и другие крупные города было нельзя, то мне дали справку в г. Реутов (Московской области), там жили родные жены старшего брата. В ноябре сформировали команду и эшелоном направили в Москву. 14 ноября 1945 г. я прибыл на Киевский вокзал, где военный патруль проверил мою справку, но не задержал. Так я оказался дома.

Начал хлопотать себе документы (паспорт, прописку и т. п.), прошел еще проверку в районном отделе КГБ и получил временный паспорт на один месяц, потом на три месяца, потом на год, потом уже на пять лет.

В феврале 1946 г. поступил учиться в Мосстанкин (Станкоинструментальный институт), летом 1946 г. женился, в 1948 г., в октябре родилась дочь, в 1951 г. с отличием окончил институт и получил направление в Серпухов на работу на завод «Восемь лет

Октября», где работал до лета 1953 г., а потом переводом начал работать на заводе «Станконормаль» в Москве, где жили мои родные и моя семья. На заводе работал конструктором по оснастке, заместителем начальника инструментального цеха, начальником ОТК завода, начальником энергомеханического отдела завода, а последние 12 лет начальником технического отдела (главным технологом) завода.

В феврале месяце 1980 г. прямо на заводе со мной случился очень тяжелый инсульт (10 дней я был на грани жизни), и я получил бессрочную инвалидность 2-й группы. И вот — дожил до сегодняшнего, а мне уже 84 с половиной года.

Москва, зима 2006 г.

Иосиф Самойлович Кубланов. «Вы все такие...»^[35]

Когда началась война, я, Кубланов Иосиф Самойлович, исполнял кадровую службу в 107 ОБС^[36] в школе связи младших командиров. Батальон находился на зимних квартирах в п. Ахуны Пензенской области. 22 июня принял присягу, нас посадили в вагоны и отправили в Белоруссию. 24 июня нас высадили в разбитом городе Рогачеве, где 61-я стрелковая дивизия заняла оборону. Курсанты школы связи обслуживали штаб дивизии. 15 августа 1941 г. я выполнял очередное задание. Мне приказали проложить телефонную связь к артиллерийскому дивизиону. Я взял катушку с проводами и телефон, побежал по заданному направлению, доложил командиру дивизиона. Со штаба дивизии корректировали стрельбу орудий, отстреляв по восемь снарядов. Вижу, артиллеристы вытаскивают замки из орудий и выбрасывают. Я взял телефон и, наматывая провода на катушку, пошел к штабу дивизии. Не доходя до штаба, навстречу мне двигалась группа: 10-12 солдат и два офицера. «Куда идешь?» — спросил офицер. «К штабу дивизии». Он приказал встать в строй, мы пришли к лесу, где и остановились на ночлег, а утром, когда проснулись, оба офицера от нас сбежали. Выставив дозоры, мы начали копать траншею, искать воду, потом увидели мальчика, который пас коров. Подозвали его и спросили: «Немцы у вас есть?» — он сказал, что есть. «Никому не говори, что мы здесь, а маме скажи, чтобы дала чего-нибудь поесть». Мальчик погнал коров, а через час-полтора подъехали немцы и приказали нам выходить. Все вышли, а я задержался, у меня в кармане лежал кандидатский билет, закопав его, я тоже вышел. Обыскав нас, немцы повели нас в коровник, в котором было полно военнопленных.

Утром нас всех построили и пешком повели в город Борисов, а затем в Могилев. По дороге на нашем пути встречались поля с овощами, люди были голодные, но стоило кому-то выйти из строя, как

тут же раздавалась автоматная очередь и этот пленный был убит. Из Могилева нас привезли в г. Алитус (Литовская ССР). Когда я проходил регистрацию, то заменил свою фамилию, имя и отчество и назвался Чугунов Александр Васильевич. Нас поселили в бараки. В октябре 1941 г. я заболел, и меня отправили в лагерную санчасть, где я встретил фельдшера 107 ОБС батальона, в которой я служил. Он устроил меня в палату, где лежали тифозные больные, и немцы боялись туда заходить. После выздоровления был очень ослабленный, и меня продержали санитаром тифозной палаты до августа 1942 г.

В августе 1942 г. меня, как особо ослабленного, отправили на работу в деревню Балькуны к бауэру Балюкасу, у которого я выполнял все работы по сельскому хозяйству до декабря 1942 г. Все это время нас не купали, одежду не обрабатывали, вши заедали, а кормили похлебкой раз в сутки. По повестке немецких властей, в декабре 1942 г. Балюкас, отправил меня в лагерь г. Алитус, откуда нас в вагонах отправили в Таллин в распределительный лагерь. Из Таллина я попал в местечко Кивиэлли, где я работал забойщиком на сланцевой шахте до 18 октября 1944 г. Жили и работали под немецкой и полицейской охраной. В октябре 1944 г., когда Советские войска стали подходить к Эстонии, нас снова отправили в Таллин, затем на остров Эзель, а оттуда баржей привезли в Данциг, а затем в Германию.

В Германии меня определили на работу в местечко Ашерсле-бен на сахарный завод грузчиком. Грузили сахар в вагоны. Утром — чай, в обед — похлебка, работали по 10-12 часов, жили в бараке. В декабре 1944 г. был угнан в Магдебург, работал грузчиком на заводе «Вольф», жили в бараке, кормили плохо. Завод бомбили, мы прятались в траншеях, охраняли нас полицаи.

11 апреля 1945 г. лагерь был освобожден американцами. Все время пребывания в лагерях я значился как Чугунов А.В.

Когда нас освободили американцы и передали Советской Армии через реку Эльбу в запасной полк, на регистрации я назвал свою настоящую фамилию. Вот весь мой путь с августа 1941 по апрель 1945 г. После регистрации нас, репатриантов, пешком отправили до Бреста. В день проходили 40-45 км.

В Бресте, нас встретили с оркестром, работал на сельскохозяйственных работах до октября 1945 г., потом отправили в Ярославль, где работал на базе Вторчермета. В декабре 1945 г. меня забрали в областное управление КГБ, для фильтрационной проверки. После допроса я продолжал работать на базе Вторчермета. В феврале 1946. меня вторично забрали на допрос о времени моего пребывания в лагерях. Следователя особенно интересовал вопрос, почему я, еврей, остался жив, находясь у немцев. Я сказал, что никто не знал, что я еврей, и врачебную комиссию не проходил. На это он ответил: «Вы все такие» — и ударил меня по уху. После допроса меня отправили в отдел

кадров шинного завода, в жилищно-коммунальный отдел, где я работал слесарем-сантехником.

И только в марте 1947 г. мне разрешили уехать из Ярославля в отпуск к маме в Караганду, где она жила в эвакуации. А в августе 1948 г. приехал в Феодосию, где у меня была семья: жена и дочь. В сентябре устроился на работу в автопарк, где проработал 40 лет, сейчас уже отдыхаю на пенсии.

Лев Либенсон. В плену. ^[37]

Эта история произошла с моим знакомым Львом Либенсоном. Вот его рассказ.

До Великой Отечественной войны я работал директором промкомбината в Борисове. Водителем грузового автомобиля у нас был литовец Юозас Станкайтис.

Случилось так, что в действующей армии мы оказались рядом. Он — водитель машины политотдела, а я — младший политрук, корреспондент дивизионной газеты.

Летом 1941 г. под Оршей мы попали в окружение. Меня контузило, но Юозас не оставил меня, помог сменить форму политрука на одежду рядового бойца.

В лагере мои светлые волосы давали мне шанс на спасение.

Я взял себе фамилию недавно погибшего бойца, которого хорошо знал. Как-то меня узнал солдат из нашей части. Он сказал, что сообщит немцам, что я младший политрук и еврей. Казалось, что жить мне осталось до утра. За выдачу офицеров, политработников и евреев немцы давали кое-какое вознаграждение.

Но Юозас и раненый летчик Володя Пилипенко, с которым мы подружились в лагере, пошли ночью поговорить с предателем. Больше я его не видел.

Вскоре нас погнали на медосмотр. В обнаженном виде любой бы признал во мне еврея. Юозас с риском для жизни как-то сумел пройти проверку за меня.

Через некоторое время меня и Юозаса перевели в другой лагерь, который располагался на территории Германии. Условия там были просто невыносимыми. От голода и болезней каждый день умирали несколько человек. Я же хоть и был высокого роста, всегда мало ел. Эта особенность организма и спасла меня. А вот мой друг постепенно стал опухать. Дело дошло до того, что однажды утром он не мог подняться на работу. Его отправили в лазарет, а путь из него был

известен. Понимая это, я начал искать выход из положения. Пошел на всякий случай к лазарету. На мое счастье, из него вышел врач, тоже из советских военнопленных. Я с жаром начал рассказывать, какой Юозас прекрасный человек, и просил помочь ему. Тот ничего не сказал, только спросил фамилию. Больше недели я не находил себе места, переживая за судьбу друга, который так и не вернулся из лазарета.

Но вот через десять дней меня вызвали в помещение лагерной охраны. Немецкий офицер, указав на пожилого немца в штатском, сказал: «Пойдешь с ним». На лошади мы добрались до фермы, где нас встретил... Юозас. Я понял, что меня освободили из лагеря благодаря ему.

Юозас рассказал, что вечером русский доктор стал подходить к каждому и что-то записывать. А у моего друга спросил фамилию и личный номер. Затем, не сказав ни слова, вышел.

Через два дня Юозаса передали старому немцу Курту, который и привез его на эту ферму. Здесь он вспомнил обо мне. Поговорил, как мог, с хозяином и попросил забрать меня. Так мы и встретились.

Хозяин фермы жил бедно. Шла война, и все продукты сдавались государству. Но нас он не обижал, кормил по тем временам неплохо. Понимал, видно, что нам надо работать в поле. Нас же предупредил: если соседи узнают о хорошем обращении с врагами рейха, его накажут.

Меня попросил избегать любых контактов с соседями. Якобы один сосед спросил Курта, не еврей ли я. Пришлось хозяину несколько раз давать в работу свою лошадь соседу, только бы он не донес, что Курт скрывает еврея. А лошадь и самому была очень нужна. У него их было три — выбракованных из армии. Я и Юозас выполняли на них все сельхозработы.

Еще больше мы были удивлены, когда узнали, что единственный сын хозяина погиб на Восточном фронте. Объясняя свое хорошее отношение к пленным, старик говорил: «Русские не звали нас, немцев, к себе. Мы сами на них пошли войной».

Именно потому, что сын Курта погиб, местные власти разрешили ему взять в помощь двух военнопленных. У него также работали две девушки из-под Смоленска.

Курт ежедневно доставлял молоко лагерной охране, а оттуда привозил пищевые отходы для своей свинофермы: мы упросили его договориться с лагерным начальством, чтобы забирать пищевые отходы из лазарета. Там постоянно находилось около десяти человек, но многие из них были уже так слабы, что не могли принимать пищу, которая уничтожалась. Ясно, что две-три миски баланды не давали его свиноферме ничего, но это был предлог периодически ставить бидончик с молоком перед дверью лазарета. Его забирал все тот же русский доктор и раздавал больным. Это помогло некоторым советским военнопленным остаться в живых.

В марте 1945 г. нас освободили американцы. Мы с другом оказались в фильтрационном лагере, заполнили анкету, прошли допросы, получили справки, пошли на Восток.

После проверки в нашем лагере, медкомиссии в госпитале, где нас немного подлечили, нас направили в ближайшую воинскую часть. Начальник штаба этой части Иван Павлович Ненашев поговорил с каждым в отдельности, выяснил последнее место службы и обстоятельства пленения и каждого предупредил:

— Вы к нам попали из госпиталя после ранения. Там проходили последнее освидетельствование, справки о лечении есть в ваших личных делах. Так что считайте, мне неизвестно о вашем плене. Постарайтесь и вы забыть об этом.

Только много позже я понял, какой нравственный подвиг совершил этот человек и какое милосердие проявил к нам! Благодаря этой записи и предупреждению я не попал в сталинские лагеря после возвращения домой, когда нашу часть полностью демобилизовали.

Семен Алексеевич Орштейн. «Свой не продаст — чужой не купит»

В плену 1942-1945 гг.

Семен Алексеевич Орштейн родился в 1921 г. в Онополье. Там до войны было 8 синагог и, соответственно, школ. Отец был пекарем в райсоюзе, пек и мацу на праздники. Был у них маленький домик на две комнаты и кухню.

При рождении его называли Шимон Эоевич, сестер — Паня, Цея (Циля?) и Лиза. В начале войны все они сначала было эвакуировались в Житомир, но там их настигли немцы, и они вернулись в Онополь, где все, кроме Семена, погибли. Самого его спасла следующая цепочка обстоятельств: в 1940 г. его призвали, в пограничные войска, в Болград, он был курсантом. Помнит, как еще 21.06.1941 они пропустили последний эшелон в Германию.

В плен его взяли под Харьковом (в октябре 1942 г.). Его лагерь был в Житомире. С одной стороны, по его словам, никто никого не проверял, а с другой — стариков-евреев заставляли танцевать возле ямы. Увезли в Германию, причем поезд прошел через Славуту, где он сейчас живет, и Онополь.

Был он в Германии в лагере Бохольт. Там-то и была регистрация, где он взял себе имя и фамилию очень хорошо знакомую — своего ближайшего друга, бывшего председателя райпо и 1-го номера расчета станкового пулемета, тяжело раненного за 2 дня до его плена (сам О. был 2-м номером того же пулемета) — Семенюка Василия Кузьмича.

«Переложился в Семенюка», — как он выразился. О своем спасении говорил так: «Свой не продаст — чужой не купит».

Работа в лагере: водили по хозяевам, его хозяина звали Беннер Венк, и жил он на Вестенштрассе. Перед попаданием к этому хозяину он весил 42 кг. У него он проработал до освобождения. Убегать было некуда.

До 1946 г. оставался в армии, охранял границу. Трудностей при устройстве на работу и т. д. и т. п. не подтверждает, причем такими словами: «Нет, трудностей не было. Вообще ничего не было — где поспать, где посидеть, что покушать». И еще он говорил так: «Это сильно тяжелое время было». Любимые выражения: «Ну а как же?!..» и «Как положено быть».

Записал П.М. Полян на основании видеоинтервью от 18.11.1997, взятого для Фонда Спилберга Татьяной Чайкой.

Лев Яковлевич Простерман. Кельнский период пленной жизни ^[38]

Родился в Харькове 24 сентября 1921 (?) г. В плену 1942–1945 гг.

Дорогой Павел Маркович!

<...>

13 сентября 1941 г. был призван в армию. 23 мая 1942 г. оказался в окружении, был контужен, а 26 мая, под Харьковом, попал в плен в лагерь в г. Павлограде. Здесь я увидел, каким издевательствам подвергались пленные евреи. Это была небольшая группа, человек 20–25. Их вели куда-то, при этом конвоиры заставляли одних везти верхом на плечах одних, а потом они менялись со своими товарищами местами. Кто обессилел, не мог везти на себе человека, был расстрелян на месте. Через несколько дней эту группу расстреляли в близлежащем яру.

Еще на фронте я получил от моих родных письмо, в котором сообщалось, что родителей моего отца, живших в г. Бендеры (тогда Бессарабия, позже Молдавия), немцы живыми закопали в землю, а потом заровняли танками. Так что я уже знал, какая участь ожидает евреев у немцев, и я дал себе клятву ни под какими пытками не признаваться, что я еврей. Все документы я уничтожил, характерных внешних признаков у меня не было ^[39], и я записался как русский Просторов Алексей. «Просторов» потому, что это было созвучно с «Простерманом». В случае, если кто-то из бывших сослуживцев по моему 899-му полку 248-й стрелковой дивизии меня окликнет по фамилии, я имел бы шанс как-то «выкрутиться». Алексеем я стал

потому, что хотел сохранить фотографии любимой, которые были подписаны мне как «Лесе». Так меня звали в детстве. Мои родные и близкие друзья зовут и теперь.

«Леся» уменьшительное имя Алексея. Так я стал «Просторов Алексей» еще в Павлограде и с этим псевдонимом прошел весь плен, без малого три года. Из последнего на Украине лагеря в г. Стрый, я попал в шталаг 326 на территории Германии, где пробыл около 1,5 месяцев. Вначале меня поместили в госпиталь, так как отказала левая нога, и я не мог ходить. Я считал, что это результат контузии, которую я перенес примерно 23 мая 1942 г. в результате артиллерийского налета. В госпитале я встретил земляков, армейских медиков, которые меня стали опекать, подкармливать. В результате левая моя нога пришла в норму и меня перевели в блок, где формировали команды для отправки на производства. Отсюда я попал в Роденкирхен возле Кельна на завод «Гебрюдер», где меня поставили на операции окончательной доводки подшипников скольжения. Видимо, для транспортных средств. Цех назывался «Лагергале» и возглавлялся мастером Толли, жестоким человеком не только для пленных, но и для немецких рабочих.

Однажды у меня разболелся зуб, и я стал просить отвести к зубному врачу. Вместо ответа Толли стал избивать меня стальной развальцовкой — прутом диаметром примерно 16 и длиной в 400 мм.

Норму в 50 подшипников в день я выполнял постоянно, наравне с немецкими рабочими. Кормили нас очень плохо, в основном так называемым супом из листьев свеклы, брюквы или шпината, хлеб был тоже из свеклы по 200 грамм в день на человека. Многие пленные опухали, я также опухал в нижней части тела до поясицы, включая и детородные органы.

Осенью 1942 г., примерно в октябре-ноябре, ночью Кельн и его окрестности подверглись массовой бомбардировке армадой самолетов США и Англии. Погибло около 25 тысяч мирных жителей, были разрушены жилые районы, пострадали два моста через Рейн и всемирно известный Кельнский собор («Дом»^[40]).

Утром нас, пленных, повезли в центр города (и еще несколько раз) и мы весь день расчищали от завалов улицы города. Тут нас хорошо покормили из военных полевых кухонь, которые были установлены на улицах для кормления жителей разбитых домов.

Водили нас и в самом Роденкирхене расчищать от пожара птицефабрику. В общем-то, город не пострадал. Только на станции сгорело несколько вагонов, груженных сырами, изготавливавшимися на фабрике «Ада», расположенной рядом с нашим заводом.

В один из летних дней 1943 г., когда в обед нам привезли «стандартный» суп из листьев ботвы, мы — инициативная группа из 10–12 человек, решили бойкотировать эту «еду», окружили котел и стали препятствовать раздаче баланды. Полицаи подняли шум, выскочили из своей «штубы» конвоиры, прикладами отогнали от котла и бросили в

бомбоубежище, находящееся на территории лагеря. Три дня нам не давали пищи, а затем вывели на станцию железной дороги и повезли в штрафной лагерь в г. Люрен (близ Бонна), откуда через несколько дней отправили на угольную шахту «Мария I» в 5–6 км от г. Вюрзелена.

Так закончился Кельнский период моей пленной жизни, и начался шахтерский период, который я прошел до освобождения и каждый год я отмечаю этот день 9 апреля.

С искренним уважением.

13.06.03. Простерман.

Константин Абрамович Рутштейн. «Еще живой!»^[41]

Я, Рутштейн Константин Абрамович, 1922 г. рождения, проживал до войны на Украине. С 1939 г. студент исторического факультета Ворошиловградского пединститута. В 1940 г. призван в армию. Служил в Житомире в 458-м тяжелом (152 мм пушки-гаубицы) корпусном арtpолку наводчиком орудия 1-й учебной батареи младших лейтенантов запаса.

19 июня 1941 г. полк направили к границе, а 24 июня полк уже участвовал в боях на Западной Украине. Отступали с боями к Киеву в составе 5-й, затем 26-й армии. Участвовали в обороне Киева. Наши армии оказались в окружении. 23 сентября 1942 г. я был тяжело ранен (голова, глаз, плечо, спина, нога), но мог передвигаться. Оказал первую помощь мне бывший студент нашего института Татош Виктор (проживает в Луганске, инвалид войны). Он (связист) на машине вывез меня из кровавой мясорубки (с. Барашевка, Киевской обл.), оставил в кузове и пошел искать дорогу. Вокруг скопилось много машин, техники, так как не было переправы по железнодорожному мосту через реку. Немцы обстреливали, и машины горели, рвались боеприпасы. Я скатился с кузова и пошел не зная куда. Где-то меня подобрала машина с ранеными, ехали пока не кончилось горючее. Показались двое немецких солдат на лошадях. Комиссар высокого звания (был с нами в машине) застрелился. Кто мог сползли с машины и пошли. Шедшие окруженцы взять меня с собой отказывались: «Мы идем на прорыв, а ты взять оружие не можешь и только нас будешь выдавать (весь перевязанный)». Наконец, я присоединился к двум окруженцам. Один из них был летчиком, и у него была карта. Ночью мы шли, а днем прятались в лесу.

Однажды, на рассвете спрятались в глубокой траншее. Вскоре слышалась стрельба и немецкие крики. Мои спутники стреляли, а

потом выскочили из траншеи, а я вылезти не мог. Подошел немец и направил на меня винтовку. «Все, конец!..» Но он дал мне понять, что хочет помочь мне вылезти из окопа. Вытащил. Началась моя история пленного с 25 сентября 1941 г. Собрали пленных 10–15 человек на полянке. Я сидел у окопа и обнаружил, что у меня при себе письма родных, фото и даже комсомольский билет. Незаметно бросил все в окоп и ногой засыпал землей.

Подошел немец и указывает на мои часы. Я понял, что он предлагает за часы булку хлеба. Я отдал часы, а он хлеб не дал. Уже было холодно, а я без рубашки. Немец подошел к «дядьке», у которого была и шинель, и плащ-палатка, забрал ее и отдал мне. Очень хотелось пить, не кушать, а пить не давали. И погнали нас. Кто идти не мог — пристреливали. Двое, шедших со мной рядом, поддерживали меня. Сколько шли — не помню. Голову повернуть в сторону раненого плеча невозможно — вонь страшная. Но через время это прошло, так как в ране появились белые черви и очистили рану.

Раненых на подводах привезли в село Гоголево. Там был общий лагерь и недостроенное помещение, куда поместили раненых. «Принимали» в этот «госпиталь» наш военврач полка и наш санинструктор. Врач бросил: «В общий лагерь», но санинструктор (из каких соображений?) повел меня в «помещение» и принес мне под голову клочок соломы. Двое, рядом лежащие, обращаются ко мне: «Ты придумал себе фамилию?» Я: «Руман» (до войны наш сосед русский врач Руман). Они: «Не годится». Я: «Сердюк». Они: «Прикройся с головой плащ-палаткой, а мы, когда будет проверка, скажем, что ты тяжелораненый, не трогайте его». Таким было первое мое спасение.

Нас «кормили». Нам было видно, как готовили нам «пищу». Привозили с поля картофель в корзинах и вместе с землей вываливали в котел. Если давали кружку вырева утром, то назавтра только вечером. Через несколько дней нас, раненых, перевезли в «госпиталь» в Дарницу — пригород Киева. Там была врач-еврейка (ее потом убили), но никаких лекарств не было. Затем нас на машинах перевезли через Киев в Житомир и «поселили» в бывшую казарму танкового подразделения в Богуне — пригороде Житомира. Голые нары, окна выбиты (заложили фанерой), и это — лютой зимой! У соседа по нарам была шинель, и мы ею укрывались. Никакой медпомощи. Завшивленность страшная. Целыми днями боролись со вшами. А кто совсем ослаб, тех переводили на нары на втором этаже. Там солома от вшей шевелилась. И человека «съедали» вши.

Давали пайку «хлеба» из нерушенного кормового проса (магара) и древесных опилок. В туалете кровь, как на бойне. Давали и «чай» — вода с малясом — отходами сахарного производства.

Болезнь: остеомиелит (гниение костной ткани плеча), дизентерия, сыпной тиф. Без медпомощи. Первое время откуда-то брали простыни, рвали их на бинты и перевязывали. Когда я болел дизентерией, мой

сосед лечил меня: мою пайку хлеба менял на кости, их пережигал на костре, перетирал и давал мне. Очень тяжело перенес тиф. Им болели все до единого. Не верите? Выжил!

Но предстояли другие испытания на выживание — я же еврей.

Каждый день мы видели, как мимо госпиталя гнали людей в нижнем белье — гнали на убой!!!

Начальник госпиталя Иван Гаврилович Алексеев делал все, чтобы сохранить жизнь евреям. Их было много в госпитале. Не выдавали, скрывали, организовывали побеги.

Подготовкой одного побега руководил Алексеев. Днем от корпуса к проволочному заграждению разложили матрацы. Подготовили группу беглецов, дали им ножницы. Ночью беглецы ползком перебирались от корпуса к заграждению — колючая проволока с навешанными консервными банками и снаружи часовой. Удалось разрезать проволоку и первый проползал в отверстие, задел проволоку, часовой начал стрелять, убил пять человек, а шестому удалось скрыться в помещении. Утром немцы все обыскали и его не обнаружили. Он скрылся в дымоходе. Через несколько дней его нашли (еврей), но схватили после того, как он бритвой перерезал себе горло. Пришел комендант лагеря и стрелял в трупы.

Немцы организовали проверку с целью выявления евреев. Я спросил у Алексеева: «Как мне быть?»

— Иди во двор, а когда нужно будет, позову, — ответил он.

После проверки я вернулся, а соседи по помещению спрашивали, где я был? А Алексеев вместо меня поставил другого.

Еще живой!

Еще одна проверка. Всех выгнали во двор. Двор разделили на две части: для проверяющихся и для уже проверенных. Во время проверки я зашел в туалет и оттуда выскочил в группу уже проверенных. Полицейский (за проволокой) заметил это, поднял крик и указал в толпе, но не на меня (все в одинаковой одежде).

Еще живой!

В начале 1942 г. меня переводят в общий лагерь. Проверка. Узкий коридор из колючей проволоки. В конце коридора стоят полицейский (из жителей Средней Азии) и немец. Когда подошла очередь моей проверки (снимай штаны), подъехал гестаповец и отозвал немца. Полицай остановил меня. Немец, наблюдая, крикнул: «Юда?», но полицай отрицательно покачал головой и протолкнул меня.

Еще живой!

Летом 1942 г. — баня и, конечно, проверка. Мне удалось перебежать из команды направляемых в баню, в строй возвращающихся из бани.

Еще живой! Затем нас погрузили в вагоны, дали по буханке хлеба на несколько дней пути и привезли в Германию в пересыльной — лагерь Цвикау, близко от Чехии. Там почти не кормили. Поели траву.

Затем направили на сахарный завод, перерабатывали сахар-сырец. Мы так ослабли, что ту работу, которую можно выполнять усилиями пальцев, с трудом выполняли двумя руками. (Из вагонов мешки с сахаром-сырцом на тележке перевозить и высыпать на конвейер.)

Кормили варевом из брюквы. Сахар есть не могли. Все опухли. Конвоир требовал, чтобы мы возили тележки бегом. Бил прикладом. Конвоир уехал в отпуск, а когда вернулся, то совсем не интересовался работой. Залезет на мешки и лежит. Что случилось? Позже подошел пожилой немец и сказал мне, что немцы отступают от Сталинграда. Все ясно.

Старший мастер — немец — в ночную смену вызывал к себе пленного и кормил своим домашним обедом.

Прослышали, что нас будут отправлять на аэродром чистить снег. Я с товарищем (Николай-фельдшер) пошли к старшему мастеру, чтобы оставил нас на заводе. Он: «Я вас отправлю в первую очередь, так как вами стал интересоваться гестаповец». (Мы, при возможности, рассказывали немцам, как хорошо было в СССР.)

Зимой 1942/43 г. на аэродроме чистили снег. Мороз, а на ногах долбленные колодки и тряпки. На снегу тряпки обмерзают, а в обед в помещении оттаивают и — снова на мороз. Без простуды! Жили в ангаре. Посреди печка-буржуйка. Топила небо. На ночь требовали раздеться. Кормили так, чтобы не сдохли.

Пока живой!

Весной 1943 г. нас, команду из 22 человек, перевезли в имение. Владелец нескольких имений граф Пауль Йорк фон Вартенбург (написано было на всех подводах). Поселили в одном из отсеков конюшни за колючей проволокой. Правда, спали на матрацах с соломой. В помещении была печь-буржуйка. На ночь помещение запирали. Было два конвоира. Состав команды интернациональный: русские, украинцы, чуваш и я — «украинец» Сердюк Константин Александрович. Жили мирно. Но однажды я поспорил с «братьями»-украинцами. И они в присутствии других заявили: «Замолчи. Думаешь мы не знаем, кто ты такой?» Вечером, когда мы легли спать, Иван, по кличке «Рябой», казак, поднял всех и сказал: «Кто будет выяснять, кто есть кто, повесится на этом крюке», — и указал на крюк в потолке. Больше столкновений не было.

Работали на разных тяжелых работах: переносили грузы, рыли дренажные траншеи и др. Кормили плохо. Буханка на неделю. Но мы воровали все, что попадалось.

Немцы относились к нам «нейтрально», а некоторые помогали нам. Конвоиры попадались все время хорошие: немцы из Польши, Чехии. Иногда они брали долю из ворованного.

Имение, где мы работали, находилось в селе Вайгвиц, возле Бреслау. Владелец (граф) в имении не жил, но иногда приезжал. И в каждый приезд заходил к нам в конюшню. Распрашивал. Говорили, что

он был на фронте. Его брат, чье имение рядом, участвовал в покушении на Гитлера. Повесили. А «наш граф», якобы с женой-еврейкой, улетел в Англию.

Весной 1945 г. до нас стали доноситься звуки канонады. И нас погнали на Запад. Прошли почти через всю Германию. Дошли до Эрфурта. Определили на работу к богатому бауэру-крестьянину. При приближении американских войск нас погнали на восток, но нас настигли американские танки. Свобода!

Жили недалеко от «международного» (сербы, французы и другие) лагеря военнопленных. Из этого лагеря нам привозили еду. Повара-французы старались нас хорошо подкормить. На общем митинге оркестр исполнял гимны тех стран, из которых были в лагерях пленные. За исключением — нашего гимна. И мы, советские военнопленные, пели «Интернационал» — все стояли.

Американцы привезли нас в советскую зону. Там нас пешком направили на восток в пересыльный лагерь. Прошли проверку Смерш у пьяного капитана и получили справки на право получения дома паспорта. Но в Ковеле справки забрали и, до прибытия железнодорожного состава, велели рыть землянки.

Повезли нас в Запорожье, в стройбат. Работали на строительстве шлакоблочного завода. Через некоторое время штаб батальона исчез, и мы стали просто рабочими «Запорожстали».

Летом 1946 г. мне удалось получить отпуск. Я уехал домой и там получил вызов из института. В Запорожье мне дали расчет. И я начал заниматься на втором курсе института, который закончил в 1949 г. В том же году я и жена получили направление в школы города Антрацит в Луганской обл. Там и проработали до 1988 г.

А в 1994 г. переехали в Израиль. Сын Борис — кандидат технических наук. Мой внук на работе в отделе космоса при Генштабе — капитан. Дочь Алла — инженер-электрик. Внучка служит врачом в армии. Такова сага моей семьи. Мог бы написать больше, но уже не хватает сил.

Эммануил Николаевич Сосин. Рассказ о плене

В плену 1941–1945 гг.

Э.Н. Сосин окончил военное училище за 12 дней до начала войны, — в его взводе были западные украинцы, и они, кстати, совершенно не понимали, что он еврей!

Первый раз попал в плен еще в июне 1941-го — с группой прикрытия полка. Попали в плен в коротком контактном бою. Оказался

в лагере и лазарете — Сенно под Псковом. Немцы не кормили, пищу приносили местные жители.

Охраны практически не было, никто не считал это огромное, дурно пахнущее море людей. Можно было уйти. И они ушли втроем, а через месяц, в августе, когда пошли дожди, даже добрались до своих.

Пограничники отвели их в палатку для приговоренных к смерти дезертиров. Допрашивала их женщина с браунингом.

Второй плен — в мае-июне 1942 г., практически случайно, в качестве «языка». Первый лагерь в Нелидово — Сычевка, далее: Смоленск, Вязьма, Борисов и Каунас.

Евреев-военнопленных сгоняли в концлагерь Каунас, в VI Форт — со всего Западного фронта. Целый день там возили фуру с кирпичами.

Некоторых немцы так и не признали в качестве евреев, например, его товарища Полякова. Беда в том, что выдавали «свои». После выдачи еще проверяли врачи-военнопленные, но в присутствии немцев и полицаев. Проверяли не только на обрезание, но и на особенности речи.

Полицаи-украинцы были в униформе, русские полицаи — без. Лично Сосина спасло то, что один главный полицай оказался земляком, москвичом с Мещанской улицы, — он сорвал с него желтую звезду (сзади) и «отправил» в Германию.

Не регистрировали нигде. В Германии был в шталаге IX А (Ziegenheim). Там же были англичане, американцы и др. После освобождения в 1945 г. Сосина в течение пяти лет проверял КГБ, но сейчас, после обращения в архив в поисках документов о пребывании в плену, ему ответили, что никаких документов нет.

Записал П.М. Полян.

Алексей Иосифович Цирюльников. «...Овес его и спас — ели зерна»

В плену 1941-1945 гг.

Родился в 1921-м в Ленинграде. В 1940 г. закончил среднюю школу. В сентябре призвали в армию. Попал в учебный батальон на западной границе в войска НКВД, потом школа радиотелеграфистов во Львове. Служил в 77-м полку по охране железнодорожных сооружений, на бронепоезде в районе г. Станислава.

21 июня 1941 г. на лекции о международном положении им говорили, что войны в 1941-м не будет. На 22 июня была намечена сдача норм ГТО.

Вместо сдачи норм попали под авиаобстрел, сбили один «Юнкерс-88», экипаж из четырех немцев взяли в плен, из них двое раненых.

Попали в окружение, бронепоезд двигаться не мог. Пошли на восток пешком, пробиваться. Натер ноги в новых сапогах, сидел на обочине. Его догнали румыны — отпустили, потом прятался в стогу. Проверяли штыками немцы, но не попали. Ночевать нигде не оставляли, на гражданскую одежду обменял свою форму. И так он дошел до Проскурова. В плен все же попал, но только в середине октября.

«Большевики и евреи, вперед!» — двое вышли вперед, и их расстреляли.

А остальных погнали в деревню, на станцию Ермолинцы (ночлег в пакгаузе, потом несколько дней грузили ящики с продуктами). Оттуда пешком погнали в Проскуров, в лагерь в конюшне.

На регистрации Цирюльников взял имя своего воронежского друга — Меняйлова Алексея. Работали на строительстве дороги, а он сам на аэродроме, ухаживал за лошадьми (по приказу обер-лейтенанта Ланге). Овес его и спас — ели зерна. Недели через две в лагере начался тиф — лафа кончилась. Голодно, холодно — трупы под навесом, оттуда их относили в овраг. В ноябре спрятался среди трупов — но поймали полицаи и отвели, но не в лагерь (там беглых расстреливали), а в полицию. Оттуда — уже с гражданскими и как гражданского — его отправили в Германию.

Транзитный лагерь под Брестом. Снова повезли и привезли в Австрию, в район Линца (Линц-1). Там его зарегистрировали как остарбайтера, там побывал он и в штрафлагерях. Там же провел он всю оставшуюся войну на строительстве азотного завода и на металлургическом заводе Герман-Геринг-Верке (там он был как в отделении Маутхаузена).

Освободили их американцы, но приехала и советская комиссия. В сборном репатриационном пункте Цирюльников поработал месяца так два-три. Потом проверочный пункт, две недели на фильтрацию, там он заявился под своей старой фамилией.

Снова его мобилизовали, и в Пуркендорфе под Веной он служил еще год. Летом 1946 г. демобилизовался.

Записал П.М. Полян.

Семен Моисеевич Цукерман^[42]. «...Плохое уже позади»

В плену 1941–1945 гг.

Уважаемый Арон Шнеер, благодарю Вас за эту ранее не раскрытую страницу истории военнопленных-евреев, униженных и раздавленных военной машиной, а затем сломленных советским режимом. Хотя в их судьбах было не меньше подвигов, чем на войне.

История жизни моего отца написана мною по маминым рассказам. Слава Богу, она сохранила хорошую память и здравый ум. Вся моя семья — мама Цукерман Геня Марковна, я Псурцева Софья Семеновна и мои сыновья Псурцев Александр и Псурцев Владимир — благодарим Вас за этот кропотливый и сложный труд.

Мой отец Цукерман Семен Моисеевич родился 20 мая 1922 г. в селе Соколец Минковецкого района Хмельницкой области (ранее Каменец-Подольской обл.). Единственный ребенок в семье.

Примерно за две недели до начала войны был призван в армию. Еще не принял присягу, находился в г. Белосток, как внезапно на рассвете 22 июня началась бомбежка. Армия бежала на восток. Около Минска попали в окружение. Отца ранило в ногу, когда он очнулся, он уже был в плену у немцев вместе со своей частью. Так началась другая жизнь.

Побывал отец в разных странах: Германия, Франция, Норвегия, возможно, и в других. Несколько раз отец пытался бежать, был пойман, несколько раз был под расстрелом.

Впервые от расстрела ему удалось спастись чудом. А случилось это так. Франция. Бордо. Несколько тысяч пленных, раздетых догола, выстроены в шеренгу. Немцы обходят строй и приказывают евреям выйти из строя вперед. Мой отец прошел обряд «брит-мила» (обрезание), было легко определить, кто он. С каждой минутой смерть приближалась. Тогда друзья отца, стоявшие с двух сторон, придумали, как спасти его. Они предложили отцу кричать что есть силы, когда немцы приблизятся, а вдруг повезет. Так он и сделал. «Что за шум?» — спросили немцы. Им сказали: приступ аппендицита. «Убрать его из строя, он мешает работать», — приказали проверяющие. Отца вывели из строя и одели.

На этот раз смерть обошла его. Видно, тогда же было придумано новое имя и фамилия, а может быть, и с первого момента плена. Так он стал Сальнык Василь — украинец. Но потом фамилия изменилась на русскую — Санников Василий.

Перед моими глазами всегда стоит в памяти одна фотография, привезенная из плена. На фотографии лагерь военнопленных, открытая могила. Четверо мужчин, почти скелеты, абсолютно голые, закапывают только что расстрелянных. Среди четверых мой отец. К сожалению, когда мы в 1990 г. уезжали в Израиль, либо не взяли ее, либо

уничтожили. В 1995 г. я ездила на Украину в Днепрпетровск, искала фотографию, хотела передать ее в музей, но не нашла.

Конечное место плена была Норвегия. Работы каторжные, изнурительные, но не оставляла мысль бороться с нацистами. На одном из многочисленных болот Норвегии, в самом центре болот был островок, к которому вела узкая тропа. Там на островке находился большой склад оружия и боеприпасов. Созрела мысль взорвать его. Главным организатором этого плана считался мой отец. Возможно, были и другие. Трудно сказать. Диверсия удалась. Склад был взорван. Исполнителей поймали и повели на расстрел. Сейчас можно лишь предположить, зачем они пошли на это в плену. Возможно, они понимали, что так и так не выживут, а так как терять было нечего, то хоть что-то полезное сделают. Автомат уже был направлен на моего отца, как послышались крики посыльного: «Не стрелять, не стрелять. Комендант приказал привести этого храбреца». Уже к этому моменту стало известно, что диверсант — еврей. Возможно, кто-то выдал его, спасая свою жизнь. Отца вернули, умыли, одели и даже накормили. Привели на допрос в комендатуру. На вопросы коменданта отец отвечал смело, с достоинством. На вопрос, как он — еврей — остался жив, отец ответил, что ему неизвестно его происхождение, так как он рос и воспитывался в детском доме. Видимо, комендант поверил в это. [...] Комендант был норвежец. Вероятно, увидев перед собой достойного человека, расстрел заменил каторгой, отправив отца на взрывные работы. Таким образом отец остался жив.

Спустя годы, после войны, на экраны кинотеатров вышел художественный фильм «Судьба человека». Несмотря на то, что отец никогда нам, детям, не рассказывал о себе и своей жизни, в те годы это считалось позором — быть военнопленным. Был отец достаточно закрытым в этой теме, посмотрев фильм, я помню, он заплакал и сказал, что этот фильм о нем.

После окончания войны пришли союзники (англичане) и освободили военнопленных. Всех из России отправили в Советский Союз, в Ленинград, где их тщательно проверяли. «Чистых» пленных освободили. В том числе и отца.

Вернувшись из плена в 1945 г., отец стал разыскивать свою семью и многочисленных родственников. Узнал, что все евреи его местечка расстреляны фашистами. Так он остался один.

По освобождению из плена отца отправили на тяжелую работу землекопом на строительство автозавода в Днепрпетровск. И вновь надо было доказывать, что ты человек. Многие годы за ним наблюдали и проверяли. Видимо, благодаря своему сельскому происхождению он был человеком физически сильным. Работы не боялся. Работал хорошо и умел организовать других. По натуре лидер. Вскоре он стал бригадиром, затем выучился на каменщика. Для военнопленных построили большой барак, где они все вместе жили. Днем работали, а

вечером пили, ругались, дрались, почувствовав свободу. Однажды в заводской столовой отец познакомился с мамой. Услышав еврейскую фамилию «Цукерман», еврейскую среди бывших военнопленных, мать заинтересовалась его судьбой. В изможденном, хулиганистом парне почувствовала интересного человека, прониклась к нему жалостью и влюбилась. Перед свадьбой поставила условие. Мама имела высшее образование. Окончила до войны педагогический техникум, а во время войны работала и училась в институте на двух факультетах: математическом и историческом. Так вот условие такое: «Ты должен учиться, чтобы мы были на равных». Папа сдал экстерном экзамены и поступил в строительный техникум. Так четыре с половиной года вечерами после работы учился. Быстро рос по служебной лестнице от мастера к прорабу, затем работал начальником дорожного участка треста «Днепровскпромстрой», а затем директором асфальтобетонного завода. [...] Для города отец сделал много важных объектов: цех шинного завода, новый мост через Днепр, домны заводов Петровского и Ленина, за что был представлен к ордену. Когда в обкоме партии увидели фамилию Цукерман Семен Моисеевич — награду отдали его заместителю — русскому. А отца премировали дачным участком в шесть соток.

[...] Однажды, возвращаясь с коммунистического ленинского субботника, 15 апреля 1972 г., на котором он работал на равных со своими рабочими, отец приехал ко мне домой и умер на моих глазах от инфаркта в возрасте 49 лет, не дожив месяц до пятидесяти лет. Он думал, что плохое уже позади и сейчас он только начнет жить...

Бейнес Менделевич Штейнгардт. Реабилитирован посмертно

Непростой путь в партизаны прошел капитан Штейнгардт. Он активный участник оборонительных боев на Днепре и в районе Рогачева.

«В конце июля 1942 г. части 21-й армии, где служил Бейнес, оказались в окружении, и он попал в плен (здесь он стал Николаем Никитиным). Через десять дней он бежал из лагеря военнопленных и добрался до Минска. Николаю Никитину удалось наладить связь с подпольным комитетом, который поручил ему объединить действовавшие в районе Минска отдельные партизанские группы. Никитин создает одну из первых партизанских бригад. Ее бойцы провели ряд успешных операций: подорвали три воинских эшелона, 32 автомашины, разгромили восемь важных объектов врага, уничтожили десятки гитлеровских солдат и офицеров. 14 июля 1942 г. бригада Никитина в течение дня вела ожесточенный бой с крупными силами

эсэсовцев в Александровском лесу близ Узды. Отбив 21 атаку, партизаны нанесли врагу большие потери. В сентябре 1942 г. бригада Никитина разгромила немецкий гарнизон в Ушачах и очистила от оккупантов районный центр. Затем партизаны совершили беспримерный рейд по лесным просторам на север Белоруссии. Они прошли с боями более тысячи километров. В ноябре бригада Никитина вышла за линию фронта, где соединилась с частями 4-й ударной армии»^[43].

Существенно уточняет детали биографии и дополняет рассказ о дальнейшей судьбе Н. Никитина его дочь в своем письме, присланном в Яд Вашем:

Мой отец, Штейнгардт Бейнес Менделевич, воспитывался в детском доме. Там ему дали фамилию Никитин Николай Михайлович. В начале войны мы жили в г. Замбров — Польша. Нам удалось бежать. А отец со своей дивизией, будучи командиром автобата 13-й стрелковой дивизии, отступил в сторону Белоруссии. Контуженным он попал в плен. Ему удалось бежать из плена, лесами пробраться в Минск, и здесь он стал одним из организаторов партизанского движения. Был командиром партизанской бригады, которая дала немцам первый серьезный бой на Долгом Озере в Александровском лесу Минской обл. Так как их партизанский отряд состоял в основном из бывших военных, бежавших из плена, они с боями прошли всю Белоруссию и вышли за линию фронта в районе г. Клин. Там отца арестовали, обвинив в измене родины. Он отсидел в Магадане 15 лет, умер в июне 1957 г., не дожив двух месяцев до реабилитации. В настоящее время его портрет находится в музее Великой Отечественной войны в Минске»^[44].

Михаил Пинхасович Ягудаев. «Власовец» Сафаров.^[45]

Ягудаев Михаил Пинхасович родился в 1910 г. в Узбекистане. До войны жил в Ташкенте, ул. Кафанова, Карташевский тупик, д. 13. Был призван в Красную Армию 26 июня 1941 г.

В 1942 г. родители получили извещение о том, что Ягудаев пропал без вести в районе Смоленска.

В 1944 г. к родственникам Ягудаева обратился сотрудник органов безопасности и предъявил для опознания несколько фотографий, среди которых была фотография Михаила.

Оказалось, Михаил жив и просил обратиться к его сестре Раисе, проживавшей с двумя дочерьми — Тамарой и Соней — в Ташкенте.

Михаилу была собрана посылка и передана через этого сотрудника, который рассказал историю Михаила.

Ягудаев М.П. попал в плен к фашистам и, чтобы скрыть свое еврейство, назвался татаринoм по имени Сафаров Мавлян. Под этим именем он оказался в армии Власова. В первом же бою Михаил сдался частям Красной Армии и был отправлен в лагерь.

Как сообщили родственникам, Михаил получил 25 лет лагерей.

Свидетельства очевидцев

Павел Андреев. Из книги «Война глазами солдата»^[46]

<...>

Нас построили в шеренгу и стали пересчитывать. Из караульного помещения вышел офицер. На нем была красивая, черного цвета форма с красно-белой повязкой на рукаве и фашистской свастикой. В руках то ли трость, то ли плеть, я так и не понял. Действовал он ею, как учитель указкой. Переводчик сказал, чтобы все находящиеся в строю командиры и комиссары вышли на пять шагов вперед. Фашистский офицер говорил резко и угрожающе. В таком же тоне переводил переводчик: «Командиры и комиссары, не вышедшие из строя, будут расстреляны на месте». Вышедшим из строя приказали построиться в шеренгу около караульного помещения. Снять шинели и вещевые мешки. Офицер начал осматривать рукава гимнастеров, отыскивая политруков по нашитым на них звездочкам. У некоторых от звездочек остались лишь еле заметные следы. Попадая в плен, эти люди точно знали, что их ждет, поэтому пытались замаскироваться под рядовых бойцов. Но фашисты хорошо знали об этих уловках, поэтому осматривали подозреваемых пленных особенно тщательно.

<...>

Затем начался поиск евреев. Зная, что добровольно никто не сознается в своей принадлежности к этой национальности, эсэсовец проходил вдоль шеренги и направлял трость на того или иного человека, выкрикивая: «Юда». Заподозренных оказалось человек восемь. Не все среди них, конечно, были евреями, но фашистов это не волновало.

<...>

Петр Петрович Астахов. Из книги «Зигзаги судьбы. Записки советского военнопленного и советского ЗЭКа»^[47]

<...>

Мы были первыми, кто переступил порог этого лагеря. Территория его была в квадрате сто на сто, обнесена колючей проволокой с вышками и прожекторами по углам. С левой стороны от входа крытое, похожее на склад помещение, высотой в два этажа. Несколько ворот были открыты днем и закрывались на ночь...

Для ежедневных проверок утром и вечером во дворе в центре отвели громадную площадь, где одновременно могли быть построены все пленные лагеря — 500-600 человек. После утренней проверки пленных отправляли на работу, после вечерней — запирали в барак.

В первый день всех военнопленных выстроили во дворе, пришло лагерное начальство, устроили «смотрины» прибывшим. Начальник лагеря в новой «с иголочки» форме был похож, как мне тогда показалось, на генерала. Шел в сопровождении переводчика и солдат охраны. На плохом русском языке переводчик от имени коменданта лагеря обратился к построенным пленным.

Он ознакомил с внутренним распорядком лагеря, сказал, что с завтрашнего дня все прибывшие пленные пойдут на работу. Предупредил всех, чтобы каждый знал свою команду и чтобы потом выходили на работу только с теми, куда их определили в первый день.

Утром и вечером пленные будут получать паек, они должны соблюдать дисциплину и порядок. За нарушение будут наказываться карцером и лишением хлеба. Пленные, намеревающиеся бежать, будут расстреляны.

Было похоже, что комендант ознакомил присутствующих со всеми строгостями режима, но команда «разойдись» не была подана, и строй продолжал стоять.

Наконец фельдфебель вновь обратился к пленным:

— Выйти из строя всем коммунистам, офицерам и евреям! — четко звучал его голос перед затихшим строем пленных.

«Kommunisten, Ofizieren und Juden», — несколько раз повторил фельдфебель и, видя, что строй стоит и не реагирует на его команду, обратился уже к переводчику, чтобы тот перевел следующие его слова:

«Es wird schlimmer... Müssen Sie sich selbst anmelden lassen».

(Хуже будет... Вы сами должны об этом заявить!)

После некоторых колебаний из строя вышло несколько человек и остановились, ожидая команды.

Через минуту они направились в сторону сарая, где их ожидали немецкие солдаты. Там встали, положили пожитки на землю, снимали верхнюю одежду и в нательном белье вошли в сарай.

Их было четверо-пятеро — не запомнил. Через несколько дней там оказалось еще несколько человек. Были среди них командиры,

переодетые в солдатское, и евреи, узнать которых не составляло труда.

Не знаю, что заставило этих людей добровольно сдать себя в руки лагерных властей? Может быть, надежда на то, что «добровольное признание смягчит наказание»? Но этого не случилось, расстреляли всех.

Казавшийся неминуемым расстрел на передовой совершился здесь в лагере, на глазах сотен пленных, не веривших тому, что происходит. Это была та самая правда о расправах над коммунистами, евреями и комсоставом Красной Армии, которую передавали сводки Информбюро.

Голодных и обессиленных их вывели из сарая, поставили деревянные козлы, перевитые колючей проволокой, и заставили перепрыгивать через них. Потом, пробежав мимо кухни и обогнув ее, они бежали дальше к открытым воротам, выходящим за зону, к вырытой яме. Там, у ямы, их ожидал избавляющий от мук и позора выстрел в затылок...

Вся эта операция-трагедия завершалась удивительно четко и спокойно по заранее продуманному плану, без криков о пощаде и помощи. Она закончилась братской могилой — ее тут же забросали землей пленные.

<...>

Геннадий Бедняев. Из книги «Операция „Осколок“»

...Нас согнали в колонну длиной в несколько километров и по майской жаре, истекающих потом, погнали в сторону Феодосии. Я шел крайним слева... <...> Левее и чуть впереди шел фашист с автоматом наперевес. Он внимательно вглядывался в бредущих, периодически упирался стволом автомата в плечо того, кто казался ему евреем, а на самом деле, может, и не был, и выкрикивал: «Иуда, век!», что означало: «Еврей, выходи!» Звучала короткая очередь... Мы содрогались и шли дальше^[48].

Николай Александрович Бондарев. В украинских лагерях для военнопленных^[49]

<...>

...Огороженный колючей проволокой загон на колхозном поле, где уже находились к тому времени много пленных. Среди них находились и раненые. Зверства, избиения и надругательства начались в первые

же дни: политработники в форме, евреи и похожие по внешнему виду расстреливались здесь же на месте. Малейшие попытки и подозрения о побеге, приближение к колючей проволоке также карались расстрелом. Не щадили и раненых и совсем обессиленных. Люди продолжительное время были без еды и воды.

Через некоторое время часть пленных из этой загородки перегнали в г. Кременчуг, в лагерь (бывшие воинские склады, огороженные проволокой). Вот и зверства и издевательства здесь продолжались. Виденное и испытанное нами здесь трудно описать полностью. Например: немецкие солдаты и офицеры отбирали в первую очередь пленных еврейской национальности и похожей внешности и с этими пленными устраивали «развлечения». Один пленный становился на четвереньки, другой садился ему на спину, а третьему давали в руки дубину и заставляли в таком виде «бегать» по двору, подгоняя ударами дубинки. Ослабевших под хохот «зрителей» расстреливали. Придумывались и другие «развлечения». Очень много было убито за то, что некоторые пленные, не выдержав голода и отсутствия воды, подползали к дождевой луже около проволоки. И если это замечалось караульным солдатом, «провинившийся» расстреливался и часто несколько человек для устрашения тоже расстреливались.

В Проскурове (теперь Хмельницком), куда нас перегнали из Кременчуга, было запланированное, осмысленное уничтожение пленных. В этом огромном лагере (большое поле, обнесенное проволокой и разделенное на секции) пленные умирали от голода и болезней (главным образом от дизентерии). Кормили здесь только «супом», сваренным из невымытых овощей, собранных на ближних полях. Каждое утро можно было видеть вереницу двуколок с наваленными на них трупами, которые затем сбрасывались в общие траншеи. Здесь погибло много и много тысяч пленных.

В Каменец-Подольске, куда я попал вскоре вместе с большой группой из Проскурова, погибло также много пленных из-за такого же «питания», болезней и издевательств. Смертность здесь была еще из-за антисанитарных условий, невероятной вшивости и болезней, связанных с нечеловеческими условиями пребывания здесь. Особенно мне запомнились издевательства, побои одного «зверя» — полицая по фамилии Бабаев, который до смерти избивал пленных...

Таурбек Давлетшин. Из неопубликованной книги «Люди вне закона (Записки советского военнопленного в Германии)»^[50]

<Ноябрь 1941 г., Тильзит:>

...Перед полуднем появилось несколько полицейских, это были уже не казахи и вообще не пленные. Они построили пленных в два ряда, лицом к лицу и, медленно проходя между ними, смотрели каждому в лицо. Впереди шел старший полицейский, человек огромного роста, за ним следовали его помощники — они искали среди пленных евреев и других нужных им лиц. Остановившись против одного пленного, полицейские стали расспрашивать его:

— Откуда?

— С Украины.

— Как фамилия?

— Зенько.

— Зенькович? — полицейский уставился на него. Пленный растерялся и стал заикаться.

— Нет, Зеньк... Зенько.

— А как имя?

— Михаил.

— Моша?

— Нет, М... М... Миша.

— Жид?

— Нет, украинец.

— Украинец? Расстегни штаны, мы тебе сейчас скажем, кто ты!

Маленький худенький еврей, лет 23-х, испугался насмерть, стал весь бледный, не знает, что делать. В палатке наступила гробовая тишина, сотни глаз смотрели на него: расстегни штаны — все равно узнают. Впрочем, были случаи, когда евреи скрывались под видом мусульман, в частности, до самого Берген-Бельзена среди татар скрывался один еврей, который так и не был открыт немцами и умер от поноса. Но были, наоборот, и другие случаи, когда неосведомленные немцы, по одному наличию обрезания, мусульман принимали за евреев и расстреливали.

Полицейские так прижали пленного, что ему было некуда деваться и он сознался, что он еврей. Старший полицейский, обратившись к своим помощникам, произнес недовольным тоном:

— Я же вам сказал, что нужно тщательнее проверять вновь прибывающих. Чего вы смотрели? Вывести его за лагерь!

Двое полицейских повели еврея «за лагерь», и больше он не вернулся...

Николай Копылов. Из книги «Мои скитания»

<...>

Нас построили посреди дороги, около рва. К каждому в нашей колонне подходил офицер, осматривал, а похожих на евреев сталкивал в овраг. В их число попал и я. Сверху кричали:

— Микола, ты же украинец, скажи им.

Я несколько раз прокричал:

— Я украинец, я не еврей!

Наконец меня услышал офицер, спросил:

— Ты не еврей? — Позвал переводчика. Тот оказался моим земляком и заговорил со мной чисто по-украински. Переводчик сказал, что я действительно украинец. Я быстро вскарабкался наверх, а тех, в овраге, сразу же расстреляли. В шоке, с тяжелым сердцем, поплелись мы дальше — вслед за нашей страшной судьбой^[51].

<...>

Александр Сергеевич Малофеев. Из Неопубликованных воспоминаний^[52]

[В шталаге Саласпилс] люди умирали сотнями ежедневно от холода, голода и пуль охранников. В лесном лагере началось людоедство. У только что умерших срезали мякоть и варили на кострах. Говорят, что первыми начали татары. За это немцы расстреливали. Пищу в тот лагерь носили с нашего лагеря. Часто с нашего лагеря мы наблюдали, как в вырытой траншее между лагерями немцы группами расстреливали наших пленных. Их иногда даже заставляли прохаживаться перед траншеей, и стреляли по движущимся.

Из лагеря забирали политработников и евреев и уводили. Проходя по территории лагеря, немцы останавливали похожих на евреев, заставляли раздеваться и, «определив», что это еврей, здесь же стреляли. Много таким образом было убито мусульман с Кавказа. Из моряков увели ст. лейтенанта Пожарского и сержанта Молочевского, и они больше к нам не вернулись. В лагере немцы охотились за отдельными евреями. Так было с Мишей Васильевым — военфельдшером с зенитной батареи, которого остановил немец после раздачи пищи, направил на него автомат и приказал снять штаны. Я в это время возвращался со своим супом в барак. Миша позвал меня. Я со страхом подошел. Немец начал меня спрашивать: «Это иуда?» «Что Вы, герр солдат, разве еврей сможет служить во флоте? Они любят более легкую работу. Это флотский доктор», — сказал я солдату, а сам оробел: а вдруг Миша снимет штаны, солдат узнает, что он еврей, и заодно и меня пустит на тот свет. Но солдат, к моему удивлению, внял моим сведениям, ткнул Мишу носком под зад и стал меня расспрашивать, на каком корабле я сдался в плен. Я ему понес такую

несуразицу, какую мне позволяло знание немецкого. Но Миша был спасен и все время держался со мной.

Кроме лесных работ, рядовых брали для рытья траншей, где расстреливали евреев из Рижского гетто и военнопленных Красной Армии.

[В шталаге IX А Цигенхайн] среди нас был и еврей Леонид Портнов из Одессы, которого все тщательно охраняли от посягательств на его жизнь со стороны немцев.

М.Ф. Нефедов. В Кировоградском лагере^[53]

...В течение двух-трех дней немцы отобрали военнопленных-евреев. Многих выдали свои же товарищи. Немцы всех пленных евреев изолировали, кормили один раз через день, всячески издевались, избивали палками, камнями. Иногда отбирали группу (всего их было человек 70), гоняли ее по территории бегом до потери пленными сознания, пока те не падали на землю. Некоторых тут же пристреливали, остальных уводили обратно. Но в течение примерно недели в ходе издевательств расстреляли всех.

Борис Николаевич Соколов. Из книги «В плену»^[54]

В шталаге 326 Хемер.

Как раз во время акции^[55] нужно было сводить меня в комендатуру для продолжения прописки. Был солнечный зимний день. Со мной пошла хозяйка. В комендатуре после яркого солнца казалось темно. Мадам предложили стул, я стоял. Писарь почему-то долго возился с моей карточкой. Стоявший тут же офицер стал пристально в меня вглядываться, а затем мотнул головой: «Jude?» — «Nein» — спокойно и как-то равнодушно ответила мадам. Офицеру было достаточно, он кивнул писарю, тот приложил штамп о дальнейшей прописке, и мы вышли из комендатуры... В этот раз на меня взглянула смерть. И не такая, как на войне, где либо да, либо нет. Не суматошная, а значит, легкая. В пылу стрельбы, беготни, криков, да еще на людях. А холодная и бездушная смерть клопа, которого просто давят ногтем. Тут же в комендатуре хозяйке дадут другого работника, а тебя за воротами лагеря пристрелят в затылок, не спрашивая никаких объяснений.

<...>

Национально-политическая проверка. Нас выстраивают на плацу в две шеренги, каждая в один ряд. Между шеренгами расстояние шагов

десять. Приказано всем снять шапки, стоять смирно и смотреть прямо в глаза. Прямо в глаза. Смотреть в глаза тем, которые уже идут с края. Сначала они проходят быстро, как бы примериваясь. Их четверо. Передний — невысокий плотный офицер с широким красным лицом и крошечными глазами со строго внимательным и колющим прищуром. На всех четверых фуражки с высоко заломленным верхом и блестящим серебряным черепом. На мундирах черные петлицы со светлыми буквами SD — Schuetzdienst (Охранная служба)^[56]. Сбоку шаг в шаг с ними идут автоматчики и русская полиция.

Второй раз они идут очень медленно, цепко вглядываясь в застывшие лица. Впечатление такое, что не только нам, но и стоящим навтыжку впереди шеренг лагерным немцам от их присутствия тоже не по себе. А для нас попасть к ним означает немедленный перевод в штрафной блок, а там скорее всего прощанье с жизнью. Здесь рассказывают, что ищут евреев, но, случается, вытаскивают и других. Евреев за три года выловили основательно. И тем не менее, несмотря на вот такие неоднократные выловы, доносы своих и прочие меры, среди нас евреи все же имеются.

Как мне кажется, еврея обнаружить сейчас нелегко. В массе наголо стриженных, плохо или совсем небритых, истощенных, грязных лиц национальные признаки выражены слабо. Можно бы узнать по характерному для еврея маслянистому блеску глаз, но на ярком солнце это не видно.

Кругом полная тишина, так как жутковатое чувство идущей рядом и, может быть, именно за тобой смерти охватывает всех. Вдруг как щелчок затвора в гнетущей тишине раздается резкое — Ab! Из стоящей перед нами шеренги высокий бледный немец, идущий третьим, как бы выдергивает одного из нас...

...Теперь проверяют другим способом: смотрят не на лица, а ищут подвергнутых обрезанию... Мы выстраиваемся в очередь к узкой двери в коридор, в конце которого выход на улицу... Все мы, стоящие в очереди, держим на ладони собственный член, сейчас похожий на мокрую грязную тряпочку. Именно по нему и определяется наша благонадежность. Офицер, придерживая пенсне и одновременно указательным пальцем той же руки слегка щуря глаз, немного наклонился вперед. На его лице застыла брезгливая гримаса, но тем не менее он очень внимателен. След операционного ножа в раннем детстве не удастся скрыть никому. Однако ни чувство протеста, ни чувство иронии не возникает ни у кого.

...У многих наступило известное успокоение. Наступило именно потому, что контроль стал определенным, в противоположность контролю по лицам, когда подозрение могло пасть на многих. Среди русских нередко встречаются люди, имеющие в облике нечто восточное, отчего иногда таких людей принимают за евреев... Кстати сказать, черты восточного облика у многих резче проявляются при

истощении, возбуждении, болезни, а также при определенном освещении.

...Вдруг сбоку подскакивает немолодой щуплый солдатик и, пристально и зло глядя мне в лицо, бросает:

— Вот скажу сейчас немцу, что ты еврей.

Опять меня подводит мое «заметное», то есть интеллигентное, такое необычное здесь лицо... Сейчас это смертельно опасно. Одно слово, и оборвется тонкая нитка жизни, никаких апелляций и выяснения не будет...

...Так это или не так, но только смерть моя еще раз прошла мимо. На этот раз совсем-совсем близко. Дунула из пустого рта холодком, пошевелив мне кожу на голове. Хитро подмигнула пустой глазницей и ушла. Дескать, я не спешу. Поживи еще, помучайся...

Иван Терентьев. Первая ночь в Гомельском дулаге^[57]

<...>

Зашла туча, и пошел дождь. Нам, русским, было разрешено зайти в конюшни, а евреев поставили около заборов конюшни так, чтобы вода с крыши текла прямо на них. И так я первый раз увидал, на какие варварства способны немецкие фашисты.



112.

64. Lohja. 13.2.42. Kotij-67 Vangin Nro. 81-371.

En. (sij. tai v. Nro) Nro. Pöytäkirja

SOTAVANKIKORTTI.

- Suku- ja etunimi Raitin Lohja - Raitin Antti Lohja
- Syntyänsä ja -paikan 1906.12.14. Lemminkäisen kirkon kirkonkylä
- Vanhempien nimet, Eiden työt Ed. Lohjan Antti, Ed. Lohjan Antti
- Koskee ja mihin liioitettava opettamassa t. n. 1941.12.14. Raitin Lohjan Raitin
- Shallamatti Onninen
- Kasallisuus juhlakassa
- Tuhtolevy Nro 121212
- Joukko-osasto (div, ryk., kompp.) 1941.12.14. Raitin Antti Lohja
- Vangittomaksi ja -paikka 5/12/41. Raitin Lohja
- Vankilaitos 5/12/41. Raitin Lohja
- Vanki (ilmoitus edelleen (milloin ja missä))

* Tiedot löytyvät myös muista asiakirjoista.

11/11 (Käsi)





Часть вторая. В финском плену

Соломон Матвеевич Шур. «Взамен имен, взамен фамилий...»^[58]

Взамен имен, взамен фамилий,
Надгробных надписей и дат
Здесь только знаки цифровые
Занумерованных солдат.

На жести цифры обозначены
Столбцами строчек, как стихи...
Рукой костлявой смерти схваченные,
Оттрепетали и — тихи.

Шумят леса. Их говор грозен,
Безмолвны светлые кресты.
И треплет ветер ветви сосен,
И стелет мертвые листья.

Их тьма. О них не сложат песен.
Давно забыты имена,
И многозначных чисел плесень
Уже стирает письма.

Все кануло в забвенье, в мраке
И будущему нету дел.

Кому напомнят эти знаки
Солдат бесчисленных удел?

Ты вспомни. Серые бараки.
Разводы в полночь, нары, вши...
На спинах римских цифр знаки
И слово странное «дошли».

Оскал звериный сотни черной,
И хруст костей, и ветра свист,
Скелет всему во всем покорный
Дрожит, как этот жалкий лист.

За проволокой штабель трупов.
Февраль, мороз, ночной дозор.
В руке иссохшей котелок от супа,
Потухший безнадежный взор...

* * *

Отравлен воздух. Нет спасенья,
Слова бесцельны и пусты.
Лишь ветер воет — мщенье, мщенье!
Безмолвны светлые кресты.

Вам не пахать, Кубани дети,
Казакам не поить коней.
Ты не увидишь, житель Мцхети,
Веселой Грузии своей.

Без боли. Тихи. Не голодны.
Во всепрощенья полноте.
И солнца диск как смерть холоден
В нетленной чистой высоте.

Марк Михайлович Волынец. «...И осталось, как всегда, недосказанное что-то...» (Воспоминания «Ванки-пойка»). ^[59]

Марк Михайлович Волынец родился в Москве в июле 1925 г. В 1941 г. закончил восьмилетку, в августе был эвакуирован в Удмуртию. Там он работал в колхозе на всех работах, потом прицепщиком и трактористом.

В январе 1943 г. был призван в армию, учился во 2-м Московском пехотно-пулемет-ном офицерском училище, впоследствии полностью переведенном в воздушно-десантные войска. Службу разведчика начинал в 9-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, продолжал — в 100-й гвардейской стрелковой дивизии, на Карельском фронте. Выполнению задания по разведке-десанту за линию фронта, собственно, и посвящен публикуемый фрагмент его воспоминаний. При попытке прорыва через линию фронта к своим завязался бой, закончившийся пленением. Плен, однако, оказался недолгим: капитуляция Финляндии быстро вернула Воынца на Родину, где его ждали смершевская проверка и работа на шахте.

Вернувшись в 1946 г. в Москву, Волынец жадно наверстывает упущенное за годы плена и шахтерства. В 1947 г. он с золотой медалью заканчивает школу, поступает на операторское отделение во ВГИК, который заканчивает с отличием в 1952 г. Работал он сначала на Дальневосточной студии кинохроники, а с 1956 г. — в Москве, на Центральном телевидении. В 1966 г., не расставаясь с камерой, он начинает преподавать операторское мастерство. В настоящее время — доцент кафедры операторского мастерства Всероссийского института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Воспоминания Марка Воынца написаны, я бы сказал, не только с душой, но и с бросающимся в глаза литературным талантом. Они охватывают всю его жизнь, а война — это всего лишь ее частица, хоть и важнейшая, может быть. Он писал и предназначал воспоминания вовсе не для печати, а для круга своих родных. Уговорить его предоставить отрывок о войне для публикации в настоящем издании стоило определенных усилий.

Впечатления о войне и плене молодого разведчика органично сочетаются в них с размышлениями и оценками зрелого человека, осмысляющего всю, а не только «свою» войну спустя многие годы после ее окончания. Советская военная доктрина, не считавшаяся с жизнью и смертью миллионов солдат, в том числе и с его жизнью и смертью, вызывает у него, выражаясь помягче, отторжение. В одном месте он с горечью пишет: «Известно, что смерть одного человека — трагедия, а смерть миллионов — статистика».

П.М. Полян.

...Весной 1944 г., когда подсохло, начались бесконечные летние учения. Нам это все порядком надоело, и мы со дня на день ждали приказа об отправке на фронт.

И такой приказ появился в самом начале июня 1944 г. Нам выдали боевой комплект, сухой паек и т. п. аксессуары. Я не помню, каким образом сообщил родителям о дне отправки.

Грузились мы в Раменском. Никакой секретности не соблюдалось. Было очень много провожающих, в том числе и мои: мама, папа и Борис, которому было уже 11 лет.

Был ли какой-то напутственный разговор с отцом — не помню совершенно, может быть из-за естественного волнения. Слова же матери о том, что ни в коем случае нельзя попадать в плен, и о том, что «там» моя родная мама будет молиться за меня, — эти слова врезались на всю жизнь. Это был первый и единственный случай, когда мама Соня при мне вспомнила маму Хиду. Но и случай был неординарный.

<...>

В пути к Москве вели себя по-хулигански. Стреляли по проводам, в Перово нарушили энергоснабжение, и наш состав долго стоял, пока шел ремонт электросети.

На соседних путях стоял состав с подбитыми танками. Мы лазали в эти танки, пренебрегая находящимися там снарядами и фрагментами, как сейчас говорят, тел погибших танкистов.

В дороге долго не могли понять, куда нас везут, так как двигались в основном ночью. Только в разоренной Ленинградской области стало понятно, что едем куда-то на север.

Привезли нас на станцию Паша. Оттуда был марш в сторону Лодейного поля, к реке Свирь. Это около 100 км.

Мы шли 18 часов, без ночевки, с короткими привалами. На привалах не успевали отдохнуть и — дальше. Во время перехода от Лодейного поля к реке Свирь мы впервые столкнулись с реальными результатами войны. На обочине дороги, по которой мы шли, стоял подбитый сгоревший танк Т-34. Два обгорелых танкиста лежали на броне, а третий, пытавшийся выбраться из нижнего люка, был придавлен рухнувшим на него танком и тоже сгорел.

Я не помню, мелькнула ли у меня в тот момент мысль, что я очень хотел быть танкистом...

В походе все, конечно, измотались страшно, посбивали ноги, побросали на обочину противогазы. Хорошо еще, что у разведчиков не было касок. Каска — тоже лишний вес.

Примерно в двух километрах от р. Свирь мы стали походным лагерем, наскоро построили себе временные шалаши, немного отдохнули и начали готовиться к форсированию этой водной преграды: искать подручные средства переправы и т. п.

Как потом выяснилось, наша дивизия оказалась во втором эшелоне, так что через реку мы переправлялись по уже наведенному понтонному мосту.

Много лет спустя я узнал, что этот мост наводила часть, где служил Лева Довгвилло.

Перед мощнейшей артподготовкой была проведена хитрая разведоперация: несколько баркасов с чучелами бойцов провели по реке, якобы для переправы. Июнь — 22-е число, белые ночи. Финны, конечно, заметили баркасы и, открыв огонь, обнаружили свои позиции. Это была замечательная операция. Обычно, для обнаружения огневых позиций врага проводили «разведку боем», т. е. подразделение шло «в атаку» и заставляло врага стрелять и расшифровывать свои огневые точки. Людей не жалели. В такой атаке почти все погибали.

Утром началась артподготовка. После переправы на противоположный берег мы ознакомились с ее результатами.

Все было перепахано, смешано с землей. От проволочных заграждений, от минных полей не осталось ничего. Как будто и не было здесь трехлетней позиционной войны и прекрасных фортификаций!

Здесь нам впервые попался на глаза сидящий на земле совершенно оглушенный и какой-то потерянный пленный финн. Все проходили мимо него, почти не обращая на него внимания. Некоторые оставляли ему какую-то еду. Но он был в шоке.

Наша рота двигалась походным порядком сбоку дороги, раздолбанной нашими танками и самоходками. В одной из километровых пробок, образовавшихся на этой дороге, мы слышали крики: «Воздух!» Рядом был лес. Мы все спрятались на опушке, а наш ротный рванул так далеко в лес, что после команды «Отбой!» его едва докричались. Нет, не уважали лейтенанта Варавку...

<...>

Пить хотелось все время, а воды нигде не было. Наконец, в лесу, набрали на ручей. Вода была мутная, но мы напились вволю, пренебрегая любыми антибактериальными процедурами. Да они, в общем-то, и не предусматривались в солдатском обиходе.

Отойдя метров 200 от нашего водопоя, обнаружили в этом же ручье рухнувший и сгоревший самолет и мертвого летчика, лежащего в воде. Никого не тошнило.

Надо сказать, что финны воевали очень толково. Кроме знаменитых 9-миллиметровых автоматов «Суоми», они, к нашему неописуемому удивлению, использовали русские трехлинейки образца 1891-1930 гг. с рамочным, давно устаревшим прицелом. Но стреляли отменно.

Один подвыпивший старшина в шапкозакидательском пьяном азарте, желая, видимо, одним своим появлением устроить врага, вышел на опушку леса, громко матерясь. Через секунду он был поражен в самое сердце. Погиб смертью храбрых. Между прочим, за

всю свою армейскую службу я ни разу даже в глаза не видел хваленые боевые 100 грамм.

Наш ручной пулеметчик Никитин со всей осторожностью разведчика выполз на опушку и только хотел осмотреться, как был обстрелян. Никитин был здоровенный сибирячок, плотный, с мощной мускулатурой. Финн целил в голову, но промахнулся. Пуля вошла в спину выше лопатки и прошла по мякоти почти до ягодиц, не задев ни одной кости.

Зело борзо преудивительно^[60].

Впереди была сопка Карельская, один из первых укрепрайонов, который должна была «взять» наша дивизия. «По долинам и по взгорьям шла дивизия...»

Километрах в четырех от самой сопки расположилась батарея «Катюш». Здесь я впервые увидел вблизи смертоносный залп, который должен был расчистить путь нашей пехоте, подошедшей к сопке. Залп был действительно впечатляющий.

Минут через 40 от передовой прибежали связные и сообщили, что залп «Катюш» пришелся точно... по своим. Ни корректировки, ни связи, ни ответственности! Ну еще один батальон, одним больше, одним меньше. <...>

Олонец.

...В июле-августе 1944-го штаб нашей 4-й армии стоял в Олонце. Это был первый сравнительно большой город, освобожденный 4-й армией и нашим 37-м корпусом в ходе наступления, начатого 21 июня 1944 г.

Сюда мы шестеро были откомандированы с передовой, из роты, для подготовки к спецзаданию.

На «инструктаже» в штабе 100-й дивизии начальник разведки подполковник Романов несколько раз (повторяя) спросил нас, добровольно ли мы идем на задание.

Все ответили утвердительно, кроме заколебавшегося Акачинского. Его отправили обратно в разведроту, и он впоследствии погиб в одной из разведок.

Из штаба дивизии мы нагруженные пешком направились в штаб 4-й армии, в город Олонец.

Надо сказать, что ощущение солдата, идущего от линии фронта в тыл, навстречудвигающимся к фронту колоннам, весьма двусмысленное. Мы ведь не раненые, мы здоровы, вооружены, а идем почему-то в тыл. Но нам по пути не задали ни одного вопроса. Это очень странно, хотя вполне вписывается в наше русское разгильдяйство, если не сказать более точно.

В штабе 4-й армии мы сдали все документы и имевшиеся у нас памятные фотографии. Я сдал красноармейскую книжку,

комсомольский билет (еще в училище я вступил в комсомол) и несколько фотографий, одна из которых, где я в курсантской форме, мне очень нравилась. Там я выгляжу довольно браво, и мне было бы жаль ее потерять.

Дело в том, что все документы так и остались в штабе армии и нам не были возвращены.

...В Олонце мы стали свидетелями казни изменника Родины. Это был староста какой-то деревушки. Туда вошли пятеро наших разведчиков. Они, видимо, считали Карелию нашей территорией, лояльной к нашей родной армии. Дело было зимой. Староста приютил их, раздел, одежду разложил на просушку, а сам, пока они грелись на печке, послал донести в комендатуру. Всех пятерых разведчиков немцы, которых в Финляндии было несколько (10-20) дивизий, взяли почти без боя. Врасплох. Это был 1942 г., когда власть немцев казалась незыблемой, установленной на века.

Грузовая машина, в кузове которой стоял бородатый человек с дощечкой на груди, подъехала прямо под Г-образную виселицу. Старшина-особист спокойно, сноровисто надел петлю на шею бывшего старосты, деловито подтянул ее и... машина отъехала. Человек подергался и затих. Это был июль 1944 г.

Площадь, на которой производилась казнь, была полна народа — военного, штатского. Народ стоял совершенно спокойно, гораздо спокойнее, чем в продуктовой очереди. Жесток человек...

Мы подошли поближе и прочли, что написано на дощечке («Изменник Родины»). Рядом мы услышали финскую или карелофинскую речь. Две девушки нашего возраста или чуть помоложе говорили, видимо, о том же, о чем и мы, но воспринимали все произошедшее, вероятно, совсем по-другому.

Одну из девушек звали Клава. Имя вполне русское, но она карелка. Я потом с ней встречался (вполне невинно) целых два дня, она мне подарила мундштук, который был у меня довольно долго по тем временам — целую неделю. Я спросил Клаву: «Кто лучше — наши или ваши?» — «Конечно, наши», — засмеялась она.

В Олонце мы должны были пройти преддесантную спецподготовку. Насколько «серьезно» готовился наш десант, я понял через много лет, а в то время, по молодости и по определенной гордости за порученное дело, не задумывался над тем, что мы были просто брошены на заклание, для галочки, что в штабе заранее знали, что мы на 100 % не вернемся. Поэтому с такой легкостью пообещали нам по выполнении задания — всем Героя Советского Союза.

Нас поселили в отдельном домике-избе на какой-то окраинной улочке. Дом был без хозяина, так что нам никто не мешал. Мы сами себе готовили пищу. Как известно, в разведке на фронте мы никогда не могли дожидаться кухни и существовали всегда впроголодь. Здесь же у нас было сравнительно много продуктов: вермишель, тушенка — все это мы притащили из роты. Кашеварили мы по очереди. Однажды я приготовил вермишель с тушенкой, но забыл слить вермишель, и получилась густая тестообразная масса с мясом. Этой слипшейся еды был целый противень, но все равно мы все съели.

Здесь же, на тихой окраине, с нами должны были проводить инструктаж, подготовить нас к выполнению задания. Так вот: никакого инструктажа не было!

Просто нам вручили карту местности (за линией фронта), на которую в процессе разведки мы должны были нанести вторую линию обороны финнов.

При последующем наступлении наших войск знание расположения укреплений второго эшелона, конечно, сыграло бы свою немаловажную роль.

На карте синим карандашом был проложен наш маршрут — примерно 70 км длиной по близким от линии фронта тылам врага. Вроде бы все правильно, если, конечно, не считать отсутствия инструктажа. Но... карта эта была выпущена в 1932 г. и в 1944-м, то есть через 12 лет наверняка устарела и в тактическом отношении никуда не годилась. В этом мы очень скоро убедились, когда на десанте никак не могли определить свое местонахождение. На карте — лес, болото, озеро, ближайшая дорога в четырех километрах. Значит, место глухое, скрытое, удобное для десантирования.

В жизни: болото есть (мы на него или в него и приболотились), озеро тоже есть, но никакого леса нет и в помине. Кругом освоенные лесоразработки, штабеля бревен, и вся местность переплетена дорогами, дорожками и тропинками. Какая уж тут глушь. Это были не очень далекие окрестности города Вяртсиля.

В этих условиях мы с трудом нашли свой маршрут, свою синюю линию, и двинулись (с большими, правда, осложнениями) от Вяртсиля к Сортавалле.

...Но в Олонце мы ничего этого еще не знали. Мы сняли погоны, звездочки с пилоток, остались в почти гауптвахтовском виде и так спокойно разгуливали по Олонцу, городу, наводненному высшими чинами, особистами, госпиталями, ранеными и еще черт-те кем. И ни разу никто не задал нам вопроса: почему мы так выглядим, что это за форма одежды? Российское разгильдяйство. Вот где было бы раздолье для вражеских разведчиков.

А мы? Ни способов наблюдения, ни основ финского языка, ни приемов тихого, без оружия, рукопашного боя, ни подслушивания ночью — ни к чему этому нас не готовили. Считалось, что мы — опытные разведчики, раз прибыли из разведроты и рекомендованы штабом дивизии.

Удивительно, что никто из нас не возмутился, не поинтересовался, как мы будем выполнять наше задание. Легкость в мыслях была необыкновенная.

Наша группа:

Сашка Волохин — старший сержант, командир группы. Он воевал, был ранен. Старше нас на 3 года. А мы все ровесники — с 1925 г. рождения.

Митька Душкин — из Малаховки.

Ваня Алексеев — из Курска.

Ибрагим Бариев — из Татарии.

Марк Волынец — из Москвы.

Левка Сухарецкий — из Казани.

Женя Петров, радист, сменивший Левку, присоединился к нам уже в Олонце.

Итого — шесть человек. Левка — сильный, отчаянный парень. Жалко, что его перевели в другую группу. Как потом выяснилось, таких групп было три. Потом мы узнали, что все три группы, как и наша, либо попали в плен, либо погибли, так как были поставлены в аналогичные с нами условия.

Головной дозор.

Головной дозор обычно шел метров на 600–800 впереди ядра, то есть собственно разведвзвода.

После очередного обстрела я услышал крик: «Санитара! Санитара!» Вначале я даже не понял, что кричит Сашка Грачев, так изменился его голос. Да и какой тут мог быть санитар? Мы здесь были только вдвоем, третий, сержант Додонов (Миша или Вася), побежал к ядру взвода сообщить о Сашкином ранении. А я, перебежав дорогу, нашел Сашку. У него была перебита рука. Крови было много. Я вытащил у него из кармана санпакет и сделал ему перевязку. Однако кровь проступила сквозь бинты. Тогда я вытащил свой санпакет и использовал его. Тот факт, что я отдал ему свой перевязочный пакет, Сашка очень оценил.

Подошло ядро разведвзвода. Лейтенант Николай Коренев предложил Сашке продолжить разведку в том же составе, так как он ранен не тяжело. За это орден обеспечен.

— А пошли вы все... — ответил Сашка и ушел в тыл.

После того как Сашка ушел раненный в тыл, к нам в дозор вместо него назначили Толю Герасимова, тоже москвича, как я и Сашка.

Вместе с Толей и Додоновым мы прошли весь маршрут до самой высоты Пустошь, где был финский укрепрайон и откуда велся сильный минометный огонь. Мы залегли прямо в болоте. От обстрела голову нельзя было поднять. Лежали в болоте минут 40, пока полк не обошел высоту с фланга и финны отошли. Обстрел прекратился, мы смогли встать, и тут я понял, что совершенно не чувствую живот. Вода в болоте, хоть и июль, очень холодная (может быть, там ключи). Вполне можно было простудиться и, заодно, стать импотентом. Обошлось.

Это была моя единственная совместная разведка с Мишей Додоновым. Уже после нашего отбытия из роты в город Олонец, в очередной взводной разведке осколок вражеской мины попал в одну из гранат-лимонок, находившихся в подсумке на ремне. Видимо, осколок пробил запал. Граната взорвалась, сдетонировали и остальные гранаты. Мишу буквально разорвало пополам. Он, однако, оставался в сознании, и лейтенант Коренев, с согласия Миши, застрелил его. Взводный командир взял на себя это страшное дело, но Миша отлично понимал, что он — не жилец...

А в повести «А зори здесь тихие» пристреливают своих раненых только немцы.

Странно, к вражеским трупам ты равнодушен, а при виде убитых своих товарищей испытываешь жгучее чувство несправедливости. Например, лежал убитый финн, во рту у него торчал стабилизатор мины. Все спокойно прошли мимо. А весть о том, что погиб командир разведвзвода нашей бывшей 9-й ГВДБ, лейтенант Козлов, очень остро переживалась всеми нашими одновзводниками. Мина (16 кг) попала прямо в спину лейтенанту, который окопался в цепи.

...Гуляя по городу, мы наткнулись на палатку медсанбата, походную палатку, совершенно неуместную в центре города. Видимо, мест в стационарах не хватало и в этой палатке находились несколько легкораненых. Неожиданно один из раненых окликнул меня. Это оказался Сашка Грачев, разведчик из нашего взвода, москвич. Парень прибалтанный, независимый, всех презирающий. Откровенная московская шпана. На последней разведке, еще на передовой, мы с ним были назначены в головной дозор. Это три человека: мы с Сашкой по обе стороны дороги, а сержант Додонов — несколько сзади.

Когда мы выходили из леса, где окопались солдаты одной из дивизий нашего корпуса, то слышали: ребята, разведчики! Осторожно! Там «кукушки»!^[61] Солдаты этой части лежали в касках, в отрытых ячейках, а у нас не было ни касок, ни лопаток. У нас были только пилотки, и мы шли на почти открытое, простреливаемое «кукушками», пространство. С одной стороны, нас, конечно, беспокоило наличие «кукушек», с другой, однако, ощущалось некоторое удовлетворение своего бойцовского тщеславия. Это тоже было.

«Кукушки» обычно прятались в кустах или на деревьях. Обстреливали они нас через каждые 500–600 метров нашего движения

вдоль дороги. Каждый раз мы бросались на землю или за какое-нибудь укрытие. Финны садились на велосипеды и, отъехав несколько сот метров, снова занимали позицию.

«Кукушки» были отважные бойцы. Они прятались в засадах или залезали на деревья и, подпустив наших бойцов поближе, вели автоматный огонь, сея панику. Потом, летом на велосипедах, а зимой — на лыжах, «отрывались» от нас и, заняв новую позицию, снова ждали.

На нашей разведке мы захватили их велосипеды. По молодой дурости немедленно стали кататься на них. Это было возле какой-то избушки. Вдруг по нам открыли огонь с ближайшей опушки. Мы буквально свалились с велосипедов прямо в густые заросли крапивы. Нас тоже можно понять — все время пешком да пешком, а тут транспорт и воспоминание о довоенном детстве.

Некоторые «кукушки» оставались в тылу наших войск. В один из дней наш взвод, готовясь к очередной разведке, стал свидетелем самоотверженной работы такого рода «кукушки». Командир 100-й дивизии, генерал Лещинин, шел по лесу со своим штабом довольно далеко от передовой. Неожиданно вокруг начали рваться мины. Все залегли, из штабных никто не пострадал, но вдруг с одного из деревьев свалился раненый финн. Это был «кукушечник-корректировщик». Увидев группу высших офицеров, он вызвал огонь на себя...

...На одной из улиц Олонца, у санитарной палатки меня окликнул Сашка Грачев. Он искренне радовался, что встретил «своих» — ему надоело с чужими.

Мне он сказал: «С тобой я бы обязательно пошел на этот десант».

Сбылась мечта идиота — еврей услышал от антисемита желание идти с ним (то есть со мной) в разведку. Это была моя идея-фикс: доказать, что евреи могут воевать. Бред, конечно, но в молодости ставишь себе иногда дебилские задачи. Впоследствии оказалось, что такая же идея владела не только мной. Героев Советского Союза — евреев было 107 человек. К числу воевавших это очень большой процент.

Дальнейшая судьба Сашки Грачева не очень хороша. По рассказу Жени Долженкова Сашка попал в штрафроту из-за своей жестокости к пленным финнам. Он никогда не доводил их до штаба — убивал. Его шизоидность проявлялась уже в то время.

В штрафроте воевал, выжил. Встретились мы в 60-х гг. Он меня разыскал. Один раз я даже был у него в гостях. О себе он рассказывал очень мало, скуп. Жена его, Клава, милая, красивая женщина, очень мучилась с ним. Он сильно пил, нередко проявлялись психические отклонения. Его сына, Сережу, я устроил на телевидение киномехаником. Он работал у нас вплоть до призыва в армию. Впоследствии Сашка Клаву оставил ради другой женщины. В

«благодарность» за все ее мучения с ним. Об этом я узнал от Толи Герасимова, который с Клавой поддерживал связь. Мы оба с Толей осуждали Сашку.

Толя окончил Мехинститут. Работал до самого инфаркта. Ушел на пенсию, но был очень деятелен. Отличный, умный, скромный мужик. Совершенно не пил.

С Толей мы встречались до самого последнего времени. Обычно это происходило либо в Раменском 9 мая, либо в Александровском саду 13 апреля в день освобождения Вены, в котором участвовала и наша 100-я дивизия.

Я в это время уже, пройдя плен и Смерш, работал на шахте.

Совсем недавно я позвонил Толе, чтобы поздравить его с Новым, 2003 годом. Состоялся очень грустный разговор с его женой, вернее — вдовой. Оказалось, что Толя умер прошлым летом на даче (даче приятелей, своей у них не было). Зная, что я перенес два инфаркта, она побоялась меня беспокоить. Сейчас она осталась совершенно одна. Все родные в «близком» зарубежье.

«Награда».

После разведки на марше длиной в 9 км, которую я прошел бессменно в головном дозоре «от приказа командира до высоты Пустошь», с которой велся сильный обстрел и которую брал с боем один из полков нашей дивизии, — после этой разведки перед строем 103-й отдельной разведроты был зачитан приказ. Отлично помню его номер — 109.

Командир роты, гвардии лейтенант Варавка, зачитал приказ о моем награждении медалью «За отвагу», за достойное поведение в разведке, выразившееся в том, что я отказался от смены после ранения Грачева и вместе со сменившим его Герасимовым прошел весь маршрут.

Однако этого приказа не оказалось в архивах Советской Армии. Уже в 70-х гг. я запрашивал архив о своей награде и получил ответ, что приказ о моем награждении не обнаружен. «Награда не нашла героя».

Значит, весь этот апофеоз молодого бойца, вбившего себе в голову задачу — доказать, что евреи тоже хорошо воюют, — вся эта моя радость, что я один из первых в роте представлен к награде, — это все бред, галлюцинация?!..

...В первую мою поездку в Раменское на встречу однополчан 9 мая, на которую меня «подбил» Женя Долженков, неизвестно как нашедший меня, я взял свою Лену. После городских торжеств состоялся сабантуй. За нашим столом собрались в основном знакомые ребята. Все знающие меня считали и меня, и всю нашу группу погибшими.

За столом меня заставили подробно рассказать всю нашу десантную эпопею. Лена здесь тоже впервые услышала мою историю в довольно подробном, хотя и взволнованном изложении.

Посидев немного в ресторане, мы уехали домой, а ребята остались догуливать на городскую «халяву».

Через какое-то время мне позвонил Женя Долженков. Надо сказать, что он помнил меня еще по первому батальону 9-й гвардейской воздушно-десантной бригады, где я был в разведвзводе, а он — в одной из рот.

Женя стал свидетелем, как бывший писарь нашей 100-й дивизии в поддатом виде расхвастался, что множество приказов о награждении он просто не отсылал никуда и они валялись в штабе. Надо думать, что себя он не забывал. Потом неотосланные приказы бросали или сжигали. Война все спишет. И списала.

По русской привычке я успокаивался той мыслью, что не я один пострадал от ублюдка-писаря. Видимо, эту точку зрения разделяли многие ребята, потому что после сабантуя начистили писарю-«ветерану» рожу.

Подготовка к десанту.

После приказа № 109 я чувствовал себя уверенно и, продолжая испытывать себя на прочность, добровольно вызывался ходить во все разведки. Этаким активный боец-доброволец. Однажды наш взводный спросил меня, почему я все время вызываюсь добровольно ходить в разведку. Честно говоря, я не помню, что ему ответил. Да это и не важно. В то время это не выглядело таким уж нонсенсом, но если честно признаться, то и повальным явлением не было. Может быть, только Левка Сухарецкий вел себя так же.

Я объясняю это тем, что в нашей роте, укомплектованной, как и вся дивизия, бывшими курсантами пехотных офицерских училищ, было очень много провинции. Например, наше 2-е Московское пехотно-пулеметное находилось в Можге или Сягинске — оно туда было эвакуировано. Это Удмуртия. Здесь было много татар и русских из Татарии и Удмуртии.

Деревенские ребята по сравнению с городскими были более «скромными» и в разведку не рвались. Это, однако, не относится к сибирякам. Да и Николай Корнеев, наш командир, был из Новосибирска.

Много лет спустя мой самый близкий однокашник-однокотелочник Лешка Полтанов, Алексей Иванович Полтанов, полковник МВД, нашедший меня через 37 лет, признавался: «Я всегда удивлялся, как ты легко решался на такие отчаянные дела, как разведка, поход в тыл и т. д. — и всегда добровольно...» Этого он понять не мог. Он честно говорил: «Я так не мог».

Не случайно его в нашем десанте не было. Там были только добровольцы. (И это без юмора.) Кстати, в нашей группе из шести человек было два еврея.

Так получилось, что у большинства наших разведчиков были сапоги, естественно, кирзовые. У меня же за всю армейскую службу никогда сапог не было. Конечно, ботинки (да еще 44-го размера), да еще с обмотками, мне давно уже остоебенели. Сапоги были всегда, еще с училища, моей заветной мечтой.

Однажды командир повел целых полвзвода на разведку в тыл финнов. Обычная оперативная разведка. Мы вышли на прифронтовую асфальтовую дорогу (за линией фронта) и... вот тут совершенно не помню, сами ли мы подбили финскую грузовую военную машину, или она стояла там ранее кем-то подбитая с убитым шофером. Но если ее взорвали другие, то почему из кузова ничего не было взято. А в кузове, к моей великой радости, — и это я прекрасно помню, — было 18 пар отличных офицерских сапог и несколько мешков кускового сахара (размер куска — 1 куб. см).

Наконец-то у меня появились прекрасные сапоги, история которых тоже очень примечательна. Сапоги очень удобные, рантовые (для лыжных креплений) и с очень хорошим высоким внутренним задником, не натирающим пятку. Мечта.

Набрали мы и сахару. На обратном пути мы попали под жесточайший обстрел 6-ствольного миномета, и, когда залегли, не сговариваясь, все стали жрать сахар. Вместо молитвы, что ли?

Килограмм шесть из этого улова сахара рота выделила нам на десант, когда мы были откомандированы в штаб армии.

Надо сказать, что все обеспечение: питание, вооружение, амуниция — все шло из роты, из дивизии. Поэтому в Олонец мы все тащили на себе.

Перед отлетом нам только добавили консервов, какую-то большую соленую рыбину, рацию и тяжелые батареи к ней. Это уже когда появился радист Женя Петров.

Автоматы, карабины, гранаты, патроны — все было из роты. У меня был штатный, то есть записанный за мной, карабин. Хороший, почти новый, с откидным штыком — последняя модель (самая модная). Но в разведке, да еще на десанте, — это вчерашний день.

И вот во время похода в Олонец, навьюченные, как ишаки, мы подходим к огромной, на пару километров, пробке военных автомашин, направляющихся к передовой. Пробка не от налета авиации, хотя она для вражеской авиации — лакомый кусок, а от страшно развороченной нашими танками грязной колеи.

Люди с машин разбрелись кто куда. Пробка на несколько часов. В одном из штабных «виллисов» я увидел новенький, наверняка не использованный по назначению, автомат ППС^[62] и шесть рожков с патронами к нему. Оглянувшись и не увидев поблизости хозяев

«виллиса» (да и вообще никого не увидев), я положил на сиденье свой замечательный карабин и взял себе не нужный «штабным» автомат.

Так я самостоятельно перевооружился, чем существенно усилил в огневом отношении нашу десантную группу. Еще немного о сахаре. После приземления, на десанте, часть сахара пришлось нести мне. Продуктов было мало — большая часть погибла в болоте (утонула). Мы уже голодали, очень урезали себя во всем, но когда шли сильно усталые и изможденные, я время от времени доставал кусочек сахара и сосал его. Этот поступок угнетает меня до сих пор. И хотя в одну из ночей исчез последний 250-граммовый кусок сала, — кто-то его сожрал, — меня это не оправдывает.

Странно, что сама разведка (вероятно, выполненная) совершенно стерлась из памяти, а сапоги, сахар и все, связанное с этим, запомнилось...

На следующий день мы начали выполнять функции дивизионной разведки. Постоянно двигались в головном дозоре одного из передовых полков дивизии.

Нередко уходили за линию фронта, просачиваясь между частями противника. Я уже говорил, что ходил добровольно почти во все разведки, чем немало удивлял многих, в том числе и нашего взводного. Однажды он спросил меня об этом. Я не помню, что ему ответил, но уж во всяком случае, не о своем желании доказать (кому?), что евреи не все в Ташкенте, а могут воевать не хуже, а может, и лучше многих.

Так как полевая кухня, как всегда, отставала (повара старались держаться как бы во втором или даже третьем эшелонах), то до разведки, которая была всегда, по определению, впереди, пища доходила очень редко.

Однажды в одном из брошенных хуторов нам удалось подстрелить заблудившегося поросенка, килограмм на 4-5. Мы разделили мясо в своем взводе (понятно, что каждому досталось по чуть-чуть), а ротному послали голову. И хотя на морде лица мяса было много, ротный, кажется, обиделся.

<...>

Моя всегдашняя готовность идти в любую разведку, что, впрочем, было и данью своей идее-фикс, привела к тому, что я считался в роте вполне надежным разведчиком. И когда, по запросу из 37-го корпуса, дивизия должна была выделить для штаба 4-й армии 6 или 7 надежных (на взгляд командиров) разведчиков, я попал в их число. Никто из нас не отказывался, наоборот — гордился тем, что он — в числе лучших. Поэтому на вопрос, добровольцы ли мы, все, кроме Акачинского, ответили утвердительно.

Из нашего взвода были: Волохин, я и Левка Сухарецкий. Алексеев, Бариев и Душкин — из первого взвода. Уже в штабе дивизии

Акачинский был «отсеян» и отправлен обратно в роту. Командиром группы назначен старший сержант Волохин.

Так закончился небольшой этап моей службы в линейной разведке на передовой при наступлении.

Вопрос: много это или мало? Всего-то 19 дней!

Ответ: мало, если служить в тыловых частях или, например, возить какого-нибудь высокого командира. Много, если находиться все время впереди наступающих войск в постоянном контакте с медленно и «неохотно» отступающим противником. С начала наступления 22 июня до 9 июля, когда мы отправились в штаб армии, наш взвод, проводя «плановые» разведки, потерял половину своего состава.

Вывод: честно говоря, не очень много. В Сталинграде солдат был жив всего три дня.

Впрочем, как вскоре выяснилось, мне предстояла еще одна разведка, теперь — за линией фронта. Так что вопрос, много или мало, был еще не решен. «У жизни со смертью еще не закончены счета свои...»^[63]

Мы шли в город Олонец.

«И осталось, как всегда, недосказанное что-то...».

17 июля 1944 года: десант.

Я потихоньку подбираюсь собственно к десанту, для меня самому значительному и переломному эпизоду в войне.

Много десятков лет я был обижен на командование 4-й армии, пославшее нас на никому, как мне казалось, не нужную и никак не подготовленную разведку. В нашей армии древняя, потомственная тенденция: самое дешевое — человек. Что значит 18 человек — три группы разведки? Да ничего! Послать — и все! И доложить.

Немало лет прошло, пока я понял, что если бы состоялось планируемое наступление в Финляндии, то наши разведданные спасли бы много десятков тысяч солдат. Ведь в Суоми наша армия, наступая, прошла ровно столько, сколько нам позволили враги. Можно, конечно, было сбросить массовый десант на Хельсинки, но такие предприятия нам почему-то ни разу не принесли успеха.

Не помню, какие напутствия давал нам некий чин из разведотдела 4-й армии. Это, скорее всего, были дежурные слова. Уж он-то понимал, как гнусно мы подготовлены.

13 июля, как раз в день моего рождения, нас отвезли на аэродром подскока в поселок Нурмалицы. Это примерно в 15 км от Олонца. Аэродром военный, самолеты оттуда взлетали — среднего радиуса действия. Для нас предназначены были американские двухмоторные пикировщики — «Бостоны». Скорость от 400 до 600 км/час. В самолете два бомболюка.

Когда мы попали на парашютный склад аэродрома, то были поражены его гигантскими размерами. В этом огромном зале, на длинных столах, можно было одновременно укладывать сотни две парашютов. За сутки можно было подготовить к десантированию целую дивизию. Похоже, что мысли о массовом десанте все же возникали: ведь Финляндию необходимо было вывести из войны.

Ночь мы переспали голые, завернувшись, каждый, в шелковый парашют. После передовой и перед десантом это был случай некоего фронтового пижонства, который сейчас мне кажется вполне объяснимым.

Отсюда, из Нурмалиц, я послал письмо Маринке Линде. Домой я писать не стал. В этом письмеце я попытался, разумеется безуспешно, предсказать свою судьбу. Мне казалось, что в десантной разведке может быть только два результата: либо ты жив и задание выполнено, либо задание не выполнено и ты мертв.

Оказалось, есть еще несколько вариантов: задание не выполнено, а ты жив, или: задание выполнено, а ты мертв, ранен или пленен.

Маришке я написал, что, если в течение трех месяцев от меня не будет известий, чтобы она пошла к моим родным и сообщила им, что я погиб.

Как хорошо, что она этого не сделала!

Следующие два-три дня мы «кантовались», спокойно укладывали свои парашюты и упаковывали ПДМы — парашютно-десантные мешки, каждый весом килограмм по 70. Мешков было два, но полетел с нами только один, т. к. не нашлось места для второго. Дело в том, что наше десантирование выполняло звено «Бостонов» — три самолета. В каждом самолете всего два бомбовых отсека. В отсек помещалось два десантника или один ПДМ. Один самолет был загружен бомбами, в четырех отсеках двух оставшихся самолетов поместились шесть солдат (то есть нас) и один ПДМ. Нам, конечно, подкинули продуктов и снаряжения (батареи для рации). Консервы, мука, вермишель, здоровенная рыбина неизвестной породы...

Продукты, которые надо варить, — не для десанта. Перед посадкой мы прилично выпили с летчиками шасси-ликера (спирт и глицерин), и после посадки в отсеки через люки, перед запуском двигателей, когда еще можно говорить, я, вместо прощания и добрых слов в ответ на пожелание успеха, почему-то, по пьянке, конечно, «послал» летчика. Это мое хамство я до сих пор не могу себе простить. При чем тут летчики? Они делали свое дело.

<...>

...Звено из трех «Бостонов» летело на малой высоте, хотя у финнов авиации было мало, но ночи в Карелии в июле такие светлые, что можно читать газету. Но, все-таки, ночью — надежнее. Летели мы не более часа. Бомболюки не звукоизолированы, и рев моторов не позволял говорить.

Как происходило «сбрасывание» доморощенных диверсантов, я уже вспоминал, но кто-то очень образно выразился: когда открывается бомболюк, на котором ты сидишь, ты падаешь вниз, как говно с лопаты. Коротко и точно.

Действительно, нас сбросили точно в цель (по карте), а сами полетели дальше, где третий самолет сбросил, для отвлечения, бомбы. Этот примитивный маневр для «отвода глаз» способен обмануть кого угодно, только не военных. Еще бы: летят три самолета, а бомб — всего две штуки.

Ну, эта «хитрость» на совести стратегов, а вот то, что у Митьки в бомболюке раскрылся парашют, — это на совести технарей.

Бомболюк не приспособлен ни для людей, ни для мешков, он — для бомб. Там внутри полно всяких выступающих и за все цепляющихся болтов и других деталей, совершенно не опасных для гладких бомб. Техники нас не проинструктировали об этой опасности. Да они и сами в первый раз сажали в бомболюки людей вместо бомб. Кроме того, они и мешок ПДМ подвесили неправильно: когда люк открылся, мешок ветром прибило к задней переборке, он зацепился и порвался.

Когда идешь на десант в тыл врага, то хоть прыжков с парашютом у каждого из нас всего десятков, но о самом прыжке как-то вообще не думаешь. А ведь сам по себе прыжок из бомболюка пикирующего бомбардировщика при скорости полета 400 км/час и высоте всего 200 метров — предприятие довольно рискованное. Слишком высока скорость и мала высота полета. Купол парашюта едва успевает наполниться воздухом, — динамический удар — и земля. Разумеется, в этих условиях запасной парашют просто не нужен.

Такая ситуация едва не стоила жизни Митьке Душкину. У него в бомболюке (а мы летели с ним в одном отсеке) случайно раскрылся парашют. Видимо, зацепился за какую-то деталь. Стропы высыпались из гнезд, а собрать их в темноте совершенно невозможно. Кроме того — оглушающий шум моторов (звукоизоляция бомбам не нужна) не позволял нам говорить. Все время, что продолжался полет, мы старались не шевелиться, сидели на этих рассыпанных стропах. Митьке, конечно, было невесело.

Но вот створки бомболюка, на которых мы сидим, медленно открываются. В бомболюк врывается ураганный ветер (скорость — 400 км в час), и мы летим вниз. Такой нехитрый способ десантирования.

Перепутанные стропы Митькиного парашюта вздернули одну его ногу вверх, он приземлился в «шпагате». Если бы это была твердая земля, а не болото, Митька наверняка сломал бы ногу. И что тогда делать с ним?

В прекрасной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» есть такой эпизод: командир и девушка-боец увидели в узком овражке пристреленных самими же немцами своих раненых разведчиков.

Если в глубоком вражеском тылу ранен твой товарищ-разведчик, а кругом чужая земля, нет родных деревень, где его можно было бы пристроить, что делать?

Борис Васильев рассказал о такой ситуации у немецких разведчиков. А у нас? Раненых приказано не оставлять, а надо идти дальше. Следовательно...

(Митьке вообще не везло. Он погиб вторым, после Ванечки Алексеева.)

...Хотя наше приземление с такой малой высоты длилось очень короткое время, какая-то консервная банка шарахнула меня по голове. Это была либо американская свиная тушенка, либо очень вкусный, американский же, бекон.

Все продукты были разбросаны по болоту, куда нас сбросили. Консервные банки и батареи с 200-метровой высоты ушли в трясины на 0,5–1 метр. Некоторые банки и батареи мы нашли по лункам, пока их не затянуло болотной трясиной. Но большинство наших пищевых запасов, конечно, пропало. Кроме того, время поисков было сильно ограничено. Что сохранилось? Пачки, кульки с вермишелью, копченая рыба — совершенно дурацкий продукт для подобного предприятия. То есть все легкое, что не тонет. Кроме того, у каждого из нас был вещмешок на животе — в нем был боезапас батареи и небольшой пищевой паек.

Мы прыгали в заболоченный мертвый, какой-то вымороченный лес. Сухие стволы елей торчали, как пики. Попадешь сверху на такой ствол — как. Чей-то парашют повис на дереве. Дернули, дерево упало. Впопыхах собрали и закопали-затолкали в трясины парашюты и бросились искать продукты. Очень скоро услышали собачий лай.

Сложенные клетки напиленных деревьев, заготовленных лесорубами, мы заметили сразу и сразу же поняли, что либо нас сбросили не туда, куда нужно, — в глухое болото, либо... Сбросили нас правильно, просто карты 1932 г. выпуска сильно устарели.

Надо было как можно скорее покинуть «место посадки», тем более что собачий лай не предвещал ничего хорошего. В какую сторону мы побежали (по болоту не побегаешь — это сильно сказано) — двинулись, нам предстояло выяснить позднее, а сейчас — в более глухое лесное место. Впрочем, дорог кругом достаточно, да и тропинок натоптано немало.

Все-таки, мы были прилично нагружены: оружие, рация, батареи, кое-какие продукты... Во время движения установили, что собачий лай не утихает. Стали сыпать махорку в надежде отбить нюх у собак.

Возможно, это и помогло, но мы до такой степени вымотались, что решили оставить засаду из двух человек, а остальным отрываться. В засаде остались мы с Ибрагимом. Заняли позицию с хорошим просмотром и прострелом у лесной дороги на бугре в кустах. Лежали

минут 40 и за это время были так искусаны комарами, что на бугорках одних укусов появились «вторичные» бугры. Потом, решив, что времени прошло достаточно, мы сняли засаду и догнали остальную группу.

После этого мы немало времени потратили на то, чтобы абсолютно точно сориентироваться на местности и начать намеченное движение по маршруту.

Десантировались мы в окрестностях города Вяртсиля, а конец маршрута был в районе города Сортавала. Это 70 км. Хотя все члены группы, кроме командира, были недавними курсантами краткосрочных офицерских училищ, ориентирование на местности было слабым звеном в наших, довольно скудных, знаниях. Вести группу по курсу, проложенному мудрым начальством, довелось нам с Митькой Душкиным. Сашка-сержант вообще карту читал с трудом.

Десант начался 17 июля в самый разгар белых ночей. Двигались мы только ночами, но идти было довольно «уютно» — все более или менее видно, особенно укрепления второго эшелона.

Невдалеке от этих укреплений мы останавливались на дневку, маскировались и скрытно вели наблюдение, стараясь определить и нанести на карту обнаруженные фортификационные сооружения.

Для планируемого наступления эти данные были очень важны, мы это хорошо понимали. Однажды мы оказались в зоне обстрела из пулеметов и минометов. Это специальная группа финских солдат пристреливала из укрепленных окопов окружающую местность. В ожидании нашего наступления финны нанесли на специальную карту-картон все ориентиры и цифры прицелов. Отступающие войска, заняв вторую линию обороны, сразу получали точные данные и могли мгновенно открыть прицельный поражающий огонь. Да еще из отличных окопов. Грамотно.

После ухода финнов мы обследовали окопы, нашли и уничтожили карту-таблицу. Все данные, которые мы успевали обнаружить, все укрепления, отдельно стоящие строения, каменные глыбы-надолбы величиной с деревенскую избу, совершенно непреодолимые для любых танков, — все это мы наносили на карту и вечером, в 23 часа Женя Петров передавал эти сведения в центр. У нас было точное время выхода в эфир. Радиостанция «Белка» была в то время весьма современным и секретным приемопередающим устройством с радиусом действия 600 км. Иногда мы позволяли себе после сеанса связи немного послушать последние известия, которые передавались в 23.30. Батареи экономили: их было мало, а подмокшие работали плохо.

Рейд по финским тылам.

...Мы шли глухой темной ночью по лесной дороге — это была настоящая граница. Лесная дорога шириной чуть более метра была

выложена большими плоскими камнями, какими до войны мостили некоторые московские тротуары и по которой свободно могла проехать одноколка на резиновом ходу. Именно такие повозки использовались финнами. Телег на деревянном ходу у них не было.

Мы шли вшестером и очень тихо. Но и те, шедшие по этой же дороге навстречу нам, шли так же тихо.

Летом в Финляндии, как и на других пространствах в северных широтах, — белые ночи. Но так как густые кроны деревьев перекрывали тусклый свет пасмурного неба, то здесь, на лесной дороге, было совершенно темно.

Мы наскочили друг на друга в полном смысле слова внезапно. Мы увидели тени нескольких человек, вернее даже почувствовали их, примерно в полутора метрах от нас.

«Не стрелять!» — крикнул Сашка Волохин, наш командир, но крикнул-то это по-русски, и этого было достаточно, чтобы те, встречные, немедленно бросились бежать. Это была прифронтовая полоса за линией фронта, разведздание у нас было длительное, и мы, чтобы не расшифровываться, тоже немедленно бросились бежать, разумеется, в противоположную сторону.

Все это произошло в одну секунду, но Митька споткнулся, упал, затвор его автомата при падении соскочил с предохранителя и... раздался выстрел.

Единичный выстрел, неожиданно прозвучавший в охраняемой прифронтовой полосе ночью, слышен далеко и, конечно, не остался незасеченным. Враги, встреченные нами в лесу, разумеется, поняли, что это русские разведчики.

Всю ночь мы петляли по тропам и болотам, чтобы оторваться от возможной погони. Махорки против вероятных собак у нас уже не было, — мы ее истратили в первую же ночь, когда десантировались и были обнаружены. Тогда тоже «отрывались» от погони.

Вот так, на практике, мы восполняли недостатки нашего профессионального обучения и позорную подготовку, проведенную нашими высшими командирами.

Конечно, солдатами не рождаются. Ими становятся, да и то не все, некоторые так и не успевают стать — погибают. Принято также считать, что в войну воевали солдаты, а ведь на самом-то деле воевал простой мирный народ — вчерашние школьники, студенты, рабочие, крестьяне, интеллигенция. У нас, как известно, имелось только два класса: рабочие и крестьяне.

<...>

А военная специальность — это сложнейшая профессия. Профессиональный военный умеет делать тысячи таких вещей, о которых штатский и не подозревает. Короче говоря, он умеет воевать.

А мы, хоть и прошли определенную подготовку и имели некоторую практику, все-таки были на войне — птенцами...

Обычно, когда говорят о страхе применительно к войне, о страхе «первого прыжка с парашютом», первой атаки, самого страшного эпизода, случившегося с тобой, меня не оставляет ощущение, что собеседника интересует совсем другое. Мне кажется, как будто он хочет убедить себя (и других), что уж он-то в этом положении оказался бы молодцом.

Так вот, страх...

Нам приходилось «дневать», то есть лежать замаскированно, прямо в расположении финнов. Они ходили со своими котелками, с дровами, по малой нужде буквально в пяти метрах от нас. А мы лежали под густыми ветвями поваленной ели, лежали часами молча: ни чихнуть, ни кашлянуть — ждали темноты. Ночью осторожно выбирались из засады-укрытия и двигались дальше по маршруту.

Страшно ли это, не знаю.

Но однажды на рассвете, в лесу, во влажной канаве, мы увидели следы маленьких босых детских ножек. Здесь прошел ребенок. Когда? Хорошо, если вчера. А если только что, и он нас сейчас увидит?! Что тогда делать? Страшно? До ужаса. Страшнее эпизода я не помню...

...Наш маршрут проходил по прифронтовой полосе (4-10 км за линией фронта). Все жители из этих районов были давно выселены, огороды совершенно пустые. Лишь в одном месте мы обнаружили грядочку зеленого лука, который немедленно съели. Во всех домах — а их было очень немного — ничего съестного, шаром покати. Позиционная война тут длилась три года, и вся фронтовая и прифронтовая полосы были отлично подготовлены.

Итак, рассчитывать мы могли только на свои припасы, и когда мы сосчитали, что у нас осталось, то поняли, что «светила» нам голодная жизнь. Мы стали очень жестко нормировать еду, ее было недостаточно, отсюда усталость и прочие мелкие неприятности. Хотя ни одного скандала — и это отрадно отметить — у нас за весь десант (20 дней) не было.

Мы, разумеется, сообщили в центр, что ПДМ при десантировании разорвался и основная масса продуктов погибла. Нам тут же дали замечательный совет: сообщите место, зажгите костры и мы сбросим вам продукты. Умнее наши управделами ничего не придумали, да, пожалуй, другого способа и не было. Но от этого было не легче.

Никаких костров мы, естественно, зажигать не могли, а продукты тем временем кончились. Совершенно.

Тут я вспомнил фильм «Март-апрель», снятый по повести Вадима Кожевникова — известного «специалиста» по разведке и контрразведке. Его «Щит и меч» достаточно хорошо известен.

В этом фильме герои-десантники, оставшись, как и мы, без продуктов, с удовольствием ели отваренную березовую кору. Берез

вокруг было достаточно, и мы заготовили кору по рецепту Кожевникова, то есть ободрали верхний слой бересты, а розовый кадий стали варить. Варили в консервной банке от американской тушенки. Дым от костерка развеивали плащ-палатками, чтобы он не поднимался столбом и не выдал нас. Так как сухарей у нас тоже не было, мы надеялись, что эта питательная масса утолит наш голод и, хотя бы в какой-то степени, восстановит силы. Семь раз мы, меняя воду, кипятили одну и ту же порцию коры, но все равно разжевать и проглотить ее было совершенно невозможно.

Голод не тетка. Как-то мы нашли один-единственный гриб, неизвестно какой породы, честно разрезали его на шесть частей и съели сырым. В другой раз мы вышли на поляну, где было полно морошки. Это была необыкновенная удача. Мы досыта наелись, набрали в запас полные вывернутые пилотки ягод и некоторое время были счастливы. Вплоть до того момента, когда у всех случился чудовищный запор. Нас всех «заклинило» до такой степени, что Ибрагим, например, выковыривал из анального отверстия свои скудные какашки пальцами, а мы тужились до изнеможения, и у меня, в частности, даже образовались трещины и шла кровь. Кстати, именно в эти дни я впервые почувствовал боли в подреберье, не придавая, впрочем, этому никакого значения. Я думал, что боли связаны с голодом и с тем обстоятельством, что мы спали на земле, подстелив только плащ-палатки: четыре — снизу, одна — сверху и еще одна — у часового. Жестко.

Суоми — страна тысячи озер, это знает каждый. Но я бы добавил, и тысячи болот. На нашем пути постоянно попадались сырые места. Мы шли по маршруту и не обходили их, не искали сухих обходных дорог. (Да и гарантии, что они сухие, карта тоже не давала.) Надо сказать, хоть и несколько запоздало, что моя экипировка отличалась, причем в лучшую сторону (как мне казалось), от снаряжения моих товарищей. Отличалась некоторой щеголеватостью. Ремень, в котором служил еще отец, поддерживался настоящей кожаной портупеей, поэтому подсумки с автоматными рожками не очень натирали бедра. Ни лопаток, ни касок, ни противогазов у нас не было. Не было даже подсумка для гранат: они «висели» прямо на ремне. За спиной был почти пустой «сидор» и на груди автомат. Конечно, вся амуниция была активно побывавшая в употреблении, но даже в таком, несколько поношенном состоянии я себе нравился. Однако наибольшую гордость вызывали у меня мои замечательные офицерские сапоги. Не ботинки, не кирзачи, а настоящие кожаные. В них, не уставая, можно было пройти сколько угодно километров. И вот именно на эту мою гордость свалилась беда: от постоянного нахождения в сырости они развалились. Подошвы отвалились до самого каблука.

Сапоги «просили каши», и мне пришлось подвязать подошвы веревками. Естественно, ноги были все время мокрыми. Моя

«молодцеватость» была сильно подмочена, во всех смыслах. Не спасал даже настоящий финский нож «пукко», неизвестно как ко мне попавший.

А голод мучил нас все больше. Этот голод настолько притупил чувство опасности, что в какой-то день мы решили при помощи гранат-лимонок (у каждого — по четыре) глушить рыбу в одном из «тысяч озер» Суоми. Но нам не повезло: гранаты не взрывались. Мы были сильно расстроены по двум причинам. Если и остальные гранаты бракованные, то мы лишаемся мощной части своего арсенала. К тому же мы не добыли ни одной рыбки, а надо было двигаться дальше по маршруту.

В июле-августе 1944 г. сводки Информбюро, которые мы иногда слушали в 23.30, были почти всегда бодрыми, а наше положение было довольно «аховым».

Нам постоянно предлагали из центра зажечь костры и получить помощь с воздуха, но эти идиотские предложения вызывали у нас только чувство бешенства. Как будто там не понимали, что в прифронтовой полосе это невозможно.

А может быть, понимали и их предложения были «посланы» просто «для галочки»?

И тут наступил третий этап чувства голода. Первый был «утолен» березовой корой, второй — «глушеной» рыбой, а третий (по нарастающей), наступивший в первых числах августа, был напрямую связан с каннибализмом.

На одной из лесных дорог мы устроили засаду и стали с нетерпением ждать появления финна. Нам хотелось, чтобы финн был непременно упитанный. К этому времени мы голодали уже десять дней, так что финн был крайне необходим.

Однако он все не шел, а наш маршрут еще не был завершен, поэтому нам пришлось, покинув засаду, идти дальше.

Много лет спустя мне рассказали, как устраивались побеги из наших, расположенных в глуши, лагерей. Три ээка сговаривались бежать, причем двое из них — рецидивисты, а третий — новичок. Этот третий предназначался на съедение и назывался «коровой». Естественно, он об этом не догадывался.

Когда маршрут был закончен, мы запросили центр, где нам лучше перейти линию фронта, так как задание выполнено, а силы — на исходе.

Ответ гласил: переходить линию фронта не надо, да и невозможно при сплошной линии обороны. Ждите нашего наступления, и вы автоматически окажетесь у своих.

Мы отлично понимали, что за три года позиционной войны линия фронта оборудована так, что без артподготовки и без техники ее преодолеть невозможно.

Несколько дней мы отсиживались на одном месте, тщетно ожидая наступления наших войск. Иногда нам даже как бы слышались далекие крики «ура!».

Однако наступления не было! Возможно, в самом центре не знали, что наступления не будет, — ведь это была государственная тайна: как раз в это время велись тайные переговоры о капитуляции Финляндии и выходе ее из войны.

Поэтому-то мы и получили приказ: подойти поближе к линии фронта и ждать наступления.

Неиссякаемое чувство голода совершенно истощило наше терпение. Смутно догадываясь, что никакого наступления не будет (а если и будет, то нас живыми не найдут), мы приняли решение: прорываться через линию фронта самостоятельно. Разумеется, это невыполнимое для нашей группы решение было актом отчаяния, поступком, единственно возможным в нашем положении и состоянии.

Участвуя в форсировании р. Свирь, мы прекрасно представляли себе уровень фортификационной защищенности финской обороны.

Вообще, их оборона строилась по одному и тому же принципу. Рядом — два непроходимых озера, между ними — сухое пространство (как раз для наступления). Именно этот промежуток между озерами был пристрелян пяти-семислойным огнем стрелкового оружия, не считая минометов.

Или: две каменные сопки, а между ними — опять проход... В самих сопках прорублены доты с амбразурами в 3-5 метров глубины, то есть толщины стен. Танки не пройдут, авиация — бессильна. Кроме этого, на открытых местах — каменные глыбы размером с деревенскую избу, многослойные проволочные заграждения и минные поля.

Выполняя свое твердое решение и не имея никаких разведанных о структуре передовой, мы, как всегда, начали движение ночью. На этот раз не по маршруту, а на прорыв. Мы находились, по сути дела, внутри финских войск.

По шумам, доносящимся с разных сторон, мы нащупали стыки и беспрепятственно проползли-преодолели третью, а затем и вторую линию обороны.

Впереди на нашем пути оказалось огромное озеро. Мы вышли на его берег и пошли вдоль берега вправо. Окопы первой линии обороны подходили почти к самому берегу озера, а проволочные заграждения перед окопами уходили с берега далеко в воду.

Стараясь не шуметь в воде, мы двинулись в глубину озера, чтобы обогнуть проволочное заграждение. Было самое темное время ночи, но всплески воды под нашими ногами, видимо, насторожили финского часового на берегу. Нас окликнули, мы остановились, на берегу громко передернули затвор. Нас обнаружили или заподозрили что-то неладное. Мы тихо двинулись назад...

Бой и плен у одного из тысячи озер.

Рассвет застал нас в кустах вблизи озера между первой и второй линиями обороны. Нам было не впервой дневать вблизи от финских войск, поэтому мы пятеро спокойно улеглись спать, как всегда все, тесно прижавшись друг к другу на подстеленных плащ-па-латках. На часах остался Ваня Алексеев.

Было уже совсем светло, когда мы услышали выстрел и автоматную очередь. Мы все быстро вскочили, залегли цепью. Произошло следующее: Ваня чистил автомат, вероятно, к утру совершенно потеряв бдительность. Его заметил финн, проходивший совсем близко. Он выстрелил в Ваню из пистолета, попал ему в челюсть, а вышла пуля из шеи. Кровь у Ивана шла изо рта, из шеи, попадала в рот. Ранение было чудовищное. Тем не менее Иван защелкнул крышку почищенного автомата и короткой очередью срезал финна. От этой перестрелки мы и проснулись.

На войне происходит множество парадоксальных, нелогичных, непредсказуемых действий. Наша импровизированная боевая «цепь» залегла вдоль берега. Сзади нас было озеро. Казалось бы, все мысли в этот момент должны были быть сосредоточены на обороне. Но убитый финский солдат лежал буквально в десяти метрах от нас. На нем были отличные крепкие сапоги — он лежал ногами к нам. Я вскочил, бросился к убитому за сапогами, но тут Сашка Волохин крикнул: «Назад!» Я вернулся в «цепь». Эти сапоги могли мне дорого стоить.

Вообще-то, обнаруженная и окруженная разведгруппа, как правило, обречена. Ее вооружение и «живые силы» не рассчитаны на прямой огневой контакт с противником.

Это сейчас я себе четко представляю: у нас было два выхода. Или самоубийство, или плен. В тот момент мы об этом не думали. Мы стреляли, бросали гранаты, которые не взрывались, и уничтожали улики нашей разведдеятельности.

Финны панически боялись наших гранат-лимонок, и, если бы эти чертовы Ф-1 взрывались, мы сумели бы оттянуть неизбежный финал этого «сражения». А быть может, питаясь «глушеной» рыбой, вообще прожили бы другую судьбу.

Но... гранаты не взрывались, и этот факт спас и нас тогда. Осколки Ф-1 сохраняют убийную силу в радиусе 70 м. Эти гранаты обычно бросают из укрытия, чтобы осколки не поразили самого бросавшего. Мы лежали на совершенно открытом ровном берегу и при наших силах могли бросить гранату максимум метров на 20. Так что в первую очередь погорели бы сами.

Сашка передал мне рацию «Белка», и я, используя свой «пукко», начал курочить станцию. Я открыл крышку, вытащил батареи и перерезал все провода. Это, разумеется, было наивное предприятие.

Сашка в это время заталкивал в заболоченную землю у берега нашу карту с нанесенным маршрутом, что также было достаточно наивно.

Рацию я из всех оставшихся сил забросил в воду, где она застряла в прибрежной трясине.

Все это происходило во время перестрелки. Прижатые к воде цепью финских солдат (рота или две — это не имеет значения), с простреливаемыми открытыми флангами, мы поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Наши потери: Иван погиб, Митька тяжело ранен, Женька ранен в ногу. Сашка, я и Ибрагим — целы. Сашка бросил бесполезный автомат, Ибрагим — карабин и подняли руки.

Я забросил свой автомат в воду, где он также попал в заболоченное место и был лишь слегка притоплен. В этот момент я даже не вспомнил слова мамы: «Не дай тебе бог попасть в плен!» Я просто не мог поднять руки. Поднять руки «рука не поднималась».

Их я держал на отлете вниз, как курица крылья. Ко мне подбежал молодой солдат (примерно моего возраста) и прежде всего сорвал с меня ремень и портупею. На ремне были пустые чехлы от автоматных рожков и... «пукко». Ремень отца был мне дорог тем, что в нем отец прослужил в царской армии в Кутаиси 7 лет (с 1906 по 1913 г.). Было очень обидно потерять его. Все, происходящее вокруг, казалось нереальным, будто увиденным со стороны.

Кожаная портупея, вообще не положенная солдату, напоминала мне одного из кадровых командиров 2-го МППУ, лейтенанта Богомолова. С моей точки зрения, это был идеал командира. Высокий, стройный широкоплечий офицер с прекрасной выправкой. Я в чем-то старался подражать ему. Так вот, этот лейтенант, в отличие от других офицеров, всегда носил портупею. Так что моя портупея была мне также дорога.

Собственно говоря, здесь, у безымянного озера, 7 августа 1944 г. завершился военно-боевой отрезок моей жизни. Если для Сашки Волохина в этот день война была закончена, чему он был нескрываемо рад, то для меня все обстояло не так просто: ведь Суоми была «в рядах» немцев.

Вопрос: нужна ли была эта разведка?

Ответ: да, нужна. А вдруг скомандуют наступление?

Вывод: жизнь человека — копейка, жизнь солдата — полушка...

«И осталось, как всегда, недосказанное что-то...»

Ибрагим сломался: тюрьма в Вяртсиля и конюшня в пересыльном лагере.

Итак, нас пятерых (Иван остался у озера) повели вначале в штаб батальона. Усадили на траву, а мне связали руки. Почему одному мне?

Оказывается, меня приняли за офицера — командира группы. Основания:

1. Мои офицерские, хотя и раздолбанные, сапоги.
2. Замечательный старинный ремень и портупея.
3. У меня одного был настоящий финский «пукко».
4. За двадцать дней десанта я сильно зарос и, благодаря небритости, казался старше остальных. У Сашки и Ибрагима бороды вообще не росли.

На поляне, где мы сидели, было полно земляники. Ребята собирали ее и ели. Тогда я лег на землю и стал ртом обрывать сочные ягоды. Это была первая еда за много дней.

Через некоторое время нас повели в штаб полка. Идти надо было, как выяснилось потом, 4 км. При выходе из леса Митька потерял сознание и упал возле дерева. Нам не разрешили даже подойти к нему. Больше мы его не видели. У нас было трое конвоиров и две собаки в свите. Один из конвоиров поигрывал изогнутым, наподобие ятагана, Митькиным ножичком с наборной ручкой.

Не помню, слышали ли мы выстрел, которым пристрелили Митьку, но почему-то все были уверены, что мы потеряли двоих.

Было очень жарко, дорога пыльная, идем медленно, так как Женька ранен в ногу, все отвыкли ходить днем по жаре, да и слабы.

В пути тихонько переговаривались. Не важно, у кого первого возникла мысль: выдать убитых, Ваню и Митьку, за сержанта — командира группы и радиста. Этим мы надеялись избавить себя от лишних вопросов о маршруте, коде для рации...

Наконец нас привели в полк, но не в штаб, а опять на поляну. Здесь мы тоже пробыли недолго, но именно здесь оказался первый переводчик. Что он нас спрашивал — не суть важно, но один его вопрос я запомнил: «А что, Сухарева башня еще цела?» Переводчик по внешнему виду был натуральный белогвардеец. По-русски говорил чисто, одет был в меховые штаны мехом вовнутрь. Это в августе-то! Возможно, у него был радикулит. Он все время дергался и бегал вокруг нас, как будто его блохи в штанах кусали.

Кажется, именно здесь я впервые произнес свое имя: Ваня Волынец. Не очень логично, тем более что я хотел выдать себя за татарина по двум казавшимся мне убедительным причинам: во-первых, я немного знал по-татарски, во-вторых, и это главное, я был обрезан, как и все мусульмане. Хотя, по зрелом размышлении, обрезанный для фашиста — скорее еврей, чем магометанин (спокойнее — пристрелить).

К моему счастью, немцы, а их было несколько дивизий, ушли на север.

Еще по дороге в полк мы сговорились дружно отвечать на допросах одно и то же. Самое главное: мы не разведчики-десантники, а рядовые пехотинцы. Это наш первый прыжок с парашютом.

Позднее, в пересыльном лагере, каждый из нас придумал себе всех командиров, от отделения до дивизии, в надежде, разумеется, призрачной, — обмануть и запутать финскую контрразведку.

В полку нас допросили весьма поверхностно. Затем усадили в кузов грузовика (Женька влез с трудом) с двумя автоматчиками и по узкой асфальтовой дороге повезли куда-то с большой скоростью.

По дороге мы проезжали множество шлагбаумов. На одной остановке у контрольно-пропускного пункта к нам неожиданно подошел финский генерал с абсолютно семитским обликом. Он задал нам вопрос, который предназначался нашим верхам, как будто мы были диппредставители: «Вы что, не знаете, что Ленин дал Финляндии независимость?!» Что мы могли ему ответить? По-моему, он просто бравировал перед подчиненными знанием русского языка.

Нас привезли в городок Вяртсиля, который был исходным пунктом нашего маршрута и вблизи которого мы десантировались.

Поместили нас в городскую тюрьму. Маленькую, чистенькую. Пробыли мы там, без допросов, около двух суток и не сразу поняли, что куда-то исчез Ибрагим.

Надо сказать, что солдаты у озера, конечно, нашли и рацию, и карту, и оружие. Так что надежда что-то скрыть о цели нашего появления в Суоми становилась просто утопией.

Как выяснилось впоследствии, Ибрагим уже тогда все для себя решил. Нас в тюрьме не допрашивали именно потому, что Ибрагим сразу же повез финских представителей к месту нашего десантирования и, показав наши спрятанные парашюты, заслужил, как ему казалось, определенное доверие у финнов. Нет, это был не тот Ибрагим — верный друг Прошки Громова из «Угрюм-реки».

Тем не менее, когда нас привезли в так называемый «пересыльный лагерь», Ибрагима поселили вместе с нами. Может быть, из него хотели сделать подобие «подсадной утки». Мы ни о чем не догадывались.

Наше новое помещение представляло собой бывшую конюшню на четыре стойла. Нас тоже было четверо, так что у каждого появилось собственное помещение. Цементный пол, подстилка для спанья — газеты. Больше ничего.

Эта конюшня являлась торцевой частью огромного сооружения (молочной фермы), на первом этаже которого, кроме конюшни, помещалась баня (бывший коровник) и кухня. На втором этаже — громадный сеновал, куда вел взвоз — наклонный пандус, по которому въезжали возы с сеном.

Так как на ферме скотины не было, то и сеновал использовался для других целей: в нем находились примерно две роты из 176-й дивизии, окруженной финнами и в полном составе попавшей в плен.

Эти пленные, в отличие от нас, сохранили все свои солдатские причиндалы: сидора, еду, концентраты, консервы, все, кроме оружия. Их осматривали поверхностно, нас же заставили раздеться догола, осмотрели всю нашу одежду, прощупывая каждый шов.

Только в одном мы были с ними равны: и мы, и они не стали «камикадзе» и, следовательно, превратились в изменников. В изменников превратились и еще 5 миллионов наших солдат, не пожелавших стать «камикадзе». Впоследствии эти изменники приняли активное, правда, не всегда добровольное участие в восстановлении разрушенной страны. Но ведь и до войны много строили ээки.

И все же вечная память тем солдатам, которые смогли застрелиться в безвыходных ситуациях.

Весь пересыльный лагерь был обнесен забором из колючей проволоки. Наша конюшня была отдельно обнесена вторым колючим забором, и возле двери всегда стоял часовой.

Из зарешеченного единственного окна мы видели, как к колодцу время от времени подходили пленные из 176-й дивизии и доставали воду. Колодец, естественно, находился внутри общего лагеря.

Однажды к колодцу подошел солдат с сигаркой во рту. А мы уже много дней были совершенно лишены курева. Мы упросили часового разрешить одному из нас добежать до колодца и попросить у солдата докурить его окурки.

Побежал я, остальные с надеждой смотрели в окно. Солдат у колодца, зная наше положение за двойной колючкой, сразу отдал мне недокуренную сигарку. Сигарка все равно тлела, уменьшаясь в размере, поэтому я немедленно затянулся прежде, чем бежать в конюшню. Первая моя затяжка крепкой махоркой кончилась тем, что я от слабости грохнулся на землю без сознания. Конечно, мои коллеги остались без курева.

Очнулся я уже в конюшне. Доставил меня туда, наверно, часовой. Часовыми у нашего узилища были в основном не очень молодые финские солдаты. Лет по 30 и старше.

Под их конвоем мы ходили в общелагерный туалет по большой нужде один раз в сутки-двое. Чаше не было необходимости, так как еда была — «лучше некуда». Как будто специально подготовленная для нашего постепенного «выхода» из длительного голодания.

Утром — две галеты из ржаной муки (5 на 10 см). Это на весь день. Один куб. см мармелада и 0,5 куб. см плавленого сыра (тогда нам неизвестного) и кружка ячменного кофе (1 ложка на ведро воды). Кофе называлось «корвики». В обед — баланда (1-2 ложки муки на ведро воды). Мисочка такой баланды, где «мучинка мучинку ебэ тай в догинку» — и весь обед. Впрочем, иногда — брюква. Ужин — «корвики», но без мармелада и сыра.

Ясно, что с такого рациона мы в основном испытывали только «малую нужду», которую справляли в углу конюшни на кучу соломы.

Однажды на весь лагерь привезли бочку соленой колбасы, толстой, как довоенная чайная, но без жира, зато с белыми, в палец толщиной, дохлыми червями. Этой колбасы нам досталось, к сожалению, по маленькому кусочку.

Большой сортир (в общем лагере) был странной, незнакомой нам конструкции. В дощатом сарае половина площади застелена полом, под другой половиной — глубокая яма. Над этой ямой, как раз над краем пола, укреплена жердь во всю длину сарая. Ты садишься на эту жердь, ноги твои — на краю пола — и делай свое дело. Так как нам было запрещено находиться в общем лагере, то нас водили в туалет по одному и под конвоем. Во время действия дверь туалета всегда оставалась открытой и за ней всегда стоял часовой. Он должен был все время видеть нас и не допускать контактов. «Эй саа!» — нельзя!

Коснувшись «туалетной темы», я снова вспомнил наше наступление и форсирование р. Свирь, за что наша дивизия получила название Свирской. Трехлетняя позиционная война без наступления с нашей стороны позволила финнам кроме инженерных оборонительных сооружений оборудовать вполне достойное жилье для себя. В фронтовых условиях оно было просто роскошным. Само жилое помещение находилось в земле, наверху была только двускатная крыша. То есть как бы землянка, но... Все стены были обшиты строганым тесом, отличные деревянные полы, удобные, свободные «нары», скорее — полати.

Множество деревянных резных скульптур и поделок. Чистота внутри и снаружи — умопомрачительная.

Разные части наших наступающих войск, сменяя друг друга, останавливались в этих землянках. Через три дня все финское расположение представляло собой картину жуткого разорения. Все было изломано и разрушено без всякой артподготовки. Местность загажена до такой степени, что в темноте невозможно было выйти из землянки без того, чтобы не вляпаться в отечественное дерьмо. А ведь у финнов были туалеты...

Допросы.

Начались допросы.

Если ребят из 176-й дивизии допрашивали обычные линейные следователи, то нам была оказана честь: нас допрашивал капитан контрразведки. Если солдат допрашивали прямо в помещении сеновала, то нас, по одному, водили в отдельное строение, метрах в пятистах от лагеря.

За нами приходил переводчик — здоровенный детина лет 28, прекрасно говоривший по-русски. Рукава его гимнастерки всегда были закатаны почти до локтя по немецко-солдатской моде. Почему-то мы называли его «собашник».

Он открывал дверь нашей конюшни и, обращаясь к кому-либо из нас, говорил: «Вот с вами бы я хотел поговорить». Приглашенный поднимался и шел с «собашником» в кабинет капитана. Капитан сидел за письменным столом, прямой, немногословный и строгий.

Напротив стола стоял круглый цилиндрический бочонок, гнутый из многослойной фанеры. Бочонок довольно высокий. Собашник «помогал» взобраться на него, то есть просто поднимал тебя, как котенка, и водружал на верхний торец бочонка. Сидя на нем, чувствуешь себя совершенно беспомощно, так как ноги не достают до пола.

Капитан коротко задавал вопрос, «собашник» переводил, и ты отвечал. Вот и вся процедура. Вопросы были самые разные, иногда, на мой взгляд, просто нелепые. Например, какими перьями вы писали в школе? Или: сколько стоит килограмм картошки на рынке? Ответ: не знаю. Может быть, все эти вопросы имели какое-то подспудное психологическое обоснование, но я этого не почувствовал.

Нечего и говорить, что придуманные фамилии всех командиров были также занесены в допросные листы. Все ответы капитан записывал на больших листах прекрасной бумаги в крупную голубую клетку. Я обратил внимание на качество бумаги, ее расточительное использование во время войны, так как вообще равнодушен ко всякой канцелярщине.

Допросы велись с 10 утра до 17.00, абсолютно точно, ни минуты лишней и, разумеется, с перерывом на обед.

Мы все продолжали держаться версии, что сержант — командир группы и радист — погибли.

У Жени Петрова без санитарной помощи рана на ноге начала гноиться, в ней появились какие-то червяки. В один из дней Женю увезли. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Однажды, когда меня привели на допрос, капитан отсутствовал, видимо, был где-то занят. Воспользовавшись тем, что мы одни, «собашник» стал меня вербовать. Делал он это совершенно неожиданным способом. Он достал из кармана советский комсомольский билет и, закрыв рукой фамилию на нем, показал его мне. На фотографии был изображен «собашник» в форме лейтенанта Красной Армии с двумя кубиками на петлицах старой, еще без погон, формы. Он рассказал, что в январе 1942 г. как командир советской разведгруппы был направлен в тыл к финнам. Группа из 38 человек была разгромлена. Он сдался в плен и стал «работать» на финнов, так как отлично знал язык. Он был ингерманландцем (отец — финн, мать — русская). Прекрасно говорил на этих двух языках.

Я думаю, он и не рассчитывал на успех вербовки, это скорее было актом какого-то ностальгического эксгибиционизма. Он страстно ненавидел СССР и сказал, что обязательно «навестит» нашу страну. Я вспомнил штабной город Олонец, где спокойно мог обретаться любой вражеский разведчик (и не один).

Во время одного из допросов мне показали толстую пачку фотографий, на которых были лица, как я понял, наших плененных разведчиков. Многие из них были в старой военной форме, некоторые — в новой, с двух других разведгрупп, посланных примерно в одно время с нами. Левки Сухарецкого среди них не было, скорее всего — погиб. Никогда после войны я не слышал о нем ни слова. А в совете ветеранов дивизии велся учет.

Я, разумеется, никого не узнал. Наши допросы продолжались дней 10–15. За это время произошло несколько запомнившихся событий.

Наша конюшня находилась внутри общего пересыльного лагеря и была обнесена добавочным частоколом с колючкой. При этом перед дверью конюшни было небольшое пространство, где стояли две скамейки. Нам в этот предбанник выходить было запрещено. Но в какой-то день нам было велено находиться именно на этих скамейках. Поскольку было тепло, гораздо теплее, чем в конюшне с бетонными стенами, я снял гимнастерку, рубашку и занялся уничтожением вшей, выскабливая их щепочкой из швов.

В это время к нам пожаловала какая-то комиссия — то ли от Красного Креста, то ли из еще какой-то международной (или финской) организации. Они просто издали посмотрели на нас, нашли нас достаточно упитанными (или недостаточно истощенными), никаких претензий у нас не спрашивали и, сделав свое дело, удалились. И тут показуха: в конюшне-то они не были. Да и СССР не был членом Красного Креста.

Не знаю, по причине ли моего вошебойства или по иной причине (во время посещения комиссии я продолжал свое важное дело), но нам устроили подобие бани, причем совместно с несколькими солдатами из 176-й дивизии. Рядом со стойлами, где раньше содержались коровы, было небольшое помещение, где молочницы мыли посуду и бидоны из-под молока. Кстати, все фермеры выставляли свои бидоны с молоком прямо у дороги, откуда их забирал перевозчик с молокозавода, а потом каждому возвращал пустые. И никаких сторожей.

В помещении стояли несколько широких цементных скамеек. Была горячая вода, и нам дали мыло. Поскольку я был весьма худ и легок по весу, то попытался даже сделать стойку на руках. Однако мне это не удалось.

В группе солдат с сеновала был один взрослый, по сравнению с нами, мужчина, кажется, Богун. Он рассказывал о своей службе на флоте, где был не то боцманом, не то главстаршиной. (Это и не важно.) А вот то, что на шесть моряков, сидевших за одним столом, давали 20-

литровый бачок густого борща с мясом, потом — макароны с мясом и, конечно, компот, — это было для нас очень важно.

Разговоры об обильной флотской еде привели только к усиленному слюно— и сокоотделению, и это был единственный результат. Правда, я тогда сказал, что если останусь жив, то «буду сало с салом есть». Впоследствии мне это удалось лишь отчасти (весьма отчасти).

Здесь же в «бане» мы спели несколько украинских песен, и это были первые песни в плену, хотя наше будущее таилось во мраке. Видимо, тогда, с этого времени, я полюбил украинские песни.

Не знаю, по какому стечению обстоятельств мне снова удалось пообщаться с сеновальцами. Наверно, после того, как допросы закончились и участь наша была решена.

Один из солдат стал меня брить, ведь у них сохранились все солдатские прикормы. Был конец августа, так что щетина у меня росла почти полтора месяца. И вот эту щетину он брил «всухую», без мыла и не очень острой бритвой. Это было испытание не из приятных, но я «помолодел».

Возле «нашей колючки», нашего «внутреннего лагеря» всегда находился часовой. Его основной заботой было — сопровождать нас, по одному, в туалет и обратно. Остальное время он просто стоял на часах у калитки. Этот пост был не самый «опасный», и обычно сюда назначали солдат старшего возраста. Один из часовых был швед. Лицом он несколько походил на Болтнева и Шона О'Коннери.

Однажды, во время своего дежурства, он неожиданно предложил мне остаться в Финляндии и уверял, что еврейская община приютит меня. У меня сразу возникли два вопроса. Во-первых, как могла сохраниться еврейская община здесь? Разве что — в Швеции, нейтральной в той войне. Во-вторых, какое отношение имел татарин Ваня Волюнец к еврейской общине, когда я даже понятия не имел, что это такое?!

Разумеется, я с негодованием отказался. Но каков швед?! Как он просчитал мою национальность?

Сегодня очень интересно «проиграть-просчитать», как могла бы сложиться моя жизнь, останься я в Суоми.

Однажды, после допроса, Ибрагима привели не к нам на конюшню, а в соседнее помещение — на кухню.

После Вани Алексеева Ибрагим был самым рослым и самым сильным членом нашей группы. Видимо, от голода он первый и «сломался». Он рассказал в контрразведке все то, что мы скрывали: что мы разведчики из 103-й разведроты 100-й гвардейской Свирской дивизии, что у каждого из нас по несколько парашютных прыжков и некоторый опыт фронтовой разведки. Назвал он и фамилии всех командиров. Но, самое главное, он назвал наши имена и звания.

Результатом этого последнего допроса Ибрагима было следующее: «собашник» приоткрыл дверь нашей конюшни и произнес: Александр Волохин — старший сержант, командир группы, Марк Волынец — еврей. И закрыл дверь.

Мы остались в конюшне вдвоем (Женю увезли). Наше состояние легко себе представить.

После ибрагимовского предательства, а мы это расценивали именно как предательство, наши допросы по своей форме сильно изменились.

Надо помнить, что по нашим показаниям капитаном контрразведки было исписано (очень аккуратно) огромное количество больших листов прекрасной бумаги. Оказалось, что вся эта груда бумаги — работа впустую.

Впустую — для них, а нам, на Родине, эти лживые протоколы допросов сослужили определенную службу. Суоми, как страна-капитулянтка, передала нашему КГБ все (или не все?) эти бумаги, и из них было видно, кто как вел себя в плену.

Так вот, убедившись в том, что мы много дней морочили ему голову, капитан утратил свою всегдашнюю невозмутимость и на первом же (после Ибрагима) допросе, потрясая пачкой исписанных впустую листов протокола, орал: «Пачаму нэт прауда?!» После чего «собашник» бил по скуле кулаком, и я летел с высокой фанерной бочки, на которой сидел, и с маху стучался головой об стену.

Надо признать, что били мало. Во-первых, у финнов не было такой зоологической ненависти к евреям, как у немцев, во-вторых, и это, наверно, главное, в армии Суоми, и особенно в контрразведке, вероятно, витали слухи о возможной капитуляции и выходе из войны. Мы-то, конечно, ни о чем таком и не задумывались, мы просто двигались навстречу своей дальнейшей судьбе. Это был самый конец августа 1944 г.

Допросы закончились, с нами (для них) было все ясно. 2 сентября нас посадили в теплушку, и мы двинулись к следующему этапу своей биографии.

В дверях теплушки, открытых настежь, свесив ноги наружу, сидели два автоматчика — каждый у своего края двери. Два пассажира, два конвоира. Мы ехали по вражеской стране и имели полную возможность наблюдать эту страну в течение почти суток. Ехали очень медленно. Наш небольшой состав тянул маленький паровозик «Овечка», старомодный, но ухоженный до такой степени, что выглядел, как новенький.

Маленькие, аккуратно возделанные поля, гигантские, величиной с избу валуны-надолбы, неизвестно какими силами выложенные в линию. (То ли межа, то ли линия обороны). Впрочем — пирамиды Египта...

«По пути» встречались и люди. Так как состав двигался очень медленно, то мы вполне успевали рассмотреть встречных финнов. Одни

из них махали руками, видимо приветствуя солдат, другие показывали сжатые кулаки. Это, скорее всего, относилось к нам.

На одной из остановок мы увидели нашего машиниста. Это был благообразный старичок с седой, клинышком, бородкой в чистейшей форме железнодорожника, в белоснежной рубашке с галстуком.

Станции, которые мы проезжали, производили впечатление прекрасно построенных декораций, до того они были чистыми, ухоженными и... безлюдными. Удивительно, прошло столько лет, целая жизнь, а многие эпизоды так врезались в память, как будто произошли только вчера. Как бы там ни было, а ведь самые лучшие молодые годы, юные силы, сгорели именно тогда.

Эвакуация, непосильная для пацана работа, потом — армия. Вначале — изнурительные учения, затем — сама война. И постоянное недоедание. Потом плен и — тоже голод.

Отец в немногочисленных рассказах а своей службе в царской армии как-то сообщил между прочим: солдат в царской армии получал в день (в обед) фунт мяса. Причем этот фунт не был размешан в супе или каше. Кусок мяса был проткнут чистой палочкой и вручался каждому. Верится с трудом. Думаю, что не всегда и не везде.

«Второй смертельный» и «сота лоппу».

К месту назначения мы прибыли глубокой ночью. Нас провели через несколько ворот и ввели в огромный барак. Он был рассчитан не менее, чем на 200–300 человек. В нем находились трехэтажные нары, и в центре барака было небольшое свободное пространство для «мероприятий». Наш барак был совершенно пуст.

При входе в барак стоял часовой. Он, абсолютно непонятно для нас, выражал бурную радость по поводу, как мы поняли, нашего приезда. Из всех слов, которые выкрикивал часовой, я понял только одно слово: «камрад». Вот и товарищ нашелся.

Мы немедленно забрались на третьи нары, где было теплее, но заснуть нам не удалось ни на минуту. Полчища громадных изголодавшихся клопов набросились на нас, не обращая внимания на горевший свет. Всю ночь мы промаялись на клопиной охоте.

Утром мы увидели весь лагерь, гигантскую вытоптанную площадь, на которой рядами стояло десятка полтора бараков, таких же огромных, как «наш». Это был второй смертельный лагерь «Нараярви». Всего таких «смертельных» лагерей в Суоми было два. Один — это «Ваза», лагерь, где в болотах, по колени и по пояс в воде, пленные корчевали деревья. Их работа была не легче гулаговского лесоповала. И финал для работающих был тот же.

Второй «смертельный» — Нараярви. Это был конец пути любого «ванки-пойка», попавшего сюда.

Людей не было совсем. Ходили какие-то одинокие фигуры, кто на костылях, кто — прихрамывая.

— А где же люди, где тысячи пленных?

— Да вот же они!

Вдоль забора из многослойной колючей проволоки тянулся огромный глубокий ров. Половина рва была засыпана, и на этом засыпанном пространстве стояли березовые кресты. Стояли довольно далеко друг от друга. Дистанция между ними — метров 5-6. Всего крестов было штук 50.

Остальная часть рва была не засыпана и ожидала своих «постояльцев», то есть будущих пленных. Нас, в том числе.

Всего, как мы узнали потом, в той половине рва, где стояли кресты, было закопано 9000 человек. И места хватило бы еще на столько же. Видимо, лагерь работал весьма успешно, составляя достойную конкуренцию немцам.

Утром стало известно, что Финляндия капитулировала. Для нее война закончилась. Объяснили нам и суть радостных криков часового при нашем прибытии. «Сота лоппу» — война кончилась.

Второй «смертельный» полностью выполнил свою гнусную задачу: в нем здоровых людей совершенно не осталось. Только «лагерные придурки»: повара, уборщики, истопники — все инвалиды.

«Сота лоппу» — это скудное пополнение словарного запаса финских слов, который мы успели узнать за этот короткий срок: с 7 августа до 4 сентября 1944 г.

«Ванки-пойка» — пленный парень, «перкеле саатана» — черт, проклятый, «анна лейпа» — дай хлеба (ни разу не употребили), счет до десяти: «юкси, какси, колме, нелия, виийшь, куушь, сейцман, каэксан, юэксан, кюмменен». «Суомилайнен» — финн, «веналайнен» — русский, «юталайнен» — еврей. Кофе — «корвики», каша — «пурре». И это все за 28 дней.

Это, конечно, мало, но ведь мы совершенно не общались с финнами, сидя за колючкой. «Старые пленные» (с 1941 по 1942 г.) отлично знали язык, некоторые работали батраками у фермеров, имели некоторую свободу, не голодали и даже встречались с женами финских солдат, находившихся на фронте.

Но это всего лишь малая часть — «счастливыцы». Основная масса пленных содержалась в лагерях и использовалась на самых тяжелых работах под конвоем.

Всего, по слухам, в Суоми было 75000 «ванки», в живых осталось 35000. 40000 лежат в земле Суоми. Так как после 4 сентября лагерь Нараярви как бы перестал быть «смертельным», то к нам в барак стали поступать новые «постояльцы».

Первым утром 4 сентября привели Борю Ермакова. Он чудовищно матерился, проклиная все на свете. Оказалось, что он попал в плен всего за 4 часа до капитуляции Суоми. Его взяли, как языка, самым примитивным способом, «приемом № 1». Для этого, обычно, перерезают линию связи и, сделав засаду, ждут появления связиста или просто солдата. Задача: найти и исправить разрыв провода.

Боря Ермаков — личность незаурядная. Он жил в Азербайджане, причем существовал в горах, будто осуществил мечту двух второклассников (мою и Вовки Гречанинова) убежать на Кавказ.

Боря, однако, был не абрек, в нашем с Вовкой понимании, он не боролся за некую свободу, а был вором-разбойником. Они с друзьями останавливали на горных дорогах грузовые машины и изымали из кузовов все, что надо.

Почему-то в его рассказах фигурировали в основном «штуки» мануфактуры. Вероятно, специализация эта диктовалась возможностью сбыта ворованного.

Мы с Сашкой Волохиным рассказали ему нашу эпопею. Услышав о поступке Ибрагима, он взбесился: «За это убить его мало!»

Эту угрозу нам суждено было проверить на практике. В одну из ночей, а новичков в наш барак привозили почему-то всегда ночью (да и нас — тоже), часовой открывает дверь и впускает группу вновь прибывших. Мы смотрим с третьих нар и вдруг узнаем среди новичков Ибрагима Бареева.

Как коршуны мы сверху кидаемся на него с целью осуществления возмездия. Но не тут-то было. Отъевшийся и окрепший на кухне, он раскидал нас, доходяг, как котят. Боря Ермаков тоже не смог нам помочь; он был маленького роста, и его свирепость, к сожалению, не могла заменить реальную физическую силу. А Ибрагим вообще был очень силен.

Тем не менее он испугался и, подбежав к двери, стал стучать в нее и орать не своим голосом. Появился часовой, все понял (видимо, это случалось и раньше) и увел Ибрагима в другое место.

Итак, привилегированный, обласканный и откормленный гад попал в ту же колею, что и все мы.

Удивительно, что в этой «драке» с Ибрагимом я отлично помню действия Сашки Волохина. А после этого эпизода он совершенно выпал из моей памяти, хотя мы с ним постоянно находились вместе. Вообще, мне кажется, что Сашка в плену был спокоен и удовлетворен и, если бы не голод, он был бы вполне счастлив.

До того как он попал в наш разведвзвод 9-й ГВДБ, он был старшиной одной из рот 1-го батальона. Что-то там в роте у него произошло (старшины страшно воровали), и он был переведен (с понижением) к нам помкомвзводом.

Потом, когда нас перевели в 10-ю бригаду, а затем слили обе бригады в 100-ю стрелковую дивизию (плюс 12-я бригада), он стал помощником командира взвода (2-го) 103-й отдельной разведроты. Командиром нашего, 2-го взвода был лейтенант Николай Корнеев. Командира 1-го взвода я не помню, помкомвзвода (1-го) — ст. сержант Волков, командир роты — лейтенант Варавка.

До того как попасть в воздушно-десантные войска, Сашка успел повоевать под Сталинградом (хотя сталинградской медали я у него не

видел). Был ранен, попал в госпиталь, потерял фаланги нескольких пальцев. Однако не был комиссован.

На десанте он однажды завел речь о том, что ему война давно остоебенела и он мечтает «выйти» из нее. Даже при помощи самострела.

Так что, покончив с войной, оказавшись живым в плену, он был, вероятно, удовлетворен.

Во всяком случае, он не писал Сталину пять писем с просьбой отправить его на фронт, как это делал я. Правда, это было уже в Судженке^[64]. Все-таки я был необыкновенно наивен, полагая, что мои письма дойдут до адресата.

Известно, что СССР не подписывал конвенцию, согласно которой с пленными нужно обращаться гуманно. Международный Красный Крест, тем не менее, осуществил некую гуманитарную помощь и русским военнопленным. Однажды в наш барак (это было уже в пересылке, в Хельсинки) нам принесли огромные (40 на 50, на 60 см) картонные коробки с продуктами. Там были мясные консервы, сухое молоко, сахар, яичный порошок, мармелад, сыр и много чего еще.

Разница была только в одном: вся эта прелесть для иностранных пленных предназначалась для двух человек, а для русских — на 50 человек. Мы же не подписывали конвенцию. И вообще, мы были «изменниками», а в Европе пленных встречали с цветами.

<...>

Наконец, из Нараярви нас повезли в Хельсинки. Сначала поместили в промежуточный пересыльный лагерь, где помещалось несколько сотен человек.

Мы в это время «кучковались» с Борей Ермаковым, который великолепно мухлевал в карты и постоянно выигрывал у пленных узбеков галеты. Почему-то у них всегда были в запасе галеты, которые они хранили в наволочках.

Надо сказать, что финны вообще едят очень мало хлеба. Они пекут плоские круглые караваи с дыркой в центре и эти хлебцы насаживают на длинный шест. Множество таких шестов с караваем укреплается на чердаке. Со временем караваи становятся твердыми как камень и хранятся очень долго.

По мере надобности хлебцы как-то размягчают и едят. А больше всего в ходу там галеты размером 5 на 10 см. Причем есть галеты из грубой «черной» муки с отрубями. Такими кормили нас. А есть белые галеты, мы их называли офицерскими. Таких мы не едали.

Поскольку в лагере находилось много народу, то нашелся среди них и парикмахер-одессит, очень похожий на Сашу Хуторяна. Он меня постриг и побрил (опять всухую).

Несколько эпизодов из жизни в этом лагере:

1. Здесь я, наконец, обменял свои сапоги, вернее, одни голяшки — все, что от них осталось. Голяшки действительно были хороши, и за них мне дали ботинки и буханку хлеба. Это был настоящий, примерно килограммовый, кирпичик серого вязкого хлеба. Естественно, мы его тут же съели. Значит, и здесь, в узилище, кому-то понадобились хромовые голяшки, и для этого у этого кого-то нашлись лишние ботинки и буханка «настоящего», не галетного хлеба! Зело борзо преудивительно!

2. Проходящие мимо лагеря финские солдаты иногда развлекались тем, что перебрасывали через колючку одну банку каких-либо консервов. На банку, как звери, набрасывались голодные пленные, но почему-то в основном узбеки. Однажды я пытался уговорить их не унижаться, но — где там!

3. В какой-то церковный праздник нас повели строем в костел (под конвоем). Вряд ли кто-нибудь из нас задумывался, какую религию исповедуют финны, но от просфоры никто не отказался — все-таки еда.

4. В один из дней несколько человек, в том числе и я, были отведены на станцию, где нужно было разгрузить несколько железнодорожных платформ с углем. Вероятно, пленные в течение всей войны использовались на подобных работах. Это было мое первое прикосновение к черному золоту, с которым, в недалеком будущем, мне предстояло немало общаться.

Борта у платформ были открыты, пол был металлический, гладкий, так что работа была не очень тяжелая. Однако я решил, что этой разгрузкой мы невольно помогаем врагу. Стал подговаривать ребят к саботажу. Как минимум, пусть дают хлеба (анна лейпа). Таково было общее требование.

Мужики такой печали отродясь не видали... Финны привыкли за эти годы, что ванки, под страхом жестокого наказания, беспрекословно выполняли любую работу. Но мы стояли на своем (Суоми-то капитулировала). Наконец, нам привезли целую коробку галет. В коробке высотой в 1 метр горизонтально лежали пластины, в каждой из которых было по 8 галет. В центре пластины — дырка (как в хлебах). Нас было человек 15, и этих галет по норме хватило бы на несколько дней. Мы выиграли.

Быстро разгрузив несколько платформ, мы вернулись в лагерь. Неистребимое племя стукачей не дремало: когда мы возвратились, руководство уже знало, кто был зачинщиком саботажа.

В виде наказания меня поставили на солнцепеке с сидором за плечами (весом около двух пудов). Сколько времени я простоял под выкладкой, не помню, но в результате мне стало плохо, и я рухнул вместе со своим грузом без памяти. Уверен, что стукач не был награжден.

5. В этом лагере я познакомился с интересным человеком. Это был мужчина лет пятидесяти с густой седой шевелюрой. Вероятно, он был самым «старым» среди местных «ванки».

До плена он занимал довольно высокий пост начальника Военторга Ленинградского военного округа. Я думаю, что он приехал на передовую по своим делам, а дивизия неожиданно была окружена и целиком оказалась в плену. Имя его я не помню, а отчество: Петрович.

Его торговая карьера началась в ранней молодости в магазине Елисеева, где он служил сначала учеником, а затем — продавцом. Торговлей он занимался всю жизнь.

Учеба на продавца у Елисеева осуществлялась очень строго. Продавцом мог стать только тот ученик, который мог от толстой чайной колбасы нарезать на 100 грамм 12 ровных ломтиков или завернуть сметану, вероятно, достаточно густую, в пергамент, сделав из него домик-корзиночку.

Разумеется, кроме этих, чисто профессиональных, обязанностей, которые касались и рыбы, и фруктов, и вин, были и другие требования: вежливость, учтивость, быстрота, выносливость. Взамен ученики могли есть «от пуза», и в кранике всегда было горячее какао.

Конечно, разговоры о продуктах и еде занимали нас в то время необычайно.

Полуостров Ханко — наша бывшая морская база.

Между тем нас из этого пересыльного лагеря в г. Хельсинки перевезли в большой лагерь на полуострове Ханко, на берегу Финского залива.

Это была наша военно-морская база, арендованная нами у Финляндии после войны 1939 г. На этой огромной базе, превращенной в лагерь, разместилось около 6000 пленных. Здесь же были и «старые» пленные — моряки, служившие на этой базе, и другие, попавшие в плен в 1941–1943 гг.

Судьба моряков этой базы трагична. Война с немцами началась 22 июня, а база на Ханко держалась до 3 декабря 1941 г., когда фашисты были уже под Москвой.

3 декабря моряков решили эвакуировать в Ленинград, что было предприятием почти невыполнимым. Для этого было выделено два теплохода: «Сталин» и «Молотов». Сколько моряков помещалось на каждом, не знаю. Оба теплохода подорвались на минах у берегов Эстонии. Моряки начали спасательные операции и, в большинстве, не считая погибших, оказались в воде (это третьего-то декабря!). Матросы, у кого еще остались силы и здоровье, стали выплывать-выходить на берег. Неожиданно с берега открыли шквальный огонь. Кто остался в живых, попали в плен к эстонцам и были помещены в

эстонскую тюрьму. Понятно, что это были самые сильные физически и стойкие нравственно моряки. В тюрьме они пели «Интернационал». Вскоре их переправили в Финляндию, на свою же военно-морскую базу, где они служили. Но теперь это был концентрационный лагерь.

Как говорили сами моряки, у них на базе были припрятаны кое-какие съестные припасы и им удалось физически продержаться зиму 1941/42 г. Потом некоторых взяли на работу фермеры — этим было полегче. Остальные работали на разных работах.

Удивительно, что моряки были совершенно лишены информации: они были уверены, что с Москвой и Ленинградом произошло самое худшее, не знали, что наступил перелом в войне и что наша армия наступает по всем фронтам. Для них последними новостями были: Ленинград в осаде, немцы у Москвы. Новости, которые они узнали от нас, просто ошеломили их. Так лихо они были распропагандированы.

Вот в этот огромный фильтрационный лагерь стали свозить со всей Суоми, из разных лагерей (сколько же их было?!) пленных. Здесь происходило распределение очередности отправки на родину.

Здесь же проводилась самая ожесточенная пропаганда как с той, так и с другой стороны. Появились белогвардейские шюцкоровские газетки на русском языке с антисемитскими статьями. Одну статью я хорошо запомнил. Она касалась драматурга Александра Корнейчука. Под карикатурой был примерно такой текст: «Посмотрите на этот толстый мясистый нос, на эти вывороченные губы...» и т. д. в таком же духе. При этом я не уверен, что Корнейчук был евреем.

Появлялись в лагере и священники. Приехали представители нашей армии, видимо, политработники и контрразведчики. Их цель была — уговорить нас вернуться на родину.

Они прекрасно знали, что пленным, работавшим на хуторах у фермеров, здешняя жизнь казалась привлекательнее, чем у нас в колхозах.

Известно, что старосты во всех лагерях назначались из хорошо «зарекомендовавших» себя пленных. Эти цепные псы были самыми свирепыми и жестокими исполнителями всех приказов администрации.

Некоторые из этих старост, по злой воле своей судьбы, оказались в этом лагере среди тех, над кем они вволю поиздевались за эти два-три года. Благодаря рвению этих старост многие навсегда остались в земле Суоми, в братских могилах.

Тех старост, которых удалось распознать, предавали суду, скорому и, на взгляд потерпевших, справедливому. Администрация лагеря, зная о самосуде, тем не менее ни во что не вмешивалась.

Огромный барак с трехэтажными нарами. В центре — свободное пространство 20–30 кв. м (как в Нараярви). Там стоит большой стол и сидят судьи, в основном моряки. Все три яруса нар забиты до отказа. Внизу, на первом «ярусе», на ближайших к столу нарах, бренчит импровизированный оркестрик: гитара, мандолина и балалайка.

Репертуар самый примитивный: «Светит месяц», «Ты, моряк, красивый сам собою» и т. п.

На мандолине играет Ваня Волюнец. Это имя на долгие полтора года прикипело ко мне.

Я оказался в этом лагере единственным евреем, да еще десантником. На меня, как на чудо, приходили смотреть и из других бараков. Конечно, если бы немецкий контингент не ушел на север Суоми (по слухам, защищать оловянные рудники в Петсамо), — «меня бы тут не сидело».

Итак, оркестрик играет, а на середину барака вызывается очередной староста.

— Кто знает этого человека? Один за другим на свободное пространство протискиваются люди, потерпевшие от лютой старосты. Его обвиняют, он защищается, отпирается, суд решает.

Приговор почти всегда один — смерть. Шесть моряков поднимают старосту вверх на вытянутые руки и с размаху бьют об пол, поднимают еще раз и еще раз и — об пол, и об пол. И, бездыханного, — под нары.

Вызывают следующего.

— Кто знает этого человека?

Оркестрик продолжает играть...

В гигантском этом лагере существовала небольшая столярная мастерская, где пленные, умевшие столярничать, изготавливали различные сувениры. Материалом служила, главным образом, карельская береза с очень красивой текстурой. Это были бруски или шпон.

Так как некоторое время мы в лагере шатались без дела, будучи предоставленными сами себе (допросы не велись, суды были вечерами), то я, в силу своего влечения к столярному делу, оказался в этой мастерской. Меня никто не гнал, и я стал помогать по мелочам в изготовлении всяких поделок. Очень много делали сигаретниц, махорочниц и портсигаров для сигарет.

Здесь я познакомился и даже подружился с одним из мастеров, которому я помогал. Из его запасов я впервые попробовал настоящий финский плавленый сыр, неизвестный у нас. Размер бруска сыра был равен кирпичу, даже несколько больше. Этого мастера звали Керим, и, по иронии судьбы, он был татарин. Таким образом, Ибрагим нас продал (и, если бы Суоми не капитулировала бы, его предательство было бы нам приговором), а другой — Керим — меня откармливал и учил мастерству.

Керим был лет на пять-шесть старше меня, отлично сложен, широк в кости и человек очень доброго, спокойного нрава. Он был моряком и находился в плену с конца 1941 г.

Как память об этой мастерской, у меня долгие годы хранилась деревянная махорочница из карельской березы с «секретным» запором-затяжкой.

Странно, но во всех трех лагерях (хельсинкском пересыльном, Нараярви и здесь, в сборном) я ни разу не видел Бариева. Сашка тоже не видел. Сомневаюсь, что его оберегали финны, как некоего пособника. Они и старшин-то выдали.

Наконец пришло время подготовки к отправке на родину. Фамилии наши были близки по алфавиту: Бариев, Волохин, Волынец, но все мы в скором времени попали почему-то в разные теплушки и были увезены в разные места.

В период подготовки к отъезду была осуществлена экипировка всех желающих. Это был очень гуманный поступок. Моряки, у которых сохранилась довольно крепкая одежда: форменка, бушлат, брюки и ботинки, отказывались надевать финскую солдатскую форму. Тем, у кого одежда изнашивалась, пришлось. Был конец октября, вечерами холодно, и мы, доходяги, в своей изношенной летней форме мерзли.

Поэтому большинство будущих пассажиров теплушек охотно согласились сменить нашу холодную летнюю форму на теплую суконную финскую.

В большой комнате лежало навалом огромное количество всевозможного финского солдатского обмундирования. Ребята примеряли брюки, кителя, ботинки, шинели. Я надел, сверх своей гимнастерки, темно-коричневый китель со стоячим воротником (именно в нем я снят на своем первом «паспорте»-справке, где в графе «откуда прибыл» значилось: из лагерей военнопленных). Это был первый в моей жизни документ.

Выбрал серые суконные брюки, финскую шапочку-фуражку и, по ноге, ботинки с высокими голяшками на двух ремешках. Подобрал короткую и довольно тонкую шинелишку, холодноватую для того климата, куда мне с другими предстояло попасть.

К моему великому удивлению, многие ребята надевали на себя по две пары брюк, два кителя и две шинели. Они бы надели и по две пары ботинок, — не получалось. Но они оказались не такими простаками, как мы, одевшиеся кое-как.

За всем процессом экипировки совершенно равнодушно наблюдали финские солдаты-каптенармусы.

Запомнился мне один парень. Его звали Иван (как меня). У него была сытая красная рожа, светлые соломенные волосы. На ногах — крепкие сапоги рыжей кожи. Про себя я его назвал — краснорожий Иван.

Всю войну он проработал где-то на ферме, где и «наел» себе такую харю. Так вот, он страшно волновался: ехать ли ему домой или не ехать... Эта мысль не давала ему покоя, и он со всеми советовался. Очень колебался — не остаться ли ему в Суоми, где ему было так хорошо. Но очень мало, кому было в плену хорошо, поэтому нечего было ему советовать.

Почему любовь к Отечеству надо обязательно переносить на любое правительство?

А.И.Герцен

Однажды нас построили повзводно, человек по 50 в каждой колонне и куда-то повели. Проходя в открытые ворота лагеря, я брякнул, именно брякнул: «Ох, ребята, попадем мы из ворот в ворота». Но милый друг Суетин, Неугомонный наш, Тогда же все приметил И взял на карандаш...^[65]

Владимир Высоцкий знал, вероятно, что в каждом отделении Красной Армии должен был быть стукач. Но кто же мог подумать, что в обычной колонне пленных, людей одной непростой судьбы, тоже найдется такой профессионал?! Возможно, такой стукач попал в плен в составе своей дивизии и, по привычке, продолжал свою работу, надеясь на последующее снисхождение.

Удивительно, но в сборном лагере на п/о Ханко я совершенно не помню, что делали Сашка Волохин и Боря Ермаков. Я уж не говорю об исчезнувшем Ибрагиме.

А между тем нас всех распределили по алфавиту А-Б-В-Г и т. д. и в один прекрасный день погрузили в теплушки, согласно фамилиям. В «моей» теплушке, однако, не оказалось ни Волохина, ни Бариева. Вероятно, они попали в другие теплушки.

Итак, мы поехали на Родину. Кончился плен.

Попал в плен я 7 августа 1944 г., 4 сентября Финляндия капитулировала. Но со всеми проволочками я пробыл «за границей» еще почти 2 месяца. Много всего было за это время, но...

Осталось, как всегда, недосказанное что-то...

Двери в «родных» теплушках, в отличие от финских во время поездки по Суоми, были всегда закрыты, хотя верхние окошки-люки — не зарешечены. Не было также откровенно видимого конвоя. Комплектация пассажиров в теплушках производилась по царско-эковскому принципу: 40 человек или 8 лошадей. Короче говоря, нас было много. Двухъярусные нары, в середине, в полу, — дырка для справления малой нужды. Не помню, была ли у нас буржуйка, но было достаточно тепло. Двинулись домой мы 2 ноября. Вероятно, по большой нужде нас все-таки выводили на длительных стоянках. Во время одной такой остановки пленные признали одного прятавшегося и

«несудимого» старосту — Андреева. Это был лютый зверь. Ребята пытались добраться до него — его бы разорвали на куски. Но его куда-то увели под усиленным конвоем. Целый взвод солдат и, в середине, высокий, сутулый, немолодой мужик — Андреев.

Запомнилась мне стоянка на запасных путях в Выборге. У кого-то из ребят я раздобыл обертку от цибика чая и карандаш. Написал «письмо», опять-таки Маришке, о том, что я жив-здоров и прошу сообщить об этом моим родным.

Письмо я сложил треугольничком, по армейскому образцу и, дождавшись, когда по запасным путям пройдут железнодорожники, выбросил письмо в люк-окошко и попросил переслать по адресу. Письмо переслали, Маришка его получила и обрадовала моих домашних. Я обещал им, что напишу подробное письмо, когда прибуду на место.

Но куда нас везли, не знал никто. Ехали мы очень долго. Становилось довольно холодно.

На одной остановке, нам казалось, что мы будем здесь стоять долго, так как вроде бы меняли паровоз, мы решили послать кого-нибудь к станции за кипятком. Самым молодым и «спортивным» оказался, по их мнению, я. Я вылез в люк, прыгнул на землю и, получив от ребят какую-то емкость, побежал к станции. Во время войны на каждой станции, разумеется, не разрушенной, обязательно было налажено обеспечение кипятком. Это вменялось в обязанность железнодорожникам, так как никаких буфетов не существовало.

Набрав из большого крана кипятка, я подошел к своей теплушке и передал ведро или котелки в люк. После этого я хотел сам взобраться в свое узилище. Но тут ко мне подошел конвойный солдат и обвинил меня в самовольном оставлении своего «вагона», что можно было квалифицировать как попытку «побега».

В качестве наказания я был водворен в последнюю в составе пустую теплушку. «Теплушка» оказалась «холоднушкой». Это был своеобразный холодный карцер на колесах.

Меня заперли, состав тронулся, и я начал замерзать. Как мы потом высчитали, это произошло где-то в районе Урала, а там начало ноября — начало зимы. Я был даже без шинели и, чтобы согреться, стал бегать по своей «теплушке» — сначала кругами, потом — выписывая восьмерки в прямоугольнике пола. Часа три или четыре, до следующей остановки, я занимался этой вынужденной не очень «легкой» атлетикой. На следующей стоянке меня снова перевели в «родной» вагон. Пассажиры оценили мою жертву — я попил горячего чайку.

Ехали необыкновенно медленно. В пути «встретили» праздник Великого Октября и 11 ноября прибыли, наконец, к месту назначения.

Это был небольшой шахтерский городок, а скорее, поселок Судженка (когда-то — Судженские копи)^[66]. Для местных жителей мы именовались «репатриированные», для советской власти — «изменники Родины». Мы, конечно, понимали, что с таким гигантским потоком «возвращенцев» очень соблазнительно и легко забросить и внедрить своих людей — шпионов, поэтому неудивительно, что впредь нами должен был заниматься Смерш (Смерть шпионам).

Разумеется, мы тогда не знали <...> о том, что почти во всем мире пленных встречали цветами. Наш прием никого не удивлял.

Нас поселили в каком-то бараке, и немедленно к нам стали приходить вербовщики. Я сбился со счета, который это был барак в моей жизни, но это был «наш» барак, советский. Впрочем, он тоже был за ключей проволокой.

Вербовщики рассказывали нам про устройство шахты, про различные шахтерские профессии, про технику безопасности и прочие специфические подробности. Ликбез длился два-три дня.

Конечно, при ручной добыче (ударение на первом слоге) угля рабочих на шахте всегда не хватало. Орудия труда: кайло, лопата и топор.

За эти несколько дней я подружился с Колей Голиковым, бывшим речным капитаном (он водил суда по реке Свирь). Он был на несколько лет старше меня. Разобравшись с профессиями шахтеров, которые не требовали специального образования (специалисты: электрики, механики и пр.), мы решили выбрать главную профессию на шахте — стать забойщиками.

Нас записали в забойщики. Обучения — никакого, научитесь по ходу дела, в работе. Инструменты: кайло для отбивки угля от пласта и топор, при помощи которого сам забойщик из деревянных лесин сооружает крепление той части выработки, которую он сам «отбил». Весь добытый уголек надо было лопатой, которая оставалась в лаве и не носилась «на-гора», отбросить на столько метров, чтобы уголь угодил в «печь» — наклонный узкий штрек, который вел к узкоколейке.

Шахта № 5/7, куда мы попали, вела разработку огромного, 15-метровой толщины (мощности), крутопадающего пласта, довольно мягкого, сыпучего спрессованного угля. Отбивать его было сравнительно легко — по структуре он был похож на слежавшийся под огромным давлением сырой песок. Но он был монолитным и сухим.

Мощный крутопадающий пласт «выбирали» горизонтальными слоями по 3 метра высотой. Эти выработки надо было закреплять и затягивать все щели «затяжками» — плоскими досками размером 1-1,5 метра. Создавался сплошной щит от стойки до стойки, через который иногда сыпался уголек, оставшийся в верхнем, выработанном слое. Так как пласт был наклонный, то верхняя лава была несколько смещена по отношению к нижней, но опасность обвала всегда присутствовала.

Лава всегда была горизонтальной, и отбитый уголек надо было «долопатить» до «печки». Из одной кучки угля мы с Колей бросали уголь в другую кучу метрах в двух, потом — в следующую, и так — до «печи». Сброшенный в печь, уголь скользил по неподвижным корытообразным решатам вниз, в откаточный штрек, где грузился в вагонетки, отвозился к стволу и поднимался «на-гора».

Наше практическое обучение началось не с работы кайлом, а с навалоотбойки, то есть перелопачивания огромного количества угля, перемещая его до крутой печи.

В лаве работали около десяти человек: опытные забойщики, собственно и добывающие уголь, молодые ребята и девочки-навалоотбойщики, перелопачивающие за смену десятки тонн угля, и крепильщики.

Нас с Колей Голиковым поставили к большой груде угля с задачей — перекидать его в печь, находившуюся в 1,5–2 метрах.

Мы горячо взялись за лопаты и лихо начали бросать уголь в печь. Однако, к великому нашему удивлению, груда наша не уменьшалась в объеме, а увеличивалась.

Когда мы устали и решили немного передохнуть, то впервые воспользовались нашими фонариками на касках, чтобы оглядеться. В лаве было, конечно, темно. Единственные источники света — фонарики на касках. К стыду своему, мы увидели, что в нашу груду бросала уголь из более дальней кучи одна худенькая девушка. Она одна накидывала нам столько угля, что мы вдвоем не могли справиться с этой массой.

Она работала методично, спокойно, вроде бы не торопясь, но результат ее труда был удивителен. Лопатка ее сияла, как зеркало, — уголь был сухим, жестким и отшлифовал железо до блеска.

Постепенно мы познакомились с бригадой. Выяснилось, что на этой шахте работало много немцев Поволжья. В основном молодые ребята и девочки. «Нашу» девочку звали Нюра, дома она недавно окончила 10 классов. (Поголовно все немцы Поволжья были переселены в Сибирь и Казахстан.)

Жили они вроде бы свободно, но в некоей зоне и без права выезда.

С Нюрой у меня завязался «шахтерский» роман, так как видеться мы могли только в шахте, на работе. Роман, естественно, был платоническим, так как проходил в постоянном окружении шахтеров всей бригады.

Нюра была симпатичная курносенькая девочка, весьма начитанная, прекрасно говорившая по-русски (значительно лучше многих русских). В этой же бригаде работало еще несколько немцев-ребят Нюриного возраста. Как-то «застукав» наш с Нюрой поцелуй (двух измазанных угольной пылью физиономий), эти ребяташки начали подтрунивать над Нюрой.

Однако на нее это совершенно не действовало. Может быть, молодые немцы интуитивно почувствовали во мне еврея, хотя и с

именем Иван, а скорее всего просто завидовали: для их сообщества я был чужой.

Мы с Колей Голиковым достаточно долго продолжали оставаться дистрофиками. Отсюда и наша слабая работа лопатами.

Как-то Нюра принесла в лаву большую металлическую банку с крышкой. Во время краткого отдыха она открыла эту банку и передала ее мне. Внутри была алюминиевая ложка, которая торчала в мятой картошке-пюре. Банка была емкостью не менее одного литра. После лагерной баланды пюре казалось необыкновенно вкусным. Подкормка продолжалась много дней, чем Нюра ежедневно доказывала свою привязанность ко мне и полное презрение к мнению окружающих.

Немецкие женщины вообще славятся своей аккуратностью и домовитостью. Интересно мысленно проанализировать развитие событий моей жизни, если бы я связал свою судьбу с этой девочкой. Наверняка мы бы на долгие годы остались жить в этом рабочем поселке, может быть, нам удалось бы продолжить свое образование в горном техникуме (тут же, при шахте), если бы появились дети, тогда «привязанность» к этому региону оказалась бы просто непреодолимой.

Я не знаю, в каких условиях жили эти молодые, выселенные из Поволжья немцы, но мы помещались в настоящем, опутанном колючей проволокой, лагере — с вышками на углах, с утренней и вечерней поверками, с хождением на шахту строем, под конвоем, т. е. со всеми предписанными правилами по охране заключенных. Как тут не вспомнить пророчество: «из ворот — в ворота».

Представляю, как бесновался красномордый Иван, когда вместо сладкой жизни на финском хуторе попал в эти, далеко не сахарные, условия. Как он проклинал себя за свое решение — вернуться на Родину.

Лагерь от шахты находился довольно далеко, поэтому подъем был ровно в 6.00, чтобы к 8.00 успеть на «наряд» в шахтерском участке, где распределяется работа.

После подъема — завтрак. Кислая капуста из бочек служила основным источником питания. Из нее варилась бурда под названием «щи». Таких щей наливали одну тарелку и к ней — пайку хлеба. Эту пайку, грамм 300, я обычно разминал, крошил и размешивал в тарелке вместе со щами. Эту полубурду-полукашу я и съедал.

После завтрака — построение, как обычно в лагере. Длительная, многократная переключка на сибирском декабрьском морозе (а мы одеты не по-зимнему) и, наконец, команда: шагом марш! Скорее бы — на шахту, там все-таки теплее.

На шахте нам выдали новые спецовки белого брезента, брюки, каски и чуни — резиновые калошки без матерчатой подкладки. Наматываешь портянки, чуни привязываешь веревками. Под грубые брезентовые брюки надо было обязательно что-нибудь поддеть (труссы

— летом, кальсоны — зимой). Под курткой у меня была надета советская гимнастерка, может быть даже, моя родная.

Неприятность заключалась в том, что аккумуляторы, которые нам выдавали, были щелочными, их зарядки, даже полной, хватало лишь на 8 часов. Но аккумуляторы были изношены и полную зарядку просто «не держали». В шахте, с момента включения фонарика, мы находились часов 9-10, так что в конце смены нередко становились почти «слепыми».

Вторая неприятность: щелочь вытекала из банки аккумулятора и разъедала куртку, брюки, рубашку и добиралась до кожи. Очень скоро наши новенькие спецовки превратились в темно-серые лохмотья с дырками, разъеденными щелочью.

Глубина нашего горизонта на этой шахте была 200–400 метров, но от ствола до лавы было около трех километров. Так что после подъема в 6.00 до места работы мы добирались к 8.30-9 часам.

В Судженке, как и в других рабочих поселках, личным часам не доверяли. Еще с дореволюционных времен (поневоле вспомнишь «Мать» Горького) весь поселок будили шахтерские и фабричные гудки. К первой смене (к 8.00) гудели в 6.00, ко второй (к 16.00) гудели в 14.00, к третьей смене (к 24.00) гудели в 22 часа. Вот по этим гудкам и жил весь городок.

Собственно, рабочий день длился 7–8 часов, пока не приходила следующая смена, которую было видно, если ты в прямом штреке, издали по ярким фонарям свежих аккумуляторов. К стволу мы шли очень медленно, так как у некоторых фонари совсем не светили. Слабенько горевшие фонари мы держали в руках, сняв их с касок, и светили прямо себе под ноги. Яркие фонари свежей смены просто ослепляли нас.

Итак, надо было дойти до ствола, подняться «на-гора», сдать аккумулятор, помыться в душе (не оставляя под глазами темных кругов от въевшейся угольной пыли), переодеться, совершить построение, пройти перекличку и только после этого двинуться колонной в лагерь.

В лагере мы снова получали такую же бурду, что и утром. Это был обед и ужин. Очень усталые, мы буквально валились на свои матрасы — мешки, набитые соломой, — и засыпали «богатырским» сном.

Смерш.

И вот тут вступал в работу Смерш. За ночь обязательно несколько человек вызывали на допрос. А ведь этим ребятам завтра (вернее — сегодня) опять вставать в 6 утра и на работе быть предельно внимательным (опасно — чуть зазеваешься — и привет).

В одну из ночей дошла очередь и до меня. Допрашивал младший лейтенант, абсолютно зеленый и необстрелянный юноша.

Дай бог, чтобы моя страна
Меня не пнула сапожищем!..

Е. Евтушенко

А она пнула! И не только меня — миллионы. Сколько лет будет вычеркнуто из жизни каждого из них? Лучших, неповторимых лет! Скольких недосчитается страна уже после войны?! Ученый Бестужев-Лада просчитал, что, помимо прямых потерь войны, мы недосчитались 300 миллионов нерожденных.

Конечно, задачи Смерша вполне понятны: при возвращении на Родину нескольких миллионов пленных и угнанных можно было легко забросить массу шпионов. «И пряников сладких всегда не хватало на всех». До цветов ли тут было? Проще всего — в лагерь, и спокойно фильтровать. Да еще бесплатные рабочие.

Кроме того, негласный, но почему-то всем известный лозунг: «Лучше посадить сотню невиновных, чем пропустить одного виноватого», — действовал всегда.

Хотя документы из Суоми были переданы нашим органам, но, во-первых, документы можно было легко фальсифицировать, чтобы забросить «своего» человека, а во-вторых, один неверный ответ на допросе мог повлечь за собой 25-летний срок «у черта на рогах».

Один из первых подлых вопросов, заданных мне, был такой: «Это правда, что вы сказали: ребята, попадем мы из ворот в ворота»?

Хотя мое предсказание сбылось в точности, я категорически отказался от этих, приписываемых мне, слов. В одну из следующих ночей приступили к подробному допросу всей моей жизни, интересуясь главным образом моей службой в армии. Призыва в РККА, учебы в училище, службы в десантных войсках, фронта, десанта, плена, поведения в плену... вплоть до Судженки.

Когда я начал рассказывать непосредственно о десанте, «продвигаясь» по маршруту день за днем, это так заинтересовало всех смершевцев, что вся ночная смена следователей, включая подполковника, собралась меня слушать.

Конечно, все эти люди всю свою «военную» жизнь находились далеко от фронта и, занимаясь совсем другими делами, были заинтересованы в узнавании чисто военных, фронтовых эпизодов.

Особенно их заинтересовал эпизод, когда мы «ели» несколько раз отваренную березовую кору. Кто-то из смершевцев с радостью вспомнил, что смотрел фильм «Март-апрель», где герои с удовольствием питались отварной березовой корой. Этот следователь был так счастлив, как будто сам побывал в той, кинофильмовской, разведке. Я тоже видел этот фильм, снятый по рассказу В.

Кожевникова, и тоже восхищался красивой радисткой в исполнении артистки Измайловой, а также героическими действиями всей разведгруппы. Собственно, из этого фильма я и почерпнул знания о питательных свойствах березовой коры.

В то время рассказ Эммануила Казакевича еще не был экранизирован, а когда фильм «Звезда» вышел на экран, то никакой трагедии не оказалось — все разведчики остались живы. Более полувека понадобилось, чтобы уже в другой стране снять правдивую трагедию «Звезды».

Мне пришлось разочаровать следователей. Я им рассказал, что тоже восхищался фильмом «Март-апрель», но, к сожалению, к реальной жизни это не имеет никакого отношения.

В фильме актеры ели размоченные галетки, а натуральную березовую кору, даже отваренную семь раз, прожевать не было никакой возможности. Рассказал им и о «глушении» рыбы, и о попытках каннибализма, и, разумеется, о подлом поступке Ибрагима. Все аккуратно записывалось, но на какой бумаге, я не запомнил (думаю, что не на такой добротной, как в Суоми).

В общем, следователи отнеслись ко мне вполне лояльно, хотя на освобождение из лагеря это никак не повлияло.

Я продолжал работать на шахте № 5/7 забойщиком. Постоянные удары кайлом, без привычки, «набили» мне какой-то внутренний нарыв внутри ладони правой руки. Нарыв прорвался в совершенно необычном месте: там, где сходятся, сжимаясь, средний и безымянный пальцы. Несколько дней я бюллетенил, затем — снова на работу.

Зима 1944 г. была в полном разгаре, и все мы постоянно мерзли. Простуда не обошла и меня, но выразилась она во внутреннем фурункуле над правой лопаткой. При вскрытии в медпункте гной из нарыва брызнул струей на халат медсестры.

И третий болезненный случай произошел со мной в бане. Поскольку после каждой смены мы мылись в душе, то настоящую баню нам в лагере устраивали довольно редко.

Коллективное мытье имеет свои плюсы и минусы. Когда народу много, всегда есть знакомые, найдутся и те, кто потрет тебе спину, и, кроме того, всегда можно сравнить свое телосложение с фигурами других дистрофиков. (С выводами, разумеется, в свою пользу.)

В тесном предбаннике с мокрым, скользким полом находилось углубление размером 1 куб. метр. С крутой лестницей, ведущей к печке, которая обогревала банное помещение.

Народу всегда было много, и нередко кто-нибудь оступался и «гремел» по лестнице вниз или летел в свободном падении. Я, разумеется, был не первым, упавшим в углубление истопника, но, в отличие от моих предшественников, ухитрился прислониться голой мокрой спиной к раскаленной чугунной дверце печки.

Раздалось шипение, я сразу даже не понял, что случилось (думал — просто упал), но боль быстро вернула мне ощущение произошедшего.

Печная дверца была изготовлена на местном заводе «имени Второй пятилетки», что и было зафиксировано на ней в виде выпуклых чугунных букв. Эмблема завода-изготовителя очень четко, хотя и болезненно, отпечаталась на моей спине. Правда, в зеркальном исполнении. Еще много месяцев эта надпись отличала меня от других репатриантов. Таковы три моих кратких больничных эпизода за 4,5 месяца пребывания в нашем родном концлагере.

Между тем многие из тех, кто прошел госпроверку Смерш, стали выходить «на свободу», а я, допросы которого давно прекратились, все еще оставался в лагере. Те, кто госпроверку не прошел, исчезали в дальних, более строгих лагерях, обремененные серьезными сроками заключения. В их числе я, естественно, не хотел оказаться.

Однажды, где-то в начале весны, я спросил у следователя, который меня «вел», почему до сих пор мне не разрешают сдать матрас? «Сдать матрас», на котором спишь, то есть вытряхнуть из него соломенную труху и отнести мешок на склад, означало одно: ты более не заключенный и выходишь из лагеря. Правда, свобода была относительная — все мы были невыездные. Мы были крепостными, прикрепленными к шахте.

В эти годы Донбасс еще только начинали восстанавливать, уголь добывали только в Кузбассе и Караганде, причем в основном с помощью ручного труда заключенных. Поэтому рабочей силы, да еще бесплатной, требовалось много.

Следователь мне ответил (хотя мог и не отвечать), что мои ответы на допросах не совпадают с показаниями Ибрагима Бариева. Естественно, показания и не могли быть одинаковыми: ведь мы наверняка «оценивали по-разному» поведение Ибрагима в плену.

«Смершевы» ожидали получения показаний Сашки Волохина из Донбасса. «Как только показания поступят к нам, — сказал он, — мы будем решать, что с вами делать». Разумеется, я надеялся, что Сашкины показания совпадут с моими: так оно впоследствии и произошло. Но каждый лишний день за колючкой здоровья не прибавляет.

На шахте между тем, и именно в нашей бригаде, появились два новых паренька. Они спустились в лаву в новеньких белых спецовках, еще не измазанные углем, чистенькие и немного робевшие.

Мы уже давно считали себя «обстрелянными» шахтерами. Наши спецовки превратились почти в лохмотья, прожженные щелочью аккумуляторов, и в глазах новичков мы выглядели не лучшим образом.

Один из новичков, Коля, был стройный парень моего возраста, светловолосый, сероглазый, с удлинённым породистым лицом. Второй, Петя, был попроще, курносенький, видно, что не городской. Оказалось, что это власовцы.

Хотя мы работали бок о бок, но конфронтация между нами сохранялась все время. Иногда мы вели жаркие идеологические споры. Но какие бы доказательства необходимости госпроверки Смерш мы ни приводили, на один Колькин вопрос у нас не было ответа. «Я, — говорил Колька, — люто ненавижу советскую власть, вы ее обожаете, воевали за нее, защищали ее. Почему же мы с вами оказались в одном месте?»

И хотя в то время у нас не было ответа на его вопрос, некоторое время спустя жизнь все расставила по своим местам. Если нас, пленных, считали изменниками, то власовцев — активными врагами. И они вдруг исчезли. Больше я их не видел. Да, власовцев у нас тогда не жаловали.

Колонны шахтеров-репатриантов начали редеть: многие вышли из лагеря. Но все равно бредущие строем, плохо одетые и усталые уже с утра эти рабочие под конвоем представляли жалкое зрелище. Кроме того, эта финская форма...

Как только была разрешена переписка, я, кроме писем домой, стал посылать, одно за одним, письма по адресу: Москва, Кремль, Сталину, в которых просил меня отправить на фронт. Никто из нас, насельников лагеря, не знал, сколько еще продлится война, и поэтому я был в надежде, что моя помощь пригодится. Однако стране нужен был уголек, а на фронте дела шли неплохо: Берлин было приказано взять, не считаясь с потерями, к 1 мая. И не считали потерь, и взяли Берлин к празднику. А что положили 400 000 солдат — кого это волнует. Так что обошлись без меня.

Но тогда, в середине апреля, когда мне разрешили «сдать матрас», мы ничего этого не знали. Значит, показания Сашки Волохина наконец пришли, и их данные совпали с моими.

«Свобода», или Шахта № 9/15.

...Выйдя на «свободу», я был направлен в соседний рабочий поселок Анжерку, примерно в пяти-семи километрах от Судженки. При всей радости свободы, мне было жалко только потери возможности видаться с Нюрой, так как встречаться мы могли только в шахте, а покидать Судженку им было запрещено.

Я был «определен» на местную шахту № 9/15 треста Анжеро-уголь, комбината Кемеровуголь.

Тут я получил свой первый, после плена, документ. Откуда прибыл? — Из лагерей военнопленных. Где работает? — На шахте № 9/15. Кем работает? — Забойщиком.

И печать с подписью. Первый документ — не шутка, это подтверждение некоторой реабилитации. Кроме того, — на нем

фотография худого изможденного мальчишки, подстриженного под полубокс.

Все, переведенные в Анжерку, жильем обеспечены не были и должны были разместиться в частном секторе.

Так закончился еще один кусок моей жизни, обрамленный колючей проволокой двух государств.

«И осталось, как всегда, недосказанное что-то...»

Большинство шахтерских поселков того времени были очень похожи друг на друга прежде всего своей резко пересеченной местностью. Все они построены прямо над залежами угля, а так как уголь постепенно выбирается, то над этими пустотами, хотя и «частично» забуртованными породой, почва постепенно опускается. В некоторых местах Анжерки даже образовались довольно глубокие озера.

Не выбирался уголь только под каменными строениями, чтобы они не были подвержены разрушению. Никто не думал о будущем, когда каменных строений станет много. Основное жилье — обычные сибирские деревянные избы и, разумеется, неистребимые бараки.

Кроме того, шахтерские поселки всегда окружены терриконами — высокими (до 150 метров) холмами, состоящими из выбранной и поднятой «на-гора» породы (от проходки ствола и основных электровозных туннелей) и остатками дымящегося угля. Терриконы всегда дымились — уголь самовозгорался и тлел.

У одного из немногих кирпичных домов поселка, кажется, горкома партии, собралась небольшая группа людей, сплошь одетых в серую финскую военную форму. Вокруг, присматриваясь и выбирая себе постояльцев, медленно ходили женщины. Со стороны это, вероятно, напоминало рынок рабов.

Здесь вообще никогда не видели вражеской военной формы, поэтому бывшие пленные тем более казались чужими. Женщины очень внимательно присматривались к чужим людям. Кто-то из них искал помощника в огородных работах, кто-то, откровенно, мужа, кто-то — сына. А кому-то просто необходима была помощь от шахты. Ведь шахта выделяла тонну отопительного угля за постояльца. Не помню только — в месяц или в год. А может, только зимой. (А зима — длинная.)

Кроме того, шахтер получал 1200 гр. хлеба в день, 4 кг мяса, 1 кг масла, крупы, сахар и т. д. (это в месяц).

Ко мне подошла немолодая женщина лет 45 и предложила поселиться у нее. Мне было абсолютно все равно, где жить, поэтому я согласился. Вероятно, оформлялись какие-то документы, затем мы направились к моему новому свободному пристанищу. Адрес: ул. Пятилетки (как у меня на спине), д. 46.

Это был обычный деревенский дом: сени, две комнаты, хлев с коровой, огород. От шахты примерно 2 км.

«Здравствуйте, дорогие мама, папа и братишка Боря!» Так начинались все мои письма домой. Другой адресат — наш вождь. Просьба: отправить меня на фронт. «Ждите ответа». В течение апреля 1945 г. я послал в Кремль четыре или пять писем. Естественно, в ответ — ни слова.

Хозяйку звали Мария Ивановна Бедрина. Неподалеку, на этой же улице, жила ее старшая сестра Агафья Ивановна. Муж Марии Ивановны в начале войны был трудомобилизован в Новосибирск, где работал на авиазаводе. По его словам, даже при сборке авиамооторов рабочие иногда пользовались методом кувалды, подгоняя неточно изготовленные детали. Нетрудно себе представить летные качества этих машин.

Андрей Александрович Бедрин (к тому времени уже вернувшийся домой), мужчина высокий, костистый, сильно пьющий, занимался тем, что возил не кого-нибудь, а самого начальника всех местных лагерей военнопленных. Зимой он запрягал лошадь в маленькие сани-кошевку, летом — в одноконный тарантас.

Начальник, кажется, имел звание полковника. Со своим кучером, Бедриным, его связывала обоюдная неистребимая любовь к водке.

Марии Ивановне было 46 лет. Ее сын, примерно моего возраста, служил в армии на Дальнем Востоке. По-моему, я жил у Бедриных на полном пансионе, так как не помню, чтобы еще где-то питался. Это означает, что все мои карточки были отданы хозяйке и она сама их отоваривала. Зато я самовольно брал из погреба крынку с молоком и пил без ограничения. Впрочем, как я питался, толком не помню, а спал я у самой двери в проходной комнате. Так как на шахте я сильно уставал, то бессонницей не страдал: дверь из сеней могла открываться, закрываться — я ничего не слышал.

Шахта № 9/15 была более современная, чем № 5/7, но условия труда здесь были гораздо труднее.

Во-первых, она была газо— и пылеопасная. И угольная пыль, и метан взрываются от малейшей искры. Все механизмы, от телефона до электромотора, были в герметичных корпусах. Вентиляция здесь была свирепая: постоянно ходили контролеры, «десятники по вентиляции», со старинными лампами, показывающими наличие метана, ходили непрерывно. Пламя лампочки меняло свой цвет в присутствии газа.

Многие штреки были перегорожены плотными деревянными открывающимися воротами, при помощи которых регулировали воздушные потоки. Мощные вентиляторы гнали с «гор» сильный ветер. Зимой с температурой до минус 50 градусов, летом — жаркий воздух, и было душно. На холодных сквозняках было несложно простудиться.

Во-вторых, — и это было главное, — добыча велась на крутопадающем пласте с падением крутизны 74° при мощности пласта 3 м 20 см. Уголь крепкий, коксующийся, почти антрацит. Шахта в сутки выдавала до 5000 тонн угля.

По стволу шахты спускались и поднимались клетки — шахтерские лифтовые кабины. В клеть набивалось человек 20. Стояли так плотно, как сельди в бочке. Если ты оказывался рядом со знакомой девицей из твоего участка, можно было, не теряя времени, пообжиматься.

Клеть опускалась на рабочий горизонт, то есть глубину вырабатываемого пласта. В некоторых шахтах было по несколько рабочих горизонтов (как располагались пласты).

Наш горизонт — 200–300 метров от поверхности. Из клетки — выход в квершлаг — просторное бетонированное, хорошо укрепленное пространство, похожее на начерно выстроенную станцию метро, еще без отделки.

Здесь находится диспетчерская, и сюда электровозы подвозят двухтонные вагонетки с углем. Эти вагонетки поднимают «на-гора» в тех же клетях. Наверху их разгружают при помощи опрокида, спускают на горизонт, и этот порожняк снова гонят к лавам.

<...>

В начале 1946 г. я стал лесодоставщиком, в обиходе — лесоташником. Единственным инструментом в этой профессии была толстая (диаметром 15 мм) скоба. Один ее конец был круглым (для руки), другой — остро заточенным и загнутым как клюв, для врубания и захвата бревна. При условии, что это лето и древесина не замерзшая. Зимой в обледенелую лесину скоба не врубалась. Приходилось просто обхватывать эту ледяную глыбу и, волоча ее на себе, медленно и осторожно спускаться по стойкам до нужного места. Хотя эта работа была нелегкая, я с ней справлялся очень хорошо, да и ладонь от кайла не болела.

В это время я уже мог считаться довольно опытным шахтером. Хотя я щеголял в натуральной рванине — моя спецовка была прожжена с двух боков и изношена донельзя. Зато лицо до конца смены оставалось чистым. Первый показатель новичка-шахтера — это грязное, все в угольной пыли, лицо. Когда во время работы потеешь, очень хочется вытереть лицо рукой, но руки — черные от угля, и ты воздерживаешься.

А новичок постоянно вытирает лицо то рукой, то рукавом и к концу смены становится чумазым как... шахтер. Так что отличить новичка легче легкого. Оказалось, что определенная элегантность есть и в рванине.

Несмотря на то что по общенародным меркам карточки шахтерских норм были значительно насыщеннее, чем у рабочих, работающих на поверхности, тем не менее нам на каждый рабочий день полагался так называемый доппаек — ведь обеденного перерыва (в течение «смены» от 6.00 до 18.00) не было.

Доппакет состоял из 50 граммов сала и 100 граммов черного хлеба. Это выдавалось по талонам. Можно было сохранить два-три талона и получить сразу, например, 150 граммов сала и 300 граммов хлеба. Все это съедалось в шахте, причем сало держалось черными от угля руками и все становилось черным. Однако это никого не смущало — сало с угольной пылью было таким же вкусным. В такой искаженной форме сбылась моя мечта, задуманная в плену: «Если останусь жив, после войны — сало с салом буду есть». Вообще угольная пыль заменяла нам и йод, если появлялась ссадина или ранка. Потом эта ранка оставалась на всю жизнь, правда — синего цвета. У многих шахтеров были такие синие отметины в разных местах.

Вечная беда была с аккумуляторами: в конце смены лампы едва светили и идти к стволу было сплошное мучение. Идешь как слепой. Светишь себе под ноги, чтобы не упасть. Новая смена ослепляла нас своими ярко горевшими фонарями. Приходилось щуриться.

В один из дней при встрече в штреке с новой сменой я вдруг услышал: «Марык! Марык!» И ко мне как ни в чем не бывало подошел Ибрагим Бариев, надеясь, видимо, что я буду так же рад нашей встрече.

Я мгновенно взбесился, выхватил топор, заткнутый за пояс за спиной, и погнался за Ибрагимом. Меня схватил какой-то человек из свежей смены, обнял, другие отняли топор. Я никого не узнавал: яркие фонари ослепляли. Ибрагим убежал. Державший меня человек осветил себя своей лампой, и я узнал одного из моряков, знакомого еще по полуострову Ханко (между прочим, одного из членов «суда»). Помню только, что фамилия его была на «В» — Веревкин или Варавкин. Вообще, сюда, в Судженку и Анжерку, завезли «ванков» с фамилиями на первые буквы алфавита. Я думаю, что, если бы лампа моя горела, я бы погнался за Ибрагимом и — один удар топором, даже не до смерти — и... приличный срок в других местах.

Для меня эта встреча означала многое. Раз Бариев тоже вышел на свободу, значит, его предательство товарищей не бралось в расчет, так как оно ведь не было предательством Родины. Я же оставался при своей оценке, считая его подлецом и предателем. Ведь если бы нас в Суоми допрашивали немцы и татарин Иван Волынец был назван евреем, то его, сиречь меня, не спасло бы то обстоятельство, что я был обрезан. Скорее — наоборот.

Больше я Ибрагима не встречал. Он наверняка умотал домой, в Татарстан. Вообще, размышляя сейчас о поведении Ибрагима и Смерша, я прихожу к выводу, что мною руководила в то время скорее обида на следователей, на их несправедливость, чем на самого Бариева. Ведь из-за его лживых показаний меня продержали в лагере, быть может, лишних два месяца в ожидании показаний Сашки Волохина. Бездарная следовательская работа и полное презрение к судьбе человека.

Предательство Ибрагима как бы оправдывалось. Достойное и подлое поведение в плену, таким образом, уравнивалось.

Я убежден, что если бы Ибрагим на полуострове Ханко не прятался и был обнаружен, то наши с Сашкой показания против него на «суде» могли стоить ему если не жизни, то значительной потери здоровья. А так «поправлял» здоровье я, прожив в лагере с тем самым питанием лишних два месяца. Странно, почему я его не видел в лагере при шахте № 5/7?

Живя у Бедриных, я был совершенно лишен информации: ни газет, ни радио. Даже книг не было.

О нашей победе я узнал от Кати — племянницы Марии Ивановны. Я спал на своей койке возле двери после ночной смены. Катя ворвалась в избу, разбудила меня, стала целовать. Радость была необыкновенная.

Первой моей мыслью была та, что, может быть, теперь нас отпустят домой. Но не тут-то было. Оказывается, существовал негласный приказ: закрепить рабочих на постоянном месте труда, то есть фактически мы уже давно — крепостные.

Для всех в Анжерке, кто меня знал, я был Ваня Волынец. И только начальник участка № 52 на шахте и на ул. Пятилетки, дом № 46, знали меня как Марка Волынца.

Все лето и осень 1945 г. я продолжал работать забойщиком. Моя идея-фикс и тут меня не покидала: я тщился доказать, что евреи могут хорошо работать, наравне с другими шахтерами. Так же, как на фронте, — что евреи могут хорошо воевать.

Результат этих наивных усилий оказался для меня совершенно неожиданным. Бригадир Петр Бондаренко как-то пригласил меня в гости (что также было удивительно) и, представляя своей жене, сказал: «Ось, бачь, — це Ваня Волынец и вин каже, что вин еврэй!»

Никого переубедить, конечно, не удалось, просто меня считали не евреем.

Через два дома от Бедриных жили мать с взрослой дочерью, работавшей кассиршей на нашей шахте. Ее звали Татьяна. Она часто забегала к нам, не скрывая, что я ей очень нравлюсь. Я к ней был не просто равнодушен; она мне активно не нравилась. Однажды я спал после ночной смены в большой комнате с закрытыми ставнями окнами. Иногда мне разрешали там отсыпаться. В тот раз я был разбужен довольно продолжительным поцелуем. Проснувшись и увидев Татьяну, я демонстративно взял крем и помазал себе губы. Ее это нисколько не обескуражило. Более того, она предложила доставлять мне на дом мою зарплату, чтобы зря не стоять в очереди в кассу после рабочей смены. Я не отказался.

Однажды я зашел к ней домой за деньгами, и она с матерью упростили меня немного посидеть у них. Мать принесла мне в кружке какое-то питье. Когда я поднес кружку ко рту, я почувствовал отвратительный запах. Пить я не стал. Марья Ивановна, узнав об этом,

предположила, что вонючая жидкость в кружке вполне могла быть «приворотным зельем».

Судьба Татьяны трагична. Через полгода она вышла замуж, а еще через несколько месяцев муж ее зарезал из ревности.

У Бедриных дома была гитара, и я, зная всего несколько аккордов, в свободное ото сна время брэнчал на ней, импровизируя на почти один и тот же мотив, различные стихи.

Кроме рынка, который считался еще и подобием клуба, я почти никуда не ходил. Рынок находился в центре городка, а я жил ближе к окраине. Но в выходной день можно было прогуляться. В городке очень часто встречались серые финские шапочки, а ближе к осени — шинели. От одного их вида настроение портилось: ходили будто меченые. И хотя все работавшие получали зарплату, а на рыночные продукты тратили не так много, все равно купить себе новую, не репатриантскую, одежду пока не могли.

Я в письме попросил родителей прислать мне обычную телогрейку, так как это была в то время униформа для всего работающего народа.

Всего я получил две или три посылки. В первой же мне предназначались: телогрейка цвета хаки, носки и еще какие-то бритвенные мелочи. Марии Ивановне прислали чулки, о которых тут и думать забыли. Андрею Александровичу то ли табак, то ли папиросы. Мои еще не знали, что я курю, так что курево мы поделили пополам. Были какие-то конфеты и т. п.

Краешек ленд-лиза зацепил и Анжерку. Что именно и сколько всего разного было в гуманитарной помощи, мне неизвестно, но мне лично достались желто-коричневые, толстой кожи ботинки на толстенной (почти 1 см) кожаной подошве. Мои финские ботинки к тому времени пришли к своему финалу. Эти новые были «без сносу». Я был очень доволен моей экипировкой, подготовленной к осени и зиме.

Надо сказать, что в лагерные зоны гуманитарная помощь не предназначалась, а в Анжерке лагерей не было: тут все жители были «свободными».

Все лето и осень 1945 г. в Москве шла пока еще невидимая и безрезультативная работа, цель которой — мой приезд в Москву. Инициатором, конечно, была мама. Основанием моего официального возвращения было мое довоенное заявление в Авиационный приборостроительный техникум, которое было в техникуме в целости и сохранности.

Закон вроде бы разрешал отпускать даже изгоев на учебу. Но для формального выполнения этого закона нужно было приложить немало усилий, так как руководство шахты категорически никого не отпускало.

Между тем работа в лаве продолжалась в любое время дня и ночи. В три смены в любое время года. <...>

Из дома мне прислали костюм: брюки и пиджак. Наконец я смог избавиться от ненавистной финской формы. Естественно, на шахту я ходил в старой одежде и телогрейке.

Когда наступили морозы, а они случались до минус 50°, мне приходилось, после смены в шахте, возвращаться домой одетым таким образом: на ногах — американские ботинки, финские брюки, кителек, телогрейка, влажное, после бани, полотенце (вместо шарфика) и что-то вроде кубанки. Шарфик замерзал до каменного состояния, но я ни разу не простудился от этого ледяного компресса. Ботинки же повели себя удивительно: подошвы совершенно перестали сгибаться. Они, оказывается, были изготовлены из прессованных опилок кожи, пропитанных каким-то клеем. Клей на морозе просто каменел, и подошвы превращались в деревянные колодки. Кстати, такие ботинки на деревянных колодках-подошвах использовались финнами для обувания пленных. Некоторое время носил их и я. Это когда я променял голенища своих офицерских суоми-сапог на буханку хлеба. Такие ботинки были в придачу к хлебу.

Заработки на шахте были приличными, но вычеты за разные государственные услуги (жилье, уголь) весьма значительными. Так что мне только к середине зимы удалось купить себе вожаделенные, очень модные в тех местах, сапожки из мягкой хромовой кожи, на кожаной же подошве. Это были изделия местных сапожников. К ним, как было принято, купил и калоши.

В костюме, присланном из дома, брюки были сантиметров на 15 длиннее моих ног. Но я их не укорачивал, а заправлял в сапоги, делая «напуск». Сами сапоги я превращал в модные тогда «прохаря», то есть голяшки сминал книзу, делая складки. Получался вид вполне блатной: сапоги — гармошкой, брюки — с напуском, прическа — с челкой — блеск. Такой Ваня Волынец.

С Марией Ивановной у меня к тому времени сложились вполне доверительные отношения. Она мне много рассказывала о сыне Викторе, о муже-пьянице.

Андрей Александрович Бедрин был в молодости видным парнем, высоким, сильным, с немного лошадиным лицом. На шахте, под землей никогда не работал, только на поверхности. Каким-то образом, будучи совершенно здоровым и по годам подлежащим призыву, сумел заменить армейскую службу на «трудфронт».

В жизни этот дядька искал (и находил) пути наиболее легкие. В отношениях с женой был совершенным животным: «Придет, бывало, пьяный, залезет на меня, сделает свое дело, отвернется к стенке и храпит». От него Мария Ивановна сделала 22 аборта. (Прямо для книги Гиннеса, о которой нам, конечно, ничего не было известно.)

Все это она рассказывала мне, ровеснику ее сына, абсолютно спокойно, как дело совершенно обычное.

Зимой, когда нужно было помогать по хозяйству, Андрей Александрович всегда отсутствовал. Для коровы нужен был корм, его доставанием никто не занимался. Я думаю, что хитрый Андрей специально создавал такую ситуацию, чтобы корову зарезать. Меньше жизненных забот и попить можно.

Однажды я прихожу с работы после первой смены, часов в 6 вечера. В проходной комнатухе, где я сплю и куда выходят конфорки печки, — жара невыносимая. На печи стоят несколько противней, на которых жарятся огромные куски мяса, граммов по 500–600 каждый, не меньше. На моей койке, у двери, сидит молодая светловолосая женщина, довольно миловидная, но какая-то понурая. В горнице — главной комнате этой избы, где мне иногда позволялось спать после ночной смены — стоит стол, уставленный блюдами с мясом, и сидят напротив друг друга двое: Андрей Александрович и его начальник-полковник, тот, которого возит Бедрин. Барин и его кучер. Оба совершенно пьяные и, по-моему, уже не видят друг друга.

Мария Ивановна уже не суетится, обслуживая их, но сама, вероятно, тоже приложилась к стопочке. Она ходит из комнаты в комнату совершенно потерянная.

Меня, конечно, угостили мясом по поводу тризны по буренке. Пить я не стал (с начальником-то всех узилищ), а с женщиной мы разговорились. Оказалось, что она — москвичка, всего на год старше меня. Очень рано вышла замуж за молодого офицера МГБ. Парень был шустрый, быстро сделал карьеру, но не на фронте и не в центре, а на периферии и непосредственно по охранному ведомству. Довольно быстро дослужился до полковника, но одновременно стал алкоголиком: пьет ежедневно.

Обеспечены они с мужем отлично (возможно, частично и за счет заключенных), но этим супружеством она давно тяготится. Удивительно, что эта молодая «полковница», впервые увидев меня, была так откровенна. Она же понимала по моей одежде, кто я (я только пришел из шахты). Мы сидели и вспоминали Москву, а ее муж в соседней комнате пребывал в своем любимом состоянии. Вот судьба! Бедные женщины. Совершенно разные по своему «социальному» положению и по возрасту, обе они: и Мария Ивановна, и эта москвичка — были одинаково несчастны. Я даже не знаю, кто из них несчастнее.

Между бывшими «ванки-пойка», несмотря на разницу в возрасте существовало какое-то подобие братства. Видимо, от схожести судеб. В другое время они, быть может, и не заметили бы друг друга.

Как-то на рынке (или на работе) ко мне подошел один едва знакомый мужчина лет сорока пяти, тоже бывший пленный. Кажется, его звали Николай Степанович. Он в Анжерке, видимо, обосновался весьма основательно: жил с женщиной, потерявшей мужа, в

собственном домике. У нее была дочь от первого брака, лет девяти-десяти.

На носу был какой-то праздник, и он пригласил меня провести его вместе, в семейном кругу. Он считался дома главой семьи и был человек положительный. Не знаю, почему он пригласил именно меня, но я согласился. Мне все равно было некуда деваться. Видеть Бедрина с налитыми глазами не хотелось.

Домишко Николая Степановича находился в центре, почти на главной улице. Эта улица была «обустроена» деревянными тротуарами, между которыми пролегла собственно проезжая часть с грязью по колено. <...>

Компания у Николая Степановича собралась небольшая: он, его «жена», дочь, я и квартирантка — учительница младших классов, которая снимала у них угол, вернее — койку.

Ее звали Александра Ионовна Андреева, ей было 19 лет (мне — 20), и угол она снимала здесь, потому что школа была рядом. Сама она родилась в поселке при станции Яя. Вот так называлась одна из незамечаемых станций на Транссибирской магистрали.

У нас с Сашкой в первый же вечер знакомства возникла взаимная симпатия. Мне она нравилась внешне, и, кроме того, подкупало то, что она — учительница. Ей, возможно, понравился Ваня Волынец, а может быть, воодушевило то, что я москвич. Во всяком случае, идея Николая Степановича оказалась стопроцентно плодотворной.

Мы стали встречаться, наша страсть не пропадала, и через пару месяцев она стала второй женщиной в моей жизни. Встречались мы в основном у нее в доме. Обычно я приходил вечером и, войдя в сени, стучал в дверь. В домике раздавался громкий вопрос хозяйки: «Милый или постылый?» — и в ответ — Сашкин голос: «Милый, милый!» После этого я входил. Вот такой ритуал.

В качестве своего знакомого Саша пригласила меня в школу на какой-то очередной праздник. Были танцы под патефон. Там же она показала мне парня, который очень хотел ей понравиться. Его «тоже» звали Ваня.

Ночами (в свободное от шахты время) мы просиживали на каком-то жестком сундуке в углу комнаты, где жила Саша. Я курил, «играл» на гитаре и пел вполголоса всевозможную есенинщину и ямщикнегонилошадейщину. Некоторые песни на «правильные мотивы». К другим, например, стихам Есенина, я «сочинял» свои душещипательные мелодии, очень похожие друг на друга, тем более что гитарных аккордов я знал — кот наплакал.

Весной, когда подсохли деревянные тротуары, мы прогуливались по главной улице (без оркестра), ходили в кино, фотографировались в местной фотографии и даже один раз были в ресторане. Короче говоря, любили друг друга, причем я для нее оставался Ваней.

Между тем я видел бесперспективность моего участия в пожизненной шахтерской профессии. Восьмиклассное образование позволяло мне учиться при шахтном учебном комбинате на электротехника. Я стал посещать занятия по электроспециальности, хотя совмещать это с работой и встречами с Сашкой было нелегко. Иногда с Сашкой мы стояли по часу, по два на 30-градусном морозе, так как в доме все помещение было занято. Я был в своих хромовых сапожках. Ноги коченели, но ни разу не простудился.

Зимой 1946 г. состоялись первые послевоенные выборы в Верховный Совет, и нам, репатриантам, было разрешено участвовать в них. Разумеется, в качестве избирателей. Для меня это были также первые выборы. Значит, я не был лишен гражданских прав, то есть не был «лишенцем».

Племянник Моисея, мужа тети Поли, Ефим (Фима), по «натырке» моей мамы, продолжал ходатайства в Наркомате угольной промышленности. С моим заявлением (техникум авиаприборостроения) и резолюцией о возможности моего приема Фима обратился в Наркомат.

На нашей шахте получили телеграмму с указанием освободить меня в связи с отъездом на учебу. Такого здесь никогда не случалось. Разумеется, мне отказали.

Начальник шахты, Быстров, — барин в коричневом кожаном пальто на меху и фетровых, на коже, бурках, проходя мимо шахтеров, даже не оборачивался в их сторону.

Сразу после революции, в 20-е гг., неугодных начальников, плохо относящихся к рабочим, сажали в обычную тачку и под улюлюканье вывозили вон, за пределы шахтной территории. Сейчас такой вольницы быть не могло. Быстров, как и вся власть, считал нас людьми второго сорта, а рабочие были нужны, уголек надо давать.

Получив отказ на шахте, я (через несколько дней) направился в трест «Анжероуголь». Пошел туда сразу после смены (естественно, приняв душ), вошел в кабинет какого-то начальника — то ли это был сам начальник отдела кадров, то ли его заместитель, поставил топор (мой инструмент) в угол кабинета и предъявил копию телеграммы из Наркомата.

Начальник, увидев топор, слегка оробел, но прочел документ и сказал, что своей властью освободить меня не может. Иерархия была такая: Наркомат угольной промышленности — Комбинат «Кемеровуголь» — трест «Анжероуголь» — шахта № 9/15.

Следовательно, мне надо было ехать в Кемерово, в комбинат. Каковы крючкотворы — футболили меня туда-сюда, надеясь, что я в конце концов запутаюсь и отступлюсь. До Кемерово было 300 км, а я продолжал работать. Рабочая неделя была, как повсюду, шестидневная. В выходной ехать не получалось — Комбинат тоже мог не работать. Но на шахте есть один день, когда ты сегодня работаешь

в утреннюю смену (приходишь домой в 18.00), а завтра тебе выходить в ночную смену, т. е. — к 22.00. Это так называемая «пересменка».

Используя «пересменку», я вечером, после первой смены, поехал в Кемерово. Приехал туда ночью, где-то, на вокзале, поспал и утром направился в Комбинат. Из документов у меня был мой вшивый «паспорт» (с указанием, откуда прибыл), справка, подтверждающая, что я работаю забойщиком на шахте № 9/15, и копия телеграммы из Наркомата. При худшем стечении обстоятельств меня запросто могли задержать для выяснения личности. Не сбежал ли я? Короче говоря, я успел обернуться с этой поездкой за сутки. К счастью, все начальство было на месте, документ — оригинал телеграммы — не был «утерян», и меня приняли довольно спокойно.

Очень им хотелось узнать, какие у меня связи в Наркомате, но страх перед вышестоящим начальством пересиливал любопытство. Они, крючки, конечно, понимали, что здесь все не так просто. Случай, может быть, единственный во всем Комбинате, но послушаться нельзя.

Случалось, конечно, освобождаться от бывших пленных, но только тех, кто не прошел госпроверку Смерш. И уезжали они обычно далеко на восток.

Так как я и сам не знал всех подробностей появления телеграммы из Наркомата, то наивно и правдиво объяснил, что мои родители взяли из техникума мое довоенное заявление и пошли с ним в Наркомат. Из письма родителей я знал, что Фима «хлопочет». Таким образом, формально все выглядело вполне конституционно.

Скоро сказка сказывается... Был уже май 1946 г. Комбинат разрешил, Трест разрешил, из шахты я был уволен и... немедленно лишен всех видов продовольственного обеспечения: хлеб, мясо, масло, крупы — как неработающим, уголь хозяйке — ноль.

Сашка в это время работала пионервожатой в школьном лагере, в девяти километрах от Анжерки. Она прибежала домой, в свой угол, вечером и уходила рано утром к подъему флага в лагере.

Удивительно, что при полном отсутствии какой бы то ни было связи наши свидания никогда не срывались.

Больше месяца провел я в качестве полного безработного. Денег было совсем мало, голод ощущался. Бедрины относились ко мне хорошо: они понимали, что я вот-вот должен уехать. Катя, племянница Марии Ивановны, вдруг подарила мне вышитый платочек, по местным понятиям, явное признание в любви, хотя и несколько запоздалое.

На станции железной дороги с маленьким строением и скромной надписью «Анжерка» далеко не все поезда останавливались. Пассажирские составы были битком набиты офицерами и солдатами, возвращающимися с Дальнего Востока. Там проходила массовая демобилизация.

Железнодорожный билет до Москвы стоил 92 рубля. Билет я купил, но сесть в поезд не мог несколько дней.

Слово «невыездной» тогда еще не было в ходу, хотя, в определенном смысле, все мы на шахте были невыездными. И вот я, наконец, оказался выездным (пока — из Анжерки).

Последнее прощальное свидание с Сашкой произошло очень ранним утром, в день моего отъезда, на крыльце домика, где она жила (в 6.00). При поцелуе она укусила меня в губу (чтобы дольше помнил). Эту ранку я и привез в Москву, вызвав некоторые расспросы родителей.

Денег на дорогу (кстати, присланных из дома) у меня было рублей 600–800, вещей — только одна холщовая сумочка, в которой лежали калоши. И размер сумочки точно соответствовал размеру калош. Больше никаких вещей не было — все свое барахло я оставил у Бедриных, с которыми попрощался уже после Сашки, так как улица Пятилетки была ближе к станции.

Был июнь, я ехал в костюме, прохарях, без шапки. Завершался еще один этап моей биографии, горький и радостный (благодаря Сашке) кусок моей жизни. Дома я не был с августа 1941 г.

Август 41-го — февраль 43-го — колхоз;

Февраль 43-го — август 44-го — армия, фронт, десант;

Август 44-го — июнь 46-го — плен, Смерш, шахта, отъезд.

Прощай, Анжерка...

«...И осталось, как всегда, недосказанное что-то...»

Поскольку билет у меня был, а сесть в поезд, который один раз в сутки останавливался на нашей станции, не представлялось возможным, я решил ехать на крыше.

Документы: квазипаспорт, справка об увольнении из шахты. Во время начала движения поезда, когда проводники закрывают двери вагонов, я цеплялся за лесенку в торце вагона, ведущую на крышу. Таких, как я, было немало. На крыше каждого вагона были «пассажиры».

Тот факт, что у меня был билет, не спасал от штрафов. Когда поезд останавливался, все «кидались» с крыш и убегали, выжидая начала движения. «Садись» всегда только на ходу. На малых станциях поезд стоял всего 1–2 минуты и мы оставались на крышах. Зато на основных станциях, в городах, где менялась паровозная бригада, остановка длилась 40 минут.

За это время нужно было успеть умыться, так как копоть и дым от паровоза превращали лицо в физиономию шахтера.

Электровозов тогда не было, а паровозы дымили жутко, сжигая уголек, к которому, может быть, и я приложил руки. После умывания можно было заглянуть в станционный буфет или привокзальный рынок

и что-нибудь поесть, не забывая при этом, что поезд может двинуться в любую минуту.

В Новосибирске я чуть было не отстал от поезда. Пришлось садиться на довольно быстром ходу, т. к. на станции было очень много милиции, а при ней на крышу не влезешь.

За сутки поезд проходил примерно 1000 км (50 км/час). Четыре города за четверо суток: Новосибирск, Омск, Свердловск, Киров. За эти четверо суток меня штрафовали шесть раз. «Ехать на крыше не положено!» Я показывал билет, но это не помогало. Штраф почему-то всегда составлял 92 руб. и брался, конечно, без квитанции.

В Кирове (1000 км до Москвы) мне удалось в цирюльне помыть голову, постричься и побриться. Более того, я сумел договориться с проводником, и он впустил меня (конечно, не бесплатно) в тамбур. Так что целые сутки я ехал почти цивилизованно и в Москву прибыл побритым, умытым и выглядевшим в своих прохарях и брюках навывпуск как натуральный зэк, вернувшийся из тюрьмы. Что было не так далеко от истины.

Встречала меня вся семья: мама, папа и Борис. Все, конечно, были счастливы: завершился тяжелый этап моей жизни. Но мать пришла в ужас от моей челки, от блатных сапог с голенищами «в гармошку». Она велела тут же вытащить брюки из сапог и прикрыть безобразные сапоги. Велела также убрать дурацкую челку, вернее — причесать ее.

Брюки были длиннее моих ног на 15 см, и их пришлось загибать вовнутрь. Кое-как с этим справились: «гармошку» прикрыли мятыми неряшливыми брюками. С моей точки зрения, я стал выглядеть значительно хуже.

Я прибыл на Ярославский вокзал. Домой ехали от станции метро «Комсомольская» до ст. «Дворец Советов». Оттуда на автобусе — до Ново-Девичьего монастыря и далее пешком до дома, всего 10 минут.

Дома, в числе моих вещей, я обнаружил сделанный мною в деревне рубанок без железки и заготовки для лучковой пилы (все из клена). Это было очень приятно и трогательно: родители везли все это за две тысячи километров с одной целью — порадовать меня. Вернулась домой и лейка.

Попался мне также мой дневник, который я вел в колхозе. Своей примитивностью и бездарностью он произвел на меня удручающее впечатление. Я его безжалостно изорвал, о чем сегодня сожалею.

И как бы ни был горек этот дым,

И сколько б ни было на солнце пятен,

Со временем мы все равно простим —

Ведь дым отечества и сладок и приятен...

Арон Глезин. «Наливай пожиже, жид пришел!»^[67]

С того времени, когда началась Вторая мировая война, прошло более 50 лет, и многое, а главное — даты, имена, некоторые события — память не удержала, но многое все же крепко засело в голове и помнится до сих пор.

Во второй половине августа 1941 г., в составе 1-го Ленинградского полка 23-й дивизии, я оказался на Карельском перешейке, чтобы противостоять наступающей финской армии. Мы прибыли на фронт без оружия, и только здесь нас начали вооружать, выдавать нам винтовки. Эти винтовки были разных систем — от русской трехлинейки до итальянских карабинов, разные другие. Были здесь и учебные винтовки. Если учесть, что основная масса солдат, как и я, были студентами и просто не обученными военному делу, можно легко представить себе нашу боеспособность. Первый же бой подтвердил это, так как после него наш полк перестал существовать, а большинство оставшихся в живых и раненых оказалось в плену. Среди них был и я.

Я получил легкое ранение в спину осколком мины. После этого вместе со старшиной роты и одним солдатом мы на протяжении трех суток блуждали по лесу в попытке добраться до своих. Мы шли только ночью, а днем прятались в кустах.

Рано утром на четвертый день (30 или 31 августа), когда мы еще лежали в кустах, нас заметили два лесоруба, проходившие недалеко от нас, и сообщили финским солдатам. Мы успели перебежать в другое место, но солдаты, прочесывая лес, нашли нас. Мы были доставлены в какой-то пункт, где нас встретил офицер. Хорошо зная о том, как поступают немцы с пленными евреями, я сразу же провел ладонью по горлу, тем самым попросив жестом скорее покончить со мной. Офицер прекрасно, по-видимому, понял меня и в ответ что-то сказал. Не зная языка, на котором он говорил, я также понял его, и думаю, что смысл его слов был таким: «Мы не немцы и так не делаем». После этого мне сделали перевязку, всем нам дали по куску хлеба, пару кусочков сахара и отправили на сборный пункт. Там я встретил других солдат нашего полка, а также командира моей роты.

Через некоторое время мы были доставлены в лагерь Наариярви. Смутно помню, что лагерь представлял собой вытянутые в один ряд бараки, при этом на противоположной стороне находились пищеблок, медпункт и другие нежилые строения. Из числа пленных в каждом бараке назначался старшина, который был там полновластным хозяином. Мне не повезло, так как старшиной в моем бараке был украинец. Он евреев не любил и рассказывал о том, что когда-то его

несправедливо осудил судья-еврей. Почти ежедневно он вызывал меня в свою комнату и требовал от меня признания, что я коммунист и политрук. Но я не был ни тем, ни другим, и признаваться мне было не в чем. Так продолжалось более недели. Однажды вместо дневного разговора он вызвал меня вечером, когда все в бараке уже улеглись спать. Разговор он начал с того, что сегодня он вызвал меня в последний раз, и если я сегодня не признаюсь, то ночью за мной придут финны и расстреляют меня. Всю ночь я не сомкнул глаз и пролежал в ожидании приезда финнов. Наступило утро, а я все продолжал лежать, не имея сил надеяться... Больше он никогда меня не вызывал. Эту ночь до сих пор я не могу забыть.

Вскоре в числе других десяти человек я был направлен на работу к крестьянину. Наш путь лежал в район города Миккели. Значительную часть пути мы плыли по озеру на небольшом пароходике, а затем до места добирались на лошадях. Хозяин Эмиль Танту и его жена встретили нас хорошо и почти сразу же по прибытии усадили за стол. Из полуоткрытой двери на нас с большим любопытством смотрели внуки хозяина. Со следующего дня началась наша работа в хозяйстве этого крестьянина. Хозяйство было довольно большим: полтора десятка коров, четыре лошади, свиньи. Начали мы работу с уборки картофеля, а потом были и другие разные работы по хозяйству. Мне лично помогло в этой работе то, что с детства я рос в деревне, работал в колхозе. Многие из того, что нам приходилось делать, мне было хорошо знакомо. Особенно я любил лошадей и, в отличие от других, их не боялся. Частенько я чистил лошадей и убирал конюшню. Ко времени приезда к хозяину мы уже хорошо знали, что такое голод, испытывая его много-много раз, а здесь мы были сыты. По вечерам мы собирались в отведенном нам для ночлега месте и предавались воспоминаниям о жизни до войны.

Так продолжалось около двух месяцев, когда к хозяину приехал один из его родственников и выбрал среди нас троих для работы в его хозяйстве. Среди выбранных был и я. Вскоре нас усадили в сани, и весьма резвая лошадка быстро доставила нас к новому месту работы. Хутор, принадлежавший Руганену, назывался «Паломяки». В большой и дружной семье хозяина было два инвалида войны — его сыновья Якко и Микко. Якко потерял руку и один глаз, все его лицо было усеяно синими пятнами. Микко был ранен в нижнюю челюсть, которая вся была изрезана, ранение также сказалось и на его речи. Несмотря на это, их отношение к нам всегда было хорошим. Их мать, которой было в то время не менее 80 лет, всегда старалась вовремя и получше нас накормить. Зачастую она громко сзывала нас, одновременно стуча палкой по висящему на заборе бидону. Основная работа, которую мы должны были выполнять, — обмолот ржи. Эта работа была тяжелой и пыльной. Обмолот производился в сушильной камере, где было очень жарко. Выполняли работу вручную, то есть цепами. Мне приходилось

также работать и на конюшне, где я чистил лошадей. Работали мы и в хлеву по уборке навоза и вывозу его в поле.

Быстро пролетели два месяца жизни на этом хуторе. И вот как-то вечером девочка-сирота, жившая у хозяина, сказала мне, что завтра нас отправят в лагерь. Можно себе представить наше настроение после получения такого известия! И действительно, на следующее утро Якко отвез нас к Танту, а оттуда снова в лагерь Наариярви. В Наариярви я не задержался и через пару дней с большой группой военнопленных был направлен в рабочий лагерь, который находился у города Вааза, на берегу Ботнического залива. Отчетливо вспоминаю, как мы, построенные в колонну, подошли к воротам лагеря. После беглого осмотра наших карманов и мешков нас пропустили на территорию лагеря, и мы подошли к баракам. Я оказался в числе первых, попавших в барак, и мне удалось занять нижнее место рядом со стоящей печкой-«буржуйкой». Однако жить на этом месте мне не пришлось. Вскоре ко мне подошел один из прибывших со мной, некто Федя, и, напомнив мне, кто я такой, потребовал освободить это «теплое местечко». В противном случае он пригрозил убить меня в первый же день на нашей общей работе. Внешний вид Феди, его манера разговаривать говорили сами за себя. Было ясно, что он был способен выполнить свою угрозу. Пришлось мне занять место на втором этаже. Замечу сразу, что жизнь у Феди в лагере не сложилась. За разные провинности он был многократно жестоко избит и затем, кажется, умер.

Наш лагерь, находившийся на границе со Швецией, строил дорогу, назначение которой нам известно не было. Режим в лагере был весьма строгим. При возвращении с работы нас обыскивали очень тщательно. Большинство охранявших нас солдат были шведами. Некоторых из них я хорошо помню по сей день, о них я расскажу дальше. Здесь мне опять пригодилось мое умение ухаживать за лошадьми, и я работал в лагере возчиком. В мою обязанность входило возить на строящуюся дорогу песок, камни и все остальное, что использовалось при строительстве основания дороги. Работа возчика была легче других работ потому, что много времени я находился в пути между карьером и дорогой. В условиях, когда мы постоянно ощущали чувство голода, это имело большое значение не только благодаря меньшей физической нагрузке, которая была у возчиков, но и благодаря тому, что местные жители, встречая нас на дороге, угощали нас съестным. Хорошо помню одну старушку, которая выходила на дорогу с мешком в руках и протягивала встречным военнопленным хлеб и овощи. Между тем нам было строго запрещено брать, а местным жителям давать нам пищу, но, как говорят, «голод не тетка». Частенько мы зарабатывали себе хлеб чисткой оружия и велосипедов, принадлежавших солдатам.

Однако и здесь, где никто не делил нас по национальному признаку, среди пленных находились люди, которые, в надежде

приобрести хоть какие-нибудь блага, по собственному почину рассказывали охранникам, что я еврей. Таких случаев я припоминаю два. Однако к чести охранников нужно сказать, что они не обратили на это внимания. Рассказав мне об этом, один из солдат сказал, что те, кто говорит плохо о других, сами плохие. Среди охранников были, как это обычно бывает, разные люди. Были и такие, которые довольно часто без видимых причин избивали пленных. Самым страшным в лагере был переводчик Урбанович, поляк, житель Хельсинки. Это был человек лет 40, среднего роста, подтянутый и хорошо владевший русским языком. Не хуже он владел и кулаком, нанося удары только в лицо. Удары были резкими и сильными. Так он расправлялся с каждым, кто, по его мнению, был в чем-то виноват. Часто на его руках в летнее время были одеты перчатки, чтобы, как говорят, «не марать руки». Особенно он бил тех, кто, будучи голодным, употреблял в пищу целлюлозу (ее кормили лошадей), после которой люди выбывали из строя на несколько дней. Таков был этот зверь в обличье человека.

Работа здесь была тяжелой, так как приходилось пользоваться киркой, ломом и лопатой, а сил было не так много. Отдохнуть можно было в тех случаях, когда охранники удалялись или дежурили солдаты, которых мы не боялись. Ну а нрав каждого мы хорошо знали. В такие минуты, когда работа на время приостанавливалась, постоянно голодные люди вели разговор о том, что они ели до войны. Украинцы рассказывали о борще и варениках, сибиряки о пельменях, белорусы о картофеле и блюдах, из него изготовленных. Разговоры на другие темы, за редким исключением, не возникали. Очень плохо было страстным курильщикам, так как они последнюю пайку хлеба променивали на папиросу или щепотку табака.

В этом лагере я встретил человека, о котором не могу не сказать несколько слов, хотя он заслуживает большего. Таким был солдат охраны швед Сигурд Норгорт, студент теологического факультета университета, человек большой и доброй души. Не было ни одного случая, чтобы он плохо отнесся к пленному, более того, он всегда старался чем-нибудь помочь нам. Вспоминаю случай, как однажды в его присутствии между двумя пленными произошла стычка. Другой солдат прекратил бы драку очень быстро, дав затрещину тому и другому. Сигурд пусть неуклюже, но все же по-доброму пытался удержать от драки обоих. В его дежурство мы всегда облегченно вздыхали и могли немного отдохнуть. Но и нас не покидало чувство совести, и мы, отдохнув, принимались за работу. У меня с ним установились вполне дружеские отношения. Частенько на работе и в нерабочее время я беседовал с ним. Он рассказывал мне о себе, о своей учебе, о том, что в Швеции у него есть девушка. Граница Финляндии со Швецией всегда была открытой, и до войны он часто ездил к своей девушке. Я рассказывал ему о жизни в Ленинграде, об институте, о своей семье.

Первое время мы беседовали на немецком языке, а потом и на финском. Как-то он попросил меня обучить русскому языку. За несколько уроков он усвоил алфавит, а затем начал складывать и слова. Но вдруг нам объявили об отправке в лагерь Наариярви. Прощаясь со мной, Сигурд подарил мне очень хорошую и большую фотографию с дарственной надписью. Я долго хранил ее, но на пути домой с болью в сердце я вынужден был разорвать ее и выбросить. Я думаю, что причина ясна и объяснять ее нет необходимости.

И вот опять Наариярви. С первого же взгляда мне стало ясно, что все здесь изменилось к худшему. Причиной тому было то, что старшиной лагеря стал пленный офицер Красной Армии, в котором я узнал своего бывшего соседа по улице, в городе, в котором я проживал, в Могилеве. Будучи антисоветски настроенным человеком и антисемитом, он завел в лагере свои порядки, чинил суд и расправу над пленными. До него евреи жили в бараках вместе с другими пленными. Теперь их поместили в отдельный барак. Когда к кухне подходили евреи, он кричал: «Наливай пожиже, жид пришел». Жизнь в лагере была очень тяжелой. От голода ежедневно умирали десятки человек. Между тем Парникель (фамилию его я запомнил с детства) и его приближенные выглядели очень хорошо. В этом лагере, к моему счастью, я пробыл недолго, всего недели две, и меня в числе большой группы пленных направили на работу в другой лагерь. Отчетливо вспоминаю, как мы, построенные в колонну, проходили последнюю проверку перед отправкой. Вызвали и меня, и вдруг Парникель увидел в карточке, что я еврей, и приказал мне выйти из рядов. Вскоре я был отправлен в Лоуколампи, где был рабочий лагерь для евреев. Но прежде чем перейти к рассказу о жизни в этом лагере, мне хотелось бы сказать несколько слов о судьбе Парникеля. Вскоре после моего отъезда из Наариярви он был снят со своей работы и направлен в рабочий лагерь. В этом лагере оказались люди, над которыми он издевался в Наариярви. По рассказам очевидцев, его постоянно избивали, вспоминая прошлое. Перед самым окончанием пребывания в Финляндии он был убит.

В Лоуколампи все мы жили в одном бараке и работали в основном на одном и том же заводе по производству удобрений. Среди находившихся здесь людей нашлись мои земляки по Могилеву и особенно много было ленинградцев. Среди них я помню Герцберга, Этингера, Аркадия, Каплуна, Когана и других. Жили мы дружно, и многие объединялись в так называемые «колхозы»: вместе питались. Ежедневно мы получали хлеб и сахар, а повар, которого я помню хорошо, кормил нас три раза в день. Все, что удавалось заработать, шло в «колхоз», и это было нам дополнительным питанием. Здесь мы не голодали, хотя еды все же не хватало. По вечерам, когда все мы укладывались спать, в бараке велись долгие разговоры о нашей прошлой жизни, об учебе, семье. Говорили мы и о том, какой будет

наша жизнь после войны. Прогнозов по этому поводу было порядочно, но все сходились на том, что жизнь станет хорошей. Особенно я любил слушать рассказы Соломона Шура и Ефима Герцберга. Шур был из Москвы, архитектор, высокообразованный человек, настоящий интеллигент. Таким же был и Герцберг, ленинградец, инженер, кандидат технических наук.

Большим и очень радостным событием для всех нас был приезд, кажется, в канун Пасхи 1944 г., раввина и еще двух или трех сопровождающих его евреев. Беседа с раввином длилась три-четыре часа. Зная о том, что все мы атеисты, раввин все же рассказал нам, хотя и коротко, о празднике песах. Со стороны гостей было много вопросов, на которые мы отвечали. В свою очередь они рассказывали нам о жизни евреев в Финляндии. К концу встречи мы пели еврейские песни. К нашему стыду, мы знали их очень мало и в основном подпевали гостям. После отъезда гостей мы еще долго вспоминали эту незабываемую встречу.

Время в 1944 г. летело очень быстро. Мы продолжали работать на заводе. Грузили камень в вагонетки и толкали их на завод, где его перемалывали, а затем мешки с удобрениями грузили в вагоны. Летом добывали торф. Работа на заводе и по добыче торфа была тяжелой, однако мы с ней справлялись. Но вот лето 1944 г. подходило к концу, и мы уже знали о том, что Финляндия готовится к выходу из войны. Когда этот выход из войны состоялся, мы постоянно обсуждали один и тот же вопрос: какими должны быть наши действия на случай, если немцы оккупируют Финляндию. Единогласным было решение о том, что живыми попадать к немцам мы не должны. Одни предлагали уйти в лес и по возможности пробраться туда, где уже была Красная Армия. Те, кто в такую возможность не верил, считали, что нужно влезть на крышу завода и прыгать вниз, то есть покончить с собой.

Однако все разрешилось самым лучшим образом. Кажется, в начале октября нас отправили в Наариярви, а оттуда в Союз.

После прохождения специальной проверки в г. Туле, а затем кратковременной работы в шахте я вновь оказался в Ленинграде, где меня так ждали отец, сестра и другие родственники.

Израиль, 1993 г.

Иосиф Гуревич. «Жили мы „колхозом“». ^[68]

Я родился в 1919 г. в г. Борисове. Учился в еврейской семилетке. После ее окончания русского языка абсолютно не знал и с трудом освоил его перед поступлением в Лесотехническую академию в Ленинграде. Будучи студентом 3-го курса, в начале войны добровольно

вступил в Выборгскую дивизию народного ополчения и был солдатом 4-й роты Выборгского стрелкового полка. С началом войны находился в районе Пулковских высот в пулеметном расчете, а затем участвовал в сражениях на финском фронте на Карельском перешейке. После нескольких ожесточенных перестрелок, выходя из окружения, попал в плен в сентябре 1941 г.

Первое время в плену содержался у крестьян-финнов. С окончанием полевых работ хозяин оставил у себя деревенских сильных ребят, знакомых с сельхозработами, а меня и других вернул в общий лагерь под Выборгом. Зимой 1942 г. работал на лесоповале. Кормежка была скудной. Подкармливались остававшейся от финского пересыльного пункта кашей или отрубями из хлебозавода, расположенного рядом.

Весной 1942 г. всех евреев изолировали в один барак и запретили куда-либо отлучаться. Набралось примерно 100 человек. Собравшиеся евреи были в панике, так как предполагали, что их передают немцам. Вскоро перевели в лагерь Наариярви. Там было очень плохо. Особенно зверствовал старшина лагеря (фамилию не помню). В этом лагере пробыл недолго, а затем был направлен в поселок Монтола, где проработал все время в шахте, под землей.

Работа была тяжелой, в сырости, мокроте, полумраке. Нужно было молотом, весом 10 кг разбивать глыбу породы, а затем нагружать в вагонетку. Со мной работали Гринберг, Герцберг, Дяткин, «Кузнец», Беник. Еда примерно была такая: утром баланда и пайка хлеба, грамм 300, вечером — суп постный картофельный. Жили мы «колхозом» и старались друг другу в чем-то помочь. Каждый соображал, чем бы прокормиться, и если что-то удавалось достать, то делились поровну среди своих «колхозников».

Однажды мы решили устроить забастовку. В результате меня перевели из Монтола в Лоуколампи на завод, где я проработал неделю, а затем меня вернули обратно в шахту. Несколько раз к нам приезжал раввин, привозил подарки еврейской общины в Финляндии. В посылках от еврейской общины были в основном носильные вещи.

После объявления перемирия между Советским Союзом и Финляндией нас собрали для отправки домой. На сборном пункте происходила стихийная расправа с бывшими старостами, переводчиками и другими придурками. Готовили расправу и с некоторыми евреями, которые, будучи записанными русскими, были также старостами и придурками. Таким, например, был Турин, работавший у нас на шахте поваром, но мы его спрятали от озверелой толпы, так как он к придуркам не принадлежал.

Вернувшись в Союз, я узнал о большом горе, случившемся с моими родными во время нашествия немцев. Два моих брата, сестра с мужем и двумя детьми, дядя и тетя были истреблены. После возвращения из плена я прошел государственную проверку (без осложнений) и был направлен для работы на шахты в Ростовскую область. В это время я

женился и вскорости уехал в Ленинград, где в декабре 1947 г. окончил 4-й и 5-й курсы Лесотехнической академии.

После окончания академии был направлен на деревообделочный комбинат, где проработал до пенсии. Последнее время занимал должность главного инженера. Сейчас, будучи на пенсии, работаю рабочим — с тем, чтобы получать пенсию и зарплату. Здоровье заметно ухудшилось, сердечные боли часто тревожат. За годы жизни вдали от еврейского окружения почти забыл свой родной еврейский язык (идиш), разучился писать и даже читаю с трудом. Единственная связь с евреями — это несколько знакомых и друзей. Религиозные традиции не соблюдаю. Конечно, переживаю факты антисемитизма и «болею» за евреев. Один из сыновей женился на русской. Об Эрец мечты нереальны. Но при возможности я все же выехал бы в Эрец Исраэль, хотя мне уже поздно выезжать, тем более без детей.

Отдавая дань памяти моим погибшим родным, вся наша семья часто навещает место казни евреев в городе Борисове, где установлен мемориал, охраняемый, в хорошем состоянии. Из однополчан помню Дяткина, проживающего в Ленинграде; Гринберга, уехавшего в Эрец; Герцберга, живущего в Ленинграде; «Кузнеца», умершего, и, конечно, близкого мне друга, с которым мы поддерживали связь, — Соломона Шура, умершего в Москве.

Ровно, 1983 г.

Соломон Каплун «В лагере я встретил друга»^[69]

Я, Каплун Соломон Хонович, родился в местечке Костюковичи Могилевской области в 1913 г.

<...>

В апреле 1930 г. я переехал в Ленинград и там в течение трех лет работал в слесарных мастерских. Затем два года служил в Красной Армии. После возвращения из армии работал слесарем. В 1941 году по мобилизации был призван в армию в 119-й строй-батальон. Воевал на Карельском перешейке.

28 августа 1941 г. попал в окружение и очутился в плену в Финляндии в районе Райселе. Работа на озере, мы вылавливали из озера лес. Весной 1942 г. нас отправили в лагерь для военнопленных в г. Выборг. Через несколько дней всего около ста человек евреев-военнопленных переслали в главный лагерь Наариярви. Оттуда меня послали работать на завод слесарем по наладке оборудования. Завод перерабатывал подземные залежи в удобрения. В лагере я встретил друга, с которым учился в вечерней школе в 1932 г., — Дяткина Бориса

Львовича. В лагере мы прожили до заключения перемирия с Финляндией.

Затем нас отправили в Советский Союз, в Ростовскую область, в Новошахтинск. Там, в лагере Госбезопасности, я пробыл два месяца. После окончания проверки был направлен на работу в шахту № 5, где работал шахтером. Затем был переведен слесарем в мастерскую по ремонту весов. Я работал в ней до 1946 г. Далее переехал в Ленинград, где и проживаю по сей день.

Санкт-Петербург, 1994 г.

Циля Леечкис. Записки военфельдшера. ^[70]

Я родилась в 1917 г. в еврейской семье в колонии Ефингар (ныне село Плющевка) Николаевской области. В 1934 г. мои родители умерли, и мне пришлось переехать к братьям, которые проживали в Ленинграде.

В Ленинграде мне удалось быстро овладеть русским языком, закончить медицинскую школу, и после того, как я проработала несколько лет фельдшером, я поступила в 1-й Ленинградский мединститут. Там меня и застала война. На второй день я была мобилизована и доставлена в распоряжение 130-й авиабазы на станции Дно, где меня, в чине лейтенанта, зачислили военфельдшером при штабе. Вскоре 130-я авиабаза под натиском фашистских войск расформировалась, и медслужба перешла в распоряжение 7-й армии. При этом штаб, санотдел и все госпитали находились в Петрозаводске. Меня назначили начальником санлетучки, в состав которой входило 8 медсестер и 8 санитаров. Нас обеспечили вагоном продовольствия, необходимыми медикаментами и разным перевязочным материалом. Началась работа по обслуживанию больных и раненых из 3-й Ленинградской добровольческой дивизии, которая выходила из окружения. Все это было на станции Токари.

<...>

Рядом с нашими вагонами стоял бронепоезд, который привлек внимание немцев, они начали усиленно его бомбить, во время одной из таких бомбежек осколком меня ранило в правую ногу. Так как финские войска заняли Петрозаводск, наш путь был к нему отрезан. По распоряжению командования 3-й добровольческой дивизии мы начали отходить в лес, чтобы добраться до реки Свирь и переправиться к нашим войскам.

Начались тяжелые дни и ночи гнетущего унижительного окружения, и понять это может лишь тот, кто видел все своими глазами. Запаса продовольствия не было, но нас выручали имеющиеся в лесу разные

ягоды. Когда мы добрались до реки Свирь, оказалось, что перебраться через нее очень сложно: река эта с порогами и очень быстротечна. Лишь одни мужчины, соорудившие кое-какие плоты, смогли пуститься вплавь, но мы так и не узнали, удалось ли кому-либо из них добраться до противоположного берега. Мы, одни женщины, остались на берегу, затем добрались до кладбища, развели костер, кое-как обогрелись и устроились на ночлег.

На душе было грустно, но немного стало легче, когда я достала свой «мешочек-подушечку», в котором хранились студенческий билет, зачетка, фотографии братьев и родителей, а также письма родных.

<...>

На следующее утро нас окружила группа финских солдат. Они сняли с нас звездочки с пилоток и строем под конвоем повели в неизвестном мне направлении. Я была в шеренге с Юлией Кортелайнен, Зоей Ефремовой и Валею Безобразовой. С большой русской косой, вся в веснушках, она выглядела 15-летней девочкой. Всю дорогу плакала. По дороге солдаты о чем-то между собой переговаривались. Мы в страхе думали о том, что нас ждет в дальнейшем, но Юля, карелка, хорошо знавшая финский язык, нас успокоила, сообщив, что солдаты жалели нас, таких молодых, участниц войны. Наконец, нас привели в какой-то дом, накормили, и я смогла перевязать свою рану на ноге.

На следующий день нас включили в большую группу пленных и отправили на сборный пункт, а оттуда — в глубь Финляндии, недалеко от шведской границы, в поселок Педьзо. Женщины расположились в большом бараке с трехъярусными нарами. Среди нас были две беременные женщины из гражданского населения. В тяжелом смирении с действительностью, к которой невозможно было привыкнуть, прошли все 41-й и 42-й гг. В то же время стоит сказать, что в основной массе люди были настроены оптимистично, так как мы были молодыми и старались не унывать. Вечерами, если кто-нибудь начинал грустить, находились такие, кто своими шутками и песнями налаживал общее оптимистичное настроение.

Основная работа была в лесу. Мы собирали распиленные поленья и складывали их в штабеля. Стояли большие морозы, а план был большой, работать было тяжело. Мне повезло, так как меня, опытного фельдшера, через некоторое время поставили работать в открывшийся медпункт, в котором работала врач-военнопленная Агнесса Карповна Иванян, замечательный человек. В этих трудных условиях она не переставала наставлять нас, молодых девушек, чтобы мы вели себя скромно и достойно, однако сама втайне влюбилась в молодого врача Костю. Он был руководителем нашей художественной самодеятельности, и так как ей уже было за 30 лет, она решила заиметь ребенка. О своем муже она ничего не знала, он был на фронте. К ней отнеслись очень хорошо и даже поместили в финский роддом, где она родила девочку.

В медпункте я была загружена с утра до вечера, выполняла разнообразную фельдшерскую и не только фельдшерскую работу, в том числе делала перевязки, уколы, ухаживала за женщинами после родов. Нашлись завистники, которые говорили обо мне: «И здесь жидам везет». И в самом деле, несмотря на большой объем работы, мне самой было неудобно перед остальными.

Все бараки были огорожены и находились под охраной, о побеге речи быть не могло, но все же был такой случай. Тамара Зарубина решилась совершить побег и тут же в 3 км от лагеря была схвачена. Ее с позором, с ограничением в пище, поместили в холодную комнату, где она находилась 5 суток.

За нашим женским баракком следила Роува Павола (бывшая надзирательница тюрьмы). Она регулярно, два раза в неделю, как детей, водила нас в баню и следила, чтобы нам регулярно меняли нательное и постельное белье, поэтому не было у нас вшивости и других неприятностей. Мы всегда удивлялись, как эта женщина могла доброжелательно относиться к нам, несмотря на то что ее дом был разрушен, а муж погиб в войне с Советским Союзом в 1939–1940 гг.

В мужских бараках почти каждый день кто-то умирал, в основном из-за отравления, так как мужчины часто ходили по мусорникам, употребляя в пищу порченные овощи и другие порченные кухонные отбросы. Эти сведения, по-видимому, дошли до советского правительства, и последовала соответствующая нота от Министерства иностранных дел об увеличении пайки и улучшении медицинского обслуживания больных военнопленных. После этого был создан специальный госпиталь для больных, и условия жизни военнопленных улучшились. В госпитале было много случаев операций грыж (разных), удаления аппендицита, встречались случаи резекции желудка, которые выполнялись финскими хирургами. Русские врачи вначале были только ассистентами, а спустя некоторое время им разрешалось и оперировать.

Была в лагере и самодеятельность, там исполнялись русские и даже финские песни. Вечерами приятно было слышать такие песни, как, например, «Ермак», «Катюша». К нам в барак часто приходили разные представители, что всегда нас пугало: вдруг ку-да-то заберут. Особенно страшно было по ночам.

Начальником госпиталя был финский врач Саваннем. Его любили все без исключения за его гуманное отношение к больным, как русским, так и финнам. Он часто брал меня с собой, когда посещал больных из гражданского населения, так как знал, что я хорошо могу взять кровь из вены, сделать уколы, производить перевязки. В этих случаях я сопровождала его под конвоем.

Через некоторое время меня перевели в лабораторию, где я проводила клинические анализы крови, мочи, кала, желудочного сока и мокроты на туберкулезные палочки. Финская лаборантка Линда

заносила в журналы результаты анализов, которые я выполняла. В выходной день Линда приводила меня в свой домик, и там с утра до позднего вечера я занималась уборкой и уставала больше, чем в лаборатории. Однажды рано утром, придя первой к лаборатории, я увидела сорванные замки и очень испугалась, но потом Линда меня успокоила, сказав, что это больные русские искали в лаборатории спирт, и всем известно, какие они воры. И хотя я поняла, что меня в этом не обвинят, за слово «воры» мне было очень обидно.

В декабре^[71] 1944 г. Финляндия вышла из войны. Нас, пленных, эшелонами повезли в Выборг и там произвели обмен пленными. Так закончились три долгих года плена. Вспоминая пережитое, я не могу словами выразить все то, что повидала за это время: тот кошмар и ужасы, крики и стоны умирающих солдат и офицеров после тяжелых ранений и во время нахождения на лечении. Все это на протяжении многих лет и даже до сих пор неизгладимой болью отзывается в моем сердце. Хотя мне лично во многом повезло.

После тщательной проверки органами мне, как и многим другим девушкам, было разрешено вновь вернуться на офицерскую службу, но без звания. Я служила в военном госпитале и закончила войну в Братиславе. В конце сентября 1945 г. меня, как студентку, демобилизовали в связи с началом учебного года в вузах. Я приехала в Ленинград и после определенной проверки была допущена к дальнейшей учебе. Закончив институт, я стала врачом. Из-за голода в блокадном Ленинграде погибла мой довоенный любимый профессор д-р Черноруцкая, благословившая меня перед уходом на фронт. Ее благословение, я уверена в этом, помогло мне выжить.

В заключение хочу сказать, что, благодаря гуманному отношению к нам финнов и их правительства, была сохранена жизнь многих военнопленных, в том числе и евреев. Я еврейка, Леечкис Циля, или Силия, как меня называли финны, была в числе спасенных ими. Ныне я Рябинская (по мужу), имею двух детей и трех внуков. Мы от всей души желаем, чтобы народы Израиля, Финляндии и других стран всегда жили в мире и больше никогда не было войн.

Израиль, 1993 г.

Лазарь Залманович Раскин. В финском плену.^[72]

Лазарь Залманович Раскин родился в местечке Носовичи близ Гомеля 14 июня 1916 г. Остальные биографические сведения легко почерпнуть из его воспоминаний.

Поэтому ограничимся здесь сведениями по истории их создания.

К их написанию он приступил практически сразу же по освобождении из плена — в 1944 г. в Новошахтинске, где начал вести своего рода воспоминание-дневник. Писал он его на основании чудом сохранившихся в плену собственных дневниковых записей, которые он делал с самого начала войны и вплоть до попадания в окружение, а также — по свежей памяти — об окружении, плене, госпитале, лагере и т. д.

В 1946 г., когда Л.З. Раскин вернулся в Москву, он начал писать книжку «Воспоминания», взяв ее начало полностью из Новошахтинского дневника. В том же 1946 г. он и закончил ее. В 1977 г. его сын перепечатал эти рукописные воспоминания на машинке. Позднее Л.З. Раскин добавил к ним несколько иллюстраций и оформил ее в виде некоего домашнего издания, один экземпляр которого он со временем подарил в Центр «Холокост» в Москве. Сам дневник и военные дневниковые записи на отдельных листочках не сохранились.

Самая ранняя и короткая версия — под заглавием «Воспоминания Лазаря Раскина» — опубликована в: Янтовский, 1995. С. 57–62, с датой: 1993 г. Промежуточная редакция, оформленная автором как самодельная книга, — в его домашнем архиве и в архиве Научно-просветительского Центра «Холокост», Москва (приносим свои благодарности И. Альтману и Л. Терушкину за любезную возможность ознакомиться с этим экземпляром). См. также: *Раскин Л.* Письмо в редакцию // Еврейское слово (Москва). 2004. № 2.

Павел Полян.

Часть I

О себе.

Я родился 14 июня 1916 г. в местечке Носовичи вблизи Гомеля. Отец — еврейский учитель, мать — домашняя хозяйка. В местечке преобладала еврейская беднота, в основном, ремесленники: сапожники, портные, жестянщики. Были и мелкие торговцы, и коробейники, и талмудисты, и другие, неизвестно чем занимающиеся.

Я был поздним ребенком. До меня были два брата — Моисей и Арон, восьми и шести лет. Детство было босоное, но мы, дети, не унывали — купались, загорали, ловили рыбу, бегали по окрестным лесам и полям.

После революции отец стал заведующим еврейской начальной школы. Братья подросли и поехали учиться в Гомель. <...>

Со временем наш дом стал центром местной «культурной революции». Отец сам сочинял пьесы, сам их ставил. Репетиции проходили у нас дома. Молодежь тянулась к культуре. Спектакли ставились в Народном доме, куда собиралось чуть ли не все местечко. Перед спектаклем отец обычно читал лекцию о международном

положении. Запомнился спектакль «Тевье-молочник». Арон сочинил тексты песен для всех дочерей Тевье и для него самого. Музыка была народной, в обработке Моисея, который за кулисами подыгрывал на скрипке. Впечатление — огромное! Зал буквально плакал. Я тоже принимал участие в отдельных спектаклях.

Я был очень активным пионером, был членом районного пионербюро. Маленький шкет ездил на областной пионерский слет, а затем и на всебелорусский, в Минск. Сам теперь удивляюсь этому. Ведь я был очень скромный и застенчивый мальчик.

Закончил еврейскую начальную школу, а затем сельскую семилетку. Образование имел очень скудное. Летом, как активный, идейный комсомолец, работал в колхозе. Имел даже закрепленную за мной кобылу.

Но вот наступил голодный 1933 г. Я поступил в Гомельское ФЗУ. Учился на слесаря-паровозника. Жил в общежитии — огромном зале (бывший клуб имени Ленина) коек на сто. Приходилось очень трудно. Ремесло мне не давалось (видно, руки не те), да и учеба не клеилась. Зато была рабочая карточка — 1 кг хлеба в день. На выходной ездил домой и привозил кирпичик хлеба. Был горд тем, что не даю голодать родителям.

Кое-как закончил ФЗУ и получил вторую профессию (первая — колхозник). Поступил на паровозоремонтный завод. Но работа не клеилась и здесь, и я поступил на подготовительные курсы в Гомельский пединститут.

Здесь оказалось, что я не такой уж тупой. Мои сочинения по мотивам белорусских писателей оказались лучшими. Да и по математике я оказался в числе лучших. Немного воспрянул духом. Родители в это время уже переехали в Гомель. Я закончил курсы и поступил на математический факультет института. К сожалению, литфака не было. Так, окончив институт в 1938 г., я получил свою третью профессию.

По распределению я попал в местечко Копаткевичи вблизи Мозыря. Это было счастьем, так как сельских учителей не брали в армию. Совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни 22-летний юноша, я должен был начать жить по-новому.

Я был (как говорили) хорош собой, с шикарной шевелюрой, но страшно стеснительный. Особенно я боялся молодых учительниц. А они буквально бегали за мной гурьбой. Ловили, брали под руки и учили меня присутствовать в женском обществе. Постепенно привык и проучительствовал целый учебный год. В начале второго учебного года началась финская война, на которую стали брать уже и сельских учителей. И вот 27 ноября 1939 г., распрощавшись с милыми учительницами, я сел в грузовик и умчался в неизвестность.

Попал я в школу АИР — артиллерийской инструментальной разведки под городом Луга. Наш взвод состоял сплошь из людей с

высшим образованием. А младшие командиры — почти безграмотные. И здесь для них было широкое поле деятельности — поиздеваться над паршивыми интеллигентами. Но, как я сейчас вспоминаю, меня почему-то не трогали. Относились даже с неким почтением. Сам не понимаю почему. Служба была страшно тяжелой, изнурительной. Как раз начали поступать резкие приказы нового наркома Тимошенко. Некоторые не выдерживали. Были случаи самоубийств или самострелов. Со дня на день ждали отправки на финский фронт.

По окончании школы АИР я, получив звание младшего сержанта, был направлен служить в артполк под Ленинградом. Здесь муштра была еще пострашней, а главное — вот-вот мы должны были уйти на фронт. Но Бог милостив. Та финская война кончилась. Суровые будни, страшная скука, ностальгия по родным и близким. Единственный луч света — один день, проведенный с Ароном в Ленинграде. И опять все по-старому.

И так до 22 июня 1941 г.

Часть 2

1941 22.06

Мы живем в палаточном лагере. Воскресенье — выходной день. В палатках и около них копошатся красноармейцы. Слышен громкий говор, смех, песни.

Приказано как следует уложить ранцы и вещи. Никто с этим делом не спешит: «очередная выдумка командиров, чтобы не дать отдохнуть нам». Никто из нас не подозревал, что через час мы вступим на путь, который поведет нас в бездну, в пропасть, вернет нас в страшный водоворот, откуда мало кто найдет дорогу обратно.

Вдруг сигнал — боевая тревога! Прибежал очень возбужденный, запыхавшийся командир дивизиона. По его взволнованному, вспотевшему лицу, трясущимся рукам, видно, что случилось что-то совсем нешуточное. Он отдает приказ немедленно приготовить все к боевому выходу и выйти на построение. На всех лицах беспокойство и недоумение. Кое-кто еще продолжает шутить: «Очередные командирские забавы».

Но все кругом показывает, что происходит что-то очень серьезное. Полк пришел в движение. Все бегут, кричат, ругаются, суется. Лица командиров небывало серьезные, озабоченные. Жены командиров плачут и прощаются с мужьями.

В поход полк выступил в полном своем составе, со всем своим вооружением и транспортом — мы идем на войну.

Все это так неожиданно и так непривычно, что никак не укладывается в уме. На лицах бойцов еще нет тревоги, скорее недоумение. Мы все еще надеемся, что скоро кончится эта суматоха, и

все встанет на свои места. Но это только начиналось. Начиналось нечто торжественное и страшное, увлекательное и непонятное.

Так неожиданно, с ходу, мы были брошены в водоворот событий, откуда очень немногие смогли вернуться.

Движемся на войну

26.06

Вот уже 4 дня, как мы движемся на войну. Все еще трудно себе представить, что это значит — идти на войну. Вступили на бывшую финскую территорию. В финских селах нас встречают очень недружелюбно. Даже не дают воды попить. Татарские же колхозы^[73] провожают нас очень трогательно. На глазах у женщин слезы. Начинаем встречать стада скота и обозы эвакуированных. Идут навстречу плохо одетые татарские семьи, везут на телегах свои скудные пожитки. Мычание коров, бляенье овец, крик и ругань татар, гул тракторов и машин — все это сливается в какую-то страшную, ничего хорошего не предвещающую какофонию. Это вступление — увертюра к тому, что называется война.

Почти боевое крещение

29.06

Полк прибыл на советско-финскую границу недалеко от городка N. Долго разворачивались и никак не могли найти подходящую позицию. Наконец выбрали. Привал. Мы очень устали, измучены и голодны. Начинаем размещаться. Не успели опомниться, и вдруг — тревога! Финны ворвались в городок, скоро будут здесь. Быстро разворачиваемся в цепь. Наша задача — прикрыть отход наших войск. Послышалась стрельба. Наши пушки открыли огонь. Совсем близко слышна перестрелка. Взволнованный, прибежал политрук и сообщил, что наша пехота не выдержала и отступила. Финны в полутора километрах от нас. «Держитесь, ребята!» — сказал он и куда-то убежал дальше. Мы слышим, как заводятся штабные машины. Штаб полка уходит. Сворачиваются пушки. Нас — кучка бойцов, оставшихся прикрывать отход. Смотрю на своих бойцов (я ведь командир отделения): все они измучены, еле стоят на ногах. То и дело у одного или другого из рук валится винтовка. Дремота овладевает всеми. Я стараюсь их привести в чувство. Они опять берут винтовки, но снова выпускают их из рук. Очень странно это видеть, как в такой опасный для жизни момент, когда жизнь каждого висит на волоске, измученные люди от усталости не чувствуют страха. Жизненная необходимость человека — сон — оказывается сильнее, чем ощущение близкой смерти. Впоследствии я часто наблюдал, как бойцы засыпали крепким,

здоровым сном под страшный грохот артиллерийской канонады, под шум автоматнo-винтовочной перестрелки совсем рядом.

Бой закончился благополучно, без нашего участия. Финны были отбиты. Полк занял прежние позиции.

Это было первое (хотя и не боевое) крещение. И хотя мы и не были в бою, но реально ощутили, что мы на войне, и смерть всегда рядом.

Канонада

05.07

Ночь. То и дело с разных сторон небо озаряется ярко-багряным светом. Будто непрерывно сверкает молния.

Мы на опушке леса. По два-три человека сидим в окопах. Я обхожу окопы бойцов. В одном из них задерживаюсь. Долго болтаем о всякой всячине.

Вдруг раздается оглушительный грохот. Кажется, будто снаряд разорвался прямо здесь, в окопе. Мы невольно прижимаемся к земле, будто она нас может спасти от чего-то невероятно страшного. Не успели мы опомниться, как грохот раздался с новой силой. Я как командир приказываю взять наизготовку винтовки и наблюдать за противником. Но грохот настолько страшен, что мы все (и я, командир) боимся высунуть головы из окопа. Грохот становится все сильнее.

Небо непрерывно озаряется молнией.

Все сливается в единый несмолкающий страшный гул. Порою кажется, что сейчас все кругом рухнет и под шум и треск засыпет всех нас — ничтожную горстку людей в этом большом, шумно грохочущем мире.

Наконец мы опомнились и стали соображать, что это ведь наши полковые пушки стреляют; те, которые стоят рядом с нами. Мы смело высовываемся из окопов, смотрим в темную даль. «И дадут же они им жару», — говорит кто-то рядом. Теперь нам уже совсем не страшно, а скорее весело. Страшный, продолжающийся грохот кажется нам теперь чудной симфонией.

Это была первая ночная сильная канонада, которую мне пришлось услышать. Впоследствии мне их пришлось слышать и видеть множество. Но навсегда останется в памяти эта первая ночная страшная и красивая канонада.

Ко всему привыкают.

Первые жертвы

10.07

Мы долго стоим на одном месте без каких-либо перемен. Где-то далеко на востоке бушует война, продолжается страшная бойня, идут танковые сражения. Каждый час, каждую минуту бесследно гибнут

тысячи молодых жизней. Об этом страшно думать, но факты говорят сами за себя. Мы же здесь войны еще не ощущаем. Живем почти нормальной жизнью: купаемся, загораем и немного занимаемся. Командиры наши развлекаются. В общем, как говорится в пословице: «Кому война, а кому мать родна».

Только газетные сводки напоминают нам о тех ужасах, что творятся на белом свете. Каждый сданный город вызывает горечь, обиду и недоумение.

Мы, конечно, понимаем, что спокойствие наше иллюзорное, временное. Мы понимаем, что находимся в преддверии страшных событий.

И вот вестники войны добрались и до нас.

На наблюдательном пункте вражеский снаряд изуродовал старшего лейтенанта П. и двух бойцов. Это были первые жертвы. Останки их тел, которые удалось собрать, лежали в гробах на машине, убранной зеленью. Молча подходили мы к машине, обнажали головы и подолгу стояли и смотрели на то, что делает война. Мы отчетливо понимали, что это только начало тех ужасов, с которыми каждому из нас придется столкнуться. Эти первые жертвы напомнили нам, что очень скоро мы окунемся в эту страшную действительность и, быть может, многих из нас ждет такая же участь.

Ночь в карауле

15.07

Спокойствие наше продолжалось недолго. Вскоре нас начали тревожить финны. То тут, то там завязывались кровавые стычки. Мы отходим и очень часто меняем позиции. Идут слухи, что финны прорвали нашу оборону и начинают нас окружать. Настроение паршивое. На востоке падает город за городом. Враг подошел к Ленинграду, то есть нам отступать некуда. Тем не менее, многих это совсем не удручает (по крайней мере внешне). По-прежнему смеются, шутят, балагурят. На меня же (пессимиста по натуре) эта обстановка действует удручающе. Из дому никаких вестей не имею. Знаю, что родной Гомель накануне падения. Сильно переживаю. Мы отходим все дальше и дальше. Но куда отходить?

Ночью стоял в карауле. Ночь темная — глаз выколи. Кругом пылают пожарища. Небо, красное, как кровь, то и дело озаряется заревом артобстрела. Слышна артиллерийская канонада и ружейная перестрелка. Во время вспышек видна сплошная высокая темная масса. Это лес. Сильный ветер завывает и вместе с шелестом деревьев создает впечатление гула человеческих голосов. То приближается, то удаляется гул «у-а-а-а, у-а-а». Очень жутко. Временами кажется, что эта темная масса с криком движется прямо на нас. Хочется поднять тревогу, но понимаешь, что это нервы разыгрались. Надо взять себя в

руки. Ночь эта страшна, непонятна и как-то необычна. Очень невеселые мысли лезут в голову. Скорей бы рассвет.

Окружение

20.07

У нас часто и много говорят об окружении. Окружение — это нечто невысказанно-страшное, из чего надо вырываться. Это чревато опасностью — попасть в плен, что намного хуже, чем ранение или смерть. Из рассказов и листовок мы были слышаны о том, как немцы (а значит и финны) поступают с пленными и особенно с пленными евреями. Это совсем не укладывается в уме. Между тем упорно ходят слухи, что мы уже окружены. Это выражается в том, что мы все чаще и чаще меняем позиции. Мы все ближе и ближе отходим к Ленинграду, но по слухам, Ленинград уже окружен. Из листовок, которые нам попадают, мы узнаем о страшном разгроме войск под Ленинградом. Мы этому, конечно, не верим, и все же это очень действует на меня. Порою даже теряешь надежду на благоприятный исход.

И вот, наконец, нам официально объявили, что мы полностью окружены, что нам придется прорываться сквозь цепь противника. Конечно, ни у кого не было сомнения, что мы разорвем цепь и прорвемся к своим. И все же, где-то в глубине червячок подтачивал сознание, напоминая о том, что начинается весьма опасный этап нашей жизни, чреватый очень опасными и невероятными последствиями.

А пока уменьшили дневную норму питания. Это и есть первый признак окружения. По всем дорогам движутся (пока еще в полном порядке) отходящие части наших войск.

Вскоре из невидимых позиций начался обстрел наших обозов. Слышны стоны и крики раненых, рокот моторов, ржание лошадей. Начинается то, что называется окружением.

Пробиваемся

25.07

Пока отходим в некотором относительном порядке. Финны сильно препятствуют отходу. Они обстреливают нас, кажется, со всех сторон, а сами где-то в лесах остаются неуловимыми. На деревьях сидят снайперы (кукушки — так мы их называли) и расстреливают наших командиров. На несколько дней мы задержались в лесу, чтобы привести себя в порядок. Двигаться дальше по дороге стало невысказанно. Мой друг Неймарк сообщил мне по секрету, что дела наши очень плохи. Немцы взяли Гатчину и уже на окраинах Ленинграда. Настроение жуткое. Непонятно, куда мы идем? Ведь Ленинград уже от нас отрезан. Кто же нам поможет?

Мы опять пытаемся двигаться вперед (то есть назад), но обстрел настолько силен, что нельзя носа высунуть. Мы отвечаем артиллерией, но снаряды на исходе.

Кругом сплошной кошмар. То здесь, то там, в самой людской гуще со свистом и пронзительным визгом падают и рвутся мины. Дикие крики людей. Части человеческих тел взлетают в воздух, как щепки от дерева, обдавая ближних струями горячей крови. Люди в ужасе мечутся с одного места на другое, думая, что там спасение, и зачастую находят там верную смерть.

Начинается паника и суматоха.

Спасайся, кто как может
25.07

Под грохот рвущихся мин и артаканонады командир полка и комиссар собрали всех бойцов и командиров. Командир полка с дрожью в голосе объявил, что пробиться с пушками и машинами нет никакой возможности. Всегда веселый и бодрый командир сейчас казался совсем маленьким, ничтожным человечком. На глазах его слезы. Он говорит, что решил взорвать все пушки и машины, чтоб не достались врагу. Пробиваться будем лесом с винтовками и автоматами. Другого выхода нет. Все опустили головы и стояли в глубоком молчании. На минуту все позабыли о страхе, о смерти, которая неустанно преследует нас. «Взорвать пушки!» — это не укладывается в уме. Наша краса и гордость, наша слава, наше спасение... Все понимают, что дела, значит, совсем плохи. Визг мины приводит всех в движение. Наскоро составляются боевые отделения. Я назначен командовать одним из отделений. Первые отделения начинают по одному выступать. Мое среди них. Не успели мы сделать несколько шагов, как по нам открыли ураганный огонь. Пули так и свистят над головами. То здесь, то там слышны крики ужаса. Это предсмертные крики товарищей. Многие тут же падают замертво. Мы залегли в канаве и потом, по одному, опять поползли в лес.

Положение ужасное. Команд больше не было. Командиры растерялись и не могли что-нибудь придумать, чтобы сплотить и ободрить метавшуюся в ужасе, расстроенную массу бойцов. Сам собой распространился лозунг: «Спасайся, кто как может»...

И началась кутерьма.

...Недалеко, в лесу пылали подожженные нами наши машины и рвались пушки. На машине горел мой ранец; там лежали письма и фото, — последнее, что связывало меня с далеким, родным миром.

Неразбериха
27.07

И началось что-то непонятное и страшное. В полном беспорядке, без всякой команды, по дорогам и по лесам двигались толпы бойцов, обозы и машины. Финны обстреливали, казалось, со всех сторон, оставаясь совершенно незаметными. «Кукушки», сидя на деревьях, метко выводили из строя оставшихся командиров. То и дело слышались кругом стоны раненых, крики умирающих. Раненые просили взять их с собой, другие просили прикончить их. Но никто на них не обращал внимания, ибо стихийно действовал лозунг «Спасайся, кто может». Страшно было смотреть, как в зверином ужасе металась лошадь, которая была оставлена ранеными или убитыми седоками. Они дико ржали и металась в предсмертной агонии. Все это наводило какой-то ужас и смятение.

А люди все двигались вперед, усеивая дороги оставшимися своими друзьями, лошадьми и повозками. Каждый стремился вперед, ибо отстать означало быть пленным, а это было хуже смерти.

Сначала я двигался с несколькими своими бойцами и друзьями, но потом я всех потерял и двигался в общей толпе, не имея знакомых. Первое время непрерывный свист пуль над головой вызывал дрожь в теле. Смерть преследовала нас буквально по пятам. При каждом свисте приближающейся пули люди падали, прятались за пнями, за камнями, будто это могло спасти. Потом это стало привычным. Выработалось какое-то безразличное состояние вроде презрения к смерти. Мы начали передвигаться в полный рост, даже не пригибаясь и не обращая внимания на свист пуль, непрерывно преследующий нас.

Порою обстрел становился настолько сильным, что передвигаться становилось совершенно невозможно. Тогда люди вдруг хватали винтовки наперевес и с неистовым криком «Ура-а!» бросались бежать вперед. Это было какое-то дикое зрелище: огромные толпы людей бежали вперед и неистово кричали, не видя перед собой врага, не зная, куда бегут. Так казалось легче миновать опасность. Я очень боялся этих безумных «атак», ибо в эти минуты люди совершенно забывали самих себя, и страшные крики раненых, которые во время таких «атак» обильно усеивали поляны и леса, оставались совершенно заглушенными. На них не обращали ни малейшего внимания.

Перспектива остаться в таком положении приводила меня в ужас. Но пуля пока меня щадила. Так прошло несколько дней...

А люди все движутся и движутся... Обросшие, усталые, голодные движутся все вместе, кучей, представляя собой замечательную мишень для врага. Все чаще слышны стоны раненых. Все чаще по дороге встречаются истекающие кровью люди, умоляющие пристрелить их. Но кто захочет взять это на свою совесть? Так и остаются они по обочинам дорог с блеском ужаса в глазах, с умоляющим и непонимающим выражением на лице: «За что?!» Запомнился пожилой бородатый солдат. Он сидел верхом на лошади. С его туго забинтованной ноги просачивалась кровь, стекая по шерсти лошади на землю. Лицо его

выражало нестерпимое страдание. Видимо, боль от сотрясения была невыносимая. По его обильно заросшему лицу катились слезы. Он умоляюще стонал: «Братцы, пожалейте, снимите с лошади, убейте, не в силах терпеть больше!» Было жутко смотреть на этого здорового детину со слезами на глазах. Но кто мог удовлетворить его просьбу? «Спасайся, кто может», — и люди закрывали глаза на все и спасались.

Поляна смерти

Мы подошли к большой поляне, открытой со всех сторон. Эту поляну необходимо было пересечь, чтобы двигаться дальше по дороге лесом. Вот у этой-то поляны финны приготовили нам кровавую встречу. Когда весь обоз подтянулся, и началось форсирование поляны, финны открыли ураганный пулеметный огонь с двух сторон. Люди падали сотнями, издавая душераздирающие крики. В диком ужасе бегали лошади, с треском разлетались на куски повозки. Через некоторое время на этой поляне образовалось огромное страшное кладбище, где было перемешано все: и люди, и лошади, и повозки, и машины. Пробраться через поляну было совершенно невозможно. Только немногим счастливицам удалось преодолеть это препятствие.

«Освобождаем» дивизию

Свалка все увеличивалась. Подходившие все новые обозы и люди наталкивались на непроходимую пробку, образовавшуюся вследствие уничтожающего обстрела поляны. Сутолока и хаос все увеличивались. Тысячные толпы людей мотались с одного места в другое, везде натываясь на огневой вал противника; все это составляло очень хорошую мишень, которой он не замедлил воспользоваться.

К нам, группе бойцов и младших командиров, подошел не знакомый нам лейтенант-пехотинец и предложил зайти в тыл противника, уничтожить пулеметные точки и прорваться. Он говорил горячо и убежденно, что мы не только сами прорвемся, мы этим самым откроем дорогу и дадим возможность прорваться всей дивизии. Он убеждал, что хорошо знает местность и приведет к цели. Идея эта была заманчива и реальна. Прорваться самим и освободить тысячи людей от гибели — кто этого не желал?

Человек тридцать бойцов и младших командиров пошли за ним. Я был среди них. Мы зашли в глубь леса и начали обходить поляну. Финны нас не замечали. Вот мы перешли железную дорогу, дальше протекала какая-то речушка. Мы перешли ее в полной амунии. Осторожно движемся дальше. Впереди отчетливо слышится трескотня пулеметов. Значит, мы действительно зашли врагу в тыл. Это каждого воодушевляет. Состояние напряженное. Сейчас предстоит схватка. Вот мы уже видим отчетливые фигуры финнов, наклонившихся над

пулеметами. Вот они, виновники тех ужасов, свидетелями которых мы только что были на поляне. Вот они, сеятели смерти и увечья. Их немного. Но рядом какие-то помещения, быть может, их там много, а нас так мало...

С криком «Ура!», паля без толку из винтовок, мы бросились на врага. От неожиданности они растерялись и все бросились бежать в сторону, бросив пулеметы. Некоторые из них упали замертво от наших пуль. Мы также растерялись от неожиданного успеха.

Вместо того, чтобы завладеть пулеметами и использовать их против финнов, мы бросились «шарить» и «прочесывать» помещения, беспорядочно стреляя, куда попало. Некоторые набросились на лежавшую здесь кучу печенья. Шофер, шедший рядом со мной, боевой парень, схватил целую глыбу масла и всунул в противогазную сумку. Мне стало как-то не по себе. У меня не укладывалось в уме, как можно в такое время, быть может, в предсмертные минуты, думать о масле или печенье? Для меня это было равносильно преступлению. Но люди, видимо, об этом не думали. (Позже я сам, когда страдал от голода, сильно сожалел, что не захватил кусочек масла.)

Пока мы «прочесывали» помещения, финны успели опомниться и собраться с силами. Бесшумно они вынырнули из леса и с криками и стрельбой бросились на нас. Их было много, и все — с автоматами. Мы начали отходить, отстреливаясь. Многие из наших падали замертво, или были ранены.

Боевой шофер Сухов (с маслом) вскрикнул и уронил винтовку. Я быстро подбежал к нему. У него из простреленной ладони сочилась кровь. Я наскоро перевязал ему руку. Финны были совсем близко, а наши далеко ушли вперед. Он схватил винтовку, и мы бросились бежать. Вдруг позади себя я услышал страшный крик. Я оглянулся и увидел, как мой друг, шофер, подкошенный пулей, стремительно упал на землю. Подойти к нему было нельзя, и я побежал дальше.

Ранение

Впереди была речушка. Дальше по дороге я увидел бежавших наших бойцов, еще дальше, в лесу, слышна была стрельба, страшный шум, крик и отчетливая русская ругань. «Хоть бы добраться туда», — мелькнуло у меня в голове, и я бросился вплавь. Финны остались позади, они не решались подходить к речке и издали вели обстрел из автоматов. Я взобрался на береговую насыпь и начал пробираться к лесу. Вдруг я сзади почувствовал что-то вроде страшного ожога. Я упал. В глазах потемнело. Когда я опомнился, я увидел около себя лужицу крови. Я понял, что ранен в ногу, в паху. Я попытался подняться, но, как сломанный, рухнул на землю. Я оглянулся. Я лежал совершенно один, посреди большой дороги, маленький, ничтожный, окровавленный комочек. Впереди слышно было, как все дальше и

дальше удаляются уходящие наши части. Сзади финны продолжали обстреливать лес и дорогу. «Пришел конец», — подумал я.

Пробираюсь в лес

Мозг у меня работал отчетливо. Я решил во что бы то ни стало убраться с дороги в лес. Я сбросил сапоги. Один из них был обильно заполнен моей горячей кровью. Сбросил шинель. Оставил только винтовку и патроны. Осторожно, на четвереньках, я начал ползти. Жгучая боль при малейшем шевелении не давала возможности двигаться, но инстинкт самосохранения заставлял преодолевать боль. Со сжатыми зубами, испытывая ужаснейшие муки, я медленно полз вперед, оставляя за собой кровавый след. Наконец, после долгих мучений, я достиг цели. Я забрался в лес под первое попавшееся дерево и закрыл глаза.

Лес трещит

Когда я открыл глаза, я увидел перед собой стройный сосновый лес. Кругом никого не было, но в лесу все время стоял такой ужасающий грохот, что я сначала не мог понять в чем дело. Потом я сообразил: «Финны прочесывают лес». Кругом раздавались оглушительные взрывы, деревья трещали, и во все стороны отлетали куски стволов, целые ветви и с огромной силой ударялись о другие деревья. Иногда ломались и с сильным треском падали целые деревья. Все это бушевало вокруг меня, а я лежал один, совсем один в этом большом лесу, в этом страшном грохоте и думал: «Скорей бы стукнуло меня чем-нибудь, чтобы закончились все эти мучения». Но второй голос где-то внутри говорил: «Не надо, хоть бы не ударило осколком, авось как-нибудь выберусь из этого ада».

А лес бушевал. Осколки деревьев летали непрерывно, но ни одна щепочка не дотронулась до лежащего здесь, в этом бушующем море, окровавленного комочка. Это ли не чудо?

Раненые уходят. Я плачу

Вскоре грохот прекратился. Слышен был только шорох ветвей — мерное покачивание деревьев, угрюмо оплакивающих невинных жертв, понесенных ими вследствие обстрела. День угасал. Тревожно и шумно летали птицы с дерева на дерево, издавая порой дикие непонятные крики.

С водворением спокойствия в лесу я резче стал ощущать свою рану. Она начинала давать о себе знать, ощущалась сильная ноющая боль. Где-то далеко впереди слышны были стрельба и шум. Это уходили наши. Вдруг послышался шорох и шум приближающихся шагов. Я

схватил винтовку, но тут же заметил двух наших бойцов. Они, опираясь на винтовки и палки, медленно ковыляли на своих раненых ногах. Остановились и предложили мне следовать с ними к нашим. Я с трудом поднялся. Уж очень мне хотелось пойти с ними. При помощи винтовки я попытался сделать шаг, но страшная боль в ноге не дала мне этого сделать, и, как подкошенный, я рухнул на землю лицом вниз. Товарищи поковыляли дальше. С грустным, завидующим взглядом провожал их я. Это уходила последняя моя надежда, последнее дорогое, что называлось наше. Теперь я остался совсем один, такой маленький, такой ничтожный в этом большом, угрюмом, страшном и, главное, чужом лесу. Мне стало так больно, так жалко самого себя, что я не выдержал и заплакал.

Я плакал громко, навзрыд, я никого не стеснялся. Слезы обильно текли по моим щекам и увлажняли зеленую травку. Стройные сосны о чем-то перешептывались, наблюдая это странное зрелище.

Наступала ночь. Первая страшная ночь.

Первая ночь в лесу

Внезапно все кругом замолкло. Прекратился треск, шум и грохот. Видимо, финны прекратили прочесывать лес. Стало совсем тихо. Испытывая страшную боль, я пополз дальше, поглубже в лес. Выбрал место поудобнее и лег на спину. Под головой бугорок земли, под сосной, сверху, в виде эллипса, виднелся кусочек неба. Начинало темнеть.

Малейшее шевеление доставляло страшную боль. Я старался лежать смирно. Открыть и посмотреть рану я боялся, ибо чувствовал, что кровь присохла к одежде.

Я отчетливо сознавал, что доживаю последние дни или даже часы. Доносившаяся издали стрельба напоминала, что к жизни возврата нет. От этой мысли становилось не по себе. Я смотрел на кусочек неба и думал, что вижу его в последний раз. Мне стало жутко при мысли о том, что никто из моих дорогих родных и близких никогда не узнает, что я так бесславно окончил жизнь в этом далеком, страшном финском лесу. Совсем один во всем лесу. И как-то не так была страшна неминуемая смерть, как страшно было это одиночество. Я понимал, что если я здесь не погибну от пули, то неминуема голодная смерть. Я вспоминал годы своего детства и юности, Носовичи, Гомель, Копаткевичи. Перебирал в памяти всех дорогих и близких и мысленно прощался с ними.

Вот стало совсем темно. Кусочек неба над головой перестал быть виден. Начал моросить дождик. Кругом шумел лес. В этом темном, могучем лесу лежал я — маленький, босой, окровавленный и сводил, казалось, последние счеты с жизнью.

А ведь я еще совсем не жил. Трудно было привыкнуть к мысли, что еще не жив, надо так нелепо расстаться с жизнью. Измученный я заснул. Ночью мне снились всякие кошмары. У меня, видимо, была жара. Меня била лихорадка. Я бредил.

Жажда

Я проснулся от невыносимого холода. Зуб на зуб не попадал. Начало сентября в Финляндии — это очень неприятные погоды. Беспрерывно лил небольшой, холодный, пронизывающий дождик. Я лежал босой, в одной гимнастерке, без головного убора. Весь промок. Пальцы ног совершенно окоченели. Я настолько замерз, что не мог прийти в себя. Скрутился калачиком, всунул голову в гимнастерку и сильно начал дышать. Немного отогрелся. Наступило утро. На некоторое время выглянуло солнышко. Немного просушился.

Мучила жажда. Есть не хотелось, только пить..., пить... Я рвал кругом мох, прикладывал ко рту и выжимал влагу. Когда опять пошел дождик, я, подобно маленькому птенчику, раскрывал рот и с наслаждением глотал очень вкусные дождевые капли. Они не утоляли жажду, ведь это были только капли. Я умирал от жажды. Я сообразил, что где-то недалеко должно быть озеро или болото (в Финляндии их много). Поверхность леса шла под уклон. Я взял свою верную спутницу-винтовку и потихоньку, на четвереньках, начал ползти вниз. Рана давала о себе знать, и приходилось после каждых нескольких шагов отдыхать. По дороге попадались какие-то ягоды. С наслаждением я их пожирал.

Вот лежит заржавелая консервная банка. Видимо, след от зимней финской войны. В ней месяцами копилась вода. С наслаждением я выпиваю эту грязную муть. И так она вкусна, как никакое вино в хорошие времена! Жажду я все еще не утолил. Ползу дальше. Наконец кончается лес, и о — чудо! Совсем близко виднеется огромное, чистое, голубое озеро. Рядом столько чистой, вкусной воды, что голова кружится от нетерпения. Зрелище это еще больше разжигает жажду. Адовы муки! А сил двигаться дальше уже нет. Но как-нибудь доберусь, думаю я.

Однако, радость была преждевременной. До озера добраться не было никакой возможности. От леса до озера пролегало топкое болото. Это совсем меня добило. С такими мучениями проделанный на четвереньках путь не привел к цели...

И все же я пополз дальше, надеясь напиться из болота. Как только я выполз из леса, к моему великому удивлению, я увидел большую яму, видимо, воронку от снаряда. А яма полна драгоценной влаги. Не чудо ли это?! И, хотя вода была стоячая и грязная, кто мог тогда думать об этом. Около ямы валялся изломанный черпак. Наверное, не меня одного спасала эта яма.

Я схватил черпак и с величайшей жадностью набросился на эту чудеснейшую влагу. И хотя в яме купались лягушки и плавали всякие нечистоты, я пил эту влагу непрерывно и никак не мог насытиться. Никогда и никому, как мне кажется, никакая пища не была так вкусна, как эта вонючая грязная вода в этой спасительной для меня яме.

Вспоминая потом этот эпизод, я не переставал удивляться, как я мог не заболеть. Ведь я, с высокой температурой, выпил, наверное, около ведра грязной, вонючей воды. Много чудес на свете...

Напившись до отвала, я опять пополз в лес и устроил свою новую резиденцию недалеко от ямы-спасительницы. Много раз в день я полз к этой яме и с большим наслаждением, подолгу, теперь уже не спеша, пил этот чудесный, исцеляющий напиток.

Ночной гость (вторая ночь в лесу)

Прошел второй день в лесу. Напился вдоволь, встало немного легче. Но приближалась ночь. Опять страшная, темная, холодная ночь. Опять начал моросить холодный дождик. Поднялся ветер. Хуже всего было то, что было очень холодно. Я никак не мог согреться. Двигаться-то я не мог. Мои босые ноги совсем заоченели. Пальцы рук перестали слушаться. Немного отогревался собственным дыханием. Но надолго ли? Стало темнеть. Кругом ни души. Откуда-то доносятся человеческие голоса. Слышна вдалеке артиллерийская канонада. Временами пролетают какие-то большие птицы и издают дикие крики. Жутко. Вот уже совсем темно, кругом не видно ни зги. Только сплошная темная масса, мерно качающаяся и о чем-то разговаривающая на своем лесном языке. Становится страшно от мысли, что в этой темной, шепчущейся массе затерялся какой-то никому не нужный, маленький, босой солдатик. Немного согревшись своим дыханием, я, наконец, уснул. Но это был кошмарный сон. Сон со страшными видениями, бредом и полубезумием. И вдруг я проснулся от страшного шума вблизи меня. Я отчетливо слышал (но не видел), что на меня что-то движется. Что-то огромное, ибо трещали и падали ветки. Было слышно топанье массивных ног. Мое больное воображение живо представило, что прямо на меня движется какой-то большой зверь: не то лошадь, не то лось, не то медведь. Я понимал, что зверь этот, даже не трогая меня, может меня раздавить, подобно движущемуся танку. Ведь спрятаться или даже отойти в сторону я не мог. Для этого зверя ничего не значило такое неожиданное, ничтожное препятствие.

Между тем, шаги приближались. Ветки трещали совсем рядом. Вот я уже отчетливо вижу, как в темноте вырисовывается огромный черный силуэт и движется прямо на меня. Я закрыл глаза и ждал конца... Мое ощущение в этот момент словами, конечно, трудно передать.

Но даже зверь меня пощадил. Он прошел левее меня шага на два. Видимо, он меня не заметил или пожалел. Я дрожал от страха и холода, потом забылся кошмарным сном.

Убить себя непросто

Не знаю, сколько времени я находился еще в таком состоянии в лесу. Я потерял счет времени. Полузабытые чередовались с прояснениями. Помню только, что окончательно замерз, и последние силы покидали меня. Тогда мой возбужденный мозг принял решение свести счеты с жизнью. План был такой: я начну кричать и звать на помощь. Если где-то поблизости есть кто-нибудь из наших, то, может быть, они мне помогут. Если же я увижу, что подходит враг, то я тут же пускаю себе пулю в лоб или в грудь. Таково было окончательное решение моего болезненно разгоряченного воображения. Но это не так просто — самому уйти из жизни навсегда. Я начал к этому готовиться. Мысленно стал прощаться с родителями и братьями, со всеми родными и близкими. Последним, с кем виделся я сравнительно недавно, был брат Арон.

Это было летом 40-го года. Он приезжал в Ленинград и навестил меня. Мы стояли тогда в казармах под Ленинградом. Какой это был праздник для нас обоих, особенно для меня. К тому времени я уже провел год в армии, мучительный год муштры и издевательств. Год тоски по родным, по кому-нибудь, с кем можно отвести душу. И вот он со мной: такой родной, такой близкий...

Меня на день отпустили. Мы поехали на поезде в Ленинград. В поезде мне стало плохо (видимо от нервного возбуждения), началась рвота. Но это прошло. И вот мы в Ленинграде. Эрмитаж. Шедевры мирового искусства. Я шагаю по залам в своих огромных сапогах, оставляю следы. Мне неловко, кажется, что среди этой красоты я в своих сапогах здесь лишний. Но какое наслаждение после года казарменной жизни очутиться здесь, среди этого богатства образов и красок, да еще с родным братом.

...День пролетел быстро. И вот мы уже на вокзале. Я вхожу в вагон. Он остается на платформе. Мы машем друг другу. На глазах у обоих слезы. Видимо, предчувствие нам что-то подсказывало...

Я немного отвлекся. Очень трудно примириться с тем, что весь Божий красивый мир кругом ты видишь в последний раз. Ведь я еще совсем не жил. Но такова, видно, судьба.

Решение принято. Но как его осуществить? Оказывается, убить себя не так уж легко, не только морально, но даже физически. Как убить себя из винтовки? Она была заряжена. Но если приложить дуло к виску или к сердцу, то пальцы не достают до курка (я много раз примеривался).

Тогда я поблизости нашел небольшой толстый пруттик. Обломал его. Если приложить его к курку и нажать рукой на пруттик, то может произойти выстрел, и все будет кончено.

Я тщательно все отрепетировал. Кажется, все было сделано правильно. Сейчас об этом жутко писать, но тогда, когда я прикладывал дуло к виску и примерял, достанет ли палочка до курка, было совсем страшно. Но я решился. Хватит ли силы воли? Я в последний раз огляделся кругом: на деревья, на птиц, на небо, и... начал кричать.

Плен

Я кричал долго, пока не выбился из сил. Никто на мой крик не отозвался. Кругом шумел лес. Пролетали с криком птицы. Моросил дождик. Было обычное утро. Последнее, как я считал, утро в моей жизни. Обессиленный, я задремал. Винтовку из рук я не выпустил. Зловещая палочка лежала рядом.

Очнувшись я от шуршания и треска веток вблизи меня. Когда я открыл глаза, то увидел вокруг дула автоматов, направленных на меня. Затем я разглядел человек пять финских солдат, которые держали эти автоматы. Я попытался достать мой пруттик, но тут же почувствовал, что винтовку выбили из моих рук. Не знаю, хватило бы у меня духу нажать на курок, чтобы убить себя, но такое твердое намерение было. Хотя где-то в глубине мозга шевелилась мысль: а вдруг все обойдется, вдруг еще можно будет пожить. Все же чертовски жить хотелось.

Я не успел опомниться, как они, лопоча что-то на своем языке, вытащили затвор винтовки и бросили его в озеро. Я понял, что настали последние мои минуты. Я ждал, что вот-вот они меня прикончат, или сначала начнут издеваться, а затем уж...

Но они не сделали ни того, ни другого. Они положили меня на плащ-накидку и куда-то потащили. Единственное, что мне тогда хотелось, это чтобы все это скорее кончилось. Я не сомневался, что конец будет скоро, но каким он будет?

Тем временем, они притащили меня в какое-то помещение, положили на какой-то диван. Меня обступили много солдат. Все громко говорили, смеялись и с любопытством разглядывали меня. Еще бы. Перед ними лежал жалкий, мокрый, босой, раздетый, бородатый, беспомощный, окровавленный русский солдат. Есть чему подивиться!

Однако, к моему великому изумлению, никто меня даже пальцем не тронул, наоборот, меня тут же стали поить горячим, сладким чаем. Давали чего-то есть. После долгих дней голодания ничего в глотку не лезло, но чай меня немного согрел. Я перестал дрожать. Я никак не мог понять, что происходит. Почему они со мной ничего не делают? Я лежал и ждал, что вот-вот начнется страшная экзекуция.

Но вот я слышу шум подъехавшей машины. О чем-то громко рассуждая между собой, они понесли меня из помещения и положили в кузов грузовой машины. Громко крича, они проводили машину. Меня увезли в неизвестность. Вот так я оказался в плену. То страшное, чего мы так боялись, свершилось.

Я слышу «Катюшу»

Машина неслась быстро по лесной дороге. Я перекатывался в кузове с места на место. Неровности дороги, тряска машины, вызывали адскую боль в моей ране. Я стонал и кричал от боли, но никто меня не слышал. Я думал, что живым меня не довезут туда, куда везли.

Но вот машина въехала в какой-то город. Дорога теперь была без ухабов. Стало немного легче. Я лежал на дне кузова и не видел, что делается вокруг. И вдруг... Что это?!! Я отчетливо слышу: на встречной машине многоголосый хор поет «Катюшу»! Я не верил своим ушам. Здесь, в логове врага, и вдруг — «Катюша». Не сошел ли я с ума? Тем временем, машина неслась дальше. Вот она въехала в какой-то двор. Я вижу многоэтажное белое здание. Кругом шум, разговоры и крики. Но что это? Что за наваждение? Я опять слышу русскую речь. И какую! Слышу сочную, расцветистую, родную русскую ругань. Я никогда не ругался и не любил, когда ругаются при мне. В армейские годы и особенно в военное время этот ругательный язык был чуть ли не официальным. Без ругательных слов не обходился ни один разговор, ни один приказ, ни одно распоряжение, ни один начальник, начиная с младшего и кончая старшим. Я тоже знал этот язык, но говорить на нем так и не научился. И вот когда я услышал здесь эту знакомую и такую сейчас милую речь, стало как-то легче на душе. Я подумал: а чем черт не шутит, может быть совершилось чудо, и я, каким-то непонятным образом, попал к своим. Но чуда не было. Меня вытащили из кузова, положили на носилки и потащили в помещение. Положили на пол в коридоре. Кругом меня лежали такие же бедолаги, как и я. Окровавленные, жалкие русские солдаты.

Теперь я понял. Я попал в финский госпиталь для русских военнопленных. Госпиталь обслуживался русскими врачами, санитарями, сестрами — тоже пленными. Все они подчинялись финским офицерам и врачам.

Нас было очень много. Бедные финны. Они не ожидали такого массового пленения. Они не знали, что делать с пленными, куда их разместить, как их накормить. Ведь они и сами жили не очень жирно.

Так закончился первый и самый страшный этап моей новой жизни.

Госпиталь

Несколько суток мы так и пролежали на полу, без обработки ран. Но были под крышей и получали какую-то еду. Затем нас отнесли в баню. Подвергли санобработке, одели в чистое белье и разнесли по палатам. Меня положили на койку, застеленную хоть и стареньким, но чистым бельем. Это уже было блаженством. После всего пережитого очутиться в светлом помещении, на отдельной койке с чистым бельем и почти на мягком матрасе. Казалось, что это сон или сказка. Ведь о таком я даже не мог мечтать.

До моей раны все еще не дошла очередь. А она давала о себе знать все больше и больше: сильно гноилась и очень болела. Я не мог не только встать или сесть, но даже повернуться на бок. До сих пор не могу понять, как при такой запущенной ране, в грязи, при холоде и голоде, при высокой температуре я не получил никакого заражения или еще чего-нибудь. Вокруг меня лежали еще человек 12-15, в основном тяжелораненые, преимущественно люди среднего возраста русские и украинцы. Народ простой: в основном колхозники. Некоторые уже двигались и помогали нас обслуживать. Разговор в основном касался домашних дел. Вспоминали о своих деревнях, о родных. Но главная тема разговоров вертелась вокруг еды. Дело в том, что мы были очень голодны. Нас держали на почти голодном пайке. Утром — маленький кусочек хлеба-сур-рогата. Этот кусок мы обычно тут же проглатывали, а ведь он был на весь день. Затем какая-то жидкая баланда и кружка кипятка. На обед обычно — суп с гнилой, мороженой картошкой, от которого несло страшным запахом. Вечером — тоже что-то вроде баланды и кипятка.

Естественно, что разговор шел о еде. Каждый старался рассказать, какие вкусные и изощренные блюда он ел дома. Думаю, что в основном такие блюда они просто выдумывали. Каждый старался перещеголять другого. Этим они старались возместить недостаток еды и облегчить очень голодное состояние. На меня эти разговоры действовали крайне неблагоприятно, вплоть до тошноты и головокружения.

Обслуживали нас финские сестры. Старшая сестра — высокая, худая, очень добрая женщина. Ее помощница — уже пожилая женщина, очень миловидная и добросовестная. Молодые сестры — финки. Все они выполняли свои обязанности аккуратно. С нами в разговор не вступали: ведь мы их враги; но соответствующую помощь оказывали.

Наконец, дошла и моя очередь. Мою рану обработали: обмыли, качали головами. Видно, рана была очень запущена. Чем-то помазали, перевязали бумажным бинтом. Перевязки проходили через каждые 2-3 дня. И хотя медикаментов почти никаких не было, все же стало легче, и я стал чувствовать себя лучше.

Я немного мог изъясняться с сестрами на немецком языке. Они все его знали. Это им очень нравилось. Они стали меня расспрашивать: кто я и что я. Когда они узнали, что я учитель, они были очень удивлены и стали ко мне относиться более уважительно, даже стали приводить к

моей койке своих знакомых и показывать им чудо — учитель (ОРЕТТАЈА) — русский пленный с красивой, черной бородой.

Кто знает, может это и помогло мне в том, что у меня сохранилась нога. Финские врачи не очень церемонились с пленными: резали руки и ноги напропалую, ведь для них это была большая практика, чтобы помочь своим солдатам, попавшим в беду.

Я стал понемногу поправляться. Стал ковылять по палате на костылях. Я уже мог обслуживать своих товарищей по палате.

Я был очень слаб. Длительный голодный паек давал о себе знать. Одна молоденькая финская сестра стала меня подкармливать. Когда утром она раздавала градусники, она тихо шептала мне: «Ich habe in der Tasche». Это означало, что в условленном месте, в коридоре на батарее, лежит пара галет. Я потом выходил и тихонько, чтобы никто не видел, поедая эти галеты. Они были очень вкусны и дороги мне. А финка при этом очень рисковала. Им строго-настрого запрещалось не только помогать, но даже разговаривать с пленными. За такой проступок их стригли наголо и отправляли домой.

Так прошли недели и месяцы в госпитале.

Я не целую крест

Не могу не рассказать об одном эпизоде, который крепко запал в мою душу на всю жизнь. Был какой-то православный праздник. В палату прибежал старшина госпиталя (какой-то маленький пленный узбек) и приказал всем ходячим больным спуститься во двор. Там, сказал он, будет большой молебен. Ходячие начали спускаться во двор. Я лежал у окна и ходить, слава Богу, не мог. Из окна я видел, как двор постепенно заполняется ранеными. Кто на костылях, кто с палочкой, а кто просто на своих ногах заполнили двор. Здесь же был весь обслуживающий персонал. На какое-то возвышение поднялся человек в военной форме — армейский священник. Он произнес длинную проповедь. О чем он говорил, я не слышал, но видел, что периодически многие из толпы вслед за ним крестились. Затем, после окончания проповеди он спустился с возвышения, стал подходить к каждому и давал целовать крест, который висел у него на груди. Почти все целовали его крест и крестились. Мне было очень противно это зрелище, и я в тот момент был рад, что лежу, прикованный к постели.

Но радость была преждевременной. Прибежал тот же старшина, сообщив, что поп будет обходить палаты, и чтобы мы к этому подготовились. Меня это известие очень расстроило. Дело в том, что я никогда и нигде не скрывал своей национальности. Нам было известно, что немцы евреев не берут в плен, а расстреливают на месте. Мы полагали, что и финны так поступают. Однако, когда финский офицер (уже здесь, в госпитале) заполнял мою карточку пленного, я назвался

евреем, хотя вполне мог это скрыть. Какие последуют после этого действия, я не знал.

И вот в палату входит армейский поп. Его вид меня смущает. Я привык видеть попа с длинными волосами, с бородой и в рясе. А этот одет, как и все финские офицеры, с короткой стрижкой и без бороды. Говорит на чистом русском языке. Он подходит к каждой койке, дает целовать крест и благословляет.

Я не знал, как мне поступить. Целовать крест мне было противно. Какая-то внутренняя сила не давала мне этого сделать. С другой стороны, я был уверен, что если я этого не сделаю, то это чревато большими неприятностями, может быть, роковыми. Во-первых, среди лежащих в палате были ярые антисемиты. Во-вторых, я не знал, как отреагирует поп. Я был почти уверен, что он доложит начальству, и последствия будут самые ужасные.

Поэтому в мозгу возникла мысль: поцеловать этот противный крест и не подвергать себя никакой опасности. До последней секунды я не знал, как я поступлю. Но вот поп уже подходит к моей койке. Он садится на стул и протягивает мне крест. В первое мгновение я приподнялся на койке и потянулся было к кресту. Но затем какая-то сила меня снова уложила на койку. Я не мог этого сделать. Он недоуменно посмотрел на меня. Я тихо сказал: «Я некрещеный». Он очень удивился и спросил: «А кто же вы?» — «Я еврей».

Я замер. Я думал, что сейчас последует что-то ужасное. Я закрыл глаза и ждал. Но он ничего не сделал, а только сказал: «Тогда я к вам пришлю раввина».

Я был страшно изумлен. Холодный пот выступил на лице. Я не знал, чем все это кончится. Я не верил, что придет раввин, но я был очень доволен, что не поступился своими принципами. Раввин, конечно, не пришел, но меня пока не трогали.

Часть 3

1942-1943

Есть на свете добрые люди

Была зима 1942 г. Лютая, холодная зима. Здесь, в Финляндии, она особенно свирепая. Дуют сильные ветры с Финского залива. Мы здесь почти ничего не знали, что делается в мире, в родной стране. Обрывки новостей, которые доходили до нас, были очень тревожными. Страна наша переживала страшное время.

Между тем, рана моя, как ни странно, начала затягиваться. И хотя нога сильно болела, и я был очень слаб, я начал понемногу передвигаться без костылей. Таких больных в госпитале не держали: их выписывали и отправляли на лесозаготовки. Что ждет меня впереди? Было страшно даже думать об этом. С моим здоровьем, с

больной ногой, в ветхих лохмотьях, которыми снабжались выписанные, попасть в лес в эту пору — значило верную гибель. Я постепенно привык к этой мысли. Но и здесь судьба мне улыбнулась.

Каждую неделю в госпитале проходил обход больных на предмет выписки. Старшая сестра, старший врач и комендант лагеря (свирепый финский майор немецкого происхождения, всегда с плеткой в руках) подходили к каждой койке, и если человек мало-мальски стоял на ногах, его тут же выписывали. Несколько таких обходов (уже тогда, когда я был ходячим больным) меня пронесло. Как только сестра подводила начальство к моей койке, она что-то говорила им на своем языке, и они, даже не разбинтовывая рану, уходили к следующей койке. Бывают же такие добрые люди на свете, как эта милая сестра! Но долго, конечно, это продолжаться не могло. Держать в госпитале «здорового» больного даже старшая сестра не смела. На одном из обходов (после шестимесячного пребывания в госпитале) я был выписан как выздоровевший.

Я спустился вниз. Мне выдали мое скудное «обмундирование». Зима была еще в зените. С поникшей головой я ждал отправки в «лесную команду», то есть на верную гибель. Но каково было мое изумление, когда я узнал, что меня оставляют работать в этом же госпитале санитаром. Опять постаралась та же старшая сестра. Смогу ли я когда-нибудь и чем-нибудь ее отблагодарить?

Санитар в таком госпитале — это не мед. Это адская работа. Но все же это значило быть в тепле и вселяло надежду на выживание.

Санитар

Казалось бы, работа санитара не такая уж трудная. Однако, в моем ослабленном состоянии, при больной ноге, — это был адский труд. Было очень тяжело физически и еще более тяжело морально. За мной была закреплена палата, где лежали в основном тяжело раненные младшие офицеры Красной армии. Почти все — лежащие больные (один даже без обеих рук и ног). Их было человек 20. Их надо было полностью обслужить: подавать утки, судна, обмывать. Надо было приносить пищу и всех накормить. Кухня находилась далеко во дворе. С моей больной ногой надо было поднять на третий этаж ведра баланды, хлеб и прочее. В первые дни я думал, что не выдержу этого. Я старался помочь своим подопечным, чем только мог. Очень тяжело было видеть, как они, голодные, ждали, пока я разливаю по тарелкам жидкую баланду, как они смотрели на то, как я режу кусочки положенного им хлеба. Затем я накрывал пайку хлеба рукой и кричал: «Кому?» Один из них называл фамилии. Не дай Бог, чтобы кому-нибудь досталось на кусочек больше. Я их понимал. Они были голодные и я тоже. Но они лежали, а я работал. И работал тяжело. И если я себе в тарелку наливал немного больше баланды, это вызывало немой укор в их глазах.

Один раз произошла такая сцена. Когда я принес очередное ведро с похлебкой, один из больных произнес примерно такую речь: «Мы видим, что ты (он обращался ко мне) человек добрый и еще не потерял совесть, и чтоб ты ее окончательно не потерял, мы решили раздавать пищу сами». Тут же один из них, ходячий больной, стал разливать баланду во все тарелки, включая и мою. Так же начали делить хлеб без моего участия. Я был страшно обижен. К тому же, скудная порция похлебки при моей тяжелой работе была явно недостаточна. Но затем я к этому привык и был им очень благодарен за то, что они помогли мне остаться человеком при любых обстоятельствах. Мы остались задушевными друзьями, вместе болеющими за судьбу нашей страны. Многие другие санитары оставили о себе очень недобрую память.

Живые и мертвые

Обслуживать свою палату — это была еще не самая трудная работа санитаря. Гораздо трудней и физически и морально была уборка длинного коридора и туалета. Дело в том, что основная масса поступавших больных в госпиталь в это время — это больные из лагерей военнопленных, разбросанных по всей стране. Очень жестоких боев на Финском фронте в это время уже не было. Прибывающие из лагерей обычно болели дистрофией, у них был жидкий понос. Было страшно смотреть, как эти измученные люди, еле передвигаясь, двигались в туалет. Из них лилась черная жижа. Все тело их было измазано этой жижой. На полу, по всему коридору они оставляли зловонный след. Коридор за ними надо было мыть несколько раз в день. И самым трудным было то, что их надо было обмывать и все время чистить и мыть туалет. Это был адский труд. Этим людям ничем уже нельзя было помочь. Госпитальная пища еще больше усугубляла их болезнь. Как правило, они через несколько дней погибали. И вот, каждое утро, наступало самое страшное. В коридоре стояли койки, на которых лежали покойники, вынесенные из палат. Они имели страшный вид. Даже трудно теперь об этом вспоминать и это описать. Их надо было раздеть, то есть снять белье. Это облитое жижой белье надо было сдать. Затем их надо было обмыть, положить на носилки и вынести во двор в специальное помещение (сарай). В этом сарае уже лежала целая куча таких же бедолаг. Кроме того, здесь лежали различные части тела: руки, ноги — это следы операций финских врачей. Затем все это грузили на грузовики и увозили на специальное поле, где всех вместе зарывали в яму и ставили деревянный крест. Как я все это выдерживал, сейчас мне даже трудно представить. Но, как видите, выдержал. Видимо, человеческие возможности все же безграничны.

Евреев собирают вместе

Так протекали дни и месяцы в должности санитаря. Это были трудные месяцы, которые изнуряли меня и физически и морально. Однако, это были и месяцы какой-то надежды выжить. Все же я был под крышей и в тепле. Многомесячный голодный паек давал о себе знать. Силенок становилось все меньше и меньше.

Вести, доходившие до нас, были самые неутешительные. Финские газеты писали чуть ли не о полном крахе Красной армии. Отсюда и соответствующее настроение.

В один из таких дней, когда я тащил ведро с баландой, ковыляя на своей больной ноге, меня встретил старшина-узбек. Как всегда, он бежит запыхавшись. Всегда чем-то озабочен.

— Ты Раскин? — спрашивает он.

— Я, — отвечаю.

— Ты еврей?

От этого вопроса мне сразу стало каламутно. Но деваться некуда. Я ответил утвердительно. Он стал говорить, что долго меня разыскивал и что никак не предполагал, что я — еврей. Короче говоря, он приказал мне сейчас же собирать свои манатки, так как всех евреев собирают куда-то в одно место. Можно себе представить мое состояние тогда. Куда могут собирать евреев в такое время и в таком месте? Дело было ясное. Очередное восхождение на эшафот. Но делать было нечего. Я быстро собрался, благо собирать было нечего. В очередной раз я попрощался с Божьим миром. Меня посадили в машину и, в сопровождении того же старшины, увезли в неизвестном направлении. В кузове грузовика я оказался один. В госпитале не оказалось больше ни одного еврея. Думаю, что некоторые смогли скрыть свою национальность.

Так закончилось мое довольно длительное пребывание в госпитале. Куда меня везут? И довезут ли куда-нибудь?

Везли меня долго и привезли в какой-то городок. Встретил нас финский офицер, чисто говорящий по-русски. Видимо, потомок белогвардейца. Он принял меня с рук на руки и повел к какому-то барaku. Втолкнул меня туда и запер за мною дверь. У дверей стояли финские часовые.

То, что я увидел в бараке, трудно описать. Здесь собралось много (наверное человек сто) нашего брата. Все они расположились кто на полу, кто на двухэтажных нарах. Сидели или стояли кучками и очень оживленно беседовали, сильно жестикулируя. Я был просто ошеломлен. Какая-то радость охватила меня. Столько родных лиц. Была слышна даже еврейская речь. Но хотя мы все были очень рады встрече и очень оживлены, мы хорошо понимали, что радоваться отнюдь нечему. Мы знали, что нас ждут очень большие неприятности, если не хуже. Тем не менее, в бараке впервые за многие месяцы было весело. Вечером состоялось что-то вроде вечера самодеятельности.

Читали стихи, пели песни наши, советские, любимые. Пели и еврейские народные. Это был незабываемый вечер.

Утром на следующий день нас вывели из барака и построили. Здесь же стоял финский конвой. К нам с речью обратился тот самый «белогвардеец». Речь его была примерно такого содержания: фюрер поставил себе цель уничтожить всех жидов, чтобы жидовские морды больше не управляли миром, и если фюрер этого хочет, то так и будет. Мы, финны, тоже вас ненавидим, но сами вас убивать не станем. Мы вас посадим на корабль и отправим в Палестину. По дороге немцы вас все равно потопят.

Вот такая, примерно, была речь. Мы стояли как пришибленные и глядели на этого фашистского холуя. Кончив речь, он отдал команду, и нас разместили в грузовики. В каждой машине конвой. Нас куда-то везли, причем не все машины в одном направлении. Везли нас долго и привезли в какой-то поселок, где возвышалась заводская труба. Здесь нас высадили. Это было наше пристанище. Назывался поселок Лоуколампи. Ни моря, ни океана, ни корабля здесь не было. Что нас здесь ждет?

Лоуколампи — финский поселок или городок. Собственно, мы его и не видели. Нас поместили в барак, находящийся во дворе. Дворик обнесен колючей проволокой. Днем и ночью охрана. Мы должны были работать на заводишке, который вырабатывал удобрения. Другая часть наших ребят находилась в другом поселке — Монтула. Там они работали в подземной шахте, где добывали камень-известняк. Этот камень грузили в вагонетки, и по узкоколейке он попадал на завод, где мы работали.

Жили мы в небольшом бараке, где были двухэтажные сплошные нары. Каждый владел своим местом, куда могло вписаться его тело. Никаких матрацев и подушек не было, не говоря уже о белье. Стелили все то, что надевали на себя. Одежек было много: всякие штаны, рваные телогрейки, шинели и т. п. Ведь в Финляндии очень сильные морозы. Посреди барака стояла огромная параша. За ночь она заполнялась и издавала невыносимый зловонный запах. Утром дежурные выносили парашу. Поднимали нас рано. Мы надевали на себя (зимой) что у кого было. Огромное количество лохмотьев. На ногах огромные ботинки, чаще всего на деревянной подошве. Наматывали тряпок, сколько у кого было. Мы в этой одежде были страшно неуклюжи и неповоротливы.

Одевшись, мы шли на построение (с котелками). Нас водили на завтрак. Кухня находилась далеко от барака. Обычно охранник требовал, чтобы мы шли с песней. Когда было настроение, мы пели (запевал Левка Орлов), но часто мы бастовали и не хотели петь. Тогда охранник гонял нас 15–20 раз бегом вокруг барака. Мне эта процедура доставляла страдание, так как болела нога. И все-таки мы не запеваляли. Изможденные, шли на кухню, получали свою баланду и кусочек хлеба.

Шли опять в барак (строим) и поедали холодную баланду. Затем отправлялись на работу. Процедура питания была три раза в день. Мы были очень голодны, настолько голодны, что лично я неоднократно подбирал и поедал очистки, которые выбрасывали охранники. Так протекали дни в Лоуколампи.

Как мы жили

Публика в лагере собралась разношерстная. В основном — ленинградцы. По профессии самые разные люди. Были здесь и директор завода и главные инженеры, и просто инженеры, студенты, учителя, работники торговли, а также простые рабочие или мелкие служащие. Сейчас уже трудно вспомнить обо всех обитателях лагеря, но некоторые до сих пор сильно запали в душу.

Володя Коган — главный инженер какого-то завода в Ленинграде. Он был намного старше всех нас, уже сидящий мужчина. Очень эрудированный человек. Очень добрый и отзывчивый товарищ. Мастер на все руки. С ним очень приятно было беседовать.

Соломон Шур — архитектор. О нем я напишу отдельно.

Яшка Раскинд из Белоруссии. Это простой слесарь, но тоже знающий парень. Необычайно добрая душа. Всегда всем поможет, посоветует, со всеми поделится. С ним я был еще долго после плена в Новохарьковске. Затем я уехал, и он уехал, и мы потеряли друг друга.

Сеня Каплун — слесарь-жестянщик из Ленинграда. Хороший товарищ. Хотя и не имел образования, но эрудирован во многих областях.

Мишка Тумаркин, по кличке «Немец». Добродушный, отзывчивый паренек, умел дружить со всеми и оказывать помощь кому надо.

Левка Этинген — очень молодой паренек. Студент из Ленинграда. Очень справедливый и принципиальный. Не мог терпеть никакой фальши. Говорил всегда что думает, прямо в глаза.

Всех сейчас не упомнишь, но помню, что были и не совсем приятные люди. Например, два брата, работавшие в торговле (одного почему-то звали номер семь), некий Табачников, беспокоившийся только о себе. Был даже какой-то Мишка — вор-рецидивист, весь истатуированный. Несмотря на всю разношерстность обитателей лагеря и на те, почти невыносимые, условия, в которых мы жили, мы все-таки представляли собой коллектив единомышленников. Хотя бывали и ссоры и недоразумения, но, в основном, мы жили дружно. Существовала братская взаимопомощь. Благодаря этому, у нас не было жертв. Мы все выжили и вернулись домой, в то время как в общих лагерях люди погибали сотнями и тысячами.

Мы все были страстными патриотами своей страны. Огорчались и переживали за каждую неудачу наших войск, за каждый отданный врагу город. Верили в окончательную победу. А когда начались победы

наших войск, мы были безмерно счастливы. Каждый взятый город — это был у нас праздник. Если кто-нибудь был из этого города, то он в этот день не ходил на работу (как-то это устраивали).

Мы были в курсе событий. Надо сказать, что финские газеты довольно объективно освещали ход событий. Мы доставали газеты (не помню как). Шур, хорошо владеющий финским языком, переводил основные сообщения. Я записывал то, что он переводил. Каждый день все собирались в бараке, закрывали дверь, ставили кого-нибудь на атаке и проводили политинформацию. Я зачитывал все сообщения, что удавалось перевести из газет, другие сообщали о том, что узнали из разговоров с финнами. Это были хорошие минуты. Как блестели глаза у всех, когда начались наши победы после Сталинграда.

Вечерами, когда стало тепло, мы выходили во двор и пели наши советские песни. Инициатором этого всегда был Левка Орлов — москвич, очень душевный человек. Пели и еврейские песни. Затем собирались группками, вели душевные беседы. Вспоминали родных и близких, былые хорошие времена. Так как мы всегда были голодны, то разговоры часто переходили на кулинарные темы. Многие изощрялись в рассказах о блюдах, которые они когда-то ели. Это еще больше разжигало голод, и потихоньку мы расходились и заваливались на свои нары. Там продолжали думать втихомолку. Когда начались успехи наших войск, появилась более реальная надежда на возвращение домой. Хотя лично я, как всегда, не надеялся когда-либо увидеть кого-нибудь из родных.

Наш «колхоз». Соломон Шур

В лагере мы жили так называемыми «колхозами». То есть несколько человек, наиболее близкие друг другу, объединялись в «колхоз». Так как обобществлять было нечего (имущества у нас не было), то такое объединение носило чисто символический характер. В основном объединялись люди, близкие по духу, по взглядам, по эрудиции, по профессии.

В наш колхоз входили: Коган, Этинген, Яшка Рыжий, Соломон Шур и я. Неофициальным председателем был Володя Коган — самый старший по возрасту и всеми уважаемый человек.

Мы были очень дружны и помогали друг другу, чем могли. Основная цель колхоза — добывать продукты на стороне, чтобы подкреплять силы, которые таяли с каждым днем из-за скудного, голодного пайка. Наш колхоз специализировался на изготовлении алюминиевых колец. В ход шли алюминиевые котелки. Их резали на части, делали кольца, гравировали их, вставляли разноцветные стеклышки и затем сбывали финнам. У наших колхозников, особенно у Когана и Яшки, были золотые руки. Кольца получались изящные. Финны за них давали картошку. Все

добытое шло в общий котел. Картошка варилась в мундире и делилась поровну.

Лично я ни делать, ни сбывать кольца не умел. До сих пор не понимаю, как я попал в этот престижный колхоз, ведь я был у них явным нахлебником. Видимо, из жалости, а, может быть, я им просто понравился своим характером, своими взглядами. И хотя такой приработок был далеко не всегда, особенно после того, как такие кольца начали делать все, все-таки это было большим подспорьем для нас.

В нашем колхозе мне особенно импонировал Соломон Шур. С ним мы сошлись как-то сразу. Он — бывший архитектор. Кроме того, он был глубоко эрудирован во многих областях. Особенно хорошо знал литературу. Очень любил поэзию. Происходил он из интеллигентной еврейской московской семьи. В их доме часто собирались еврейские писатели, артисты, поэты. Его мама была знакома даже с Х.Н. Бяликом^[74]. Соломон хорошо знал историю и литературу нашего народа. На этой почве, пожалуй, и состоялась наша дружба.

Я поражаюсь его памяти. Он знал наизусть массу стихов. Мог целый вечер читать Пушкина, Лермонтова. Как-то, в один вечер, очень долго читал мне лирику Маяковского (я до этого даже не знал, что у Маяковского есть лирика). Особенно мне запомнилось, как проникновенно он прочитал «Скрипку и немного нервно».

Очень любил Тютчева. Знал его, по-моему, всего. Забегая вперед, не могу не вспомнить уже совсем недавнее время. Перед роковой операцией, она должна была состояться завтра, мы (я, его жена Нина и дочь Белла) прогуливались с ним по аллеям больничного двора. Была осенняя погода, холодно и сыро. Говорили на разные темы, старались отвлечь его. Но он как будто не унывал. И вдруг он начал читать Тютчева. Как из рога изобилия сыпались стихи. Стихи грустные, безысходные, хватающие за душу. Мы не решались остановить его. А он все говорил и говорил. Видимо, он предчувствовал беду. Через несколько дней его не стало...

Но вернемся опять в далекое прошлое. Не раз Соломон спасал меня от беды, а один раз — от верной гибели (я постараюсь об этом рассказать).

Соломон Шур пользовался бесспорным авторитетом у всех обитателей лагеря и даже у финнов, которые питали уважение к его знаниям и особенно к знанию финского языка. Дружба наша продолжалась и после войны. Мы дружили до последних дней его жизни, а семьями дружим и сейчас.

Эпизоды... Эпизоды...

Неумолимо летит время. Годы мчатся, будто наперегонки. Вот уже пролетели 43 года с той страшной поры, о которой я пишу. Память

скуднеет. В извилинах мозга отчетливо сохранились лишь те эпизоды той жизни, которые забыть невозможно. Да и всю эту жизнь (если это можно назвать жизнью) забыть нельзя. Только вот забываются фамилии, стираются очертания лиц, но основное помнится.

Из мертвых в живые

Дело было зимой. Я работал в бригаде Шура. Бригада называлась строительной, так как сам Шур по профессии архитектор. Однако, более правильно было бы назвать ее чернорабочей. Мы выполняли всякие черные работы: копали, ломали, таскали бревна, пилили доски, чистили уборные и многое другое. Приходилось работать все время на улице. А финские морозы очень суровые. Ветры сильные и жгучие. Мы одевали на себя тысячи одежек, вернее лохмотьев, что только кто мог раздобыть. На мне, например, было надето: рваная телогрейка и такие же рваные ватные штаны (это поверх домашней одежды), затем какая-то кофта огромных размеров, поверх этого — старая шинель. Шея замотана каким-то старым шарфом. На голове поверх хустки (платок, косынка) — буденовка. На ногах ботинки на деревянной подошве, огромных размеров, ибо надо было замотать ноги всякими тряпками, которые удалось раздобыть.

В тот день мы (то есть бригада Шура) разбирали старую заводскую трубу. Труба была кирпичной. Частично она была уже разобрана с одной стороны. Верхушка уже была снята. Мы стояли на мостике, который опоясывал трубу на высоте трех-четырех метров от земли. Вокруг мостика был железный барьер, который охранял от падения вниз. На мостике нас было человек пять-шесть во главе с Шуром. Мы ломиками ковыряли трубу, отковыривали кирпичные блоки и бросали их вниз. Работали не спеша. Тихонько между собой разговаривали. Труба была диаметром метра 2 или 2,5. Мы стояли недалеко друг от друга на мостике.

Вдруг раздался какой-то страшный треск, отдаленный шум, а затем сильный грохот. Я успел сообразить, что рухнула неразобранная часть трубы. Все стоявшие на мостике бросились к выходу (в барьере был незагороженный вход, и железная лестница вела вниз). Они успели спрыгнуть вниз. Я же был на самом дальнем расстоянии от выхода. В своей неуклюжей одежде я не успел сдвинуться с места. На меня посыпались кирпичные блоки — огромные и тяжелые (несколько кирпичей были слеплены между собой цементом). Меня прижало к барьеру. Прижало настолько, что накопившееся внутри начало выходить из заднего прохода. Дышать стало невозможно. Дальше я уже не помнил, что было, ибо потерял сознание. О том, что произошло дальше, рассказал потом Шур. Как только прекратился грохот и немного улеглась пыль, он с ребятами бросился к тому месту, где должен был стоять я. Но меня там не было. На этом месте лежала груда

огромных кирпичных блоков. Шур с ребятами стали быстро раскапывать завал. Вдруг он увидел торчащий кончик моей буденовки. Тогда он стал расшвыривать кирпичи и высвобождать меня из-под развалин. Это было непросто. Но исход решали секунды. И Шур с ребятами сделали, что могли. Меня вытащили из-под груды камней, положили на пол. Я был бледен, как мел, без дыхания и без сознания. Но тут же, через несколько секунд, открыл глаза, начал дышать. Жизнь взяла верх. Я очнулся и стал соображать. Все тело болело и ныло, но ни одной царапины ни на лице, ни на теле не было. Это было чудо. Все удивлялись и не могли поверить, что я остался жив. Видимо, сыграли роль моя одежда и барьер. Говорить мне было очень трудно. Меня унесли в барак, уложили на нары, а сами тут же ушли на работу. Я остался один, беспомощный и разбитый, на нарах в пустом бараке и думал о том, что ждет меня впереди. Я знал, что больных финны не держат. Значит завтра же меня отправят в общий лагерь, где есть что-то похожее на госпиталь. Это совсем мне не улыбалось. Я очень привык к своим ребятам и очень не хотел уезжать в общий лагерь (там не было евреев). Я знал, что со своими силами и своей неприспособленностью я там не выдержу. На душе было очень муторно, и, кроме того, все тело болело и ныло. Я думал, что внутри у меня все оторвалось, и вряд ли я приду в себя.

Вечером пришли ребята. Помогли, чем могли. Шур меня успокоил. Обещал уладить, чтобы меня не увозили. Так он и сделал. Он упросил старшего по строительству (финна), чтобы меня не увозили. Но тот поставил условие, чтобы я послезавтра шел со всеми на работу (один день он все же разрешил мне побыть на нарах). Я был ужасно слаб и не знал, смогу ли я пойти на работу. Но из двух зол выбрал это. Если погибать, то лучше среди своих. Шур тоже советовал так сделать. Он обещал, что сам и ребята мне помогут. Отлежавшись один день, я назавтра вместе с ребятами собрался на работу. Облачился во все свои одежды (лохмотья). Это сама по себе уже трудная работа. И вот мы пошли на работу. Я еле двигался. Тело продолжало болеть и ныть, будто меня избили палками. Но ничего не поделаешь, надо перебороть самого себя. Мне дали сравнительно легкую работу. Вертелась бетономешалка. Тут же подогревался песок. Я должен был большущей лопатой подбрасывать горячий песок в бетономешалку. Для меня это была адская работа. Руки совсем меня не слушались. Очень болела нога, ныло и болело все тело. Я думал, что не выдержу. Как сейчас помню, что плакал от бессилия. Плакал и подымал эту тяжелую лопату (видимо, она была не такая уж тяжелая) и бросал горячий песок в бетономешалку. Кое-как, ценою огромных усилий, физических и нервных, отработал смену. С помощью ребят добрался до барака. Тут же завалился на нары до утра. А назавтра... опять то же самое. Но было уже немного легче. Через несколько дней я совсем привык. И, хотя было еще очень трудно, и тело еще болело, руки и ноги не совсем

слушались, но я чувствовал, что самое страшное уже позади. Я был счастлив, что сумел перебороть свое бессилие, что остался среди своих. Для меня тогда это было самым важным.

Так я однажды из мертвых стал живым. А того, кто вернул меня к жизни, уже нет...

К нам едут... евреи!

В один из дней, весной 1943 г., нам сообщили, что к нам приедут несколько финских евреев. Все были страшно изумлены. Никто не думал, что в Финляндии вообще есть евреи. Да еще свободно разъезжают. И это в стране, которая воюет на стороне Германии.

И вот они приехали. Трое мужчин среднего и пожилого возраста. Они — представители Хельсинкской еврейской общины. Привезли с собой две пачки: одна довольно громоздкая, другая поменьше. Когда мы их распечатали, то оказалось, что в одной из них лежит... туалетная бумага (только ее нам и не хватало!). Видимо, кто-то из них имел дело с бумажной фабрикой. В другой пачке была... маца. Оказалось, что вскоре наступит праздник Пасха. Конечно, мы были бы куда более довольны, если бы они привезли побольше хлеба и еще чего-нибудь съестного. Ведь мы были хронически голодны, и очень хотелось хоть раз поесть вдоволь. Тем не менее, мацу мы тут же смолотили с великим удовольствием.

Вечером, когда все пришли с работы, мы вместе с ними сели за стол. Они хотели провести молебен, но из этого ничего не вышло. Среди нас не было верующих. Никто не знал ни одной молитвы, а многие не знали даже идиш.

Тем не менее, нам было с ними хорошо. Мы беседовали с ними на простом идиш. Само то, что мы видим перед собой живых, здравствующих евреев, было для нас праздником. Ведь мы знали, что делают фашисты с евреями в странах Европы.

Они нам рассказали, что финские власти, несмотря на требования фашистов, не только не трогают своих евреев, но и защищают их интересы. О многом мы тогда говорили. Сейчас уже трудно вспомнить, о чем именно.

Затем мы вместе пели песни: еврейские народные (оказалось, что они знают много тех же песен, что и мы). Пели и советские и русские народные песни. Вечер этот запомнился надолго. Несмотря на то, что ничего конкретного они для нас не сделали, все же осталось приятное впечатление от их посещения. Впрочем, может быть, они кое-что сделали для нас. Ребята видели, как они долго беседовали с управляющим заводом (это был очень противный тип по фамилии Лескинен). На некоторое время после этого посещения наша скудная пища стала вроде чуточку жирней. Режим тоже на некоторое время после этого стал чуточку послабее.

Еще один бесценный подарок привезли евреи из Хельсинки. Они привезли несколько книг на языке идиш. Были здесь томик рассказов Шолом-Алейхема, томик Переца, еще какие-то произведения, и среди них несколько томов еврейской истории Дубнова. Читать на идиш почти никто не умел. Я вслух читал Шолом-Алейхема. Ребята дружно смеялись, а некоторые украдкой стирали слезу. Уж очень пригодился нам Шолом-Алейхем в нашей барачной ужасающей обстановке. Что касается Дубнова, то я его проштудировал, сделал на обрывках бумаги некоторые конспекты. Затем прочитал несколько «Лекций» из еврейской истории. Меня слушали внимательно. Ведь большинству из нас история своего народа была совершенно незнакома.

Жалкий и беспомощный

Сначала одно воспоминание из совсем далекого прошлого, из моего безрадостного отрочества. Это было в голодном 1933 г. Я учился тогда в ФЗУ на слесаря-паровозника. Учеба шла туго, а работа еще хуже. Руки мои явно не были приспособлены к слесарной премудрости. Жили мы в общежитии — огромный зал бывшего клуба. В этом зале нас было человек 200. Водили нас в столовую, обедать. Пища была скудная. Но самое страшное было то, что не было ложек. А без ложки, как говорится, и не туды, и не сюды, все равно, что брюки без пуговиц. Время от времени из кухни выходила официантка и из своего фартука высыпала в таз кучу только что помытых алюминиевых ложек. На них набрасывалась, как саранча, куча ожидающих фабзайцев и в одно мгновение их расхватывали. Остальные ждали следующего выхода официантки. Я сделал несколько попыток с боем взять ложку, но с моей расторопностью и деликатностью ничего не получалось. Поняв, что ничего не получится, я отошел в сторону и с завистью наблюдал, как фабзайцы аппетитно уплетают обед. И тут, о чудо! Ко мне подходит молоденькая официантка, вытаскивает из кармана фартука драгоценную ложку и подает ее мне. Я не верил глазам своим. Я посмотрел в ее глаза, пролепетал «спасибо» и пошел обедать. Глаза ее я помню до сих пор. Видимо, вид мой был настолько жалок и беспомощен, что вызвал жалость у этой официантки.

Все это я вспомнил в связи с другим эпизодом, произошедшим со мною в Финляндии. Был обычный зимний день, сильный мороз.

Наша строительная бригада Шура работала во дворе финского прораба. Здесь же поблизости находилась его квартира — красивый одноэтажный аккуратный домик. Прораб был хорошим, образованным человеком. Он часто беседовал с Шуром на архитектурные темы. Мы перетаскивали какие-то доски и бревна с одного места на другое. Кое-кто из нас чистил уборную во дворе или занимался другими делами. Было очень холодно. На нас была одета масса всяких одежек. Ботинки на деревянной подошве были обмотаны тряпками. Но все равно мы

замерзали, так как были голодны, и, как говорится, кровь не грела. И вот я вижу, что Шур о чем-то говорит с прорабом. Затем он подзывает меня и говорит, чтобы я пошел в дом погреться. Я вслед за прорабом вошел в дом. Он тут же вышел. Я остался стоять в теплой, красивой, уютной комнате и не знал, что мне делать. Вдруг из другой комнаты открывается дверь, и на пороге стоит миловидная хозяйка дома. Она удивленно посмотрела на меня и показала рукой пройти на кухню. Я со стыда думал, что провалюсь сквозь землю. Я в своей страшной и неуклюжей одежде стоял, как вкопанный. Около моих ног, обмотанных тряпками, образовалась большая лужа. Хозяйка терпеливо ждала. Делать было нечего. С опущенными глазами я поплелся за ней, оставляя за собой безобразные следы. Хозяйка дала мне помыть руки, усадила за стол. На столе стояла еда. Я теперь не помню, что и как я ел. Прошло уже больше 45 лет, но чувство жалкости, беспомощности и стыда я ощущаю до сих пор, когда вспоминаю этот маленький эпизод. Я кое-как поел, сказал «спасибо» и опять, оставляя следы, поплелся к двери.

Так я один раз поел досыта. Как я потом узнал, прораб предложил Шуру кого-нибудь накормить. Шур позвал меня.

Унизительное наказание

Вспоминается такой эпизод. Как-то раз наша «строительная бригада» Шура пошла работать на завод. Нас сопровождал охранник. На каком-то угольном складе мы должны были перетаскивать уголь с одного места на другое. Это был длинный крытый сарай, где отдельными кучами лежал уголь. Мы приступили к работе. Вдруг мы услышали яростный крик охранника. «Pergele Satana!», — орал он и тыкал палкой в какое-то место. Оказалось, что на одной из куч угля кто-то выполнил свою естественную потребность и наложил кучку говна. Охранник такого «варварства» не мог выдержать. Он всех нас подвел к куче и приказал Шуру выяснить, кто это сделал. Нас было тринадцать человек. Все молчали. Никто из нас этого не делал. Видимо, сделал это какой-то финский рабочий. Когда Шур доложил, что никто из нас этого не делал, охранник совсем рассвирепел и не мог придумать, как нас наказать. Но потом придумал. Он приказал одному из нас (сейчас не помню кому) разделить «сокровище» на 13 частей (благо оно было замерзшим) и вручить каждому из нас по одной «драгоценной» части (к счастью, на руках у нас были рукавицы). Затем он нас вывел из сарая и заставил бегать вокруг сарая, держа в руках этот омерзительный груз, пока кто-нибудь из нас не признается в содеянном.

Так мы и бегали вокруг склада под окрики охранника с легким, но давящим сердце грузом. Бегали до тех пор, пока не начали падать от

усталости, и тогда охранник «сжалился». Он отвел нас в сторону и разрешил выбросить содержимое в наших руках.

Прошло уже более 45 лет, но чувство омерзения и унижения не покидает меня до сих пор. Такое не забывается.

Часть 4

На родину

Как мы уходили... домой

В конце 1944 г. был заключен мир с Финляндией. Это вызвало у нас бурную радость. На нашем маленьком островке России царило оживление. После долгих, мучительных лет появился проблеск надежды. Никто из нас не знал, что ждет его на родине. Жив ли кто-нибудь из родных и близких. Да и как отнесутся там, на родине, к нам, пленным. Тем не менее, мы все были радостно возбуждены и со дня на день ждали крупных перемен. Недалеко от нашего барака пролежала железная дорога. Через какое-то время после заключения мира мы стали замечать, что мимо нас проходят эшелоны товарных вагонов, битком набитые пленными. Мы догадывались, что эшелоны идут к советской границе. Проходили недели, а нас не трогали, словно о нас и вовсе забыли. Эшелоны проходили мимо ежедневно в определенное время. Тогда мы придумали такой трюк. В центральном лагере, откуда отправлялись эшелоны, был госпиталь. Если кто-нибудь из нас заболел, его обязательно отправляли в этот госпиталь. Мы решили нескольких «больных» отправить на разведку в центральный лагерь. Сразу нашлись желающие. Во главе их был «больной» Шур. Он обещал все как следует узнать, какой порядок отправки домой, долго ли нам еще ждать, как нам быть, что делать. Он обещал, что найдет способ сообщить нам об этом. Было грустно расставаться с ним. Кто знает, как сложится наша дальнейшая судьба? Но ничего не поделаешь. Между тем, шли дни, и никаких весточек не было. Но вот, в один прекрасный день, в то время, когда должен был проходить эшелон, мы услышали страшный шум. Было такое впечатление, что где-то вдали кричат тысячи людей. Мы мигом сообразили, что это значит. Сорвали калитку и бросились к железной дороге. Охранники растерялись и не могли понять, в чем дело. Но они нас не трогали. Они теперь побаивались нас.

Когда мы подбежали к станции, то увидели такую картину. Из всех окон и дверей эшелона несло громкое «ура!» и летели какие-то белые небольшие камни. Сначала мы даже испугались. Было непонятно, почему в нас бросают камни. Но когда эшелон прошел, мы обнаружили, что к каждому камешку прикреплена бумажка. На бумажках было написано примерно следующее: «Не ждите, пока за вами придут. Идите пешком в лагерь, и через несколько дней вы поедете домой». Так Шур сдержал свое слово. Видимо, и сам он был в

этом эшелоне, потому что в лагере мы уже его не застали. В приподнятом настроении мы вернулись в барак. Решили завтра же утром двинуться в путь. Начали собирать свои скромные пожитки, собираться в дорогу. Сложнее всего было со мной. До лагеря 8-10 километров, а у меня больная нога. Соорудили мне палку и решили, что если надо будет, то по очереди будут вести меня под руки. И вот настало утро. Все возбуждены. Барак оставили в полном порядке. Построились около барака. Я с новенькой палкой — в первой шеренге. И мы двинулись в путь. Охранники нам не препятствовали. Они на некотором расстоянии шли вслед за нами. Так, без сожаления, а с радостью мы покидали свой маленький еврейский лагерь «Лоуколампи». В это время мы не думали о том, что ждет нас впереди. Через несколько часов мы уже были в центральном лагере. Моя нога выдержала испытание.

Мы едем на родину — домой

Наш эшелон готов к отправке. Это многовагонный товарный состав. Все вагоны битком набиты уже бывшими пленными. В вагоне шум, гам. Публика разношерстная. Одеты кто в чем. Кто в лохмотьях, а кто более менее прилично. Лица, в основном, заросшие, со впалыми глазами, с явными признаками нелегко прожитых лет. Мы — человек 20 из еврейского лагеря — стараемся держаться вместе. В вагоне могут возникнуть всякие непредвиденные обстоятельства. Вагоны заперты накрепко. Мы едем пока под финским конвоем.

Настроение двоякое. С одной стороны, радость — мы живые возвращаемся на родину. Ведь сколько наших пленных остались там закопанными в чужой финской земле. Мы проходили мимо этих безмолвных кладбищ с бесконечным количеством крестов. Останавливались, снимали шапки, стояли молча, прощались с теми, о которых никто никогда не узнает, где они нашли свое последнее пристанище. А мы вот едем домой живыми!!! С другой стороны, на душе тревога. Ведь никто из нас не знает, найдет ли он кого-нибудь из родных и знакомых в живых. И, конечно, никто не знает, что с нами будет в дальнейшем. Мы, конечно, знали, что встреча будет не с цветами.

А пока монотонно стучат колеса товарняка. В голове всякие невеселые мысли, недобрые предчувствия. Сквозь щели вагона видны бесконечные леса, озера, болота. Мы еще на финской территории.

Но вот поезд притормаживает. Остановка. Немного приоткрываются двери вагонов. Это советско-финская граница. Нас высаживают из вагонов. Дают некоторое время, чтобы немного размяться и оправиться, конечно, все еще пока под финским конвоем. Затем нас выстраивают повагонно. Финское начальство передает нас поголовно (в буквальном смысле) советскому начальству. После всех

формальностей финны уходят в свою сторону. С этих пор мы больше не финские пленные, а свободные советские граждане. Так хотелось думать. Но это было не совсем так.

Нас снова строят. Теперь уже советские офицеры. По обеим сторонам солдаты с автоматами наготове. Как и раньше — шаг влево, шаг вправо... Нас ведут к другому эшелону. Сажают уже в советские вагоны. Они более комфортабельные: полутоварные, с окошечками.

И вот мы уже движемся по родной земле. Родные поля и леса, а на душе все равно невесело. Опять под конвоем. Ехали медленно. Частые и долгие остановки. Не имеем ни малейшего представления о том, куда нас везут. Но вот пронесся слух, что приближаемся к Москве. Я у кого-то выпросил кусок бумаги и карандаш. Написал, что я жив и здоров и нахожусь в Союзе. Просил того, кто найдет это письмо, сообщить обо мне моим родным. Сложил бумагу треугольником, написал царицынский адрес. Когда подъезжали к Москве, выбросил в окошко. Я надеялся, что какая-нибудь добрая душа найдет треугольничек и направит по указанному адресу.

Как я потом узнал, так и случилось. Треугольничек попал по адресу. В доме, где были мои родители и семья брата, царило веселье. Ведь никто не думал, что я еще есть на свете. Детки плясали целый день и кричали: «Дядя Лозик жив!»

Между тем, наш эшелон отправился дальше, неизвестно куда. Прошло еще много времени. Наконец, мы остановились на какой-то станции. Она называлась «Новошахтинск». Нас высадили из вагонов, построили, пересчитали по головам. Была глубокая ночь и очень холодно. Мы двинулись пешком, под конвоем, в темноту. Пахло угольной пылью. Кругом виднелись силуэты каких-то гор. Это были горы угля или угольной породы. Шли мы очень долго. Устали до изнеможения, были очень голодны. Наконец, нас привели к какому-то зданию. Широкие ворота были закрыты. Долго мы стояли у этих ворот. Мы продрогли до мозга костей. Злой, свирепый ветер пронизывал насквозь нашу скудную одежку. Затем где-то нашли ключ, отворились ворота, и нас завели в какой-то огромный крытый сарай. Оказалось, что это бывший угольный склад. Не дожидаясь команды, мы тут же все завалились на бетонный пол, покрытый угольной пылью. Измученные, мы, прижавшись друг к другу, заснули крепким сном.

Утром, по команде «Подъем» мы встали и не узнали друг друга. Вся одежда и лицо были черные, как смоль. Нам дали возможность умыться и опять построили. Затем объявили, что после завтрака нас распределят для работы на шахте. Одновременно мы будем проходить спецпроверку. Видимо, хотели проверить, нет ли среди нас диверсантов, шпионов или добровольно сдавшихся в плен.

Таким образом, я получил четвертую в жизни профессию. Я был когда-то колхозником, затем слесарем-паровозником, потом учителем и вот теперь — новоиспеченный шахтер.

Я — шахтер

Итак, я стал шахтером. В жизни, видимо, надо все испытать. Нас прибыло много человек. Всех разбросали по разным шахтам и шахтенкам. Я оказался на старенькой заброшенной шахтенке. Из знакомых никого со мной не было. Но устроился я на квартире вместе с моим другом Яшкой Раскиндом. С нами были еще двое.

В комнате стояли четыре койки. На каждой — матрац и постельное белье — это уже блаженство. Квартира была далеко от шахты, но я не хотел расставаться с Яшкой. Питались в столовой. Были сыты хотя бы потому, что получали в день 1 кг хлеба. Иногда я еще покупал на рынке мамалыгу.

Первое, что я сделал, — разослал письма по разным адресам, надеясь разыскать кого-нибудь из родных. Хотя надежда была слабая. Я написал в Царицыно, в Пензу (оттуда я получил последнюю открытку от родителей), написал в Гомельское гороно. Авось, кто-нибудь откликнется. И о, чудо! Через некоторое время получаю телеграмму: «Все живы, здоровы!». Это был для меня самый радостный день за все последние годы. Обратный адрес был царицынский. Так возобновилась наша переписка после пятилетнего молчания. Ведь меня уже не считали жильцом на этом свете. Так что, все-таки, чудеса бывают.

Тем временем, я начал работать на шахте. Получил специальность «откатчик». Это некоторая поблажка в связи с больной ногой. Не забойщик, не крепильщик, а откатчик. То есть, нас двое должны были по узкоколейке на большой глубине внутри шахты подкатывать полные вагонетки с углем к шурфу, где их подымали на гору и разгружали. Работа тяжелая и очень опасная. То и дело в старой шахтенке были обвалы, грозящие гибелью. Проход был очень узкий, по ширине равный вагонетке. И если, не дай Бог, вагонетка сорвется, то деваться некуда: она обязательно тебя раздавит (такие случаи были).

Несколько дней в неделю я работал откатчиком на поверхности. Поднятые вверх вагонетки мы (двое) опять по узкоколейке отгоняли и опрокидывали в сборник угля. Обратные вагонетки опускались в шахту, груженные крепёжным лесом. Для этого приходилось из большой кучи толстых, тяжелых бревен вытаскивать и вскидывать на плечо бревно и таскать его до вагонетки. Потом, когда вагонетка была загружена, ее спускали вниз. Это была изнурительная работа, но менее опасная. Работа была трехсменная. Уже отгремел салют победы, а мы все еще шахтерили. Несколько раз меня к себе вызывал следователь из особого отдела. Интересовался, как я — еврей — остался жив. Но никаких неприятностей я не ощутил. Видимо, мой рассказ был проверен, и поскольку мы были не в Германии, а в Финляндии, нас больше не трогали.

Так шли дни за днями. Работа в шахте. Чумазые лицо и руки, черная от угольной пыли одежда.

В столовой черными, как смоль руками брал хлеб, пожирал с огромным аппетитом обед (завтрак, ужин). Домой ехал в пустой вагонетке. Засыпал в ней после ночной смены, что тоже было чревато опасностью быть выброшенным и искалеченным: вагонетки часто отцеплялись от состава. Один раз так и случилось. Я долго мучился с покалеченной второй ногой. Очень хотелось домой...

Народ кругом был простой. Язык и у мужчин, и у женщин, в основном, матерный. Я среди них был, как белая ворона. Однако, относились ко мне неплохо.

И опять нашелся хороший человек (мне везло на хороших людей). Это был парень из нашего финляндского лагеря. К сожалению, я его потом потерял. Даже не помню ни имени, ни фамилии. Узнав, что я учитель, он меня надоумил и заставил написать в Наркомпрос письмо. Ведь после войны очень не хватало учителей. Ни на что не надеясь, я все же так и сделал. И вот — опять чудо. Через какое-то время из Наркомпроса прибыл вызов на работу в качестве учителя. Это была большая радость. Но как выбраться из шахты? Ведь я был еще мобилизован. Я сам, конечно, ничего бы не добился. И тут опять мне помог тот парень. Он настоял, что надо действовать. Пошел со мной пешком в город Шахты. Там было шахтоуправление. Ходил со мной по кабинетам. Умолял чиновников, что меня надо отпустить. Наконец, я попал к главному начальнику. Он посмотрел на меня, на мой убогий, искалеченный вид. Долго думал. Затем написал на моем заявлении резолюцию об увольнении из шахты. Так, благодаря еще одному доброму человеку, я закончил свою шахтерскую карьеру. Распрощался с ребятами, роздал им свои пожитки и... поехал домой. Того парня, моего благодетеля, я так больше и не увидел.

Отчий дом и «Евгений Онегин» (Вместо эпилога)

Как-то, просматривая книги нашей домашней библиотеки, брат Арон на обложке одного красочного путеводителя по Москве обнаружил такую надпись:

«Дорогому папке и дедушке в День Победы от нас. Элла, Алик, Иришка».

И дальше:

«Пусть всегда над Москвой будет мирное небо, много цветов, а в Большом театре можно будет слушать „Евгения Онегина“».

Не правда ли, странное пожелание. Почему в Большом театре и, главное, почему именно «Евгения Онегина». Удивился этому и Арон. Он спросил меня об этом. Я прочитал надпись и отчетливо вспомнил один эпизод многолетней давности. Эпизод очень знаменательный для меня. Думаю, что о нем давно все забыли, а я его забыть не могу. И не только

сам забыть не могу, но не могут о нем забыть и мои дети, и, надеюсь, будут помнить о нем мои внуки. А было вот что...

Ранним зимним утром 1946 г. из электрички на станции Царицыно вышел человек. На нем была потрепанная зеленая финская шинель, старая армейская шапка, драные башмаки и котомка за плечами. Человек искал улицу Кошкина. На улицах было пустынно. Городок мирно спал. Он забрел на Бирюлевскую улицу (расположение улиц он немного помнил, так как до войны однажды бывал здесь). Спросить было некого. Но вот у одной калитки стоит миловидная старушка. Она сочувственно спрашивает:

— Что ищешь, милоч?

— Улицу Кошкина, бабушка.

Она показала ему, куда идти.

— С войны, милый?

— С войны, бабушка.

— Ну, иди с Богом, милый!

На глазах старушки слезы. Видимо, о многом напомнил он ей.

Быстрым шагом пошел он на улицу Кошкина, нашел № 28а. Тихо открыл калитку. Прошел в глубину к белому домику. Присел на скамеечку на старенькой террасе и облегченно вздохнул.

Так вернулся я в отчий дом после почти семи страшных лет разлуки. Беленький домик спокойно спал. Я не решался нарушить его покой, да и хотелось немного прийти в себя и оттянуть время этой долгожданной встречи. Но терпение лопнуло, и я тихонько постучал в кухонное окошко. Меня услышали. На террасу выбежала мама. Она стала меня обнимать и залилась слезами. О, Боже мой, как же она изменилась, моя мама. Я оставил ее еще моложавой, бодрой, с черными, с проседью волосами. Теперь я увидел совершенно седую старушку, сморщенную и маленькую. Да, нелегкие годы были прожиты. Потом вышел отец. Он тоже сильно сдал. В моем воображении он был подтянутым и стройным, быстро реагирующим на все. Теперь это тоже был уже пожилой, много переживший человек. Страшные годы войны взяли свое. Было много слез, вопросов, воспоминаний. Весь белый домик был взбудоражен. Среди обитателей домика в это время были фронтовики — Миша и Лера, о которых я много слышал, но не знал лично. День прошел в суматохе. Назавтра шумная Лера среди разговоров и смеха (она умеет смеяться) вдруг весело заявляет: «Сегодня мы идем в Большой театр!» (видимо, проблемы билетов тогда не было). Это заявление относилось и ко мне. Я был ошарашен и сражен. Большой театр. Шутка ли сказать. Я, выросший в местечке, прошедший свою юность в провинциальном городке, мог ли я мечтать о прославленном театре, не говоря уже о том, что в эти страшные семь лет не смел даже и думать не только о Москве, да еще о Большом театре, но даже о том, что когда-либо увижу кого-нибудь из родных. И тут такое категоричное заявление: «Идем в Большой театр!».

Я начал робко возражать. Куда мне в таком виде: в драной гимнастерке, в моих огромных башмаках в Большой театр. Но не тут-то было. Лера ничего не желала принимать во внимание. Она тут же вытащила Мишенькин черный костюм, его же рубашку и галстук. Нашлись и туфли. Делать было нечего. Я переоделся. Посмотрел в зеркало и не поверил глазам своим. Я не узнал себя. Ведь целых пять лет я ходил в лохмотьях. Одевал на себя все, что попадалось под руку — лишь бы было тепло. А тут стоит франт в черном костюме, при галстуке. Не сон ли это? Кругом все смеялись. Лера весело щебетала. А у меня на глазах были слезы. Плакали и мои родители.

И вот наступил вечер. Большой театр. Ярко сверкают величественные люстры. Сияют золотом партер и ярусы. Кругом нарядно одетая публика. Слышен оживленный гомон, женский смех. Все это настолько необычно и контрастно, что кружится голова. Мысленно в голове проносится тот ад, в котором я жил все эти страшные годы. Голод, холод, вши, ночлег на втором ярусе нар. Подстилка — лохмотья своей одежды. Одеяло — такие же лохмотья. Вечное недоедание, вплоть до собирания очисток. Работа всякая: тяжелая, грязная, даже чистка уборных и помоек. Издевательства охранников и начальства. Работа под землей в шахте при постоянной угрозе обвала. Откопанный друзьями из-под завала заводской трубы... Да разве можно забыть весь этот кошмар.

И тут этот сверкающий зал... Конечно, трудно сейчас словами передать мое тогдашнее состояние.

Но вот гаснет свет. Мы сидим где-то в первых рядах партера. Давали «Евгения Онегина». Звучит чарующая музыка Чайковского (я всегда любил эту музыку). Дивные декорации, шикарная одежда актеров... Как недоступно было все это для меня все эти годы. С неослабным вниманием я слежу за тем, что происходит на сцене. Вот сцена дуэли. Замертво падает Ленский. Очень трогательно. Но все это так изящно и даже смерть такая... красивая. И в памяти возникают другие картины и другие смерти.

1942 г. После полугодового «лечения» в госпитале для пленных я подлежу выписке и отправке на лесоповал. Стоит суровая зима. При моем здоровье и моей одежде это верная гибель. И опять помогли добрые люди. Меня пожалела очень добрая финская старшая сестра. Она оставила меня работать санитаром в госпитале. Это, конечно, не мед, а адский труд. Но зато в тепле и под крышей. Надо было обслуживать раненых, умирающих советских солдат и офицеров (выносить горшки, мыть полы и пр.). Но самое страшное — каждое утро выносить трупы. А умирали десятками от голодного поноса. Каждое утро в коридоре лежали вымазанные с головы до ног, страшные, пахнущие трупы-скелеты. Их надо было раздеть, обмыть, погрузить на носилки и вынести в сарай. Там уже лежали кучи таких же трупов с открытыми глазами и немой вопрос: «За что?». (Не понимаю сейчас,

как я мог все это выдержать). Затем ежедневно их увозили грузовиками и хоронили навалом в общих могилах. Все это пронеслось у меня в голове, когда увидел и услышал эту красивую, изящную смерть Ленского.

...А пока заливаются скрипки. Звучат чудесные арии, идет изумительное представление. Сейчас, когда после этого прошло уже много-много лет, трудно словами описать те чувства, обуревавшие меня тогда, после окончания спектакля. Но, как мне кажется теперь, чувства эти можно выразить двумя словами: потрясение и благодарность. Потрясение от всего увиденного и услышанного. От того резкого контраста, который так сильно отложился в душе моей. Благодарность Лере за это испытанное потрясение, за те незабываемые ощущения, которые я тогда испытал.

Такова история, сохранившаяся в памяти от тех первых дней дома. Так объясняется странная запись на обложке путеводителя по Москве.

Postscriptum

Некоторое время после приезда в Царицыно я приходил в себя. Ничего не делал. Был безработным. Но долго это не могло продолжаться. И начались мытарства с устройством на работу. Везде требовались учителя. Но как только в анкете прочитывали пункт о том, что я был в плену, место оказывалось уже занятым. Ведь плен считался предательством. Можно было, конечно, солгать, но этого я сделать не мог. Наконец меня взяли в Подольскую вечернюю школу. Это уже было какое-то облегчение. Но не тут-то было. Изучив, видимо, досконально мою биографию, меня оттуда попросили уйти через пару недель. И опять я без работы. Тогда в дело включился Шур. Его знакомый устроил меня в железнодорожное ремесленное училище. (Видимо, мою анкету не очень внимательно читали.) Там я проработал несколько лет и был на хорошем счету. Но и там обнаружили, что в их среде находится «враг». Под предлогом реорганизации училища меня попросили оттуда уйти. И опять унижительные поиски работы. В это время я уже был женат, и появилась дочь Элла. Это еще сильнее угнетало, ведь надо кормить семью. Наконец я решился на подлог. В анкете я скрыл свое пребывание в плену. Тогда меня взяли учителем в школу при костнотуберкулезном санатории. Это довольно сложная работа — один учитель чуть ли не по всем предметам. Но я очень жалел этих детей, и мне с ними было хорошо. Но и это продолжалось недолго. Через несколько лет школа ликвидировалась, и опять — хождение по мукам. Но уже с чистой анкетой. Меня приняли в настоящую десятилетку — школу № 735: сразу преподавать в 9-10-х классах. Было очень страшно и трудно, но я выдержал. В этой школе я проработал 22 года и, как мне кажется, пользовался авторитетом и любовью учеников и учителей. За

эти годы произошли два важных события: родился сын Дима и мы получили квартиру в Москве. Жить стало веселей.

В 1977 г. родилась внучка Ирочка. Это было большим событием в семье. Через два года я ушел на пенсию. Это очень трудный перелом в жизни, равносильный тяжелой болезни. Но помогла внучка. К ней я очень привязался, и она помогла мне перейти в другое жизненное состояние.

Так закончилась моя трудовая деятельность. Я стал просто дедушкой.

Самуил Владимирович Тиркельтауб. В лагерях и в батраках.^[75]

Турбоэлектроход «Иосиф Сталин» в ночь на 3 декабря 1941 г. подорвался на минном поле. Я был среди 6000 бойцов и командиров, уходивших на этом корабле с военно-морской базы Ханко. После трагедии на море, в живых нас осталось около двух с половиной тысяч. Около тысячи оказались в плену, и из них половину немцы передали Финляндии. Так, под Новый 1942 год мы вновь оказались на Ханко. Пленных поселили в бараках вблизи порта и ежедневно гоняли разминировать то, что мы перед уходом с базы заминировали. Нашу группу большей частью посылали на железную дорогу. Охранники удалялись от нас на почтительное расстояние, а мы голыми руками в снегу искали растяжки, чтобы обезвредить мины.

Я считал себя убежденным советским человеком и уговаривал товарищей не работать на наших врагов. Видимо, не все из нас были такими же убежденными и о моих словах передали финским охранникам. Не прошло и двух недель, как в одно прекрасное утро меня вывели из барака, посадили в легковую машину и отвезли в лагерь военнопленных недалеко от Мустио. Лагерь в то время был почти пуст, лишь один маленький барак занимали 11 человек политруков, собранных из разных лагерей. Я, младший сержант, оказался двенадцатым, хотя политруком никогда не был и попал в эту компанию только из-за своей агитационной деятельности.

Через пару дней всю группу привели на станцию и в почтовом вагоне пассажирского поезда отправили в большой лагерь. Как потом оказалось, это был офицерский лагерь № 1, недалеко от г. Пори. Пленные офицеры не работали. Днем бараки открывались, и заключенные могли свободно ходить по территории лагеря. Только два расположенных рядом небольших деревянных сарая были на особом положении, барак политруков и еврейский барак. Мы попали в первый. Двери обоих держались постоянно закрытыми. Днем заключенных под

охраной выгоняли на улицу и заставляли выполнять откровенно издевательскую работу. Каждое утро к воротам лагеря на лошади подвозили огромную бочку с питьевой водой. За воротами лошадь выпрягали и впрягали пару десятков пленных, которых гоняли развозить бочку по баракам. В морозные зимние дни полураздетые политруки и евреи рыли два колодца, каждые у своей двери. Через пару недель, когда, наконец, докопались до воды, ямы приказали засыпать и начать копать снова в паре метров рядом.

Меня через месяц с небольшим «распознали» и перевели из барака политруков в еврейский: как говорится, «хрен редьки не слаще».

В лагере, в среднем, находилось более двух тысяч пленных. Питание состояло из 240 грамм хлеба (четыре круга хлеба с дыркой, reikäleirä, на пять человек) и полкружки теплого отвара капусты с картошкой. Счастливым иногда попадал лепесток капусты или кусочек картошки. От пеллагры^[76] ежедневно умирало 40-50 человек. Нас заставляли за оградой лагеря копать ров и сваливать в него трупы.

Однажды в барак политруков пришел православный священник. Он сказал, что не имеет права помочь нам питанием, но может оставить духовную пищу, которой мы также лишены, и передал несколько экземпляров Библии. Так я сумел прочитать трижды от корки до корки Новый и Ветхий Заветы. В дальнейшей жизни это мне очень пригодилось — для грамотного и обоснованного неприятия религиозной веры.

В конце марта меня неожиданно перевели в рабочий лагерь, где-то недалеко от г. Вааза. Питание здесь было почти таким же, разве что в так называемом супе чуть чаще попадались обрывки капустных листков и картофельные крошки. Работать выводили с утра на строительство дороги. Обессиленных, едва державшихся на ногах, нас заставляли дробить камни. Едва подняв кувалду, мы не ударяли, а просто отпускали ее, чтобы потом с трудом приподнять снова. Проку от нашей работы не было никакого, да это совершенно никому и не требовалось.

Лагерь вблизи Ваазы остался в памяти худшим из семи, в которых мне пришлось побывать. Не только непрерывное смертельное чувство голода, но, главное, изуверское отношение охранников к заключенным. Они явно получали удовольствие от издевательств над нами любым способом. Например, известно, что русские готовят грибы в пищу, а финны грибы не едят. Охранники подбирали у дороги сырые грибы, в том числе поганки, и силой запихивали их в рот пленным, гогоча при этом от удовольствия. Не говорю уже, при этом, о постоянных побоях.

До какой степени в такой обстановке личность морально нетвердая может потерять все человеческие признаки, показал один эпизод, запомнившийся мне на всю жизнь. Двое пленных, стоя по колено в экскрементах, лопатами выгребали яму в уборной. Один из них увидел в жиже кусок какой-то кишки. Отряхнув двумя пальцами налипшие

сверху испражнения, он проглотил этот сырой кусок. Дальше смотреть я не мог, да и не на что было. В этом лагере от голода и невыносимых условий умирало относительно большее число пленных, чем в предыдущем.

В начале зимы 1942/43 г. меня, вместе с группой других заключенных, перевели в пересыльный лагерь около города Кеми. Отсюда небольшими партиями нас отправляли на работы. Здесь я впервые увидел, что отношение к пленным зависело не от политической установки правительства, а от двух простых и понятных причин. Во-первых, от необходимости использования нашего труда и, во-вторых, от сугубо личных характеров охранников.

В офицерском лагере наш труд никому не был нужен, а с охраной, располагавшейся за ограждением, мы почти не соприкасались. В лагере г. Вааза работа была ненужной формальной обязанностью, а конвоиры выражали своими действиями полное презрение к пленным.

Из пересыльного лагеря Кеми заключенных раздавали различным фирмам, очевидно не безвозмездно. Работодатели, заинтересованные в получении прибыли, вынуждены были создавать пленным соответствующие условия. Группу из 16 человек, в которой я оказался первый раз, фирма «Kemi yhtiö» отправила в Рованиemi. Там готовили стадион к лыжным соревнованиям союзных Германии армий. От нас требовалось засыпать снегом и утрамбовать лыжный трамплин, построить ледяной барьер между трибунами и полем стадиона, сделать из снега столы и скамьи ледяного кафе. Во время соревнований готовить лыжную трассу, производить уборку на трибунах и поле стадиона.

Фирма поселила пленных на территории мясокомбината и дала возможность брать столько мяса, сколько сумеем съесть. Спасибо одному из наших товарищей, опытному охотнику сибиряку, остававшемуся, когда мы уходили на работу, за повара. Он сказал, если не хотите умереть сразу, увеличивайте порцию постепенно. Но уже через три-четыре дня мы начали съедать больше килограмма мяса зараз. Работа шла весьма успешно, а мы прибавляли в собственном весе дикими темпами. От предсмертного веса доходяги, около 40 кг, я за пару недель пребывания в Рованиemi достиг своих нормальных 60 кг. Конвоиры относились к нам весьма либерально, подчас, даже дружелюбно.

После возвращения в Кеми со следующей партией меня отправили на лесозаготовки, севернее километров за 150–200. Кто были новые хозяева, не знаю, но и они, безусловно, оказались заинтересованы в результатах нашей работы. Труд был нелегкий. Зимой, по колено в снегу, валили с корня огромные ели, очищали стволы и распиливали на двухметровые балансы для изготовления фанеры. Три конвоира, на партию 25 человек пленных, жили с нами в одном бараке, но в комнате с отдельным входом. Здесь особенно проявились их личные характеры.

Двое относились к нам спокойно, порой даже доброжелательно. Иногда давали сигареты, в обмен на изготовленные для них безделушки, деревянные шкатулки и игрушки. Третий охранник, постоянно проявлял подозрительность и неодобрение любых наших действий, хотя и без рукоприкладства.

Кормежка была не обильная, но сносная.

В конце весны 1943 г. нас отправили еще дальше на север, ку-да-то в район Петсамо. Далеко за полярным кругом летнее солнце светило непрерывно, и спрятаться от него ночью можно было только за закрытыми ставнями. Заготавливали дрова. Валили клейменные лесником деревья, очищали стволы от веток, распиливали на метровые чурбаки, кололи и складывали в поленицы. Дневная норма выработки — 2 кубометра. Существовала «Прогрессивная система оплаты труда», за каждые полкубометра сверх нормы полагалось дополнительно 100 грамм хлеба.

Я по-прежнему придерживался позиции не стараться работать на врагов и никогда не делал больше двух кубометров. Товарищи обзывали меня лентяем и слабаком и всячески выказывали неодобрение моим поведением. Однажды решил доказать им свою позицию и сделал за день 6 кубометров дров, чего никому из них ни разу не удавалось. После этого ко мне приставать перестали. Кормили нас, в общем, прилично. Хозяева прислали, вместо мяса, пару мешков сухих конских костей, из которых получался наваристый суп. С конвоирами отношения сложились нормальные. Мы были «взаимно вежливы».

В марте 1944 г. нас вновь собрали в Кеми, погрузили в теплушки и отправили в южном направлении. Поезд останавливался почти на каждой станции. Пленных одной из теплушек выгружали, и тут же на них накидывалась толпа финских хозяев, каждый из которых старался найти себе работника, выглядевшего покрепче. Через пару станций начальство эшелона завело другой порядок. Выгруженных из теплушки пленных строили, а затем по списку вызывали хозяина и передавали ему очередного, стоявшего в ряду пленного. Когда на станции Теува дошла очередь до меня, хозяин, которому я предназначался, оказался высоким, около двух метров, солидным 60-летним мужчиной, весом под 120 кг. Я, ростом 156 см и едва более 50 кг веса, выглядел рядом с ним столь забавно, что все вокруг, и пленные и хозяева, расхохотались. Огорченным был только мой будущий хозяин, Хуго Адольф Кентта. Все еще хмурый, он посадил меня в стоящую около станции пролетку. Рядом с ним я занимал лишь 1/5 ширины сиденья.

Молодой ухоженный конь быстро довез нас до последнего строения на окраине села. Увидев огромный двухэтажный дом с множеством окон, я подумал, что в нем обитают десятка два человек. В действительности оказалось, что там жили только хозяин с хозяйкой,

две их дочери и племянник. Мне, шестому жильцу, предоставили отдельную комнату.

Когда мы садились в пролетку на станции, хозяин угостил меня папиросой, и первое, что он сделал по приезде домой, отвел меня на чердак, показал на сохнувшие листья табака и жестами объяснил, что папирос больше не будет, табак для курева я должен брать здесь и сам резать.

Хуго Кентта был крупным помещиком. Его владения составляли 350 га земли, в том числе 90 га пахотной, остальное лес. В хозяйстве было 18 дойных коров, не считая бычков и телят, 12 свиноматок, 4 лошади. Мечущихся овец я никогда не мог сосчитать. Как узнал позже, состояние хозяина в банке превышало 150 000 марок.

Со всем этим огромным хозяйством управлялись 5 человек — сам Хуго, две дочери, 17-летняя Марьятта, 24-летняя Анни и 14-летний племянник Ээли. Пятым был один из двух безземельных жителей соседней деревни, работавший через день. Наемным работникам не платили денег. Каждый, таким образом, отрабатывал в течение всего лета, плату за аренду двух соток земли под посадку картофеля. Пожилая хозяйка одна управлялась с приготовлением пищи и уборкой огромного дома, сверкающего чистотой, как все финские дома. Я не упомянул еще об одной жительнице, очаровательной 4-летней девчушке, дочери Анни, Марьи Леене, забота о которой также падала на плечи хозяйки дома.

В мои обязанности входило: вставать первым и до завтрака почистить лошадей, убрать хлев и свинарник. После завтрака мы все вместе работали в поле. Обед в будние дни хозяйка приносила к месту работы, чтобы нам не тратить время на дорогу. Иногда перед обедом удавалось искупаться в протекавшей недалеко от дома речке. Вечером, после ужина, оставалось полтора-два часа на отдых.

В субботу работа заканчивалась раньше и все, сначала мужчины, потом женщины, мылись в бане, располагавшейся по другую сторону дороги напротив дома.

Ко мне относились без всякого предубеждения, как к члену семьи. Я старался платить тем же и работал в полную силу, чем быстро изменил первоначальные, возникшие на станции, опасения хозяина.

Все мы ели за одним большим овальным столом. На одном конце во главе стола восседал хозяин, слева от него племянник, справа я, на другом, в центре хозяйка, по бокам две дочери. На каждой половине стола ставилась полная масленка сливочного масла и большой кувшин молока. Молоко наливалось без ограничения, правда, снятое, перегнанное на молокозаводе (это при 18 дойных коровах!). Раз в неделю, в воскресенье утром, на стол подавалась простокваша из цельного молока.

Хозяин принес мне русско-финский и финско-русский словари. Довольно быстро я освоил разговорный язык, а затем научился читать и

писать по-фински. На русском языке я мог общаться только с одним пареньком в поселке. Это был Вяйно Каппанен, 14-летний мальчишка, интернированный из ингерманландской деревни под Ленинградом. С ним мы виделись очень редко. Он работал у хозяина, жившего далеко от нас.

С интересом и, часто, с веселой иронией я смотрел на обычаи и поступки окружавших меня жителей финской деревни. Приведу пару особенно запомнившихся примеров.

Живший рядом такой же состоятельный помещик не мог просто заглянуть в гости к соседу. Он должен был по телефону заранее договориться о визите. Хозяева сразу же предлагали гостю чашечку кофе (во время войны это был суррогат — корвиккет) и пару кусочков белой булки. К моему удивлению, гость вынул из кармана пластмассовую мыльницу и достал из нее два маленьких кусочка сахара. Так два весьма богатых соседа берегли состояние друг друга.

В другой раз к нам приехал покупатель сена. При погрузке каждая кипа взвешивалась на подвешенном под крышей сеновала безмене. Хозяин аккуратно записывал вес сена. Мы нагрузили два воза. После подсчета стоимость оказалась равной 1466,5 марки. Покупатель дал полторы тысячи крупными купюрами. Для сдачи у хозяина не оказалось монеты достоинством полмарки. Коробок спичек стоил тогда 6 марок. Хозяин сказал, что пойдет и разменяет деньги. До ближайшего от сеновала дома — три километра. Грузному хозяину 60 лет. Покупатель спокойно уселся на лавочку, закурил папиросу и угостил меня. Хозяина не было больше часу. Мы с покупателем выкурили по три сигареты, стоимость которых превышала 15–20 марок. Лошади с аппетитом поедали свежее сено стоимостью, наверняка более чем полмарки. Наконец хозяин вернулся, вручил покупателю 50 пенни, тот поблагодарил и с двумя возами спокойно отправился в путь. Как я сумел удержаться от совета, добавить клок сена на воз или плюнуть на эти полмарки, не знаю, но такой веселый розыгрыш мне в жизни доводилось видеть не часто.

Я мог бы рассказывать еще о многих, непривычных для русского эпизодах, но это уже другая тема.

Хочу добавить, что в 1990 г. мы встретились с сыном моего финского хозяина, Олави Кентта. Во время войны он служил в армии и приезжал домой на один месяц в отпуск. Мы познакомились тогда, а теперь стали лучшими друзьями.

В сентябре 1944 г., после заключения перемирия между СССР и Финляндией, был произведен обмен военнопленных. Несколько дней в пересыльном лагере Выборга и мимо родного Ленинграда, в теплушке, на полярный Урал.

Станция Половинка Пермской области — так называемый, лагерь спецпроверки.

После «барских» условий в семье хозяина снова концлагерь. Условия обитания, по сравнению с финскими лагерями, ниже среднего уровня; хуже, чем в 1-м офицерском лагере, но лучше, чем в лагере Вааза. Тяжелая и опасная работа в угольной шахте, перерыв в работе только для сна.

P.S. И вот прошло 60 лет.

Финские ветераны Ханко пригласили русских ветеранов с Военно-Морской базы на юбилейную встречу, посвященную окончанию боевых действий на полуострове. Между ветеранами установились хорошие дружественные контакты. Не могу не отметить в то же время существенную разницу в отношении к минувшему финских и русских участников войны.

Финская сторона обратилась к нашему Совету ветеранов с просьбой поддержать перед властями Ленинградской области их желание установить на Карельском перешейке памятник финским солдатам, погибшим в годы Советско-Финской войны.

На собрании ветеранов многие наши старики стали выступать с резкими возражениями: «Что вы хотите? Врагам, фашистам памятники ставить?»

Мне пришлось рассказать им о маленьком эпизоде во время последней поездки на Ханко.

Директор Фронтового музея Ханко, участник войны с Россией Стиг Хэгстрем вез меня и председателя нашего Совета ветеранов на своей машине по шоссе. По дороге спросил, был ли я в лагере военнопленных Мустио и не хотел бы посмотреть, что там сейчас. До Мустио было всего километров 15, конечно, я согласился. Стиг остановился у ближайшего дома и попросил хозяина нарезать нам в саду цветов. Через короткое время он снова остановил машину. С обеих сторон дороги был лес. Маленькая тропинка метров через пятьдесят вывела нас на поляну, посреди которой, окруженный ухоженным цветником и посыпанными гравием дорожками, стоял гранитный монумент. На каменной пирамиде, высотой более 2,5 метра, надписи на финском и русском языках. По-русски с ошибкой: «Здесь похоронено советские военнопленные». Простим финнам плохое знание русского языка.

Мы возложили к памятнику привезенные Стигом цветы и сфотографировались рядом. Позже я узнал, что семь человек из ближайших деревень сложились и на свои средства поставили этот обелиск. Инициатором был Стиг Хэгстрем, о чем он нам, конечно, не сказал.

Фотографию я показал на собрании наших ветеранов, после чего все возражения против установки финнами памятника на Карельском перешейке своим погибшим землякам стыдливо умолкли.

В заключение добавлю: хочу, чтобы мы, наши дети, внуки и правнуки никогда больше не воевали с соседями, а жили в мире, согласии и дружбе.

Михаил Соломонович Тумаркин. Раввин в Лоуколампи.^[77]

Я родился 23 октября 1920 г. в Москве. Отец — религиозный еврей. Учился я в немецкой школе и свободно мог разговаривать и читать по-немецки. Мог играть и на пианино. После окончания школы был призван на срочную службу в армию, которую отбывал в Карелии. В эти годы возникла советско-финская война 1939–1940 гг., в которой участвовал как рядовой: в сражениях я был ранен.

В начале Второй мировой войны в 1941 г. я продолжал служить в кадровой армии в звании сержанта и участвовал в первых ожесточенных боях с наступающими финскими частями. Будучи ранен, я попал в плен и в финский госпиталь. Выздоровев от ранения, но будучи все еще слабым, весь в чирьях от фурункулов, по направлению врача был направлен на поправку к хозяину в деревню. Оттуда в общий лагерь, из которого в 1942 г. — в еврейский лагерь в Лоуколампи. Здесь находился все время до отправки после перемирия с Финляндией в сентябре 1944 г. Еврейский лагерь сильно отличался от общего. Мне запомнились на всю жизнь многие из моих товарищей, например, Шахмейстеров — танкист, орденосица по кличке «Кузнец»; Орлов Лева, очень музыкальный парень, играл на многих инструментах. Школьников — преподаватель, играл на скрипке, Иткин — прекрасно пел. В особенности выделялись двое — Шур Соломон и Ассиновский Самуил Борисович, прекрасный знаток древней истории, попавший в плен после заключения в сталинских лагерях. Оба они были убежденными сионистами.

Запомнились некоторые события из жизни в лагере. В один из дней в 1943 г. в сопровождении финского офицера в Монтола нас посетил раввин, говоривший на идиш. Люди почувствовали какое-то успокаивающее духовное влияние. Какие-то подарки он раздавал (перчатки и др.). Какие-то посылки потом приходили от евреев местной общины. Несмотря на тяжелые условия работы, мы жили дружно.

После возвращения находился в Советском лагере, где проходил фильтрацию. Как знающий немецкий язык, я попал после фильтрации в лагерь № 120 для немецких военнопленных, где пробыл два года и, демобилизовавшись, возвратился в Москву.

События времен войны запомнились на всю жизнь, и многие из моих товарищей часто возникают предо мной.

Сейчас я, как пенсионер, инвалид войны, пожелал бы, чтобы мир сохранился вечно и страшные события Второй мировой войны больше не повторились.

Москва, 1981 г.

Михаил Менашевич Шлейфер. «Жи́ды, выходи строиться!...»^[78]

Я, Шлейфер Михаил Менашевич, родился 31 августа 1914 г. в городе Калинковичи, в Белоруссии. С 1934 года проживал в Москве. В начале мая 1941 года я получил повестку из военкомата с извещением о призыве меня в действующую армию. Ранее меня в армию не брали из-за состояния моего здоровья, и призыв новобранцев моего года рождения давно прошел. Войны еще не было, и я попал в 521-й отдельный строительный батальон им. капитана Финикова. Мы строили аэродром в 18 км от Петрозаводска, здесь и застало нас известие о начале войны. По окончании строительства нас направили в район Кеми строить второй путь рядом с существовавшей узкоколейной дорогой. Затем нас вернули в город Петрозаводск. После нескольких часов отдыха нам приказали немедленно покинуть город, так как фашисты начали входить в него. Мы, безоружные, буквально бежали до Медвежьегорска (примерно 60 км), подгоняемые наступающими фашистами и подвергаясь при этом артиллерийскому обстрелу и бомбежкам.

28 октября 1941 г. во время сильного минометного обстрела в районе Медвежьегорска я попал в плен. Товарища из моего отделения ранило в ногу. Его фамилии я не помню, звали его Саша, он был сыном попа из Подмосковья. Я оттянул его в сторону и начал перевязывать ему ногу. В это время шел сильный снег, и мы не заметили, что финны нас окружили.

Финны посадили Сашу на подводу, а меня погнали рядом с подводой. По дороге Саша уговаривал меня скрыть мою национальность (мы уже знали, что немцы уничтожают евреев), но я не послушал и решил, что или убегу, или погибну, но останусь со своей фамилией. На пересыльном пункте нас присоединили к ранее захваченным в плен бойцам. Майор, пленный с одной петлицей и с нагайкой в руке, дал команду: «Жи́ды, выходи строиться, кто хочет на этап — три шага вперед». Я и еще несколько человек вышли из строя.

Нас загнали в сарай, а на утро посадили в товарный вагон. Ехали мы в глубь страны двое суток, а оттуда, не зная языка, уже невозможно было бежать. Начальник лагеря, в который мы попали, был настоящим садистом. При тяжелой физической нагрузке, холоде и голоде нас

постоянно избивали и издевались, как только могли. Все вскоре обессилели настолько, что еле могли передвигаться.

Через некоторое время меня отправили в центральный лагерь в городе Выборг, а дальше судьба меня бросала по разным мелким лагерям. Я помню, как в одном из них хозяева хуторов отбирали наиболее крепких и имеющих навыки в сельскохозяйственном труде для работы в их хозяйствах, а тех, кто им не подходил, лагерное начальство отправляло на лесозаготовки.

К тому времени я совсем обессилел, и один из хозяев, по-видимому, пожалел меня и взял к себе, подкормил меня и использовал на мелких работах. Так продолжалось около недели, а потом случилось непредвиденное. Дело в том, что каждое утро перед работой меня вызывал переводчик, который передавал нас хозяевам и говорил: «Юдолайнен, готовься, койре мест сейчас едут за тобой на велосипеде с собачкой», — и я думал, что слова «койре мест» — это имя хозяина. Однажды во время работы я хотел позвать хозяина и сказал: «Койре мест туле тейо». Оказалось, как я потом узнал, это означало: «собачий человек, иди сюда». Больше он меня к себе не звал, и меня стали гонять на работу в лес.

Как-то охранник разрешил нам поискать грибы, но так как я в них не разбирался, то набрал в основном несъедобные. Один из военнопленных отобрал их у меня. Поддавшись на мои уговоры, он немного мне вернул. В перерыве мы сварили грибы и съели их. После окончания работы, по дороге в лагерь, этот пленный скончался, я же с трудом, в полубессознательном состоянии, добрался до барака и, видимо, уже будучи в бреду, отчетливо видел каких-то старых, в белых халатах людей с длинными посохами. Потом от сильной боли в животе и не в своем уме я начал кричать: «Сталин победит». Охранник, услышав крики, загнал всех в барак. Я же, опираясь на стену барака, пополз к туалету. Рядом находилась кухня, туда заглянул и нашел там большой кусок колбасы. Такой еды нам не доставалось никогда, так как повар с переводчиком отбирали все крохи, которые полагались военнопленным. Съев колбасу, я немного пришел в себя. Через некоторое время нас всех перевели в другой лагерь, и надо было выбирать повара. Тогда я рассказал о своей находке на кухне и о том, что бывший повар нас обворовывал. Однако переводчик отстоял его, а меня в отместку за разоблачение каждое утро стал избивать. Так продолжалось до тех пор, пока я не попал в еврейский лагерь, это было летом 1942 г.

Нам стало известно, что немцы велели финнам уничтожить всех евреев, но финны решили этого не делать. Затем поступило повторное распоряжение немцев с требованием собрать всех евреев и отправить их в Германию. Нас собрали, посадили в теплушки, окна и двери забились досками. Финские охранники сказали нам, что нас везут в Германию на уничтожение. Ехали мы двое суток, а затем ночью нас привезли в

большой лагерь с тремя рядами колючей проволоки и указали, в какой барак нам войти. У входа в барак на скамейке лежал сидур. Мы не знали, где мы находимся, что с нами случилось, но все же пытались заснуть. Но, голодные, мы не могли долго спать и вышли на улицу. И вдруг увидели, что подъезжают три машины и оттуда выходят люди, и у каждого из них в руках было по два чемодана. Они зашли в дом, где сидела охрана, и через несколько минут подошли к нам. Один из них представился раввином. Он рассказал, что они подкупили начальство и вместо нас, евреев, в теплушки посадили и отправили в Германию украинцев. Потом раввин стал раздавать нам подарки. Последние его слова были: «Фашисты уничтожают евреев, мы не знаем, что будет с нами. А то, что произойдет с нами, то будет и с вами. Народ, который жил и живет, с Божьей помощью и будет жить». Этот еврейский лагерь был в местечке Ювоскеле.

В 1944 г. Красная Армия нас освободила, и нас вывезли из Финляндии. В Союзе нас загнали в шахты на Урале, где мы проходили госпроверку. Я был расконвоирован одним из первых, так как мои показания не вызвали никаких сомнений.

В заключение хочу написать, что пережито слишком много, пересказать все невозможно, да и вспоминать бывшее становится все трудней.

Израиль, 1994 г.

Шимон Янтовский. Сионист в плену. ^[79]

<...>

Когда я был военнопленным в Финляндии, мне пришлось побывать в различных лагерях: в общем лагере в Карелии (г. Кондопога), в двух штрафных лагерях (под г. Вааза) и в еврейском лагере (Наариярви).

<...>

Начало войны застало меня в Ленинграде за подготовкой к кандидатским экзаменам. После речи Сталина стало очевидно, что защита диссертации и вообще занятия наукой отстраняются надолго, если не навсегда. Спустя несколько дней, мы — добровольцы, уже одетые в военную форму, живя в казармах, обучались премудростям войны. Вскоре, в составе Выборгского полка Фрунзенской дивизии народного ополчения, прошли маршем через весь город. Ненадолго заняли оборону у Пулковских высот, затем наш полк был переброшен в район боев у Ладожского озера. На этом участке финская армия, отвоевывая свою территорию, предприняла наступление на советские позиции.

Рядовой солдат всегда с трудом представляет себе общий ход военных действий. Но когда наша часть вступила в соприкосновение с финскими частями, сразу почувствовалось превосходство противника над нами, необученными и плохо вооруженными. И это сказывалось на всем протяжении боев. После первых же атак наша часть была сильно растрепана, потеряла многих бойцов и оружие. Перейдя в оборону, мы заняли позицию вдоль реки Сандепка, удерживая ее в течение месяца, а затем, когда противник прорвал оборону на другом участке, мы оказались в окружении. Выходя из окружения, мы четырнадцать дней вели непрерывные арьергардные бои с преследовавшим нас противником. Эти дни были полны драматизма и трагическими событиями. Путь пролегал по бездорожью, через лес, болота, буераки и буреломы. Наш расчет, хотя и потерял нескольких бойцов, не расставался с тяжелым пулеметом «Максим». Бывалые люди могут себе представить, сколько физических усилий это требовало при тяжелом голоде.

После выхода из окружения в районе Мурманской железной дороги, вблизи станции Ладва, нам приказали занять оборону вдоль дороги. Но для этого у нас не было ни средств, ни времени. После стремительной, молниеносной атаки финских танков мы были окружены, и нам снова пришлось выбираться из окружения, на этот раз кто как мог, уже без оружия, с помощью местных жителей. Без еды, при наступивших утренних морозах, блуждали несколько дней по лесу, не имея ни карт, ни компаса. Нас было всего четверо, когда мы, завшивевшие и голодные, в конце концов наткнулись на обоз крестьян, к которому примкнули. Как оказалось, это были карелы. Они были лояльно настроены по отношению к финнам и тут же сообщили о нас встречному финскому военному патрулю, который нас задержал. Так мы оказались в плену.

Вначале, после пленения, мы участвовали в захоронении в братских могилах советских воинов. Их было очень много. Затем помогали железнодорожной части восстанавливать железную дорогу тем, что подтаскивали к полотну рельсы и шпалы, разбросанные вдоль него. Вскоре я вместе со случайно встреченным бывшим моим сослуживцем попал из центрального лагеря в Петрозаводске в формировавшийся лагерь в г. Кондопога. Сам город почти полностью сгорел. Лагерь располагался вблизи бумажного комбината, в окрестностях находились огромные запасы бревен, которые нам предстояло распиливать, колоть и грузить для отправки. Наступила северная суровая зима. Обязательная норма для каждого составляла два кубометра древесины ежедневно. Рацион был следующим: утром чай с двумя кусочками сахара и пайкой хлеба 200–250 грамм, вечером — около одного литра мучной похлебки (баланды), заправленной маргарином.

Вскорости начались обморожения, болезни, несчастные случаи на работе. Были частыми побои, особенно свирепствовали в побоях

переводчики-карелы, тоже пленные, но пользовавшиеся привилегиями. Среди них особенно бесчинствовал старший переводчик — садист и уголовник Петр Никитин. Начались расстрелы. Почти каждый день перед строем расстреливали пленных за попытку к побегу. За побег принималось желание пленного зайти в какую-нибудь брошенную полуобгорелую избу по пути следования с работы. Спали на трехъярусных нарах на голых досках. Нередко утром обнаруживались покойники. Положение было отчаянным.

Лично мне посчастливилось сблизиться с мастером финном Энглудом, бывшим в мирное время штурманом торгового флота и знавшим английский язык, на котором мы могли вести несложный разговор. Благодаря его покровительству побои переводчиков и старосты меня миновали. Кроме того, он иногда приносил и тайком передавал кусочек сухаря «леипы». Он, кажется, был родом с острова Марианхама. Сам он никогда не бил военнопленных и осуждал карелов за их бесчинства. Значительную роль в моем выживании в ту жуткую зиму сыграло то, что моему бывшему сослуживцу Павлу Голубеву удалось стать санитаром: оказавшись в привилегированном положении, он умел меня поддержать лишней порцией баланды и чиненой одежкой.

С наступлением весны пленные, пережившие ту страшную зиму, несколько воспряли духом. Под растаявшим снегом мы находили то замерзшую кошку, то собаку, иногда даже лошадь. Затем пошла крапива и другая зелень. Мы закончили распиливать штабели дров и начали пилить бревна из плотов, скопившихся у затонов вдоль озера.

Однажды начальство провело запись в добровольческую армию для борьбы с Красной Армией. Почти все, надеясь на лучшие перемены, записались туда, но я отказался. И вместо ожидаемой репрессии неожиданно получил награду: пачку махорки. Эту награду я получил от начальника лагеря, свирепого и жестокого офицера-самодура в знак одобрения соблюдения мною воинского долга.

Среди военнопленных стали говорить о побегах. Эта тема сначала обсуждалась без всяких оснований. Однако потом среди части военнопленных разговоры о побеге привели к формированию реального плана, который и начал реализовываться. Закончилось все это тем, что незадолго до начала осуществления план побега был раскрыт. Главным инициатором этого плана был я, и мне пришлось испытать всю тяжесть последующих допросов и наказания. При допросах в самом лагере меня многократно избивали. Закончилось все тем, что я был приговорен к наказанию 25 розгами под барабанный бой перед выстроившимся в каре лагерем. Затем был отправлен в штрафной лагерь под г. Вааза на шведской границе. Пробыв недолго в штрафном лагере, я был снова заподозрен, уже без всяких оснований, в новом желании побега и был подвергнут особенно тяжелому режиму внутри штрафного лагеря. Таким образом, я был как бы дважды оштрафован.

С наступлением зимы, после работы на каменоломнях, нас отправили в глухой лес, где мы жили в одиноком бараке, окруженном двумя рядами колючей проволоки с башнями по углам. Работали мы на лесоповале. Норма была два кубометра дров, распиленных, разрубленных и уложенных в штабель. К месту повала надо было идти 5–7 км по глубокому снегу. Питание было примерно таким же, как и в других лагерях, иногда добавляли немного плавленого сыра, около 50 грамм. Выходили и возвращались в темноте.

Люди теряли силы, вскорости начались самокалечения. Рубили себе пальцы на руках и ногах, продевали под кожу загрязненную нитку, после чего образовывалась гнойная рана, обмораживались. Желая ускорить неизбежный конец, я начал голодать и превратился в настоящего доходягу. Но вдруг нам повезло. Неожиданно в лагерь прибыли посылки от Красного Креста, каждую из которых распределяли на несколько человек. Я не выдержал и прекратил голодовку. Но потом я умышленно отморозил пальцы себе на руке и с этими ранами, в состоянии дистрофии, попал в госпиталь при центральном лагере в Наариярви.

Даже при беглом взгляде центральный лагерь не мог не поразить своими размерами и внешним порядком. В особенности произвел впечатление госпиталь с его белыми простынями и чистотой. Ведь до этого мне приходилось спать на голых досках и укрываться только шинелью. В еще большей мере поражали военнопленные, которые сновали по лагерю. Они выглядели почти нормальными людьми. В этом лагере находился и огороженный колючей проволокой барак военнопленных женщин, которые работали санитарками и в прачечной.

К сожалению, в госпитале меня продержали недолго и перевели на амбулаторное лечение. Найдя себе местечко на третьей полке одного из барakov, куда я не без труда с перевязанной рукой взобрался, я улегся, не переставая благодарить судьбу за избавление от штрафного лагеря.

Оказалось, что прибытие в этот лагерь нескольких военнопленных из штрафного лагеря не прошло незамеченным. Наш вид доходяг сильно отличался от местных придурков и не мог не заинтересовать. Вскорости после того, как я пристроился, ко мне прилег один юноша и завел со мной доверительный разговор. Этот юноша оказался из нашей Ленинградской дивизии народного ополчения, и нам не трудно было установить, что мы оба евреи. От него я впервые узнал о существовании нескольких ответвленных от центрального лагеря «командировок», в которых содержались исключительно еврей-военнопленные. В особенности он рекомендовал мне попасть в командировку, где был «габе» Соломон. К сожалению, я был записан русским. Однако он научил меня, как нужно действовать, чтобы восстановить себя евреем. Мне удалось это сделать, и я почувствовал, что меня ожидают интересные встречи.

Между тем слух о прибывших штрафниках распространился по лагерю. Многие заинтересовались и пожелали познакомиться. Из соседнего женского лагеря через проволочный забор меня одарили парой чистого белья и носовыми платочками. Это была дань сочувствия к нам, штрафникам. Наш внешний вид свидетельствовал о пережитых нами трудностях, которых многие из здешних «придурков» избегли. Приходилось рассказывать о себе, отвечать на вопросы, нашлись общие знакомые. Бывая на перевязках, я познакомился с санитаркой, бывшей преподавательницей технологического института в Ленинграде, которая была санитаркой и в нашей дивизии. В этом же лагере, естественно, была неплохая информация о состоянии военных действий. Все свидетельствовало, что наш плен может и закончиться.

Спустя несколько дней, когда раны мои стали заживляться, я попросился направить меня на работу в командировку. Мне удалось попасть к Соломону. Это была одна из тех командировок, в которых содержались только евреи. Самая большая из них базировалась на химическом заводе в Лоуколампи. К заводу примыкали шахты, в которых добывались калийные соли. Они являлись сырьем для химического завода. Торф служил топливом для завода. Кроме торфа топливом служили дрова с лесных угодий. На всех участках работали евреи в основном как подсобные рабочие. Некоторые пленные работали, наряду с финскими рабочими, в качестве механиков, кочегаров, но таких было совсем немного.

Командировка Соломона занималась лесоповалом. В командировке было всего 10–15 человек. В этой небольшой группе все, кроме одного, были со средним и высшим образованием. Жили дружно, по принципу взаимопомощи. Мне показалась жизнь здесь райской, все были сыты. Работа была хотя и тяжелой, но для физически здорового человека вполне выполнимой, если к тому же знать некоторые приемы работы с лучковой пилой. До места работы идти недалеко. Многие норму выполняли до обеда. А в морозы при температуре ниже 20 градусов на работу вообще не ходили.

Размещались в бывшей сельской школе. В одной комнате находились нары, а рядом жил охранник, он же и мастер. Иногда шли на работу даже без охраны. Единственное требование — не отлучаться в распоряжение помещичьего дома и прилегающей к нему молочной фермы, а также других домов. В качестве добавки к еде давали картофель и снятое молоко. Для этого ежедневно отправлялся на ферму дежурный, который приносил полведра молока. Большая радость была тогда, когда вместо снятого молока приносили нормальное молоко или даже сливки, которые наливали доярки в знак сочувствия к несчастным пленным (разумеется, втайне от помещицы). Ребята были одеты в теплые вещи. Многие из них были получены из посылок, которые присылали местные евреи.

Оказывается, в Финляндии существовала еврейская община во главе с раввином; в этой стране евреи пользовались всеми правами гражданства и даже служили в армии. Для меня все эти сведения были поразительны. Я невольно задумался над своеобразной судьбой еврейского народа. Ведь, того и гляди, я мог бы сражаться с финном-евреем. До моего появления в этой командировке ее посетил раввин местной общины, а община прислала на пасху мацу и бутылку вина «кошер лепесах». И все это при диком разгуле антисемитизма в Европе, подпавшей под иго фашистского режима! (Но об этом я, кстати, был слабо информирован; находясь в изолированных условиях лагеря продолжительное время, я ничего не ведал о зверских актах истребления евреев в Европе и России.)

Чувство национального самосознания после многих лет забвения стало возвращаться. Разве не был прав сионизм, призывавший евреев воссоединиться в родной стране Палестине? Несмотря на логичность вывода, эта мысль почти не обсуждалась среди ребят. Почему? Многие из них были молоды и ничего не слышали о сионистских идеях, и, конечно, они не были религиозными. Только один или двое, родом из Польши, молились. Все остальные ребята были из Ленинграда, двое с Украины. Все были заморожены ошеломляющими успехами Красной Армии, которая начала освобождение от немецкого вторжения. О подробностях решения «еврейского вопроса» фашистскими методами и им было мало что известно.

Реализовав некоторые вещи, полученные из посылок, ребята тайно договорились с нашим охранником и купили радиоприемник. Он был установлен в комнате охранника и после нашего отъезда должен был быть оставлен ему. Нам разрешалось им пользоваться только поздним вечером, при закрытых дверях и, конечно, не всем, а только одному или двоим. Прослушавший сводку и другие новости тут же передавал все остальным. Особую радость вызвало сообщение о взятии городов, в частности, Винницы, откуда был родом один из ребят. Кроме того, через охранника поступали финские газеты, которые некоторые ребята могли свободно читать. Совершенно свободно овладел финским языком Соломон. Он мог не только читать с листа финскую газету, но и свободно разговаривать.

Нетрудно представить себе, что, живя в таком коллективе, я буквально ожил и физически окреп. Хотя коллектив был небольшой, но он, в свою очередь, делился на еще меньшие «колхозы». Так называлась группа из двух-трех человек. Они обычно ели щи из одного котелка, все делили поровну, заботились друг о друге по-семейному, по-братски. «Колхоз» образовывался по принципу личной симпатии, без принуждения. Для меня такая форма совместного существования была незнакома. Меня вовлек в свой «колхоз» Соломон, и я по-настоящему почувствовал дружбу, братскую заботу и нежность.

О Соломоне Шуре можно много написать. Он был необыкновенным человеком. В этом коллективе он был признанным вожаком и неофициальным старшиной. По специальности архитектор, служил в стройбате в каком-то особом районе. Человек удивительно обаятельный, тактичный, умный и по-настоящему образованный, он не имел равных среди остальных. Любые конфликты умел улаживать и пользовался доверием всего коллектива. Также умело он вел переговоры с начальством, выторговывая у них всякие поблажки. Это ему удалось добиться дополнительной кружки молока, которое, благодаря его обаятельному обхождению, доярки заменяли сливками. Это ему принадлежала идея с радиоприемником.

Зная разговорный язык, он мог общаться и с финнами. И среди них он также пользовался уважением. Несмотря на свой сравнительно молодой возраст, он многое пережил, попав в мясорубку тридцать седьмого года. Участь на одном факультете с племянником Ленина, он был привлечен к делу о заговоре, в котором обвинялся этот племянник. Просидев какой-то срок в Бутырке, чудом уцелел. Несмотря на нелепость всех обвинений, ему пришлось изощренно от них отбиваться. В памяти у него хорошо сохранились все приемы, которыми пользовались следователи в то время, и он любил возвращаться к этой теме, которая не могла не оставить след в его сознании на всю жизнь.

Вторым событием, также оставившим след в его сознании, была учеба в юношеской еврейской сельскохозяйственной школе под Москвой, в которой дети и юноши приучались к сельскому труду для поездки в Палестину. Такая школа, вероятно, недолго существовала в 20-е гг. и, конечно, была разогнана, но пребывание в ней и, главное, сионистская идея, заложенная в ней, были ему дороги. Несомненно, что в эту школу он попал благодаря желанию родителей. Именно они и внушили ему идею сионизма, которая осталось для него романтической мечтой на всю его жизнь. Достаточно сказать, с его слов, что знаменитый поэт Бялик бывал в их доме и встречался с его матерью.

Третьим нашим «колхозником» был совсем еще молоденький юноша, лет 17-18, родом из Ленинграда, Исай Гильбо. Он успел закончить школу и вступил в дивизию народного ополчения, судьба которой трагична. Несмотря на тяжелые ранения и суровые условия войны, юноша остался доброжелательным, скромным и отзывчивым товарищем.

Так как подобные «колхозы» возникали по принципу добровольности, то почти никогда не возникали споры и недоразумения. Правда, иногда утром могли быть перепутаны портянки, сушившиеся с вечера у печи, или рукавицы. Но после незлобливых перебранок подобные «конфликты» улаживались. Утром после подъема, получения пайка и завтрака, обычно горячего чая, все отправлялись на работу под охраной. На делянке расходились, каждый выбирал себе участок для выполнения нормы.

У меня уже был навык, и хотя рука еще не полностью зажила, норму я выполнял почти вовремя. Она была такая же, как и в штрафном лагере: два кубометра разрубленных метровых поленьев, уложенных в штабель. Работу требовалось предъявить охраннику. Только после этого все возвращались в расположение школы. Иногда можно было возвращаться в одиночку. Но это бывало все же редко. Самым тяжелым преступлением было свалить неклеимое дерево. Лесоповал считался санитарным, и разрешалось срубить только дерево, имеющее клеймо. Куда удобнее было свалить дерево, стоящее поблизости, но не клейменое. Это можно было сделать, если поблизости не было мастера, который мог неожиданно появиться в любой момент. Обычно при его приближении раздавался крик кого-либо из ребят: «Малех га-мо-вес!» («ангел смерти»). При этом сигнале следовало устранять следы преступления.

Вспоминаю один смешной эпизод из тех времен. Однажды, когда все закончили свою норму и собирались вместе уходить, произошла задержка — Соломон никак не мог найти свою лучковую пилу. Он метался в поисках ее от одного места к другому и никак не мог припомнить, куда он мог ее прислонить или швырнуть. Ее мог покрыть и снег. Прождав некоторое время, мы все постепенно включились в поиск этой пилы. Мы очень старались, но никак не могли ее найти. В конце концов она нашлась... у него под шинелью. Водрузив пилу на плечо и затем напялив шинель, он по рассеянности не мог ее найти. Это забавное происшествие было долго предметом добродушных насмешек над всеми любимым Соломоном.

Подобная забава случилась с нами еще раз. Однажды утром он не мог найти свою портянку. Все искали безуспешно, в конце концов оказалось, что Соломон наverts на одну ногу... две портянки. Возвратившись в барак и съев горячую баланду, конечно, не такую разбавленную, как в предыдущих лагерях, кроме того, еще и картофель «в мундире», ребята, не слишком разбалованные, насыщались и какое-то время отдыхали. Во второй половине дня, в свободное время, некоторые могли читать. Среди ребят были преподаватели математики и другие специалисты, которые вели занятия с желающими. Ефим Герцберг занимался по математике с молодыми ребятами, иногда Соломон читал наизусть стихи Пастернака, которого он очень любил и хорошо знал. Кроме того, он сам писал стихи, мы ими восхищались^[80]. <...>

Очень часто возникали дискуссии на злободневные темы, как реакция на последние известия. Все с нетерпением ждали открытия второго фронта, видя в нем реальные условия окончания войны. Но следует отметить, что, несмотря на то что здесь все ребята были евреями, еврейская тематика не доминировала в разговоре. Ни религиозная тема, ни сионистская не затрагивала по существу это маленькое сообщество. Эту тему как-то стыдливо обходили, как это

принято в ассимилированной среде. Все помыслы и мечтания сводились к возвращению в Советский Союз и к советскому образу жизни. Более того, как мне казалось, старались даже подчеркнуть свои интернациональные воззрения и связь с русским народом. Кое-кто уже был женат и имел русскую жену. <...>

Изредка заходил разговор о Палестине. Соломон охотно рассказывал о ней очень красочно и увлекательно. У него, оказывается, там проживал какой-то родственник, занимавший чуть ли не положение редактора газеты. Через Красный Крест Соломон узнал о своих родителях и им сообщил, что он жив. Я не мог себе даже представить возможность такой связи через «железный занавес»!

Еще один эпизод свидетельствовал о международной еврейской связи. Как рассказывали, один из военнопленных получил денежный перевод от своих родственников из Харбина или Сингапура. Рассказывали также, как один военнопленный, житель Ленинграда, разыскал в Финляндии своих родителей, братьев и сестер. Они давно разлучились, он в Ленинграде завел свою семью и теперь встретился снова с родными. Мы все видели, как его родные навещали, приносили ему передачу. Но подобные случаи — все же редкое исключение.

Несмотря на почти идеальные условия, спустя какое-то время сытая и однообразная жизнь стала тяготить меня, хотелось побывать в других местах и познакомиться еще с другими ребятами. Случайно нелепый и печальный эпизод помог мне. При колке бревна топор как-то вывернулся и врезался в ногу. Рана оказалась глубокой, и потребовалось ее сшивать. Меня отвезли сначала к местному хирургу, а затем отправили в госпиталь в центральный лагерь. Так неожиданно мне пришлось расстаться с такими милыми ребятами и с небывало хорошими условиями. Некоторые подозревали, что я умышленно нанес себе эту рану, но видит Бог, что это настоящий несчастный случай. Я бы никогда не решился нанести себе такую опасную рану, грозившую мне остаться без пальца или ноги. К счастью, заживление прошло без осложнений. А пока что я с палочкой пребывал в центральном лагере на амбулаторном лечении, ожидая выздоровления.

Я еще хромал, но меня все равно отправили в командировку, на этот раз на завод Лескинена (лагерь Лоуколампи). На заводе была основная база еврейского лагеря. Всего в бараке размещалось человек пятьдесят. В километре от завода находились соляные копи, а поблизости — и торфоразработки. Все жили в большом бараке, деревянные нары в нем были в три этажа. Жили здесь также по «колхозам».

Меня направили на торфоразработки. На ней работала конвейерная лента. Операции были следующие. Жидкую массу из заболоченного грунта следовало формовать в формы немного большие, чем брикеты

строительного кирпича, и затем подавать их на ленту транспортера. Она уносила эти кирпичи на расстояние нескольких метров. Стоящие вдоль ленты должны были снимать эти кирпичи и укладывать их в шахматном порядке в штабеля для просушки. Финские мастера наблюдали, чтобы с ленты кирпичи вовремя снимались и укладывались в штабеля. Работа была тяжелая и грязная. С больной ногой я не успевал, но лезть в торфяную жижу тоже отказывался, так как нога была еще перебинтована, и из рваной обуви она намокала. Мастера следили, чтобы конвейер был заполнен и вовремя разгружался. Труднее всего было выкапывать из грунта жидкую массу и подавать ее на конвейер. Более легкой была операция по снятию и укладке штабеля. Но это зависело от скорости конвейерной ленты и от числа людей, стоящих вдоль нее. Питание — довольно скудное, и о сливках, которые мы иногда отведывали в командировке Соломона, можно было только мечтать.

Но после работы в бараке — шумно и интересно. Там было несколько примечательных личностей. Особо выделялся Самуил Борисович Ассиновский. По возрасту он был старше всех. Ему было около 50 лет. Величали его профессором. Он, кажется, не имел официального научного звания, однако проявлял отличную эрудицию. До войны он стал жертвой сталинского террора, и его взяли на фронт из лагерей. Наивно думать, что он попал в плен по собственному желанию, так на фронте почти не бывает. Как и у всех, создались условия, при которых иного выхода не было. Но, будучи в плену, в частности, в еврейском лагере, он не скрывал своего критического отношения к сталинскому режиму, который он хорошо испытал на собственной шкуре. Он всегда подчеркивал свои сионистские взгляды, носившие скорее идеологический, чем практический оттенок.

В беседах с ним мы нашли несколько общих знакомых, которых он хорошо знал по своей работе, будучи редактором издательства. Среди этих знакомых — Абрам Соломонович Соколик и Моисей Борисович Нейман; оба были моими научными наставниками и руководителями работы. Воспоминания о них были приятными минутами в той полуголодной обстановке. Самуил Борисович, несомненно, был одаренным лектором и знатоком истории. Его лекции, которые он с ходу читал в самых невероятных условиях, были приятными и увлекательными даже после трудового рабочего дня.

Среди новых знакомых было несколько талантливых молодых ребят, которые умели играть на инструментах. Один играл на скрипке, другой — на кларнете, третий — на рояле. Они устраивали концерты. Их посещали и рабочие-финны. «Население» лагеря до моего прибытия как-то сжилось. Уже существовали «колхозы», и на первых порах сблизиться с кем-нибудь оказалось трудновато. Но спустя какое-то время я сошелся с ребятами, и пошли душевные беседы о пережитом в плену в других лагерях, о Ленинграде. Кое-кто писал стихи. И у меня

набросаны были 2–3 рассказа. Мы решили даже издать журнал. Вышло, кажется, два номера с объемом каждого — в ученическую тетрадь... Увы, все пропало при очередном обыске. Журнал назывался «Отчизна».

<...>

Мне случилось познакомиться с героем курьезного случая. Один человек попал в плен на о. Ханко. Будучи родом из Одессы, а по своему характеру озорным, он и в плену не терял оптимизма и слыл хорошим товарищем. Так его и звали Миша-одессит, по фамилии Ляховецкий. При каких-то обстоятельствах он попал в поле зрения лейтенанта финской армии, по происхождению еврея, который взял его на какое-то время в качестве денщика. Причем и лейтенант оказался сыном одесского еврея, в свое время пытавшегося выехать в Америку, но из-за карантина не попал туда, остался в Финляндии. Финский еврей оказался в армии: защищал честь и суверенитет Финляндии при вероломном нападении Советского Союза. Так с разных сторон встретились отпрыски двух еврейских семей из их родной Одессы!

Летом 1944 г. началось наступление на Карельском фронте. Финская армия начала откатываться от Ленинграда и Карельского перешейка. События стремительно развивались, ясно стало, что финны «выходят из игры». Нас начали небольшими партиями направлять в центральный лагерь Наариярви. Постепенно скапливалась вся масса пленных. Возбуждение перед предстоящими переменами нарастало. Собравшиеся стали вспоминать тех, кто запятнал себя темными связями с охранниками. В основном это были карелы-переводчики. Среди них Петька — свирепый, яростный полицей. Сейчас предатель выглядел худым и встревоженным, сторонился и даже прятался от расправы. Происходил самосуд и над некоторыми украинцами и русскими, бывшими придурками, за их плохое обращение с пленными.

С намерением самосуда некоторые носились по лагерю, передавая иной раз правдивые, а чаще сбивчивые сведения о тех, кого подозревали в содружестве с охраной. Иногда пытались свести личные счеты или отвести от себя подозрения по принципу «лови вора». Более благоразумные не участвовали в таких расправах, считая, что этим займется советское правосудие, хотя многие высказывали сомнение в объективности и корректности следственных органов. Не забыты были нелепые «служебные ошибки» и наговоры, существовавшие в годы массовых репрессий. Радость предстоящего возвращения омрачалась возможностью подобных несправедливых подозрений.

Я был почти уверен, что мне придется подвергнуться пристрастному допросу и мне обязательно припомнят и «пришьют» к плену как пребывание в сионистской организации, так и исключение из ВКП(б). Но совесть у меня была чиста, и я надеялся, что сумею всякие подозрения и обвинения отвести. В ожидании отправки нас иногда посылали на сельские работы. Однажды несколько дней мы были на хуторе, пололи огурцы. Платой служил картофель. Нашлись умельцы,

нагнавшие самогон. Раз есть выпивка — можно праздновать и наш отъезд. Среди нас было несколько финских крестьян и даже девушки. Это было первое наше общение с финским населением. Всем хотелось, чтобы расставание, как и жизнь в дальнейшем, оказались бы беззлобными и доброжелательными.

В сентябре 1944 г. нам объявили о перемирии между СССР и Финляндией. Весь лагерь был выстроен, и нам сообщили о ближайшей пошелонной отправке. Нежелающим возвращаться предложили выйти из строя. Набралось несколько десятков. Среди них я заметил знакомого Петьку (карела) и еврея, у которого в Финляндии оказались родственники. Затем произвели осмотр обмундирования. У кого оно было рваное и грязное, тому заменяли на чиненое и чистое.

При смене своего рваного обмундирования я допустил ошибку. Она потом принесла добавочные неприятности. Взамен солдатской гимнастерки мне попался китель финского сержанта с накладными карманами, серого цвета, суконный. Он отличался от советского обмундирования. Я выделялся среди других. И по возвращении довольно долго не мог сменить этот китель на «нормальную» одежду. Мой внешний вид задевал патриотические чувства советских людей, навлекая на меня подозрения. Бывший финский китель походил на немецкий.

Возвращались мы, еврейские военнопленные, не все вместе. Комплектование очередного эшелона шло беспорядочно, и сравнительно небольшой еврейский лагерь затесался среди общей массы пленных. Вероятно, всех в то время интриговала мысль: что с нами предписал сделать наш мудрый вождь и учитель: казнить или помиловать? Конечно, среди возвращавшихся находились некоторые, кому можно было опасаться. Одну такую историю я узнал.

Один пленный спросил мое мнение, что ему будет? Отца парня, как кулака, сослали, а сам он попал в лагерь, откуда прямо на передовую. Когда он попал в плен, то активно высказывал антисоветские взгляды. Добился, что его в числе других выделили, и он находился в привилегированных условиях и даже сотрудничал в какой-то газете, издававшейся на русском языке. Однако масштаб деятельности не мог удовлетворить его. И он нарушил предписанный режим. Однажды направился без разрешения в какую-то инстанцию, и такой самостоятельный уход был расценен как побег. Парень попал в штрафной лагерь, откуда и возвращался на родину. Не знаю, чем закончилась его жизнь. О судьбах бывших военнопленных почти ничего не известно.

Стоял сентябрь. Война еще шла, но уже на территории Европы. Солдаты были нужны фронту, но достойны ли мы добить врага со всеми вместе или должны расплатиться кровью за поражение в начале войны? Как много от нас требуется?

Наконец, наступил долгожданный отъезд. Нас строем привели к станции, и мы погрузились в товарные вагоны. Эшелон сопровождали финские охранники. Поехали. На одной станции произошла смена. Охраняли уже советские охранники, тоже с автоматами. Стало ясно, что мы уже теперь под охраной своего родного конвоя. Но и от них узнать, куда держит путь эшелон, не удалось. Наконец, прибыли куда-то, попали в казармы. Прошли санобработку и в первый раз встретились с политруком, проводившим беседу. Он кратко описал положение фронта, успехи армии и перспективы, ответил на вопросы. Разговор был благожелательный, и настроение у всех приподнялось. Нам предстояло пройти «госпроверку», после нее каждому воздастся по заслугам. Где будет это проходить, он, конечно, не знал, но сообщил, что мы будем обеспечены питанием и работой. Инвалиды и больные тут же госпитализировались. Связаться с родными пока не разрешалось.

Большинство мечтало попасть в Ленинград, откуда ушли на фронт, но поезд миновал город, и мы прибыли в Москву. Предстояла пересадка. Я запомнил переход с одного вокзала на другой и мелькнувшую дерзкую мысль: в суতোлке позвонить по телефону сестре — авось она окажется дома. Но сделать это оказалось невозможным.

Мы прибыли в Тулу и под конвоем, пешком, направились за колючую проволоку в бараки, в лагерь — теперь в советский.

Итак, я нахожусь в уже в котором по счету лагере. Мне все здесь знакомо. Мы — на госпроверке. Надо ждать свою очередь. Какие методы проверки — неизвестно. Мы обвиняемые, нам следует оправдываться. В чем наше преступление? Нам об этом заявят при личном допросе. Родина встретила защитников. Но защитники ли мы? Чувство вины и неполноценности тревожит. Неужели в тех условиях, в которые мы попали, мы не выполнили свой патриотический долг? Более того, неужели мы совершили преступление, и нам надлежит кровью смыть его? Того и гляди, мы можем попасть в разряд шпионов и диверсантов, тогда наверняка ждет слежка и подозрительность на всю жизнь. Каждый из нас становится лакомым кусочком для доносчика.

Мы находимся в расположении лагеря уже в родной стране. Бараки, нары. Режим, пожалуй, полегче, чем в Финляндии. Нет длительных проверок по утрам, когда нас держали на холоде, подсчитывая наличный состав, по несколько раз пересчитывая, пока, наконец, не раздастся облегчительный возглас: «кайки», что по-фински значит «все», и чему были рады были не только охранники, но и мы. Затем разрешалось шевельнуться. До этого — не дай Б-г!

Здесь нам разрешена переписка. У нас теперь имеется обратный адрес, и мы можем узнать о судьбе родных, сообщить о себе. Какое счастье выяснить, что они живы, и как им должно быть радостно услышать о нашем благополучии. Ведь прошло долгих почти три года в полной безвестности! Не теряя времени, пишу сестре в Москву по

адресу, который, к счастью, запомнил. Получаю ответ. Безмерная обоюдная радость, предстоит встреча. Не всем, к сожалению, везет, многие опечалены молчанием родственников.

Между тем в лагере нормализуется жизнь. Часть людей уже подвергается допросу, часть формируется и направляется на работу в шахты под Тулой. По слухам, некоторые влиятельные родственники стараются вызволить из лагеря бывших военнопленных. Иногда к воротам лагеря подъезжают черные лимузины на свидание с заключенными. Такое же счастье выпало и мне. Неожиданно меня вызвали и разрешили свидание с одной дамой. Она подкатила в роскошной машине, разодетая в меха, благоухающая. Это оказалась подруга сестры, которая неожиданно для меня проживала в Туле. Ее муж работал на престижном предприятии, в тресте «Тулуголь». Эта встреча казалась сном после всех переживаний.

Запомнилась и беседа с одним заключенным. Он был румынским подданным, евреем, офицером румынской армии, застигнутым советской армией на территории Румынии. Какой-то период он находился в рядах советской армии, но довольно быстро почувствовал необыкновенный антисемитизм, царивший там. Это заставило его добиваться возвращения в Румынию с целью переезда в Палестину. Впервые за многие годы я встретил человека с ярко выраженной идеей сионизма, мечтающего ее реализовать. <...>

Кроме нас, бывших военнопленных, в лагере содержался и другой люд. Были и проживавшие на «территории, временно оккупированной немцами». Среди них попался врач, русский. Он рассказывал о бесчинствах немцев по отношению к евреям, не успевшим эвакуироваться. Попадались солдаты, которые по милости «стукачей» попали на проверку в лагерь. Из бесед с ними мне стало ясно, что «величие и оригинальные идеи антисемитизма», духовной сердцевины фашизма, не встречая особого заслона, перекочевывали в советскую армию.

Не было сомнений, что нас, содержащихся в еврейском лагере, начнут с особым пристрастием прочесывать. Мне же предстоит выдержать по совокупности с биографическими «пятнами» дополнительные тяготы, так как я в юности состоял членом сионистской организации. Не трудно было тогда предположить, что антиеврейские идеи в конечном свете пропитают весь бюрократический аппарат и станут также краеугольным камнем идеологии КПСС, если, конечно, не произойдут коренные изменения. Но произойдут ли?

Наконец, подошла моя очередь, и меня вызвали к следователю. Он жестом показал мне на табуретку, стоявшую в двух шагах от стола. Только я уселся, как он, смерив меня презрительным взглядом, огорошил словами: «Ну, рассказывай, предатель родины!» Слова, как плетью, меня полоснули, но я промолчал. Предо мной сидел в военной

форме... еврей, на вид интеллигентный. Я насторожился, ожидая дальнейших вопросов, но он продолжал писать, изредка наблюдая за мной. Затем спросил, при каких обстоятельствах я попал в плен и в каком лагере содержался. Горький осадок от его первой реплики сковывал мою речь, и я весьма кратко ответил на вопрос. Под конец он спросил, кто из пленных знает меня, и отпустил. К моему большому удивлению, больше меня не вызывали и никаких каверзных вопросов не задавали. Никакой увязки плена с моими биографическими данными также не произошло. Всех благополучно прошедших госпроверку распределяли по двум направлениям. Посылали либо на работу в шахты, где надлежало работать и жить в общежитии, получая зарплату и паек на вольных основаниях. Но без паспорта все равно никуда нельзя было уехать. Либо посылали в армию, через Тульский военкомат.

К этому времени я уже списался с родными и имел встречу с сестрой. С ее слов я узнал, что институт, где я работал до войны, переведен в Москву и мой непосредственный начальник, друзья и сослуживцы, конечно, обрадованы моим спасением и надеются, что я смогу к ним вернуться при подходящих обстоятельствах. Мне было приятно узнать, что научная работа, над которой я трудился перед уходом в армию, получила признание. Меня ожидали большие возможности, и я с нетерпением стремился вырваться из лагеря. Наконец, этот день наступил, и я был направлен в армию. Это было предельное желание многих бывших пленных. И я также был этому рад. Ведь война еще продолжалась, армия наступала, выйдя за пределы Советского Союза.

Я жил в казарме Тульского гарнизона и ожидал оформления документов для отправки в действующую часть. Однажды я был вызван к начальнику Смерш. Причин вызова, как мне потом подумалось, могло быть две. Первая — довольно смешная. Это все мой китель, в котором я щеголял по казарме, среди солдат и штатских, одетых большей частью в ватники. Вторая причина — более основательная и серьезная. В то время вышел указ о досрочной демобилизации из армии лиц с высшим образованием, специалистов, в частности, физиков. Кадровики из «Тулауголь», а трест в Туле слыл всесильной организацией, просили направить меня из лагеря в их распоряжение, а институт, наоборот, хлопотал, чтобы меня направили в армию с тем, чтобы уже из армии, а не из лагеря, меня запросить для продолжения исследовательской работы.

Как бы там ни было, но новая встреча со Смершем не доставила мне большого удовольствия. Опять начался допрос, и здесь уже пришлось говорить подробно о моей биографии, о том, что в молодости я состоял в еврейской сионистской организации и что потом я порвал связи с ней. В конце концов следователь пришел к заключению, что мне все же надо кровью смыть свои пятна, заслужить храбростью ордена и

медали. Он, правда, не добавил «или пасть смертью храбрых». Со мной разговаривал молодой офицер, видимо, в прошлом комсомольский работник. Вряд ли он сам бывал на передовой. В ответ я ему ничего не возразил, но про себя возмутился тем, что я почему-то обязан смывать с себя какие-то «пятна», а передо мной сидит не запятнанная ничем тыловая крыса.

Под конец беседы он мне задал коварный вопрос: хочу ли я идти в армию или на производство. Я ответил уклончиво, что готов идти туда, где принесу больше пользы. По каким-то соображениям я был направлен все же в распоряжение «Тулауголь», где меня назначили начальником строительной лаборатории.

На этом Вторая мировая война для меня закончилась.

Москва, 1979 г.

Приложения

Приложение 1

Подлинные имена и псевдонимы СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ-ЕВРЕЕВ

Настоящее имя	ИМЯ В ПЛЕНУ	Источник
Абрамович Мойша Абрамович	Илюбин Александр	ЦАМО. № 110459
Азаркевич Исаак Евсеевич	Коршунов Сергей Григорьевич, он же Кулагин Сергей Григорьевич	Личное сообщение
Анваер Софья Иосифовна	Анджапаридзе Софья (фамилия однокурсника)	Полян 2002
Ахиезер Константин	Дмитренко Константин Андреевич	См. в наст, издании
Безумский Израиль Наумович	Саркисов, армянин	Шнеер II: 171 172
Бейненсон Александр	Гамалюк Е. Павлович	USHMM. Data Base Survivors
Беликов Борис Ильич	Беликов Борис Иванович	Личное сообщение
Белкин Э.	Малдагазиев Асан	Шнеер II: 170
Бенционов Матвей	Кравченко Григорий	Личное сообщение

Исаакович	Михайлович	
Блуштейн Израиль	Зарбеков Ибрагим	Марьяновский. Соболев 1997:34
Бовшевер Давид	Дурнякин Серафим	
Абрамович	Петрович	ЦАМО. № 150944
Богданов Гирш	Богданов Григорий.	Яд Вашем (сообщено А. Шнеером)
Янкелевич	армянин	Яд Вашем (сообщено А. Шнеером)
Богорад Яков	Хрисгюк Иван Данилович	USHMM. Data Base Survivors
Залманович		
Бокалинский	Бондаренко Григорий	
Григорий	Ахмедов Саид Али- Мамедович	
Бружалский Марк		
Бружесгавицкий	Бружа Леонид Петрович	Личное сообщение
Израиль Моисеевич		
Вейгман Александр	Арбеков Николай Петрович, татарин	Шнеер II: 168, 292-298
Вигдоров Абрам	Викторов Алексей	Личное сообщение
Соломонович	Семенович	
Гелевский Давид	Пустовой Иван Андреевич	Букалов 1996: 157
Яковлевич		
Гелер (Гейлер) Петр	Чорномизий	Шнеер II: 272
Иванович		USHMM. Data Base Survivors
Генкин Яков	Токарчук Яков	
	Григорьев Дмитрий	
Герценштейн Давид	Иванович (из-за уже имевшейся татуировки «Д.И.Г.»)	Шнеер II: 207 208
Исаевич		
Гетман Иосиф	Зайцев Захар Яковлевич.	Шнеер II: 176-177
Яковлевич	Зайнуллин	
Гитерман Иосиф	Ефимов Николай	Там же. 266 267
Меерович.	Захарович	
окоуженец		
Гликпггейн		
(Гитерман) Хвиля	Марченко Валентина	Шнеер II: 267 268
Абрамовна		
Гольдин Александр	Правлин Александр	Марьяновский. Соболев 1997: 34
Яковлевич	Яковлевич	Шнеер II: 177 178
Голдфарб Игорь	Мартынов Петр	
	Кадимов Леонид	Там же. 170- 171
Городинский Нисим	Александрович	
Гриншпун Семен	Гриненко (на Украине),	Гриншпун 1993:132
Григорьевич	Гринев (в России)	
Гройсман Борис	Моисеев Владимир	Марьяновский. Соболев

Губерман Григорий	Антонович Колокольцев Николай (имя друга)	1997: 31:ЦАМО.№ 270581 Сообщено Ж.И. Гольденфельд (Иерусалим)
Гуревич Исаак (Игорь)	Гуров Игорь	См. в наст, издании
Додин Давид Исаакович	Додин Давид Иванович	Видеоинтервью Фонду С. Спилберга от 04.05.1998
Жуков Анатолий Наумович	Жуков Анатолий Николаевич	Личное сообщение
Заславский Владимир	Минченко Василий	USHMM. Data Base Survivors
Зенгин Захарий Исаакович	Зитулаев Зикирия, крымский татарин	Шнеер II: 168
Кагаловский Яков Самойлович	Новиков Андрей Иванович	Личное сообщение
Каганзон Ц.И.	Козубенко Петр Иванович	Барвинок, Евселевский, Пустовойт 1979:82 83
Кандов Нерия, бухарский еврей	Касымов	Шнеер II: 168 169
Каплун Абрам Абрамович	Демкин Александр Семенович	ЦАМО. № 0201026
Каутов Давид Львович	Григорьев Владимир Петрович, русский (псевдоним выбран «с потолка»)	Личное сообщение
Кацперовский Самуил Ефимович, р. Мелитополь	Карасев Виктор Андреевич, р. Ижевск	Личное сообщение. Живет в Ганновере, имя Виктор он себе «оставил» Воронин 1970
Киммельман Наум Клиних Мойте Самсонович	Шаликов Виктор	ЦАМО. № 1211581
Коэн Яков	Фоклинишвили Шота	Шнеер II: 173
Кригер Семен	Шипов Иван	Марьяновский. Соболев 1997:34
Кудрявацкая Аля	Криков Семен	Личное сообщение
Ланин Лазарь Иосифович	Суровская Александра Соломоновна	Шнеер II: 17
Ланнман Г ригорий Семенович	Тихоненко Виктор Иванович	Яд Вашем (сообщено А. Шнеером)
Лейках Мойша	Коваленко Гриц	USHMM. Data Base Survivors
Лернер Мойша	Лейках Мартын	Шнеер II: 171.228 230
	Полищук Михаил	

Хаимович Меламед Михаил	Татарин	Krakowski 1992:228. Krakavski 1992:228 229: Советские евреи 1993: 135 136
Меламед М.И.	Конжаров М.И., аджарец	Иванцов 1950:57.60
Минц Макс Григорьевич	Минаков Михаил Григорьевич	Личное сообщение
Орштейн Семен Алексеевич	Семенюк Василий Кузьмич (лучший друг, раненный за 2 дня до плена)	USHMM. Data Base Survivors
Папилов Семен	Коваленко Семен	Белняев 1999:34
Петрейко Наум Соломонович	Петрейко Николай Сергеевич, грузин	Марьяновский. Соболев 1997: 34
Пинг Григорий Михайлович	Пузанов Павел Дмитриевич	Шнеер II: 322 323
Пинхусевич Борис Самойлович, партизан	Пинчук Григорий Борисович	Шнеер II: 264 266
Погребельский Абрам	Азербайджанец из Баку: Крайнов Владимир, русский	Шнеер II: 276-253
Подольский Исак Яковлевич, ограбленец	Тросницкий Анатолий Игнатьевич	Шнеер II: 243 245
Полищук Яков Михайлович	Савицкий Александр	Личное сообщение
Простерман Лев Яковлевич	Просторов Алексей (из созвучия)	Марьяновский. Соболев 1997: 34
Райзман Лев	Разиков Леонид / Козлов Леонид	USHMM. Data Base Survivors
Рабинович Моисей	Рыбин Михаил	Резниченко 1993:392 394
Резниченко Абрам	Резенко Аркадий Ильич	См. в наст. издании
Рутштейн Константин Абрамович	Сердюк Константин Александрович	Шнеер II: 172
Саг Хаим	Садовский Ефим Акакиевич, армянин	Шнеер II: 260 262
Сандовский Осип (Иосиф)	Садовский Михаил, Садков	Марьяновский. Соболев 1997: 34
Сигал Яков Исаакович	Сегалов Яков Петрович	Там же. 34
Сирота Нухим	Сирота Наум/Николай	

Соломонов Шломо	Салманов, азербайджанец	Krakavski 1992:227
С осин Эммануил Николаевич	Зарин Михаил Николаевич	Личное сообщение
Тартаковский Исай Моисеевич	Борисов Григорий Павлович (сообразно фальшивому паспорту на это имя)	Воспоминания И.М. Тартаковского (сообщено А. Шнеером)
Тругман Марк	Тамарин Дмитрий, адыгейский князь	Шнеер II: 299 300
Фельдман Иосиф	Фесенко Григорий	Марьяновский. Соболев 1997: 30
Фишман Наум Абрамович	Васильев Михаил	Личное сообщение
Франк Ида	Франк Ирина	Там же. 34
Френкель Илья	Грушко Эрнест, фольксдойче	Шнеер II: 179-180
Фридман Борис Николаевич	Пейко Борис Николаевич (девичья фамилия матери)	Фридман 2000 (неизданные материалы)
Фуке Борис Григорьевич	Фука Байрам. турок(?)	Там же. 224 225
Фурман Михаил	Фурманов Михаил	USHMM. Data Base Survivors
Хизгилов Мигдар (Мугдаши) Яхьевич	Абдулалиев Мигдар (Мугдаши). азербайджанец	Яд Вашем (сообщено А. Шнесром)
Цирюльников Алексей Иосифович	Меняйлов Алексей (им я дру га детства)	Личное сообщение
Шерешевский Наум Львович	Коля, татарин	Сообщено А. Шнеером
Шифрин Моте	Шадрин Михаил	Шнеер II: 173
Шихсрт М.П.	Альбердовский Иосиф Харитонович	Марьяновский. Соболев 1997: 31
Штейнгарльг Бейнес Менделевич	Никитин Николай Михайлович	Сообщено А. Шнеером
Янкилевич В.А.	Куриленко	См. в наст. издании

Приложение 2

**Данные о советских военнопленных офицерах —
евреях ИЗ ТРОФЕЙНОЙ ОФИЦЕРСКОЙ КАРТОТЕКИ
в ЦАМО, г. Подольск**

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ	ПЛЕНЕНИЕ	ПЛЕН (ЛАГЕРЯ)	СЕЛЕКЦИЯ И/ИЛИ СМЕРТЬ (ДАТА ПЕРЕДАЧИ В СД ИЛИ ГЕСТАПО ИЛИ ОТПРАВКИ В К/Л.)					
1	2	3	4	5					
Абрамович Мойша Абрамович (Ильбин Александр), кап., врач	8.8.06, Астрахань	Нет данных (н.д.)	Лат. Бобруйск; 9.5.43, дулаг 130, отделение I; Офл. Кальвария, № 4666; 05.43 – прививка против тифа: 12.11.1943 – шт. III В, № 154330 (мелперс.)	3.2.44 направлен в к/л Заксен- хаузен					
Аген Семен, врач	9.8.09, Ростов	Н.д.	До 21.10.1942 – шт. 336, после – шт. III В, № 151324	12.1.43 – через гестапо Франк- фурта-на-Одере – в к/л Заксенхаузен					
Азбель Ефим	15.10.14, д. Усох	18.9.41, Пирятин	9.10.41 – шт. 346	2.3.42 – СД					
Айзенберг-Соловьев Александр Осипович, вет. врач	29.5.11, Курск	22.9.41, Денисовка	Дулаг 90 (?); 9.10.41 – шт. 346	2.3.42 – СД					
Аура Михаил Маримович, ст. л-т, фотограф	15.12.09, Новгород- Волынский	20.9.41, Лубны	Дулаг 89 (?); 9.10.46 – шт. 346	2.3.42 – СД					
Автовяль Вениамин, врач	2.4.1893, Вильно	22.9.41, Денисовка	4.12.41 – шт. 334	2.3.42 – СД					
Аркин Михаил, врач	2.7.1898, Кременчуг	10.9.41, Оршица	1.12.41 – шт. 334	2.3.42 – СД					
Бабатюк Аркадий Мартьянович, полк., врач	14.10.08, Винница	14.10.41, Визьма	Шт. 336, А-репир, № 32147	8.11.42 – умер					
Базаненко Иосиф Наумович, л-т, автомеханик	1.12.20, Смоленск	22.9.41, Оршица	Шт. XII D, № 12087; 30.8.43, раб. команда 10083; шт. XIII A; 30.8.43 – шт. XIII D (62)	19.10.44 – убит при авианалете					
Байрман Яков, врач	17.10.07, Киев	Н.д.	4.12.41 – шт. 334	2.3.42 – СД					
Балаковский Николай Михайлович, воспитатель	31.12.07, Березов	5.7.42, ст. Оскол	31.8.42 – шт. 301	3.9.42 – СД					
Барамидзе Шавза Сергеевич, т.-инт.	10.8.08, Пятигорск	27.9.41, Яготин	11.11.41 – шт. 360	2.3.42 – СД					
Барский Давид Исаакович, врач	1.8.1898, Окнина	13.9.41, Берина	16.3.42 – Иоганнесбург- Х(Шт?)олаондорф; 37.42 – шт. I В, № 30503-R	Надпечатка: «Darf nicht mehr an Arbeitseinsatz» с припиской: «1c A.O. 10.7.1942»; Помены: «25.5.42. GKarte an WAST» и «Auf Grund des OKW-Befehls v. 5. Mai 42 Az2 f 2473 Kgt. Allg. Ia Nr. 1155/42g d. Geheime Staats- polizei, Staatspo- lizei in Allenstein überstellt und aus der Kgt.-schaft entlassen. Hohen- stein, den 16. Aug. 1942. M.-Stamm- lager I В»					
Бавлен Александр Львович	24.9.21	21.8.41, Жлобин	Шт. 325, № 03966	19.3.42 – умер в лагере F-Nord	Блохин Григорий, л-т	15.5.15, Ростов	27.9.41, Яготин	11.11.41 – шт. 360	18.6.42 – СД
Бер (Бейер?) Леон Абрамович, врач	28.9.1898, Львовская обл.	21.9.41, Краснояр	9.10.41 – шт. 346	2.3.42 – СД	Бобров Михаил Самсонович, кап.	0.0.15, Киев	20.7.42, М. Варейки	4.9.42 – лаг. не известен, № 26586	3.9.42 – СД
Бейн Лейба Исаакович, врач	11.3.08, Шетегова	22.9.41, Белоусовка	9.10.41 – шт. 346	2.3.42 – СД	Бовшев Давид Абрамович (Дуринкин Серафим Петрович), кап., врач	2.8.15, Горький	13.9.41, Демьянск	Дулаг 150; офлаг Кальвария, № 5092; 07.-08.43 – прививка против тифа и тифа; 10.9.43 – шт. V A(?); 12.11.43 и 16.11.43 – шт. III В, № 154262 (сви. персонал)	3.2.44 – к/л Зак- сенхаузен
Беленький Михаил Борисович, врач	25.7.1884, Сталинград	8.10.41, Визьма, большой дорог	Шт. 342(I); шт. 336; 22.2.42 – врач; 9.4.42 – доктор	27.8.42 – умер	Богданов Моше Аронович, мл. л-т, инт.	12.10.05, Сталино	23.7.42, Ростов	до 6.9.42 – шт. 360; после – шт. III В, № 69346; 12.10.42 – шт. III D	17.10.42 – к/л Заксенхаузен
Беленок Михаил Михайлович	5.7.05, Самара	26.9.41, Боршевца	11.11.41 – шт. 360	2.3.42 – СД	Богомольный Семен Матвеевич, л-т, сапер	26.12.10, Екатерин- бург	23.9.41, Оршица	14.10.41 – шт. 363	2.3.42 – СД
Белокаменский Александр Григорьевич, мл. л-т, инженер	14.11.07, Рыбинск	11.8.41, Кучино-ла- ка (?)	2.10.41 – шт. 355	3.9.41 – СД	Борисов Борис Матвеевич, врач	1894, Житомир	10.9.41, Полтава	Шт. 349, № 30766	12.12.42 – СД
Беренштейн Борис, врач	19.6.04, Чернобыль	22.9.41, Денисовка	11.12.41 – шт. 334	2.3.42 – СД	Борисов Владимир, врач	7.7.03, Славута	10.9.41, Денисовка	4.12.41 – шт. 334	2.3.42 – СД
Беренштейн Яков, врач	29.1.03, Житомир	22.9.41, Оршица	4.12.41 – шт. 334	2.3.42 – СД	Боршевко Владимир Сергеевич, кап., земгич	9.4.13, Абдулино	23.9.41, Яготин	1.6.42 – шт. 358	18.6.42 – СД
Берох Юхим Михайлович, инт.	13.4.06, Житомир	24.11.41 (так на карточ- ке), Писки	9.10.41 – шт. 346	2.3.42 – СД	Брагулевский Давид Абрамович, воспитатель	10.8.21, Полтава	9.10.41 – шт. 346	2.3.42 – СД	
Бехер Герш, врач	17.3.07, Коломыя	25.7.41, Новодржан- гельск	4.12.41, шт. 334	2.3.42 – СД	Брайловский Михаил Дмитриевич, мл. л-т, артиллерист	25.5.12, Актыбинск	25.9.41, Боршуневка	11.11.41, шт. 360	2.3.42 – СД
Бинаштерс Морис, инт.	0.0.1895, Вильно		Шт. IV H (304) № 30872; 29.10.41 – 615 р.; 10.6.42 – 615 р. (передан СД)	Надпечатка: «Grüne Karte angelegt»	Бранд Владимир Абрамович, ст. л-т, артиллерист	10.1.08, Винницкая обл.	25.6.41, Каунас	23.7.30.7 и 6.8.41 – прививки против паратифа: Оф. XIII D (62), № 526	29.9.41 – SS-Ein- satzkommando d. Gestapo Nürnberg
					Бриск Абрам, инт. (аптекарь)	6.1.1891, Головань- евск Одес- ской обл.	22.9.41, Мехедовка	4.12.41 – шт. 334	2.3.42 – СД
					Бужальский Марк (Ахмедов Салт Али- Мамедович)	20.3.17, Кировобад	22.5.42, Харьков	14.6.42 – дулаг 183	1.8.[42] – «1с»; 3.9.42 – СД
					Бумал Петр Аронович, фельдшер	5.6.17, Одесса	12.9.41, Лубны	9.10.41 – шт. 346	2.3.42 – СД
					Будников Борис Иванович	22.7.22, Звинигро- дка	17.9.41, Лукомье	9.10.41 – шт. 346	21.2.42 – умер
					Будинов Александр Исавич, ст. л-т	5.3.13, Волоков	29.6.42, Паничеськ	Fort IX Q	

Булатский Феофан Андриевич, т.-инт.	23.4.13, Днепро- петровск	8.8.41, Полесько	29.9.41 – шт. 360	18.6.42 – СД						
Бумштейн Абрам Давидович	26.10.17, Городня	23.9.41, Полтава	9.10.41 – шт. 346	3.3.42 – умер						
Бурковский Михаил Георгиевич, воен техник	31.5.10, Чернобыль	15.8.41	Шт. 325, № 04306	29.4.42 – СД						
Василевич Лев Семенович, л-т	15.12.09, Одесса	26.6.41, Брест-Ли- товск, ранен	До 2.6.42 – шт. 359; после – оф.л. XIII D (62), № 7023; 5.8.42 – раб. команда 10024	3.9.42 – гестапо						
Вейсблат Арон Нухимович, врач	19.12.1890, Малин	21.9.41, Лубны	9.10.41 – шт. 346	21.2.42 – умер (сыпной тиф)						
Вейсман Григорий Михайлович	19.2.17, Днепро- петровск	9.7.42, Воложновка	30.8.42 – шт. 301	3.9.42 – гестапо						
Вейсман Иосиф Манасзарович, т.-инт.	5.6.18	8.7.41, Рига	20.8.42 – оф.л. XIII D, № 4449	10.10.41 – гестапо						
Винаров Владимир Афанасьевич, т.-инт.	11.9.05, Екатерино- поль	10.7.42, Пешаки	10.8.42 – шт. 346	3.9.42 – СД						
Воскобойник Самуил Рувинович, т.-инт.	17.9.1898, Умань	27.5.42, Лозовенки	17.6.42 – шт. 345	3.9.42 – СД						
Всперницкий (Фсперницкий?) Исаа, врач, назвал себя католиком (Gr.-kath.)	29.6.1898, Рязань	Н.д.	Шт. III B, № 154265; 16.11.43 отправлен в шт. 336	3.2.44 – к/л Закс- сенхаузен						
Гайдуков Иосиф Михайлович, ст. л-т	1903, Сухум	16.10.41, Оршица	17.4.42 – дулаг 160, Хорол	18.6.42 передан СД						
Гайсинский Александр Павлович, инт. 3 р.	14.4.05, Харьков	5.8.41, Терновка	29.9.41 – из лагеря 360 (Ровно)	18.6.42 передан СД						
Гайсинский Мирон Яковлевич, мл. л-т 146-й с.д.	30.11.14, Харьков	9.10.41, д.Остер	4.10.41 – из шт. Житомир	2.3.42 передан СД						
Гасман Натан Израилевич, т.-инт. 2 р., кап. 6-й 21-й армии	9.6.1900, Могилев	23.9.41, Оршица	15.10.41 – дулаг 111, Кременчуг	2.3.42 передан СД						
Гейсман Ошер, военврач 2 р. (2 разные карточки?)	15.9.1897, Московская обл.	21.9.41, Быткова- щина	11.12.41 – шт. 334	2.3.42 передан СД						
Гельбин Анатолий, ст. л-т 35-го автобр. полка	14.12.09, Остер Черниг. обл.	21.9.41, Миргород	4.12.41 – шт. 334, Б. Церковь	27.2.42 – умер (сыпной тиф)						
Гельфандт Яков Маркович, ст. л-т	25.??06, Киев	10.9.41, Белогоска	1.11.41 – шт. 358, Бердичев	2.3.42 передан СД						
Гермонов Наум Моисеевич, фельдшер	14.11.10, Переслав	24.9.41, Сазоновка	9.10.41 – шт. 346, Кременчуг	2.3.42 передан СД						
Геммельфарб Абрам Федорович, солдат	1921, Киев			22 – 26.6.41; погиб и похоронен 26.6.41 полевой жандармерией как подбитый на поле боя						
Голод Борис Иосифович, ст. л-т	1905, Бердяиск	6.7.42, Ст. Оскол	28.9.41 – шт. Новоград-Волынский	8.9.42 передан СД						
Голубов Семен Исаакович, военврач 3 р.	12.4.1898, Климовичи	7.8.41, Подвысокое		3.9.42 передан СД						
Голубович Николай, военврач 3 р.	8.1.07, Н. Новгород	22.9.42, Корюньск близ Лубны	11.12.41 – шт. 334, Б. Церковь	18.6.42 передан СД						
Гольдфарб Семен Анатолевич, воен техник 2 р.	5.6.06	27.5.42, Лозовенка	14.6.42 – шт. 183, Умань	18.6.42 передан СД						
Гольдштейн Даниил, зубной врач	7.9.10, Днепро- петровск	21.9.41, Оршица	4.12.41 – шт. 334, Б. Церковь	2.3.42, передан СД						
Гордин Илья Яковлевич, мл. л-т	9.11.13, Петербург	8.8.41, Умань	28.9.41 – Новоград- Волынский	21.1.42 – умер от истощения		Грин Михаил Ипполитович, врач	23.12.1892, Умань	18.10.41	Шт. 336; Ковно; 21.10.42 – шт. III B, № 151314	12.1.43 – через гестапо Франк- фурт-на-Одере – к/л Заксенхаузен (письмо гестапо от 7.1.43)
Гордон Максим Моисеевич, военврач	25.10.1897, Видно	1.7.42, Сильва (?)	Шт. 316; 10.2.43 – в шт. I B; № 1157	18.6.42 передан СД						
Гореликов Семен Давидович	8.3.1900, Рогачев (Гомельская обл.)	23.9.41, Денисовка	15.10.41 – из дулага 111, Кременчуг			Гриштов Михаил Петрович, кап.	15.5.02, Киев	7.8.41, Терновка	29.9.41 – шт. 360, Ровно	2.3.42 передан СД
Городецкий Эммануил Ильич, т.-инт. 2р.	31.10.1901, Одесса	20.9.41, Городище	9.10.41 – шт. 346, Кременчуг	2.3.42, передан СД		Грищенко Александр Яковлевич, ст. л-т	1.2.03, Сумы	10.8.41, Подвысокое	29.9.41 – шт. 360, Ровно	2.3.42 передан СД
Гофман Лев Анисимович, ст. л-т, артиллерист		23.6.42, Белое	Шт. III C, № 19938; 27.2.43 – ак Трогген- лоффе; 1.7. – 24.8.43 – лазарет Позен	10.9.43 передан в к/л Заксен- хаузен		Грубский Леонид Васильевич	26.9.22, Киев	4.8.41, Потоки	29.9.41 – шт. 360, Ровно	2.3.42 передан СД
Грановский Григорий Владимирович, л-т	2.4.17, Одесса	8.8.41, Умань	24.9.41 – шт. 360, Ровно	18.6.42 передан СД		Грузер Борис Иосифович, л-т	15.11.03, Лысенко Киевской	21.9.41	9.10.41 – шт. 346	2.3.42 передан СД
Грановский Евгений Петрович, военврач 3р.	10.10.14, Харьков	26.5.42, Зеловешка	20.6.42 – шт. 334, Б. Церковь	3.9.42 передан СД		Грузинский Даниил Львович, т.-инт. 1 р.	14.9.02, Каменин- Полоцкий	7.8.41, Умань	29.9.41 – шт. 360, Ровно	2.3.42 передан СД
Гресс Михаил Ильич, кап.	25.12.02, Москва	10.10.41, Холм	Шт. 324, № 4423	22.7.42 передан СД		Губинский Евгений Семенович, л-т	1902, Днепро- петровск	15.7.42, Талова	23.8.42 – из шт. 339, Дарница	3.9.42 передан СД
Гринев Иосиф	15.5.1889, Иркутск	27.9.41, ирб.	11.11.41 – шт. 360 Ровно	18.6.42 передан СД		Губинский Лев Давидович, т.-инт. 2 р.	22.1.1896, Киев	25.8.41, Ново[ирб.]	Шт. 333, № 206	«Восполненный 11.6.42 был раз- облачен как еврей и передан гестапо. 11.6.42»
Гринер Лев Григорьевич, врач	21.2.01, Киев	5.8.41, Тушковка	28.9.41 – Новоград- Волынский	2.3.42 передан СД		Гузевенко Василий Петрович, ст. л-т	18.5.1898, Благо- дарное	12.10.41, Вильма	Шт. 336; 18.5. – 19.6.42 – тиф (?); 21.10.42 – шт. III C, № 151431	7.1.43 – письмо гестапо, направ- лен в к/л Заксен- хаузен
Гуменюк Аркадий Петрович, т.-инт. 2 р.						Гуни Степан Ануфриевич, военврач 3 р., пребегущий	8.5.17, Житомир	23.9.41, Лубны	9.10.43, Кременчуг	2.3.42 передан СД
Гуртовой Иван Яковлевич, врач						Дворкин Яков Семенович, т.-инт. 2 р.	16.2.15, Иркутская обл., ст. Мальта	18.7.42, Теплянка	26.9.42 – шт. 344, № 27970; 7.12.42 – из шт. XIII D в шт. II C; 9.2.43 – ак Волгаст VI/443; 21.8.43 – шт. II C; 13.9.43 – сно- ва ак Волгаст VI/443; 29.9.43 – ак Волгаст VI/443 при шт. III C	17.10.42 передан СД; 3.1.43 – осно- вожен из пленя для передачи гес- тапо
Дворов Александр Иванович, л-т						Дворков Александр Иванович, л-т	5.11.19, Волож- новка	12.7.42, Кастория	Шт. 301, Савута; 21.8.42 – в ???	3.9.42 – СД

Дуневский Марк Григорьевич, т.-инг. 2 р.	8.5.07, Днепро- петровск	27.9.41, Лубны	25.11.41 – из Винницы	3.9.42 – СД	
Духовный Абрам Моисеевич, т.-инг. 1 р.	27.12.1898, Кривое Озеро	24.9.41, Оршица	15.10.41 – шт. 336, Кременчуг	19.2.42 – умер от истощения и дизентерии	
Егунов Иван Федорович, военврач 3 р.	13.5.13, Луковец	29.7.41, ст. Столо- лище	Шт. 352 № 151646; 30.11.41 – А-В, шт. 350; 24.12.41 – III В	29.1.43 – письмо гестапо и к/л Заксенхаузен	
Зайцев Александр, л-т	5.5.18, Одесса	4.10.41, Кумениское	1.12.41 – шт. 338, Кр. Рог	18.6.42 – СД	
Заводский Дмитрий Матвеевич, т.-инг. 1 р.	2.9.41, Киев	24.9.41, Оршица	9.10.41 – шт. 346, Кременчуг (20.10.41 – гастрит)	3.3.42 – умер	
Зарин Борис Григорьевич, кап.	12.12.12, Москва	25.9.44	30.10.44 – шт. XVII А, № 159818	11.11.44 – выведен из состояния плена	
Заславский Исая Исасевич, т.-инг. 1 р.	25.3.1897, Павлоград	5.10.41, Вязьма	27.10.41 – шт. IV Н (304), № 30330	31.10.41, СД	
Зорькин Михаил Семенович, мл. л-т	26.4.10, Гомель	26.6.41, Лида	Шт. 324 (Лососня- Сад), № 2859	11.4.42 – передан СД; похоронен на городском клад- бище Гродно	
Иваненко Иван	15.3.08, Константи- новка	8.9.41, Скорцы	11.11.41 – шт. 360, Каунас	18.6.42 – СД	
Иванов Леонтий Захарович	1.5.09, Дубровка	26.5.42, Лозовенко	21.6.42 – шт. 355, Проскурров	3.9.42 – СД	
Иаксон Борис, военврач 3 р.	26.10.1896, Либава	14.8.41, Б. Церковь	11.12.41 – шт. Б. Церковь	2.3.42 – СД	
Ирлин Михаил	26.7.04, Москва	21.9.41, Оршица	3.11.41 – шт. Б. Церковь	2.3.42 – СД	
Кабульников Владимир Евсеевич, военврач	20.11.19, Курск	6.7.42, Долгое	28.8.42 – Форт IX, № 25442		
Каганович Николай Михайлович, ст. л-т	2.1910, Полтавская обл.	19.9.41, Ждиновка обл.	9.10.41 – шт. 346, Кременчуг	16.2.42 – умер от сыпного тифа	
Кальчевский Александр, воентехник 3 р.	2.9.11, Ворошило- град	27.9.41, Березань	11.11.41 – шт. 360, Ровно	18.6.42 – СД	
Канторович Казимир Абрамович, солдат-санитар	8.4.16, Минск	11.7.41, Пухличи	Шт. 333, № 114; 6.42 – 6-ца (тиф)	Aus der Kriegsge- fangenschaft ent- lassen u. an SD übergeben dem 1.9.1942 zum Erlass O.K.W. Az 2/1 24.90 Kpf I b p. № 2401/41 gch. v. 17/7.1941	
Каплан Григорий Яковлевич, воентехник 2 р.	27.10.10, Баку	18.9.41, Пирятин	9.10.41 – шт. 346, Кременчуг	1.3.42 – умер от сыпного тифа	
Каплун Абрам Абрамович (Демкин Александр Семенович)	28.9.13, Дорогобуж	17.7.42, Дорогобуж	05.43 – 6-ца (тиф); 10.9.43 – был реко- мендован в санитары; шт. III В, № 154260; 12.11.43 – III В, Фюрстенберг	Б.л.: «Judenver- dächtig III В»	
Капцалевич Юрий Львович, военврач 3 р.	20.10.10, Крым	28.6.42, Волхов	336 [шт. 352, Минск], № 151725; 9.10.42 – шт. 336, Каунас; 21.12.42 – шт. 350, Рига; 10.1.43 – шт. 336, Каунас; офлаг Каль- вария, № 35072	17.2.43 – письмо гестапо; 22.2.43 – в к/л Заксенхау- зен	
Каптухов Петр Кузьмич, мл. л-т	15.4.18, Днепро- петровск	15.10.42, Краснодар	16.12.42 – шт. Ростов	16.3.43 – СД	
Карасев Николай Михайлович, л-т	13.9.21, Ромны	3.9.41, Дорогобуж	Офлаг 57, № 1634 (05.42 – лазарет, тиф)	3.2.44 – высво- божден из плена и переведен в к/л Заксенхаузен	
Клейн Вениамин Давидович, врач	14.12.14, д. Петка Житомир- ской обл.	27.6.41, Ровно	Шт. 319, № 11393	4.7.42 – СД	
Клиник Мейсис Самсонович (Фоксинишвили Шота), ст. л-т	1921, Жмеринка	29.7.42, Сталинград	Шт. II D, № 27354	2.2.43 – СД	
Клугерман Борис, мл. л-т	1902, Белозурия	23.1.43, Уманы	17.2.43 – шт. 348, Днепропетровск	16.3.43 – СД	
Клузанин Яков Владимирович, л-т	15.8.12	26.6.42, Волхов	Форт IX, № 21150		
Коган Михаил Григорьевич, офицер-снабженец (продотдел)	12.2.10, ст. Чаусы		Форт IX, № 17760	3.9.41, СД	
Коген Эммануил Абрамович, инг.	25.4.1898, Хотин	19.9.41, Ромны	28.10.41 – шт. 355, Проскурров	Ум. 17.6.42 от туберкулеза, кладбище Влади- мер. Примеча- ние советской стороны: «По до- несению Влади- мир-Вольнского РВК расстрелян в концлагере Владимир-Во- льский 26.4.42, н/лх. 25259 от 28.4.95»	
Колодизер Соломон Иосифович, т.-инг. 2р.	19.1.18, Б. Церковь	27.5.42, Лозовенки	14.6.42 – из д. 183, Уманы	18.6.42 – СД	
Коробков Виктор Алексеевич, военврач 3р.	6.11.14, ст. Церв., Сталинград- ская обл.	26.06.42, Волхов	9.10.42 – шт. 336, № 151729; 21.12.42(?) – шт. 350 (он же офлаг Кальвария), № 35076; 10.1.43 – шт. III В	«Judenverdächtig» (красным каран- дашом); 22.02.43 – к/л Заксенхаузен	
Коробов Юрий Дмитриевич, врач («Halljude»)	1921, Ленинград	3.8.42, Ростов	17.10.42 – фотографи- рован в Ромно, лат.3; 23.11.42 – из шт. 360 Ровно – через офлаг Кальвария – в шт. III В, № 151530	27.1.43 – письмо гестапо; 29.1.43 переведен в к/л Заксенхаузен	
Корес Порукер Шолойсович, л-т	22.1.17, Рига		Шт. X В, № 10633; офл. 68	Перед 11.5.42 умер, по др. свед. – похоронен в Лю- дашкен 8.6.42	
Куров Лев Зиновьевич, л-т	28.4.12, Одесса	24.7.41	По 8.3.42 – дулаг 202; по 10.4.42 – шт. XVII А, № 123744; к/л Маут- хаузен-Гузен	27.4.42, в 7.45 за- стрелен при по- пытке к бегству	
Левантовский (Левантович) Леонид Давидович, музыкант (капельмейстер)	12.8.1888	30.6.42	Офлаг 62; офлаг XIII D – 20.8.42	20.9.41 передан гестапо	
Левин Яков Данилович	3.6.10, Николаев	3.7.41, Рига	Офлаг 62; офлаг XIII D – 20.8.42	24.11.41 передан гестапо	
Лейнов Илья Наумович	22.4.11, Гомель	28.9.41, Оршица	25.10.41 – шт. 329, Винница	2.3.42 – умер (сыпной тиф)	
Лощманов Леонид Алдович, офицер мотоисхоты	12.12.15, 7.8.41, Багчисарай	29.9.41 – шт. 360, Ровно	20.2.42 – умер (брюшной тиф)		
Ляшенко Анатолий Максимович, л-нт, инженерные войска	1910, Харьков	24.7.42, Новочер- касск	1.9.42 – шт. 358, Житомир; шт. 370 (?)	27.2.43 – умер от флегмоны	
Маур Роман Маркович, т.-инг. 2 р.	23.2.1900, Уманы	11.7.42, Мешково	10.8.42 – шт. 346, Кременчуг	3.9.42 – передан гестапо	
Мерзоян Марк Моисеевич, воентехник 1 р.	15.3.09, Витебск	28.6.41, Сыдовичи близ Минска	Лат.?, № 17496		
Мельченко Семен, ст. л-т, артиллерист	22.6.42, Волхов		Лат. 169 (?), № 19654		
Мендел Александр Юльевич, воентехник 2 р.	2.3.06, Березань	22.9.41, Городище	24.12.41 – дулаг 160, Хорол	18.6.42 – передан гестапо	
Минайленко (Михайленко) Валентин Тимофеевич, л-т (артиллерист)	10.9.22, Одесса	19.9.41, Городище	9.10.41 – Кременчуг	18.6.42 – передан СД	

Мотилевский Нуси Гершович, военврач 3 р.	22.12.1897, Скалевский	8.9.41, Рославль	30.11.42 – перемещен из А-В – в шт. 350, Рига, № 151617; 13.12.42 – в шт. III В на карточке фотографирует также шт. 325	22.2.43 – по письму гестапо Флю [ссенбург] от 17.2.43 – передан в к/л Заксенхаузен
Моисеев (Гроссман) Владимир Антонович, л-т пехоты (см. о нем также: Марьяновский, Соболев, 1997, С. 31)	25.12.13, Бугуруслан	16.8.42, на Дону, ок. Набатово	6.9.42 – из шт. Харьков; 5.2.42 – раб. ком. 3185 в Мюнхене-Перахте, 17.6.43 – раб. ком. Дорнах; № 26286; шт. VII А Моосбург – № 103280; карточка заполнена, предположительно, 17.11.42	20.8.43 – гестапо Мюнхена, в Дахау
Молчанов Григорий Павлович, военврач 3 р.	13.10.14, Днепропетровск	26.5(37).42, Лозовешка	20.6.42 – шт. 334 Б. Церковь	3.9.42 – передан СД
Мурох Давид Соломонович, мл. л-т разведки, вместо фото – красная надпечатка: Jude Officier	28.12.12	9.10.41, Вязьма	Шт. 304 (IV Н), № 30752 (зачеркн.)	6.11.41, «Со- гласно приказу ОКВ, освобожден из плена для пе- редачи айнзатц- командо СД»
Новофастовский Илья Михайлович, фельдшер	17.7.14, д. Пригула	26.6.42, Волжов		
Орлов Алексей Михайлович, военврач 3 р.	5.5.02, Одесса	7.8.41, Калими- ровка	Форг IX; 28.9.41 – Новоград-Вольнский	18.6.42 передан СД
Островский Михаил Исаакович, ст. л-т, штабной бухгалтер	31.12.1888, Звенигор- рода Киев- ской обл.	7.8.41, Подвысокое	2.10.41, шт.355, Проскуров	18.6.42 передан в СД
Палей Яков Львович, л-т	17.12.13, Веселая Тери. Обл.	24.9.41, Березань	24.12.41 – из дл. 160 Хорол	3.9.42 – СД
Пасов Аркадий Яковлевич, ст. л-т	1.10.01, Саратов	2.7.42, Севастополь	27.7.42 – из шт. 349 Умань	3.9.42 – СД
Пидлон Михаил Григорьевич, майор	18.1.1892, Минск	28.9.41, Ягодин	9.11.41 – из шт.357 Шенетова	21.2.42 – умер от сыпного тифа
Ратнер Яков Владимирович, воентехник 2 р.	1904, с. Нашиб- ков	12.7.42 – Ржев	Шт. 342 Молодечно; 23.8.42 – заболел	9.10.42 – умер в лагере (могила № 21 – для офицеров)
Релькин Василий Филимонович, т.-инт. 1 р.	24.11.1897, Владикав- каз	9.10.41, Вязьма	Офл. 57, № 1859 (05.42 – тиф); 8.6.42 – шт. I А, ак 6/216; 8.9.42 – шт. I В ак 7/201 (Найденбург); 23.10.42 – шт. I А, Ке- нигсберг; 25.11.42 –	7.1.43 – писмо гестапо; 12.1.43 – передан в к/л Зак- сенхаузен. Есть помета: «Siche meine Karte, da scheint der Kglf.
			шт. I В; 10.12.42 – III В	sich getarnt hatte» («См. мою карту, т.к. военноплен- ный, похоже, за- маскировался»)
Рихтер Вальтер Эминович, л-т	30.8.19, Киев	26.1.42, Сычевка	Молодечно	19.2.42 – заболел, 5.5.42 – умер
Рудников Петр Борисович, т.-инт. 2 р.	1905, Хлусск	26.5.42, Лозовенко	10.6.42 – из шт.357 Шенетова	3.9.42 – передан СД
Сегал Мисей Гельевич, мл. л-т	16.9.10, Коростень Житомир- ской обл.	22.9.41, Оршина	15.10.41 – из шт. 346 (дулаг 111); 23.10 6.11.41, болел колитом	3.3.42 – умер (причина не указана)
Смитрук Федор Ульянович, ст. л-т	10.4.08, Бердичев	20.6.42, Лизняки	14.7.42 – шт. 339, Дарница; шт. 380, Кельце, № 6276	4.8.42 – освобож- ден из плена как еврей и передан СД Кельце
Смолянский Семен Васильевич, мл. воентехник	25.4.16, Киев	27.5.42, Харьков	27.6.42 – из шт. 349, Умань	3.9.42 – СД
Сокольский Шлема Абрамович, мл. л-т	1913	22.или 23. 6.41, близ Ясс	HinterlegungsNr 236 u. 187	Похоронен в братской моги- ле западнее доро- ги Ясса- Ясси
Соломин Степан Михайлович	21.1.17, Семфероп- оль	13.10.41, Вязьма	Лег. 316, № 21252	Умер 27.11.41, похоронен на кладбище для военнопленных «Новый лагерь»
Тарлов Михаил Петрович, л-т	11.7.14, Киев	20.7.41, Ябокрица	По 18.3.42 – дулаг 202; по 11.04.42 – шт. XVII А, № 124507; лег. для в-пл. Маутхаузен- Гузен	Помета «Эта кар- точка заново заполнена на основании соб- ственных данных в-пленного в ра- бочей команде Маутхаузен-Гу- зен»; 27.4.42 в 8.45 был застре- лен при попытке к бегству. Помета коричн. каранда- шом: «R. St. A 63249/42»
Узаров Василий Петрович, т.-инт. 2 р.	23.6.09, Скарловка	27.5.42, Лозовенко	14.6.42 – дл. 183, Умань	3.9.42 – СД
Файтергольд Анжел Яковлевич, военврач 2 р.	28.12.1887, Бар	21.9.41, Батыкшин- на	9.10.41 – из шт. 346, Кременчуг	2.3.42 – СД
Федоров Михаил Александрович, т.-инт. 2 р.	18.8.11, Киев	21.9.41, Городище	1.11.41 – из шт. 358, Бердичев	2.3.42 – СД

Фельдман Виктор Маркович, воентехник	11.9.01, Б. Церковь	4.10.41, Ельня	Штг. XI D (321), №17094; Конеч 10.42 – паратиф	«Gem m Lat v. 27.3.42 Stal. 321 Oerthe Fülling- boxtel I.Vg. R. St. A. № 46791/42»
Фельчук Петр Давидович, военфельдшер	15.3.1891, Проскуров	22.9.41, Денисовка	15.10.41 – дл. 111, Кременчуг	2.3.42 – СД
Ферштут Михаил Соломонович, кап.	27.11.05, Сормово	23.9.41, Оршина	15.10.41 – шт. 346 (дл. 111), Кременчуг	Умер 24.2.42 (истощение, дизинтерия)
Филатов Константин Матвеевич, врач	30.11.01, Украина	21.9.42	29.9.42 – лазарет 2; 24.12.42 – шт. 350 Рига, № 151613	27.1.43 – письмо гестапо; 29.1.43 – направлен в к/л Заксенхаузен
Финнашвили Нозли Виссарионович, капитан	6.2.04, Тбилиси	22.9.41, Маяк	9.10.41, шт. 346 (дл. 111) Кременчуг	2.3.42 – СД
Финшольштейн Борис Филиппович, т.и. 1 р.	24.11.1897, Владикав- каз	9.10.41, Вязьма	8.6.42 – шт. I (?) А; 12/9/42 – ак 7/201А Найденбург; 23.10.42 – шт. I А Кенигсберг 25.11.42 – шт. I Офл. 57, № 1879 (5.42 – тиф); шт. III В – № 131514	05.42 – тиф
Флекин Захар, л-т	19.8.22, Ростов	25.9.41, Яготин	11.11.41 – шт. 360 Ровно	3.9.42, СД
Фокс Антон Александрович, л-т	25.5.17, Винница	23.9.41, Богашево	15.10.41 – дулаг 111 Кременчуг	2.3.42, СД
Фрисман Файла Моисеевич, л-т	29.10.14, Костюко- вич	21.9.41, Кандыбов- ка	9.10.41, шт. 346 Кременчуг	2.3.42, СД
Фролов Григорий Иванович, мл. л-т	14.6.18, Н. Новго- род	14.8.41, Подмисо- кое	2.10.41, шт. 355 Проскуров	21.2.42, СД
Фукс Михаил Николаевич, л-т	19.9.03, Черкассы	12.10.41, Вязьма	27.10.41, шт. 304 (IV Н), Nr. 30879	31.10.41, СД; «Am 31.10.41 gemäß OKW Befehl zwecks Ausliefe- rung an die Ein- satzkommando der SD aus der Kriegs- gefangenschaft entlassen»
Фундаминский Давид Ефимович, кап. (врач)	15.12.1896, Гомель	24.7.41, Чаусы	шт. 333, № 120 11.6. 1.7.42, нахо- дился в больнице (тиф)	1.9.42, СД Aus der Kriegsgefangensch aft entlassen u. dem SD übergeben dem 1.9.1942 zum Erlaß G.K.W. Az.

				2/f 24.90 Kgf 1b g. № 2401/41 geh. v. 17/7.1941
Фшеринский Исаак	29.6.1898, Рязанская обл.		Шт. 336, № 707 (?); 16.11.43 – шт. III В, № 154265	3.2.44 – к/л Заксенхаузен
Харлин Клара Самуиловна, т.-и.2р.	10.8.03, Н. Прага	24.9.41, Оршица	16.1.42 – шт. Ковель	2.3.42 – СД
Хенкин Яков Аркадьевич, т.-и.3р.	12.5.1899, Луганск	23.9.41, Оршица	15.10.41 – дулаг 111, Кременчуг	2.3.42 – СД
Хмелько Антон Ефимович, л-т	13.10.13, Славяра Киевской обл.	7.8.41, Умань	29.9.41 – шт. 360, Ровно	2.3.42 – СД
Шавмкович Борис Николаевич, политрук	29.11.14, Вороши- ловск	5.8.42, Ржев	Шт. 342 (исправлено на 381), № 24845; шт. 319; 16.4.43 – из шт. 381 в шт. 351; 24.4 – 1.5.43 – лазарет	
Шубин Павел Семенович, л-т	25.5.11, Днепро- петровск	8.7.42, Ст. Оскол	31.8.42 – шт. Славути	3.9.42 передан СД
Цахир Яков Дмитриевич, л-т	1.12.14, Н. Прилука	23.9.41, Б. Селецкое	9.10.41 – шт. 346 Кременчуг	21.1.42 – умер от истощения
Эберков Борис Яковлевич, мл. л-т	27.12.41, Могилев	15.9.41, Пирятин	1.6.42 – из шт. 358 Житомир	18.6.42 передан СД
Эйделман Александр Абрамович, военврач 3 р.	24.1.1891, Винница	7.8.41, Умань	28.9.42, Новогрудок- Волынский	2.3.42 передан СД
Элентан Изот Язонович, л-т, красная надбелетка «Sw.R»	20.4.14 Могилев- ская обл.	11.10.41, Вязьма	XIII В, № 13789	16.11.41 – СД
Эпштейн Леонид Яковлевич, т.-инт.2 р.	1.6.14, Черкассы	23.9.41, Оршица	14.10.41 – дулаг 111 Кременчуг	2.3.42 передан СД
Эпштейн Михаил Аронович, л-т	1.1.16, Сауново	28.12.42, Ст. Русса	19.1.43 – шт. I В (Лют- цен?), № 31631; 25.5.43 – шт. III В; 25.6.43 – шт. VIII А (АК 60, Визлу-Бунц- лау, фирма Бухаг); 12.7 – 15.10.43 – ак 564, Ротенцеллау	11.11.43 направ- лен в к/л Гросс- Розен
Эркес Яков Федорович, рядовой	10.9.18, х. Розохов- ского	19.7.41, Свинцовая	Шт. X D (310), Витцен- дорф, № 28561 (8.41 – лазарет)	13.10.41 – умер (похоронен на кладбище шталага)
Юлашкин Лев Самуилович, военврач 3 р.	3.2.01, Керчь	21.9.41, Михайлов- ка	9.10.41 – из шт. 346, Кременчуг	2.3.42 передан СД
Яковлев Василий Михайлович, т.-инт. 2 р.	10.1.18, Локня	25.9.41, Денисовка	15.10.41 – из дулага 111, Кременчуг	2.3.42 передан СД
Янсон Петр Георгиевич, л-т	11.1.10, Петербург	21.11.41, Халтурино	Шт. форг IX, № 18574	
Янин Моисей Борисович, воентехник	1.1.04, Минск	8.10.41	По 21.10.41 – шт 352; по 21.10.41 – шт. IV Н (304)	17.11.41 – СД
Яровой Павел Михайлович, т.-инт. 2 р.	31.1.11, Одесса	27.9.41, Усовка	12.11 (?).41 – шт. 324; 21.11.41 – шт. 341, № 23507	27.11.41 – умер
Ярошевский (Гавриленко) Григорий Моисеевич, л-т	10.4.1920	27.8.41	Шт. 325, № 3160	29.4.41 передан СД
Яшин Моисей Борисович, т.-инт. 2 р.	1.1.04, Минск	8.10.41, Вязьма	27.10.41 – шт. 304 (IV Н) Минск, № 29795; 17.11.41	17.11.41 «соглас- но приказу ОКВ, освобожден из плена для переда- чи айнзатцком- мандо СД»

Сокращения, принятые в Приложении 2:

ак — рабочая команда (от Arbeitskommando);
в. — военный;
д. н.у. — дислокация не установлена;
инт. — интендант; кап. — капитан;
к/л — концлагерь;
л-т — лейтенант;
мл. — младший;
р. — ранг;
ст. — старший;
т. — инт. — техник-интендант;
шт. — шталаг

Примечания:

Дулаги (№): 89 — д.н.у.; 90 — д.н.у.; 111 — Кременчуг (по др. сведениям — Синельниково, Павлоград или Щепетовка); 130 — Бобруйск; 160 — Хорол; 169 — д.н.у.; 183 — Умань; 202 — Днепропетровск (с 6.1942);? — Молодечно.

Шталаги (№№): 301 — Славута; 316 — Седльце; 319 — Хелм; 324 — Лососня-Сад (Гродно?); 325 — Замостье; 333 — Остров (3.1942 по 9.1943; специализировался на фильтрации в РОА); 334 — Б. Церковь; 336 — Каунас; 338 — Кривой Рог; 339 — Киев-Дарница; 342 — Молодечно; 345 — Смела; 346 (дулаг 111-?) — Кременчуг (Ясиноватая?); 348 — Днепропетровск; 349 — Умань; 350 — Рига; 352 — Минск; 355 — Проскуров; 357 — Щепетовка; 358 — Житомир (в др. месте — Бердичев); 360 — Ровно; 363 — Харьков;??? — Новоград-Волынский; Форт IX — Каунас (возможно, Форт VI?).

Лагеря в зоне ответственности ОКВ (№): 359 — Люблин (или Сандомир); 380 — Кельце. I A — Штаблак/Кенигсберг; IB — Алленштейн; IIC — Грайфсвальд; IIIB — Фюрстенберг-на-Одере; IIIC — Альт Древиц; IV H (304) — Цайтхайн; VIIA — Моосбург; X B — Зандбостель; X D (310) — Витцендорф; XID — Оербке — Фалингбостель; XIID — Трир-Петрисбург; XIIIA — Зульцбах-Розенберг; IIIB — Вайдена; XVIIA — Кайзерштайнбрух.

Офлаг: Кальвария; 57 — Белосток; оф. XIID (62) — Нюрнберг-Лангвассер; 68 — Зюдауэн.

Приложение 3

Перечень эго-документов, не вошедших в настоящее издание

Аколлер Зяма Менделевич. «...Вырезали у него на спине звезду...» (Шнеер II: 264)

Акура Федор (Хаим) Яковлевич. Вместо фронта — в сталинский лагерь (Шнеер II: 287)

Анваер Софья Иосифовна. Кровоточит моя память... Из записок студентки-медички / Предисловие П. Поляна; послесловие Л. Кокина. М., 2005. 208 с. (Серия «Человек на обочине войны»)

Безумский Израиль. Судьба неизвестна (Шнеер II: 171)

Бердичевская Раиса Юльевна. «Мне порой очень жаль, что я осталась жива...» (Шнеер II: 257-258)

Береговский Борис Наумович. В американском бараке (Шнеер II: 183)

Берлянт Семен Борисович. «Меня били каждый день...» (Шнеер II: 314)

Богданов Гирш Янкелевич. «...Нет такого родственника...» (Шнеер II: 172)

Богорад Яков Залманович. Его именем названа улица (Шнеер II: С. 286)

Бродский Исаак Моисеевич. «...Хотели повесить...» (Шнеер II: 317)

Вейгман Александр Борисович. Дневник 1945 года и другие материалы (Шнеер II: 292-298)

Вейцблит Иосиф Зельманович. Воскресший из мертвых (Шнеер II: 246)

Виндз Файвель (Володя) Аронович. «Его расстреляли из автомата...» (Шнеер II: 233) *Гелер Петр Иванович.* «Гелер-Гейлер — Чорномизий» (Шнеер II: 272)

Герценштейн Давид Исаевич. «О, какими были б мы счастливыми, если б нас убили на войне...» (Шнеер II: 207-214)

Гетман Иосиф Яковлевич. Дважды менял национальность (Шнеер II: 176-177)

Гитерман Иосиф Меерович и Гитерман (Гликштейн-Марченко) Хвиля Абрамовна. В плену были оба — муж и жена (Шнеер II: 266-267)

Городинский Нисим. «Тебя одного мы без защиты не оставим» (Шнеер II: 170)

Гриншпун С.Г. Письмо И.Г. Эренбургу от 25 марта 1944 года // Уничтожение 1991: 287-290) (перепеч.: Советские евреи 1993:127-132)

Грубер Лев. «Мы расстались за порогом школы...» (Шнеер II: 273)

Зенгин Захарий Исакович. «Участником войны не признавали...» (Шнеер II: 238-239)

Зусманович Саул Исакович. «Почему ты, жидовская морда, остался жив?» (Шнеер II: 227)

Кельманович (Кириченко) Николай Давидович. «В плену был четыре дня и бежал...» (Шнеер II: 326-327)

Комиссаренко Давид. Помогали американцы (Шнеер II: 187)

Коэн Яков. «Пуля скажет...» (Шнеер II: 274)

Ланин Лазарь Иосифович. Плен (Шнеер II: 173)

Ланцман-Коваленко Григорий Семенович (1921-1990). «...Называя его братом...» (Шнеер II: 283-285)

Лернер Михаил (Мойше) Хаимович. «Отец кричал на весь зал...» (Шнеер II: 230)

Лившиц Михаил Хаимович. Считался пропавшим без вести (Шнеер II: 32)

Лихтенштейн Абрам Соломонович. «Признать членом ВКП(б)» (Шнеер II: 324)

Мамлин Владимир Семенович. «... Сам помогал им искать себя» (Шнеер II: 288-289)

Маргулис Семен (Шмуэль). «...Все годы несу эту тяжелую ношу» (Шнеер II: 231-232)

МейлахЯков. Спасла любовь... (Шнеер II: 191)

Менис Борис Ефимович. Спасен и дошел до Берлина (Шнеер II: 188-189)

Морозовский Емельян Самсонович. «И назло им остался в живых...» (Шнеер II: 240)

Островский Леонид Кивович и Григорьев Владимир Юрьевич. «Пепел нас заставляли рассеивать...» (Шнеер II: 315-316)

Пакач Хаим. Еврей-поляк в немецком мундире (Шнеер II: С. 179)

Пекарский Иосиф. В немецком госпитале (Шнеер II: 182)

Пинхусевич Борис Самойлович. «Настоящую фамилию знало лишь командование...» (Шнеер II: 322-323)

Письменный Яков Борисович. «Еще находясь в плену, я связался с партизанами» (Шнеер II: 324)

Погребецкий Абрам. «Я кричал, что азербайджанец...» (Шнеер II: 264-265)

Полевой Исаак Яковлевич. «Если найдем, то всех повесим...» (Шнеер II: 275-276)

Полищук Яков. Из гестапо — в Дахау (Шнеер II: 243-245)

Поляк Михаил Яковлевич. Последний шаг (Шнеер II: С. 233)

Раунштейн Юрий Борисович. «Свидетельств о государственных преступлениях... не имеется» (Шнеер II: 271)

Ривкинд Исаак. И сестра, и жена (Шнеер II: С. 191-192)

Розенфельд Семен Мойшевич. «...Живым оттуда не должен выйти» (Шнеер II: 181)

Рубинович Рувим Семенович. «...Если бы я был подонком, то тебя в живых не было бы» (Шнеер II: 236-237)

Самитер Яков Рахмилевич. «...Желание вспоминать. И взять реванш за годы тягостного молчания» (Шнеер II: 247-253)

Сандовский Осип (Иосиф). «...В концлагере я был не экскурсантом...» (Шнеер II: 260)

Талис Яков Семенович (Шимонович). «...Проявлял мужество и отвагу...» (Шнеер II: 289-290)

Тросницкий Анатолий Игнатьевич (Подольский Исай Яковлевич). «За укрывательство жидов и партизан...» (Шнеер II: 276)

Фарб Айзик Яковлевич. «...Не совсем полная история...» (Шнеер II: 262-263)

Фингарет Исаак. «Отец был больше похож на русского...» (Шнеер II: 232)

Фуке Борис Григорьевич. «С мусульманским приветом...» (Шнеер II: 224-227)

Фукс Александр Семенович. Дети бросали в них камни, кричали: «Изменники родины!»... (Шнеер II: 237)

Хизгилов-Абдулалиев Мигдар (Мугдаши) Яхьевич. «...Дело о нем производством прекратить за отсутствием состава преступления» (Шнеер II: 269-270)

Шерешевский Наум Львович. «...И отправили прямиком на Памир» (Шнеер II: 268)

Шинский Мейер Абрамович. «С немецкого плена возвращаются, но только не евреи...» (Шнеер II: 259)

Шморгун Борис (Берл). «Я ни одного дня не забывал, что я еврей...» (Шнеер II: 216-219)

Шнитман Самуил Лейбович. «...Лишь бы узнать об участии моего дорогого папочки» (Шнеер II: 234)

Штерн Людмила. «Им, извергам, не удалось меня уничтожить» (Шнеер II: 291)

Литература

Неопубликованные материалы:

Бружеставицкий И.М. Воспоминания бывшего директора (1967–1983). Машинопись (Архив И.М. Бружеставицкого, Тверь).

Малофеев Александр Сергеевич. Воспоминания. 1982. Машинопись (Архив П. Поляна).

Меньшагин Б.Г. Воспоминания о пережитом. 1941–1943 гг. Машинопись (Исторический архив Центра восточноевропейских исследований университета Бремена, фонд Н.Г. Левитской).

Публикации:

Альтман И. Жертвы ненависти. Холокост в СССР, 1941–1945 гг. М.: Фонд «Ковчег», 2002. 543 с. (Серия «Анатомия Холокоста»),

Анваер С. Кровоточит моя память... Из записок студентки-медики. М.: РОССПЭН, 2005. 208 с. (Серия «Человек на обочине войны»),

Андреев А. Все круги ада. Советские военнопленные во Второй мировой войне // Независимая газета. 1999. 7 мая.

Андреев П. Война глазами солдата. Шарья, 2002. 92 с.

Арад И. Холокост. Катастрофа европейского еврейства (1933–1945). Иерусалим:

Яд Вашем, 1990. 91 с.

Астахов П. Зигзаги судьбы. Записки советского военнопленного и советского зэка / Послесл. П. Поляна. М.: РОССПЭН, 2005.464 с. (Сер.: «Человек на обочине войны»)

Барвинок Г., Евселевский Л., Пустовойт П. Слышишь, Днепр! Документальный очерк. Харьков, 1979. (Перепеч.: Уничтожение..., 1991. С. 299).

Бауман Г.Г. «Без вести пропавший» / Публ. Е.П. Красильникова // Отв. ред. Н.П. Комолова. Советские люди в Европейском сопротивлении. (Воспоминания и документы). Часть I. М., 1991. С. 231-256.

Бедняев Г. Операция «Осколок». Нижний Новгород, 1999.88 с.

Белорусские оstarбайтеры. Угон населения Белоруси на принудительные работы в Германию (1941-1944): Документы и материалы: В 2 кн. Кн. 1 (1941-1942) / Сост. Г.Д. Кнатько, В.И. Адамушко и др. Минск: Нарб, 1996.304 с.

Бондарец В. Военнопленные. М., 1960. (Перепеч.: Уничтожение..., 1991. С. 297-298).

Букалов Д. Остарбайтеры Донбасса // Корни травы. Сб. статей молодых историков. М.: Мемориал, 1996. С. 155-159.

В плену у Гитлера и Сталина. Книга памяти Макса Григорьевича Минца / Ред. Я. Айзенштадт. Иерусалим, 1999.216 с.

Воронин С. Двойник Виктора Шаликова // Советская торговля. 12.12.1970. (Перепеч.: Уничтожение..., 1991. С. 290-291).

Головин А.П. Пленный №... // Север (Петрозаводск). 2003. № 11-12. С. 130-141. *Голубков С.* В фашистском концлагере. Воспоминания бывшего военнопленного. Смоленск, 1958.

Голубков С. В фашистском лагере смерти. Воспоминания бывшего военнопленного. Смоленск, 1963. (Перепеч.: Уничтожение..., 1991. С. 295-297).

Гриншпун С.Г. Письмо И.Г. Эренбургу от 25 марта 1944 года // Уничтожение..., 1991. С. 287-290. (Перепеч.: Советские евреи пишут Илье Эренбургу. 1943-1966. С. 127-132). Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: Стат. исслед. / Под общ. ред. Г.Ф. Кривошеева. М.: Воениздат, 1993.416 с.

Датнер Ш. Преступления немецко-фашистского вермахта в отношении военнопленных во Второй мировой войне. / Пер. с польск. Я.О. Немчинского. Вступит, статья С.К. Тимошенко. Под ред. Д.С. Карева. М.: Изд-во ин. лит-ры, 1963.

Дугас И.А., Черон Ф.Я. Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным // Исследования новейшей русской истории. Париж: YMCA-Press, 1994. Т. п. 433 с.

Дьяков Н.Ф. Под чужим небом // Север. 1991. № 3,4,5.

Иванцов Дмитрий. Во власти безумия. Воспоминания. Новозыбков, 1980.158 с.

Ильенков С. А., Мухин В.В., Полян П.М. Трофейные немецкие картотеки советских военнопленных как исторический источник // Новая и новейшая история. 2000. № 2. с. 147-155.

Ильенков С.А. Память о миллионах павших защитников Отечества нельзя предавать забвению // Военно-исторический архив. 2001. № 7. С. 73-80.

Каган Давид. Расскажи живым. Документальная повесть. Ашхабад, 1986. (Перепеч.: Уничтожение..., 1991. С. 292-295).

Клокова Г.В. История Холокоста на территории СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Пособие для учителя. М.: Научно-просветительский центр «Холокост», 1995. 161 с.

Копылов Н.Р. Мои скитания // Поживши в Гулаге: Сборник воспоминаний. / Сост. А.И. Солженицын. М.: Русский путь, 2001. С. 221-245.

Ломоносов Д.Б. Исповедь узника гитлеровских лагерей // Военно-исторический архив. 2002. № ю. С. 67-91; № II. С. 65-101.

Лужеренко В.К. Плен: трагедия миллионов // Великая Отечественная война. 1941-1945: В 4 т. Т. 4. М., 1989. С. 168-204.

Марьяновский М., Соболев И. Павшие... (Вместо предисловия) // Книга памяти воинов-евреев в боях с нацизмом. 1941-1945. М., 1997. Том IV. С. 9-41.

Милявский М. Плен // Нам дороги эти позабыть нельзя... Мы — из Иерусалима. Кн. III. Иерусалим, 1998. С. 130-135.

Михеев В.А. Дневники фронтовика — текст на границах трех жанров // Человек. 2005. № I. С. 135-148; № 2. С. 152-165.

Мозес Лев. Правда о штрафбате. [Интервью с бывшим советским военнопленным Львом Бенционовичем Бродским] // Еврейское слово (Москва). 2005. № 24. 22-28 июня. С. 6. (Со ссылкой на: Russ Bazar).

Наумов В.П. (Научн. ред.). 1941 год: В 2 кн. М.: Демократия, 1998. (Кн. 1. 832 с. Кн. 2. 750 с.)

Нюрнбергский процесс: Сб. материалов: В 8 т. Т. 4. М., 1990.

Первые дни войны в документах / Публ. В.Р. Журавлева, А.С. Ануфриева и Н.М. Емельянова // ВИЖ. 1989. № 5. С. 42-58.

Полян П.М. Скрывшие свое имя. Советские евреи, спасшиеся на территории Третьего Рейха // Русская мысль (Париж). 1999. 13-19 мая. С. 18.

Полян П.М. Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные и их репатриация. М.: Ваш выбор ЦИРЗ, 1996. 442 с.

Полян П.М. Жертвы двух диктатур. Жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. М.: РОССПЭН, 2002. 898 с.

Полян П.М. Советские военнопленные-евреи — первые жертвы Холокоста // Холокост. Научно-информационный бюллетень. 2003. Декабрь. № 5 (23). С. 8-9.

Полян П.М. Советские военнопленные-евреи — первые жертвы Холокоста на территории СССР? // Архив еврейской истории. Том 2. М.: РОССПЭН, 2005. С. 243–310.

Понсов В.А. Обзор личного архива участника Великой Отечественной войны Ю.А. Силенчука // Археографический ежегодник за 1990 год. М.: Наука, 1992. С. 245–247.

Резниченко А. В Хорольском лагере // Черная книга..., 1993. С. 392–394.

Свердлов Ф.Д. (сост.). Документы обвиняют. Холокост: свидетельства Красной Армии. М., 1996.

Свердлов Ф.Д. Энциклопедия еврейского героизма. М.: Дограф, 2002. 504 с.

Советские военнопленные: бухгалтерия по-фашистски / Публ. Б.И. Каптелова и А.А. Важеркина // ВИЖ. 1991. № 9. С. 30–44.

Советские евреи пишут Илье Эренбургу. 1943–1966 / Ред. М. Альтшулер, М. Арад. Иерусалим, 1993.

Соколов Б.Н. В плену. М.: Цитадель, 2000. 264 с.

Старков О.Ю. Они не сдались // ВИЖ. 1989. № 12. С. 81–84.

Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944): Сб. документов и материалов / Под ред. И. Арада. Иерусалим: Яд Вашем, 1991. 424 с.

Шапиро Г.С., Авербух С.Л. Очерки еврейского героизма: В 3 т. Киев; Тель-Авив, 1994–1997. (Т. 1: Евреи — герои Советского Союза. 1994; Т. 2: «Не ради славы — ради жизни на земле». 1994; Т. 3)

Шейнман М. Рассказ бывшего военнопленного М. Шейнмана // Черная книга..., 1980. С. 437–442. (Перепеч.: Уничтожение..., 1991. С. 300–305).

Шнеер Арон. Плен: В 2 т. Иерусалим, 2003. (Т. 1. 380 с. Т. 2. 390 с.)

Шнеер А. Советские военнопленные в Германии, 1941–1945. М.: Мосты культуры, 2005. 621 с.

Шульга И.И. Судьбы красноармейцев — немцев Поволжья в германском плену в 1941–1945 гг. // Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. Материалы международной научной конференции. Анапа, 26–30 сентября 1997 г. Москва, 1998. С. 323–337.

Черная книга о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. / Составлена под ред. В. Гроссмана и И. Эренбурга. Иерусалим, 1980 (2-е издание: Вильнюс: Яд, 1993. 578 с.).

Черненко М. Анкетное проклятье // Московские новости. 1997. 11–18 мая. № 19. С. 22.

Черноглазова Р.А. Фашистские лагеря для советских военнопленных на территории Белоруссии // Трагедия плена. Красногорск, 1996. С. 122–125.

Черноглазова Р.А. (авт. — сост.). Военнопленные. Kriegsgefangene. 1941–1956. Документы и материалы. Минск: издатель Скакун В.В., 2003. 473 с.

Черон Ф.Я. Немецкий плен и советское освобождение. / Всерос. мемуарная библиотека. Сер. Наше недавнее. Париж: YMCA-Press, 1987. Вып. 6. С. 9–158.

Янтовский Ш. Лагерь советских военнопленных-евреев в Финляндии (1942–1944 годы). Сборник документов и воспоминаний. Иерусалим, 1995.

Angrick Andrej. Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion, 1941–1943. Hamburg: Hamburger Edition, 2003. 796 s.

Arad Yizhak. Soviet Jews in the War against Nazi Germany // Yad Vashem Studies. Vol. XXIII. Jerusalem, 1993. P. 125.

Bard Mitchell G. American Victims of the Holocaust // Appendix D in: Bird, Tom. American POWs of World War II. Forgotten Men Tell their stories. Westport, Connecticut — London: Praeger, 1992. P. 129–135 (Reprinted from: The Jewish Veteran. Fall 1990).

Barniczak Mieczyslaw. Grady 1 Komorowo, 1941–1944. Z dziejow Stalagow 324 1 333 Ostrow Mazowiecka. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1978. 375 s.

Berkhoff Karel. The 'Russian' Prisoners of War as Victims of Genocidal Massacre // Holocaust and Genocide Studies. [Spring 2001]. Vol. 15. No. 1. P. 1–32.

Browning C. Nazi Resettlement Policy and the Search for a Solution to the Jewish Question, 1939–1941 // The Nazi Holocaust. Historical Articles on the Destruction of European Jews. Issue 3. The «Final Solution»: the Implementation of Mass Murder. Volume 2 /Ed. By M.R. Marrus. London: Meckler Westport, 1989. P. 760–782.

Christophe Marcelle, Christophe Robert. Le miracle de nos prisons (1940–1945). Paris, 1974.

De Chambrun Rene. 1940–1945: La protection des Prisonniers de guerre // Revue Monde. 1998. No i. P. 136–140.

Dallin Alexander. Deutsche Herrschaft in Russland 1941–1945. Eine Studie über Besatzungspolitik. Düsseldorf: Droste Verlag, 1958. 727 S.

Doery Janine. Juden aus Frankreich im Auftheektslager Bergen-Belsen. Magisterarbeit in Fach Geschichte. Universität Hannover, April 2004. 141 S.

Durand Yves. La Captivite. Histoire des prisonniers de guerre francais 1939–1945. Paris: Federation Nationale des Combattants Prisonnier de Guerre, 1980.

Durand Yves. Prisonniers de Guerre dans les Stalags, les Oflags et les Kommandos, 1939–1945. Paris: Hachette, 1994.

Dutu Alexandra, Dobre Florica, Loghin Leonida. Armata Romăniă în al doilea război mondial (1941–1945). Dictionar encyclopedic. București: Editura enciclopedică, 1999. P. 329–341.

Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Bd. II / Hsg. Israel Gutman. München, Zürich: Piper Verlag, o.D. P. 814–820.

Gatterbauer R.H. Arbeitseinsatz und Behandlung der Kriegsgefangenen in der Ostmark während des Zweiten Weltkrieges (Dissertation). Salzburg, 1975. 399 s.

Gelber Y. Palestinian POWs in German Captivity // Yad Vashem Studies, Vol 14. Jerusalem, 1981. P. 89–137.

Gerlach Christian. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944. Hamburg: Hamburger Edition, 1999. 1232 s.

Gilbert Martin. Atlas of the Holocaust. London, Rainbird Publishing Group, 1982. 256 p.

Grainer Helmuth. Die oberste Wehrmachtsführung 1939–1943. Wiesbaden, 1951.

Hilberg Raul. Die Vernichtungskrieg der europäischen Juden. Bd. 1–3. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag, 1999. 1351 s.

Hirschfeld Gerhard (ed.). The policies of Genocide. Jews and Soviet Prisoners of War in Nazi Germany. London: The German Historical Institute, 1986. 172 p.

Favez Jean-Claude. Das Internationale Rote Kreuz und das Dritte Reich. War der Holocaust aufzuhalten. München, 1989.

Förster Jürgen. Das Unternehmen «Barbarossa» als Eroberungs- und Vernichtungskrieg //

Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 4. Der Angriff auf die Sowjetunion. Stuttgart, 1983. S. 413–450.

Foy David A. For you the war is over. American Prisoners of War in Nazi Germany. New York: Stein and Day Publishers. 1984.

Idzikowska N. «Ich werde nicht mit Faschisten gegen meine Heimat Zusammenarbeiten» // Informationen. Studienkreis: Deutscher Widerstand. 1995. Nr 41. April. S. 10–18.

Jacobsen H.-A. Kommissarenbefehl und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefangener // Anatomie des SS-Staates. Berlin; Freiburg; Olten, 1967. Bd 2. S. 137–231.

Keller R., Otto R. Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945 in deutschen und russischen Institutionen // Militärgeschichtliche Mitteilungen. 1998. Bd. 57. Nr 1. S. 149–180.

Kirschner K. (Hg.). Flugblatt-Propaganda im 2. Weltkrieg. Flugblätter aus Deutschland 1941. Erlangen, 1987. Bd. 10. 331 s.

Klein Peter (Hg.). Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Berlin, 1997.

Krakowski Shmuel. The fate of Jewish Prisoners of War in the September 1939 Campaign // Yad Vashem Studies, Vol 12. Jerusalem, 1977. P. 297-333.

Krakowski Shmuel. The fate of the Jewish POWs of the Soviet and Polish Armies // The Shoah and The War / Ed.: A. Cohen, Y. Cochavi, Y. Gelber. Tel-Aviv: Institute for Research of the Shoah, 1992. P. 217-230. (Studies on the Shoah, Vol. 3).

Schramm Percy Ernst. (Hg.) Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehr-machtsführungsstab). 1940-45. 4 Bd. Frankfurt am Main, 1965.

Levin Don. Unique characteristics of Soviet Jewish Soldiers in the Second World War // The Shoah and The War / Ed.: A. Cohen, Y. Cochavi, Y. Gelber. Tel-Aviv: Institute for Research of the Shoah, 1992. P. 217-230. (Studies on the Shoah, Vol. 3).

Longerich Peter. Der Russlandskrieg als rassistischer Vernichtungskrieg. // Nolte, Hans-Heinrich. Der Mensch gegen den Menschen. Überlegungen und Forschungen zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion, 1941. Hannover: Fackelträger-Verlag, 1992. S. 78-94.

Longerich Peter. Politik der Vernichtung // Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung. München und Zürich, 1998.

Nolte Hans Heinrich. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941. Text und Dokumentation. Hannover: Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, 1991. 196 s.

Ogorreck Ralf. Die Einsatzgruppen und die Genesis der Endlösung. Berlin, 1996.

Otto Reinhardt. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet, 1941/42. München: R. Oldenbourg, 1998. 288 S. (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte).

Otto Reinhardt. Sowjetische Kriegsgefangene. Neue Quellen und Erkenntnisse // Quinkert, Babette (Hrsg). «Wir sind die Herren dieses Landes». Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Hamburg: VSA-Verlag, 2002. S. 124-135.

Pfahmann H. Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in der Deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945 // Beiträge zur Wehrforschung. Darmstadt: Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft GmbH, [1968]. Bd. XVI-XVII. 238 s.

Ploski Stanislaw. German Crimes against Soviet P.O.W.s in Poland // German Crimes in Poland. Warsaw, 1946.

Polian P. First Victims of the Holocaust: Soviet-Jewish Prisoners of War in German Captivity // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Fall 2005. Vol. 6. № 4. P. 763-787.

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945: Województwo łomżyńskie / Informacja wewnętrzna nr. 66/23. Warszawa: Główna komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce; Instytut Pamięci Narodowej, 1985. 249 s.

Sämtliche Mitteilungen der Reichskommissariat Ukraina. 1941. Nr 9.14.01.1942.

Stark Avraham-Oskar, Zeni Lebl, Kraus Vladimir, Montag Mina, Pijade Rafael, Vig Vera. A Memorial of Yugoslavian Jewish Prisoners of War. Half a century after Liberation. 1945–1995. Tel-Aviv, 1995.96 p.

Schickel Alfred. Ein vergessenes Kapitel Zeitgeschichte. Gefangene Polen in deutschen Offizierslagern // Wehrwissenschaftliche Rundschau. 1981. Jg. 30. S. 28–32.

Streim Alfred. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im «Fall Barbarossa». Eine.

Dokumentation. Unter Berücksichtigung der Unterlagen deutschen Strafverfolgungs-behörden und der Materialien der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen. Heidelberg, Karlsruhe: Müller Jüristischer Verlag, 1981.442 s.

Streit Christian. Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945.2. Auflage. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf, 1991.448 S.

Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1944. Ausstellungskatalog / Gesamted.: Ulrike Ureit. Hamburg: Hamburger Edition, 2002. 768 s.

notes

Примечания к «Павел Полян. Советские военнопленные-евреи — первые жертвы Холокоста в СССР.»

1

О геноцидальном характере политики Германии по отношению к советским военнопленным как к контингенту в целом см. прежде всего: Streit 1978; Полян 1996; Gerlach 1999; Полян 2002; Шнеер 2003. Эта политика была дифференцированной в этническом плане (так, украинцы, белорусы, грузины, представители северокавказских народностей, не говоря уже о фольксдойче, были привилегированны в целом ряде отношений — см. ниже), но предпринятая К. Беркофом попытка придать этой политике в целом еще и этноцидальный —

направленный на русских как этнос — характер (Berkoff 2001) не представляется нам убедительной. Единственным этносом в составе красноармейцев, уничтожавшимся поголовно, были евреи (сведениями о селекции и уничтожении военнослужащих-цыган не располагаем).

2

В другом месте тот же Ф.Д. Свердлов называет цифру в 450–470 тыс. евреев в Красной Армии; ее же повторяет и А. Арад (Шнеер II: 28).

3

Ф.Д. Свердлов приводит иную цифру погибших в боях — 150 тыс. чел. В 200 тыс. чел. он оценивает боевые потери евреев-воинов в целом (Свердлов 2002:214).

4

Это соответствует около 40 % общих безвозвратных потерь (против 25 % по Красной Армии в целом).

5

По этому показателю евреи занимают третье место вслед за русскими и украинцами, притом что по численности населения они были накануне войны лишь седьмыми. См. также: Шнеер 11:41–42.

6

См. выше о судьбе евреев-военнослужащих из польских соединений в составе французских войск в 1940 г.

7

Ш. Датнер писал, что причины такого чудесного избавления евреев-офицеров остаются невыясненными (Датнер 1963:20).

8

По существу, эта АК была наскоро собрана из местных полицейских (см.: Longerich 1998: 296–351).

9

В общей сложности они насчитывают примерно 2900 машинописных страниц! Впрочем, заметим, что «Сообщения...» составлялись в Берлине на основании более детальных отчетов с мест, поступавших не всегда регулярно и синхронно, — тем более поэтому синхронизировать их удавалось не всегда.

10

Здесь имеется в виду преобладающая тенденция: уже отмечалось, что отдельные чисто немецкие операции по ликвидации евреев имели место уже и в это время.

11

Определенное отставание было тем более неизбежно и в деятельности зондеркоммандо, действовавших в ближайшем тылу отдельных сухопутных соединений.

12

Далее следуют уже Генерал-Губернаторство и собственно Рейх.

13

Гитлер, как записал в своем дневнике Гальдер, еще раз повторил их 17 марта 1941 г. на встрече с Гальдером, Вагнером и начальником оперативного отдела ОКХ полковником Хойзингером, подчеркивая, что ангажированная Сталиным интеллигенция должна быть уничтожена.

14

Erlassentwurf zur «Regelung des Einsatzes der Sicherheitspolizei und des SD im Verbände des Heeres» (Ogorreck 1996:27–28, со ссылкой на: BA/MA, RW 4/v. 575, Bl. 43–45).

15

Об организации тыла вермахта в СССР см.: Dallin 1958:106–107.

16

Такой отказ получил, в частности, из штаба 11-й армии начальник АГ «D» О. Олендорф, рвавший как можно скорее на Кавказ (см.: Ogorreck 1996:43–44).

17

За исключением случая с Кретингой (см. выше).

18

Несколько менее общее представление об их концепции дает запись офицера штаба 11-й армии, сделанная им после доклада Латманна 16 мая: «Политических комиссаров отправлять в тыл сухопутных войск и передавать СС» (Förster 1983:436, со ссылкой на: BA-MA. Allierte Prozesse 9, NOKW-486).

19

См. материалы к докладу генерала Варлимонта «Обращение с захваченными в плен политическими и военными русскими руководящими работниками» от 12 мая 1941 г.: БАМА, RW 4/V.577; рус. пер.: Советские военнопленные 1991:30–31.

20

Интересно, что даже в таком одиозном по своей откровенности документе, как приказ командующего 6-й армией генерал-фельдмаршала Рейхенау «О поведении войск на Востоке» от 10 декабря 1941 г., фигурирует уже не «большевистско-еврейская», а «азиатско-еврейская» и даже просто «азиатская» опасность и угроза.

21

Предыстория и результаты осознанно противоправной политики вермахта по отношению к советским военнопленным представлены также в трудах К. Штрайта, А. Штрайма и Р. Отто (Streit 1978; Streim 1981; 1982; Otto 1998).

22

Соответствующий приказ по ОКБ был выпущен Кейтелем назавтра, 14 мая 1941 г.

23

Юридическим основанием для расстрелов политко-миссаров служил как раз Указ Кейтеля от 14 мая 1941 г. об освобождении от судебной ответственности в зоне «Барбаросса».

24

В этом принимал посильное участие и вермахт, на листовках которого еще в 1935 г. «господа комиссары и партруководители» назывались не иначе как «грязные жида» (Förster 1983:440). Что уж

говорить о листовках, разбрасывавшихся в 1941 г.: «Бей жида-политрука — морда просит кирпича» — и так далее!

25

Интересно, что в самом начале войны, при вступлении вермахта на бывшие польские территории, задача ликвидации польской интеллигенции была отставлена — в том числе и вследствие использования в собственных целях как польского антикоммунизма, так и польского антисемитизма, о чем прямо писал Гейдрих в своем «Приказе № 2» от 1 июля 1941 г. (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д— 209- Л. 109).

26

Другими задокументированными разновидностями «расширенной интерпретации» этого приказа явилось его распространение на военнопленных-женщин и на раненых (см., в частности, в показаниях рядового вермахта М. Шарте: Лужеренко 1989:173–174).

27

На самом деле доля евреев в комиссарском корпусе Красной Армии была хотя и высокой, но уступала геббельсовской «цифре» в 4–5 раз.

28

Интересно, что вместе с проектом инструкции — и под тем же номером — хранится «Дополнение» к ней, содержащее ссылку на окончательную редакцию инструкции и подчеркивающее особую важность задачи по выявлению среди военнопленных лиц, вызывающих доверие и могущих быть в интересах Рейха так или иначе использованными (IfZ. Dok. PS-078. Bl. 4–6).

29

Впрочем, у политруков из неевреев, в отличие от евреев, еще оставался «шанс» уцелеть: спасительной могла бы стать (а могла и не стать) их готовность к «сотрудничеству» с оккупантами и степень заинтересованности в этом последних.

30

Незначительное и, как правило, временное исключение могли составлять военнопленные евреи-врачи (см. ниже).

31

Последний раз оно легло на бумагу, подписанную Кейтелем 12 сентября 1941 г. (Jacobsen 1967:207).

32

Такие лоскуты практиковались в Кальварии (Шейнман 1993:468).

33

Согласно показаниям Эрвина Лахузена, данным им в 1947 г., это совещание состоялось в конце лета (Hilberg 1999:354-356, со ссылкой на документ NO-2894).

34

Было, в частности, постановлено производить казни на расстоянии не менее 500 м от лагерей. См. допрос свидетеля Э. Лахузена 30 ноября 1945 г. на Нюрнбергском процессе: Нюрнбергский процесс 1990: 170-180.

35

В соответствующем циркуляре от 2 июня 1942 г. начальник РСХА и СД приказывал в дальнейшем проводить селекцию на территории Генерал-Губернаторства, отказавшись при этом от практики селекции политкомиссаров и политруков: «В остальном все остается по-старому (евреи, преступники и т. д.)» (Jacobsen 1967:229. Dok. 40). Интересно, что вскоре в СССР был ликвидирован и сам институт военных комиссаров — 9 октября 1942 г. их упразднили в Красной Армии, а 13 октября 1942 г. — на Военно-морском флоте (см.: Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 38).

36

Процесс подготовки и осуществления такой «военно-судебной» реформы подробно раскрыт в исследованиях А. Штрайма и Р. Отто (Streim 1981; Otto 1998).

37

РСХА состояло из тайной полиции (гестапо), уголовной полиции (крипо), полиции безопасности (зипо) и СД. В геноциде евреев активнейшее участие приняли также основные и резервные батальоны полиции правопорядка(Ordnungspolizei).

38

Впрочем, известен случай перевода военнопленного литовской национальности в статус гражданского иностранного рабочего (ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 115. Д. 28. Л. 65а).

39

См. запрос отдела труда гебитскомиссариата Белоруссии бургомистру Койдановского района о двух бежавших из лагеря освобожденных военнопленных от 8 октября 1942 г. (Белорусские оstarбайтеры 1996: 199, со ссылкой на: НАРБ. Ф. 393. Оп.3. Д. 43. Л. 25).

40

То есть практически одновременно с распространением указанной листовки!

41

По состоянию на 1 апреля 1942 г., их число составляло 292702 чел., в подавляющем большинстве украинцы (ВА-МА, RH 3/V.180, Bl.27).

42

Применительно к Житомирскому лагерю и со ссылкой на Л.Б. Берлина такой случай, датированный сентябрем 1941 г., описывает М. Шейнман (1993:467).

43

Об этом зашла речь и на допросе Э. Лахузена 30 ноября 1945 г. на Нюрнбергском процессе (см.: Нюрнбергский процесс 1990:178).

44

Попутно замечу, что в нацистской среде было распространено мнение, культивируемое грузинскими шовинистами и разделяемое некоторыми немецкими «экспертами» в Берлине, что армяне, подобно евреям, были левантийскими торговцами и к тому же, в отличие от грузин, не являлись арийцами.

С «научной» точки зрения эта проблема так и осталась без разрешения, а вот с практической ответом явилось то, что обхождение с армянскими военнопленными и беженцами было существенно хуже, чем, например, с грузинскими (см.: Dallin 1958:241).

45

Выражение Б.Н. Соколова. Об эмоциях русских людей, заподозренных или могущих быть заподозренными в еврействе или в укрывательстве евреев, см. ниже у А. Малофеева и Б.Н. Соколова.

46

См., в частности, воспоминания А. Резниченко (1993). Впрочем, вопрос об участии лагерных полицаяв в расстрелах евреев-военнопленных остается недостаточно исследованным.

47

Г.М. Зусманович (1899–1944) был заместителем командующего 6-й армией по тылу (командарм — генерал-лейтенант И.Н. Музыченко). Как и многие другие, Зусманович скрывал свою национальность, выдавая себя за украинца и говоря с немцами только по-украински. Был в лагерях в Холме, Нюрнберге, с 1943 г. — в Вайсенбурге, где осенью 1944-го умер (Свердлов 2002:342–344).

48

Первая оценка принадлежит А. Араду (Арад 1990: 30), а вторая — А. Шнееру (Шнеер II: 91). К сожалению, методика их получения в публикациях не раскрыта.

49

Устное сообщение в ноябре 2004 г. в Иерусалиме.

50

Об этом сообщалось в ежедневном бюллетене РСХА «Отчет о событиях в СССР» (Ereignismeldung UdSSR. № 58.20.08.1941).

51

Произведенная в августе 1944 г. эксгумация подтвердила эти сведения, но остается неясным, хотя и весьма вероятным, что в эти 30 тыс. чел. входили также и гражданские жертвы.

52

Ответственным за их выявление был лейтенант Фридрих Хоффман из абвера, а за их уничтожение унтерштурмфюрер СС Адальберт Бенда (Adalbert Benda), возглавлявший специальное подразделение (так называемая «команда Бенда»), Ш. Краковский указывает на материалы процесса над военными этого лагеря (Krakowski 1992:224-225, со ссылками на: Yad Vashem Archives, TR-10/631; Zentralstelle Ludwigsburg, VI 302, ARZ, Bd. II).

53

По всей видимости, имеется в виду Форт IX.

54

По советским данным — 700 (см. ниже).

55

Против капитана Гарбе (Garbe) и фельдфебеля Кемпфа (Kempf) было возбуждено дело, и в 1967 г. в Ганновере состоялся суд (Krakowski: 1992:223-224, со ссылками на: Yad Vashem Archives, TR-10/689, TR-19/1184Z).

56

При этом существенно указание на сравнительно небольшое — по сравнению с еврейскими жертвами — число ликвидированных за это время политработников, активных коммунистов, саботажников и т. д.

57

Расстрел производился 19 октября 1941 г., причем непосредственно в лагере, на глазах у остальных 300 военнопленных.

58

Свидетельство бывшего солдата-красноармейца и еврея Эриха Шлехтерера, взятого в плен в августе 1941 г. под Харьковом (Jacobsen 1967:229-230).

59

С. Анваер (2005) и М. Шейнман (1993:465) сообщают это применительно к лагерю в Рославле и Житомире, а А. Резниченко (1993:393) — в Хороле. А.Резниченко описывает случай, когда разоблаченного еврея опустили вниз головой в чан с горячей баландой и несколько минут держали так за ноги. После чего чан опрокинули, и обезумевшая толпа бросилась к луже с мертвецом слизывать и сгребать остатки этого пойла.

60

Сама по себе селекция в строю со спущенными штанами происходила с каждым новым транспортом и в Славуте (Шейнман 1993: 466).

61

Тут немцы, видимо, просчитались: многие военнопленные, особенно русские, резонно воспринимали расправу над евреями не иначе как первый этап: мол, расправятся с евреями, примутся за русских.

62

Случаи сравнительно продолжительной работы военврачей-евреев в шталагах зафиксированы и в картотеке ЦАМО (см. Приложение 2).

63

Возможно, это связано с массовой отправкой в это время на фронт необученных евреев-добровольцев. Для сравнения: из 23 бывших советских военнопленных-евреев, зарегистрированных при Московской Ассоциации узников фашистских концлагерей, 14 попали в плен в 1941 г., по 2 — в 1942 и 1943 гг. и 4 — в 1944–1945 гг. (Марьяновский, Соболев 1997:33).

64

Интересно, что получатели приказов № 8 и 14 обязывались их по ознакомлении уничтожить.

65

Для убедительности и научности прилагался еще и составленный в министерстве обзор народов и народностей СССР (Streim 1981:72).

66

Оба они попали в плен практически в один день (23–24 июля 1941 г.), оба прошли через одни и те же лагеря, где, вне всякого сомнения, были знакомы (дулаг 202, откуда они были отправлены — 8 и 18 марта 1942 г. — в шталаг XVII A, а уже оттуда в Маутхаузен). Еще одна «пара» в этой выборке — капитан Бовшевер и врач Абрамович, почти параллельно прошедшие через шталаг IIIB (12 и 16 ноября 1943 г.) и вместе переданные в Заксенхаузен 3 февраля 1944 г. Третья «пара» — врачи Аген и Гриц, 21 октября 1942 г., оба переведенные в шталаг III B, а 12 января 1943 г. — переданные через гестапо г. Фюрстенберга-на-Одере в Заксенхаузен.

67

Впрочем, никто не поручится и за объективность заключения следователя Смерша Нозурачева, именно так, а не иначе обозначившего преступление М. Фрейдина (ГАРФ. Ф. 8409. Оп. I. Д. 604. Л. 119).

68

В частности, фимоз — патологическое сужение отверстия крайней плоти, не позволяющее обнажить головку полового члена. См. ниже случай Губермана.

69

Тем не менее в том, что он еврей, он все же признался нескольким вызывавшим его доверие людям, в том числе немецкому пастору-фельдфебелю.

70

А. Шнеер обратил внимание на то, что славянские идентичности брались лишь тогда, когда военнопленный-еврей не имел ярко выраженных еврейских черт.

71

Д.Б. Ломоносов сообщает о еврее-москвиче Михаиле, попавшем в плен летом 1944 г. Выучив в эвакуации узбекский язык, он и назвал себя при регистрации Михаилом Ходжаевым, узбеком. Бывшие в лагере настоящие узбеки говорили с ним по-узбекски и не выдали его (Ломоносов 2000, № и: 68).

72

До дня побега 4 ноября 1943 г. он проработал в шталаге Белая Церковь фельдшером Конжаровым. См. его письмо И.Г. Эренбургу от 10

мая 1944 г., отправленное с фронта в Румынии (Советские евреи 1993: 135–136).

73

Несколько таких случаев описаны в книгах А. Шнеева: например, истории Елены Воротчик и Якова Мейлаха, Ванды Можейко и Исаака Ривкинды, Неонилы Чистюхиной и Константина Ахиезера (Шнеер II: 190–195).

74

Зауряд-врач — формально не доучившийся медик, как правило, выпускник 4-го курса мединститута.

75

Еще один случай: Давид Яковлевич Гелевский, жил и работал под вымышленной фамилией Иван Андреевич Пустовой, что само по себе стало препятствием для получения им гуманитарного урегулирования из Германии (см.: Букалов 1996:157).

76

К сожалению, попытки восстановить источник записи пока ни к чему не привели.

77

Ряд таких случаев описывает и А. Шнеер (2003:185–196).

78

Интересно, что напрямую автор не называет ни национальности Минца, ни обстоятельств, вызвавших появление его псевдонима: место выхода этих воспоминаний в свет — 1980 г., г. Новозыбков Брянской области — по-видимому, не располагало к этим «деталям».

79

Объективности ради отметим, что ряд его сообщений о характере и размахе руководимой им подпольной работы едва ли могли хоть как-то соответствовать действительности.

80

Эта деятельность в лагере помогла ему пройти через послевоенную фильтрацию без осложнений.

81

Он, в частности, оказывал помощь участникам побегов (обувью, задержкой доклада о побеге и т. п.). Во главе подпольной организации в этом шталаге стоял Степан Павлович Злобин, впоследствии описавший эту деятельность в романе «Пропавшие без вести».

82

Во главе гражданской администрации в Одессе был поставлен профессор Георги Алексяну.

83

Благодарю Г. Кляйна, любезно указавшего на это фундаментальное издание, базирующееся на материалах Военного архива Румынии. Сведения без указания источника в данном подразделе восходят к этой публикации.

84

Для сравнения: англо-американских пленников было 1100 чел.

85

Небольшая коллекция, посвященная советским военнопленным в Румынии, имеется в Российском государственном военном архиве. Это фонд 1512 «Румынские концлагеря для советских военнопленных», состоящий из одной описи и 40 единиц хранения. Материалы, датированные временем с 1941 по 1944 г., охватывают следующие 12 номерных румынских «шталагов», но и их список все же несколько отличается от сети, описанной румынскими историками: № 1 — Слободзия-Ялоница; № 2 — Фельдиора-Брашов; № 3 — Галац (лагерь Индепенденца, или «Независимость»); № 4 — Васлуй; № 5 — Тирасполь (Бессарабия); № 6 — Дорнешты; № 7 — Бельун (Бессарабия); № 8 — Болград (Бессарабия); № 9 — Вулкан; № 10 — Александрия; № 11 — Тирасполь (Бессарабия); № 12 — Тимишоара.

86

Это обстоятельство, равно как и отсутствие большого лагеря Будешти в официальном перечне румынских лагерей, а также то, что в январе-феврале 1942 г. всех уцелевших к этому времени начали спешно вывозить из Будешти в Австрию, т. е. в Рейх, заставляет задуматься, а не являлся ли этот лагерь частью не румынской, а немецкой транзитной инфраструктуры для военнопленных, даром что на румынской территории?

87

О том, как начальство лагеря Фельдиора готовилось к таким посещениям, см. в упомянутом «Акте».

88

Это подтверждается и данными финских архивов, в частности, Военного архива (см. в письме М. Янзена Н. Малышевой и А. Войкову от 29 августа 2003 г.).

89

Существенно все же заметить, что такого рода передачи касались не только евреев, но и других военнопленных. Общее количество переданных составляло около 2958 чел. (см.: Spiegel. 24.11.2003. № 48).

90

Первая партия состояла из 7 человек, при этом известны имена трех из них: это парикмахер и «агитатор» Залман Кузнецов, преподаватель марксизма-ленинизма и полковой комиссар Александр Малкис и др., портной и «агитатор» Хаим Ошеревич Лев.

91

См. ниже в настоящем издании в новелле об А.С. Вигдорове, чей «случай» оказался на удивление хорошо задокументированным.

Примечания к «Арон Шнеер, Павел Полян. Голоса жертв (Об этой книге).»

1

Семен Израилевич имел боевые награды — орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Сталинграда».

2

Интересно и удивительно, но статья О.Ю. Старкова «Они не сдались», посвященная теме побегов советских военнопленных из плена и базирующаяся на этой картотеке (Старков 1989), осталась практически незамеченной (в том числе и нами).

3

Эту реконструкцию реальных событий приходится приводить здесь в силу странно избирательного, но необычайно последовательного замалчивания руководителями проекта К.-Д. Мюллером и Р. Отто усилий и роли российской стороны в становлении этого проекта. В многочисленных устных и письменных презентациях промежуточных результатов проекта вышеперечисленные усилия, к сожалению, или замалчивались, или давались в сознательно искаженном свете. В обоснование такой политики К.-Д. Мюллер не постеснялся привести и такой «аргумент»: проект начинается лишь тогда, когда на него получены деньги. При столь специфической этической базе проекта, даже щедрое его финансирование со стороны немецкого государства не предохранило проект от весьма низкого качества его главного продукта — сканирования подольских картотек и занесения их информации в электронную базу данных. Это привело к трениям, а затем и к конфликтам между самими участниками проекта: в 2005 г. от участия в проекте был фактически отстранен Р. Отто, в 2006 г., вместе с Р. Келлером, публично заявивший о разрыве отношений с К.-Д. Мюллером.

4

Ссылки на эту базу данных в работе даются следующим образом: ЦАМО, № (где № — номер отсканированного изображения).

В настоящее время техническая обработка офицерской картотеки ЦАМО завершена, и коллеги приступают к сканированию карточек солдатской картотеки. Согласно концепции проекта, полученные результаты со временем должны стать доступными исследователям в ряде учреждений Германии и России. Перечень российских учреждений нуждается в обсуждении.

5

См. сведения о них также в архивах Фонда «Холокост» и материалах собрания Г. А. Хольного (Москва).

6

Единственный известный нам дневник еврейского военнопленного (А.Вейгмана) — довольно поздний, начатый только в 1945 г. и характеризующий лишь заключительную фазу войны и самое начало послевоенного мира (Шнеер II: 292–298). Видимо, о ведении дневника в более раннее время, собственно говоря, просто не могло быть и речи.

7

Эго-документы о пребывании евреев-военнопленных в румынском плену составителям неизвестны, если не считать сообщения З.А. Зенгина о том, что в Николаевском лагере охранниками были не немцы, а румыны. Кстати, есть свидетельства о советских евреях-военнопленных в Норвегии, но там полностью, хотя и своеобразно, хозяйничали немцы.

Примечания к Первой и Второй частям

1

В публикацию вошли фрагменты неопубликованной мемуарной книги автора, соответствующие ее главам 2 («Война»), 3 («Плен»), 4 («Плен. Германия») и 5 («После войны. Первые месяцы»). Оригинал — в архиве автора. Сердечная благодарность его сыну, В.И. Кононову, за помощь в подготовке этой публикации. — *Сост.*

2

Из стихотворения А. Твардовского «Пускай до последнего часа расплаты» (1941).

3

В то время в Красной Армии еще не употребляли термин «офицеры»; они назывались командирами.

4

Великая Отечественная война Советского Союза. 1941–1945. Краткая история. Издание третье. М.: Военное издательство, 1984. С. 150.

5

Великая Отечественная война Советского Союза. С. 149.

6

Из стихотворения «Мое поколение» (1945).

7

Великая Отечественная война Советского Союза. С. 150.

8

См., например, энциклопедию «Великая Отечественная война. 1941–1945». М.: Советская энциклопедия, 1985. С. 348, 420.

9

Публикация и вступительная заметка Г. Рейхмана.

10

Саша Васильев — товарищ Гуревича. — *Примеч. Г. Рейхмана.*

11

Тот не останется в долгу — в Воркутлаге он поможет Игорю попасть на более легкую работу, а не на шахту. — *Примеч. Г. Рейхмана.*

12

Очевидно, что автор имеет в виду Э. Бенеша. — *Примеч. Г. Рейхмана.*

13

Полный текст воспоминаний — малотиражное семейное самодеятельное издание: *Кацперовский В.Е.* Дорога длиною в жизнь. Ганновер, 2004. 226 с. Для настоящего издания текст заново просмотрен и исправлен автором. Название публикуемого фрагмента принадлежит составителям. — *Сост.*

14

Из личного архива А. Шнеера. Название принадлежит составителям. — *Сост.*

15

Ныне Тверь. — *Ред.*

16

Прежнее название Днепропетровска. — *Сост.*

17

Днепропетровский завод металлургического оборудования. — *Сост.*

18

Западный украинец. — *Сост.*

19

На строительство укреплений так называемого «Западного вала».
— *Сост.*

20

Хлопчатобумажная. — *Сост.*

21

На этом воспоминания И.М. Тартаковского обрываются. — *Сост.*

22

Воспоминания Н.А. Фишмана получены по электронной почте.
Сердечная благодарность его дочери, Н.Н. Фишман, за помощь в
подготовке этой публикации. — *Сост.*

23

Из писем П.М. Поляну.

24

Составлено по материалам переписки с П.М. Поляном

25

Архив А.С. Вигдорова.

26

Архив С. Татьяна.

27

Поразительно и вместе с тем симптоматично то, что ознакомиться с этой «буквой» текстуально — практически невозможно, так как сами по себе тексты соглашений между Claims Conference и правительством ФРГ содержатся в тайне.

28

Из письма П.М. Поляну.

29

Патологическое сужение отверстия крайней плоти, не позволяющее обнажить головку полового члена.

30

Записано П.М. Поляном на основе видеопослегов Д.И. Додина Фонду С. Спилберга от 04.05.1998.

31

Во главе подпольной организации в этом шталаге стоял Степан Павлович Злобин, впоследствии описавший эту деятельность в романе «Пропавшие без вести».

32

Письмо П.М. Поляну от 15.6.2003.

33

Письмо Д.Л. Каутова П.М. Поляну от 17.5.2003.

34

Гаубичный артиллерийский полк.

35

Из письма П.М. Поляну от 3.09.2003.

36

Отдельный батальон связи.

37

Записал Михаил Цымберов. Опубликовано в газете «Вечерний Минск» за 13.1.1998.

38

Из письма П.М. Поляну от 13.06.2003.

39

Он даже не был обрезанным. — Я.Я.

40

От нем. Dom — собор. — *Сост.*

41

Из письма К.А. Рутштейна А. Шнееру от 5.2.2006.

42

Из письма С.С. Псурцевой А. Шнееру от 24 мая 2005 г.

43

Мельцер Д. Герои партизанского движения // Еврейский мир: Газета русскоязычной Америки. 7.07.2004.

44

Яд Вашем. Письмо Галины Урман, дочери Б.М. Штейнгардта, — приложение листу свидетельских показаний № 106188. *Шнеер А.* Плен. Иерусалим, Москва, 2006. С. 558–559.

45

Записано со слов племянницы Михаила Ягудаева Коэновой Сони, проживающей в Израиле. Записал Олег Коэн 15.07.2003. Передано А. Шнееру 1.08.2003.

46

Андреев П. Война глазами солдата. Шарья, 2002. С. 25–26.

47

Астахов П. Зигзаги судьбы. Записки советского военнопленного и советского эка. М.: РОССПЭН, 2005. С. 73–75.

48

Бедняев Г. Операция «Осколок». Нижний Новгород, 1999. С. 13. Самого Бедняева как политработника не разоблачили лишь потому, что из-за плохой интендантской службы у него не было ни алых металлических звездочек на пилотке, ни матерчатых звезд на левом рукаве гимнастерки. А по четыре треугольника в каждой петлице носили, кроме замполитов, еще и старшины.

49

Из письма П.М. Поляну от 14.06.2002.

50

И. Иделев [Тавербек Давлетшин]. Люди вне закона (Записки советского военнопленного в Германии). Машинопись. 215 л. Здесь: Л. 145–146 (Гуверовский институт войны и мира, Стэнфорд, США). См. в немецком издании: *TaurbekDawletschin. Von Kasan nach Bergen-Belsen. Erinnerungen eines sowjetischen Kriegsgefangenen.* Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 232 S. (Hg. Von der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung und dem Wissenschaftlichen Beirat für

Gedenkstättearbeit. Bd. 7). S. 137-139. По-русски данная цитата публикуется впервые.

51

Копылов Н.Р. Мои скитания // Поживши в Гулаге. Сборник воспоминаний /Сост. А.И. Солженицын. М.: Русский путь, 2001.С. 224.

52

Написано в 1982 г. Печатается по авторскому экземпляру из архива П.М. Поляна.

53

Свердлов, 1996. С. 58, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й армии. Оп. 9783. Д. 19. Л. 73.

54

Соколов Б.Н. В плену. М.: Цитадель, 2000. С. 57-58,71,144-148.

55

Расстрела евреев в шталаге Саласпилс. — *Сост.*

56

Неточность. Правильно: Sicherheitsdienst (Служба безопасности). — *Сост.*

57

И. Терентьев. Воспоминания. (Печатается по копии рукописи в архиве П.М. Поляна).

58

Впервые: Янтовский, 1995. С. 74–75.

59

Печатается в сокращенной авторизованной редакции. — *Сост.*

60

Парафраз из писем Петра Первого князю Ромодановскому. От «зело» (*старо-русск.*) — «очень» и «борзо» (искаж. *польск.*; надо — «бардзо») — тоже «очень». — *Сост.*

61

Снайперы. — *Сост.*

62

Пистолет-пулемет Симонова. — *Сост.*

63

Из песни Б. Окуджавы «Спросите пехоту...» — *Сост.*

64

См. ниже.

65

Цитата по памяти из песни В. Высоцкого.

66

Ныне часть г. Анжеро-Судженска в совр. Кемеровской области. — *Сост.*

67

Впервые: Янтовский, 1995. С. 49–57. Название дано составителями.

68

Впервые: Янтовский, 1995. С. 46–48. Название дано составителями.

69

Впервые: Янтовский, 1995. С. 66–67. Название дано составителями.

70

Впервые: Янтовский, 1995. С. 67–73. Название дано составителями.

71

На самом деле — в сентябре. — *Сост.*

72

Печатается (с сокращениями) впервые по авторизованной машинописи «Воспоминания», специально подготовленной автором для настоящего издания. Название дано составителями. Особенности авторского стиля, орфографии и пунктуации в тексте сохранены.

73

На территории Финляндии издавна существовали татарские колонии. — Ред.

74

Великий еврейский поэт (1873–1934), писавший на иврите; автор поэмы «Сказание о погроме» (1903).

75

Автор проживает в Санкт-Петербурге. Воспоминания предоставлены им для сборника по просьбе П. Поляна. Благодарим А. Никитина и А. Казырина за помощь в установлении контакта с автором.

76

Пеллагра — хроническая болезнь (авитаминоз), вызываемая недостатком в организме питания и витамина В2, выражается поражением кожи, желудочно-кишечного канала и психическими расстройствами.

77

Впервые: Янтовский, 1995. С. 44–48. Название дано составителями.

78

Впервые: Янтовский, 1995. С. 62–66. Название дано составителями.

79

Впервые: Янтовский, 1995. С. 17–44. Название дано составителями.
Печатается с незначительными сокращениями.

80

См. в начале раздела II настоящей книги. — *Ред.*